

**Н О В Ы Й
М И Р**

11-12

МОСКВА

1940

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1940 г.

№ 11-12

Год издания XVI

★ ★ ★

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
М. И. Калинин — О коммунистическом воспитании (доклад на собрании партийного актива гор. Москвы 2 октября 1940 года)	3
Вл. Луговской — Площадь народов, стихи	16
Ванда Василевская — Грохот шагов, рассказ	17
А. Антоновская — Великий Моурави, окончание	21
М. Исаковский — В гости приехала дочь, стихи	69
Л. Коробов — На воздушных перекрестках, записки авиационного репортера	71
Степан Щипачев — Два стихотворения	85
Юр. Окинчиц — Сентябрьские дни, рассказы	86
Кирилл Левин — Короткие рассказы	93
Аркадий Коган — Верность, стихи	107
Иван Арамилев — Вандага, рассказ	108
Сергей Юрин — Новые воды, очерк	130
К. Бадигин — На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан, записки капитана, окончание	141
Иван Молчанов — Сибирские стихи	175
Л. З. Трауберг, С. А. Тимошенко — Мертвая петля, сценарий	177
Александр Гатов — Басни из Лашамбоди	217
<hr/>	
С. Борисов — Победа над Врангелем	219
С. Павлова — Фридрих Энгельс — друг и соратник Карла Маркса	240
<hr/>	
Х. Херсонский — Борис Васильевич Шукин	254
С. Мстиславский — Мастерство жизни и мастера слова	264
Н. К. Гудзий — Замыслы Толстого и их воплощение	290
М. А. Цявловский — Мицкевич и его русские друзья	303
А. Колосков — Маяковский до Октября	316
<hr/>	
И. Велькин — Новое в советской технике	338

БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Габинский — «Хунанская флейта» и «Китайские рассказы» Эми Сяо	350
В. Гурвич — «Конец пути» Мартина Андерсена Нексе	353
Анна Караваева — «В горах Кавказа» А. Оленич-Гуененко	355
А. Маллинки — «Вечные вершины» (стихи Наирн Зарьяна)	359
И. Амурский — «Адмирал Нахимов» Е. Тарле	361
И. Макаров — «Военные записки» Дениса Давыдова	363
Ан. Тарасенков — Поэмы Леонида Мартынова	365
М. Гольдберг — «Литературное наследство», № 37—38	368
Ив. Беликов — Поэт Волги Д. Н. Садовников	371
Г. Ленобль — «Ольга Ивановна» Я. Ялунера	372
Н. Шкляр — О научно-художественной литературе	374
Содержание журнала за 1940 год	379

О коммунистическом воспитании

(доклад на собрании партийного актива гор. Москвы 2 октября 1940 года).

М. И. КАЛИНИН

★

Товарищи! Двадцать лет тому назад, как раз 2 октября 1920 года Владимир Ильич Ленин выступил на III Всероссийском съезде РКСМ с речью о коммунистическом воспитании. Обращаясь к комсомолу, он говорил, что вряд ли наше поколение, воспитанное в капиталистическом обществе, осуществит задачу создания коммунистического общества. Эта задача ляжет на молодежь.

И вот сегодня, когда вы аплодировали, эти слова невольно вспомнились мне и натолкнули на мысль, что передо мной именно те бывшие комсомольцы, тот слой людей, к которым обращался Ленин и которые сейчас, уже как взрослые, получившие опыт жизни, активно участвуют в социалистическом строительстве. И я вместе с вами аплодирую именно вам — строителям социализма.

Коммунистическому воспитанию у нас уделяют много внимания. Недаром слово «воспитание» пестрит в нашей печати.

Однако, если попробовать более или менее четко и кратко сформулировать, что такое вообще воспитание, то встречаются значительные трудности. Нередко воспитание смешивают с обучением. Понятно, воспитание имеет большое сходство с обучением, но ни в коем случае не синоним. Авторитетные педагоги считают, что воспитание — понятие более широкое, чем обучение. Оно имеет свои особенности.

По-моему, воспитание есть определенное, целеустремленное и систематиче-

ское воздействие на психологию воспитуемого, чтобы привить ему качества, желательные воспитателю. Мне кажется, что такая формулировка (разумеется, ни для кого необязательная) в общих чертах охватывает все, что мы вкладываем в понятие воспитания, как-то: внедрение определенного мировоззрения, нравственности и правил человеческого общежития, выработку определенных черт характера и воли, привычек и вкусов, развитие определенных физических свойств и т. п.

Дело воспитания является одним из труднейших. Лучшие педагоги считают его не только делом науки, но и искусства. Они имеют в виду воспитание школьное, разумеется, сравнительно ограниченное. Но есть еще школа жизни, в которой происходит непрерывный процесс воспитания масс, где воспитателем является сама жизнь, государство, партия, а воспитуемыми — миллионы взрослых людей, различных по своему жизненному опыту, политическому опыту. Это дело куда более сложное.

На этом именно воспитании, на воспитании масс, я и хочу сегодня остановиться.

I.

Энгельс в своей книге «Анти-Дюринг» пишет: «...Люди, сознательно или бессознательно, черпают свои этические взгляды, в последнем счете, из практических условий своего классового положения, из экономических отношений

производства и обмена... Мораль была всегда классовой моралью; она или оправдывала господство и интересы господствующего класса или же отражала возмущение угнетенного, но достаточно окрепшего уже класса против этого господства и защищала будущие интересы угнетенных».

Таким образом, в классовом обществе никогда не было и не может быть внеклассового или надклассового воспитания.

В буржуазном обществе воспитание насквозь пропитано лицемерием, корыстными интересами господствующих классов, оно носит глубоко противоречивый характер, отражающий антагонизм капиталистического общества.

Идеал капиталистов — видеть рабочих и крестьян своими покорными слугами, безропотно несущими бремя эксплуатации. Исходя из этого, капиталисты не хотели бы воспитывать в рабочих и крестьянах смелость и мужество, не хотели бы давать им никакого образования. Ведь с темными и забитыми людьми легче справляться. Но с такими людьми нельзя побеждать в захватнических войнах, а без элементарных знаний они не могут работать на машинах и станках. Взаимная конкуренция в условиях технического прогресса, гонка вооружений и т. д., с одной стороны, борьба рабочих и крестьян за свое образование, с другой стороны, вынуждает буржуазию давать трудящимся хотя бы крохи знаний, а грабительские войны заставляют ее воспитывать в них стойкость, храбрость и другие опасные для буржуазии качества.

Из этих противоречий не может выскочить никакая система буржуазного воспитания.

И вот, несмотря на эти противоречия, заложенные, как я уже говорил, в самой природе буржуазного общества, различные клки господствующих классов ведут отчаянную борьбу за овладение народными массами, используя все средства — от открытого подавления до утонченного обмана.

Трудящийся человек в буржуазном обществе от рождения и до самой смерти находится под постоянным воздей-

ствием мыслей, чувств, привычек, выгодных господствующему классу. Оно осуществляется по бесчисленным каналам, принимая иногда еле осязаемые формы. Церковь, школа, искусство, пресса, кино, театр, различные организации — все это служит орудием внедрения в сознание масс буржуазного мировоззрения, морали, привычек и т. д.

Возьмите, например, кино. Один буржуазный режиссер пишет об американских фильмах: «Многие современные фильмы представляют собой нечто вроде какого-то наркотического средства, предназначенного для людей до такой степени усталых, что им хочется только сесть в мягкое кресло и чтобы их кормили с ложечки».

Такова сущность буржуазного воспитания.

Этому, веками вырабатывавшемуся, воспитанию, рассчитанному на укрепление положения господствующего класса капиталистов, на примирение угнетаемых со своим положением, коммунистическая партия — передовой отряд пролетариата — противопоставляет свои принципы воспитания, направленные в первую очередь против господства буржуазии, за диктатуру пролетариата.

II.

Коммунистическое воспитание в корне отличается от буржуазного не только своими задачами, что понятно и без доказательств, но и методами. Коммунистическое воспитание неразрывно связано с развитием политического сознания, общей культуры, повышением интеллектуального уровня масс. Этого добиваются все коммунистические партии.

Хотя конечная цель всех коммунистических партий одна и та же, все-таки, поскольку положение рабочего класса в Советском Союзе иное, чем в капиталистических странах, воспитание у нас должно соответствовать именно этим иным условиям. Рабочий класс в нашей стране является господствующей, руководящей силой не только в материальном, но и в духовном отношении.

Маркс и Энгельс писали: «Класс, имеющий в своем распоряжении сред-

ства материального производства, в силу этого располагает и средствами духовного производства... Индивиды, составляющие господствующий класс, обладают, между прочим, также и сознанием и, в силу этого, мыслят; в той мере, в какой они господствуют именно как класс и определяют данную историческую эпоху на всем ее протяжении, они, само собой разумеется, делают это во всех ее областях, значит господствуют также и как мыслящие, как производители мыслей, регулируют производство и распределение мыслей своего времени; а это значит, что их мысли суть господствующие мысли эпохи».

Этого нельзя сказать о рабочем классе по ту сторону Советского Союза.

Коммунистическое воспитание в нашем понимании всегда мыслится конкретно. В наших условиях оно должно быть подчинено задачам, стоящим перед партией и советским государством. Основная и главная задача коммунистического воспитания — давать максимальную помощь в нашей классовой борьбе.

Я вижу, вы немного удивлены, хотите осмыслить положение — воспитывать у людей стремление оказывать максимальную помощь классовой борьбе в нашей стране, где эксплуататорские классы уничтожены. Мне кажется, тут не требуется особых разъяснений. Достаточно напомнить вам о замечательном ответе товарища Сталина комсомольцу Иванову. «...Так как, — писал товарищ Сталин, — мы живем не на острове, а «в системе государств», значительная часть которых враждебно относится к стране социализма, создавая опасность интервенции и реставрации, то мы говорим открыто и честно, что победа социализма в нашей стране не является еще окончательной». События последнего года на практике, конкретными фактами подтвердили мысли, изложенные в этом ответе товарища Сталина.

Правда, наша классовая борьба имеет другие формы, чем классовая борьба за пределами СССР. Она, я бы сказал, поднялась на высшую ступень; ее положительные результаты эффективнее. Но, разумеется, она и значительно сложнее.

Положение Маркса и Энгельса о том, что «мысли господствующего класса суть господствующие мысли», поскольку оно относится к рабочему классу Советского Союза, обязывает нас ко многому. Мы не можем ограничиться лишь критикой буржуазного строя. Главное теперь — это борьба за практические достижения по всем линиям политики, экономики, культуры, науки, искусства и т. д. Ясно, что и коммунистическое воспитание у нас должно идти в этом направлении.

III.

Какие задачи мы ставим на сегодня в качестве основных в области коммунистического воспитания? И есть ли это, вообще говоря, принципиально новые задачи по сравнению с тем, о чем говорил Ленин на III съезде комсомола 20 лет тому назад?

Конечно, обстановка в Советском Союзе за это время значительно изменилась. Но по существу задачи коммунистического воспитания, поставленные Лениным 20 лет тому назад, актуальны и для настоящего времени.

Не мешало бы почаще напоминать эти задачи тем, кто старается абстрактно воспроизвести черты коммунистического общества. Такие любители «постеоретизировать», пометать «глубокомысленно» о своеобразных чертах будущего человека, ассоциируя коммунизм с неопределенно хорошим будущим, вкладывают и в коммунистическое воспитание эту отвлеченность. По-моему, это гадание на кофейной гуще, а не проникновение в будущее.

Товарищи, одним из важнейших элементов коммунистического строительства и могучим орудием трудящихся СССР в их борьбе с капитализмом является высокая производительность труда. Ленин говорил: «Производительность труда, это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Капитализм создал производительность труда, невиданную при крепостничестве. Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем,

что социализм создает новую, гораздо более высокую производительность труда... Коммунизм есть высшая, против капиталистической, производительность труда добровольных, сознательных, объединенных, использующих передовую технику, рабочих».

Вот, товарищи, о чем надо думать и говорить, вот в каком направлении, прежде всего, надо развивать коммунистическое воспитание. Это — борьба за высокую производительность труда.

Но не является ли такая установка, такое практическое направление в коммунистическом воспитании, говоря между нами, моей отсебятиной? Нет, товарищи, это не отсебятина.

Когда я, собираясь делать доклад, мысленно наметил его схему, то обратился к основным источникам и, в первую очередь, к нашей Конституции. Там в статье 12 записано: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина по принципу: «кто не работает, тот не ест».

В СССР осуществляется принцип социализма: «от каждого по его способностям, каждому — по его труду». А вы сами знаете, товарищи, что статьи Конституции являются не только юридическим оформлением прав и обязанностей граждан, но и могучим фактором воспитания людей.

Эта статья Конституции прямо говорит о величии труда. Оно и понятно: у нас давно — как отмечал товарищ Сталин — происходит коренной переворот во взглядах людей на труд. Социалистическое соревнование «превращает труд из зазорного и тяжелого бремени, каким он считался раньше, в дело чести, в дело славы, в дело доблести и геройства». Этот факт и нашел свое яркое, сталинское выражение в Конституции.

Но мне скажут: одно дело — величие труда в нашей стране, а другое дело — борьба за высшую производительность труда. Нет, товарищи, это не так. Самая трактовка вопроса о величии труда имеет и тот смысл, что надо всячески поощрять рост производительности труда. В этом заключается самое главное.

Этой задаче подчинены такие важные мероприятия партии и советской власти, как установление звания «Герой Социалистического Труда», как учреждение ордена «Трудовое Красное Знамя», медалей «За Трудовую Доблесть» и «За Трудовое Отличие». А кроме того, советская власть и партия нередко награждают особо отличившихся в труде таким высшим знаком отличия, как «Орден Ленина», или орденами «Красная Звезда» и «Знак Почета».

Высокое звание «Герой Социалистического Труда» приравнивается к званию «Герой Советского Союза». Это звание, эти ордена и медали даются не просто за труд, не просто за то, что человек работает, а за высшие показатели производительности труда, за особые успехи в борьбе за производительность труда.

Той же цели служит и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года.

По внешности это как будто полная противоположность: с одной стороны, присвоение звания «Герой Социалистического Труда», награждение орденами, начиная с «Ордена Ленина» и кончая медалями, а с другой стороны, Указ, которым вводится применение карательного элемента в области укрепления дисциплины труда. Но по существу — это мероприятия одного и того же порядка. Вернее: эти мероприятия служат для достижения одних и тех же результатов.

Поощряя и награждая лучших представителей социалистического труда, с одной стороны, карая дезорганизаторов производства, с другой стороны, партия и советская власть тем самым показывают, в каком направлении надо вести коммунистическое воспитание трудящихся СССР.

Товарищи, вероятно, немногие из вас работали на заводах в дореволюционное время. С каждым годом таких людей у нас становится все меньше и меньше. Поэтому, надо полагать, вы слабо знаете отношение к работе в старое, дореволюционное время. А к сожалению, это отношение еще основательно довлеет над нами.

Стариков, работавших по 40 лет на заводе, хороших профессионалов, мы, революционеры, тогда не особенно ценили. А ведь они были квалифицированными работниками, знатоками своего дела, поборниками дисциплины в труде, не прогуливали. И когда, бывало, возникала забастовка, то их насильно приходилось выпирать с завода. Сами они не решались прекращать работу, боясь испортить хорошие отношения с начальством. Мы не ценили таких рабочих в старое время. Почему? Потому, что они старались для капиталистов.

Другое дело сейчас, при социализме. Сейчас таких людей, которые проработали на заводе 40 лет, которые представляют собой образец трудовой дисциплины, являются знатоками своего дела и дают высшие показатели производительности труда, — таких людей мы поднимаем на щит, награждаем орденами и медалями, чествуем и премируем, как лучших советских граждан.

Вот, между прочим, вам наглядный пример диалектики. Раньше мы отрицали такое отношение к труду. Теперь мы «отрицаем» это «отрицание». Получается, как видите, «отрицание отрицания», утверждение социалистического отношения к труду.

Почему мы в корне изменили свой взгляд на таких работников? Почему сейчас мы считаем таких людей полезнейшими, ценнейшими гражданами Советского Союза? А потому, что они стоят на передовых позициях в нашей классовой борьбе, достигшей высшей ступени своего развития. Ведь классовую борьбу нельзя понимать только как схватку с оружием в руках на фронте. Нет, классовая борьба в настоящее время идет по другим направлениям. И борьба за высшую производительность труда — это, в данный момент, одно из главных направлений классовой борьбы. Если раньше, до советского строя, человек работал хорошо, то тем самым он объективно помогал капитализму, еще крепче заковывал цепи рабства на самом себе и на рабочем классе в целом. А если сейчас, в социалистическом обществе, человек работает хорошо, то

этим самым он становится на сторону социализма и своими достижениями не только расчищает путь к коммунизму, но и разбивает цепи рабства мирового пролетариата. Он является активным бойцом за коммунизм.

На много ли мы подняли производительность труда в нашей стране? Я бы не сказал, что мы добились слишком больших результатов в этом отношении. Теоретически считается, что социалистическая производительность труда должна намного превышать капиталистическую. Как вы думаете, товарищ Щербаков, верно это или нет? (Щербаков: «Правильно, правильно». В зале оживление). А практически? А практически мы еще не догнали высшую производительность труда в Европе, не говоря об Америке. Значит, надо побольше налегать на повышение производительности труда. Рост производительности труда даст возможность яснее видеть очертания будущего коммунистического общества.

Но, товарищи, высшая производительность труда — это не только количество, но и качество вырабатываемой продукции. У нас некоторые люди склонны рассматривать коммунизм как-то отвлеченно, не вкладывая в это понятие конкретного содержания. А что значит коммунизм? Это значит: давай как можно больше продукции и как можно лучшего качества! При этом я имею в виду продукцию не только физического, но и интеллектуального труда — продукцию инженеров, архитекторов, писателей, учителей, врачей, артистов, художников, музыкантов, певцов и т. д.

Надо прямо сказать, что мы очень недовольны качеством многих наших продуктов. И характерно то, что каждый из нас ругается, когда получает в руки какую-нибудь недоброкачественную вещь. Однако сами мы при этом совершенно не задумываемся, какую же продукцию получают от нас другие люди. Словом, каждый из нас хочет, чтобы всего было вдоволь и хорошего качества. А я спрашиваю вас: откуда это взять, если каждый на своем месте не будет добиваться лучших показателей

труда? Надо, наконец, усвоить старую истину: что посеешь, то и пожнешь.

И здесь, в борьбе за качество продукции, мы также не ограничиваемся одними только мерами поощрения. Как вы знаете, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 июля 1940 года установлено, что «выпуск недоброкачественной или некомплектной промышленной продукции и выпуск продукции с нарушением обязательных стандартов является противогосударственным преступлением, равносильным вредительству». Директора, главные инженеры и начальники отделов технического контроля промышленных предприятий, виновные в выпуске недоброкачественной или некомплектной продукции, подлежат преданию суду и по приговору суда должны подвергаться тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет.

Нечего и говорить, этот Указ очень сильно задевает отдельных людей, крепко их бьет за недоброкачественность продукции. Но вместе с тем он дает руководителям предприятий сильное оружие в борьбе против нездорового влияния окружения. Обычно ведь как рассуждали многие из них? Они рассуждали: ну, стоит ли заводить скандалы, обострять отношения с общественными организациями, с товарищами и т. д. — в массе сойдет вещь и с дефектом. И сходила. Такое отношение к браку пустило у нас на производстве глубокие корни.

Вот эти-то корни и надо подрубать, уничтожать. Это необходимо в интересах социалистического общества и каждого из нас в отдельности. Одно из двух: или мы строим коммунизм, или мы только говорим о коммунизме, а сами медленно, если можно так сказать, вразвалку, потягиваясь и позевывая, двигаемся к коммунизму. Но имейте в виду, что так двигаться к коммунизму очень рискованно, так можно слишком затянуть переход к коммунизму.

Когда люди говорят о коммунизме и в то же самое время не связывают коммунизм предметно, материально, с такими животрепещущими вопросами, как вопрос о качестве продукции, то они за-

нимаются просто толчением воды в ступе.

Помню, как сейчас, — это было лет 40 тому назад, может быть 39 — 38 лет, как видите, моя давность времени вращается около 40 лет (смех), — у нас в подполье возникла дискуссия: обязан или не обязан рабочий-революционер хорошо делать вещи, т. е. заботиться о качестве своей продукции. Одни говорили: мы не можем, органически не можем выпустить из своих рук плохую вещь — это нам претит, это унижает наше человеческое достоинство. Другие, наоборот, говорили: не наше дело беспокоиться о качестве продукции. Это — дело капиталистов. Ведь мы на них работаем. Они все равно заставят нас делать вещи хорошо. И поскольку капиталисты будут заставлять нас, постольку, говорили они, мы будем делать хорошие вещи. А своей инициативы нам не следует проявлять, не следует усердствовать.

Вот, видите, товарищи, даже в дореволюционный период, во времена капитализма, часть рабочих, боровшихся с капиталистами, смотрела на дело так, что нельзя делать вещи плохо — это им претило, они как бы совестились. А у нас, в социалистическом обществе, когда мы работаем не на капиталистов, а на самих себя, — всем ли претит, все ли совестятся делать плохие вещи? К сожалению, этого нельзя сказать. Однако, было бы куда лучше, если бы люди больше совестились, если бы им больше претило выпускать недоброкачественную продукцию.

И когда мы говорим о коммунистическом воспитании, то это значит, прежде всего, внедрять в сознание каждого работника ту мысль, что он должен хотя бы элементарно добросовестно относиться к своей работе. Мы должны внушать ему: если ты считаешь себя большевиком или просто честным советским гражданином, то изволь и свои изделия делать элементарно добросовестно, чтобы они были годны по качеству.

Итак, борьба за коммунизм — это борьба за высшую производительность труда как в смысле количества, так и в

смысле качества продукции. Вот нам первое основное положение коммунистического воспитания трудящихся СССР.

IV.

Товарищи, в статье 131 Конституции Союза сказано: «Каждый гражданин СССР обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник богатства и могущества родины, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся».

Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа».

Беречь и укреплять общественную собственность — этот вопрос по своей внутренней значимости больше, чем кажется внешне. Бережливость к общественной собственности есть коммунистическая черта. Мне представляется, что в истории человечества не было более бережливого общества, чем коммунистическое. Да это и естественно: ведь распоряжение средствами, их расходование только в коммунистическом обществе находится в руках производителей. Я думаю, нет особой нужды доказывать, что производитель более экономен в расходовании, чем эксплуататор или захватчик чужого добра.

История не приучала людей беречь общественную собственность, а любителей расхищать эту собственность всегда было достаточно. Казнокрадство было характерной чертой прежней системы управления, а казна была дойной коровой для чиновников. Понятно, такие порядки развивали беспечность, мотовство и в отношении личного имущества, а пренебрежение к общественному имуществу было сверху донизу.

Но это расхищение народного достоинства, человеческого труда, которое мы наблюдали в прошлом, является не больше, как детской шалостью по сравнению с тем, как расхищается человеческий труд в современном капиталистическом обществе. Можно смело сказать, что теперь каждый день пускаются на воздух миллионы трудовой с тем, что-

бы разрушить труд прошлого. А сколько уничтожается ценнейших даров природы, количество которых ограничено на земле! Уже только за одно это преступление перед человечеством капитализм заслуживает скорейшего уничтожения.

Бережливость в общем балансе государственного производства является плюсовой частью народного достояния. И эта часть должна из года в год расти, как результат повышения нашей культуры.

Товарищи, статья 131 Конституции дает богатейший материал для коммунистического воспитания. Она направлена против буржуазного воззрения: «дом мой — больше знать ничего не хочу, в мое бомбоубежище никого не пушу». Она обязывает беречь общественную собственность, ставить общие интересы выше личных, индивидуальных, ибо только в коллективе, в социалистическом обществе действительно гарантируется положение каждого.

Ленин еще на первом году существования советской власти говорил: «Веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде, — именно такие лозунги, справедливо осмеявшиеся революционными пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала подобными речами свое господство, как класса эксплуататоров, становятся теперь, после свержения буржуазии, очередными и главными лозунгами момента».

Что касается воров, расхитителей общественной собственности, жуликов и тому подобных «хранителей традиций капитализма», то против них мы должны направить карательные меры. Этим целям служит, в частности, постановление ЦИК и Совнаркома СССР от 7 августа 1932 года «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности» и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1940 года «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство».

Итак, товарищи, нам нужно сначала научиться работать по способностям, научиться беречь общественное добро, а когда мы достаточно наработаем и научимся беречь наработанное, тогда пустим все по потребности.

Это есть вторая составная часть коммунистического воспитания.

V.

Необходимым составным элементом коммунистического воспитания является также развитие любви к родине, к социалистической родине, развитие советского патриотизма.

Впервые слово «патриот» появилось в период французской революции 1789 — 93 гг. Патриотами тогда называли себя борцы за народное дело, защитники республики в противовес изменникам, предателям родины из лагеря монархистов.

Но потом этот термин был использован реакционерами и правящими верхами в своих корыстных целях. Поэтому к слову «патриотизм» как в Европе, так и в царской России наиболее честные люди, беспокоившиеся о народных нуждах, всегда относились подозрительно, усматривая в нем национальный шовинизм, необоснованное самомнение правящих верхов. Наконец, под этим флагом царские сатрапы грабили присоединяемые народы.

Монополию на «патриотизм» захватили черносотенцы, которые демонстрировали свои «патриотические чувства» в уличных погромах, в избивании рабочих, интеллигенции, евреев. И вообще к этому «патриотизму» льнуло тогда много всяких темных, авантюристических элементов из подонков общества.

В глазах народа опоганилось слово «патриотизм». Честному человеку было невозможно причислить себя к «патриотам».

Народы, присоединенные к России, угнетаемые, эксплуатируемые, обираемые и оскорбляемые на каждом шагу чиновниками и колонизаторами, естественно, ненавидели русское государство.

Как бы в противовес «патриотизму» рыцарей кнута и нагайки шло все нарастающим темпом прогрессивное движе-

ние, направленное своим острием против самодержавия.

Первоначально борьба прогрессивных сил с реакцией захватила литературу, музыку, живопись, где можно было, по крайней мере, намеками выражать свое отрицательное отношение к тогдашней действительности. С течением времени в эту борьбу начали постепенно втягиваться демократические слои населения, благодаря чему она принимала все более радикальный характер. Этот процесс растил и спланивал противников самодержавия, противников так называемой официальной России. В то же время он создавал национальный оплот большого народа в лице его лучших представителей. Появилась целая плеяда гениальных и одаренных писателей, критиков и публицистов, которые высоко подняли и прославили нашу литературу, сделали ее мировой. И не только литература, но и русская музыка, живопись, наука стали выделять своих блестящих представителей, как истинных патриотов национальной культуры.

Эти люди, дорожившие своей честью, человеческим достоинством и общественной репутацией, решительно отмежевались от квасного официального «патриотизма». Для них превыше всего было служение своему народу и пробуждение в нем истинного патриотизма. Ради этой великой цели они не щадили своих сил и дарований. У них учились, их примеру следовали и заражались высоким патриотизмом современники и последующие поколения. Глубоко патриотическая деятельность этих людей составляет немало ярких и увлекательных страниц в истории русского народа. И если они не пользовались симпатиями официальной России, то народ, напротив, воздавал им должное уважение, всегда чтил и будет чтить светлую память о них.

Вот этот процесс борьбы прогрессивных сил с реакционными, этот процесс роста и консолидации культурных сил дал возможность, по крайней мере, наиболее сознательным элементам угнетенных национальностей увидеть другую Россию — Россию благородную, свободлюбивую, неугнетательскую, культур-

ную, талантливую, способствующую развитию знаний среди широких масс населения. Развернувшееся рабочее революционное движение поставило на очередь дня, как актуальную задачу, действительное сплочение пролетариев и трудящихся всех национальностей Российской империи в их борьбе против царизма и капитализма. Усилия Ленина и Сталина по созданию всероссийской партии рабочего класса, без которой немислимо было освобождение русского народа и угнетенных национальностей, неустанная проповедь ленинско-сталинской национальной политики, борьба большевиков против всякого проявления великодержавного шовинизма и местного национализма — все это сближало угнетенные национальности с русским народом, заставляло наиболее сознательные их элементы знакомиться с русской литературой, искусством, наукой, с русскими революционными борцами и тем самым приобщало их к русской культуре, делало их сторонниками общей, слитной борьбы, т. е. людьми, мыслящими уже всероссийски.

Проповедь советского патриотизма не может быть оторванной, не связанной с корнями прошлой истории нашего народа. Она должна быть наполнена патриотической гордостью за деяния своего народа. Ведь советский патриотизм является прямым наследником творческих дел предков, двигавших вперед развитие нашего народа.

Советская жизнь это удивительно ярко иллюстрирует. Достаточно указать хотя бы на один факт. С каким восторгом раскованные народы восстанавливают в памяти образы своих эпических и исторических героев. Они отображают их в своих лучших художественных произведениях, которые везут на показ в Москву — сердце советских республик, где каждый из них хочет как бы сказать всем народам СССР: смотрите, я являюсь не из чьей-то милости членом великого союза народов, я не человек без роду и племени, — вот моя родословная, которой я горжусь, и хочу, чтобы и вы, мои братья по труду и по защите лучших идеалов человечества, полюбовались моей родословной!

Значит, советский патриотизм берет свои истоки в глубоком прошлом, начиная от народного эпоса; он впитывает в себя все лучшее, созданное народом, и считает величайшей честью беречь все его достижения.

Великая пролетарская революция не только произвела огромные разрушения, но и положила начало невиданной созидательной работе. Вместе с тем она прошла могучим очистительным ураганом в головах десятков миллионов людей, вселив в них бодрость и веру в собственные силы. Теперь они почувствовали себя богатырями, способными победить весь мир, враждебный трудовым массам.

И вот зародился уже советский эпос, который воссоединил линию народного творчества далекого прошлого и нашей эпохи, оборванную капитализмом, который враждебен этой отрасли духовного производства. Развернувшийся процесс социалистического преобразования общества выдвинул множество богатых и увлекательных тем, достойных кисти великих художников. Народ уже отбирает из этих тем лучшие зерна и постепенно создает отдельные зарисовки для эпико-героических поэм о великой эпохе и ее великих героях, как Ленин и Сталин.

От народа не должны отставать наши талантливые литераторы и художники. Ведь никогда еще не было для них столько и такого благодарного материала, как в нашу эпоху. Только теперь они имеют неограниченную возможность служить своему народу и внедрять в массы глубокие чувства патриотизма на основе великих деяний современных поколений.

Мне кажется, великолепным образцом служения советскому народу является Маяковский. Он считал себя бойцом революции и был таковым по существу своего творчества. Он стремился слить с революционным народом не только содержание, но и форму своих произведений, так что будущие историки наверняка скажут, что его произведения принадлежали великой эпохе ломки человеческих отношений. Поэтому я считаю, что Маяковский имел право, об-

рашаясь к будущим поколениям, сказать:

«Я к вам приду
в коммунистическое далеко
не так,
как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет
через хребты веков
и через головы
поэтов и правительств.
Мой стих дойдет,
но он дойдет не так, —
не как стрела
в амурно-лировой охоте,
не как доходит
к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих
трудом
громаду лет прорвет
и явится
весомо,
грубо,
зримо,
как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима».

В этом гордом заявлении мы слышим величественный голос нашей эпохи, наших поколений, преобразующих мир на новых началах.

Товарищи, история возложила на нас ответственную и почетную задачу — довести нашу классовую борьбу до полной победы коммунизма. «Мы должны двигаться вперед так, чтобы рабочий класс всего мира, глядя на нас, мог сказать: вот он, мой передовой отряд, вот она, моя ударная бригада, вот она, моя рабочая власть, вот оно, мое отечество...» (Сталин).

А для этого мы должны воспитать всех трудящихся СССР в духе пламенного патриотизма, в духе безграничной любви к своей родине. Я говорю не об отвлеченной, не о платонической любви, а о любви напористой, активной, страстной, неукротимой, о такой любви, которая не знает никакой пощады к врагам, которая не остановится ни перед какими жертвами во имя родины.

Вот вам третья основная задача ком-

мунистического воспитания трудящихся СССР.

VI.

Считаю необходимым остановиться еще на вопросе о коллективности. Не требуется особо доказывать, что внедрение коллективности должно занимать видное место в коммунистическом воспитании. Я имею в виду здесь не теоретические основы коллективизма, а внедрение в производство, в быт, в жизнь общественных навыков, создание таких условий, при которых коллективность составляла бы неотъемлемую часть наших привычек, норм поведения, чтобы действия эти совершались не только обдуманно, сознательно, а вытекали инстинктивно, органически. Поясню свою мысль примерами.

Кто из вас читал «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, тот, вероятно, помнит их интересное наблюдение в дороге. Если с кем-нибудь из путников случается несчастье, то он обязательно найдет добровольную помощь от проезжающих. И характерно, что американцы, девиз которых «время—деньги», в этих случаях не считаются с затраченным временем. Необходимость подачи полной помощи подразумевается как бы общественно-обязательной.

Другой пример. В старой русской деревне, в пору самой горячей работы, когда каждая семья стремится опередить другую в уборке урожая, идет по окончании жатвы толпа мимо отстающей жницы, обыкновенно одинокой в работе и многодетной. Считалось обычным делом в таких случаях артельно подсобить ей.

Вот, товарищи, в каком смысле я говорю о воспитании коллективности, как нормальной привычки людей. В прежние времена такие привычки складывались стихийно.

Я говорю о сознательном культивировании таких навыков в народе.

Понятие коллективности нельзя смешивать с понятием стадности. Например, когда в прошлом крестьяне толпой избивали конокрада или когда толпа вкладчиков лопнувшего банка, буйствуя, била стекла в банке, — то такие дейст-

вия, по-моему, нельзя считать проявлением коллективности. Они носят характер стадности. Коллективность же предполагает целесообразность в действии.

Коллективность в практической жизни нашего общества играет большую роль, ибо оно зиждется на базе коллективизма. Мы противопоставляем капиталистическому обществу коллективизм-коммунизм, убежденные в его огромном превосходстве. От успешности внедрения коллективных навыков в производстве, общественной жизни и быту зависит в значительной степени и успешность коммунистического строительства.

Коллективность труда, его кооперированность является основой производства. В социалистической промышленности это не требует особых доказательств. Здесь это понятно своей наглядностью рабочим и всем, кто связан с фабричным производством. Если в капиталистическом обществе труд отдельного пролетария совершенно обезличивается и, будучи овеществленным в предмете, пропадает из поля зрения не только рабочего, но и фабриканта, которого интересует только прибыль, то у нас овеществленный труд на виду у рабочего. Он демонстрируется не только на месте производства, но и в потреблении, в пользовании. Значит, производитель при средней зоркости может видеть результаты своего труда. Однако, мы должны своей воспитательной работой расширить и углубить восприятие каждым работником его индивидуального участия в общем, коллективном труде.

Но особенно необходимо заострить внимание на воспитании коллективности в деревне, в колхозной деревне. Она проходит серьезную школу коллективности, почти совершенно не имея навыков к коллективной работе. Хотя в прошлом слова «общество», «общественные интересы» иногда и произносились на сельских сходах, но по существу коллективного там было мало. За словами «общественные интересы», «общество» обрабатывались личные дела кулаков.

С переходом на путь коллективизации перед крестьянством встали трудные задачи: наперекор всему прошлому сломать, вернее, направить в противополо-

ложную сторону свою психологию, перейти с работы на себя на работу на всех. Это процесс нелегкий. И успешно развиваться он мог только под значительным нажимом и с помощью государства.

Переход с индивидуального, простого труда к коллективному, более высокому и более сложному труду требует от людей куда больше организационных способностей. И вот, параллельно процессу изживания собственнических наклонностей и накопления у крестьян-колхозников коллективистских навыков идет накопление организационного опыта в применении коллективных методов работы.

Вот в каких условиях идет коммунистическое воспитание в деревне.

Ясно, что голый призыв к коллективности, голая агитация за ее преимущества перед индивидуальной работой уже недостаточны. Пропагандист, агитатор, воспитатель должны указать колхозникам на более эффективные способы работы или, по крайней мере, привести конкретные примеры эффективной работы с анализом причин ее эффективности.

Таким образом, даже такое сложное дело, как воспитание коллективности, чтобы быть наиболее эффективным, должно приспособляться к практической работе. Иначе говоря, воспитание коллективности должно проводиться конкретно. Разъясняя смысл того или другого практического процесса, воспитатель одновременно обогащается сам практическим материалом для своего собственного теоретического развития. Между прочим, это может служить наглядным примером единства теории и практики.

Вот вам четвертый элемент коммунистического воспитания.

VII.

Оплодотворяющим фактором всякой положительной работы является культурность. Чем сложнее, квалифицированнее работа, тем большая требуется культурность. Культура нам нужна, как воздух, во всем ее широком диапазоне, т. е. от элементарной, необходимой буквально каждому человеку до так называемой

большой культуры. Говорят: человек большой культуры.

Культурность является определенным показателем степени развития человека. А так как развитой человек пользуется большим вниманием, то некоторые перенимают внешние стороны культурности. О таких людях обычно говорят: нарядилась ворона в павлиньи перья. Однако, по-моему, такое суждение неправильно, вредно для развития культуры. Разумеется, в массе люди вначале берут внешнюю сторону. Но поскольку человек старается приобрести внешние стороны культурности, они, в свою очередь, влияют уже на поднятие его общей культуры.

Почему сейчас особенно остро чувствуется необходимость в повышении общей культурности? За двадцать три года советского строя наша экономика далеко продвинулась вперед. Технический уровень производства стал куда выше, машины, станки стали сложнее и требуют более внимательного, культурного обращения. Если мы переберем одну отрасль промышленности за другой, то получим общий возглас: нам необходимы более культурные, чем раньше, работники. Само собой понятно, что соответственно повысились требования и в учреждениях.

Колхозная деревня, в свою очередь, предъявляет колоссальный спрос на людей с повышенной культурностью. Тракторист, комбайнер, механик, агроном, зоотехник, помимо знания своей непосредственной работы, обязан иметь хоть элементарную культурность. Взять и другие профессии, хотя бы конюха. Сравнительно нетрудно крестьянину быть конюхом при одной — двух лошадях. А когда на конюшне 20—40 лошадей, тут уже требуется организационный опыт и культурность. И так во всех отраслях колхозного хозяйства. Чтобы двигаться вперед, нужна культура.

Не мешает также напомнить и о нуждах обороны страны. Здесь требования на культурность растут не по дням, а по часам.

Помимо всего, культурность — это чистоплотность на производстве и в быту.

Представьте себе, товарищи, инженера, хорошего инженера. Он много учился, образованный человек, руководит заводом, считается ценным работником. А когда идешь у него по заводу, то сам чорт ногу сломит! (Смех). Ну, разве это культурность?! Если такой инженер не замечает этого, значит у него еще нет самой элементарной культурности, значит он по-настоящему не болеет за свой завод, за свое производство.

Я понимаю борьбу за культурность в самом широком смысле слова, чтобы, например, из крана не текла вода, чтобы в Москве поменьше было клопов в квартирах и т. п. Клопы — это же нетерпимая вещь, это позор, а люди в это время задают себе вопрос: каким должен быть человек при коммунизме, какими свойствами он будет отличаться? (Смех). Люди разглагольствуют о воспитании детей, а у себя в квартире устроили клоповник. Ну, что это такое! Разве это культурные люди? Это — дворянские тюфяки, сохранившиеся от старого русского общества. (Смех).

★

Товарищи, можно было бы остановиться еще на целом ряде вопросов коммунистического воспитания, как, например, на роли партии, профсоюзов, комсомола, спортивных организаций, вузов, школы, литературы, искусства, кино, театра, семьи и т. д. Но это завело бы нас слишком далеко, и мы упустили бы из поля своего зрения самое главное, что определяет задачи и содержание коммунистического воспитания трудящихся СССР на данном этапе классовой борьбы.

Я считаю, что те основные вехи, о которых шла речь, должны определять подход к коммунистическому воспитанию всех наших организаций и учреждений, всех работников, непосредственно занимающихся этим делом. Любой практический вопрос они должны решать с точки зрения главного содержания и основной цели коммунистического воспитания.

Если наше воспитание будет по внешности великолепным, но абстрактным,

т. е. если оно не будет предметно, материально связано с борьбой за дальнейший рост социалистического государства и укрепление его позиции в теперешней классовой борьбе, то это будет пародия на воспитание.

В нынешней сложной международной обстановке наш народ должен быть особенно собранным, подтянутым и напряженным в своей бдительности, чтобы наше социалистическое государство было

готово встретить любую неожиданность и всякую случайность. В эту точку должны бить все наши общественные организации, литература, искусство, кино, театр и т. д. Это и будет, товарищи, действительным выполнением воли партии, указаний товарища Сталина и заветов Ленина по коммунистическому воспитанию масс в данный исторический период. *(Бурные аплодисменты. Все встают).*

Площадь народов

Вл. ЛУГОВСКОЙ

★

Площадь народов!
С тобой я прощался
Перед отправкой на западный фронт.
Ветер осенний по Выставке мчался.
Холоден был

и кровав
горизонт.

Сила спокойной московской природы
Встала

по небу

стеною огня,
Завтра хорошая будет погода,
Только она не застанет меня.
Дома стоит чемоданчик походный.
Нужно аллеи пройти поскорей.
После я вспомнил,

на митинге

в Гродно,

Как заблестал миллион фонарей.
В темное небо метнулись фонтаны.
Над Араратом —

закатный туман.

Вижу предгорья Таджикистана,
Вышки и море —
Азербайджан.

Сердце

бродяжному прошлому

радо,

Годы мои

на ладони видны.

Снова обрел я

сады Ашхабада,

Белый хлопковый венок Ферганы.

Войны и страны проносятся мимо,

Но на любые бои я готов.

Радуясь родине,

слыша любимый

Чистый, как золото,

запах плодов.

Грохот шагов

РАССКАЗ

ВАНДА ВАСИЛЕВСКАЯ

★

Томас стоял у ворот, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Ему было стыдно тесниться в толпе плохо одетых людей. Он пугливо оглядывал улицу, не пройдет ли случайно кто-нибудь из знакомых, горбился и ежился, стараясь быть как можно менее заметным.

Старая, седая женщина впереди него как-то неприятно подергивала носом. Когда она взглянула на него, он увидел вылинявшие голубые глаза, такие беспомощные и жалобные, что он растерялся. Только теперь он заметил, как резко выделяется среди остальных, стоящих перед этими воротами. Женщины в платках, какие-то еврейки в беретках, толстый пожарный в форме, обтрепанные парни — и среди всех них он, в солидной шляпе, в прекрасном демисезонном пальто. Он еще раз оглянулся: а вдруг кто-нибудь идет, — он стыдился даже совершенно чужих людей, которые мимоходом окидывали глазами его фигуру, выделяющуюся из всей этой постоянной тюремной публики. Томас старался принять как можно более безразличное, равнодушное выражение лица. Он упорно думал о магазине, о поставщиках, чтобы не допустить до себя, не слышать назойливый шелест вполголоса ведущихся разговоров. Потому, что все говорили об одном, об одном и об одном.

— Вам разрешили без сетки?

Он вздрогнул, поняв, что вопрос адресован к нему. Прямо в его лицо смотрели испуганные жалобные глаза оде-

той в лохмотья женщины. Неохотно пробормотав что-то, он отодвинулся, сбивая несуществующую пылинку с лацкана пальто.

Нет, в самом деле, Янек мог бы не подвергать его этому. Торчание у этих ворот, где первая встречная баба обращалась к нему этим фамильярным, соболезнующим тоном — тоном, каким говорят только у ворот тюрьмы. И все эти версии, циркулирующие по городу, и эти торопливо обрываемые при его появлении разговоры, и шопот на лестнице, и сплетничающая прислуга, насмешливо-сочувственные взгляды клиентов — все, все это внезапно обрушилось на солидный купеческий дом, ударило, как гром, в его размеренный день, между предобеденной прогулкой и послеобеденным сном, взволновало, замутило до самого дна спокойную жизнь.

Заскрежетал ключ, и ворота открылись. Томас услышал свою фамилию. Он еще раз инстинктивно оглянулся, не слышал ли кто-нибудь лишний, хотя отдавал себе отчет, что это пустяки, ведь все равно все знают. Ничто не распространяется так быстро, как известие о чужом несчастье. А случилось так, что с некоторого времени его дом постоянно притягивал к себе все глаза. Смерть жены словно вызвала целую лавину событий, под тяжестью которых сгибалась его спина.

Он пугливо осматривался в тюремном коридоре, хотя был ведь уже здесь один

раз, когда его уведомили об аресте Янека. Но теперь он смотрел словно иными глазами.

Ключ неприятно заскрежетал в высокой, преграждающей путь, решетке. Он прошел, и вдруг в нем проснулся мимолетный, непонятный страх, когда решетка позади него снова закрылась. Он почувствовал себя, как животное, попавшее в западню. Еще одна решетка — теперь он со странным уважением подумал о всех тех, которых надо было запираить на столько замков. Инстинктивно наклоняя голову, он переступил каменный порог.

И сразу увидел сына. За двойной сеткой, деревянной, окрашенной в гнилой коричневый цвет раме. Мелкие отверстия сеток образовывали словно туман, стирающий черты худощавого лица Янека.

«Нужно было попросить, чтобы разрешили без сетки», — промелькнуло у него в голове, но тогда в тюремной канцелярии он совсем забыл об этом, — он лишь торопился поскорее уйти из этого места, где не только знают, кто он и куда идет, но еще большими, острыми буквами записывают его фамилию в толстый список посещающих.

Он неуверенно подошел к окну. И быстро отдернул протянутую руку, наткнувшись на проволоку. Янек усмехнулся.

Несколько мгновений Томас не мог выдать из себя ни слова. Янек смотрел на его поседевшие виски, на дрожь его рук, на непреодолимо надвигающееся разрушение старости, которое за последние месяцы сделало ужасающие скачки. И вдруг ему стало невыразимо жаль этого человека, который стоял по ту сторону, беспомощно моргая покрасневшими глазами, неуверенный, ошеломленный. Он не думал о нем: отец. Нет, именно так: старый человек. Янек жалостливо покачал коротко остриженной головой. Томас делал усилия улыбнуться, его глаза заволоклись легко дающимися слезами.

— О Иренке ты уже знаешь, правда?

— Да. Адвокат мне сказал.

Заклоченный не ожидал такого нача-

ла разговора. Что же можно сказать этому старому человеку? Чему помогут обвинения? Он все равно не поймет. Перед его глазами, как живая, встала сестра, какой она была тогда, во время первого визита родителей ее жениха, молчаливая, сонная, как всегда, с глазами бесповоротно обреченной жертвы, которая уже даже не бунтует. Сестра, которая родила нелюбимому мужу двух сифилитических детей, оплакала их смерть и вскоре ушла вслед за ними. Он оттолкнул от себя воспоминание. Это конечно, исчезло навсегда. И в конце-концов для нее лучше, что случилось так, как случилось. Впрочем, теперь, запертый в четырех стенах, предоставленный столько времени самому себе, он даже на чисто семейные дела смотрел лишь как на частицу некоего целого. Отдельные части слагались в одну ужасающую картину, были кирпичиками в огромном здании, которое должно быть разрушено. Чтобы не осталось ни осколка, чтобы ветер развеял самый след, который останется на чистой земле.

И этот старый человек по другую сторону тюремной решетки также был обречен на неотвратимое уничтожение. Как-раз вот такие широкие плечи, облаченные в сукно самого лучшего сорта, такие вот бессмысленные глаза, такие пухлые руки сознательно и бессознательно являлись опорой и цементом, скрепляющим страшное здание. Нет, он не смотрел на Томаса, как на отца. Не смотрел даже с горечью и обидой за все, что произошло, — за самоубийство матери, за смерть сестры. Колесница, в которую был впряжен этот человек, давила и ломала людей без его ведома и воли. А между другими давила и того, кто был в нее впряжен. Это было только следствие именно того, а не иного порядка вещей.

— Я хотел тебя спросить...

Дрожащий старческий голос, еще более старческий, чем весь внешний вид. Янек провел рукой по лбу. Стены, которые окружали его, узника, были не так толсты, как те, которыми окружен был этот старый человек. И пусть его, Янека, даже закуют в ручные и нож-

ные кандалы, он все же будет менее скован, чем этот старик, который может ходить повсюду, двигаться в любом направлении. Янек впервые осознал бессмертность этого рабства и своей свободы, свободы порвавшего оковы человека. Он заметил горячую просьбу в глазах отца и отрицательно качнул головой. Он попытался объяснить ему, хотя заранее знал, что это будет напрасну. Томас беспомощно смотрел на этого юношу по другую сторону, на его смуглое лицо, на пылающие глаза, на это страшное, дикое, непонятное упорство человека за решеткой, преступника, заключенного, своего сбившегося с пути сына, который восстал против бога, родных, против всего, что создавалось веками, что утверждалось на земле, было крепко, безошибочно, вечно.

Но теперь он чувствовал себя совершенно потерявшимся в хаосе мыслей, в массе всего, что обрушилось на него неизвестно почему и зачем, перед лицом чего он был совершенно бессилен. Он оперся рукой о деревянную раму и тут только заметил, как дрожит эта рука. Он почувствовал себя слабым и измученным.

«Ведь в конце-концов я не так уж стар» — подумал он, но тут же ощутил, что это неправда. Что, в сущности говоря, он — независимо от количества лет — старый, истрепанный, сломившийся, дряхлый человек. И он улыбнулся юноше за решеткой извиняющейся, детской улыбкой. Разговор ежеминутно прерывался. Янек невольно оглянулся на стражника. Собственно говоря, это посещение, во время которого ничего не было сказано, слишком затягивалось. Он был утомлен. Ему уже хотелось вернуться в камеру, к своему обычному дню, к непрерывным думам, к шести шагам туда — и шести обратно.

— Заканчивайте!

Томас вздрогнул от этого сухого равнодушного окрика человека, о присутствии которого он почти забыл. Он взглянул на сына, смутно отдавая себе отчет, что мысленно тот уже далеко, в том неизвестном, непонятном мире, ко-

торый наполнял Томаса ужасом, который непреодолимой преградой становился между его купеческой, солидной, размеренной жизнью и этим странным сном.

Он ушел медленно, семенящей походкой. Споткнулся на пороге и еще раз обернулся, чтобы взглянуть на Янека. Но тот уже исчезал в длинном выбеленном коридоре, который обнаружился где-то в глубине за сеткой. И Томаса поразили шаги сына. Размеренный, четкий, мощный шаг, отзывающийся эхом в холодных стенах. Волоча ноги, он медленно вышел из здания. Ему не хотелось возвращаться домой. Он двинулся вперед, прямо перед собой в шумные, переполненные людьми улицы. Ноги бессознательно несли его в одну сторону. Он спохватился лишь, когда увидел длинную стену. Что ж, пусть будет так. По привычке он бросил медяк в протянутую руку закутанной в лохмотья нищей. Да, здесь осень чувствовалась еще явственнее, чем в городе. Сухие листья шелестели под ногами в сонной голубой тишине солнечного дня. Канареечно-желтые, как бабочки, они тысячами летели с плакучей березы. Он машинально читал надписи на покрытых цветущими астрами могильных плитах. Где-то, на почти голом уже дереве, неуверенно и осторожно щелетала птица, ежеминутно умолкая. Дикая виноград живой кровью стекал по серому камню памятников.

Томас по привычке снял шляпу. Здесь было странно торжественно. Он свернул в боковую аллею. Мгновение ему казалось, что он потерял направление. Но нет, именно здесь находился тяжелый, массивный памятник из серого камня. Он прочитал на черной мраморной плите имя и фамилию Ирены. Его странно поразила эта фамилия дочери, которая не была его фамилией. Бледнолиловые астры широкой каймой окружали могилу. Он никогда не забывал уплывать в контору кладбища соответственные суммы за обслуживание могилы. И за цветами старательно ухаживали.

«На будущий год надо будет распорядиться, чтобы посадили розы», —

подумал Томас. Он тяжело опустился на стоящую сбоку скамейку и оперся о трость. По лиловым астрам с тихим жужжанием ползала запоздалая пчела. На минуту ему захотелось стряхнуть ее тростью, но он тотчас забыл о ней.

Пожилая женщина с лейкой для поливания прошла по аллее, внимательно глядя на Томаса. Она остановилась почти напротив и стала приводить в порядок старую, заброшенную могилу. Томас неохотно встал и направился в сторону. Он прошел в калитку, ведущую на новое кладбище. Здесь лежала Цецилия.

Новое кладбище, голое, суровое и покинутое, распростерлось в лучах осеннего солнца. Деревца и кусты не успели еще подрасти, на свежих могилах желтела сырая глина. Он меланхолично покачал головой. Да, здесь во и лежала Цецилия. Нельзя же было поместить самоубийцу в фамильный мавзолей. Он свернул к стене. На поросшем желтеющей травой холмике стоял крест из березового, покрытого корой дерева. Не было даже дощечки с фамилией. Он оперся руками о трость, чувствуя, как кончик погружается в мягкий слой глины. В этой глине лежали голубые глаза Цецилии, той, которая когда-то была его женой, той, которая ушла с любовником, чтобы позже, сломившись под тяжестью общественного мнения, искать покоя во вздувшихся волнах весенней реки.

Он вдруг ощутил всю тяжесть лет, непереносимым бременем лежащую на его плечах. И еще раз покачал головой. Вот здесь все и кончалось, в этой желтой глине. Томас словно взглянул на свою жизнь, безнадежную, заброшенную, разбитую неизвестно почему и зачем. Он сгорбился. Обе лежали в земле: Цецилия и Ирена. Лежали далеко друг от друга, словно их никогда и ничто не связывало. Остался только Янек. Но Янек сидит в тюрьме. Нет, он решительно не мог понять всего этого.

И он медленно пошел от могилы по пустой, желтой тропинке.

— Ну да, ну да... — повторял он про себя. Трость погружалась в глину дорожки, и он при каждом шаге ощущал ее сопротивление.

«Вот разве, когда Янек выйдет...» — беспорядочно думалось ему. Но он уже знал, что это ничего не изменит. Путь сына вел в противоположном направлении. Это была уже иная жизнь.

Он вспомнил горящие глаза мальчика.

— А может ты-то как-раз и прав? — громко сказал он в пустоту кладбища. Узенький вербовый листок легко спорхнул из-за стены старого кладбища на глину аллеи. Он остановился над ним, покачивая головой.

— Да, может быть, ты-то и прав, — повторил он почти бессознательно.

Его ноги будто налились свинцом. И теперь до него словно вновь донеслось эхо — грохот шагов в темном коридоре. Твердый, мощный, неуступчивый. Стремительно несущийся по ясно намеченному пути. Вернулось воспоминание о прямой, худощавой спине сына, удаляющейся по белому тоннелю коридора. Шаги гремели, бились о стены, звучали громким эхом по всем коридорам и переходам, до самого главного входа, до утопающих в осеннем солнце улиц. Томасу показалось, что все улицы гудят от этих шагов. Что ими грохочет весь город. Что эхо раздается не от стены к стене, а по огромным просторам, по всем высоким, серым зданиям до последней улочки и переулка.

Он невольно оглянулся. И еще отчетливее ощутил свою старость и беспомощность, свою пустую, потерянную жизнь. Его неприятно поразил шум улиц, куда он вышел. Он машинально потянулся за часами и ускорил шаги. Он опять запаздывает к обеду. Анастасия будет волноваться. Томас кивнул извозчику. Усаживаясь поудобнее, он лишь теперь ощутил, как страшно он утомлен.

Великий Моурави*

РОМАН

А. АНТОНОВСКАЯ

★

XXXVII

Восемнадцать дней пути. Пройдены пески, долины, плоскогорья. Весенние дороги среди зеленеющих лесов. Бурно несущиеся реки. Водопады, сбрасывающие каскады пенистых вод. Но войско ничего не замечает. Оно тяжело поглощает пространство. Уже позади Ширван.

И каждый день Саакадзе считает: «Мой Паата сегодня жив... Да будет над ним щит Георгия Победоносца».

На военном совете Саакадзе говорил: — Храбрый из храбрых Карчи-хан, не надежнее ли на обратном пути разделаться с Кахети? Много возьмем добычи и выполним волю шах-ин-шаха. Если сейчас начнем разрушать Кахети, картлийцы не успокоятся. Мне лазутчики в деревнях говорили — войско у них наготове стоит. Говорят, только у Мухран-Батони и Ксанского-Эристави больше двадцати тысяч отборных головорезов. Баадур Эристави тоже забывать не следует. Он за владения будет помогать князьям. Нет, сначала хитростью разобъем их, потом поодиночке перебьем. Раньше возведем на престол Симона, потом он будет действовать по нашему желанию. И Зураба надо, по повелению «льва Ирана», утвердить владельцем, тогда арагвское войско пойдет за нами.

Карчи-хан согласился с доводами Саакадзе. Также и с посылкой «барсов» вперед: одних — в поиски запасов, других — уверить кахетинцев и картлийцев в доброжелательстве шаха.

Этими мерами Саакадзе решил, насколько возможно, уберечь народ от разграбления.

Но была и еще одна цель...

Элизбар, Матарс, Пануш и Папуна отправились вперед с хурджинами, наполненными туманами и абазами.

Карчи-хан не одобрял расточительства: зачем платить, если можно даром брать. Саакадзе снова напомнил о возвращении. Сейчас лето. Если все насильно забирать, народ в лесах и горах укроется со скотом и хозяйством.

Карчи-хан смирился, прибавив: «На обратном пути камня на камне не оставим! Пусть трепещут грузины: идут львы грозного «льва Ирана».

Папуна с «барсами» поскакали вперед. Галопом въезжали в деревни. Звонили в колокола. Сзывали народ. Уговаривали не сопротивляться силе. Лучше отдать часть, чем лишиться всего. Но скоро наступит время: свободно вздохнет народ и еще больше разбогатеет.

Народ слушал, понимал необходимость, продавал и даром отдавал требуемое. Но Папуна советовал не вводить персов в соблазн и половину скота прятать в лесах и далеких пастбищах. Крестьяне благодарили и отправляли в горы также красивых девушек и женщин.

* Окончание второй книги. См. «Новый мир», кн. кн. 8, 9 и 10 за 1940 г.

Симона и ханов встречали лучшим вином и едой. Подносили подарки. Карчи-хан разделял с Симоном царскую еду и мало обращал внимания на недозвольных сарбазов.

— Аллах! Так мы угощаемся и в Иране, — говорили одни.

— Если пророк допустит уйти, как пришли, за что же рисковать жизнью?

— Непобедимый обещал большую добычу на обратном пути, — успокаивали другие.

Карчи-хан ежедневно по наказу шаха отправлял в Исфгань гонца с донесением о действиях верного сардара.

На стоянке у Какабети Саакадзе, уединившись в лошине, беседовал с Зурабом. Князь сначала ужаснулся, но затем поклялся памятью Нугзара в верности Георгию Саакадзе.

Потом Саакадзе долго совещался с «барсами».

На рассвете Дато и Ростом с десятью арагвинцами поехали в Картли, Даутбек и Дмитрий с остальными — на север Кахети, Гиви и Эрасти остались при Саакадзе.

Хорешани выехала с Дато, она собралась в Носте к Русудан.

В Гречи кахетинцы встретили сдержанно Даутбека и Дмитрия. Не слезая с коней, «барсы» проскакали разрушенный город и направились к епископу циланскому. Разговор длился несколько часов. Даутбек передал епископу от Георгия Саакадзе план спасения Кахети и просил тайно оповестить народ и быть готовым по первому зову Саакадзе поднять оружие против врагов. Арагвинцы рассеялись по деревням. С большой осторожностью они сообщали народу спасительную весть. На другой день епископ вызвал священников и поручил незаметно подготовить народ. Для большей безопасности Даутбек и Дмитрий просили епископа не просвещать князей, ставленников шаха.

По Кахети пошел сдержанный гул. Шептались в деревнях, в городах, в монастырях, в церквах.

Охотно продавали Папуна скот, охотно облагали себя и тихо спрашивали:

— Когда?

— Скорее, чем облако перевалит через эту гору, — отвечал Папуна.

Дато спешно, минуя Тбилиси, поскакал в Кватахевский монастырь. Ростом остался в Тбилиси.

Амкары с нескрываемой радостью слушали Ростом. Да, конечно, они покорятся воле шаха и со знаменами вострят мохамметанина Симона. Да, с сегодняшнего дня амкарства усиленно начнут готовить подковы и точить шашки.

Вечером Ростом виделся с духанщиком Панушем, а наутро в Имерети поскакал верный человек к азнауру Кливидзе с письмом от Ростом.

«...Время пришло вернуться, Георгий тебя ждет. Мы, «барсы», сейчас разъезжаем по Картли, готовим достойную встречу Карчи-хану и иранскому войску. Пора и тебе прославлять имя шах-ин-шаха. Собери верных союзу азнауров и сообщи им: Георгий скоро позовет азнауров на славное дело. Если будут пытаться, говори смело — на азнаурское...»

Арагвинцы растеклись по Картли, подобно ручейкам.

Дато вернулся в Тбилиси вместе с Трифилием, но разными дорогами. Настоятель тотчас направился к католикусу, Дато — в духан «Золотой верблюд».

Сидя в потайной комнате духана, Дато и Ростом делились впечатлениями.

— Наш Гиви прав, персидский кремль вмиг разожжет пожар. Не успеваю бросить слово, как люди радостно хватаются за оружие, — говорил Ростом.

— Везде так... Хорошо, люди не совсем потеряли веру в Георгия. Только избегают вспоминать о нашествии шаха... — Дато вздохнул.

— Домой заезжал?

— Заезжал. Все здоровы, отец еще больше разбогател. Моим именем народ устрашает. Я не успел, а он настоящим князем стал.

— Нехорошо, Дато, ты всегда своим отцом недоволен.

— Сам знаю, нехорошо, только не согласен с ним. Времена для Картли тяжелые, дружнее грузины должны жить, иначе и толстых, и тощих, как

говорит Папуна, одинаково проглотит перс. А отец такое не хочет понять... Твоих всех видел. Миранда, как роза, расцвела, дети, как два яблока. Тебя ждут.

— В Носте был?

— Был... Хорешани отвез.

Помолчали.

— Что Русудан? — отрывисто спросил Ростом.

— Сначала побледнела, за сердце схватилась... Часа два без слов сидела... Потом посмотрела на меня невидящими глазами. Испугался я, думал, ум потеряла. Наконец, заговорила, Ростом, как умеет говорить наша Русудан! «Ты, Дато, не беспокойся, я все сумею пережить. Не для себя с Георгием живем...» В этот день Трифилий привел ей Автандила и Бежана. Умный монах! Застывшее лицо Русудан порозовело. Год не видела сыновей, хотя рядом находились. Боялась, Шадиман за ней неотступно следит. Лазутчики каждый шаг Русудан знают. «Значит скоро свершится желание, раз ты, отец Трифилий, открыто мне сыновей привез?» — спросила Русудан. «Уже свершилось, — ответил Трифилий, — Георгий вырвался из кровавых лап персидского шаха, теперь вся страна во имя святой церкви обнажит меч...»

— Монах думает, Георгий старается только ради церкви?

— Э, Ростом, пусть думает, что хочет. Сейчас разбираться не время. Все должны объединиться, даже враждебных князей примем, если придут. А наша церковь, правду сказать, не мало борется с персами.

— Выгодно, — потому. Мусульмане раньше всего церкви уничтожают, не в мечети же священникам богатеть?

— Вот ты сколько лет из одной чаши с Георгием яд пил, а дела церкви для тебя — темный лес.

— Я не такой сильный, как Георгий. Пусть мои дети, как хотят, живут, лишь бы целы были.

— Не продолжай, Ростом. Паата!.. За эту жертву, будь у меня две жизни, обе отдаю бы Георгию.

— Я тоже жизнью не дорожу, но хочу распоряжаться только своей.

— Об этом у нас разные мысли.

— Мысли разные, а путь один. Думаю, и конец от бога одинаковый получим.

Дато махнул рукой и пошел посмотреть, не прислал ли за ним Трифилий. И точно, в «Золотом верблюде» сидел переодетый монах: завтра католикос будет тайно беседовать с посланниками Георгия Саакадзе, азнаурами Дато Кавтарадзе и Ростомом Гедеванишвили.

XXXVIII

В Телави вошли только Симон, Зураб, Карчи-хан, Вердибег, свита и охрана.

Войско расположилось у наружных стен. Сюда тянулись арбы и верблюды, доставлявшие хурджины с мясом, зерном и сушеными плодами. Вокруг шатров день и ночь пылали костры.

Вердибег протестовал. Его выпуклые глаза сверкали гневом. Ему надоело быть вежливым. Пусть его сарбазы повеселятся немного. Где красивые девушки? Весь путь проехали, кроме высохших свиной, — никого.

— Но мудрый шах-ин-шах — да живет он вечно! переселил почти пол-Кახети в Иран, — напомнил Саакадзе. — Тогда отобрали красивых девушек. А за два года новые не могли вырасти, — не сливы...

Вердибег бушевал, пригрозил сам поискать женщин. Он нюхом чувствует — они где-то поблизости. А драгоценности монастырей? У него есть опыт. Недаром он прославился двумястами голов кахетинцев, отсеченными им лично. А кто извлек из монастырей большую добычу?

Карчи-хан слушал спор. Сардары и мин-баши поддержали храброго Вердибега. Им — шайтан свидетель! — тоже нужны красивые девочки и золотые кресты.

— Монастырские богатства два года назад взяты, а если новые накопились, успеем захватить на обратном пути. Но кто теперь помешает мне выполнить тайное повеление шах-ин-шаха, пусть не обидится, — лично голову снесу. Ни один сарбаз не войдет в Телави.

Отважному Карчи-хану я уже говорил об этом.

Мин-баши испуганно посмотрели на Саакадзе: если так дерзко говорит с ними, — значит, шах дал на это право.

Ни один сарбаз не вошел в Телави.

Правитель Кахети, Пеикар-хан, ставленник шаха Аббаса, распоряжался страной, как покоритель, взыскивая огнем и мечом огромную дань для «льва Ирана» и не меньшую для себя. Такое правление не способствовало возрождению разоренной некогда богатой страны. Жестокий Пеикар-хан свирепел, когда сборщики клялись, что братъ нечего. Он немедленно посылал карательные отряды в деревни. Начинался беспощадный грабёж и избиение непокорных. Вот почему все князья заперлись в замках и крепостях и укрыли в них свою ответственность — крестьян. Эти замки, хорошо укрепленные, были недоступны Пеикар-хану.

— Именно там крестьяне заняты выделкой шерсти, — кипел Пеикар-хан, — именно там сокровище Кахети — шелковичные черви, тучами облепляющие туговые рощи. Князья через горные, не известные ему, Пеикар-хану, дороги отправляют караваны в чужие земли. Они богатеют, а что имеет он, тень шаха Аббаса, Пеикар-хан?

Он был бессильн, ибо хитрые князья, обходя его, посылали шаху Аббасу совместные караваны с данью, подарки и послания с выражением преданности. И шах Аббас не отвечал Пеикар-хану на его надоедливые жалобы о непокорности князей.

— Разве власть без богатств не напоминает хромого верблюда? А дворец без красивого гарема не похож на бесплодную пустыню? А роскошь без спокойствия — не сладкое тесто, кипящее в сале? — жаловался сейчас правитель Кахети Карчи-хану. Он разжег воображение ханов несметными богатствами «шелковичных князей», настаивая на немедленном нападении, суля всем ханам обогащение, а Ирану выгоды.

Карчи-хан послешил отправить на шутюн-бааде гонца к шаху Аббасу с подробным описанием положения. Он

ждал указаний из Исфагани. Сам он пообещал Пеикар-хану все драгоценности князей разделить честно. После избиения непокорных картлийцев обратный путь будет веселым и прибыльным.

Саакадзе знал о сговоре ханов. И в темные кахетинские ночи он тоже сговаривался с архиепископом Голгофского монастыря Феодосием, митрополитом Никифором, архиепископом Арсением. Это высшее духовенство Кахети, связанное в Константинополе с патриархом греческой церкви, имело связь и с московским Филаретом. Высший духовный сан не помешал им по поручению Теймураза искать защиты от шаха Аббаса и у «неверных» турок. Они ездили и в Русию, и в Стамбул.

Кахетинская церковь впаила в рукоятку меча Георгия Саакадзе золотой крест.

В кахетинскую Тушети выехали Даутбек и Димитрий с грамотами от архиепископа Арсения.

Грамоты получил и Элизбар, выехавший в Хевсурети, и Матарс с Панушем, выехавшие в Пшави.

Ростом и Папуна направились по пути в Картли сгонять из деревень отары для иранцев и рассказать народу о предстоящей большой охоте.

Через горы перелетали радостные слухи. По лесам слышались торопливые шаги. Из деревни в деревню ходил мествире, раздавал гуда и пел песни времен Давида Возобновителя. Люди шептались, тихо смеялись и прятали слишком радостно блестящие глаза.

Зураб Эристави с усиленной охраной выехал в Тбилиси. Он передаст католику грозное повеление шах-ин-шаха водворить на царство Симона и подготовить торжественную встречу новому царю Картли. Так велит Георгий.

Карчи-хан одобрил стремительность Саакадзе.

В изгибах гор брызгами разлетались лучи раннего весеннего солнца.

К Панклесскому ущелью подъехали Даутбек, Димитрий, Элизбар, Матарс и Пануш. Здесь их пути расходились.

«Барсы» обнялись и пожелали друг другу счастливого возвращения. Даут-

бек и Дмитрий свернули к горе Тбата-ни в кахетинской Тушети, расположенной на Тушинских горах и примыкающей к берегу кахетинской Алазани.

Пануш, Элизбар и Матарс до полудня ехали вместе вдоль бурно разлившейся весенней Иори. Всадники то круто поднимались в гору, и кони, хрипя, шли над пропастью, то стремительно спускались вниз. Высокая трава выпрямила сочные стебли. Кони по голову тонули в зеленых волнах.

Элизбар, Матарс и Пануш глубоко вдыхали горную свежесть. Лица их сияли счастьем. Наконец, и им Георгий доверил важное дело.

— Приедешь, Матарс, помни: все общества надо объехать, не то обидятся пшавы. Но раньше заручись поддержкою габидаурского хевис-бери¹.

— Знаю, Элизбар, три дня монахи в Гречи учили, на память заставляли повторять названия обществ: Габидаурское, Гоголаурское, Чичейское, Чаргальское, Ахательское, Кистаурское, Матурельское, Цоцкораульское, Уканашавское, Цителаурское, Удзилаурское, Кацалхевское. Я на всю жизнь вбил в голову двенадцать гвоздей.

— О-о, — рассмеялся Элизбар, — у хевсур, спасибо, только пять: Арабаули, Чинчараули, Архотиони, Шатилиони и Пирикительское... У Тушин тоже есть Пирикительское. Хорошо живут, дружно, никогда не воюют между собой, как наши князья, лягушачьи потроха!

Переговариваясь, друзья незаметно въехали в извилистое ущелье. По сторонам поднимались высокие скалистые горы. Холодные голубые ручьи спадали с каменных уступов в Иори.

Напоив коней, «барсы» распрощались. Элизбар свернул направо и стал подниматься по тропинке вверх, в Хевсурети. Матарс и Пануш из ущелья свернули в буйно разросшийся лес. Исполнинские дубы, буки, белые тополя склонялись над орешником и кизилowymi зарослями.

Тропа круто поднималась вверх, извиваясь над крутизной.

Лес поредел. Он перемежался полянами, поросшими высокой волнуемой травой. На скатах чернели пашни. Сакли пшавов едва виднелись на высотах.

К Матарсу и Панушу подошли вооруженные пшавы. Отсюда началась узкая тропа в Габидаурское общество.

Матарс посмотрел на караван лошаков, навьюченных бурдюками с сыром и маслом. Они направлялись в Кахети. «Как-раз для персов везут» — подумал Матарс. Пшавы вежливо выслушали Матарса, пропустили, но из предосторожности послали вслед «барсам» двух вооруженных.

В Телави оживление: Карчи-хан сегодня выезжает в Картли. Войско и обоз выступили еще вчера. Симон нетерпеливо поглядывает на далекие горы. На выхолненного жеребца, цвета каштана, надевают чепрак с изображением меча Багратидов.

Карчи-хан изумился, услышав о намерении Саакадзе мирным путем заставить тушин признать власть шаха Аббаса и платить Ирану дань шерстью и скотом. Как, Саакадзе рискует без войска отдаться в руки врагам?!

Саакадзе объяснил о законе гостеприимства тушин. Он, Саакадзе, едет, как гость, с одним оруженосцем. Это значит — он невредимым догонит Карчи-хана у ворот Тбилиси.

Карчи-хан запротестовал: жизнь Непобедимого подобна голубому бриллианту на мизинце шаха Аббаса. Разве не падет гнев «льва Ирана» на персидских сардаров, не сумевших уберечь жизнь истребителя османов?

Глаза Саакадзе насмешливо сузились. Он вынул из бешмета фирман с печатью: «О, Мохаммед! О, Али! Шах Аббас, раб восьми и четырех».

Карчи-хан низко склонился. В фирмане шах доверял своему Непобедимому покорять грозному имени шах-ин-шаха умы и сердца. Карчи-хан больше не протестовал, он понял: шах доверил лично Саакадзе Кавказские горы.

Сидя с Вердибегом за кофе, Карчи-хан негодовал. Не ему шах поручил

¹ Хевис-бери — буквально «глава ущелья» — старейшина, избранник народа, исполняющий административные и жреческие обязанности.

внешние дела Ирана, а опять Саакадзе! Этот Непобедимый стал неприкосновенным, и, куда грузин дальше поднимется, один аллах знает.

Вердибег успокоил отца. Гостеприимство тушин?! Оно не для Саакадзе! Он крепко прикован к колеснице шаха Аббаса. Если тушины, иншаллах, убьют Саакадзе, тем лучше. Слишком долго осыпает шах-ин-шах милостями этого грузина. В таких случаях сами ханы должны помогать шайтану убирать с дороги пожирателей шахских наград.

Карчи-хан согласился и даже обеспокоился: вдруг Саакадзе раздумает.

Но Саакадзе не раздумал. Утром, проводив Карчи-хана и Симона, он сменил богатый персидский наряд на грузинскую чоху и золотой ятаган на шашку Нугзара и в сопровождении Эрасти свернул напрямик к тушинской Алазани.

Лес густел. Стада оленей перебежали тропу. Где-то слышалась тяжелая поступь медведя. Матарс на всякий случай попробовал шашку и приготовил стрелу. Кони осторожно переступали по едва заметной тропе. Эрасти казалось, он всю жизнь блуждает по лесу и никогда не выберется из чащи. Но вот залаяла собака. Кони пошли быстрее. Вскоре всадники выехали на душистую прогалину, где паслись огромные стада буйволов и быков.

Похолодало. Всадники пересекли лошину и опять въехали в дремучий лес, перевитый плющом и ползучими растениями. У крутой горы они спешили и, держа на поводу коней, продолжали путь, делая круги и обходы, спускаясь и поднимаясь.

Над деревьями взвился голубой дымок.

Георгий свернул к аулу Паранга. Еще издали он услышал громкий говор. На холме тесным кругом стояли тушины, впереди старые, позади молодые. Передав Джамбаза Эрасти, Георгий приблизился к жертвеннику Хитано. Устроенный на развалинах церкви святого Георгия, Хитано считался важнейшим жертвенником горной Тушети. «Жертву приносит главный жрец, — решил Георгий, — значит у тушин боль-

шое событие, и храбрецы не любят, когда нарушают торжество».

Не выходя из-за огромного дерева, он наблюдал праздничный обряд.

Вокруг жертвенника стояли деканозы со знаменами и священной утварью. Главный жрец держал пучок пылающих свечей и священное знамя. Жрец величественно обернулся к востоку и, потрясая знаменем, протяжно, нараспев читал молитву:

«Боже великий, да восхвалится и прославится имя твое, ибо небо и земля суть царство твое! И пресвятая дева Мария, мать божия! Прослави, боже, твоих святых, покровителей наших, через которых изливается на нас твоя милость. Святой Георгий Цовати-ставский, святой Феодор! Вам приносятся сии малые и скудные дары, примите их достойно и свято, требуйте их от нас и не лишайте нас своего покровительства и ходатайства у бога. Умножьте в люльках чада, хлебодов, оруженосцев, родоначальников, кисти врагов на наших дверях. Пошлите обилие и богатство, умножьте скот и земные плоды наши. Возрастите родителям детей, не имеющим даруйте их. Удостоите нас лето встретить благополучно и с победою над врагами. Не передавайте в руки мусульманские, сопутствуйте нам вашей помощью при переходе из долин в горы и обратно. Врагов и злонамеренных людей, идущих на стада наши, совращайте с пагубного пути их и, призовем ли вас против врагов, не отказывайте в прославлении имен ваших. Пошлите успех в набегах и охоте. Преследуем ли врагов, помогайте в погоне, защищаемся ли от них, посылайте помощь. Даруйте избавление от усиливающегося врага, от всяких бед, зараз, проклятий, злого привидения, наводнения, разрушения гор, завалов, огня с коленопреклонением молящим вас! Аминь».

— Аминь твоей благодати! — И народ поспешил приложиться к священным знаменам и реликвиям. Главный жрец поднял руки к небу. Тушины благоговейно пали на колени. Из рукавов главного жреца вылетели два белых голубя.

Деканозы громко возвестили: боже-

ство в образе голубей присутствовало на торжестве и вдохновляло главного жреца.

Белые пятна таяли в синеве. Народ восторженно приветствовал улетающих голубей.

Деканоз взял горящий уголь и сжег клоч шерсти на лбу овцы, обреченной в жертву. Послышалось жалобное бляение. Другой деканоз взмахнул священным кинжалом и оросил жертвенник кровью. Затем, обмакнув палец в теплую кровь, начертал у себя на лбу кровавый крест. Такой крест ставил деканоз поспешно подходившим тушинам.

Георгий подошел к хевис-бери.

— Марш-ихвало! ¹ — приветствовал Георгий главу народа.

— Георгий Саакадзе! — пораженный, вскрикнул Анта Девдрис.

Тушины на миг окаменели. Широко раскрытые глаза, не мигая, смотрели на виновника гибели тушинских витязей в Греми. Крестились: может, это наваждение? Может, это Мегой? ² Некоторые похолодевшими руками дотрагивались до жертвенника, другие невольно хватались за оружие.

— Марш-ихвало! — громко повторил Георгий. — Я к вам в гости пришел.

Тушины отдернули руки от оружия, словно прикоснулись к раскаленным углям.

— Если в гости пришел, садись на почетное место, — сказал Анта Девдрис.

Тушины молча расселись вокруг, и пир начался.

Георгий взял щепотку соли и крестообразно посолил лепешку. Тушины исподлобья наблюдали за Саакадзе, удивляясь его знанию тушинских обычаев.

Георгий громко восхищался скачкой джигитов, меткостью стрел и плясками.

Анта Девдрис выбирал лучшие куски для гостя и до краев наполнил чаши.

Молодые витязи, засучив рукава, метали кинжалы в кожаный щит, висевший на далеком дереве.

Георгий взял у Мети, младшего сына Анта Девдрис, лук и, натянув тетиву, метнул стрелу. Высоко парящая птица оборвала полет и, перевернувшись в воздухе, камнем упала на жертвенник.

Деканозы встrepенулись. Они оживленно истолковали такое падение птицы, как хорошее предзнаменование. Лица тушин посветлели.

Насытившись трапезой и увеселениями, деканозы поднялись и, оканчивая праздник, величаво обошли вокруг жертвенника и вернулись к народу.

Поднялись и остальные. Торжество закончилось, народ расходился по саклям.

За Анта Девдрис и Саакадзе на почтительном расстоянии следовали группы тушин. Эрасти на поводу вели коней.

Только сейчас Георгий спросил — почему праздник в будничньй день?

Анта Девдрис сурово взглянул на Саакадзе:

— Два года назад тушины хотели спуститься на помощь царю Теймуразу, но вероломный шамхал вторгся в Тушети. Давно хотели отомстить, все было некогда: четыре войны с негойцами и чарильдами и три набега закончили. Сейчас празднуем победу и над шамхалом. Передай шаху: большая дань и многочисленный скот достались тушинам в добычу.

— Передам, если когда-нибудь встречу... А много у вас убитых? — переменял разговор Георгий.

— Убитых только один, остальные пали в честном бою. Бедный Ите, — вот идет, — сын его бежал и убит врагом.

— Убит сын? — голос Георгия дрогнул. — Но Ите у жертвенника пел и веселился!

— У нас не оплакивают трусов, — холодно сказал Анта, — и выражать родственникам сожаление о смерти труса считается оскорблением.

— И я бы оскорбился, — сказал Георгий, остановившись у дверей, на которых синели прибитые кисти человеческих рук. Георгий не скрывал восхищения.

¹ Приветствие: Здравствуй, дословно — ходи невредным.

² Злой дух.

— Храбрец, добывший такие славные трофеи, достоин носить имя рыцаря!

— Это дом хелхоя¹, сын его пал в бою. Вот отважные воины оказали честь родным павшего. Мой младший сын тоже убил пять шамхальцев, ему пятнадцать лет, а он уже трижды дрался с врагами. Сыновья наши дружили, потому мой сын восемь кистей прибил к дверям родителей храбреца, а к моим только две кисти, но я не обеднел. Старшие сыновья пригвоздили двадцать шесть, вся дверь украшена кистями.

— Ты счастливый, Анта... И мы любим нанизывать на плетни головы врагов.

— Головы врагов тоже хорошее украшение, — вежливо заметил Анта, — а как, солите?

— Просаливаем немного, лучше сохраняются.

Георгий знал обычай тушин: о важном не беседуют на ходу. Надо покорно подчиниться закону гостеприимства.

Каменная башня возвышалась над богатой саклей. Семья Анта Девдрис радушно встретила гостя. В честь Георгия зарезали корову. Задымился очаг. Спешно готовили разные кушанья.

Молодые дочери Анта внесли подносы. В чашах краснело вино и пенился ячменный напиток. Девушки настойчиво угощали Георгия и Эрасти, просили выпить за их здоровье.

Так тушинки встречают гостя. Георгий залюбовался. Длинное черное платье из тонкой шерстяной ткани резко оттеняло свежую белизну лица девушки, оживленного румянцем и черными красивыми глазами.

Девушка, постукивая узорчатыми чистыми, обтягивающими стройные ноги, просила гостя выпить чашу пива.

Георгий незаметно остановил взгляд на унизанном серебряными пластинками и разноцветным бисером нагруднике. Девушка, вспыхнув, отвела глаза. На белоснежной шее зазвенело ожерелье, в ушах беспокойно качнулись серьги.

«Если в бою уцелею, непременно женю Даутбека и Элизбара на дочерях

Анта, — подумал Георгий. — Верность тушинок будет лучшей наградой для «барсов».

Внесли кушанья. Анта поднялся и стоя начал угощать Георгия. Только после долгих просьб и уговоров Анта согласился сесть и разделить с гостями ужин.

Георгий мысленно пожалел, что, уступая настойчивости хевис-бери, по горло насытился у жертвенника. Но ради успеха дела решил есть, насколько хватит мужества.

Девушки с еще большей настойчивостью уговаривали гостей утолить голод и жажду.

Старшая, отбросив с покатых плеч черные косы, придвинула поднос с медом и сыром. На руках зашумели браслеты. Эрасти едва сдержался, чтобы не поцеловать тонкие пальцы, униженные перстнями, так гудело у него в голове от пива. Эрасти чувствовал, что пища у него уже лезет из ушей. Он умоляюще смотрел на Саакадзе. Но Георгий знаками приказал ему есть.

Наконец, мучительный ужин кончился, и женщины удалились. Эрасти ушел к коням. Георгий начал разговор: несметные силы персов снова переступили порог Кахети. Что ждет кахетинцев? Но он, Георгий Саакадзе, поднял меч и призывает тушинское общество на помощь благородному делу. Наконец, он добился: шах Аббас доверил ему иранское войско. Час мести настал! Церковь с ним, и Георгий протянул грамоту.

Анта долго вертел в руках лощеную бумагу, увенчанную крестом, и, наконец, попросил Георгия «оживить слова».

Георгий медленно прочел обращение к тушинам архиепископа Феодосия. Упомянув о власти бога над человеком, зверем и птицей и сравнив шаха Аббаса с сатаной, превращающим дерево в пепел, воду в песок, а человека в прах, Феодосий сулил земные и небесные блага всем сражающимся с собакой шахом Аббасом. «Выкажи ныне веру свою во Христа, храбрость, мужество и братскую любовь» — закончил Георгий.

Внимательно выслушав, Анта сказал: — Если враги нашли дорогу, не уста-

¹ Хелхой — судья.

нут играть шашкой, пока им кисти не отрубишь. Такой у шакалов характер. Но с тобой у нас не общая дорога. Ты с персом против грузин шел, — значит, против тушин.

Георгий согласился. Но ошибка война во имя благородной цели не должна тревожить мудрого мужа. И Георгий, понизив голос, откровенно рассказал старому Анта о пережитой трагедии у теснин Упадари.

Но сейчас не время копать прошлое, надо спасать Кахети и Картли. А разве Анта рассчитывает на доброту персов? Разве шах, поработив Кахети, позволит тушинам пользоваться пастбищами? Алванское поле в опасности. А разве перс снова не поможет шамхалу? Что выиграют тушины, отказавшись от благородной и выгодной помощи?

Анта указал Саакадзе на неприступность гор. Сейчас тушины разгромили Шамхалат и, если надо будет, еще не раз выйдут на охоту за кистями. Без пастбищ тушины, конечно, не могут жить, поэтому всегда помогали кахетинцам и теперь помогут...

Но Георгий уловил колебание Анта и поспешил привести еще большие доказательства. Он признался, что был обманут коварным шахом.

Черная ночь опустилась на аул Паранга. Деревья словно надвинулись на угрюмые стены башен. Только в темном провале неба ярко горела большая звезда. За аулом выли волки.

В саклях мерцали непривычно поздние огоньки. Тушины не спали... За горящими очагами взволнованно говорили о Георгии Саакадзе. Старики удивлялись его спокойствию, молодой отваге. Зачем пришел к ним непонятный гость? С нетерпением ждали рассвета.

...Анта долго молчал.

Наконец, он обещал Георгию утром поговорить со старейшими:

— Э, Георгий, увяз ты в думе черной, как буйвол в тине болотной. Но не печалься, ложись, пусть будет мир другу под кровлей моей... Завтра народ на площади соберем. Наша молодежь любит лишний раз замаяхнуться шашкой.

Георгий знал: общественные дела решал хевис-бери со старейшими аула, и

хотя им беспрекословно повиновались, но обычай требовал все дела выносить на обсуждение народа. Георгия беспокоило решение старейших, и он готовился к разговору на площади.

Одеяло, тюфяки из взбитой шерсти, мутаки, наваленные на тахту, но напрасно Георгий пытается заснуть. «Добиться помощи тушин, значит, приблизить победу. Где теперь «барсы», мои бедные друзья? Скачут по всей Картли, по грузинским землям, выполняя мой замысел. Главное, объединить всех. Даже князьям кланяюсь... Но я добьюсь признания азнаурского дела. Сначала надо изгнать персов, потом... Нет, Шадиман, раньше буду думать только о персах».

Ночью Георгию мерещились пролетающие всадники, дикое ржание коней, тревожный рокот рога. Он вскакивал, всматривался в темноту, зарывался в одеяло, но сон бежал от него. Саклю наполняли кровавые видения. Вот в пропасть скатываются кызыл-башы. Вот на измятую долину упала последняя картлийская дружина. «Береги коня, береги коня!» — слышит Георгий. Он отбросил одеяло, вытер подушкой холодный пот.

Рассвет...

Голубое небо на востоке подернуто розовой дымкой. Горный воздух наполнен ароматом лесов. За цепью черных гор серебрятся выси Кавказа. Журчит голубая вода, спадая в расселину.

Здесь, у родника, на скале, охраняемой «ангелом камней», совещался хевис-бери Анта со старейшими.

Георгий поспешил к главному деканозу. Надо задобрить священнослужителей, народ им верит. Когда Георгий за ужином осторожно заговорил с Анта о смещении языческих обрядов тушин с христианством, Анта ответил: «Нам это угодно».

У главного жреца тоже совещались. Выгодна ли для тушин предстоящая война? Поддерживать ли деканозам хевис-бери, если старейшие решат оказать помощь Георгию Саакадзе?

Георгий пришел во-время.

Деканозам понравилось почтительное обращение Саакадзе к ним за поддерж-

кой. Георгий с подчеркнутым уважением заговорил о значении деканозов в делах Тушети, говорил о выгоде для тушин военной помощи и обещал после победы большие вклады скотом и оружием священной семье деканозов.

Главный деканоз, погладив на груди амулет, насмешливо сказал:

— Когда земля задрожала и повалились камни и деревья, один слабоголовый тушин уверял: это не бык внутри земли чешет железную спину, а огонь рвется наружу. Не надо резать, — уговаривал он, — черного козленка на перекрестке горных троп и ставить у жертвенника зажженную свечу, а лучше поставить крепкие столбы в саклях. Поставили. Через год бык снова зачесал спину. Камни и деревья упали, столбы в саклях тоже.

Над глупцом много смеялись, но он не успокоился. Когда Мегой загородил луну, слабоголовый посоветовал не отгонять Мегоя метанием в него множества стрел, — это может разозлить Мегоя, и злой дух навсегда загородит луне путь, а лучше задобрить пением. Но ни хелхой, ни деканозы уже не поверили и заставили слабоголового поклясться.

— А какую клятву надо произнести? — быстро спросил Георгий.

— У нас две клятвы. Первая — человек клянется, три раза обходит вокруг жертвенника, держа боевое знамя Алами. Другая клятва — человека ставят на колени около могилы его предков, перед ним кладут ослиное седло и сосуд, из которого кормят собак, и деканоз говорит: «Усопшие наши! Приводим к вам этого человека на суд, предоставляем вам полное право над ним: отдайте его кому хотите в жертву и услужение и сделайте с ним, что хотите, если он не скажет истины».

— Я готов на обе клятвы. У меня здесь нет могилы предков. Поставьте ишачье седло и собачий сосуд перед могилой предков старого Датвиа. Он погиб от персов два года назад. Пусть я буду рабом всех мертвецов, если лживо уверяю в своих возвышенных намерениях.

— Хорошо, Георгий Саакадзе, ты со

знаменем Алами произнесешь перед алтарем клятву.

Под скалой на площади уже шумели тушины.

Георгий стал около дерева, по-тушински выставив вперед правую ногу.

Наконец, появились хевис-бери и старейшие. Анта встал на пригорок. Отсюда все могут его видеть и слышать.

— Тушины! Георгий Саакадзе, которому народ Картли за победу над турками в Сурамском бою дал почетное звание Великого Моурави, на благое дело зовет, на войну с разорителем наших грузинских земель.

Вперед выступил пожилой тушин:

— Я Георгия Саакадзе хорошо знаю, победу над турками он одержал, персов тоже он привел. Прошло два года, а кто забыл, как в славном бою погибли мой отец Датвиа и мой сын Чуа... Погибли — это не беда, каждый тушин желает умереть не на тахте, а сражаясь с врагом... Но помните, тушины, как проклятые богом персы повесили в Гречи тринадцать павших в битве храбрецов?! Кто забыл повешенных Датвиа и Чуа?!

— Никто не забыл!

— Никто, никто!

— Ты будешь отомщен, Гулиа!

— Отомстим, отомстим! — кричали тушины.

— Отомстите?! А слушает Георгия Саакадзе, виновника нанесенного оскорбления, виновника гибели грузин... Забыли, кто указал дорогу заклятому врагу?

Народ молчал.

Вперед выступил Георгий. Он знал, как надо говорить, когда слушает площадь.

— Отважные тушины! Я пришел к вам один, как воин, за воинской помощью. Не оправдывать себя пришел, а говорить о судьбе Картли и Кахети. Сейчас надо забыть все обиды и ошибки. Вражеский ятаган навис над грузинской землей. Гудят горы, кровавый туман стелется по долинам. Обрушимся на извечного врага. Я обещаю вам победить и еще обещаю: после победы я снова приду к вам один — и тогда судите меня.

Георгий снял с себя шашку и протянул хевис-бери.

По площади пронесся сдержанный гул. Эрасти вздрогнул, тревожно оглянулся и приблизился к Саакадзе.

Анта, взяв у Георгия шашку, сурово посмотрел на горячившуюся молодежь.

— Я всем пренебрег: дворцы, почести, богатства — все бросил под ноги своему коню и пришел отомстить заклятому врагу, — продолжал Георгий. — Вы, тушины, горцы, мы, картлийцы, тоже горцы. У вас один враг — шамхал, а мы окружены врагами, как озеро берегом. Ваш щит — горы, и путь ваш простой, наш щит — собственная грудь, и путь наш вокруг озера. Я хочу прорвать преграду, хочу объединить грузин, хочу превратить озеро в бурную реку. Кто скажет — мои намерения вредны народу? Вот отважный Гулиа о своих рыцарях говорил. О Датвиа и Чуа помню и я, Георгий Саакадзе. Пусть у меня в бою конь ослепнет, если я скажу неправду. Старшего сына своего Паата я заложником оставил шаху Аббасу. Оставил, чтобы отомстить за тысячу тысяч Датвиа и Чуа...

Тишина оборвалась. Голоса ударились о голоса. Так камень ударяется о камень.

Заглушая гул, Георгий крикнул:

— Я все сказал. Окажете нам помощь, — слава вам, откажете в помощи, — не остановимся мы. Поступите, как подскажет вам народная правда.

По площади рвались возбужденные голоса:

— Послушаем хевис-бери, послушаем! Анта выступил вперед. Площадь замерла.

— Тушины! Вы слышали Георгия Саакадзе. Кто из тушин помнит, чтобы наши предки отказывали другу в важном деле?!

— Никто! — закричали тушинские витязи.

— Нет, наши предки не опозорили нас, и мы не опозорим их память!

— Лучше человеку надеть покрывало своей жены, чем оскорбить друга отказом стать рядом в битве!

— Пусть я умру у тебя, хевис-бери, если мысли мои уже не на поле битвы!

— Придется нам лишний раз замахнуться шашкой!

— Пусть у того, кто изменит обычаям предков, переломится меч, занесенный над врагом!

И тушины стали закладывать, как перед боем, полы чохи за широкий кожаный пояс.

Анта Девдрис надел на Георгия его шашку и торжественно произнес:

— Георгий Саакадзе, спасибо, что вспомнил о нас, и главе грузинской церкви спасибо. Тушины всегда готовы на отважное дело. Ни суровая непогода, ни голод, ни опасная тропа не оставят нас: опасность для нас наслаждение. Женщины наши при набеге врагов не прячутся и не стонут, а собираются вместе и поют веселыми голосами боевые песни, воспламеняя в мужчинах отвагу. Через три дня на рассвете под знаменем Алами тушины выступят по Баубан-билик¹. Твоих гонцов подождем внизу. Обещаем и мы тебе: победим или умрем!

Анта махнул рукой, на высокой башне вспыхнуло пламя. На далеких башнях запылали ответные огни.

И вмиг несколько тушин вскочили на коней и поскакали к тушинской тропе. Они спешили оповестить горную Тушети о решении хевис-бери.

Деканозы вынесли священные знамена, обвешенные колокольчиками и пестрыми платками. Потрясая знаменами, деканозы напомнили тушинам обычай предков не брать в плен и самим не сдаваться.

Гулиа высоко поднял знамя Алами. В глубокой тишине тушины торжественно склонились перед знаменем. Огненные нарушения обещания — клятвopеступничество, позор для всего общества до седьмого поколения.

Анта положил руку на знамя:

— Да будет нам свидетель ангел боя!

— Все за одного, один за всех!

Витязи обнажили мечи:

— Все за одного, один за всех!

¹ Тропа, высеченная тушинами по хребтам гор на трехдневное расстояние пути.

Вперед выскочил младший сын Анта,
носящий имя отважного витязя Мети¹.
Он запел боевую песню, подхваченную
витязями:

В Бахтриони² злы татары
Темной ночью совещаются:
Отобьем скота отары,
С жизнью пусть тушин прощается.

На Алванском поле станем
И в Ахмети³ виноградники
Жечь три ночи не устанем!
Иль алла! На битву, всадники!

Узнают о том тушины,
Препоясывают весело,
Высоко мечи, с вершины
Вниз ползут, их мгла завесила.

Поздно звезды заиграли,
Над лесными исполинами,
Прискакали к Накерали⁴,
Врезались в Папкасы клинами.

Стали сил ряды несметны
Конь по-нашему⁵ подкованный,
След оставит незаметный,
Стрелы тоже уготованы.

Рассечем рассвет набегом,
Перервем шамхальцев линию,
Завладеем — горе бекам! —
Бахтрионскую твердыню!

Выходи, султан, сначала
Посмотри глазами пыльными,
Сколько витязей примчалось,
Или выведем насильно мы.

Я, Сагиришвили Мети,
Предводимый дуба ангелом,
Проскачу сквозь башни эти,
Семерых отмену франгулой⁶.

Что изощрена точилом,
Знамя вскину гомецарское!
А не то, прошусь с светилом,
Вмиг на девушку татарскую

Обменяйте⁷ Мети-волка,
На чадру — отвагу львиную...

¹ Мети Сагиришвили, всю жизнь победоносно сражавшийся с мусульманами.

² Возвышенность на берегу кахетинской Алазани.

³ Большая древняя грузинская деревня с крепостями и башнями, лежит на противоположном от Бахтриони берегу Алазани.

⁴ Гора между Тушети и Кахети.

⁵ Подковы повернуты назад, чтобы ложным следом ввести в заблуждение врага.

⁶ Шашка-меч, работы франков — европейцев.

⁷ Тушины предпочитают умереть в плену со славою, чем быть обмененными на пленницу у тушин.

Эй, тушины, ждате недолго,
Мчитесь, витязи, лавиною!

Кровь врагов бурлит рекою.
Наши души не погублены, —
Сбит султан стальной рукою,
И шамхальцы все изрублены.

Эй, тушин, в бою бесстрашен!
Пусть стада твои утroyтся.
На Алванском сорок башен
Из костей татарских строятся.

Поле отняли Алвани,
В сочных травах бесконечное.
Не дремать шамхальцам в стане,
Скот наш там на веки-вечные.

И ни царь, ни бог, ни ангел,
Ни медведь, ни дуб, ни гром еще,
Кто владеет силой франгула,
Не окажет дерзким помощи.

Меч тяжелый в пропасть кинет
Пусть жена, кто сам откажется,
И Алванское покинет,
В жаркой битве не покажется.

Нет, трусливые мужчины
Не в Тушетии рождаются.
На коней! В огне вершины,
Праздник битвы приближается!¹

Саакадзе облегченно вздохнул. Он одержал необычайную победу.

Главный жрец взял из рук Гулиа знамя Алами и передал Георгию.

Деканозы выстроились в три ряда, стройно направились к Хитано. Саакадзе со знаменем Алами твердо шагал за жрецами.

В торжественном молчании все тушины последовали к жертвеннику, где Георгий Саакадзе произнесет перед народом клятву.

XXXIX

Цветистые ковры и пестрые ткани свешиваются с желтых и синих резных балконов. Всюду на мутаках лежат бубны, дайра или чонгури. Но неподвижны чонгури, обвитые лентами. Турьи роги и азарпешы пусты. На узорчатых камках не тронуты деревянные подносы и чаши, наполненные сладостями.

¹ Вольный перевод с тушинского Бориса Черного.

Женщины, закрытые кружевными лекачками и покрывалами, безмолвно сидят на плоских крышах.

Разодетый Тбилиси сумрачно смотрит на мутно-коричневые волны. Тысячи сарбазов вползают за Вердибегом в Сеидабадские ворота.

— Танцуйте, черти! Пойте, собачьи дети! — кричат гзире, облетая площади и улочки, размахивая нагайками.

Пронзительно взвизгнула зурна. Качнулись знамена. За ними молча потянулись амкары. Идут певцы, вяло распевая унылые песни. Идут танцоры, еле передвигая ноги. Идут купцы, поздравляют друг друга с радостным днем и прибавляют крепкое слово.

Царь Симон II въехал в Сеидабадские ворота. Навстречу Симону скачет Измаил-хан с персидской знатью. Скачут князья с вооруженными дружинниками.

Ударил колокол Сионского собора, и тбилисские церкви подхватили звон.

Из ворот Метехского замка выехал Шадиман. Чуть позади следует за ним Магаладзе, Церетели, Джавахишвили, Цицишвили и другие князья.

Шадиман надменно восседает на окованном золотом седле. Он снова выезжает, как правитель Картли. Он едет навстречу Симону, царю, которого он вылепил из глины.

Симон торжественно оглядывается. Вот он, нарядный Тбилиси! Вот сейчас царь Симон взойдет на престол Картли. Довольно царствовал хитрый Георгий, изнеженный Луарсаб, скупой Баграт. Он, Симон, поднимет знамя Багратидов до солнца.

Рядом с Сионом скачут Зураб, Карчи-хан, Ага-хан и следом десять минбашей.

Чуть позже показывается Георгий Саакадзе. На нем блистает персидский наряд и меч шаха Аббаса. Навстречу Саакадзе приблизились Дато, Ростом и вооруженные азнауры.

Визжит зурна. Расплаваются звуки пандури. Но нет радостных возгласов, на крышах не танцуют женщины, нет праздничной толкотни и суеты, даже из духанов не несутся обычные пьяные песни.

Спесивый Симон ничего не замечает, даже не замечает, что не встречен высшим духовенством. Это заметил Шадиман. Но Феодосий заявил: духовенство ждет Симона в Сионском соборе, где будет возложена на царя корона Багратидов.

«В первопрестольный Мцхета не пускают: мохамметанин и не желанный народу... Цехорошо» — подумал Шадиман.

Симон ни о чем не думает. Он горделиво сидит на черном жеребце, красуясь на солнце дорогой царской одеждой и выкрашенным усом.

Торжественная процессия приближается к Сионскому собору. И вдруг замешательство. Сутолока. Все топчутся на месте. Кони стучат копытами. С балкона свалился ковер. На соседней крыше громко захохотали.

Симон привстал на стременах и повернул коня, — он раньше помолится в мечети.

Измаил-хан, Карчи-хан и вся персидская знать, выразив радость, последовали за Сионом.

К мечети хлынули с фанатичными выкриками кизыл-баши в красных войлочных колпаках.

Шадиман в тревоге приблизился к Симону. Но напрасно опытный князь хотел удержать от губельного поступка неопытного царя. Шадиман вздрогнул, он заметил смеющиеся глаза Саакадзе.

«Все пропало, Симон процарствует меньше, чем Баграт».

Симон доволен своим решением, пришедшим ему на ум только-что. «Царь должен сам думать... От шаха получил трон, за чалму «льва Ирана» буду держаться, кто свалит? Шадиман мудрец, его советы полезны, но... пока пусть следит за майданом, пусть овец меняет на благовония, сыр на бархат. Говорят, торговля наполняет царские кисеты. Мой отец любил кисеты, но царскими делами я буду управлять не хуже Шадимана».

Толпа странно затихла. Застыли амкарские знамена. Вдруг взвизгнула зурна, и народ стихийно повернул к Сионскому собору.

Дато быстро переглянулся с Саакадзе и, пропустив более половины процессии, рассек воздух нагайкой. Азнауры на конях врезались в середину:

— Куда?! — притворно закричал Дато. — Разве не знаете, царь — мохаммеданин, поэтому раньше в мечеть поехал?

Толпа загудела.

— Шахсей-вахсей¹ хотите, устроить? — тихо спросил Дато, перегнувшись через седло. — Тебя, Сиуш, прошу, не время еще.

Азнауры, образовав цепь, направили, «чтобы густо для собаки не было», половину амкар к мечети.

Шадиман видел притворные усилия, но в душе оправдывал азнауров.

По дороге в мечеть толпа таяла, ловко шныряя в закоулки, переваливаясь через заборчики. К мечети подошли почти одни персиане.

Но после мечети Шадимана ждала еще большая неприятность. У Сионского собора выяснилось — католикос не выйдет навстречу царю. Церковь только для вида признала Симона, навязанного шахом Аббасом.

Но Симону не до церкви.

«Жаль, — думает он, — Шадиман не удержал ведьму Гульшари, и ее бесхвостого чорта, не видели они, как блестит на мне корона... Надо пир двухнедельный устроить с разноцветными огнями, подобно исфаганскому. Невесту себе выберу... Жаль, я и шах Аббас враждуем с Теймуразом, говорят, у него дочь красивая, хотя слишком молодая. Может, к русийскому царю послать за его дочкой? Или к греческому? Луарсаб, кажется, хотел на греческой жениться...»

На остроконечной башне взвился стяг Багратидов.

«Почти бежал, а сейчас царем возвращаюсь» — восхищался собою Симон, въезжая в Метехи.

Саакадзе и «барсы» переступили порог замка. Они взволнованы. Где ост-

роумный Луарсаб? Где красавица Тэгле? Где их бурная молодость?

И уже звенят пандури. Бьют барабаны. Развеваются шелка танцовщиц. Царский пир. Фонтан окрашен зелено-оранжевыми огнями. Сереброгорлые кувшины стоят на пестрых коврах. В роги хлынуло вино времен Левана Кахетинского.

Но Георгий Саакадзе оставался в Метехи только один день. Он, Папуна, Дато, Ростом, Гиви и Эрасти выехали из Тбилиси.

И снова родные леса, долины, горы. Не заезжая в придорожные духаны, не останавливаясь в знакомых деревнях, гонят коней.

А вот Носте, родная Ностури! Скорей, скорей к любимой Русудан!

Навстречу Георгию неслись по лестнице сыновья. Автандил, перескакивая ступеньки, подбежал первым.

Саакадзе изумленно оглядывал Автандила, высокого, необычайно красивого, похожего на Русудан. Сердце Георгия забилось. Он схватил сына, но вспомнил другого: «Нет, я не изменю тебе, любимый Паата» — и Георгий с нарочитой сдержанностью обнял сыновей.

— А это кто? Бежан, сын Эрасти? Какой молодец! — Георгий обнял Бежана. Русудан навсегда взяла в свою семью Дареджан, жену Эрасти с сыном.

Три дня замок оглашался радостными криками. На всех площадках, во дворе, на лестницах, у ворот толпились ностевцы. Каждый хотел поближе увидеть Георгия, каждый хотел услышать: правда ли, что Георгий совсем вернулся в Картли?

Молодежь просилась в личную дружину, пожилые предлагали немедленно сесть на коней. Старики рвались строить новые укрепления, мальчики просились в факельщики.

Носте, беспокойное Носте снова бурлило, снова дышало полной грудью.

Георгий беседовал со стариками, проверял молодежь, хвалил мальчиков, советую заняться немедля подготовкой факелов. Расспрашивал пожилых о наличии коней и без-устали шагал, шагал

¹ Шахсей-вахсей — религиозный обычай самоистязания во время поста в память мученической смерти Хусейна (внука Мохаммеда), убитого в 680 году н. э.

по улочкам любимого Носте, сопровождаемый возбужденной толпой.

Дато и Хорешани уехали гостить в Амши. Там, в маленькой церкви, по настойчивой просьбе Дато, они тихо обвенчались, ибо минул год, как скончался старый князь, муж Хорешани.

В Носте прискакал Даутбек и Дмитрий. Они рассказали о решении кахетинской Тушети. В лесах и ущельях устроены завалы и засады. Тушины ждут сигнала.

Саакадзе внимательно слушал Даутбека. Поддержка не только горных, но и кахетинских тушин расширяла план войны. Саакадзе понимал — и Даутбеку не легко далися тушины, но пусть Даутбек радуется: клятва Саакадзе у жертвенника горной Тушети будет твердой клятвой.

Сегодня к Саакадзе съехались все родные «барсов». Приехали Дато, Хорешани, приехал Иванэ Кавтарадзе. Он еще больше располнел. Самодовольно поглядывая на Дато и на княгиню Хорешани, Иванэ вытирал синим платком потный затылок. Дед сидел рядом с Дмитрием и не спускал с него счастливых глаз. Дмитрий признался:

— Разве я мог не повидать деда?

Разве мог перед боем с персами не перецеловать все морщинки на дорогом лице?

Даутбек вздохнул: «Сколько морщинок прибавилось на дорогих лицах матери и отца? А бедная Миранда, как вдова, живет. Сейчас счастлива... Ростом влюбленным ходит, а кто знает, сколько «барсов» после войны с персами в Носте вернется? Если суждено, пусть лучше я погибну, чем Ростом... Но у каждого человека судьба висит на его шее».

Русудан и Георгий провожали друзей. Тепло мерцали звезды. В потемневшей траве призывно стрекотали цикады. Тихо шелестела листва. В такие вечера неясное томление охватывает человека, и хочется молчать, ощущая горячую руку в своей руке.

Георгий и Русудан поднялись на площадку. Как коротки их часы! Русудан положила голову на плечо мужа:

— Останься Георгий, еще хоть на

один день останься, — просила Русудан.

— Не могу, моя Русудан. Разве Карчи-хан не замышляет уже против Картли? Разве Шадиман не нашептывает Измаил-хану советы? Нет, надолго их нельзя оставлять одних. Скоро, моя Русудан, будем вместе.

Георгий собрал в покоях Русудан сыновей. В эти хлопотливые дни он внимательно присматривался к своей семье. Девочки были подростками, Автандил и Бежан — стройными юношами. С ними хотел говорить Георгий.

— Отец, я чту твою волю, но позволю сказать правду. Мое сердце и ум тянутся не к оружию, а к науке, — говорил юный Бежан. — Я хочу изучить прошлое мира, прошлое нашей страны.

— Наше прошлое записано кровью, мой Бежан, каждая страница дышит войнами и борьбой за родину, за счастье быть грузином. Пятнадцать веков непрерывных боев... И помни, самая благородная наука, — любовь к родине. Конечно, не только мечом можно отстаивать свое право, но только мечом можно утверждать свою силу.

— Да, мой большой отец, крест часто заменяет меч. Я глубоко взволнован чистотой нашей веры. Десять заповедей — это нравственная сила человека. «Не убий» — и я не убью.

— Я тебя не принуждаю, мой Бежан, но помни: даже монахи носят под рясой кинжал... Думаю, для защиты левой щеки, когда их бьют по правой. «Не убий» — для друга, а для врага — убей, сколько можешь. И все ученые, все лучшие люди прославляют доблесть воинов. Наша гордость — Шота Руставели. А о чем говорит «Витязь в тигровой шкуре»? О любви, дружбе и отваге. Вот в чем нравственная сила человека.

— Ты прав, мой большой отец, но пути бывают разные. Я хочу молить небо о ниспослании нашей стране умиротворения...

— Моли, если хочешь, но я думаю, небо мало занимается нашей суетливой землей. Если бы ты слышал мольбу тысячи матерей, их вопли, когда разбивали о камни головы детей, если бы ты

видел, как конница врагов втаптывала в грязь обессиленных женщин, если бы ты видел, как пробовали ханы острие шашек на шеях юношей, если бы ты видел... Да, мой Бежан, такое видение рождает любовь и ненависть, но не веру в милосердие неба... Ты еще юн. Скажи, отец Трифилий часто беседовал с тобой о небе?

— Часто... о земле тоже немало.

— Понимаю... Значит, уйдешь в монастырь?

— Отец Трифилий советует год подумать, но я уже решил.

— Значит, сейчас хочешь?

— Нет, мой большой отец, когда ты изгонишь врагов нашей церкви.

— А ты думаешь, я их крестом буду гнать?

Бежан удивленно, несколько растерянно посмотрел на отца.

— Христос сказал: воздайте кесарю кесарю, а божие богу.

— Церковь хорошо запомнила «кесарево кесарю», запомни и ты: на земле одно право — право сильного. Какому делу ни отдашь жизнь, не забудь земной закон.

В комнате молчали. Георгий думал: «Это мой единственный сын, который уцелеет... Трифилий хочет своего крестника сделать наследником Кватахевского монастыря. Тоже княжество. Что ж, Трифилий не плохой воин и Бежана научит разговаривать с богом, а заодно и с чортом».

«Это наш единственный сын, который уцелеет» — думала и Русудан¹ и мягко опустила руку на колено Саакадзе:

— Не огорчайся, мой Георгий, пусть Бежан молится за Картли, за нас, за нашего Паата... — голос Русудан дрогнул.

— Отец, а мне позволь скакать рядом с тобой. Обещаю драться за себя, за Бежана и за нашего Паата.

Автандил с силой взмахнул шашкой.

Глаза Георгия и Русудан встретились: гордость и радость светились в них.

¹ Но Георгий и Русудан не предугадали: уцелел и Иорам, которому суждено было продлить род Саакадзе под фамилией Тархан-Моурави.

Молчание нарушил десятилетний Иорам:

— Помни, отец, у тебя еще есть в запасе Иорам. Обещаю тебе всегда беречь мать, беречь сестер. Но сейчас, когда ты поднял меч, мой факел будет ярче всех освещать лица врагов, ибо мальчики Носте выбрали меня начальником, а моя мать, лучшая из лучших матерей, уже благословила мой факел.

Георгий обнял Автандила, обнял Иорама, и, точно жалея, особенно горячо поцеловал Бежана.

Пирует Метехский замок. Но отсутствуют светлейшие князья. Нет ни Мамия Гуриели, ни Дадяни, ни Мухран-Батони, ни Ксанского Эристави. Открытый вызов, внушающий тревогу.

Шадиман поднимает золотую чашу, но едва прикасается губами к вину. Шадиман смотрит на музыкантов, но не слышит раската барабанов и труб. Шадиман любезно беседует с ханами, но не видит красных усов и глаз, сладких до приторности.

Четвертый день пира. Фонтан окрашен багрово-красным огнем. На плечах вносятся золотогорлые кувшины с вином времен Симона I, целиком зажаренные бараны с вызолоченными рогами, обвитые розами, утыканые горящими свечками. Желтые язычки облизывают липкий воздух.

Симон упоен. Милостиво передает царскую чашу, произносит напыщенные речи.

Шадиман подает знак. Начинается шайроба — стихотворный поединок. Придворные поэты наперебой восхваляют царя Симона, благороднейшего из благородных, храбрейшего из храбрых. Ханы с интересом слушают чужие напевы. Князья переводят персианам лесть певцов, сравнивающих Симона с молнией и тигром, бурей и вершиной.

Шадиман незаметно покидает зал. За ним влиятельные князья. Они проходят в книгохранилище. Сюда едва проникает шум пира. Мрачно поблескивают черные ниши. У закрытых дверей зоркие чубукчи.

Князья сумрачно слушают Шадимана:

— ... помните ли вы обязанности перед предками и потомками? Вы получили знамена в наследство и наследникам должны передать. А вы что делаете?! Одержимые своеволием и страстями, истребляете друг друга! Ссоры, самоуправства, насильство, буйство! Нет мамасакхлиси, нет тавади! Остановитесь, князья! Только наше могущество может спасти Грузию!

— Что предлагаешь, Шадиман?

Газнели недоверчиво покосился на Палавандишвили.

— Предлагаю забыть вражду родовую и соседскую. Предлагаю прекратить раздробление фамилий. Вы оскудели именьями, разделились и сами унизили свое величие!

— Тебе легко, Шадиман, ты в Марабде один владетель. А вот у меня пять братьев и три племянника, и каждый думает: он умнее другого, — сердито стукнул шашкой Леван Амилахвари.

— Пусть будет хоть двадцать братьев и пятнадцать племянников, владетелем должен быть старший в роду, а остальные — составлять единую семью. Об этом решил говорить с Зурабом Эристави. Необходимо примирить братьев. Зураб — законный наследник. Но к нашему разговору вернемся после ухода персов... Сейчас надо говорить о сегодняшнем дне. Помните, князья, вернулся Саакадзе. Церковь с ним. Недаром Трифилий крутится, как волчок. Перед азнаурской опасностью забудем междоусобную вражду. По примеру древних времен соединим мечи и сообща, одним ударом пронзим дракона, посягающего на княжеские привилегии. Нетрудно догадаться — просто так Саакадзе не пришел бы, он недоброе замышляет.

Шадиман пристально оглядел встревоженные лица.

Князья заговорили. Уже никто не думал оспаривать предложение Шадимана. Вновь ожил страх за свои замки, пережитый два года назад, когда они, побросав шлемы и на ходу надевая чалмы, бросились за Багратом к шаху Аббасу.

Но Шадиман хотел добиться прочного подчинения своей воле.

— Размышлять не время! — предупреждающе закончил Шадиман. — Ровно через день гонцы поскачут к замкам, а к концу пира княжеские дружины должны стянуться к Тбилисской цитадели.

Утром Шадиман беседовал с Измаилханом, Карчи-ханом и Вердибегом.

— Надо усилить в Тбилиси иранские войска, — настаивал Шадиман, — народ неспокоен, трудно так царствовать Симону.

«Не Симону, а тебе» — мысленно усмехнулся Карчи-хан, но вслух учтиво сказал:

— Войска мне самому нужны для других целей, именно — для облегчения царствования Симону.

Только Вердибег поддержал Шадимана:

— Мы пришли успокоить народ, заодно и некоторых князей.

Шадиман не возражал, некоторых князей?! Пожалуйста!

Но Карчи-хан сухими пальцами стукнул по рукоятке: он подождет Саакадзе, он обещает подумать.

Шадиман не хотел ждать... И поскакали молодые князья. К Тбилиси стали быстро стягиваться царские войска и тваладские сотни.

Шадиман поморщился: где Гуния? Где Асламаз? Где блеск тваладцев?! Семья Асламаза говорит — по святым местам ходят азнауры, за царя Луарсаба молятся. Шадиман не верил. Он все с большей тревогой чувствовал, как власть, словно ящерица, ускользает от него.

И снова скачут нацвали и гзири. Из деревень и царских владений снова везут в Тбилиси продукты. Скрипят арбы с хлебом. Ревет скот. Все помещения крепости в Метехи наполнились кувшинами с вином, медом, маслом, сыром. Готовится война с собственным народом.

Шадиман обдумывал. «Церковь против, народ против, могущественные князья против, и Амириңдо за собой много князей увлек. Надо Амириңдо обезоружить. Пусть Симон пригласит

его вновь начальником замка. Не время считать обиды. Надо войной заставить и плебеев, и непокорных князей признать Симона... Зураб поспешил в Анапури, говорят, Баадур бежал с семьей к отцу жены. Этот князь стоит посредине: кто верх возьмет, туда повернет... Душно! Где воздух?! Надо окно открыть, все задохнемся... Что стало с князьями? Никто друг другу ни на абаз не верит. Воюют с соседями, с собственной семьей... Да, политика шаха, — верная политика: разобщить князей и с каждым отдельно, как кошка с мышью, играть. Ни у кого нет твердых желаний. Только я, как скала, стою на страже княжеских знамен. Погибну, но не уступлю! Насильно князей склею! Саакадзе! Ожившая угроза! Не ожившая, а никогда не умирающая!.. Азнауры нарочно распускают слух... Не верю! Саакадзе больше не вернется в Иран! Сына в залог оставил? Не верю! Наверно, побег заранее подготовлен! Одному верю твердо: Саакадзе что-то замышляет... Почему потемнело? Как глухо гудит медь! Эй, кто там? Почему не слышно ступаешь? Кто это?! Ты?! Георгий Саакадзе?! Кто пропустил?! Зачем лег на ковер? Почему молчишь?! Опять смеешься?! Рано! Ты еще не выиграл! Вставай, прошу тебя! Вот вино, пей! Поговорим, наконец, как два равных...»

Шадиман пятится к потайной двери. Цепляется за столики, занавеси, лимонное дерево. Столкнул подставку, фарфоровая ваза качнулась и со звоном рассыпалась на полу.

Шадиман застонал и с ужасом отшатнулся. В черном квадрате двери белело покрывало. Он схватился за сердце, силится крикнуть.

— Что с тобой, Шадиман?! Не ты ли ждал меня в этот час? Мой князь, уже не хотел ли рассмешить меня, разговаривая с моей тенью?

Покрывало соскользнуло. Блеснули светлокаштановые косы. Холодные глаза смотрели на Шадимана.

Шадиман отдернул занавес. Замелькали огни Тбилиси. С шумом Куры в окно ворвался свежий ночной воздух. Шадиман бросился к княгине Цици-

швили, судорожно сжал ее. Рванул платье, жадно впился в упругие обнаженные плечи... Он ненасытно целовал удивленную женщину. Он впитывал жизнь в свое похолодевшее сердце.

Полночь. Цитадель ярко освещена. В большой башне Саакадзе слушал ханов. Он понял: Шадиман успел договориться с ними. Нет, выжидать более опасно.

— Да, храбрый Карчи-хан, надо привести в покорность раньше крупных князей, мелкие покорятся сами.

— Предлагаю разрушить деревни, изрубить непокорных, особенно кахетинцев, — твердил Вердибег.

Саакадзе оборвал долгий спор. Он настаивает на необходимости растянуть колонны сарбазов от Тбилиси до Самухрано и этим не допустить Мухран-Батони и Ксанского Эристави соединить их войска. Такая мера помешает и Гуртели, союзнику Мухран-Батони, приблизиться к Тбилиси.

— Мухран-Батони никого не признает, вот с него и начнем. Но притти в Самухрано надо мирно. Отрубим голову, хвост отпадет сам. Сильных князей попробуем склонить уговором и обложить данью. Истребить всех можно, но лучше с пользой.

Ханы повеселели. Владения Мухран-Батони! Богатства и изобилие табунов. Шелк и отары скота. Вино и ковры! Иншаллах, персидский стан будет переброшен в Самухрано. И, конечно, Непобедимый прав — растянуть войска надо, это обеспечит вторжение иранцев в глубину Картли.

Но когда шаги Саакадзе заглохли, ханы обсудили и кровавый план Вердибега. Довольные возможностью провести Саакадзе, решили держать его в неведении.

— Саакадзе говорит — начнем с головы, но сам он думает удлинить руку. Бисмаллах! Кого он хочет обмануть? Пусть грузин заранее посыплет себя пылью¹, — смеялся Вердибег.

В деревянной чаше синели дымчатые сливы. Около чаши дремал торговец.

¹ В знак горя или траура.

Но некогда было сворачивать коней. Матарс, Пануш и Элизбар, гикнув, перемахнули через фруктовый лоток. Они понеслись по Тбилиси, не замечая ни дороги, ни людей.

От возбуждения «барсы» сначала давились словами. Возложенная на них впервые дипломатическая миссия у пшавов и хевсур проведена блестяще. То ли хевсуры и пшавы сами ненавидят персов, то ли рады оказать Картли услугу, но обещали больше, чем просили Матарс, Пануш и Элизбар. Поднимается Арагва пшавская и Арагва хевсурская. От Орцхали до Ильто бушуют горы. По скатам Борбала и Накерали уже спускается могучая конница.

Как всегда перед боем, Саакадзе долго беседовал с «барсами». Все взвесил Саакадзе: ущелья и реки, долины и леса, часы ночи и дня, солнце и туман, преобладающую силу врага и преимущество нападающих.

Обсудив все случайности и получив точные указания, «барсы» на рассвете снова разъехались. Даже Гиви отправился с Элизбаром в Среднюю Картли к арвинцам. Дато с двумя дружинниками выехал к Эристави Ксанскому, Матарс и Пануш — в Нижнюю Картли, Ростом в Анаури — к Зурабу.

Позже Даутбек и Димитрий тайно направились к Черному морю, в крепость Гониа. Там под защитой турок укрылся от Карчи-хана царь Теймураз. Саакадзе, зная влияние Теймураза на кахетинцев, просил его вернуться в Кахети для разгрома иранцев.

Все «барсы» должны встретиться с Саакадзе у Мцхета.

В монастырях, на высотах, в зарослях лошин, в запертых храмах, в лесных дебрях «барсы» читают народу воззвание Георгия Саакадзе.

И, вспоминая прошлое, снова на призыв Саакадзе сбегается народ.

Бросают мотыгу, бросают пилу, прячут плуг. Зарывают ормо¹. Хватают шашки, дубинки, кинжалы, щиты. Засовывают за пояс топоры. Накидывают бурки и бегут. Бегут из деревень, замков. Бегут в Ничбисский лес.

У Медвежьей пещеры гудит народ. Сюда по десяти горным тропинкам стекаются крестьяне Верхней, Средней и Нижней Картли. Мсахури, глехи, месепе — нет различия. Саакадзе всех называет одним именем — воин.

Ждут Кливидзе.

Жужжит, как встревоженный улей, лес. День, два.

Переломился сук, взметнулись ветви. Из зарослей вынырнул Кливидзе. Размахивая нагайкой, врзался в гущу обрадованных крестьян.

Нодар, лихо подкрутив усики, сбросил башлык.

— Э-хэ! Кливидзе! Победа, батоно! Победа!

— Что кричите?! Бойтесь, иначе Шадиман не услышит?!

— Чертей не боимся, сами бодаться научились! — выкрикнул рыжебородый.

— Скажи, батоно, правда, князья тоже идут с нами?

— О себе думайте! В день сражения тощий конь больше пригодится, чем тучный бык.

— Э-хе, батоно! Хорошо, что пришел!

В лесу становилось тесно. Замелькали чохи, куладжи, бурки, куди, папачи, башлыки.

Ополченцы жгли костры, перебирали стрелы, на оселке точили кинжалы, тряпками обвязывали копыта коней.

Появились азнауры — царские, княжеские. Особенно бурно были встречены Гуния и Асламаз. Они больше года скрывались в Имерети, до этого долго бродили по Тереку. Хотели передать атаману просьбу Луарсаба о помощи, но застали лишь пустые поселения. Казаки всем войском ушли против крымских татар.

Впервые на зов Саакадзе пришли церковные азнауры: Магалишвили, Татиешвили, Карсидзе, Бочоридзе, Квалишвили, Зумбулдзе, Тухарели.

— Монастырские дружины готовы, но ждут разрешения католикоса, а католикос молчит, — заявили азнауры.

Зумбулдизе, расправив свисающие усища, оглядел с ног до головы старого Кливидзе. Бахвался своей дружиной,

¹ Яма для ссыпки зерна.

он спесиво спросил, кто поведет объединенных азнауров в бой.

Кливидзе подбоченился, смахнул набекрень папаху:

— Э, дорогой, если разрешишь, Георгий Саакадзе.

Послышался смех.

Зумбулидзе вспрыгнул на камень:

— Георгий Саакадзе — амир-спасалар, а азнаурские дружины должен вести уважаемый азнаур, которому время посеребрило усы.

Кливидзе пристально смотрел на белые усы:

— Хорошо поешь, только помни, азнаур, выбирать будет Георгий Саакадзе. А тебе дам хороший совет: когда выступаешь перед народом, будь не так сладок, — чтобы тебя не проглотили, и не так горек, — чтобы от тебя не отплевывались.

Крестьяне захохотали.

Напряжение нарастало, чего-то ждали. Взбирались на деревья, подползали к опушке. Наконец, с дерева крикнули: «Спускаются с третьей тропы!..»

Еще издали Даутбек и Димитрий махали папахами. «Барсы» соскочили с коней. Они горячо обнялись и трижды облобызались с Кливидзе.

Быть может, никогда и не было бессмысленной схватки у стен Горис-цихе? Не мелькали азнаурские клинки, залитые азнаурской кровью, и безумная вражда не вырыла братскую могилу? Нет, был это тяжелый сон, но растаял при первых лучах картлийского солнца. Вера в Георгия Саакадзе перечеркнула прошлое. И только в воспоминаниях осталось страшное сказание, распеваемое мествире у лесных костров.

Даутбек тихо шепнул:

— Был у Теймураза. Царь ждет помощи от султана, тогда поспешит в Кахети, а пока просит Георгия защитить кахетинцев.

Кливидзе хлопнул по плечу Даутбека:

— Выходит, Георгий удочку держать будет, а Теймураз рыбу тащить?

Народ нетерпеливо теснился к азнаурам.

— Время не ждет, — кричал Димитрий,

— один удар кинжала дороже тысячи слов.

Даутбек, стоя на коне, развернул свиток:

— Слушайте, грузины!

Народ затаил дыхание.

Как набат, гремели призывные слова Георгия Саакадзе. Они напоминали картлийцам о славных делах предков, о священном долге защищать родину, защищать свою семью: «...Я с вами! Рука моя еще сильна, чтобы отомстить персам за пролитую ими кровь в отечестве моем. Да не будет в Грузии ни власти персидской, на царя-мохаммедина Симона» — закончил Даутбек послание Саакадзе.

И лес зашумел клятвенным обещанием.

Ночь. Тбилиси спит. Дворец католикоса погружен в темноту. Только в глубокой нише молельни ярко горят свечи.

Уйдя в высокое кресло, католикос перебирает четки. Черный клобук с крестом надвинут на лоб. Бархатная мантия с серебряными источниками спадает с плеч.

Напротив католикоса сидит Саакадзе. Четвертый час идет беседа.

«Не уйду, пока не добьюсь полной поддержки церкви» — думает Георгий. Он расстегнул ворот:

— Что выиграете, отказав мне в помощи?! Гибнет страна, а церковные дружины, здоровые, сытые, укрылись за каменными стенами монастырей для защиты церкви. Но разве можно уберечь сердце, подставив под топор голову?

Католикос сурово перебирает четки, и их стук точно отсекает время:

— Божьи храмы должны быть целы.

Саакадзе подался вперед:

— Войско, святой отец, войско! И клянусь не вложить меч в ножны, пока на нашей земле останется хоть один враг.

Последняя четка выскользнула из пальцев католикоса.

— Церковь тебе поможет, сын мой, но помни — церковные земли священны во веки веков. Аминь!

Католикос поднялся. Глаза Саакадзе зажглись радостью. Он вздохнул пол-

ной грудью, точно сдвинул тяжелую глыбу:

— Благослови, святой отец, на священную борьбу с врагами.

Саакадзе опустился на колено и протянул меч. Католикос высоко поднял крест и перекрестил оружие.

Наутро Трифилий совещался с католикосом, потом с Саакадзе и в полдень послешил к Мухран-Батони.

Духовенство тихо разъехалось по землям, подчиненным духовной власти католикоса: Сабаратиано, Саарагво, Самухрано, Саццидиано, Джавахети, Ташишкари, Триалети, Капкули и Ялати¹. Католикос велел поднять народ на священную войну с персами. Повелел монастырским дружинам и ополчению подчиниться Георгию Саакадзе.

И Саакадзе двинул колонны сарбазов к Самухрано. Запылала долина Ксани. Снова бессмысленная жестокость, снова грабежи и разорение встречных деревень, — Саакадзе не препятствовал.

Карчи-хан удивился: где «барсы»? Саакадзе равнодушно ответил:

— «Барсы» ускакали подготовить стан, а также принудить крестьян везти вино и баранов.

Карчи-хан недоволен: принудить мало, надо не жалеть палок для пяток, — бараны сами принесут вино.

Георгий похвалил остроумную речь Карчи-хана.

Ехали молча.

Георгий чутко прислушивался. За каждым кустом, за каждым выступом он чувствовал учащенное дыхание Картли. «Народная ярость бьет не хуже клинка» — думал Георгий.

«Азнауры должны победить» — думал Кливидзе, с большой осторожностью передвигая азнаурские дружины к долинам Самухрано.

XL

Через Ксанскую долину неслись разгоряченные кони. Горное эхо подхватывало стремительный цокот. Солнце уда-

рялось о броню и расплескивалось на изгибах лат.

Саакадзе платком вытер вспотевший лоб Джамбаза.

«Барсы» и сорок дружинников грузин в чешуйчатых кольчугах скакали за Георгием Саакадзе. За ними густой колонной сарбазы.

Саакадзе поднял забрало и пристально оглядел долину. «Ждут, — подумал Георгий, — вот в этом лесу, за оврагом, в узкой лошине, за буграми. Ждут».

Неподвижны зеленые заросли. Спокойна Ксани. Пустынины горные тропы. Безмолвны замки. Ждут.

Георгий обернулся. Высоко на гребне горы замок Ксанских Эристави. Насторожились бойницы и башни. Сквозь зубцы стен просвечивало голубое небо. Суровая тишина сковала замок.

Но долина дышала. По берегам Ксани зрели фруктовые сады. В расщелину юркнула ящерица. Черная коза шарахнулась со скалы. Взметнулись красные куропатки. С обочин в траву прыгали кузнечики, медведки, наполняя воздух тревожным стрекотанием... А на лужайке безмятежно дремал медвежонок. Он приподнял голову, сонными глазами посмотрел на мчавшихся всадников, почесал лапой за ухом, зевнул и снова растянулся на траве.

Саакадзе прищпорил Джамбаза и в брод пересек речку. За ним мчалась персидская конница. Зашумела взбудораженная Ксани. Подковы звонко ударились о кругляки. Летели большие брызги. Мутными пятнами отражались в воде иранские знамена.

Карчи-хан и Вердибег, следуя за Георгием, переговаривались. Видно, нехватит верблюдов, коней и повозок вывезти богатства Самухрано. А еще предстоит дань с Тбилиси и шелк кахетинских князей. Слава аллаху! Наконец, они навсегда покоччат с беспокойной Грузией.

Громко и весело переговаривались «барсы». Они недаром сардары и минбаши шаха, — они покажут, как уничтожать врага. Они отобьют табуны коней, завладеют драгоценным оружием. Как вино из бурдюка, они выпустят кровь из разжиревших врагов. Слава

¹ Подчинены католикосам по постановлению шестого вселенского собора при Константине Погонате, а также собора Антиохийского.

Христу, наконец, «барсы» навсегда закончат с беспокойством Грузии.

Но Саакадзе не говорил и не смеялся. Глубокая складка прорезала переносицу. Острым взором он прощупывал каждый куст, каждый камень. Ждут! Георгий знал — там, за синеющей полоской, учащенно дышат, там бьется нетерпеливое сердце.

На правом берегу Ксани, у деревни, закутанной в зелень садов, Георгий Саакадзе остановился. Он выбрал молодого хана с двумя тысячами сарбазов. Карчи-хану Георгий сказал: необходимо оставить в заслоне отряд для защиты подступов к Мухрани от Эристави Ксанского.

К полудню конная колонна, распотав виноградники, придвинулась к скалистым отрогам, на которых возвышались сумрачные башни.

Саакадзе соскочил с коня, и сопровождаемый «барсами» и Вердибегом, поднялся на крутой выступ. Роскошная Мухранская долина лежала у ног Георгия, но он видел только гору Трех Орлов, покрытую густым лесом. Было тихо, только в чернеющей балке шумел невидимый поток.

Вердибег одобрил решение Саакадзе оставить и здесь две тысячи сарбазов для охраны леса, откуда могут нагрянуть князья, дружественные Мухран-Батони.

И снова Георгий Саакадзе и сорок дружинников-грузин поскакали вперед. Следом, развевая знамена, потянулась поредевшая персидская конница.

Темные тени ночи внезапно легли на Сапурцлийскую долину, владение Мухран-Батони. Бледная звезда мерцала над скалистой вершиной, где гордо высился мухранский замок. Кони устало передвигались во мгле. Саакадзе оставил Джамбаза.

Карчи-хан согласился разбить стан на долине. Он нетерпеливо рвался к замку Мухран-Батони, но ночью опасно, замок не уйдет, а долина ему нужна для завтрашнего дня.

Лощина осветилась зловещим пламенем. Затрещали костры. Сарбазы весело разбивали шатры. К реке на водопой спускали коней, рубили лес, на де-

ревянные заостренные палки нанизывали мясо.

Полночь. Крупные звезды загадочно смотрят с черного неба. Стан спит. Только часовые приглушенно перебираются персидскими словами.

Шатер Карчи-хана окружен двойным кольцом исфаганцев — личной охраны. В каганце мерцает голубой огонек. Из мглы выплывают смуглые лица ханов.

Карчи-хан совещается. Но в шатре нет Георгия Саакадзе, нет грузин. Еще в Тбилиси тайно от Саакадзе Карчи-хан послал в Кахети гонцов к богатым князьям.

«Аллах всевышний, о, аллах! Благодаря мудрости шах-ин-шаха крылья тишины распростерлись над Грузией. Города умиротворены. Грузинский народ, вознося благодарность «льву Ирана», возвращается к земле и солнцу.

Да будет вечный мир между Ираном и Кахетинским царством. Прибудьте в Самухрано и присутствуйте на утверждении мира. Лично подпишите фирман и примите дары, присланные вам шах-ин-шахом за верность.

Во имя аллаха милосердного, раб веры Карчи-хан».

И вот вернувшийся гонец незаметно проскользнул в шатер Карчи-хана.

Эрасти еще ниже пригнулся и опустил ветки кустов.

Гонец рассказывал о ликовании кахетинских князей. Обрадованные миром, они спешат во владения Мухран-Батони. Завтра в долине Сапурцлийской кахетинцы представятся Карчи-хану.

Ханы смеются: хорошие дары завтра получат князья...

Шатер Георгия Саакадзе окружен личной охраной — сорока грузинами. Саакадзе совещается. Но в шатре нет Карчи-хана, не сидят кизыл-башы. Прикрытый медной чашей, горит светильник, бросая красные отсветы на потемневшее лицо Георгия Саакадзе.

— Помните, друзья, малейший промах, — и конец Грузии. Истребление и разорение народа достигло предела. Нет царя, нет единого войска, нет страны. Предстоящая битва или продолжит ис-

торию картвелов, или прекратит жизнь Грузии.

— Нет, Георгий, пусть было Упадари, но будет и Мухранская долина, — сдержанно ответил Даутбек.

— Против нас, — понизил голос Георгий, — многочисленные персидские полчища. Наше превосходство — внезапность и стремительность. Первый удар нанесем в долине Сапурцлийской. Карчи-хан, конечно, бросится к Мухета, на соединение с Измаил-ханом. Необходимо, спасая Тбилиси, отбросить персов от моста. Тогда они, минуя город, повернут к Июри. Сарбазов, оставленных на правом берегу Ксани, должны уничтожить хевсуры и пшавы. Сарбазов у горного леса поручим Нодару Кливидзе, — давно рвется в бой. Мухетский мост будет защищать сам Кливидзе.

Георгий поднялся, надел шлем и меч. Он просил «барсов» не рисковать попусту и не увлекаться пылом сражения. «Барсы» должны помнить: дело освобождения родины находится сейчас в их руках.

— Карчи-хан думает: мы в сладком неведении о его сговоре с Пейкар-ханом. Но Эрасти сегодня выследил тайного гонца. Пусть ханы думают, что обманули нас, это полезно для завтрашнего дня.

Георгий направился к выходу. Дато и Димитрий снова убеждали Саакадзе поручить им встречу с Кливидзе, а самому хотя бы немного отдохнуть перед трудным утром.

Георгий усмехнулся и откинул полу шатра. Стража не удивилась, увидя на коне Саакадзе: большой сардар любил ночью объезжать стан и осматривать дороги, так он делал не раз в войнах с османами.

Не удивилась и выезду «барсов», ибо и мин-баши любили ночью проверять окрестности. Конечно, и копыта коней перевязаны из предосторожности. Вот храбрые мин-баши по-двое разъехались в разные стороны долины.

Георгий, Дато, Димитрий и Эрасти углубились в лес. В этот миг Георгий сжег мост, соединяющий его с Ираном. Отбросил, словно отрубил мечом, мысли

о Носте, о Русудан, о сыновьях. Одна мысль владела Георгием — вдохнуть жизнь в омертвевшее сердце Картли.

Темные заросли вплотную надвинулись на тропу. Из глубины балки повеяло ночною свежестью. В густосинем небе чернели грани вершин. Здесь укрылось ополчение Ницбисского леса.

Кто-то схватил под уздцы коня. Всадник в серой броне тихо проговорил: «Сакартвело»¹. Из темноты вынырнула палка с нанизанными светлячками и осветила лицо Саакадзе.

— Победа! — прошептал голос.

— Победа! — ответил Георгий и, соскочив с коня, обнял Кливидзе. Защуршали ветви.

Георгий изумился: перед ним точно выросли Гуния и Асламаз. Они скрывались от Шадимана у казаков на Терреке и в Имерети. Они горели мстостью к персам и просили Георгия забыть их недомыслие и снова считать их в союзе азнауров.

— Сейчас не время вспоминать ошибки, — сурово ответил Георгий и подзвал Нодара.

Совещались недолго. Азнауры поняли своего предводителя.

— Будет сделано, батоно, — тихо сказал Нодар и бесшумно повел дружину к горе Трех Орлов.

Кливидзе с азнаурами и ополчением двинулся сквозь лесные заросли к Мухетскому мосту. Гуния и Асламаз направились к узкой ложине. Лес наполнился шорохом.

В ночной мгле, сдавливая долину, неслышно надвигаются черные валы. Перекатываются через бугры, лощины, балки. Упали за выступы, и снова тишина.

Затрещали в оврагах сухие ветки, стукнул покотившийся камень, посыпалась земля. Ближе подкрадываются мохнатые папахи, упали за кустарники, и снова тишина.

В серых сумерках расплывался стан. Крупная роса блестела на листьях. Ни дуновения ветра. Только осторожный стук копыт. Георгий подъехал к шатру. Эрасти бесшумно расседлал Джамбаза.

¹ Сакартвело — Грузия.

На мохнатую бурку, не раздеваясь, легли Георгий, Дато и Димитрий. Эрасти подложил под голову Георгия седло и растянулся у порога.

Но кто мог заснуть в такую ночь? Тревожило томительное ожидание. Придут до рассвета грузины или... Георгий вскакивал, откидывал полу шатра, острыми глазами вглядывался в густую мглу.

Но молчали темные отроги, сквозь разорванные облака искрились холодные звезды, и только в молодой траве стрекотал кузнечик.

Георгий опускался на бурку, привычно прислонялся к седлу.

Неясный шорох. В шатер проскальзывали силуэты и шептамы: «Не идет, батано...»

Стан проснулся рано. В желтых лужицах блестело солнце. Сарбазы нехотя чистили коней. Сигналисты чистили флейты. На кострах варился рис. В реке купались, стирали плащи.

Рябой он-баши, сидя на барабане, пробирал сарбаза за плохо сваренный кофе.

Саакадзе в кольчуге ходил с «барсами» по стану, поглядывая на вершины. Он мельком взглянул на дергающиеся усы Димитрия, на потемневшие глаза Дато.

— Скоро, — сдавленно проговорил Георгий, — Эрасти, держись ближе.

Вдруг Георгий резко повернулся. К стану приближались всадники. Вердибег с мин-башами поскакал к ним навстречу.

Вачнадзе, Джандиери, Андроникашвили и все влиятельные князья Кахети! Без войска, с малочисленной охраной! Зачем они приехали?

Но Георгий изумился еще больше: Вердибег, нарочито не замечая Саакадзе, любезно пригласил князей к Карчи-хану. И сразу в шатер за князьями хлынули он-баши и юз-баши.

— Коня! — крикнул Георгий. — Приготовьтесь, барсы! — Саакадзе вскочил на коня, выхватил у Эрасти сокола с привязанным к лапке лоскутом. Сокол взвился к небу, в синеве заколыхался алый лоскут.

Георгий Саакадзе взмахнул мечом и, стоя на коне, загремел:

— Прощай, Паата! Во имя родины! Э-э, грузины! К оружию!

И сразу вокруг долины взметнулся рев:

— Эхэ! Хэ! Э-э! Победа!

Ожили расщелины, выступы, камни. Сверкнули круглые щиты, окованные железом. На черном сукне замелькали красные кресты. Зураб Эристави, закованный в броню, неся к Саакадзе. За ним густой лавиной скакали арагвинцы, хевсуры, пшавы.

Внезапно из шатра Карчи-хана вырвался вопль:

— Помогите! Грузины, помогите! О-о! Убивают!

Димитрий взглянул на Георгия и, потрясая шашкой, бросился в шатер. За ним — «барсы» и дружинники.

Из леса выскочил олень и, путаясь рогами в зарослях, помчался к реке. И тотчас на опушку галопом выехал Автандил Саакадзе. На солнце блеснул золотистый конь с белым пятном на лбу и стремительно скатился в лошину. За Автандилом мчалась ностевская дружина.

Сарбазы растерянно заметались по стану. Судорожно седлали коней, хватали оружие. Кто-то силился выкатить медную пушку. Скакуны, сорвавшиеся с коновязей, неслись по долине. Тревожное ржание подхватывалось эхо. Засветили стрельы. Пожилой сарбаз, сидя на корточках, собирал горстями рис из опрокинутого котла...

Автандил бросился в гущу сарбазов. Ностевцы сдвигали повозки, не давая сарбазам седлать коней, сея панику и смятение. Автандил прорывался к пушке.

Высокий дружинник силился вытащить из груди пронзившую его пику. Кто-то неистово кричал. Кто-то молча о пощаде. Кто-то швырял горящие головни в ностевцев.

Шатер Карчи-хана качался, как парус в бурю. Оттуда вырывались отчаянные крики.

В шатре скрежетали клинки. По полотнищам стекала кровь. Уцелевшие кахетинцы устремились к выходу.

Димитрий, рубя он-башей, рвался к Карчи-хану. Даутбек хладнокровно истреблял у входа стражу. Дато, левой рукой отмахиваясь кинжалом, правой выдергивал свой меч из живота юз-баши.

Элизбар, Пануш, Матарс, Гиви, опьяневшие от восторга, рубили охрану.

Карчи-хан, Вердибег, ханы, мин-баши, отбивая удары, пятились от «барсов». Вердибег с проклятием рассек стену шатра и выбежал на поляну. За ним Карчи-хан и кизыл-баши. Миг — и ханы очутились на конях.

Ударил пушка. Пороховой дым сизыми клубами пополз по долине. Кровавая сеча затуманила глаза Вердибегу. Он вырвал у он-баши саблю и бросился к сарбазам. Его грозный окрик подбодрил исфаганцев.

На долину все мчались новые грузинские дружины. Ловкие пшавы, суровые хевсуры и арагвинцы, гибкие урбийцы, плотные сабаратинцы наполнили долину грохотом оружия и воинственными выкриками.

Карчи-хан понял все.

Напрасно ханы пытались восстановить строй. Войска не было. Толпы сарбазов металась по Сапурцлийской долине, пытаясь прорвать кольцо. Крики «алла, алла!», взвизги стрел, лязг брони, свист клинков слились в пронзительный вой.

Наконец, Карчи-хану удалось именем аллаха и шайтана остановить бегущих сарбазов и выстроить их треугольником против грузин.

Имея пушки и численный перевес войска, Карчи-хан готовился к яростной атаке. Но Саакадзе с пшавами и хевсурами врезался в середину треугольника. Расклинив сарбазов и оттеснив к скату, Саакадзе опрокинул колонну Карчи-хана в узкую лошину. Там иранцев встретили в шашки Даутбек, Элизбар с урбийскими дружинниками и Гуния, Асламаз с тваладской конницей.

На разгоряченном Джамбазе Георгий Саакадзе летал с одного края долины на другой. Тяжело громыхали доспехи. С глазами, налитыми огнем, он был неистов. Меч равномерно поднимался и опускался, точно рубил лес.

В ужасе металась от Саакадзе потря-

сенные сарбазы. Его громоподобный крик леденил кровь.

Саакадзе неожиданно перестроил немногочисленные дружины. Они растянулись целью, не выпуская иранцев из долины. На правом краю Зураб с арагвинцами смял конницу Вердибега. «Барсы» с дружинами прикрывали все проходы, не давая иранскому войску выйти из окружения.

Кахетинские князья Вачнадзе и Джандиери рубились с сарбазами, как простые дружинники.

Дато стремился овладеть пушками. Он осыпал персидских пушкарей дротиками и стрелами.

Но Вердибег, опасаясь истребительного огня против иранцев, сам сбил пушки и бросился к бугру, где дрался Димитрий.

Слева на Вердибега налетел Автандил с ностевской дружиной.

— Мечь, грузины, мечь! — всюду слышался голос Саакадзе.

На замке Мухран-Батони взвилось знамя. Ворота распахнулись, и вниз хлынула знаменитая конница Самухрано. Впереди с шашкою наголо скакал старик Мухран-Батони, за ним сыновья и внуки. Особенно блистала конница старших сыновей Мухран-Батони — Мирвана и Вахтанга.

Восхищение «барсов» вызвал сын Вахтанга красавец Кайхосро. Он с необыкновенной ловкостью обошел Карчи-хана и неожиданно врезался в колонну сарбазов, боковым ударом рассеивая врагов.

Неистовые крики «мужество! мужество!» смешивались с «алла, алла!» Голоса воинов, тяжелое дыхание живых и умирающих слились в один комок ненависти, ярости и отчаяния.

Карчи-хан и ханы вновь пытались угрозами остановить паническое бегство сарбазов, но напрасно! Усеивая Сапурцлийскую долину трупами, иранцы хлынули к Мцхета, увлекая за собой Карчи-хана и Вердибега.

Надвигались сумерки.

Карчи-хан пошел на отчаянное средство. Верблюдами и повозками с провиантом он загородил проход в теснине и занял горный лес.

Застучали топоры. Из деревьев и камней выросли завалы. Лихорадочно рублился густой орешник. По узким тропам, скрываемым мраком, поползли чапары¹ в Тбилиси, в Кахети, в Исфгань.

Саакадзе оглядел лес, завалы: предстоит новое сражение с Карчи-ханом и Вердибегом, опытными полководцами, успевшими укрепиться.

Загремели призывные роги. Саакадзе собрал грузинское войско. Оно подковой расположилось у подножия гор. Не расседлывались кони, не разжигались костры. Георгий отдавал четкие приказания, гонцы скакали в разные стороны и исчезали в густой темноте.

В полночь послышался торопливый бег коней. На всем скаку спрыгнул Нодар Кливидзе.

— Нет больше сарбазов у горы Трех Орлов, — кричал Нодар, размахивая отбитым знаменем.

Саакадзе поправил на Нодаре ремень шашки и, не спрашивая подробностей поражения иранцев, приказал перебросить ополчение Ничбисского леса к Мцхетскому мосту на подкрепление Кливидзе.

На рассвете подошел Эристави Ксанский с трехтысячной дружиной. Сбитые налокотники, пятна крови на цагах и радостный блеск глаз Эристави Ксанского говорили о разгроме двух тысяч сарбазов в долине Ксани.

Короткое совещание в шатре Мухран-Батони — и к лесу поползли дружинники. Вскоре огромное пламя бросило на небо желто-красные отсветы. Клубился едкий дым. Тревожные крики птиц огласили лес. И, перекрывая их, слышались человеческие вопли.

— Пора! — сказал Саакадзе, вскакивая на Джембазу.

Гонимые огнем, Карчи-хан и Вердибег с конными сарбазами бросились к лошине. Сарбазы прикрывали бегство ханов к Мцхета. Но грузины, широко развернувшись, преследовали врага.

Саакадзе скакал впереди. В предрасветной мгле он напряженно следил за

Карчи-ханом, припавшим к гриве коня. Саакадзе взмахнул нагайкой. Кони перепрыгивали сонные кустарники, поваленные стволы, затихшие ручьи. Мелькали лощины с еще свернутыми цветами, плакучие ивы с серебристыми листьями, озерки. Кружились горы, заросли, облака, птицы.

В обостренной памяти пронеслось прошлое: Багдадский бой! Он, Георгий Саакадзе, выхватывает у янычара пурпурное знамя с полумесяцем, испещренное изречениями корана. Индия! Белый слон с позолоченными бивнями — трофей, отнятый им в битве у раджи. Исфгань! Бушующая восторгом площадь, и он, коленопреклоненный перед шахом Аббасом. Нет, это не мираж — эта крутая тропа. Голова Карчи-хана — завершение страшного круга жизни.

На каменистый бугор взлетел Джембаз и перепрыгнул русло с кругляками.

Карчи-хан оглянулся. Ужас искажил багровое лицо. Он яростно хлестал хрипящего коня.

Джембаз ударился о седло Карчи-хана. Саакадзе приподнялся, взметнулся меч, резкий удар — рассеченный Карчи-хан свалился под копыта Джембаза.

Дикий рев сарбазов. Бешено скачет Вердибег. Отчаянный прыжок в реку, — и Вердибег вынесен и скрылся за скалистым выступом. В беспорядке ринулась за Вердибегом иранская лавина.

Снова ночь. По шумной Куре прыгают огненные блики. Над Мцхетским мостом пылают факелы.

Черная волна поднялась на гребне гор и скатилась с отрогов. С свирепым ревом «алла, алла!» густые толпы бросились к мосту.

Кливидзе встретил кизыл-башей яростным ударом азнаурских сабель. На тесном мосту поднялась невообразимая давка. Никто не мог размахнуться шашкой, дрались кинжалом, ножами, врукопашную, раздирали лица, рвали уши, кусались.

У подступа к мосту бился Нодар. Ощетинившись кинжалами, лезли за Нодаром ничбисцы.

Авандил с ностевцами прискакал поздно. Он целый день вступал в стыч-

¹ Чапары — гонцы для особо важных известий.

ки с отдельными группами сарбазов, бегущими по разным тропам и дорогам.

В момент, когда сарбазы стеной полезли на мост и чуть было не прорвались, подоспели свежие дружины.

Дато и Гиви с урбнийцами бросились в воду и с коней, цепляясь за выступы арок, вылезли на середину моста. Гиви проворно работал кинжалом, сбрасывая убитых в темную пасть Куры.

— Свети сюда, Иорам, — кричал Гиви начальнику факельщиков.

Откуда-то из мрака вынырнули сотни ностевских мальчишек с пылающими факелами. Увлеченные сражением, они горящими факелами в азарте били сарбазов по головам.

Дато кинжалом пробивал себе путь к израненному Кливидзе.

— Наверно, персов двадцать тысяч, нас едва пятьсот шашек, всех не перебьешь, надо спасать Кливидзе. — И, ловко подскочив к Кливидзе, приподнял его на руках и, перекинув через мост, передал дружинникам, ожидающим на берегу с конями.

Ханы, видя невозможность прорвать заграждение, бросили мост и устремились к кахетинской дороге. Даутбек и Дмитрий с дружинами преследовали бегущих, то в стычках опрокидывая многочисленного врага, то затрудняя переправу, сбрасывая кизыл-башей в потоки, то в сабельном бою усеивали долины изрубленными трупами.

Ночь кончалась. На утесах висели серые хлопья предутреннего тумана. Впереди чернел лес, взбирающийся на вершины. Там расплывались нестройные колонны сарбазов. Даутбек оглянулся: он слишком далеко оторвался от главных грузинских сил.

— Дмитрий, довольно! Пока не рассвело, повернем коней, иначе все будем уничтожены.

— Как повернем?! Впереди сколько ишачьих сыновей целыми уходят!

— И позади враг не добит, а наша жизнь еще нужна. Здесь хорошо накормили собак. В Кахети тоже надо веселый пилав приготовить. Тушины ждут сигнала, — и Даутбек, схватив за узду коня Дмитрия, приказал дружинникам повернуть.

Дмитрий хотел выругаться и рванулся было вперед, но, взглянув на окровавленное лицо Даутбека, смягчился:

— Рыбья у тебя кровь, Даутбек! Давай голову перевяжу.

— Успеешь!..

И Даутбек поскакал обратно к мосту, за ним Дмитрий и дружинники.

В разгаре сражения Георгия Саакадзе с Ага-ханом прикрывавшим бегство главных сил Вердибега, примчался Гиви.

— Э-эй, Георгий! Отбили мост, в Кахети бегут шакалы! — кричал он еще издали, размахивая окровавленной шашкой.

Саакадзе велел Зурабу с арагвским войском перевалить горы, занять рубежи, разделяющие Картли и Кахети, расположить войско по линии Бахтриони — Ахмети и преградить этим дорогу Пеикар-хану.

Матарс и Пануш, перекинув через седла хурджины, отправились через горы к Баубан-билик. Они должны были передать тушинам указания Саакадзе занять все караванные пути, все горные тропы и не пропускать в Иран ни купцов, ни нищих, ни монахов, ни путешественников, ни гонцов. Пусть даже птица не перелетит границу Грузии.

Саакадзе понимал: в два дня не изрубить стотысячное войско. Опытный глаз его насчитывал не более десяти тысяч потерь у иранцев. Но и эта неизмеримая победа — результат растянутости иранского войска и слабой связи Карчи-хана с Тбилиси и с правителем Кахети Пеикар-ханом.

И еще Саакадзе знал — из Ганджи, Еревана, Карабаха, Ширвана на скоростных верблюдах и скакунах спешат на помощь Вердибегу ханы с войсками персидского Азербайджана. Знал — Пеикар-хан вооружает кахетинских кизыл-башей и переселенцев. Но также знал об отсутствии у иранцев собственного провианта, о превосходстве хевсуро-пшаво-тушинской конницы, о разгроме тушинами шамхала, который на этот раз не сможет оказать шаху Аббасу помощи, не оттянет тушин, не зайдет в тыл кахетинскому войску. Знал и о бессилиии ханов перед запутанностью гор-

ных троп и путей и главное — о никогда неутолимой ненависти грузинского народа к поработителям. За каждым выступом, за каждым поворотом дороги, за каждым кустом поджидали врага клинок, копьё и стрела.

Все это знал Георгий Саакадзе и решил победить.

Мухран-Батони предложил обсудить дальнейшее, но ополчение рвалось вперед, забыв о сне, о еде. Победа опьяняла. По ущельям и горам эхо разносило торжествующие крики, и снова, как когда-то в Сурамской долине, народ бежал к Георгию Саакадзе, по дороге присоединяясь к идущим на Тбилиси дружинникам Мухран-Батони, Ксанского Эристава и Кливидзе.

И, где бы ни проходило грузинское войско, из деревень выбегали женщины, дети, опираясь на палки, спешили старики. Несли кувшины с холодной водой, из бурдючков напеживали вино, в пестрых платках протягивали горячие лепешки, на деревянных подносах зелень, в чашах густое мацони.

Откинув покрывало, девушка с сверкающими глазами набросила на плечо Георгия Саакадзе белый платок и полила холодной водой его большие, покрытые кровавыми пятнами, руки.

Георгий Саакадзе сидел на обгорелом пне и торопливо поедал из глиняной чаши дымящееся лобио. Он два дня ничего не ел, и сейчас для привала не было времени. Народ спешил в Тбилиси.

— Освободим Тбилиси! Освободим Тбилиси от шахских собак! — слышались воинственные крики.

Старики долго смотрели вслед Саакадзе. До поздней ночи взбудораженные крестьяне слушали рассказы стариков об Амирани, который пробудился и сейчас шагает по Картли тяжелой поступью Георгия Саакадзе.

Все ближе придвигались к Тбилиси картлийские дружины. Георгий ехал, окруженный своим народом. Он улыбался улыбкой, покоряющей сердца воинов.

Пройдено Дигомское поле. Уже виднеются зубчатые стены Тбилисской цитадели.

Тбилиси насторожен. В Метехском замке и крепости тревога. Персидский гарнизон спешно готовится к обороне. Шадиман день и ночь скачет по Тбилиси, руководя укреплением. Он усилил предкрепостные завалы, закрыл наглухо Метехи, поставив в бойницы опытных стрелометов и, несмотря на спесивые протесты, почти насильно перевез Симона в крепость. Шадиман чувствовал, он блуждает в лабиринте: все делается наизнанку, какое-то шутовство!

Он, Шадиман, всю жизнь был связан с Турцией. Георгий Саакадзе под Ереваном с персами крошил турок. Значит, Шадиман сейчас должен вызвать турок и доколотить персов. А он что делает? Конечно, нужно гнать персов из Картли, а он, Шадиман, с персами укрепляет Тбилиси против картлийцев. Саакадзе шел с шахом Аббасом, и церковь, проклиная азнаура Саакадзе, благословляла князя Шадимана, укреплявшего границы Картли и Кахети. Сейчас Саакадзе идет против шаха Аббаса, и церковь проклинает князя Шадимана за союз с царем-мохамметанином и благословляет Саакадзе, который избавляет Картли от персидского рабства. Но кто привез царя-мохамметанина? Георгий Саакадзе! А кто радостно встречал? Он, князь Шадиман Бараташвили! Только сатана мог так сварить! Что же должен делать блистательный князь Шадиман Бараташвили, четверть века борющийся за возвеличание Картлийского царства? Но это невозможно. Он, Шадиман, непримиримый враг плебеев. Саакадзе — непримиримый враг аристократов. А персидские ханы — друзья грузин аристократов? Избиение Карчиханом князей Кахети не вопиющее вероломство? А Георгий Саакадзе не отомстил за князей? И не с ним ли идет сейчас лучшие князья Картли? Не с ним ли идет картлийский народ, ненавидящий кровожадных персов?.. А я что, влюблен в собачьих детей?!

И Шадиман с пожелтевшим лицом неистово с помощью ханов укрепляет Тбилиси против грузин.

Арбы под окрики гзиря сбрасывают известь. Мулы поднимают на Табор бревна. Нищие сгибаются под глыбами

камней, ибо камненосцы попрятались. Брань, хлопанье бичей, угрозы, а укрепления не растут.

Сарбазы заняли все бойницы и башни на тбилисских стенах. Обвешанные оружием, они, однако, рискуют показываться на улочках только группами. Но и грузины, обвешанные оружием, тоже не ходят в одиночку.

Амкарские ряды закрыты. Не слышно оглушающего перестука молотков. На майдане не мелькают аршины, не стучат весы, не звенят монеты. Лавки наглухо заколочены. Караваны укрылись в караван-сараях. И даже в духанах примолкла зурна.

И только в даба-ханэ с утренних звезд до темноты дабаханщички в чанах с мыльными отходами бань дубят кожи.

Женщины, разостлав ковры на плоских крышах, с утра устраиваются для наблюдений.

В узких двориках мальчишки, оседлав палки, под молчаливое одобрение взрослых, играют в избиение кизыл-башей. Но поднимаются споры, переходящие в настоящую драку, ибо все хотят быть Георгием Саакадзе, и никто не хочет изображать Карчи-хана.

На углах и перекрестках собираются амкары. Они иронически следят за мечущимся Шадиманом, насмешливыми восклицаниями провожают княжеских копыносцев, с подчеркнутым сочувствием желают здоровья охрипшим гзире.

Немое презрение народа чувствует Шадиман и злобно хлещет коня.

Гзире стараются прошмыгнуть мимо амкар и не попадаться на глаза правителю.

Шадиман готовится к осадному положению, и двор Симона переезжает в цитадель. Там, под защитой Измаил-хана, царь Симон будет ждать поражения взбесившегося Саакадзе.

По крепостному подъему непрерывно тянутся верблюды, кони, арбы, носилки. Наконец, на сером жеребце показался сам Симон с охраной и свитой. В раззолоченных паланкинах княгини и княжны.

Сиуш, покачивая головой, с сожалением провожал взглядом удаляющиеся

сундуки. Бежан подтолкнул Сиуша и прищелкнул языком:

— Хозяину жаль унесенного волком, а волку-то что осталось!

Духанщик Пануш, стоя на крыше, посмотрел на Симона, прикрывающего рукой то место губы, где должен быть левый ус. Перегнувшись, Пануш крикнул Сиушу:

— Э, не знаешь, дорогой, у какого хвостатого гостит наш царь Баграат? Помнишь, волка волком называли, а чекалка разорила весь свет!

Амкарские подмастерья расхохотались. Гзире с коня огрел их плетью.

Пожилой купец нагнулся к Вардану Мудрому, который ощупывал за пазухой ключи:

— Что скажешь, Мудрый? Почему князь Шадиман так вокруг персов кружится?

— Цэ! Из любви к винограду целует плетень сада!

Так, провожаемый тбилисцами, царь Симон надолго скрылся за крепостными башнями.

Буйно вкатилось через Дигомские ворота войско Георгия Саакадзе. Мухран-Батони с мухранцами размашистой рысью въехал в широко распахнувшиеся Высокие ворота. Эристави с дружинниками обогнул Тбилиси и въехал в Речные ворота. Кливидзе с азнаурской конницей и Нодар с ополчением Ничбисского леса прошли левым берегом Куры, предупреждая возможное отступление Измаил-хана, перерезали кахетинскую дорогу и вошли через Авлабарские ворота. «Барсы» с хевсурами и пшавами и Автаидил с ностевской дружиной подковой сдавили Сололакские отроги, на скалистом гребне которых возвышалась Тбилисская крепость.

Тбилисцы ликовали скрытно, ибо католикос приказал пока не дразнить кизыл-башей радостью.

Саакадзе решил не тратить время на взятие цитадели, где до его возвращения осажденные Симон и Шадиман будут себя чувствовать как малоопасные преступники в Нарикала. А сейчас нельзя давать опомниться врагу. Стре-

мительный удар на Пеикар-хана даст возможность окружить Вердибега.

«Барсы» навестили амкарства оружейников, кузнецов, и в дружины Георгия Саакадзе потекли молодые амкары, подмастерья, ученики. На конях, пешком, на верблюдах, вооруженные клинками, пиками и кинжалами своей работы, они переполняли караван-сарай и площади.

Важно покручивая усы, Кливидзе размещал по дружинам городское ополчение.

Дато и Димитрий отправились к дабахчам. Заткнув носы войлоком, отплеываясь и отругиваясь, они вошли в даба-ханэ.

Услышав призыв, изумленные и обрадованные дабахчи выпрыгнули из чанов.

Защищать Картли?! Они, дабахчи?! Тогда кто такой Георгий Саакадзе, если дабахчи тоже нужны? Семьи сыты будут? Получат лаваш и мясо?! Когда семьи дабахчей видели мясо?!

Пусть Георгий Саакадзе знает — дабахчи не хуже других рубят кинжалом... Их амкарство шестьсот человек имеет. Все пойдут дубить кожу врага.

По приказу Саакадзе купцы спешно раздали дабахчам одежду, а амкары оружие.

Папуна, в чьем распоряжении находились отбитые и брошенные сарбазами кони, выделил дабахчам кабардинских скакунов. Невысокие, тонконогие, с короткими шеями и красивыми головами, кабардинцы не требовали особого ухода, но, как и дабахчи, стойко переносили жар и холод.

Словно огромный котел, кипел ночной Тбилиси. Никто не спал, все вооружалось. Каждый стремился уйти с Георгием Саакадзе.

В Тбилиси оставался Ксанский Эристави с личным войском. Он поклялся: скорее его съедят крысы, прежде чем хоть один кизыл-баш выйдет из осажденной крепости до возвращения Саакадзе.

До глубокой ночи Георгий Саакадзе, Мухран-Батони и Эристави Ксанский советовались с католикосом.

Утром грузинское войско выстрои-

лось по улицам и площадям Тбилиси. На стенах цитадели чернели точки. Видно, иранцы наблюдали за городом.

Молчали колокола тбилисских храмов, но в Сионском соборе шло молебствие. Католикос, благословив Саакадзе на дальнейшую борьбу с врагами и пожелав Мухран-Батони прославить новой победой Самухрано, вручил Саакадзе знамя Иверии.

Под сводами взметнулся темнокрасный бархат. Между серебряными восьмиугольными звездами в верхнем левом и нижнем правом углах стремительно рвался вперед серебряный конь.

Саакадзе сжал древко. Горячая волна прилила к сердцу Георгия. Он почувствовал, что в своей руке он держит судьбу Грузии.

XLI

Вердибег оправился от удара в Сапурцлийской долине и, заменив Карчи-хана, стал во главе войска. Толпы сарбазов стягивались к ущелью хребта, отделяющего Картли от Кахети. Вердибег решил укрепиться в Норно и ждать возвращения гонцов от Пеикар-хана.

Собрав всех мин-башей, Вердибег приказал немедленно согнать сарбазов, снова свести в тысячи и сотни и внушить им под страхом жестокой казни не отступать. Грузины должны быть уничтожены, так хочет шах-ин-шах.

Войсковые муллы поддержали Вердибега, добавив, что каждый шаг при бегстве с поля битвы отдалит трусов на такое же расстояние от рая Мохаммеда. А он-баша, допустившие бегство сарбазов, будут держать в день страшного суда «Черную книгу» с перечнем грехов. Но если они прославят «Льва Ирана» победой, то аллах вручит им «Белую книгу» праведников.

Накричавшись и выпроводив всех из шатра, Вердибег приказал костоправу сделать ему массаж, натереть благовониями и подать кофе.

Но ложе не было хану усладой. Он рвался в Исфагань принять наследство Карчи-хана. Он боялся жадности двадцати братьев и трех дядей, — они, по-

добно саранче, могут растащить если не поместья, то серебряную посуду и оружие. Но он хорошо знал шаха Аббаса... и лучше остаться без посуды, чем без головы. Явиться в Исфагань можно, только победив грузин. И хан предался размышлениям о победе.

Он изучил способы ведения войны Саакадзе, боялся засады в Кахети и охвата с краев. Он ждал ганджинских и карабахских подкреплений. Они примут на себя в Кахети удар грузин и дадут ему возможность вывести в Азербайджан расстрешенное иранское войско. Там, вооружив и пополнив мин-башами и юз-башами сарбазские тысячи, он снова вторгнется в Кахети. Он не оставит камня на камне, он вырвет с корнями горные леса, он горы опрокинет на проклятые реки, он вымостит дороги черепами грузин для триумфального возвращения в Иран.

И, увлекшись, Вердибег ударил по голове костоправа, терпеливо сидевшего на корточках перед ложем.

Наутро снова в Исфагань скакали к шаху Аббасу гонцы, скакали в Ереван, Ганджу, Нуху, Карабах. Скакали всюду, где находились иранские гарнизоны.

Захватив Норю, Вердибег в два дня укрепил местность рвами и завалами.

Беглецы в Марткобском монастыре¹ рассказывали о множестве сарбазов, преградивших все подступы к Норю.

И монахам на башнях казалось, что огромная когтистая лапа вырывает дубы и грабы, со свистом падающие вокруг Норю. Им казалось, кто-то уселся на вершине и, вращая красивым глазом, трясет горы и ломает скалы.

Зураб Эристави осторожно вел в сторону Бахтриони три тысячи арагвинцев. Он остро вглядывался в даль, загуманенную предрассветной дымкой. На Зурабе сверкал стальной панцырь, позолоченный шлем, оружие, украшенное золотой насечкой и драгоценными камнями. Несколькими отвислыми губами орли-

ный нос с широкими ноздрями и припухшие веки придавали лицу Зураба выражение властности. Все больше увеличивалось его сходство с Нугзаром. Теперь Зураб редко вспоминал златокудрую Нестан и чаще думал о захвате новых земель и о своем возвышении над другими князьями. Но Зураб знал: без победы Саакадзе не могут Эристави Арагвские вернуть блеск знамени. И он все теснее сходилась с Саакадзе, хотя и не понимал его замыслов.

Остановив коня, Зураб присмотрелся и круто повернул к иорским степям. Изучив тактику Саакадзе, Зураб точно повторял действия своего учителя. Стремительные короткие переходы ночью и залегание в кустах и камышниках Иори днем давали возможность Зурабу осторожно обходить многочисленного врага или нападать на отдельные отряды, уничтожая их до последнего сарбаза. Он продвигался по течению Иори, оберегая арагвинскую конницу, предназначенную помешать соединению Пеикар-хана с Вердибегом.

В молочном тумане тихо пробуждались камыши. На широком плесе виднелась белая цапля. Пахло травой и едва уловимым запахом перегноя.

Пригнувшись к седлам, осторожно пробирался в камышник отряд тушин. Впереди молчаливо ехал дозорный дружинник-арагвинец. В середине, на верблюде, стонали двое связанных.

Тушины разыскивали Георгия Саакадзе, но, натолкнувшись на заслон Зураба, они повернули к Иори.

— Кахети бурлит, — рассказывали тушины. — От верховьев Алазани до теснин Упадари, от аула Белокани до низовьев Иори, от Алванского поля до виноградников Гурджаани движется народ. Пеикар-хан в тревоге, — шакал узнал о Сапурцлийской долине и, перепуганный, укрепляет Кахети.

Зураб внимательно слушал тушин. Он удивился: кто с такой поспешностью известил Пеикар-хана о поражении иранцев?! Кто мог указать персидским гонцам кратчайший путь?

Никто! Тушины оберегали все горные тропы, все дороги, все заросли, все леса. Ни один красноголовый не про-

¹ Марткобский монастырь (Марткомкпели — «уединенно пребывающий») расположен в горах в 20 километрах северо-восточнее Тбилиси, в 5 километрах от деревни Норю.

ник в Кахети и не вышел. Только у Ахмети встретили бежавших от Вердибега пастухов.

— Пастухи бежали?! — удивился Зураб. — В Грузии пастухи не бросают стада, а укрываются с ними в горах.

Тушины усмехнулись — они тоже не поверили клятвенным заверениям пастухов и, связав, возят за собой, пока не встретят Саакадзе.

Зураб заинтересовался, и к нему на допрос пригнали двух неизвестных в оборванных чохлах. Палочные удары и раскаленное железо не развязали им язык. Пойманные вопили под пытками, стонали и неистово клялись шестьюдесятью святыми Георгиями, тринадцатую сирийскими отцами, двенадцатую апостолами и богом в трех лицах, что они пастухи и, кроме скота, никого не знают.

Зураб, подумав, приказал подпалить им уши, но, когда и это не помогло, он, сплюнув, решил доставить их к Саакадзе.

Дождавшись прихода конницы кахетинских тушин, Зураб на путях к Бахтриони и Чатчала стал расставлять заслоны и засады.

Арагвинцы продвинулись к хребту, разделяющему Кахети от Картли, с целью не дать прорваться Вердибегу и преградить Пеикар-хану путь к Норию.

Элибар, Матарс и Пануш, прискакав к тушинам, ожидающим в лесах и долинах, передали от Саакадзе план действий в Кахети.

Тушины тотчас погнали «на продажу» скот в города и деревни и тайно передавали священникам и жителям распоряжение Саакадзе: женщины и дети должны отправиться в тушинские аулы.

По ночам тихо скрипели арбы и повозки. Тушины сопровождали кахетинков до Баубан-билик и там передавали проводникам.

В эти предгрозовые дни Элибар, Матарс и Пануш не знали сна. «Барсы» незаметно проникали в монастыри. Ценности, иконы и церковная утварь исчезали в тайниках. Молодые мо-

нахи сбрасывали рясы и, вооруженные саблями, кинжалами и дубинами, прятались в лесу. Старые, сопровождаемые тушинами, уходили в кахетинскую Тушети.

Кто-то ночью пробил брешь в телавском укреплении, где-то обвалился завал, куда-то исчезли жители. Базары притихли, расползся товар богатых лавок, каждый день исчезал скот, потом хлеб, кто-то поджег ханский амбар.

Пеикар-хан рассвирепел, приказал устроить грузинам кровавую баню, но в одну ночь Телави опустел.

Пеикар-хан сжимал в бешенстве кулаки: как рабы могли исчезнуть из укрепленного города? Трупы персидской стражи у городских ворот рассказали хану многое.

Пеикар-хан бросился с сарбазами к монастырям, но монастыри опустели. Быйти из Телави хан не рискнул, боясь засады.

Хан перестал есть. Мясо барана ему казалось рыбой. Лучшее вино — дождевой водой.

Наконец, прибыл второй чапар от Вердибега. Пеикар-хан, с раздражением выслушав гонца, спешно устроил вокруг Телави новые завалы и укрепления.

Прошло пять, потом еще три дня. Пеикар-хан гнал гонца за гонцом в Иран, но гонцы не возвращались, и помощь не приходила. Мучила неизвестность. Ни персиан, ни грузин. Запасы таяли, как лед в горячей руке. Посланные в Алазанскую долину к тушинам за скотом и хлебом не вернулись. Хан в бессильной злобе метался во дворце, ломая фаянс о скулы прислужников. Прервалась связь со всеми поселениями, и Пеикар-хан не знал — он правит страшной или буйволиным пузырем? Царство Кахети вот-вот лопнет.

Пока Пеикар-хан неистовствовал в Телави, горные тушины спускались по Баубан-билик в Кахети, а «барсы», тревожа ночные дороги, собирали ополчение. С юго-востока от Тбилиси двигалось картлийское войско. Знаменосец высоко вздымал иверское знамя: серебряный конь, точно чувствуя битву, готовился к прыжку.

Впереди войска ехал Саакадзе. На нем блестел мессир¹ и латы.

Крутя пушистые седые усы, подбоченясь, вел тяжелую конницу Мухран-Батони. За ним его внук Кайхосро вел легкую конницу.

Вокруг старого князя с оглушающим лаем прыгали породистые собаки различных мастей. Они рвались в глубину леса, вспугивая зверей и тревожно кричащих птиц, точно приглашая старого Мухран-Батони поохотиться. Он цыкал на них, грозил нагайкой, и псы, недовольно зевая, следовали за псарями.

Эту свору Мухран-Батони велел вести за собой. Он уверял Саакадзе, что после охоты на персидских шакалов они во славу Георгия Победоносца поохотятся на Девиченском лимане. Там, на Алазани, гнездится благородная дичь.

Саакадзе, во всем поддакивая князю, и тут восхитился остроумием Мухран-Батони. И он не прочь поохотиться, но все же советует на время боя загнать беспокойных собак в Марткобский монастырь.

Ночь была на исходе.

Пройдя долину Ашкарети, Саакадзе с главными силами вышел неглубокими овражками и холмами к долине, спускающейся к реке Марткоби. Невнятный гул разносился в густых зарослях. Дружины шли волчьей рысью. Молодые князья и азнауры следовали с боку колонн, чутко прислушиваясь к лесным шорохам.

Весь в перевязках, но прямо державшийся на коне, Кливидзе вывел азнаурские дружины к чернеющему левому склону и расположил вблизи Марткобского монастыря.

Гуния и Асламаз с тваладскими сотнями разместились у источника с ключевой водой.

На правом склоне чернеющей горы Нодар растянул ополчение Ничбисского леса.

В садах и виноградниках залег Автандил с ностевской дружиной. Он со-

мкнулся с центром, где Саакадзе сосредоточил хевсура-пшавскую и картлийскую конницы.

Рядом с Автандилом у скалы святого Антония стал Димитрий с сабартианской дружиной.

Правее, в зарослях балки, укрепился Даутбек с урбнийцами.

В лесу у Норио перед ровной открытой площадью стало войско Самухрано.

Старик Мухран-Батони разделил дружины и отдавал приказания сыновьям и внукам.

Мирван Мухран-Батони отошел с мсахурской дружиной, закованной в доспехи, на левый край. Он прикрывал Махатскую дорогу, ведущую на Тбилиси.

Кайхосро остался рядом с дедом. Юного князя окружали отчаянные всадники с горящими глазами и нетерпеливыми руками, сжимавшими оружие.

Саакадзе не переставал любоваться Кайхосро. Еще не ясный, созрел план.

К полудню Норио была окружена сплоченными колоннами.

Саакадзе выстроил конницу ровными клиньями, выдвинув вперед под началом «барсов» азнаурские легкоконные дружины. Он приказал гонцам обскатать все стоянки и передать: коней не расседлывать, засыпать корм в торбы, на водопой водить посменно, дружинникам плотно поесть и посменно спать возле коней.

Саакадзе поручил Дато и Гиви с отрядами беспокоить врага ночными атаками на левом краю. Ростому и Автандилу — на правом.

С завала наблюдал Вердибег за равниной. В Норио нарастало напряжение. Вердибег, выстроив пехоту, продержал ее целый день в боевой готовности. Сарбазы не слезали с коней. Мин-баши гневно сжимали оружие. Он-баши, проклиная шайтана, опускали нагайки на спины сарбазов. Юз-баши, словно одержимые, мчались то к Вердибегу, то обратно к своим сотням.

Внезапные наскоки грузинских отрядов с правого и левого края, молниеносный обстрел и быстрое исчезновение вносили нервность и сеяли тревогу.

¹ Мессир — стальная сетка, ниспадающая с шишака на шею и плечи.

К концу дня иранские войска были измучены ожиданием. Сарбазы с отчаяния сами бы ринулись на равнину, но Вердибег знал Саакадзе и не хотел повторять сапурцлийское поражение. Он твердо решил не завязывать первым битву и дожидаться подхода Пеикар-хана и ханов Ганджи и Карабаха. Но на завалы уже сине-сизой волной накатывались сумерки, а помощь не подходила.

Наконец, Вердибег приказал усталому войску расположиться на ночлег, ибо с первым светом Саакадзе, конечно, бросится на укрепления.

На другом конце равнины Саакадзе оббежал войска. За ним следовали «барсы» и Кливидзе.

Дружины азнаурские, княжеские, церковные, царские, объединенные общим желанием, встретили Саакадзе клятвой верности.

Саакадзе прискакал к Дато и Гиви. «Барсы» поднятием правой руки приветствовали его.

Ростом выдвинулся вперед, представляя свою дружину. Трудно было узнать дабахчей в новых чохах, крепких цагах, высоких остроконечных папахах, заломленных набок. Лица их выражали решимость и гордость. Каждый мечтал отличиться в битве, дабы не пришлось снова трястись в зловонном чане.

Саакадзе оглядел дабахчей довольным взором:

— Помните, воины, вам выпало счастье биться с врагом. Покажите, что вы настоящие сыны Картли.

— Спасибо тебе, Георгий Саакадзе, что вспомнил и о нас!

— Смерть кизыл-башам!

— Клянемся с живых кожу сдирать!

— Победа и мужество! — неистово гаркнули дабахчи. Кони, приподняв уши, шарахнулись в стороны.

Георгий рассмеялся. Ростом недовольно покосился на необузданных дабахчей.

Саакадзе отъехал и осадил коня перед хевсурами.

Впереди стояли «старцы ущелья», мужественные воины с мечами и щитами своих воинственных предков. Здесь был Алуда из орлиного гнезда Гуро, про-

славленный меткостью ударов меча, Умита из Борисахо, один защищавший против вторгшихся кистин вход в ущелье, Хомезура из Шатиля, прибывший к воротам крепости двести вражеских рук.

Были здесь витязи с верховьев Аргуна, с берегов хевсурской Арагвы, с ледников Чоухи, с перевала Бло. Они неподвижно стояли в боевых проволочных рубахах, в железных шлемах с сеткой, в налокотниках с серебряной насечкой, в наколенниках. За плечами в чехлах из медвежьих шкур виднелись луки. В ножнах, окованных желтой медью, висели вместо кинжалов дашна — коротенькие сабли. В кожаных петлях торчали пики. Железными рукавицами витязи сжимали палаши и щиты с надписями: «Сувенир», «Генуя», «Виват, цезарь!»¹

На трех красно-бурых конях застыли знаменосцы. По бокам держали знамена с изображением Белого Георгия и Лашиани — губастого Георгия. Средний хевсур вздымал дроша — воинскую хоругвь: пику, оправленную в серебро, с серебряным мечом, насаженным на наконечник. Дрошу обвивал платок сакадриси — «достойный».

Георгий Саакадзе поздравил хевсур с наступающей битвой.

Хевсуры ответили воинственным криком: «Лашари, лашари!»

Хевис-бери поднял руку в железной рукавице и величаво произнес:

— Да наградит тебя бог, пославший нам битву!

В шатер Мухран-Батони вошел радостный Георгий Саакадзе. Сюда собирались начальники всех дружин и ополчения.

За открытыми пологам шатра виднелись обступающие Тбилиси с юга, темные, скалистые вершины, подернутые серовато-прозрачным туманом.

— Друзья, с разрешения Мухран-Батони я собрал вас поговорить. Мы наступаем на превосходящего нас численностью врага, но сегодняшней бой — жизнь или смерть Грузии. Время сей-

¹ Грузинская конница принимала участие в крестовых походах.

час другое, одной храбростью победить нельзя. Кто из нас не готов умереть за Картли? Но много ли смысла, если торжествующий враг пройдет по трупам храбрецов?

И умирать надо с пользой, но еще лучше самим пройти по трупам врагов. Этому искусству я всю жизнь учил «барсов», и они, слава богу, все у меня целы. Но я никогда не учил этому персов. Как достигнуть победы над многочисленным врагом? Этому искусству я сам учился много лет. Учился у великих римских полководцев.

Многочисленность кизыл-башей обернется против них же. Нельзя столько пеших колонн развернуть на Марткобской равнине. Сбитые нашей конницей, передние сарбазы повалят задних. Если умело использовать, конница всегда дает перевес, а в некоторых битвах даже решала судьбы великих стран.

— Дорогой Георгий, полтора года могу тебя слушать! — не выдержал Дмитрий.

— После боя, дорогой Дмитрий, а сейчас успокойся на полторы минуты, — улыбнулся Георгий. — Хочу еще сказать: персы всегда имели несметное войско, но не всегда побеждали. В сражении при Гавгамелле Александр Македонский имел семь тысяч всадников, а персидский царь Дарий — четыреста тысяч пеших и сорок тысяч конницы. А победил Александр Македонский и этой победой решил судьбу древней Персиды.

Помните, молодые друзья, в победу надо верить, победу надо готовить.

Я не раз повторял приемы великих полководцев в войнах Ирана с Турцией и всегда побеждал. Я уничтожал наших врагов турук руками наших врагов персов. И сейчас у Марткоби я расставил дружины с таким расчетом, чтобы поразить врага.

Старик Мухран-Батони, положив руку на меч, изумленно смотрел на Саакадзе. Молодые азнауры и князья, подавшись вперед, взволнованно ловили каждое слово. Они и не подозревали, что опыт древних битв учит побеждать, учит мастерству полководца.

В шатер словно ворвался свежий ве-

тер. К сердцу прилиwała бодрость. Радовались счастью сражаться под иверским знаменем Георгия Саакадзе. И как бы ни изменились в будущем судьбы этих воинов, они навсегда запомнили Георгия Саакадзе таким, каким он был в шатре Мухран-Батони на Марткобской равнине.

— И еще последнее, — продолжал Георгий, — полководцу очень трудно руководить ночным боем. Поэтому беспрекословно выполняйте приказания нашего главного полководца князя Мухран-Батони.

— Нет, Георгий, — поднял руку старый князь, — ты первый воин Картли, ты можешь заечь даже старого воина молодым огнем. Ты по праву будешь распоряжаться битвой, а я беспрекословно подчинюсь Георгию Саакадзе. Желание победы сравнивает все возрасты, как весенняя трава поле. Ты, Георгий, взволновал старого князя! — и Мухран-Батони, лихо выхватив меч, поцеловал лезвие.

За ним все азнауры и князья целовали лезвие клинков, скрещивая их в боевой клятве.

Саакадзе настойчиво предоставлял решающее слово старому Мухран-Батони, незаметно подсказывая решение, и еще незаметнее все делал по-своему. Но сейчас Георгий облегченно вздохнул. Наконец, он полновластно возьмет в свои руки ведение войны без опасения разгневать Мухран-Батони и риска потерять важную помощь князей.

Эрасти откинул полог шатра. И началось...

Гонцы скакали в разные стороны с приказами от Саакадзе и Мухран-Батони. Вокруг шатра толпились азнауры, дружинники, ополченцы, особенно ностведы. Они по пятам следовали за Саакадзе, точно боясь потерять его. Возбуждение росло. Слышалось отдаленное жужжание, нетерпеливое постукивание копыт. Кто-то вскакивал на коня и мчался, сломя голову, точно от него зависел исход боя. Кто-то на всем ходу соскакивал с коня, словно приносил необычайное известие. На самом деле, он только сообщал о запасных конях, привязанных в зарослях у реки Марткоби.

Саакадзе во все вникал, одинаково внимательно расспрашивал.

Вернулись Джандиери и Андроникашвили с личными дружинами. Все кахетинские князья мечтали убить Вердибега за вероломство.

Пришли из Тбилиси амкары, Сиуш и Бежан, с оружием. Пришли цырюльники, костоправы и лекари. Они сообщили, что по приказу Саакадзе удобные арбы для раненых приведены из Сагурамо и Дигоми и размещены в глубине леса. Пришли старухи знахарки лечить раны травами. Пришли молодые женщины заботиться о пище.

Прискакало горийское ополчение, вооруженное кто шашками, кто копьями, а кто просто дубиной.

Примчались на осликах мальчишки факельщики. Впереди на муле гарцовал Иорам, сын Георгия.

Из Тбилиси по Махатской дороге беспрерывно тянулся к стану Саакадзе разный городской люд.

Сумерки сгустились. Запоздалый луч солнца соскользнул с потемневшей вершины. Казалось, воздух натянута, как тетива. Густое небо налегло на Марткобскую равнину. Леса почернели и точно придвинулись к стану.

Войско ждало. Дружинники пробовали оружие, подтягивали подруги. Оборвались веселые возгласы. На миг вспомнились близкие, земля, пройденная жизнь. На лица легла суровость, и беспощадность уже светилась в глазах. Но неожиданно Саакадзе приказал всем на два часа лечь отдохнуть около своих коней...

А когда луна посеребрила верхушки пихт и грабов, по колоннам забежали шорохи. Слово камень с утеса, сорвался сон. Миг—звякнули стремяна, скрипнули седла. Кони, чуя битву, нетерпеливо застучали копытами. Через поляну перебежало ничбисское ополчение и построилось за головной колонной. Георгий Саакадзе, стоя на Джамбазе, обратился к войску:

— Друзья, верные отечеству, я с вами! Пусть в Картли не останется ни одного мужа, ни мальчика, у кого бы в руках не сверкала шашка или кинжал, обнаженный во имя оскорбленной роди-

ны, во имя уничтоженных святынь, поруганных женщин. Я с вами!!

Вокруг Саакадзе теснились конные и пешие. В лунном свете угрожающе накатывалась темная масса. Слушали, затаив дыхание:

— ...Грузины, мне один итальянец рассказывал... В древности римскому войну начальники приказывали: «Одного врага побеждать, на двух нападать, от трех защищаться, а от четырех бежать». Грузины, вас Георгий Саакадзе учит не считать врагов. Нападать и побеждать!! За мной, воины! С нами правда! Помните, — врагов не считать!

— Нападать и побеждать! — ударили, словно обвал, тысячи голосов, и, подобно черным разбушевавшимся волнам, накатываясь и обгоняя друг друга, с яростью и проклятием дружины бросились за Георгием Саакадзе на персидские укрепления в Норио.

Пешее ополчение с топорами и кирками ринулось к первой линии завалов, неистово расчищая путь коннице.

Дато, Гиви, выхватив клинки и привстав на стремянах, вырвались вперед. За ними понеслись азнаурские дружины. Конница в сжатом строю перескакивала через срубленные и наваленные деревья.

Ростом круто повернул направо и врезался с дабахчами в просеку.

«Алла, алла!» — раздались за завалами гортанные выкрики, и загрохотали огромные камни, преграждая подступы.

С высокого завала ударила персидская пушка, и раскаленное ядро, шипя, врезалось в ополчение.

Пользуясь замешательством, из темноты вынырнули сарбазы и с кривыми саблями бросились в рубку.

— Взять пушку! — загремел Георгий и, пришпорив Джамбаза, понесся к завалу.

Ростом перескочил пылающий дуб. Дабахчи бросили коней и, перепрыгивая через огонь, полезли на завал, цепляясь за ветви и карабкаясь друг на друга.

Напрасно Ростом выкрикивал внизу команду. Дабахчи, не слушая, метнулись к пушке. Один из дабахчей, ногой отпихнув пушкаря, схватил за колесо пушку и швырнул вниз.

— Молодец! — крикнул Саакадзе.

В шум боя врзался неистовый призыв Ага-хана:

— Ла илла иль алла! Мохаммед расул аллах!

Взметнулось знамя с солнцем и львом. Густой колонной сарбазы бросились на равнину. К хевсурам подскакал Пануш.

— Бросайтесь вперед! — передал он приказание Саакадзе и понесся дальше.

— Лашари, лашари! — хевсурская конница ветром пронеслась по равнине и клиньями вломила в пешую колонну Ага-хана.

Началась неистовая сеча. Непривычный ночной бой сеял в иранцах страх.

С левого края, незаметно обогнув Норио, вышли ширазские две тысячи. Прикрываясь складками местности, сарбазы перебегали к лесу, стремясь зайти в тыл грузинам.

Мухран-Батони самодовольно подкрутил усы и прищипорил коня:

— Эй, молокососы! Кто из вас решится рассмешить старого князя робостью?! — И он вынесся из леса и врзался в ряды ширазцев.

За ним, с криком, — задётые за живое конники:

— Скорее чорт рассмешит кошку, чем мы тебя в бою, батоно!

Заскрежетали клинки. Хрустели кости. Тяжело дышали люди и кони. Копья ломались о щиты, расплескивая лунные блики.

Сарбазы дрогнули. Но из-за бугра с криками: «Во имя Али!» — мчалась на подкрепление тысячная конница.

И снова закипела сеча.

Старик Мухран-Батони бросался на коне в самую гущу схватки.

— Эй, молокососы! Что у вас в руках: шашки или свечи?! — И снова заносил клинок.

— Нашими свечами, батоно, ведьма подавится! — ревели мухранцы, неистово рубя сарбазов.

Когда мин-башам казалось, что они теснят Мухран-Батони, им в спину ударил Кливидзе.

— Эй, курдюки, где у вас лицо?! — по-персидски ругался Кливидзе, рубя наотмашь.

Все смешалось: стоны, свист, крики, ржанье, ляг. Не только люди, кони грызли друг друга.

Сарбазы пытались броситься в лес, но Кайхосро шашками преградил им путь. Зажатые в мешке, они бились в одиночку, ползли в овраги, цеплялись за выступы.

Луна побледнела, застыв над битвой. Небосклон задернулся розовой пеленой. Но никто не замечал наступающего утра.

Саакадзе, потрясая мечом, направлял дружины, зорко следя за движением врага. Внезапно он рванулся вперед, за ним Даутбек. Но было поздно. Вердибег вонзил в грудь Нодару саблю. Увидя Саакадзе, хан скрылся за спинами сарбазов.

Молодой Кливидзе, цепляясь за гриву, свалился с коня.

Даутбек, подхватив Нодара и отмахиваясь шашкой, вырвался из окружения и поскакал к лесу.

— Нападать и побеждать! — кричал Автандил, увлекая за собой ностевцев. Вдруг его глаза загорелись гневом. Пронзенный сарбаз, падая, вырвал из рук ностевца копье.

— Чанчур! — рывкнул Автандил, подражая отцу. — Тебе что, на каждого сарбаза по копьё нужно?

В лесу на разостланной бурке лежал Нодар. Отстегнутый пояс с кинжалом висел на кусте. Рядом, раскинув рукава, валялся бешмет. Сквозь разодранную рубашку лилась кровь.

Старуха морщинистыми руками ловко накладывала на рану травы.

Папуна, приподняв голову Нодара, силился напоить раненого вином из глиняной чаши.

Вокруг Нодара в молчании стояли амкары-оружейники.

Прискакал Кливидзе, извещенный Даутбеком. Соскочив с коня, Кливидзе острием кинжала разжал зубы Нодара и влил чашу вина.

Нодар приоткрыл глаза и улыбнулся отцу.

Старуха посмотрела на Кливидзе:

— Молись богу! Молодой азнаур будет еще сто лет сражаться с нашими врагами.

— Мать, вылечи мне сына, золотые браслеты надену на твои руки!..

— За лечение раны грузинского воина я платы не беру, — сурово ответила старуха.

Нодар тихо застонал:

— Отец, враг побежден?!

— Еще не совсем, но уже бегут, а еще больше осталось изрубленных на марткобской земле.

— И это хорошо! — силился улыбнуться Нодар.

— Люди, отнесите молодого азнаура в монастырь! — Кливидзе колебался, но вдруг нагнулся и осторожно поцеловал сына в лоб.

Он подошел к коню Нодара, привязанному к дереву:

— Какой ты конь, если такого воина не мог сберечь! Тебе не сражаться, а арбузы возить! Пинач! ¹ — И Кливидзе, погладив челку своего коня, вскочил и помчался к Норио...

В грохот врзался шум воды.

«Старцы ущелья» — Алуда, Умита и Хомезура — первые бросились с крутого ската. За ними хевсуры галопом промчались через реку Марткоби, взлетели на скат и, ломая плетни и виноградники, ворвались в Норио. Короткими ударами широких мечей они рассекали врага, кроша людей вместе с лапами.

Курды кинулись навстречу хевсурам, встречавшим врага грудью. Каждый убитый хевсур вызывал восторженный вой. Но хевсуры, расклинив курдов, уже овладели Норио.

Вердибег, сжатый с трех сторон, бросил главные силы к центру. Вся равнина потемнела от нахлынувшего войска.

Залпы персидских пушек багровым огнем осветили лес. Клубился пороховой дым. Но грузинская ночь мешала прицелу.

Вердибег воодушевлял мазандаранцев, исфаганцев и курдов. Точно стадо разъяренных быков, наваливались сарбазы на грузин.

Но Саакадзе не допустил опроки-

нуть центр. Он на ходу перестроил дружины глубокими колоннами!

Круто повернув, Саакадзе внезапно развернул колонны, бурей пронесся с тремя линиями конных дружин и опрокинул правый край Вердибега.

Спасая положение, Вердибег опрометчиво растянул линию войск. Сплоченная стена сарбазов разорвалась, обнажив центр.

Георгий Саакадзе с «барсами» стремительно кинулся в брешь, не давая Вердибегу сомкнуть ряды.

Грузинская конница смертельным крылом развернулась в середине сарбазов. Рокотали боевые роги, гремели трубы, били барабаны.

Над равниной поднялось знамя Ивери: неистовый серебряный конь.

Саакадзе, не переставая рубить мечом, направлял битву.

Автандил и Матарс на лету ловили приказания Саакадзе, все глубже вклиниваясь с ностевцами и ничбисцами в ряды сарбазов.

Мухран-Батони с мухранцами преградил дорогу к бегству в Кахети. Сарбазская масса то наваливалась на него, то под всплеском шашек и кинжалов отскакивала.

— Слава богу, грузины! Мы добрались до врага!

Это был голос Трифилия, появившегося на коне с обнаженной шашкой впереди монастырского войска. Рядом молодой монах высоко вздымал знамя: на черном бархате угрожающе сверкал серебряный крест.

Кайхосро восторженно встретил святого отца, и они наперегонки кинулись к сарбазам. Трифилий вспомнил свою буйную молодость. Что ему Кватахевский монастырь?! Что ему лисьи разговоры с царями?! Он молод, он чувствует горячую кровь в жилах! Ветер срывается с шашек...

«Есть где прославить имя Христа» — оправдывал себя Трифилий, страшный в своем неистовстве. Привстав на стременах, настоятель жадно рубил врагов.

Упоенные долгожданной битвой, Димитрий и Дато кружились на конях, увлекая Трифилия с монастырским вой-

¹ Презрительная кличка, соответствует: размазня!

ском. Они выворачивали колонну сарбазов, как шкуру медведя.

Димитрий облизывал губы, точно после крепкого вина. Матарс, сбросив повязку, кричал, что он видит обоими глазами.

Даутбек бился рядом с Саакадзе.

Элибар, Гиви и Пануш, словно одержимые, носились по полю, выкрикивая приказания Саакадзе и рубя.

Где-то рядом слышался охрипший голос Ростома и дикий рев дабахчей.

Саакадзе упорно пробивался к Вердибегу. Вот уже близко развевается синее абу, вот он различает на кривой глазе бирюзу.

Глаза Саакадзе и Вердибега встретились.

Вердибег повернул коня. Вскинулись два клинка. Саакадзе вздыбил Джамбаза и тяжелым мечом пригнул саблю Вердибега к седлу. Миг, резкий удар — и Вердибег, выронив саблю, откинулся на круп коня. Саакадзе спокойно вытер меч о чепрак коня Вердибега.

Рев взметнулся и словно повис в воздухе. Качнулась черная масса. Упало иранское знамя.

Первые опрокинутые сарбазы бежали через промежутки собственных колонн, внося хаос и увлекая за собой потерявшее управление войско. Сарбазы падали с коней, другие спешивались и отчаянно дрались.

За далекими виноградниками слышалось хевсурское: «Лашари, лашари!»

Оглашая равнину победными криками, грузины преследовали панически бегущего врага.

На востоке заалела заря. Чашечки полевых цветов раскрылись и тянулись к небу, словно пробуждаясь от тяжелого сна. Утренняя свежесть легла на окровавленную равнину.

Грудами лежали рассеченные войны, кони, перевернутые повозки.

Отрубленная рука еще сжимала клинок. Тупое жерло пушки зарылось в землю. Хевсурский щит придавил кызыл-башскую шапку.

Ястребы кружились над изрытой равниной.

В Марткобском монастыре гулко ударил колокол.

Монахи с заступами спускались на равнину, издали казалось, черные крылья склоняются над павшими.

Саакадзе галопом въехал на бугор и оглядел равнину: несметными толпами бежали сарбазы.

Грузинская конница, размахивая клинками, гнала врага, не давая расползтись по лесам.

Тяжелый гул топота коней потрясал равнину. Знамя Иверии сверкало в лучах. С кольчуг и клинков брызгами разлеталось солнце.

Георгий Саакадзе, высоко подняв меч, рванулся вперед.

XLII

Пеикар-хан нетерпеливо бросался навстречу гонцам. Их вести были все мрачнее. Тушины перерезали дороги Кахети. Путь к границе Ирана закрыт Зурабом Эристави. Стотысячное войско разбито в Картли и ринулось в Кахети, сметая пограничные заслоны. Карчи-хан и Вердибег убиты. Ага-хан неизвестно где. Об этом торопливо рассказывали прорвавшиеся вперед сарбазы. Они прибывали толпами, ободренные, голодные. Они сидели и лежали у стен ханского дома, молчаливые и покорные. Рядом валялись брошенные пики, ханжалы. Опрокинутый алебастровый лев с облупленной позолотой валялся под лестницей. В бассейне мглоло деревянное колесо. Чей-то верблюд, поджав ноги, лежал на клумбе и равнодушно жевал розы.

По Телави скакали курды. Они спешили к Гамборским вершинам.

Пеикар-хан метался. Но вот, наконец, подходит запоздалая помощь: ширванский и ганджинский ханы с войском. Статные, бритоголовые, с сильными затылками, они вселили уверенность в Пеикар-хана. Он даже решил воспользоваться гибелью Карчи-хана и Вердибега, чтобы прослыть победителем Непобедимого.

Ханы поспешили укрепить берега Турдо и Алазани. Переселенцы из Ирана, собранные со всей Кахети, воору-

жались и размещались на подступах к городам и деревням.

Кахетинцы с ненавистью следили за ханами и переселенцами, отнявшими у них лучшие виноградники и скот.

Ночью шуршали камыши, пропуская плоскодонные лодки. Подвозилось оружие, зерно.

Люди прятались в горных лесах и пещерах, ожидая Георгия Саакадзе.

Шептались:

— Георгий Саакадзе зовет, победу обещает, всегда слово держал! Идите, люди, под знамя Иверии!

Быстрые переходы, стычки на высотах, сторожевые башни в огне, — это продвигается на север Кахети, к Экалто, Мухран-Батони, уничтожая иранцев и расставляя свои посты.

На юг по Иори Георгий Саакадзе шел на соединение с Зурабом Эристави. Бои не прекращались. Дороги были усеяны трупами людей, коней и верблюдов, разлагавшимися под жарким солнцем. Тревожное ржание, лязг копыт и свист нагаек нарушали спокойствие прозрачной синевы, согретой золотыми лучами. Над головами воинов черными тучами кружились огромные жирные мухи. Жужжание звенело в ушах надоедливый напоминанием смерти. Дружинники завязывали башлыками рот и, не переводя дыхания, проскакивали злое место.

Долина Иори была очищена от сарбазов.

Саакадзе, боясь заразы войска, переправился на левый берег.

Ночью, вблизи Гамборских вершин, Георгий Саакадзе встретился с Зурабом Эристави.

Вспыхнули костры. Чистилось оружие, песком стиралась вражеская кровь. Громко пелись веселые песни.

Зураб рассказывал Саакадзе о битвах арагвинцев с курдами.

«Барсы» окружили мествире. В честь марткобской победы он нашел на свою короткую бурку три серебряных галуна. Он следовал всюду за войском Георгия Саакадзе и в походах, и на привалах вдохновлял дружинников, сравнивая боевые подвиги Саакадзе с подвигами древних грузинских витязей.

И сейчас мествире раздул гуда, и дружинники подхватили:

Над горой орел летает,
Друг, спустись-ка к нам!
Как грузин вино глотает,
Расскажи врагам.

Хорошо поет мествире:
Есть не хочет шах,
Вырос на бараньем жире,
В бой полез, ишак.

От добычи был в восторге
Кизылбашский стан.
Барсом налетел Георгий,
Дрогнул Карчи-хан.

Карчи-хан чихал от пыли,
Смерти не хотел.
Шадиман Бараташвили
С горя пожелтел.

Не жалел персидских копий
Скользкий Вердибег,
Только зайцем от Марткоби
Хан пустился в бег.

От врага остались кости,
Славу бой несет.
Меч Георгия из Носте
Грузию спасет.

Папуна вновь наполнил кожаную чашу, навощенную внутри. Вино блестело красноватой пеной. Мествире выпил, крякнул и стал настраивать гуда.

«Барсы» развеселились. Гиви раскраснелся от спора, клялся, он только мечтает уничтожить персов, потом вернется в родную Носте и займется стрижкой овец. Прибыльное и спокойное дело.

Папуна поддержал Гиви — и он, Папуна, о стрижке всю жизнь думал:

— Ненавижу врагов, но по живому человеку не могу ударить шашкой. Поэтому всю жизнь не воюю. А раз шашка не затупела, можно ею брить овец.

Кливидзе, подтрунивая над шашкой Папуна, советовал лучше давить виноград, — тоже спокойное дело.

Веселый спор разгорался.

Димитрий предложил выпить за здоровье Кливидзе. Он хотел переубедить Папуна: разве живой враг не лучшее угощение для шашки азнаура?

Вдруг глаза Димитрия расширились, чаша выпала из рук, он вскочил.

Мерно покачиваясь на верблюде, приближался дед Димитрия. Деда сопровождали три вооруженных ностевца.

На встревоженный вопрос Димитрия, как деду удалось добраться живым, если сарбазы змеями расползлись по всем тропам, дед вздохнул: кому нужна старая борода, даже шакалы отбегают. Он, дед, совсем был бы спокоен, если бы ехал один. Но Русудан приказала взять с собою парней, и вот из-за них он всю дорогу не сомкнул глаз. Дед важно вынул послание Русудан и передал Георгию. Но содержание, очевидно, деду было хорошо известно.

Пока Георгий, отойдя, читал, дед рассказывал:

— В Носте старая Кэто гадала на воде, собранной из семи источников. Косточки, изображающие сарбазов, пошли на дно, и на поверхность всплыла черная слива. Старая Кэто обрадовала Носте: Георгий Саакадзе одержит полную победу. Русудан вынула лучшие одежды и спешно готовится в дорогу. Хорешани тоже едет. За ними родные «барсов» вывернули сундуки. Большой караван движется на Алазань. «Пока доедете, — убеждала Кэто, — война кончится».

— Старая Кэто молодец! — смеялся Даутбек. — Хотя и ребенку сейчас видно, кто победит.

Ростом встревожился. Но узнав, что и Миранда едет, повеселел.

— И детей везут, — продолжал ликовать дед, — твоя Дареджан с Бежаном тоже собирается, — покосился он на волнующегося Эрасти. — Все едут на верблюдах и арбах, только наша Русудан и Хорешани белых жеребцов saddleют. Носте радуется хорошим приметам: накануне Марткобской битвы Филалка, кобыла прадеда Матарса, ожеребилась. Золотистый жеребенок сразу грудь взял. Потом на ветку чинары, у изгиба Ностури, сели две птицы. Кузнец видел. А у бабо Саломэ белая курица двойное яйцо снесла, — говорил дед, развязывая хурджины.

Вокруг столпились «барсы» и «азнауры». Дед, скрывая удовольствие, бурчал: он не привык в тесноте раздавать подарки. Георгию дед протянул от Ру-

судан войлочную шапочку под мессир, предохраняющую голову от трения стали. Димитрию — щит, обитый желтой кожей. Автандилу надел на шею талисман: засушенную лапку удода в серебряной оправе. Все «барсы» получили от близких маленькие подарки.

— Большие сами привезут, — успокаивал дед.

Сладости, приготовленные Русудан и ностевскими девушками, Георгий приказал раздать дружинникам.

Деда усадили и пределись веселой трапезе, точно не было позади кровавой сечи и впереди не ожидалась еще большая.

Зураб вдруг вспомнил о подозрительных пленниках. Он бросил кожаную чашу на персидский барабан и выругался: несмотря на палки и раскаленное железо, черти упорствуют: они только бедные пастухи.

Георгий велел привести «чертей». Пристально оглядев их, Георгий опустился на камень и, опершись на золотую саблю, спросил, уверены ли они, что когда-нибудь пасли скот.

Упав на колени, они клялись: Христос свидетель — их уста изрекают истину, пусть милостивый амир-спасалар отпустит бедных пастухов в Картли к стадам.

— А что пасете вы? — спросил Георгий.

— Коров, — проговорил первый.

— А какой породы у тебя коровы?

— Разные, батону. Есть с молоком, есть пустые, бык тоже есть...

— А какая особенность у картлийской породы? Молчишь? Тогда я тебе скажу: высокие ноги. — Георгий прищурился. — А голова какая у твоих коров?

«Пастух», побледнев, молчал. Георгий добродушно проговорил:

— Корова в Картли низкорослая, имеет небольшую голову, шею средней длины, малые копыта. Цвет шерсти чаще беловатый или красноватый. На гору взбирается легко.

Зураб засмеялся, дружинники подхватили, и хохот повис над долиной.

— А ты что пасешь? — спросил Георгий другого.

— Овец, батоно.

— Овец? Очень хорошо! А какие в твоём стаде овцы?

— Разные, батоно. Есть беловатые, есть красноватые. Есть с большой головой, есть с маленькой. Шеи средней длины. На гору взбираются...

— Я тебя не про коров спрашиваю, а про овец, — под хохот проговорил Георгий.

— Есть с курдюками, батоно, есть жирные... Есть молодые, есть старые.

— А какая шерсть бывает у жирных?

— Батоно, разная... есть красноватая, есть беловатая...

— Ты, наверно, на князя смотрел, когда овец пас. Большие овцы с курдюками имеют шерсть мягкую. Овцы малой породы шерсть имеют гладкую, но не совсем тонкую. Согласен?

Димитрий вдруг побагровел.

— Дай мне их, Георгий, на полтора часа, я из их лица красноватый курдюк сделаю.

— Успеешь, Димитрий... Кто вас сюда подослал? — грозно крикнул Георгий, стукнув саблей.

— Подожди, Димитрий, пусть Георгий сам им головы поправит, — успокаивал внука дед.

«Пастухи» с ужасом смотрели на Саакадзе и снова повалились в ноги. Они подневольные мсахури, всегда с князем в замке жили. Овец только сверху видели и на подносах. Что князь Амириндо прикажет, то должны делать.

— А вы что здесь делали? — повысил голос Георгий. — Можете не говорить, я знаю: передавали сведения Пеикар-хану о войске своего народа. Вы под нагайкой Амириндо сами превратились в скот.

Мсахури валялись в ногах, умоляя о пощаде.

— Идите, таких я не боюсь. Скажите князю Амириндо, что Саакадзе скоро с ним увидится.

Мсахури, потрясенные, стояли, не двигаясь. Внезапно первый разрыдался:

— Прими, великодушный батоно, в

азнауруское войско, в бою докажем благодарность.

— Прими, батоно, к князю больше не вернемся.

— Не вернетесь? Ваше дело. Мне вы тоже не нужны. Разве честный дружинник захочет сражаться рядом с вами?

— Батоно! Батоно! — стонали мсахури.

Георгий задумался.

— Хорошо, сегодня каждый грузин может принести пользу своей земле. Если честно хотите искупить свою вину, отправляйтесь в Телави, передайте Пеикар-хану от князя Амириндо, что Георгий Саакадзе повернул на север. А ночью, когда мы подойдем, проберитесь к погребу у западной башни и подожгите персидский порох. Тогда прошу.

Дружинники и ополченцы одобрительно перешептывались. Амириндовские мсахури клялись отдать за Саакадзе жизнь.

Наутро Георгий Саакадзе и Зураб Эристави выступили в глубь Кахети.

Пока Саакадзе освобождал Западную Кахети, Мухран-Батоно выбил иранцев из северной Кахети и расположил войско Самухрано у Экалто.

Анта Девдрис, получив указания Саакадзе у Баубан-билик, двинул горных тушин к Алванскому полю.

Хевис-бери кахетинских тушин повел конницу вдоль тушинских гор на Лихи и Лопоти.

Вскоре четыре войска охватили Кахети подковой.

Зураб Эристави вывел арагвинцев к низовьям Иури, защищая подступы к Картли через перевалы Карадхунанисского хребта.

Анта Девдрис шел на ширванского хана, который защищал Телави с севера. Разбив ширванцев, Анта должен был очистить восточную Кахети от иранских переселенцев.

Буйным потоком ринулась тушинская конница на Алазань. Впереди в чешуйчатой кольчуге скакал старый Анта. Рядом Иетэ с боевым знаменем Алами. За ним Мети, размахивая франгулой с вырезанным волчком на крестообраз-

ной рукоятке¹. И на горных скакунах в четыре ряда — тушинские витязи.

Захватив Кварели, они сомкнутым строем надвигались на деревни северной Кахети, захваченные иранскими войсками. Отчаянное сопротивление сарбазов только множило славные победы старому Анта. С яростью выкрикивая: «Мсть за Датвиа и Чуа!», — тушины, сметая заслоны, ворвались в Греми. Бой начался с первым солнцем, и уже в вечерней мгле пал последний изрубленный сарбаз.

Оставив в Греми небольшой отряд для охраны трофеев, горные тушины двинулись на Белокани, охватывая Алазанскую долину с востока.

Переправившись на левый берег Алазани у брода Турдо, тушины бросились к укреплениям на полуостровке и были осыпаны тучей стрел. В стремительном натиске витязи овладели крутым берегом и показали перед Белокани. Рассеяв ошеломленный иранский гарнизон, тушины захватили Белокани, заняли аулы Джары и Катехи, кинулись на переселенцев и загнали их в трясины и болота.

Уничтожая мужчин, тушины погнали толпы женщин и детей через Чари на Илису к Иранской дороге, по которой два года назад шах Аббас угонял в Иран народ Кахети. И за слезы и кровь, пролитые тогда кахетинцами, тушины сейчас мстили кровью и слезами иранцев. Они гнали их к низовью Алазани через Бахчатлу и Месабруци, присоединяя все новые толпы ненавистных переселенцев.

Спротивляющиеся сарбазы сметались, как соломинка ураганом. Кожаные сумки тушин распухли от отрезанных кистей рук.

Орды переселенцев заполнили тесни-

ны Упадари. Плач, стоны, мольбы потрясали ущелье.

На привале ниже Курмуха Мети с передовыми тушинами наткнулся на отряд Папуна. Он разыскивал Анта для передачи просьбы Георгия выбить заставшего в Загеми ганджинского хана.

Папуна оглядел ободранных и изнуренных персианок и укоризненно покачал головой:

— Э, тушины, разве Георгий Саакадзе с женщинами и детьми воюет? Почему повозки отняли?

Папуна поднял худенькую девочку со спутанными кудрями и черными заплаканными глазами. Сердце Папуна сжалось, он вспомнил маленькую Тэкле: «Брат, мой большой брат, не трогай маленьких девочек, они не виноваты».

Папуна взял при молчаливом одобрении Мети из обоза три арбы, скинул торбы с кормом и разместил в арбах детей. Пошарив в карманах, Папуна отдал все абазы и марчили женщинам.

Когда зеленатый свет луны залил упадарийские вершины, переселенцы, уже были изгнаны в Моваканские степи. Отсюда начинались владения Ирана.

Очистив восточную Кахети от переселенцев и иранского войска, тушины повернули за Анта Девдрис на Загеми.

В упорных битвах отвоёвывая деревни и города, горные тушины прошли Сарыляр, Кясаман, Караагач, под Гибани обратили в бегство ганджинцев и бросились к Сигнахи...

После двадцатидневной борьбы с шахскими войсками и погони за врагом, бегущим то в одну, то в другую сторону, грузины расположились у Лочини, на последнем привале перед Телави. Дружинники по несколько суток не слезали с коней, многие падали от усталости.

Саакадзе объявил: «Две ночи и день отдых. Впереди предстоит бой с войском Пеикар-хана».

Рассвет. Глубоким сном спит лощина. Только часовые, сменяющиеся каждые два часа, чутко прислушиваются к шорохам леса.

¹ Герб французской фамилии Монморанси: волчонок с поднятым хвостом — сын большого волка и волчицы.

Один из Монморанси — Генрих — участвовал в крестовых походах. Свита, оруженосцы носили на латах и оружии герб владетеля.

Грузины, по словам историка Мишо, посылали в Иерусалим свою дружину на помощь крестоносцам. Оттуда они и привезли мечи Монморанси.

Даутбек, Дато, Димитрий, Гиви и Папуна всю ночь оберегали Лочини от внезапного нападения врага.

— Ложитесь, ваша бодрость больше всего нужна, — сказал Саакадзе, оглядывая молчаливые сторожевые башни, с которых сползал белый туман. — Там, наверно, Мухран-Батони.

— Такой бодрости давно не испытывал, Георгий! Врагов гоним, а?! Сколько лет томилась таким желанием! — И Даутбек хлопнул по рукоятке шашки.

— Дураки дружинники, носы затыкали, разве от живого врага не хуже падалью несет? — возмутился Димитрий.

— Может, и хуже, но только не замечаем, и кони не волнуются, — проговорил под общий смех Гиви.

Но Саакадзе не дал увлечь себя веселостью друзей и приказал зайти в шатер и немедленно заснуть. Охрану лощины до вечера Георгий поручил Зурабу Эристави, накануне подошедшему с низовья Иори, где арагвинцев сменили кахетинские тушины.

Саакадзе перекинул через седло сумку со стрелами и в сопровождении Эрасти и десяти арагвинцев выехал в ближайший лес.

— Уединился, всегда на коне тебе лучше думается, — сказал Даутбек, растягиваясь на буре.

— На коне человек в полтора раза умнее, — ответил Димитрий, устраиваясь поудобнее.

— Дорогой Гиви, прошу тебя, не слезай с коня, — шутил Дато.

— Что ж, я с детства мечтал умереть на коне, — сквозь сон проговорил Гиви.

На этот раз никто не рассмеялся. Папуна тихо вздохнул.

«Барсы» угадали: Саакадзе ехал в глубокой задумчивости, не замечая ни зайцев, шнырявших под ногами коня, ни насмешливо улыбнувшейся ему вслед взверженной лисицы, ни оленя, озадаченно смотревшего на него из зеленой листвы.

Саакадзе обдумывал взятие Телави: «Врагов с приходом ширванцев и ганджинцев опять стало не менее ста ты-

сяч. Позади тоже не друзей оставили, но Шадиман не позволит сейчас своим приверженцам ударить нам в спину. Князь царствовать собирается, — значит, против церкви не пойдет. Конечно, осведомлен о моей беседе с католикосом. Да, хорошо вышло... Спасибо Трифилию: два года церковь подготавливала к моему возвращению... Теперь сколько идет за мной? Десять тысяч дружинников и народное ополчение, — семь под началом Мухран-Батони, четыре с кахетинскими князьями и три у Зураба. Значит, двадцать четыре тысячи. Неплохо! Потом тушины, хевсурь и пшавы, там тоже не меньше десяти. О, о, Саакадзе, как ты разбогател!»

Георгий вдруг повеселел. Он подкрутил усы и похлопал по шее Джамбаза. «В бою незачем считать врагов; сколько добрый бог послал, столько рубить. Но когда обдумываешь план, всегда, как купец, лишнее надо накинуть... Своих, напротив, лучше уменьшать: могут опоздать, попасть в засаду, или князья надумают повторить Ломта-гору... Все надо предвидеть... Значит, у меня с хевсурь-пшавами и тушинами двадцать тысяч, а на четырнадцать княжеских буду рассчитывать, но не слишком. Так лучше. Но главная моя сила — ярость народа».

Саакадзе осадил коня, прислушался. Взглянув на Эрасти, он с тропинки свернул в лесную чащу.

Эрасти проворно вскарабкался на дерево.

— Батони, перс скачет, — и натянул тетиву, но Саакадзе остановил Эрасти.

Всадник, нахлестывая коня, приближался.

«Гонец» — решил Георгий и наперерез вынесся на дорогу:

— Стой!

Взмыленный жеребец шарахнулся. Всадник в черном абу поспешил опустить забрало, но Саакадзе успел разглядеть лицо гонца. Это был верный кизыл-баш шаха Аббаса, не раз посылаемый в Турцию по тайным делам.

И кизыл-баш узнал Саакадзе. Он выхватил шашку, но тотчас упал с расчеченной головой.

— Общайте собаку! — крикнул Георгий, вкладывая меч в ножны.

И Эрасти на груди убитого нашел грамоту шаха к Пеикар-хану.

Саакадзе развернул свиток:

«Аллах всевышний, о, аллах! Во имя аллаха милосердного и милостивого!» «Раб веры» шах Аббас требовал от Пеикар-хана головы Георгия Саакадзе, требовал окончательно разорить Кахети, сжечь до корней тутбовые рощи, дабы навсегда уничтожить произведение шелка, требовал истребить кахетинцев.

Саакадзе повернул коня. План наступления окончательно созрел.

В полдень грузинские дружины двинулись по трем направлениям, окружая телавские завалы.

Мухран-Батони и Зураб Эристави заняли берега Алазани, преграждая иранцам путь в глубь освобожденной тушинами Кахети.

«Барсы» с боем овладели западными укреплениями к Телави. Саакадзе с десяти тысячной конницей перешел на правую сторону Турдо.

Три дня грузинское войско бросалось на приступ Телави. Три дня звенело железо и лилась кровь. Мин-баши с сарбазами теснились к городу, отставивая вторую линию укреплений.

Ночью Георгий Саакадзе отдал приказ, и тысячи зажженных стрел перелетели через телавские стены.

Город загорелся. Багровые клубы поднимались над домами. Сарбазы металась в дыму. Горели амбары с хлебом и мясом. От огня раскалился камень, почернели сады.

Ханы решились, наконец, прорваться к иранской границе.

Они выстроили на крепостной стене одиннадцать медных пушек. Одновременный залп должен был отбросить грузин от западных ворот. Туда и намеревались устремиться ханы с сарбазами.

Но нигде не могли найти правителя. Воспользовавшись суматохой, Пеикар-хан бежал через потайной ход за Турдо.

Ширванский хан, проклиная правите-

ля, стал во главе войск и велел открывать крепостные ворота.

С яростными выкриками, потрясая знаменами и кривыми саблями, высыпали тысячи сарбазов. Он-баши навели пушки. Но внезапно раздался оглушающий взрыв. На воздух взлетела западная башня, окутывая Телави пороховым дымом. Обломки камней, бревен посыпались на оглушенных сарбазов.

— Пастухи Амириндо хорошо угостили персов, — засмеялся Саакадзе и, подняв меч, ринулся вперед. Дружины за Георгием Саакадзе ворвались в Телави. Иранские войска покатались на юг к границе.

Медленно подползал рассвет. Покраснела вода в Алазани. Кони без седоков неслись по долине.

Георгий отправил Пануша к Анта Девдрис с просьбой ждать его в Греми.

По дороге к Греми двигался странный караван. На трех верблюдах громоздились в богатых одеждах трупы ханов. На переднем верблюде раскинул окоченевшие руки мертвый Агахан.

Мествире, восседая на коне, украшенном цветами и зеленью, перечислял под звуки гуда злодеяния ханов на грузинской земле.

Впереди ехал Саакадзе. «Барсы», развезая знамя Иверии, следовали за ним.

В Греми Саакадзе торжественно встретился с Анта Девдрис. Георгий собрал тушин у дуба, на котором два года назад качались тринадцать повешенных тушинских витязей.

Георгий подал знак.

Дружинники, перекинув веревки, повесили на ветвях тринадцать мертвых ханов.

Тушины, окружив дуб, с зловещим восторгом смотрели на повешенных.

Даутбек подал две кожаные чаши, наполненные красным вином.

Анта вынул серебряную монету и кинжалом настругал в чашу серебро. Саакадзе и Анта подняли чаши. Они обменялись приветствиями и до дна выпили вино с серебром. Так был скреплен по тушинскому обычаю братский союз полководца и хевис-бери.

Георгий отыскал глазами мрачного тушина:

— Ты отомщен, Гулиа, отомщены и тысячи тысяч грузин, пролившие кровь в дни нашествия шаха Аббаса.

Саакадзе, подойдя к дубу, повесил на шею Ага-хана кусок черной кожи и начертал на ней мелом:

«Не потому, что персы, а потому, что ханы».

Тушины, вскинув франгулы, трижды выкрикнули воинственный клич...

Усеивая трупами леса, балки и лощины, бежало иранское войско.

Народ ликовал. Забыв сон, день и ночь мчались ополченцы с конницей Саакадзе за врагом.

Страшная сеча в теснинах Упадари — и вот жалкие остатки грозного войска шаха Аббаса устремились к степям Мовакани.

Много полегло храбрецов грузин, но павших сарбазов и ханов не счесть.

Настал день, когда в Кахети не осталось ни одного врага.

Высохнет кровь. Поле битвы зарастет травой. Унесет Алазань покрасневшие воды. И снова под жарким солнцем нальется веселым соком виноград. Расстелется шелк, и по долинам разнесутся песни о славных боях Георгия Саакадзе.

Ликует народ в Алазанской долине. Гремят пандури, бухают дапи, рокочут дудуки.

На устроенном из досок возвышении, покрытом коврами, сидит Георгий Саакадзе, Мухран-Батони с сыновьями и внуками. Сидит Зураб Эристави, Анта Девдрис, Кливидзе, дед Димитрия. На мутаки облокотились Русудан и Хорешани.

Вокруг разместились Асламаз, Гуния, боевые начальники дружин и родные «барсов». Сами «барсы» не могли усидеть и, обнявшись, втискивались в тушу пирующих, угощая всех, особенно красивых кахетинок.

Пенятыся чаши, несут целиком зажаренных на вертелах коров и баранов.

Пряный пар навис над кострами.

Георгий точно стряхнул с плеч глы-

бы тяжелых лет. На губах торжествующая улыбка. Подпевая хору, Георгий посоветовал тамаде долины Кливидзе выкатить настоящее вино.

Под хохот и шутки дабахчи волокли на пир буйволиные бурдюки и старые кевври. На разостланные бурки падали азарпеши и роги. Долина гудела от восторга. Подъезжали все новые арбы, даже из далеких картлийских деревень.

Покручивая усы, Мухран-Батони любезно подносил княгине Хорешани на острие драгоценного кинжала сочное мясо.

Хорешани смеялась: да, она по рождению княгиня, но церковь сделала ее азнауркой.

Мирван Мухран-Батони оживленно беседовал с Русудан. Он и Трифилий упрашивали Русудан показать народу, как танцует жена Георгия Саакадзе.

Русудан, откинув лечаки, чуть иронически смотрела на подвыпивших Трифилия и Мирвана.

Вокруг поля выстраивались семьсот дружинников в земкрелло — двухэтажный хоровод. Низкорослые взобрались на плечи высоких. Обгорелые лица, перевязанные тряпками головы, впалые глаза, но счастливый, веселый смех. Среди воинов и мсахури Амириндо, взорвавшие в Телави пороховой погреб. Саакадзе наградил их серебряными шашками.

Верхние твердо стоят на плечах у нижних. Опустив руки, дружинники медленно двигаются кругом. Но вот быстрее забили дапи. Плотнее сдвинувшись, дружинники переплелись руками и понеслись, подпрыгивая, так сильно, что земля задрожала под ногами.

Саакадзе оглянулся: где же Папуна и Эрасти? И Георгий быстро направился в шатер.

Папуна рассердился. Он нигде не может укрыться от назойливых «барсов».

Георгий улыбался: он с любопытством рассматривал маски, приготовляемые Папуна и Эрасти для ночного масхроба¹.

На бурке лежали уже готовые маски

¹ Масхроба (груз.) буквально — шутовство, маскарад.

ослов, оскаленных вепрей, лисиц, смеющихся обезьян, коней, выкативших глаза зайцев и хищных птиц.

Эрасти особенно гордился масками свиньи и шакала, похожих на Караджугай-хана и Али-Баиндура.

Похвастал и Папуна. Он откинул голубой платок, и Георгий увидел маску дракона с свирепыми глазами и красными вывороченными ноздрями. Рядом лежал желтый тюрбан с нарисованным львом. В искаженной морде дракона Саакадзе без труда узнал черты шаха Аббаса. Георгий хохотал, расхваливая мастеров, и вдруг резко обернулся.

В шатер просунулся человек с желтым, высохшим лицом. На его худых плечах висела грузинская чоха. Он бесстрастно сказал:

— Георгий Саакадзе, прими подарок от шаха Аббаса.

К ногам Георгия упал грязный мешок. Что-то глухо стукнуло.

Пришелец исчез. Его не пытались остановить. В шатре оцепенели.

Саакадзе дрожащими руками дернул веревку и отшатнулся. Посиневшая голова Паата выглянула из мешка. Эрасти упал. Папуна застыл, сжав маску дракона.

За шатром бушевала зурна, пандури. Кто-то танцевал, кто-то пел, кто-то кричал:

— Где наш Георгий Саакадзе? Где Великий Мурави?

— Сюда! Сюда!

Саакадзе, окаменев, стоял посредине шатра. Голова Паата с прилипшими ко лбу волосами словно молила о чем-то.

Саакадзе опустился на колени, ему померещилось лицо Чуа. И Георгий, как тогда, отбросил со лба Паата черную прядь.

Не отрываясь, смотрел Георгий на лицо сына. Он взял в руки голову и прильнул к запекшимся губам.

— Георгий, Георгий! — В шатер почти вбежал Даутбек. — Вся долина зовет тебя...

Даутбек качнулся и прислонился к полотнищу. Ему казалось, он слышит стук сердца Георгия, но это стучало его, Даутбека, бесстрашное сердце.

— Где, где Георгий Саакадзе?! —

слышались крики. «Надо что-то сказать» — думал Даутбек.

— Георгий!.. Дорогой друг!.. Народ зовет тебя!!

Саакадзе осторожно завернул голову Паата в голубой платок и положил около Эрасти. Подойдя к Даутбеку, Георгий близко заглянул другу в глаза и обеими руками повернул к себе его лицо:

— Мой Даутбек...

— Георгий, слышишь ликование народа?! Кто дал Грузии такую радость?! Слышишь смех, танцы, песни, слышишь восторг?! Но сколько из пирующих лишились отцов, сыновей, братьев в священной войне? Лишились во имя родной земли и ликуют...

В шатер вбежал Димитрий.

— Георгий, почему спрятался? Какое время отдыхать в шатре?! Элизбар евнуха поймал! Проклятый, грузинское платье надел. Наверно, лазутчик! Хотел ускользнуть, но Гиви узнал исфаганскую собаку, на куски изрубил.

— Идем, дорогой Георгий, народ ждет.

— Идем, друзья! Папуна, дай Эрасти воды...

Папуна шагнул, кувшин выпал у него из рук. Схватившись за сердце, Папуна выбежал из шатра.

— Ничего, батону... от всех я... сам... спрячу, — едва слышно простонал Эрасти, протянув руку к голубому платку.

— Что с ними?! — изумился Димитрий.

— Ничего... Идем, друзья! Народ ждет! — Саакадзе обнял Димитрия и Даутбека и поспешно вышел с «барсами» из шатра.

Дапи гремели, отбивая лекури.

Автандил схватил барабан и яростно забил по натянутой коже. Мухран-Батони и Трифилий, вторя всем, ударяли в такт ладонями. Дапи гремели, отбивая лекури.

В кругу двухэтажного хоровода Русудан словно плыла, изгибая белые руки. Вокруг нее неистовствовал в пляске Мирван.

«...Паата, мой Паата!» — шептала Русудан, и лицо ее то розовело, то покрывалось смертельной бледностью.

Георгий остановился: «Когда в последний раз танцевала Русудан? Да, в Носте, когда Паата в первый раз вскочил на коня».

Заздравные крики встретили Саакадзе. Как пламя, взметнулась песня. Взлетели роги.

«Поминки моему Паата» — подумал Георгий.

«...А может, Тинатин и Сефи спасут Паата? Наверно, спасут!» — нето плачут, нето смеются глаза Русудан.

Кливидзе, откатив рукава чохи, потрясал азарпешей.

— Твое здоровье, Великий Моурави!

— Будь здоров, Георгий Саакадзе!

— Великий Моурави!

— Мужество!

— Э-э, Георгий!

— Победа! — неслось отовсюду.

Вновь пришедшие наваливались на дружинников, желая увидеть Саакадзе.

— Э, Георгий, поднимись на башню,

пусть вся Алазань тебя видит, — бужевал Димитрий. — Вспомним, «барсы», Носте! — И Димитрий положил руки на плечи Даутбека.

«Барсы» вмиг образовали пирамиду. Георгий Саакадзе взобрался по спинам и плечам «барсов». Он стал одной ногой на плечо Даутбека, другой на плечо Димитрия.

Долина рукоплескала. Восторженно вокруг пирамиды кружили воины в земкрелло.

— Скажи нам слово, Георгий Саакадзе! — кричал народ.

Саакадзе поднял руку, и долина смолкла.

— Грузины! Мы празднуем победу, большую победу! Но борьба не кончилась, нам еще предстоит битвы во имя счастья и гордости грузинского народа... Будьте готовы к битвам и победам... Грузины, счастлив тот, у кого за родину бьется сердце!..

Конец второй книги¹.

¹ В журнале «Новый мир» роман печатается в сокращенном виде.

В гости приехала дочь

М. ИСАКОВСКИЙ

★

Теплой весной, под родимую кровлю,
В гости приехала дочь.
Села старуха к ее изголовью
И не заснула всю ночь.

Словно над малым ребенком, сидела
В тихой и темной избе, —
То ль она думала, то ль она пела
Песню о женской судьбе:

— Вот оно дело случилось какое,
Как повернулось оно! —
Сила и разум, и счастье людское, —
Все тебе, дочка, дано.

Значит, не даром жила ты на свете,
Шла по пути своему.
Сталин тебя, говорили, заметил,
Сталин — спасибо ему.

Честно ты служишь Советскому краю, —
Будь же такою всегда...
Я теперь часто сижу, вспоминаю
Горькие наши года:

Как мы с тобой голодали когда-то,
Как замерзали зимой;
Как проводили отца на Карпаты
И не дождались домой.

Я, как сейчас, над тобою сидела,
В долгие ночи скорбя.
Ты еще думать тогда не умела, —
Думала я за тебя.

Только своей головою понурой
 Что я придумать могла? —
 Торбу надела, тебя пригорнула,
 Перекрестилась, пошла...

Долго б терпели мы смертную муку,
 Мерзли б по всем большакам,
 Если бы Ленин надёжную руку
 Не протянул беднякам.

Дал он народу великое право,
 С плеч моих снял он суму.
 Низкий поклон ему, вечная слава,
 Вечная память ему!..

Все свои думы в тебя я вложила,
 Всю свою душу и жизнь.
 Помнишь, тогда я тебе говорила:
 «Дочка, старайся, учись! —

Мать прожила, как слепая, без света, —
 Сроду не трогала книг.
 Дочка, старайся и помни об этом, —
 Сразу учись за двоих...»

Всё у тебя по хорошему вышло,
 Словно предвидела я:
 Всё тебе видно, и все тебе слышно,
 Радость и гордость моя!

Будь же счастливой, живи на просторе,
 Дальше и дальше иди:
 Я ничего не видала за горем, —
 Ты за меня погляди.

Пусть твое солнце горит, не сгорая, —
 День ли наступит иль ночь...

Теплой весною, из дальнего края
 В гости приехала дочь.

На воздушных перекрестках

Записки авиационного репортера

Л. КОРОБОВ

★

ЛЕЧУ

Ежечасно телеграф, телефон, радио приносят в редакцию десятки новостей.

Завтрашний номер «Комсомолки» рождается накануне в полдень. До поздней ночи этот номер живет нервной трепетной жизнью, ежечасно меняя свое лицо. И только под утро он окончательно складывается в том виде, в каком получит его читатель.

Вот заведующий отделом информации закончил макеты первой и четвертой полос, приготовил читателям увлекательный рассказ о наиболее интересных событиях за день. Часы показывают 17. Но... уже в 17 часов 10 минут ленинградский корреспондент телеграфирует: «Нева вышла из берегов». Из таежной глуши Урала по радио сообщают о замечательной находке: обнаружен золотой самородок невиданных размеров. С судостроительной верфи прибыла молния: завтра спускается на воду величайшее в Союзе нефтеналивное судно.

Заведующий отделом смотрит на макеты информационных полос и, задумавшись, говорит:

— Эх, если бы у нас были свои журналисты-летчики! Мы могли бы давать фотоснимки событий на второй же день...

Поздно вечером из далекой республиканской столицы телеграф приносит сообщение: местный аэроклуб подготовил 18 молодых летчиков. Слесари, токари,

инженеры, учительницы овладели искусством вождения самолетов. Но вот... почему журналисты не научатся летать? А как нужны журналисты-летчики!

На следующее утро — короткий разговор с начальником Центрального аэроклуба СССР имени В. П. Чкалова. А некоторое время спустя, автомобиль мчит группу сотрудников редакции по Ленинградскому шоссе. Под колеса машины бежит асфальтовая лента. Навстречу несутся автобусы, троллейбусы, нас обгоняют мотоциклы, магистраль живет своей напряженной жизнью...

Дома встречаются реже. Автомобиль сворачивает на Волоколамское шоссе, к Тушинскому аэродрому. Над лесом кружатся самолеты. Сотни раз приходилось видеть аэропланы и даже летать на них. Но сегодня по-особенному пристально всматриваешься в стальных птиц и, волнуясь, следишь, как выполняют летчики фигуры высшего пилотажа.

Черноволосая девушка, сидящая рядом в машине, улыбается. В этой улыбке много спокойствия и еще больше снисходительности. Голубые петлицы гимнастерки, серебряные крылья с мечами на рукаве внушают новичкам уважение к этой девушке.

— Вы ведете себя беспокойно. Летчик не должен волноваться, — говорит девушка.

Я краснею. Пока автомобиль несется в гору, я пытаюсь восстановить в памяти недавние лекции по теории полета, прочитанные мне и другим курсантам

этой девушкой. Теорию полета я уже приблизительно знаю. Но вот каково будет на практике? Я еще ни разу не брался за рулевое управление... Остановка у аэродрома обрывает сбивчивые размышления.

В автомобилях, автобусах, на поездах, мотоциклах и велосипедах съезжаются сюда юноши и девушки. Многие из них не успели переодеться после работы. Они быстро надевают синие комбинезоны. На головах новенькие коричневые шлемы с очками. Потом все становятся в строй и идут в ангар.

Техник нашей группы комсомолка Люся проворно взбирается на зеленый самолет, что-то щупает и подвертывает ключом. Следует короткое объяснение, — как надо выводить самолет из ангара на красную черту, где машина в последний раз перед полетом осматривается и проверяется.

Мы поднимаем хвост самолета и осторожно катим машину на руках от ангара к красной черте. Первый день, проведенный на аэродроме, кажется самым счастливым. Мы по очереди садимся в самолет и катаемся в нем по зеленому аэродрому, словно на автомобиле. Это называется «рулежкой». Девушка с голубыми петлицами улыбается реже. Глаза ее смотрят строго. Теперь мы называем ее сухо и корректно: «товарищ инструктор». Строгий, пожалуй, даже немного придирчивый, инструктор говорит нам больше неприятных слов, чем комплиментов. С этим надо примириться: гораздо труднее стать пидотом, чем написать об этом очерк...

Май цветет на московских окраинах. На рассвете у ангаров аэродрома очень оживленно. Один за другим самолеты разбегаются по мокрой траве и, отрываясь от земли, скрываются в серебристой пелене предутреннего тумана. «Рулежка» давно окончилась. Мы уже летаем над аэродромом, выполняя первые, несложные эволюции под внимательным наблюдением строгой девушки с голубыми петлицами.

На самолете две кабины. Каждая из них имеет свое управление. Оба управления связаны между собой. Если ученик допустит ошибку и не заметит ее

во время, инструктор поправит его из своей кабины.

Взмахом белого флажка стартер разрешает взлет. Инструктор дает газ. Самолет, неуклюже подпрыгивая, бежит по траве. Последний толчок, — и машина в воздухе. Тогда инструктор передает управление ученику. Рука робко ложится на ручку управления. Самолет набирает высоту. Когда рука устает, машина пытается вырваться из-под твоего влияния. Но наш инструктор всегда настороже. Ее критические замечания, переданные по телефону, воспринимаются, как приказ.

Мы летаем по кругу. Весь полет длится шесть минут. Эти минуты, короткие на земле, кажутся бесконечными в воздухе.

Взлет, набор высоты, разворот, снова набор высоты... Наконец, альтиметр показывает триста метров. Рычажок, управляющий сектором газа, отодвигается немного назад. Мотор работает чуть-чуть тише. Машина летит по прямой со скоростью 100 километров в час. Третий разворот. Расчет на посадку. Убирается газ. Планирование. Четвертый разворот. Машина выведена на линию посадочного знака. Планирование. Посадка. Как много работы! И все это — в течение шести минут.

Иногда инструктор хвалит за полеты, чаще ругает.

В летные дневники она записывает полет за полетом: 37, 38, 40... На 42-м — в кабину инструктора садится командир звена. На следующий день в передней кабине — командир отряда. Они не вмешиваются в управление. Самолет веду я. Никаких замечаний. Взлетаю, делаю круг и сажусь удачно.

Стоя в стороне от старта, на лужайке командир отряда о чем-то разговаривает с инструктором. Иногда они посматривают в мою сторону. Я чувствую, что речь идет обо мне.

Меня подзывают.

— Вы летите один, — неожиданно, тонко, не допускающим возражений, приказывает командир отряда. — Делайте в воздухе то же, что только-что проделывали вместе со мной. Нормальный полет по кругу. Контроль по ориентирам и

приборам. На посадке плавнее тяните ручку...

Приказ командира воспринимается, как ошеломляющая неожиданность. Трудно объяснить и передать чувства, владеющие тобой в эту минуту!

Я несколько растерянно смотрю на инструктора. Вижу, что она тоже волнуется, хотя и скрывает свое волнение...

Взмах флажка открывает мне путь в воздух.

Впервые за всю мою летную практику вторая кабина пустует. Я знаю, что если ошибусь, никто, кроме меня, ошибки не исправит. Плавным движением даю мотору газ. Самолет устремляется вперед. После первого разворота заглядываю в зеркало. В нем отражается опустевшая кабина инструктора.

Вдруг мной овладевает острое чувство страха. Но оно сразу же тускнеет и притупляется, когда я вспоминаю о своем инструкторе. Главное — оправдать ее доверие, не подвести, не осрамиться...

Шестой выпуск пилотов у нашего инструктора проходит без аварий и поломок машин. Неужели же сегодня во время моего первого самостоятельного полета что-то произойдет? Нет, все будет в порядке!

Хочется летать долго, до бесконечности долго. Все заглушает ровный рокот мотора. Второй разворот, третий, четвертый. Точно выполняю всю программу полета. Иду на посадку. Сажусь у посадочного знака мягко, на три точки: одновременно на колеса и костыль. Инструктор бежит навстречу. Она улыбается. Я вижу из своей кабины, что улыбается и командир отряда, улыбается и техник, улыбаются и учлеты, еще не получившие настоящего воздушного крещения.

— Спасибо, товарищ инструктор, — говорю я своему педагогу, крепко сжимая руку девушке. — К десятому съезду комсомола у меня тоже будут голубые петлицы!..

СТАРУХА-НАВИГАТОР

Его нельзя было назвать еще летчиком, хотя он уже летал уверенно, выполнял все фигуры высшего пилотажа

и даже отлично совершил посадку с нарочно остановленным мотором. Все говорили о Власове, как об отличнике и если бы не одна оказия, приключившаяся с ним, он, наверное, опередил бы всех учлетов.

То ли глаза подвели Власова, то ли он долго прогулял с девушкой накануне полетов. Никто тогда не установил истинной причины чрезвычайного летного происшествия. Но происшествие было фактом, и факт этот отнюдь не украшал летную биографию нашего товарища.

Это случилось в один из тех ранних сентябрьских дней, когда листья на деревьях уже начинают чуть-чуть желтеть и в небе становится холодно, хотя наивные пешеходы еще не чувствуют приближения осени. Власов улетел в зону № 12 повторять мертвые петли и перевороты через крыло. В девять ноль-ноль он должен был приземлиться на аэродроме. Но в девять ноль-ноль Власов не вернулся. Прошло десять минут, прошло двадцать, а его все не было. Руководитель полетов начал нервничать.

— Что же вы не смотрите за машиной? — в сердцах сказал он инструктору, в группе которого летал Власов. Но в ту же минуту кто-то крикнул:

— Летит, летит!..

И в самом деле, со стороны зоны № 12 показался учебный самолет. Он снизился и сделал отличную посадку: два колеса и костыль одновременно коснулись земли у полотняного «Т». Но на хвосте прилетевшей машины стояла цифра «8», тогда как самолет Власова был отмечен цифрой «1». Прилетел начальник аэроклуба.

— Ну, как идут полеты? — осведомился он у дежурного командира.

— Пропала единица с учетом Власовым, — хмуро ответил руководитель полетов.

Через пять минут на поиски пропавшего учлета вылетел самолет. Инструктор долго кружился над зоной № 12, потом полетел куда-то дальше, в сторону от аэродрома. Сорок минут провел он в воздухе, но вернулся без всяких результатов.

На розыски вылетел второй летчик. И он через сорок минут вернулся ни с чем. Власов точно в воду канул!

Полеты кончились. Мы собрались на аэродроме для разбора итогов очередного учебного дня. Каждый из нас думал над тем, о чем будет говорить начальник аэроклуба. Инструктор Власова стоял, опустив голову.

— Вот вам еще случай вопиющей недисциплинированности, — сказал начальник. — Сказали ему — зона № 12, так и держись ее. Выполняй задание, а сам на аэродром коси одним глазом, не теряй его из виду!..

Он говорил медленно, поглядывая на небо. Иногда, что-то заметив в поднебесье, обрывал разбор, но, убедившись, что ошибся, продолжал:

— Вот теперь, наверное, плутает где-нибудь, а почему? — И вдруг начальник сердито махнул рукой на учетов, хотя мы стояли совершенно спокойно:

— Погодите, погодите, кажется летит...

К аэродрому приближался самолет. Всех поразила необычайно большая высота полета и его бесшумность. Машина подлетела к аэродрому. Мотор был выключен, и пропеллер безжизненно стоял, как на детских игрушечных самолетах. Потом машина пошла по кругу, все время снижаясь, пока, наконец, не коснулась земли.

Четкая посадка с остановленным винтом вызвала всеобщее восхищение. На хвосте самолета виднелась яркая красная единица, обведенная белыми.

Власова ругали, грозили, что в случае повторения подобных происшествий его отчислят из авиации. Провинившийся твердил только одно:

— Потерял аэродром и летал все время, пока не нашел его снова...

Об этой оказии забыли в отряде и в аэроклубе. Власов перестал быть отличником: лавры первенства перешли к веснушатому, низкорослому шоферу Гришину.

В лагерной палате моя койка стояла рядом с власовской. И вот однажды вечером мы остались одни и после купанья перед сном разговорились. Вспоминали рассказы старых летчиков о том,

как они, заблудившись, выходили на правильный курс.

— Мне один летчик говорил, — рассказывал Власов, — что он однажды совсем запутался. Летит и видит — лес да деревни, а где летит и сам не знает. Повернул направо — незнакомая местность. Свернул влево — то же самое. Через полчаса нашел железную дорогу, а куда она идет, — не знает. Он снизился до бредущего, хотел прочесть название станции на вывеске. Не прочел. Тогда он написал записку: «Товарищ начальник станции, махни в сторону Москвы». Записку на земле подхватили и через несколько минут человек с красным пятном на голове помахал флажком в сторону Москвы. Направление оказалось верным — долетел...

Увлеченные воспоминаниями, мы на перебой рассказывали друг другу разные случаи из жизни старых летчиков. В то время нам, будущим пилотам, казалось, что кроме авиации, на свете ничего не существует. Мы ничего не хотели знать, кроме бипланов и монопланов, кроме неба, преимущественно безоблачного, и беспредельно чистого горизонта.

Я начал:

— А вот был еще такой случай. Являюсь на один аэродром по редакционному заданию, и вот мне летчик рассказывает...

Но тут меня перебил Власов. Он приложил указательный палец правой руки к своим губам и, приподнявшись на локоть, подвинулся ко мне.

— Что твой случай! Лучше я тебе расскажу, как тогда заблудился...

Он говорил полушопотом:

— Кончаю я свой комплекс, гляжу на аэродром... И так, понимаешь, захотелось мне полетать, свободно без задания. Ну, я тут же ныряю в облако. Сколько в нем пробыл, — не знаю. Только вижу, что самолет летит ровно, а я как бы вываливаюсь из него. Мучился, мучился. Кругом такой туман, что, кроме крыльев, ничего не видно.

Кончилось облако. Посмотрел кругом, а аэродрома не видно. Что делать? Внизу какие-то дома, потом шоссе попало, потом еще одно... Лечу вдоль дороги, куда — сам не знаю. Весь мок-

рый сделался, а аэродрома все нет. Подумал: «дай сяду», и сел у деревенских огородов. Народ собрался. Какая-то старуха спрашивает:

— Куда, родимый, летишь? Может, к Арине в гости? У нее Василий-то тоже летает...

— Нет, не в гости, — говорю. — Долго летел, вот покурить захотелось.

— Ну, покури, покури, устал, наверное?

Самолет стоит, мотор работает, а я все думаю, — как бы узнать, куда шоссе это ведет, и чтобы колхозники не догадались, в чем дело.

— Шоссе-то у вас новое? — спрашиваю.

— Да вот, почитай, года три, как его сделали, — отвечает старуха, — теперь молоко из колхоза прямо в Москву на машине возим.

Тут по шоссе пробежала грузовая автомашинка.

— Это не ваша ли машина в Москву поехала? — спрашиваю.

— Нет, что ты, она, наверное, из Москвы идет. Мы-то ездим мимо луга, где вы летаете...

— А... — говорю я с таким видом, будто мне все это в высшей степени безразлично, — значит это Волоколамское шоссе?

— Ну, а какому же ему быть? — удивилась старуха.

Тут мне все стало ясно. Докурив я папиросу, сказал: «до свидания», и взлетел.

Как сказала старуха, так и полетел. Вот и добрался кое-как на свой аэродром...

Власов замолчал. Потом, спохватившись, торопливо проговорил:

— Только я прошу тебя, никому не говори...

Неожиданно полог палатки приподнялся. Мы насторожились.

Сначала мы увидели запыленный сапог, потом военный костюм и, наконец, суровое лицо власовского инструктора.

— А вот завтра будет такой случай, — сердито сказал он: — Власову запишут в летную книжку первую вынужденную посадку...

Оказалось, что инструктор после ку-

панья, перед сном, проходя мимо нашей палатки, услышал разговор и, заинтересовавшись, прослушал его до конца.

— А вот вам, — сказал инструктор, обращаясь ко мне, — в таких случаях надо докладывать...

— Не успел, — краснея, оправдывался я.

И все-таки Власов в эту минуту казался мне самым находчивым пилотом в нашем отряде.

ВОЗДУШНАЯ АЗБУКА

Восемь девушек и двадцать четыре юноши летали в нашей эскадрилье. Это были воздушные спортсмены, окончившие аэроклуб и продолжавшие тренировку.

После учебы в аудиториях институтов, после работы на заводах и в учреждениях спортсмены съезжались на аэродром и летали на скоростных спортивных машинах. Летали с упоением. Пожалуй, никто из нас не знал более высокого вдохновения и страсти, чем те, которые мы испытывали в часы акробатических полетов на тренировках и на воздушном параде.

Воздушный спорт — увлекательное занятие. Он поглощает все чувства летчика. Иной раз мы часами простаиваем где-нибудь в тени деревьев с задранной головой и зачарованно смотрим, как истребители или летчики-испытатели мастерски работают в воздухе. И каждому из нас до смерти хочется научиться летать точно так же: легко, стремительно, красиво.

Перед этой страстью все отходит на задний план. Даже свои романы летчики вынуждены переносить на более прозаические времена года — осень и зиму, когда аэродромы залиты жидкой грязью или засыпаны снегом, и наши самолеты отдыхают в ангарах.

И хотя наши девушки в конце-концов стали протестовать, заявляя, что они не могут ждать октября, — две беседы командира отряда охладили их пыл. Они вынуждены были смириться и искренне завидовали пилоту Наде, которая питала чувства к пилоту Мише, — Надя и Миша летали в одной эскадрилье и по-

этому виделись ежедневно. Но почему-то получалось так, что Надя и Миша никак не могли выкроить время для того, чтобы сказать друг другу все то, что в таких случаях обычно говорится.

Наконец, в один из вечеров Надя встретила с Мишей в Центральном парке культуры и отдыха. Они посмотрели цирковое представление, побывали в зверинце, покатались на качелях. Все было хорошо, все им нравилось. Но, куда бы они ни пошли, всюду встречались люди, которые им мешали. Тогда они взяли лодку и отплыли на середину реки.

Лодка медленно плыла по течению мимо парковых аллей и аттракционов, обвятых электрическим пожарищем. Влюбленные были одни, никто их не видел, никто им не мешал. Грохот джазов далеко уносился по вечерней реке.

— Да... — вздохнул Миша. — А Володька здорово все-таки летает вверх колесами...

Надя встрепенулась и зло посмотрела на своего кавалера.

— Опять эти полеты! — раздраженно прошептала она. — Я не хочу слушать ни о полетах вверх колесами, ни о петлях и переворотах. Мне все это надоело. Можем же мы говорить о чем-нибудь другом?

Миша непонимающе посмотрел на Надю и улынулся.

— Конечно, Надюша, конечно, — говорил он, улыбаясь. — Понимаешь, я давно хотел тебе сказать...

Он как-то замялся и неожиданно покраснел:

— Да вот как-то слов подходящих не найду...

Он помолчал и потом, сообразив что-то, сказал:

— Знаешь... Я тебе об этом сегодня не скажу. Я тебе об этом скажу иначе, по-своему!

Надя обидчиво вздернула плечами:

— Как знаешь... Дело твое!

Вечер был окончательно испорчен.

На следующий день все мы, как обычно, собрались на аэродроме. Пока не начались полеты, Миша лежал в траве под хвостом своей машины. Он что-то старательно писал в блок-ноте. Надя

беседовала с подругами; они слушали, не обращая на нас внимания. Саша толкнул меня и кивком головы показал на Мишу. Мы заглянули через его плечо и увидели, что он старательно выписывает комплекс фигур высшего пилотажа и тут же ставит какие-то буквы. Миша писал: «иммельман правый» (Д), «медленная левая бочка» (У), «полет на левом боку» (Ш), «петля» (А).

Мы прочитали «душа» и удивленно посмотрели друг на друга. Изобретатель новой, необычной азбуки писал с большим вдохновением и настолько был погружен в свое занятие, что ничего не замечал вокруг. Он писал: «боевой разворот правый» (М), «виток правого штопора» (О), «свеча» (Я). Получилось — «моя». Так он написал: «Душа моя! Мое сердце — твое сердце. Я люблю тебя, как небо и полеты!» Даже запятая обозначалась фигурой — «петля с правой бочкой в верхней точке», точка — «петля с левой бочкой», а пикирующий полет призван был изобразить знак восклицания.

Закончив это сложное произведение, Миша аккуратно переписал свою азбуку по алфавиту и порвал черновик.

Мы были заинтригованы этим загадочным кодом. Но расспросить Мишу не успели: дежурный по полетам отдал команду: «Запускать моторы!»

Через пять минут мы взлетели и, сделав три больших круга над аэродромом строем в составе звеньев, приземлились. Начались полеты на индивидуальный пилотаж по вольной программе. Миша улетел в зону № 4. Мы с Сашей с огромным интересом следили за его самолетом. Так и есть! Наш изобретательный друг решил объясниться в любви с воздухом и теперь тренируется, отшлифовывая почерк...

Командир отряда изредка поглядывал на машину Миши в бинокль и недоуменно качая головой, бормотал:

— Что это он мудрит? Что за странное сочетание фигур?..

Вариациями Миши заинтересовалась и Надя. Она также ничего не понимала. Только мы с Сашей могли прочесть:

— Мое

— сердце
— твое
— сердце...

Через полчаса Миша сел. Он доложил командиру отряда о полете и, тот, положив ему руку на плечо, сказал:

— Комплекс, который вы придумали, подходящий. Только нельзя так небрежно делать замедленные фигуры. Если вы положили машину в полет на бок, то так и летите, как по нитке, никуда не заворачивая.

— Есть, товарищ командир, отшлифу! — весело ответил Миша. Закурив, он подошел к Наде и, не говоря ни слова, сунул ей свой измятый листок с азбукой. Надя хотела о чем-то его спросить, но в это время командир отряда вызвал на старт женское пилотажное звено, и Надя улетела, бросив своему воздушному рыцарю такой милый взгляд, что нам с Сашей стало завидно.

Летный день уже близился к концу, когда командир отряда снова подозвал Мишу и сказал ему:

— Так вот насчет вашего комплекса... Чтобы отработать его получше, отправляйтесь сейчас в четвертую зону и сделайте вот что...

Он подумал и начал перечислять, загибая пальцы.

— Сначала правый иммельман... Потом медленную левую бочку...

Миша кивал головой.

Командир отряда продолжал:

— Потом медленную правую бочку...

Лицо у Миши внезапно вытянулось. Он хотел что-то сказать, но командир погрозил ему пальцем и строго проговорил:

— Да-да! И никакой отсебятины. Я говорил вам, что вы слишком небрежно делаете замедленные фигуры. Надо их отработать!..

И он продолжал перечисление:

— Свеча... Восходящая бочка... Реверсман... Восходящая бочка...

Миша побледнел, но, не подавая вида, по-военному четко повторил задание и переспросил:

— Разрешите итти?

Командир отряда кивнул головой:

— Все эти фигуры повторите два раза...

Минуту спустя, Миша вырулил на старт. Надя, стоявшая в стороне и не слышавшая разговора с командиром отряда, следила за его бело-голубым монопланом влюбленными глазами. Миша оглянулся на нее, покачал головой и, виновато втянув голову в плечи, попросил старта. Мы с Сашей переглянулись. Но теперь уже ничем помочь своему товарищу не могли. Не итти же нам, в самом деле, к Наде отбирать проклятую азбуку!

Миша набрал не менее полутора тысяч метров высоты и долго не начинал фигур. Командир и Надя удивленно смотрели на крохотный бело-голубой моноплан, бесцельно болтавшийся в зоне.

— Наверно, волнуется, — застенчиво сказала Надя, — все ж таки ответственное задание!

И она украдкой заглянула в знакомый нам измятый листок.

— Угу... — буркнул Саша.

Наконец, Миша ловко и отчетливо сделал правый иммельман.

Надя глянула в азбуку, вынула карандаш и записала «Д».

Бело-голубой моноплан рванулся вперед и четко выписал замедленную левую бочку. Потом он сделал замедленную правую бочку и свечу.

Надя продолжала писать. Миша сделал перерыв и потом начал снова. Он сделал свечу, восходящую бочку, реверсман и снова восходящую бочку.

Летчица опустила листочек бумаги и, поблднев, села в траву. Мы подошли и увидели на листочке ее запись: «Дуля тебе»... Тем временем Миша начал все сначала и, закончив пилотаж, заставил самолет стремительно покинуть зону пикирующим полетом.

— Дуля... Кукиш... За что, за что? — шептала Надя. — Даже со знаком восклицания!

Она ни на кого не глядела и даже не повернула головы в сторону приземлившейся машины Миши.

— Вот теперь можно и комплекс делать! — весело сказал пилоту командир отряда. Но Миша не ответил. Грустно посмотрев на командира, он рассеянно кивнул ему головой и направился к Наде.

— Не подходи! — крикнула Надя. — Я ошиблась и за это наказана. Нет, нет, не оправдывайся, — говорила она, отворачиваясь от Миши.

— Надюша, я же не виноват, — бормотал Миша. — Командир отряда дал задание отшлифовать фигуры, и все перепуталось. Давай я тебе скажу попросту, по-земному. Я люблю тебя, Надя, а дуля тут, ей-богу, ни при чем!..

Тут уж мы с Сашей не выдержали. Когда решается судьба друга, надо послать к чорту гнилой нейтралитет. Риска навлечь на себя обвинения в подслушивании чужих секретов, мы подошли к Наде и рассказали все, что видели и слышали.

Вначале Надя слушала нас с недоверием. Потом, после некоторого молчания, сказала:

— Да. Наш командир — прозаик. Он лысый и потому знает одну лишь земную азбуку. А в небе ему важны только отлично выполненные фигуры...

И она крепко пожала руку нашему другу.

ПЯТЬ СУТОК БЕЗ ПОЛЕТОВ

Мы были уже «старички» и летали на скоростных монопланах. Каждую весну в течение четырех лет мы, пятеро, встречались на аэродромах. В перерывах между полетами кто-нибудь из нас придумывал сочетание фигур высшего пилотажа и выносил его на обсуждение. Но нас тянуло друг к другу не только на земле. Иногда, лежа в тени, отбрасываемой крыльями, мы уславливались о встрече в воздухе.

Спортивные машины имели хорошую скорость и делали все фигуры, какие только доступны летчикам-виртуозам. Мы мечтали стать такими летчиками-виртуозами, и поэтому облачные весенние дни были для нас самыми желанными: за облаками, подальше от глаз строгого начальства, происходили наши «бои».

На этот раз мы с Сашей решили встретиться за большим облаком, которое медленно надвигалось на аэродром. Эта встреча была нужна мне, так сказать, потребительно: я собирался на-

писать очерк о воспитателе летчиков-истребителей Марусе Колотилиной и о первых воздушных боях ее воспитанников; поэтому мне требовалось как следует «освоить» ощущения участника сражения в воздухе.

Я запомнил литер «4» на хвосте сашиной машины и сочетание красных и белых полос на фюзеляже.

В ожидании товарища около облака пришлось заняться акробатикой: из петли я уходил в боевые развороты, срывал машину в штопор и уходил на иммельман. Старался держаться ближе к аэродрому. Это была наша обычная тактика: командир отряда привыкал к нашим кувырканиям и переставал обращать на них внимание. Тогда можно было нырнуть за облако и там предаться любимому занятию.

Наконец, на другом краю облака показалась «четверка». Я качнул крыльями, и мы спрятались за облако. Через пять минут мы уже гонялись друг за другом.

Темп «боя» нарастал. Саша разошелся. Таким я его никогда еще не видел. Он изредка грозил мне кулаком, и это еще больше разжигало мой задор. Мы чувствовали себя за облаками, как за тяжелым театральным занавесом. Наконец, четверка зашла ко мне в хвост и так прицепилась, что я нырнул в петлю. Но и она не спасла меня. Тогда я попытался уйти из-под атаки боевым разворотом, но «четверка» неотступно следовала по пятам. Тогда я, покачав крыльями, как бы прося о пощаде, спикировал и ушел на посадку.

На старте было, как обычно, много людей. Меня никто ни о чем не спросил, — никто ничего не видел. Но вот села «четверка», и я побежал к Саше. Уцепившись за крыло, я заглянул в кабину и... ноги отказались служить мне. Вместо Саши в кабине сидел командир отряда. Я зажмурил глаза, потом открыл их. Увы, я не ошибся — на меня глядел командир.

Он, не торопясь, вылез из кабины, снял парашют, расстегнул шлем и подождал меня:

— Темперамент у вас есть, деретесь напористо. В истребители годитесь, но

получите пять суток без полетов за неразрешенный «бой»...

В течение декады командир отряда выловил за облаками всех «драчунов» и, поверьте мне, не я один вынужден был провести целую пятидневку на земле.

Зато на четвертый день вынужденного отдыха от полетов был опубликован в «Комсомольской правде» очерк «Воспитатель истребителей».

СЧАСТЬЕ МОЕЙ ЖЕНЫ

Всякие бывают на свете жены. Разные они и у летчиков. Некоторые перед полетами мужей волнуются, другие же так к этим полетам привыкают, что не теряют из-за них спокойствия и душевного равновесия. За пять лет репортажа я нагляделся на всяких жен.

Когда вдруг я сам оказался женатым, то, к моему удивлению, внешне жизнь моя не изменилась. С первыми утренними трамваями я уезжал за 25 километров на аэродром, в школу инструкторов-летчиков, а во второй половине дня объезжал другие аэродромы, собирая материал для газеты.

Но жена моя — тоже газетный работник. Дорогой читатель, знаете ли вы, что значит, если у репортера жена газетчица?! Она разбирается во всех тонкостях вашей работы, вы не скроетесь от нее ни у одного знакомого, так как у нее есть параллельная вашей телефонная книжка и, конечно, вы никак не сможете оправдать свое случайное опоздание к ужину.

Признаюсь, за аэродром мне доставалось крепко.

— Вот у нее муж, — говорила жена о своей подруге, — примерный. Он с ней и в кино, и в театр, а в выходной даже сам за покупками ездит в магазины. А ты что? Сплошной аэродром. Журналист должен писать, а летать должен летчик. Уж если учиться, так шел бы в Московский университет.

Однако непреклонная моя воля к завершению летного образования побеждала недовольство супруги. Возмущение ее начало постепенно переходить в волнение за благополучный исход полетов,

потом и это прошло. Все чаще и чаще я слышал, как жена говорила приятельницам:

— Для полного счастья мне не хватает сущего пустяка — подняться с мужем в воздух и убедиться, что он действительно умеет летать.

В прошлом году мне не удалось покатаить жену на самолете. Но вот, наконец, ее мечта должна была осуществиться... Перед выходным днем командир отряда сказал:

— Привозите завтра жену, пусть снимает для нашей фотогазеты да, кстати, вы ее покатаете.

Был чудный выходной день, один из тех, когда москвичи толпами устремляются за город. Мы ехали в автобусе. Жена безумолку разговаривала с приятельницами и товарищами по редакции, которых командир отряда также разрешил покатаить.

— Сегодня я буду совсем счастлива, — говорила она.

Для катанья гостей были предназначены двухместные монопланы. Эти машины только-что появились у нас, и летчики, освоив технику пилотирования, готовились выступить на них в День авиации. Журналисты с восхищением осматривали машины, расспрашивая о летных качествах.

Наконец, мне было разрешено посадить в кабину дорогую подругу жизни. Я укоротил привязные ремни так, чтобы в воздухе она крепко держалась на сиденье.

— Зона № 6, — сказал, улыбаясь, командир отряда. — Высший пилотаж по свободной программе.

Через три минуты мы были на высоте 550 метров, а еще через две — прибор показывал 1 000. Я обернулся назад, жена робко озиралась по сторонам. Вздвигнув самолет, я заставил его как бы повиснуть в воздухе. Потеряв скорость, он опустил нос, а потом рванулся вправо и завертелся в штопоре. После двух витков я выровнял машину и, подняв ее кверху, перевернул в иммельмане. Мы опять летели нормально. Неожиданно я перевернул самолет через крыло, и он снова понесся к земле. Потом самолет вздыбился, точно был намерен до бес-

конечности итти носом к небу. Но вот скорость почти погасла, почувствовался вес собственного тела, и левая нога энергично свалила машину в реверсман: она легла крылом набок и потом опустила нос к земле.

Эта фигура всегда нравилась моим товарищам. Мы шутили по поводу нее: «Самолет пошел на петлю, а потом раздумал и вернулся». Но обратный полет был именно на петлю, и не на одну, а на целых четыре.

Прошло пятнадцать минут. Я оглянулся и... к своему ужасу, не увидел жены. Признаюсь, мне никогда не было так страшно. Даже на войне в тяжелые минуты я чувствовал себя куда бодрее.

Я развернул самолет и тщательно осмотрел землю, над ней нигде не было раскрытого парашюта. «Не может быть, чтобы такая женщина не раскрыла парашюта» — подумал я. И тут из кабины показалось бледное, растерянное лицо жены. Мы посмотрели друг на друга. Я набирал высоту, чтобы сделать еще каскад фигур, но она, держась одной рукой за борт, другой энергично показывала на землю, подавая тот международный сигнал, с помощью которого все воздушные пассажиры просят посадки.

Я посмотрел на землю, потом на жену. Но тут самолет вошел в облако, и я отвернулся, чтобы нормально пилотировать машину. Из сизого тумана мы вынырнули на высоте 2 000 метров.

До окончания полета оставалось несколько минут, и я решил их использовать как следует. Самолет снова вздыбился и свалился в штопор. Открутив два витка, с разгона я сделал двойную «бочку». Потом перевернулся через крыло и ушел в иммельман. Новые два витка штопора, реверсман, потом серия петель.

Посадка. Около жены собрались приятельницы. Бледная и шатающаяся, она посмотрела на меня. Взгляд ее не предвещал ничего хорошего. Энергично погрозив пальцем, она, наконец, сказала: — Ну, приди только домой!

И, несмотря на уговоры приятельниц, торопливо зашагала к автобусной остановке.

Конечно, читателю интересно узнать, что было вечером дома, но, поверьте, мне не хочется об этом рассказывать...

...Когда жена прочла эти строки, она усиленно советовала мне заменить подлинные имена участников полета, предлагая написать, что такой случай произошел с одним из моих товарищей.

НА ЛЕДНИКЕ № 6

Несколько лет назад на мою долю, — на долю скромного воздушного пассажира, — выпала честь установить своеобразный маленький рекорд, кажется, еще никем пока не перекрытый: из Якутска через Иркутск в Москву на трех разных машинах я перелетел в два с половиной дня.

Во время этого рейса мне пришлось заночевать в одном большом сибирском аэропорте. Машины стартовали в ночь, но мне предложили отдохнуть до следующего рейса, и я согласился. Согласился поневоле: несмотря на жаркую погоду, я трясся от озноба — меня мучила лихорадка.

Начальник аэропорта прислал дежурного врача. Он помог мне. Когда приступ лихорадки кончился, мы разговорились и болтали до утра.

Я рассказывал ему разные истории из жизни якутов, среди которых мне довелось прожить два месяца, о волчьей упряжке, встреченной в Верхоянских горах, о том, как возникают поселки на местах, где почему-либо приходится садиться легчикам.

Мой собеседник слушал внимательно. Но когда речь зашла о пурге, от которой якут, его оленья упряжка и я укрылись за нартами, поставленными набок, у врача неожиданно потускнели глаза. Он задумался о чем-то своем и перестал слушать меня, лишь изредка, невпопад, кивая головой. Я обиженно умолк. Тогда врач глубоко затянулся папироской и, выпустив тонкую струю дыма, сказал:

— Пурга мне многое напоминает. Вот из-за одной такой пурги я сделался врачом. Хотите я вам расскажу об этом? Для журналиста эта история может быть покажется интересной...

— Дело происходило на леднике № 6, в горах, уходящих на восток нашей родины. Я работал радистом на метеостанции, расположенной на этом леднике. Наша станция была крохотная. Ее обслуживали всего двое работников: я и метеоролог Алексей Петров. Мы прожили на леднике около года. Само собой разумеется: два отрезанных от мира человека в условиях трудной работы не могли не полюбить друг друга.

Однажды на нашем леднике несколько дней бушевала метель. От домика к метеостанции мы протянули веревки; держась за них, во время пурги мы пробрались к приборам станции.

В разгаре пурги метеоролог вышел к метеобудке, чтобы записать очередные показания приборов. Поджидая его, я приготовил радиобланк, чтобы побыстрее его заполнить и передать сводку в эфир. Прошло полчаса, но Петров не возвращался. Прошел час. Несколько раз я выходил на поиски товарища, но ветер сбивал меня с ног, вихри снега слепили глаза, и я ползком возвращался обратно. Наконец, собрав все силы, я дополз до метеобудки. К ужасу своему убедился, что Петрова здесь нет. Привязавшись к веревке, попытался разрыть сугробы снега. Я работал руками вместо лопаты и сбил их в кровь. Петрова не было.

Я пополз обратно к домику и, не раздеваясь, весь в снегу повалился на койку. Всю ночь я пролежал без сна.

На рассвете кто-то тихо постучал в дверь. Я бросился к ней и на пороге увидел Петрова. Лицо его было мертвенно-бледным. Одежда была покрыта ледяной корой. Я втащил его в комнату, раздел, оттер спиртом, дал выпить коньяку. Вскоре я понял, что случилось большое несчастье: левая нога метеоролога, оказавшаяся без унты, была отморожена.

О происшествии я немедленно сообщил Управлению метеорологической службы. Положение Петрова с каждым часом ухудшалось. У него была высокая температура, началось заражение крови. Что делать? Сколько я ни ломал себе голову, мне ничего не удавалось придумать для спасения друга. От

ближайшего населенного пункта нас отделяли 180 километров. Самолет на нашем леднике сесть не мог. Мне сообщили по радио, что один врач-хирург изъявил желание спуститься с парашютом у нашей метеостанции. Но и этот рискованный план осуществить не удалось: аэродромы были испорчены весенними дождями. Тогда я обратился к правительству союзной республики, на территории которой была расположена станция. Я ничего не предлагал. Я умолял правительство спасти моего товарища.

И вдруг в семь часов вечера меня вызвали к аппарату. Я услышал голос профессора столичной клиники. Он попросил подробно рассказать историю болезни и состояние больного. Потом он добавил, что вместе с ним у микрофона находятся крупные специалисты, вместе с которыми он примет решение о лечении Петрова. Я рассказал все, что знал. Сорок минут спустя я услышал уже знакомый мне голос:

— Молодой человек, — говорил профессор, — не волнуйтесь. Хотя вы не имеете образования хирурга, хотя вам может быть, вначале будет немного не по себе, вы должны будете сделать операцию сами. Да, сами!

— То-есть как это сам? — переспросил я.

Я был растерян. Слова профессора показались мне плохой шуткой. Но профессор серьезным и строгим голосом продолжал:

— Во-первых, вы — товарищ больного. Во-вторых, вы должны сделать эту операцию еще и потому, что являетесь единственным человеком, который может сделать последнюю попытку спасти жизнь больному...

Передо мной на мгновение явственно предстали раскисшие аэродромы, бездорожье, безлюдный, суровый горный край. Я понял, что профессор прав. Другого выхода не было. И я, собравшись с духом, выбил на ключе:

— Хорошо...

— Мы не сомневались, что вы согласитесь, — сказал профессор. — Мы поможем вам консультацией. Мы продиктуем вам каждый шаг. Приготовьтесь

к операции. Мы вызовем вас в десять часов вечера...

И ровно в десять вечера я снова услышал голос профессора. Он звал меня долго, — я не отвечал. Я медлил с ответом. Скажу откровенно — мне было страшно приступать к необычному для меня делу. Наконец, я запустил свой передатчик.

— Я слушаю, — передал я.

— Ну, товарищ Крапивин, приступим, — спокойно сказал профессор.

И это спокойное обращение сразу вернуло мне бодрость. Даже руки у меня перестали дрожать. Я сообщил об этом профессору. Видимо, ему это понравилось, но он сделал вид, что все так и должно быть. Будничным, спокойным голосом он диктовал:

— Прежде всего нужно выдвинуть стол на середину комнаты...

Я выполнил указание.

— Есть ли у вас на станции большая клеенка?

Такой клеенки у нас не было.

— Тогда постелите чистую простыню. Я постелил простыню, положил подушку.

— Приготовьте ремни или мягкую тонкую веревку.

Я приготовил и это. Тогда профессор начал спрашивать, есть ли у меня что-нибудь из анестезирующих средств. Увы, в нашем распоряжении находились только метеоприборы, спирт и немного коньяку, который мы предполагали распить в особо торжественные дни.

— Тогда приготовьте спирт. Нет ли у вас ванночки, подходящей для того, чтобы прокипятить хирургические инструменты?

Видимо, он сказал «хирургические инструменты» только по привычке.

Для кипячения инструментов была приспособлена металлическая ванночка из-под проясителя: Петров любил заниматься фотографией, и у него было несколько ванночек.

Я зажег керосинку, прокалил на ней ванночку, налил воду.

— Какие у вас есть хирургические инструменты?

Я перечислил их: топор, финский нож, безопасная бритва, слесарная ножовка,

плоскогубцы и два ружья. Наступила длительная пауза. Очевидно, мой ответ поставил профессора в тупик. Наконец, он приказал положить в ванночку с водой финский нож, новую слесарную ножовку и плоскогубцы.

Петров бредил. У него была очень высокая температура. Он выкрикивал несвязные слова, метался на своей кровати.

— Ну, товарищ Крапивин, вы закончили подготовку к операции? Теперь кладите больного на стол.

Я перенес Петрова с постели на стол.

— Прошу вас дать больному сто кубиков разведенного спирта.

Я разбавил водой спирт и влил его Петрову в рот. Но я не чувствовал, чтобы он был достаточно пьян. Тогда я дал ему еще сто кубиков. Это свалило больного.

— Заведите его руки под стол и крепко завяжите их. Ноги также привяжите к столу.

«Потом профессор заставил меня остричь ногти и вымыть руки — сначала в воде, потом в нашатырном спирте, потом в чистом винном спирте.

Когда все это было сделано, профессор сказал:

— Теперь, товарищ Крапивин, осталось сделать главное...

Я чувствовал, что профессор волновался. Его голос немного дрожал. Он спросил еще раз:

— Вы готовы?..

Прошло десять минут. Часы показывали 23 часа 20 минут. Профессор несколько раз повторил свой вопрос. Наконец, он громко крикнул:

— Что же вы там делаете, чорт побери?

Я сознался:

— Прошу извинить, товарищ профессор... Я плакал...

Тогда профессор повторил, что спасение жизни Петрова зависит исключительно от меня, и если я не решусь сделать операцию, то окажусь подлецом и трусом.

Я подошел к столу. Вынул из горячей воды финский нож, ножовку, плоскогубцы, промыл их в спирте и сделал все, что мне продиктовал профессор. Закон-

чив операцию, я перевязал ампутированную ногу, швырнул под стол наушники и, выбежав из дома, повалился в сугроб.

Когда я вернулся в комнату, Петров лежал без чувств. Валявшиеся на полу радионаушники хрипели.

Подняв их, я услышал тревожный голос хирурга, который настойчиво повторял одну и ту же фразу:

— Почему вы молчите?

— Товарищ профессор, — доложил я, — операция закончена.

Я начал будить Петрова. Он не просыпался. Только раз, приподнявшись, он окинул комнату мутными, подернутыми слезой глазами, но потом снова потерял сознание. Тогда я принес снега и начал тереть ему уши и лицо. Он пришел в себя и дико заорал.

С тех пор я задался целью во что бы то ни стало стать настоящим врачом. Я окончил медицинский институт и теперь, как видите, могу по-настоящему помочь заболевшему человеку...

Крапивин умолк. Папироса его давно погасла, но он забыл о ней.

Мы долго сидели молча. Каждый из нас был погружен в свои мысли. За окнами стрекотал мотор, — очевидно, готовили самолет для ночного рейса.

Вдруг мы услышали чьи-то неровные шаги. Я оглянулся. К нам приближался еще не старый человек, опираясь на палку. Он ступал довольно твердо, хотя в его походке чувствовалась некоторая искусственность, — так ходят люди, пользующиеся протезом.

Крапивин встал со стула.

— Будьте знакомы, — сказал врач, — это мой первый пациент с ледника № 6 Алексей Евгеньевич Петров. Он работает в нашем аэропорту синоптиком. Синоптик улыбнулся и протянул мне руку.

КРЫЛОМ ЗА СОСНУ

Впервые я видел лейтенанта Витина таким расстроенным. Он ходил вокруг своего истребителя и вздыхал:

— Ай-яй! Что же, — я так и буду теперь сидеть на земле? Надо пойти доложить...

Правое крыло его машины было изуродовано, конец отломан, элерон загнут.

— Здорово финны пальнули! — сказал я. — Прямо в крыло. Адская точность...

Витин посмотрел на меня изумленно и только хотел что-то сказать, как подошел командир истребительной группы.

— Как же это вас угораздило зацепиться за сосну крылом? — строго сказал он Витину, показывая на изуродованную плоскость. — Не оправдывайтесь. Я вам всегда говорил, низко бреете, врежетесь когда-нибудь в сосну.

— Честное слово, товарищ командир... — начал было летчик.

Но тут командира позвали на командный пункт.

— Вот на войне как трудно! — вздохнул снова Витин. — Воевал я в финском тылу, может, и не видел меня никто, а теперь докажи, что ты не верблюд.

— Неужели это не снарядам? — спросил я.

Витин зло покосился на меня, но смолчал. Он вынул папиросы и лег на снег. Я влез в подземелье, куда тянулось телефонные провода. Связист, отчаявшись с кем-то соединиться, кричал в трубку: «Мексика, Мексика, я тебя плохо слышу. Связывайся через Гибралтар». Командир группы сидел у другого телефона и повторял:

— Так... Так... Так...

Потом поднялся и посмотрел на часы:

— Что же они не летят: горячее ведро на исходе. Ах, Витин, Витин! Все-таки врзался в сосну...

Не успел он это проговорить, как где-то наверху раздался шум моторов. Командир вылез из землянки. Один за другим садились на землю истребители, прилетевшие из финского тыла.

— Витин! Витин! — крикнул младший лейтенант, выпрыгнув из моноплана. — Иди сюда, я тебя обниму.

Все засмеялись, думая, что это шутка. Но Витин поднялся и подошел к летчику. Они мгновенно смотрели друг на друга и, обнявшись, поцеловались. Потом хлопнули друг друга по плечам и снова обнялись.

Подбежали другие летчики и тоже начали обнимать Витина. Он до того расстрогался, что из его серых глаз скатилась крупная слеза.

— Товарищ командир! — выговорил он, наконец, обращаясь к начальнику. — Спросите моих товарищей, за какую сосну я задел крылом...

— У финнов сосен много, — сказал кто-то из толпы, и все снова засмеялись.

...В землянке командир эскадрильи рассказывал о налете истребителей на тыл врага. Командир группы слушал его внимательно.

— Можете поздравить: три сбитых «Глостер-гладриатора». Одного сбил Андреев, другого Витин таранил, а третьего мое звено загнало в лед озера.

Командир группы смутился и переспросил, что сделал Витин.

— Таранил, — ответили ему.

— Ах вот оно что! — сказал командир и тут же крикнул:

— Позовите Витина.

Взволнованный Витин влез в землянку и обвел всех взглядом.

— Ну, доложите, что произошло по ту сторону фронта, — улыбнувшись, сказал командир. — Извините, что я раньше не мог вас выслушать: тут недалеко отряд «Бленхейм-бристолей» блуждал, мог и к нам залететь. Соседи наши отогнали их.

— Когда вы сказали, товарищ командир, что я зацепил за сосну, так у меня даже что-то в груди оборвалось: уж очень обидно стало. И свидетелей нет...

— Да вы скорей докладывайте, как дело было. На войне не до обид.

— Проще простого, товарищ командир! Взлетели мы, пошли в тыл к финнам. Видим: на станции воинский состав. Ну, мы к нему. С пикирующего полета разбомбили. Постреляли по войскам, панику у них подняли. Полетели дальше. «Чайки» ниже нас летели и сбоку немного. Подлетаем к патронно-снарядному заводу, вдруг, откуда ни возьмись, свалилось на наши «Чайки» тринадцать «Гладиаторов». Бой, конечно, начался. Нацелились мы на вражеское звено и пошли на него. Оно от нас, а мы за ним. Я оторвал одного от звена и давай гонять. А он лег в вираж, — скорость маленькая, радиус небольшой. В общем, никак не поймаю его. Спасибо, товарищ Иванов вышиб его из

виража, и я опять очутился у него за хвостом. Стреляю, а пули его не берут. Фу, ты, думаю, уж не в бронированной ли кабине сидит? И такая меня злость взяла, что рассказать трудно. Ну, была, не была! Подпустил свою машину к его хвосту, — дай, думаю, сейчас отпилю хвостовое оперение пропеллером. Потом глянул на землю, — до линии фронта 100 километров. И вдруг так мне жить захотелось, товарищ командир! Отпустил хвост и опять пострелял. Гляжу: он не валится и не горит. Дай, думаю, лыжами трахну ему по центроплану или по хвосту — и конец! Нацелился... и опять сдрейфил, даже противно самому сделалось. Тогда я его нагнал и подскочил так, что крылом стукнул по хвосту. Треск, скрежет. Хвост у «Гладиатора» отлетел, он — камнем вниз. Мне тоже сделалось немного не по себе. Но потом вижу — ничего: лечу. Кругом ребята дерутся. Попробовал за ручку тронуть, машина слушается, хоть и валится набок. На крыло уже и не гляжу. Драться на полноманном самолете — куда же? Посмотрел вниз: от «Гладиатора» дым идет, горит в снегу. Вот и прилетел один...

— Ну, молодец! А я думал, что в сосну трахнул. И все-таки не брей низко! А за «Гладиатора» выношу вам благодарность.

— Служу Советскому Союзу, — ответил Витин.

И только он это произнес, как прозвучала команда. Истребители бросились к самолетам и через три минуты исчезли за лесом. А Витин подошел к своей машине и сокрушенно сказал:

— Ай-я-яй! Что же, я так и буду теперь сидеть на земле?..

★

...После войны мы повстречались с Витиным в Кремле.

— Привет, товарищ корреспондент!

— Как вы живы? — спросил я.

— Ничего, летаю. Крыло заменили тогда. Вот орден пришел получать. А вы что, тоже крылом за сосну задели?

— Не совсем так, но в этом роде.

Витин понимающе взглянул на меня, мы взяли друг друга под руки и вошли в зал Дворца.

Два стихотворения

Степан ЦИПАЧЕВ

★

О СЕБЕ

Отвернут кран. В студеньких брызгах весь,
сверкает умывальник белизною.
Приятны солнца утренняя весть
и полотенце свежестью льняною.

Не так уж плох наш коммунальный дом,
когда войдешь с мороза, с лютой вьюги.
Жилье и вещи созданы трудом —
и для меня тут постарались люди.

Они работали и для меня,
когда хлеб сеяли, тесали камни.
И все на мне, до пряжки у ремня,
внимательными сделано руками.

И потому, когда ищу строку,
а город бьется в камне и железе,
я о себе не думать не могу:
что сделал я? чем людям я полезен?

★

СТАРИК

У старика прокурены усы.
Фуражка сыровата от росы.
Он яблоню сажает у окна,
и след его запорошит она,
запорошит прошедшей жизни след —
весенний легкий яблонеый цвет.

Сентябрьские дни

Юр. ОКИНЧИЦ

★

МЕСТЬ

Утром, вместе с односельчанами, Юзеф Прощанский встречал красных бойцов, а потом дрожащими от волнения руками развешивал над хатами алые флаги. Он так увлекся этим занятием, что даже забыл поесть и почувствовал голод, только вернувшись домой. Пережевывая сладкую гнилую картошку, Юзеф смотрел в окно и досадовал на тучи, ползущие из-за леса. Сегодня в поле должны были устроить собрание, и старик хотел рассказать красноармейцам о горькой своей жизни, вот об этой гнилой картошке, обо всем...

И дождь был сейчас совсем нестати.

Однако он все-таки начал накрапывать, — знакомый, затяжной сентябрьский дождь со своим однозвучным шелестом. Было такое впечатление, будто шелестит весь мир: и травы, и желтые листья каштанов, и даже солома на крыше.

Юзеф зажег лампадку у маленького бронзового распятия и, раздосадованный, лег спать.

Проснулся он от холода, и от чего-то еще. Сначала не понял, но потом услышал торопливый стук в окно. Юзефу не хотелось вставать: земляной пол в хате был очень холодный. Но стук повторил-

ся. Кто-то стоял у дверей и нетерпеливо дергал щеколду, а дождь все шелестел, и ночному гостю, должно быть, было не особенно весело. Подумав об этом, старик решительно встал и, морщась от холода, открыл дверь. Он был сердобольный человек, Юзеф Прощанский.

Ксендз не вошел, а влетел, как-будто его втокнула в хату чья-то властная рука. Сухонький и вертлявый, он перекрестился на распятие и быстро сбросил сутану, с которой стекала вода. Потом сел на табуретку и посмотрел на хозяина круглым единственным своим глазом. Другой глаз ксендза уже много лет был мертв, — казалось, белой пленкой дыма затянут неподвижный его зрачок.

Попробовав крепость запора, ксендз сказал скороговоркой:

— Спрячь меня, Юзеф! Только на одну ночь... Прошу... Умоляю...

Говорил он торопливо, захлебываясь слюной и оглядываясь на занавешенное окошко. И, как бы боясь, что ему откажут, он не давал раскрыть рта хозяйину, а все говорил и говорил, как человек, молчавший долгие годы.

— Кто-то наклеветал на меня, Юзеф, и большевики меня ловят... Но я невиновен, клянусь Иисусом! Ты веришь

мне, Юзеф? Спрячь, к тебе не придут...

Горела лампадка перед распятием, черные тени шевелились в углах. Юзеф, хмурия брови, сидел на табуретке, медленно покачивая босой ногой.

— Не могу я, — сказал он, наконец, — не вводите во искушение. Преступление получится. Раз ловят вас, — значит, за дело. Почему меня не ловят? Не могу я прятать вас.

Лицо ксендза внезапно сморщилось, и по бритой щеке быстро побежала слеза. Он вытер ее сухим кулачком, но тотчас же блеснула другая. Ксендз плакал, и это было очень необычно и странно. За всю свою долгую жизнь Юзеф ни разу не видел плачущего ксендза. С изумлением и ужасом он смотрел на дряблые, вздрагивающие его щеки. Молчал. Тогда тот упал на колени перед распятием, и мокрое от слез лицо его стало уродливым и жалким.

— Господом нашим Иисусом заклинаю: не гони! Никто не узнает ни о чем... Просвети, господи, разум раба твоего Юзефа!..

Он плакал и мелко крестился, и бился головой о земляной пол, а изломанная черная тень молчаливо вторила ему. Потом ксендз встал и строго сказал:

— Величайший грех на душу берешь, выгоняя слугу господу в непогоду. Ведь ты всегда был самым благочестивым человеком в селе, и я отличал тебя от других прихожан. Разве забыл ты, как давал я тебе в кредит семена, как похоронил почти безвозмездно жену твою, видя твою убогость? Стыдно, Юзеф, забывать добро. Ты—католик, и я—католик, мы молимся одному богу, и между нами не может быть вражды. Это только дьявол сеет вражду между людьми одной нации, одной веры. Вот — пришли большевики, — и ты уже не хочешь приютить в непогоду своего духовного отца, твое сердце окаменело, и тебе нет дела до ближнего. Опомнись, Юзеф! Все видит господь...

Он замолчал и снова сел на табуретку у лежанки. Сидел, согнувшись, стиснув ладонями виски, и казался малень-

ким и жалким. Свет лампадки падал на левую половину его лица, освещая белый дымный зрачок. Другого его глаза Юзеф не видел.

В волнении Юзеф заерзал на лежанке. Он хотел отвернуться, чтобы не смотреть на мертвый глаз, и — не мог. Крепко стучало сердце, холодный пот выступил на лбу. Он был глубоко верующим человеком, старый Юзеф, мало того, — он был суеверен. И, чувствуя свое бессилие, Юзеф вскочил, метался по хате, проклиная ту минуту, когда встал и открыл дверь.

Сейчас он не решался сказать гостю ни «да», ни «нет». И он не сказал ничего, подчинившись неизбежному. Сел на корточки, молча разжег печурку. Когда огонь вспыхнул и со свистом рванулся в трубу, Юзеф встал и вытер руки о подол рубахи.

— Сушитесь, пан-отец!..

И он лег и завернулся с головой в шершавое одеяло, стараясь убедить себя, что все делается само собой, без его, Юзефа, участия. Но спать не мог. Слушал ветер, слушал потрескивание дров и шелест дождя за окошком. От печки шел пар, тело согревалось, и было приятно размять под одеялом заочеченные суставы. Волнение и досада понемногу улеглись, и старому Юзефу показалось, что вовсе не такой уж большой проступок совершил он перед обществом. Было бы гораздо хуже, если бы он выгнал гостя в неизвестность, в дождь, в холод сентябрьской ночи. Он долго бы мучился потом, и великий бог, конечно же, не простил бы ему такой бесчеловечности.

Ксендз сидел у печурки, протянув к огню сухие синеватые пальцы. Хвала Иисусу, — все в порядке. До утра далеко, и он успеет как следует высушить одежду и отдохнуть.

Он расшнуровал ботинки, поставил их на печку, — подошвами вверх, — тихо прилег на пол. Страх почти прошел, и теперь ксендз думал о событиях, которые так внезапно ворвались в спокойную его жизнь. Оружие он хранил, конечно, напрасно, — все равно один против всех не пойдешь. А все эти офи-

церы подвели: спрячь да спрячь, мы еще вернемся.. Вернутся, как же! Теперь самому бы поскорее удрать в Румынию. Кстати — здесь недалеко, — на рассвете можно незаметно перемахнуть через балку.

Но при мысли о чужой, незнакомой Румынии пришло вдруг острое чувство тоски и одиночества. Он должен бросить родной дом, родную землю, и никогда уже не будет улыбаться знакомым и покупать старое вино у рябого лавочника... А как его встретят там, за балкой, — бог его знает. Может, придется снимать сутану и браться за лопату.

И тут вспомнился вчерашний день, приход красных войск, невиданное возбуждение в народе. Как радовались они, эти холопы с заскоружлыми ладонями, эти забитые овцы... Еще бы! Они чувствовали, что это пришла их власть. Они знали, что теперь возьмут верх и у него же, у первого, отнимут богатые земли и поделят их между собою. А Юзеф Прощанский? Самый благочестивый в селе, всегда покорный Юзеф Прощанский! Еще в прошлое воскресенье он смиренно клал поклоны в костеле, а вчера вместе со всеми кричал «нех жие» и, как мальчишка, карабкался по крышам, развешивая красные флаги. А завтра пойдет делить его землю, его сады, его любимые яблоки, сложенные на веранде, — яблоки, пахнущие таким терпким молодым вином...

— Так нет же, не видать тебе этого! — прошептал он злобно и стукнул кулаком по колену. Резко вскочил и заглянул в окно.

Дождь перестал. Мутный месяц висел над темными лесами. Тускло поблескивали лужи у крыльца.

Тихо было в селе. Ни огонька, ни звука.

Старый Юзеф согрелся и уже спал. Ему снился странный сон. Дохлые рыбы плыли по реке желтыми брюшками вверх. Их было так много — тысячи,

десятки тысяч, — что из-за их тел не было видно воды.

Юзеф наклонился и поймал одну рыбку, мягкую и податливую, как мокрая вата. Ее глаза были слепы и холодны, и в глубине их — вместо зрачков — лежали маленькие белые клубочки дыма. Он подул в них, но дым остался лежать, только горький и едкий запах защекотал ему ноздри.

— Вот проклятая, — сказал тогда Юзеф. Он размахнулся и швырнул рыбку далеко в камыши, и долго вытирал о подол рубахи липкие свои ладони.

А потом он очутился в каком-то многоэтажном здании. Здесь было очень много света, — он резал глаза, как дым. Юзеф ходил по гулким лестницам и коридорам и кого-то искал, а дом был пуст, и неизвестно, почему было так невыносимо светло, и он убежал. На улице за ним гнался ветер, и какие-то крохотные белые клубочки неслись ему навстречу. Хитрые, они ласкались, ползли по щекам, вкрадчиво шелестя о чем-то простом и хорошем. Но Юзеф не слушал их, потому что теперь он не нуждался в запоздалой этой ласке. А они были настойчивы, эти клубочки. Они растягивались тончайшими нитками, лезли в рот. И, задыхаясь в чем-то клейком, Юзеф в ужасе тарашил глаза и не мог вдохнуть воздуха, — его не было вокруг, — были только тончайшие клейкие паутинки. Много-много.

Утром в поле началось собрание, и все с нетерпением ждали прихода Юзефа Прощанского, — ведь он обещал рассказать бойцам о себе, — обо всех.

Но сейчас он уже ничего не мог рассказать. Он лежал в своей хате — потемневший и странно длинный, точно выросший в смерти. Дверь его хаты была плотно закрыта снаружи и так же плотно и старательно была задвинута вьюшка небольшой его печурки, в которой еще тлели темные, несгоревшие голешки.

НАШ ЛЕКПОМ

Мы встретились осенью тридцать девятого года в Западной Украине.

Вера Туманова вошла в нашу жизнь незаметно и скромно, и никто не мог сказать, когда именно. Казалось, она всегда была с нами,—эта высокая, спокойная темноволосяя девушка. И такими же спокойными были ее глаза: большие, немножко усталые, цвета каштановых листьев, которые так неохотно осыпаются в сентябре.

— Воевать, товарищ лекпом? — снисходительно спрашивали ее бойцы в обмотках и пыльных буцах.

Она кивала, проходя мимо палаток с немного преувеличенной серьезностью, а они долго глядели ей вслед. Впрочем все мы, откровенно говоря, втайне побаивались за нее — слишком уж мало было в ней боевого. Невдалеке еще рвались снаряды, а Вера беззаботно бродила в свободные часы по полям. Бродила, сбивая тростинкой головки увядших цветов, и напевала какие-то лирические песенки.

— Удивительная вы, — сказал я ей однажды, — с колыбельными песенками воевать идете.

Она посмотрела немного смущенно, уши ее порозовели.

— Я всегда такая.

Отвернулась вдруг и ушла.

Батальон выступил в сумерки. Конные разведчики пропылили по проселочной дороге и скрылись за горами холмов. Мы шли мимо гремящих эшелонов, по черным следам походных костров. Затихали за спиной знакомые красноармейские песни, синие туманы от далеких болот плыли за нами следом. Шумели сухие травы, осыпались листья придорожных каштанов и, медленно кружась, нехотя скользили по шпалам.

Неподалеку от маленькой деревушки нам встретился крестьянин и попросил проводить его к командиру. Был он в рваных штанах, без рубахи и до уродливости тощ. Ребра выпирали у него под кожей, точно клавиши, — стоит провести по ним пальцами, и они издадут неожиданные резкие звуки. Щеки его были желты, и тусклый блеск лежал в

темных глубоких глазах. Но удивительно неподвижным было его лицо, будто отлитое из меди.

— Пане-товарищу, — говорил он, — офицеры пожгли наши хаты и порубили всех, кто встречал вчера с цветами красных солдат. Они ушли вон в тот лес и ждут ночи. Может, они думают тикать в Румынию. Но мы поможем вам, пане-товарищу. Кровь наша на них...

Он опустил на траву. Сидел, сложив руки на коленях, — полуголый, строгий и спокойный.

Кое-что об этой банде мы знали раньше. Командир выстроил небольшой наш отряд и вкратце объяснил задачу. Мы обогнули опустевшее село, старинную усадьбу, большой сад, — весь в бронзовой чешуе листьев, одинокий и мрачный. Остался позади черный силуэт костела, водокачка, убитая белая собака у проломленного плетня.

Крестьянин шел впереди — молчаливый и настороженный, — и ребра шевелились у него под кожей.

Шла и Вера. Невдалеке от леса к ней подошел командир отделения Носенко и потянул за хлястик шинели.

— Смотри, сестричка, осторожней шагай! Подстрелят тебя паны. Больно уж хорошая ты, а смерть таких вот и ловит. Да-а...

Был командир отделения Носенко молод, чуть заметный пушок покрывал его юношески розовый подбородок. Говорил он и улыбался, точно сам не верил в убедительность своих слов. И с такой же улыбкой шутивно отмахнулась Вера:

— Ничего, товарищ... Себя вот лучше береги.

Отделенный замедлил шаг, пощупал гранаты и строго сказал, стараясь казаться совсем взрослым:

— Мы что ж... Наше дело мужское, привычное. Не то видали!

И хотя все знали, что не так уже много видел необстрелянный наш товарищ, но никто не усмехнулся.

Лесок мы огибали с двух сторон, ползли молча, вытянув винтовки вперед,

пряча головы в высокие пахучие травы. Тихо было в лесу, только чуть слышно шумели сосны, да, напоминая о детстве, куковала где-то кукушка. И в дремучей этой тишине, в терпких запахах хвои и последних осенних цветов, в мирном крике птицы было что-то очень далекое от войны, и как-то не верилось даже, что вот там, за этими соснами прячется враг, подстерегает каждое твое движение.

Вдруг из-за старого пня у просеки выскочил узкий огненный язычок. В то же мгновение, вздрогнув, ткнулся лицом в траву командир отделения Носенко. Точно разбуженный, торопливо и старательно застучал в кустах пулемет.

И тут, лежа за кустом и стреляя по синим жупанам, я увидел Веру, сосредоточенно и деловито работавшую под огнем.

Рядом с ней высоко подпрыгивали сбитые пулями головки ромашек. Вместе с двумя санитарями Вера осторожно перенесла раненых под прикрытием срубленной сосны и снова шла в огонь, — туда, где смыкалось кольцо красноармейцев.

Над ухом тонко свистнуло, будто кто-то разрезал воздух хлыстом. Я обернулся. Прямо на меня бежал польский офицер, сжимая в руке наган. Нос и подбородок его побелели, как от сильного мороза, тонкие, ползущие к скулам усы вздрагивали.

Я щелкнул затвором, но магазинная коробка была пуста. Тогда я вскочил и бросился на офицера со штыком. И тут же понял, что не рассчитал расстояния...

— Пся... — сказал офицер, отпрыгнув, и я почувствовал, как что-то тупое толкнуло меня в голову и колено. И сразу стало тихо вокруг. Оборвались звуки выстрелов и крики, мир опустел, и до беспредельности раздвинулась стена сосен. Только офицер остался. Теперь он сидел передо мною, широко расставив ноги в желтых сапогах, какой-то странно-плоский и неподвижный, как на открытке, и из правого его глаза — нет, не глаза — глубокой темной впадины — медленно выкатывалась рубиновая капля.

— Плачешь, гад! — закричал я, протянулся к нему в каком-то иступлении и мертвой хваткой сжал холодное его горло с острым неподвижным кадыком. Потом, как сквозь сон, я услышал чьи-то слова:

— Спокойнее, спокойнее... — и кто-то осторожно приподнял меня с земли и заглянул мне в лицо отрезвляющими, ласковыми глазами.

Раненых было девять, и мы лежали почти вплотную, скрытые ветвями поваленной сосны. Рядом с нами валялись наши пустые винтовки.

Через минуту шальная пуля ударила о ствол дерева, и отскочивший кусочек коры впился в щеку командира отделения Носенко, лежащему неподалеку с перевязанной шеей. Он приподнялся, внимательно рассмотрел кусочек коры и повернулся в ту сторону, откуда прилетела пуля.

— Хлопцы! — крикнул он вдруг хрипло и сдавленно, — добивать нас идут!

Его лицо потемнело, резко задергалась левая бровь. От прилива крови повязка на шее набухла, он заметался, пытаясь достать свою винтовку, но потом бессильно поник.

По поляне бежало несколько польских офицеров с обнаженными шашками в руках. Окруженные со всех сторон, они наткнулись на нашу сосну, над которой развевался белый флаг.

— А-а-а! — закричал бежавший впереди и остановился на секунду. Маленький и верткий, он подскочил к сидевшему на траве раненому красноармейцу и разрубил его.

И тогда с гранатой в руке из-за деревьев метнулась Вера. Эту единственную свою гранату, подобранную неизвестно где, она швырнула умелой и сильной рукой. Двое офицеров упали, отброшенные взрывом, другие отбежали за дерево. Оттуда неспеша, почти в упор они расстреливали раненых.

В эти минуты впервые Вере изменило спокойствие. Бледная, она оглянулась вокруг, схватила оброненную кем-то винтовку и молча побежала на офицеров, выставив вперед облепленный землей штык.

Оба выстрелили в нее одновременно, и она упала у самых их ног, не добрав полшага. Сплевывая кровь, пыталась вскочить, но удар сапога опрокинул ее в ложбину. Только шлем остался в траве. И рядом с ним тихо качался на ветру увядший лесной колокольчик. Это было последнее, что я увидел и запомнил.

Очнулся я на грузовике, у санитарного эшелона. Грузили нас быстро, но осторожно, и всегда участливые девушки-лекпомы заглядывали нам в лица и предлагали фляги. Суетился на перроне юркий начальник станции, а небритый смазчик, сидя на молотке, жаловался машинисту на вечно скрипящие колеса.

— Ремонт надобен, — резонно говорил он, тыча черным пальцем под вагоны.

И было все это таким простым, обыденным и будничным, что как-то не верилось в то, что вчерашний день был прожит так бурно.

Минут через десять в вагон внесли и отделенного Носенко. Определенно жизнь не желала нас разлучать! Он попросил перенести его поближе к моей койке и долго ворочался, пока отдышался.

— Я видел, как ее вытащили, — сказал он наконец, — и я сразу понял, о ком идет речь, — жива, понимаешь. Голову, правда, повредили... И ключицу прострелили...

Мы лежали молча, прислушиваясь к стуку колес. Я вспоминал о песенках, которые пела эта девушка, бродя по пустынным полям, вспоминал о многом другом, что так не вязалось в моем представлении с событиями прошедшего дня.

Носенко заснул и теперь покачивался на своей койке, запрокинув голову, как неживой. Мне не хотелось видеть его таким, и я окликнул его. Носенко открыл глаза и, сосредоточенно пощупав пушок на задранном кверху подбородке, сказал, точно продолжая прерванный разговор:

— Да-а... Думается мне, кадровая она, не иначе. Как у Хасана служил в том году, помнится, видал ее. Мы

тогда только в армию пришли, в бой нас не пускали, а она воевала, кажись. Сестру там одну грамотой наградили, — по всем приметам ее самую. А я и забыл, эх, голова! Человек, можно сказать, огонь прошел, а я ее давеча пугал, — пристрелят, мол, не ходи... Да-а...

В Киеве нас разлучили, но не надолго. Мы встретились примерно через полгода, весной, в одном из тихих садов на окраине города. Я к этому времени успел демобилизоваться и снова ходил в своей штатской одежде, а Носенко продолжал служить, и в петлицах у него поблескивали три маленьких треугольника, — он был уже помощником командира взвода.

Встреча была радостной и сердечной. Оба мы были теперь здоровы и поэтому могли говорить о самых разнообразных вещах. Там, в весеннем саду, я и напомнил ему о боевой нашей подруге. Он долго кусал ноготь, потом пожал плечами.

— Знаешь, — сказал он мне, когда мы вышли в переулочек, — видал я ее на днях, да только где!.. Не служила она у Хасана, ошибся я тогда в вагоне. Хочешь, зайдём к ней? Здесь недалеко...

И, помолчав, добавил:

— Не пойму я, как это оно получается в жизни...

Больше он не сказал ни слова и молча вел меня по улицам. И вот мы остановились у двухэтажного здания, окруженного палисадником. В больших чистых оконных стеклах ломались солнечные лучи, из дверей выходили улыбающиеся женщины, унося белые, аккуратные пакеты.

Ах, вот оно что!

Да, это был тот самый дом, к которому каждый из нас подходит с уважением и теплотой в сердце.

Мы заглянули сквозь ограду палисадника и увидели знакомую фигуру. Она была в белом халате с подвернутыми рукавами, и в руках у нее вздрагивал ребенок — маленький, красный и крикливый, — как и все мы были в свое время. Она прижимала его к щеке, и глаза ее — цвета сентябрьских листьев — были теплы и влажны. И что-то напе-

вала она, покачивая его на руках, — не ту ли колыбельную песенку, которую я слышал от нее в незабываемые дни сентября?

— Вера! — позвал я громко.

Она обернулась и, кивнув головой, понесла ребенка в помещение.

— Я сейчас..

А смущенный Носенко дергал меня за хлястик тужурки и шептал:

— Неудобно, что ты!.. В рабочее-то время.. Вот знал бы, — не повел..

Но Вера уже вышла из калитки и с улыбкой протянула нам руки — белые,

удивительно тонкие руки — с золотой браслеткой часов, сползавшей к самому локтю. Она почти не изменилась за это время, только узкий шрам вился вдоль ее лба, теряясь в темных, гладко зачесанных волосах.

— И давно вы здесь? — спросил я, сам не зная зачем.

— Пятый год... Чего это вы смотрите так?..

Я молчал, и сердце мое учащенно билось, быть может, потому, что я впервые понял простую и мудрую связь героического с обыденным.

Короткие рассказы

Кирилл ЛЕВИН

★

МОСТ

— Эх, кони, хороши кони, — с волнением, которого он не мог скрыть, пробормотал Ковалев и отдал бинокль Рудину, — вынесут кони...

— И вынесли, — тихо сказал Рудин, — отстают поляки.

Он спокойно протер стекла бинокля и снова стал смотреть.

Перед ним лежало поле, изрезанное межами. Река Ясельда широким синим клинком рассекала его пополам. Через реку шел новый, свежеекрашенный мост. Бешеным карьером неслась по мосту телега, запряженная парой коней, а за ней, стреляя на вскидку, скакали польские кавалеристы. Копыта лошадей глухо стучали по деревянному настилу, и в сыром воздухе звонко хлопали выстрелы. Телега пролетела мост, и лошади, почувствовав землю, наддали еще больше, мчались, роняя клочья белой пены. Поляки сдержали коней, посоветовались и повернули обратно. Только один из них, видимо, офицер, на рыжем тракене вынесся вперед, выстрелил из пистолета и поккачал за своими.

Рудин и Ковалев наблюдали за телегой. Она приближалась к лесу, и путь ее лежал мимо них. На передке сидел человек в поношенном пиджаке. Оглянувшись назад, он сдержал лошадей и перевел их на рысь. На лице его, немолодом, иссеченном морщинами, было суровое напряжение. Когда Рудин выступил на дорогу и поднял руку, кре-

стьянин натянул вожжи и проворно соскочил. Заботливо оглядел лошадей, сгреб ладонью пену с их замысленных боков и добродушно улыбнулся:

— Думал, что побьются кони, — объяснил он и, вытерев руку о брюки, протянул ее Рудину свободным, широким движением:

— Здравствуйте, товарищ...

Рудин заглянул в карие глаза крестьянина и пожал его твердую руку.

— Почему бежал? — спросил он, кивая головой на мост.

Крестьянин вытирал шапкой мокрое лицо, потом повернулся к реке.

— Я, прошу товарища, из села Рудники, — и он показал направление. — Вот, если посмотрите, крест виден нашей церкви. И мост этот строили наши люди. Нагнали нас из десяти альбо из пятнадцати деревень. Тут на берегу мы и дневали, и ночевали. Сколько трудов положили, а уйти нельзя — били нас жандармы, ух, как били...

Он невесело усмехнулся и покачал головой.

— Вы такого боя не знаете, у вас, говорят, не бьют.

Рудин прервал его.

— Почему бежал? — настойчиво повторил он, — коротко отвечай...

— Я же и говорю, мост совсем новый, наш народ его строил, а теперь, когда вы пришли, как же можно его взорвать?

И крестьянин убежденно добавил:

— Хороший мост. Поезда по нем идут, для телег дорога сделана... Я и подумал себе: никак нельзя дать полякам его испортить. Мы ведь знали, что они там готовят, ну и следили потихоньку. Сегодня сижу дома, а ко мне бегаёт Григорий Руденко, сосед. «Ой, говорит, Тарас, не иначе как сегодня они собираются. Копают в шляху и шнуры от моста тянут». Я запрет коней и поехал, будто по своему делу. Еду мимо, остановился, упряжь поправляю, а сам глазами шныряю, шныряю. Поехали на мост машины, ящики отгружают и от них шнуры, шнуры. А на вашей стороне уже стреляют, да все ближе. Я и решил. Сначала тихо поехал. Они пропускают, думают, я материалы привез. А потом,—как ударю по коням, тут они и поняли, и—за мною.

Он подмигнул Рудину:

— Да поздно. Успел. Вот так.

Рудин не колебался. Сообщение было слишком важным. Ковалев остался, а он сел с Тарасом в телегу, и кони понесли их через лес.

Высокие сосны стояли ровными рядами, точно солдаты в строю. Телега мчалась по узкой просеке, иногда колючие ветви молодых елок хлестали Рудина. Большой белый гриб притаился у бронзового ствола, и Рудин улыбнулся ему, как старому знакомому, и сейчас же забыл о нем. Хорошо было в лесу в этот ясный сентябрьский день, но за лесом был мост, минированный врагами, и Рудин нетерпеливо поглядел на дружно бегущих коней — медленно бегут!

Дорогой он обдумал и решил, что будет проситься у командира роты резать провода. Маленький, коренастый, с живыми, насмешливо глядящими серыми глазами, — Рудин был скор на решения, но выполнял их настойчиво и до конца. Он расспрашивал крестьянина, куда проведены шнуры, как лучше к ним пробраться, и даже попытался (хотя сильно мешала тряска безрессорной телеги) набросать в полевой книжке кроки местности.

Дозор остановил их, и Рудин пошел с Тарасом к командиру. Сейчас он не думал о том, кому поручат это дело:

надо было коротко и толково доложить важное сообщение. Он зорко следил за командиром, как тот отнесется к сообщению, и поведение командира понравилось ему. Старший лейтенант выслушал его спокойно, заставил говорить и Тараса, неторопливо что-то записал и ровным шагом пошел звонить по полевому телефону в штаб части. Рудин ждал, волнуясь. Так ясно виделось ему, как он ползет и пробирается к шляху, как отыскивает в кустах искусно замаскированные провода и осторожно перерезает их... Неужели не пошлют его на такое дело?

Выслушав приказ, повторил его, и только, когда отошел командир, вздохнул глубоко и свободно и тихо засмеялся. Ему посчастливилось начать важное дело. «На ловца и зверь бежит» — подумал он, хитро улыбнувшись.

Он смотрел, как командир разговаривает с Тарасом. Тарас не был ему подозрителен, но все же он был чужой и требовал изучения, и теперь, присматриваясь к нему со стороны, наблюдая за выражением его лица, когда он отвечал командиру на вопросы, Рудин решил, что крестьянин никак не может предать. Он провел с Тарасом время до вечера, изучая его. Крестьянин осторожно брал хлеб, глотал горячие, жирные щи, с уважением косился на пищу. Крошки он собрал в ладонь и ссыпал их в рот.

— Замечательно вас кормят, — доверительно сообщил он Рудину, — и командиры у вас хорошие. — Глаза у него засветились. — Поговорил бы ты хоть раз с нашим офицером...

И, крепко охватив руку бойца своими твердыми, широкими пальцами, он сжал ее, потряс, погладил и молча поглядел Рудину в глаза.

А вечером несколько человек пробирались через реку Ясельду. Была ясная, немножко грустная, предосенняя ночь с чистыми, далекими звездами, деревья шептались на легком ветру, и где-то в поле свистала ночная птица. На Ясельде было темно, вода слабо отсвечивала. Весла, обмотанные тряпками, бесшумно трогали черную воду.

Командир роты сидел на носу, наклонившись вперед. Рудин угадывал его тонкую фигуру. Далеко вправо чуть намечались в ночи железные рамы моста.

Лодка тихо подошла к берегу, и нос ее зашуршал по песку.

Командир шопотом отдал последние распоряжения, и все поползли по влажной ночной траве. Тарас полз впереди, показывая дорогу, и его тяжелое дыхание было слышно Рудину. Вот и шлях, крошечный огонек как-будто мелькнул внизу, что-то шевельнулось там. Они подождали и двинулись вперед еще осторожнее. И вдруг страх охватил Рудина: а что, если они опоздают и те, увидев, что все открыто, в последнюю минуту успеют взорвать мост? Он тревожно взглянул на командира, близко придвинулся к нему. Командир спокойно и рассчитанно двигался к цели.

Рудин почувствовал что-то под рукой и нащупал провод. Он молча коснулся командира, молча передал ему в руки конец.

— Полевой телефон, — прошептал командир на ухо Рудину, — там ждут приказа...

И острым ножиком командир перерезал провод.

Тарас весь сжался, словно готовясь к прыжку. Этот пожилой, невоенный человек с готовностью шел на опасность. Командир поднял руку, требуя внимания. Они уже были совсем близко. В небольшой пещере, образовавшейся на берегу реки и хорошо замаскированной кустами, сидели два польских солдата. Тусклый свет фонарика скупо освещал их лица. Один из них, молодой, со слабыми, реденькими усиками, сидел на корточках, прижав к уху трубку телефона. Лицо у него было на-

пряженное, он дул в трубку, беспокойно шевелился. Другой солдат, человек лет тридцати, с тяжелым подбородком и широкими плечами, похожий на механика или шофера, спокойно сидел возле запального шнура и, казалось, дремал.

Молодой вскочил с тихим писком, — желторотый, похожий на цыпленка, — видно, насмерть испуганный появлением красных. Второй солдат спокойно поднялся и отложил в сторону маленький ящик и инструменты, как рабочий, которого пришли сменить. Он четко откозырял командиру, с любопытством оглядел его. И в то время, когда связист заикался от страха и путал слова, солдат доложил, что он подрывник и по первому сигналу должен был взорвать мост. Он смотрел, как бойцы перерезали провода, и спросил у командира, не надо ли помочь. Получив разрешение, ловкими, привычными руками стал работать и весело подморгнул связисту, тупо смотревшему на него.

Утром следующего дня саперы очищали мост, убрали больше тонны взрывчатых веществ. Ясельда спокойно катила сизые воды, слегка бурлившие под быками моста.

Рудин стоял у края моста, смотрел на безвредные теперь провода, уходившие в землю. Звонкий топот коней слышался ему. Тарас ехал по мосту, гора мешков лежала на его телеге. Он помахал Рудину шапкой.

— Так здравствуйте, товарищ, — закричал он. — Сберегли наш мост, уж теперь поедем по нем... Вот народное добро везем...

С нашей стороны появился дымок.

Возможно, что это наш первый поезд шел на запад.

★

ШОФЕР БАТЕНИН

Разведбатальон (РБ) вырвался далеко вперед. На коротких привалах, большей частью где-нибудь в лесу, майор Горшенков, с трудом преодолевая желание тут же лечь и заснуть, хрип-

лым голосом диктовал донесение в штаб дивизии. За три ночи он спал только три часа, спал в бронемашине, прикрыв на сидении, вдыхая запах отработанного горючего.

Машину вел Трофим Батенин.

По натуре Батенин был смелый, горячий человек. Он работал шофером в такси и возил москвичей по улицам столицы. Эта работа не нравилась ему.

— Разве это жизнь, — грустно думал он. — Вот она, улица Маросейка, и завтра будет она, и послезавтра. В пробег бы назначили, что ли...

Получив приказ о мобилизации, он обрадовался. Но до прибытия на фронт он не думал, что увидит так много нового. РБ первым перешел границу, и Батенин видел, как встречали белорусские крестьяне Красную армию. Он с любопытством приглядывался к этим новым для него людям. Он ласкал ребячишек и неуклюже дарил крестьянам спички, в которых те остро нуждались. Ходил взволнованный и однажды, проезжая бедную белорусскую деревню, тихо сказал майору Горшенкову:

— А ведь такого у нас не увидишь, товарищ командир батальона.

Майор улыбнулся, глядя на Батенина. Вряд ли было Батенину больше пяти лет, когда произошла Октябрьская революция... Он и не представлял себе, что могла быть в стране другая власть. И вот теперь увидел Батенин, какая это другая власть и как живет при ней народ.

Они мчались по плохим польским дорогам. Немногие километры шоссе вдруг сменялись зыбкой песчаной дорогой с глубочайшими, сыпучими колеями, из которых с трудом выдирались автомашины. Шестиколесный броневик на своих гусениках свободно одолевал пески, но иногда и ему приходилось тяжело, и тогда Батенин, беззвучно ругаясь, давал газ, менял скорости. Он был так горяч, что командир с опаской поглядывал на него, но первый же бой показал, что в деле Батенин спокоен. Лицо у него посуровело, движения стали медленнее и рассчитаннее, и, прислушиваясь, как щелкали о броню неприятельские пули и как тархтели в башнях свои пулеметы, он чутко и ровно вел машину. Один только раз взглянул на командира, спокойного, подтянутого, и, стиснув зубы, прошептал:

— Если ты, Батенин, подкачаешь...

хоть капельку подкачаешь, — смотри... Так и знай, не прошу тебе, гад...

Ругал он себя потому, что, когда шальная пуля залетела в смотровую щель, Батенин невольно отшатнулся, управление дрогнуло в руках, и машина вильнула в сторону. Командир как-будто не обратил на это внимания, но Батенин покраснел и от стыда не смел взглянуть на майора.

В тот же день, когда командирская машина мчалась из Кошар, где моторота РБ организовала засаду, и когда вдруг в лесу на нее посыпались пули, Батенин не сделал ни одного лишнего движения, только прибавил газу. Они были в лесу. Дорога была в выбоинах и по сторонам заболочена. Машина выскочила к повороту, и Батенин резко затормозил. Впереди был завал. Свежеповаленные деревья зеленели ярко и молодо, точно еще жили.

Майор привстал, стал вглядываться вперед. Пулеметная струя ударила по башне спереди, со стороны завала, другая застучала справа, из леса.

— Развернуться и назад, — негромко приказал майор. Башня грохотала, отвечая на неприятельский огонь. Батенин стал разворачиваться. Машина рванулась, и вдруг что-то случилось. Батенин несколько раз передернул рычаги, выжал сцепление. Лицо у него побагровело.

— Разрешите доложить, — глухо произнес Батенин, — отказало рулевое управление. Надо менять болт.

— Смените, — приказал командир. И Батенин, быстро достав инструменты, приготовился вылезать наружу.

— Прикройте люк, когда вылезу, — сказал Батенин.

Пули били и били в обшивку брони. Казалось, что идет частый шумный дождь с крупным градом.

— Стой, отставить, — крикнул майор. — Куда?

— Под машину, — ответил Батенин, — там безопасно.

— Стой, — повторил майор, — как же ты вылезешь? Убьют.

Батенин прислушался.

— С перерывами огонь, — объяснил он. — Есть в нем перебои, слышите,

товарищ командир? Вот в такой перебой я и выскочу...

И, видя колебание на лице майора, добавил:

— Без смены болта не поедем. Надо исправить.

Он осторожно взялся за дверцу.

— Подожди, — сказал Горшенков, — догадались сволочи, что машина испортилась, и бьют, что есть силы... Подожди.

Оба чутко прислушивались. Сухой, барабанный грохот стоял в машине, пули хлестали по ней густым, сильным ливнем. И все же привычное ухо майора уловило ритм огня. Он поднял палец, отбивая такт, схватывая почти неуловимые паузы. В одну из таких пауз он поднял руку, как инструктор, который выпускает парашютиста в прыжок, и тихо сказал:

— Приготовиться! Согнешься и прямо ныряй под машину.

Батенин не отрывал глаз от командира. Решение было принято, и оба теперь думали о его выполнении.

— Пошел! — резко крикнул командир, и в то же мгновение Батенин, рывком открыв дверь, вывалился на землю. Он бросился под машину, больно ударился головой и, лежа на боку, прислушался. Башня загрохотала сильнее, очевидно, прикрывая его вылазку. Неприятельские пули мягко цокали о землю в полуметре от него, но к нему не залетали. Он достал из карманов инструменты и стал устраиваться. Взял в зубы новый болт, на ощупь определил место повреждения. Работать было очень неудобно, и Батенин ругался сквозь зубы. Время тянулось нестерпимо медленно. Сверху донесся глухой стук. Он подумал, что стучит командир, вспомнил, что машина все время под огнем, и поляки могут вплотную подобраться к ней.

Обдирая в кровь руки, продолжал работу и, когда, наконец, болт стал на место, не поверил, что все сделано. Еще раз проверил работу и приготовился вылезать. Как было условлено, два раза стукнул ключом в дно машины, подвинулся к самому краю, так что пули ложились совсем рядом, и приготовился

вскочить. Но нельзя было, — огонь не прекращался.

Батенин задержал дыхание и вдруг поднялся, рванул дверцу и боком ввалился в машину. Несколько пуль щелкнуло рядом с ним, а он с лихорадочной быстротой схватился за управление и был так поглощен мыслью, — удалось ли его исправить, — что даже не слышал вопроса командира, не видел, как тот протягивает ему руку. Батенин дал газ, осторожно пробуя управление, и — никогда в жизни, казалось ему, не испытывал он такого счастья — машина послушно двинулась вперед. Он развернулся и полным ходом помчался назад, докладывая майору:

— Машина в исправности, товарищ командир батальона. Куда прикажете ехать?

Командир показал направление.

— Натерпелся? — ласково шепнул он, — скоро все же справился.

И Батенин с удивлением узнал, что провел под машиной всего двадцать минут.

— Я думал, что часа два прошло, — признался он.

Дорога уходила вдаль. Молодой клен стоял на краю дороги, окруженный соснами и казался чужаком среди них со своими лапчатыми, уже начавшими золотиться листьями. День медленно угасал. Зеленая прозрачная тень сгустилась в лесу. Белка бесшумно взлетела по стволу сосны и с изумлением глядела сверху на железного невиданного зверя, ползущего между деревьями.

Горшенков коснулся руки Батенина.

— Попробуем лесом пробраться к Кошарам. Чего доброго, опять напоремся...

Батенин повернул руль. Машина ододела канавку и вошла в просеку.

Шагах в тридцати от дороги началось болото. Папоротники сменили хвою, низкие их кусты тянулись далеко. Под колесами зачавкала грязь. Неожиданно брызнула вода, скрытая под зеленью. Броневик кренился, ломал кусты, шел вперед. Горшенков по компасу показывал направление. В одном месте застряли. Никитин, башенный стрелок, нарубил топором веток и устроил ма-

ленькую гать. Серdito фыркая, машина выкарабкалась.

Вести ее с каждой минутой становилось все труднее: здесь было уже настоящее лесное болото. Полукруглые холмики, покрытые яркозеленой травой, вдруг, как резиновые, опускались под колесами, выбрасывая потоки воды. Темнело. Впереди сверкнула вода — целое маленькое озеро.

Вышли из машины, стали осматриваться. Батенину захотелось пить... Вода была удивительно чистая, пахла травой и железом.

Майор вошел в озеро — вода была по колено. Он кивнул Батенину — проходи! — и броневик на полном газу, поднимая пенящиеся фонтаны, проскочил озеро и двинулся дальше.

Было уже темно, но они не зажигали фар, — У Батенина словно появилось второе зрение, которое позволяло ему видеть в темноте. Машина ныряла в болотцах, каждую минуту могла застрять, но он вел и вел ее вперед, говоря:

— Не только по дорогам тебе хо-

дить... Ведь ты боевая машина, значит, ты должна пройти везде...

Чутьем угадывая препятствия, сосредоточенный, то осторожно опуская машину на тормозах вниз, то с бешеным ревом мотора выдирая ее наверх, он вел ее в темноте, как летчик ведет свой самолет слепым полетом.

Несколько раз им приходилось останавливаться, чтобы разузнать направление. Майор проходил немного вперед, доставал карту и компас и, спокойный, точно дело происходило в обычной обстановке, говорил:

— Вон сюда держи.

В лесу, в темноте, в совершенно незнакомой местности было трудно ориентироваться, и Батенин, до боли в глазах глядя вперед, продолжал вести машину.

И когда далеко впереди сверкнули огоньки, он не поверил и подождал, проверяя себя. Потом вполголоса, точно опасаясь спугнуть эти сигналы, сказал командиру:

— Огни впереди, товарищ майор.

— Вижу, — ответил Горшенков, — вот мы и у своих.

★

НАШ ГОРОД

Главная улица просекала город насквозь. Она была широкая и прямая, с хорошей каменной мостовой, с красивыми каменными домами. Большие электрические фонари тихо покачивались от ветра. Великолепный костел высоко в небо поднимал готические стены. Главная улица показывала город лицом — настоящий европейский город.

Боковые улицы были узкие, грязные, с выщербленной, кривой мостовой, стиснутые с обеих сторон ветхими домами.

По этим улицам мы входили в город. Пехота была еще позади. Только танки вырвались вперед, обогнав на много километров пехоту и попутно смяв крупный польский отряд. Первые разведочные машины стремительно пронеслись по улицам, и командиру бригады было

доложено, что город оставлен неприятелем. Это было не совсем точно. Несколько сотен польских солдат были в городе. Они собрались возле офицерского собрания, — в своей темнозеленой форме, в обмотках и толстых буцах, с походными мешками за плечами, но без винтовок, — и нетерпеливо и немного растерянно поглядывали на восток, откуда должны были притти красные.

Офицерское собрание стояло в саду. Рядом с ним, по другую сторону ворот, тянулось длинное низкое здание с зарешеченными, узкими окнами — гауптвахта. За решетками виднелись лица. Чей-то тонкий голос сердито кричал польски:

— Почему нас не выпускают из этой собачьей дыры? Позовите сюда пана поручника!

Усатый фельдфебель метался под окнами гауптвахты. Он то с воплем бросался к солдатам, не обращавшим на него никакого внимания, то увещевал беспокойного заключенного, объясняя ему, что пана поручника нет и что без него он ничего не может сделать.

Эта сцена разыгрывалась тогда, когда наши танки уже остановились у ворот — несколько солдат услужливо распахнули их, и могучие машины влетели в огромный двор. Польский унтер-офицер, чеканя шаги, подскочил к командиру танковой роты и отпрапортовал:

— В наличии польские солдаты... оружия нет, офицеров нет... ждут распоряжения пана главного начальника...

Командир посмотрел на него без улыбки, устало кивнул головой и приказал унтер-офицеру отвести солдат в угол двора, построить их и пересчитать. Усатый фельдфебель метался, стараясь попасться на глаза командиру, вытянулся, замер и доложил о своих арестованных. Фигура была длинная, костистая. Тяжелые, цепкие руки. В серых мутноватых глазах застыло тупое выражение готовности:

— Приказывайте...

Я глядел на него с любопытством.

— Вы были в Петропавловской крепости? — вполголоса спросил меня командир, — там в коридоре Трубецкого бастиона изображен манекен тюремщика, подслушивающего у дверей камеры. Ведь похож?

Командир был молод. Он мог видеть таких только в музее. Я же видел их живыми и до сих пор помню, как они вели по улицам арестованных, угрюмо поглядывая вокруг. И так же, как у этого, револьверы у них были на толстых синих шнурах.

— Оружие надо сдать, — резко сказал командир, и фельдфебель вздрогнул. В глазах его появился ужас.

— Как же сдать оружие? — спросил он, — ведь у меня арестованные...

Мы пошли по грязному каменному коридору. Массивные дубовые двери с «глазками» вели в камеры. Польские солдаты, в мундирах, без поясов, выходили из камер и вытягивались перед командиром. И вдруг из камеры в кон-

це коридора сердитый голос прокричал:

— Почему нас не выпускают из этой собачьей дыры? Позовите сюда пана поручника!

Фельдфебель застонал. Ненависть и страх выразились на его лице.

— Доложу пану коменданту, — крипло сказал он, — что того выпустать не можно. Он особый. Он на полицию нападал.

В тоне последней фразы было глубочайшее, нерушимое убеждение, что более страшного преступления, чем нападение на полицию, не может существовать в природе.

— Откройте, — приказал командир. — Живее!

Фельдфебель поник головой. Мир рушился на его глазах.

Дверь камеры открылась. Ее толкнули изнутри — видно было, что обитатель камеры рвался оттуда. Выскочил человек в штатском и первым делом погрозил кулаком фельдфебелю:

— Что, старая ворона, — тонким голосом крикнул он, — обошлись без пана поручника? Удрал твой поручник!

Это был человек с кривящимся, неспокойным ртом, стремительный в движениях. На нем были потертые брюки, из-под распахнутой куртки виднелась полосатая тельняшка. Он был единственным здесь штатским среди солдат, и командир спросил его, как он попал на военную гауптвахту.

Вместо ответа он повернулся к нам спиной и поднял тельняшку. Спина была исполосована. Кожа на месте ударов вздулась и почернела.

— Я сказал вчера товарищам, — он показал рукой на солдат, — я сказал им, что это последний день их тюрьмы. Откуда я знал, что меня слушает полициант? Он прятался тут же, за воротами. Он избил меня и привел к пану поручнику. А пан поручник сказал, что он не знает, когда у солдат будет последний день их тюрьмы, но для меня это будет первый день. И они бросили меня сюда...

Он жадно посмотрел на нас и с восхищением прошептал:

— Красная звезда! Подумать только... Моего товарища отправили на торгу за то, что у него нашли такую звезду... Что вы скажете на это, пане?

Последний вопрос был обращен к фельдфебелю, и тот, восприняв вопрос по-своему, взмахнул тяжелым кулаком, и в глазах у него появилось голодное выражение.

Где-то недалеко послышались выстрелы. Мы выскочили во двор. Танки с грохотом мчались по улице. Возможно, что где-то еще прятались враги, не обнаруженные разведкой.

— Товарищ командир, — закричал наш знакомый, только-что освобожденный из камеры... (слово «товарищ» он выговаривал как-то особенно, радостно подчеркивая его), — товарищ командир... я знаю, где полиция, я покажу вам...

— Я покажу, — повторил он, — мы их накроем, как крыс, ах, скорее, скорее...

Его взяли в машину, и всю дорогу он ерзал, торопил водителя, вскакивал...

— Садитесь, — приказал командир, — надо спокойнее.

Машина мчалась по улице. У бедных домишек толпились люди. Они не боялись, не прятались. С любопытством провожали нас взглядами, некоторые приветливо махали руками.

Первый день перехода границы был, как всенародный праздник. Люди выходили навстречу с песнями, с цветами.

Наш проводник говорил, не умолкая. Он назвал себя — Игнат Кравчук. Рассказал, что он рабочий-кожевник, а сейчас безработный.

— Мы, как сумасшедшие, — выкрикивал он, — как же вас ждали, как ждали... Хотели бежать вам навстречу...

Он посмотрел на командира влажными глазами и вдруг закричал:

— Стоп, приехали! Тут она, проклятая, тут полиция!

Невысокое серое здание. Красная вывеска у входа. Какая-то фигура опрометью бросается внутрь здания, и слышно, как гулко хлопает дверь.

Кравчук выскакивает из машины первым. Он бросается на лестницу и смотрит, идем ли мы за ним.

— Вперед, — кричит он, — вперед, мои товарищи!

Мы поднимаемся по лестнице. Входим в огромную комнату. На стене портреты Пилсудского и Мосьцицкого. Человек двадцать полицейских в полной форме, вооруженные револьверами, вскакивают, растерянные. Ровным голосом командир спрашивает:

— Где ваш начальник?

И десятки людей, единым жестом, как статисты на сцене, показывают на резную дубовую дверь в конце комнаты:

— Там!

К двери этой надо идти, как сквозь строй. Жадные волчьи глаза ощупывают нас, крепко сбитые, здоровые тела готовы рвануться вперед. Но командир идет неторопливым шагом, не смотрит по сторонам. Он берет за ручку, распахивает дверь, и в его движениях чувствуется власть и уверенность в своей силе.

Перед нами кабинет, обставленный со вкусом: массивный письменный стол, глубокие кожаные кресла, кожаный диван и на стене большой бронзовый барельеф Пилсудского. В кресле сидит человек в военной форме, сбоку от него другой, в штатском. Оба вскакивают. Упитанные, массивные люди — и им не идет выражение полного оцепенения, выявляющееся на их лицах.

— Вы начальник полиции? Прикажете вашим людям немедленно сдать оружие, — сухо сказал командир.

— Но, пане, но приказ... но я не знаю... срок дайте...

— Никакого срока. Немедленно. А приказ даю я. Пойдемте.

И, не оглядываясь, командир выходит в первую комнату. Она полна вооруженных полицейских. Видно, что одно энергичное слово начальника — и они схватятся за оружие. Ведь все равно им некуда деваться: население ненавидит их. Настороженные глаза глядят на высокого, крепкого человека с военной выправкой и ждут его приказа. Приказ отдан. Отдан тонким, лающим голосом. Но в последнюю секунду начальник бросает отчаянный и как бы колеблющийся взгляд на командира. Потом оглядывается. Вокруг него де-

сятки вооруженных людей. Один жест — и эти двое рухнут под пулями. Но он не может сказать ни слова; не может сделать этого жеста.

Напряжение разряжено. Полицейские торопливо срывают с себя револьверы, дубинки, и в углу растет грудa оружия. Распахиваются двери, вбегает Кравчук и с ним еще трое. На рукавах у них красные повязки, очевидно, только-что добытые.

— Вот и товарищи, — кричит Кравчук. — Тоже рабочие. Теперь мы освободим тех, кто еще в тюрьме. Можно, товарищ командир?

— Можно, — отвечает командир, зорко оглядывая их, и вдруг говорит:

— Надо прибрать оружие...

Подходит к Кравчуку и тихо добавляет:

— Смотреть в оба за этими. Берите оружие. Теперь вы — рабочая гвардия.

Вечером я увидел Кравчука в одном из домов на главной улице. Он сидел за школьным, залитым чернилами столом, и вокруг него толпились люди с красными повязками на рукавах. Все они были подпоясаны, на поясах — патронные сумки, в руках винтовки. Как все это напоминало первые дни Октября у нас, первой молодостью революции веяло от этих людей! Кравчук вскочил и с обычной своей порывистостью крикнул, показывая на двоих мужчин:

— Они же только из тюрьмы... Они же теперь свободные...

У этих людей были серые, землистые лица, остро выдавались лопатки на худых спинах. Один из них, похожий на учителя, в очках, быстро кивал головой,

точно подтверждая слова Кравчука, и говорил:

— То так... то так. Свобода, свобода, свобода!

Он повторял эти слова, как песню. Слезы катились из-под очков на бороду и усы, но никто не замечал этих слез. За окном грохотали танки. Они шли с открытыми люками; по обеим сторонам улицы, как на радостном параде, стояли мужчины, женщины, дети и бросали танкистам цветы.

...На полу, стоя на коленях, двое рабочих торопливо, неуклюжими буквами заканчивали писать вывеску на листе картона. Уже можно было прочесть:

«Здесь помещается рабочая гвардия города»...

В Москве на сельскохозяйственной выставке меня кто-то окликнул.

Оглядываюсь и в первую минуту не узнаю этого человека. Но вот он заговорил, чуть певуче.

— Кравчук! Это вы? — спросил я.

Он смеется, кивает головой, трясет мою руку. Мы долго ходим по аллее, Кравчук рассказывает мне о том, что произошло у них за этот год.

— Это все прекрасно, — Кравчук показывает рукой вокруг. — Знаете, я еще не привык ко всему, что с нами случилось.

Снимает кепку, проводит рукой по волосам и повторяет задумчиво, даже нежно:

— Приезжайте в наш город, вы увидите, каким он стал.

И уже уходя, обернулся и крикнул:

— Приезжайте! Ведь теперь это, действительно, наш город...

★

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

В Луцк мы вошли поздно ночью. Наши части прошли в этот день около пятидесяти километров, имели стычки с поляками и сильно устали. Они разместились в огромном здании воеводства, выставили сторожевое охранение, и через несколько минут тысячи бойцов уже

спали где кто приткнулся, не снимая одежды, с винтовкой под рукой. Мы тщетно пытались отыскать помещение для нашей редакции — все было занято. На полу, в коридорах, на площадках лестниц, в просторных вестибюлях, подложив под головы походные мешки.

тесно, как в строю, прижавшись друг к другу, спали бойцы. Комендант штаба с лицом, позеленевшим от постоянного недосыпания, сказал нам:

— Утром приходите, где я вас сейчас устрою?

Мы пошли бродить по пустынным улицам. Все было мертво кругом, и только на перекрестках попадались наши патрули. И вдруг — огонек. На тихой боковой улице было открыто маленькое кафе. Несколько командиров сидели за столиками и ужинали. Девушка в белом переднике подошла к нам, привычным жестом обмахнула салфеткой чистый столик и спросила, что мы будем есть. Мы все еще смотрели недоверчиво. Казалось невероятным после долгой, утомительной езды на машине, где мы помещались впятером, после голодного дня, что мы сидим в уютном кафе, можем отдохнуть, можем потребовать что нам угодно.

— Да дайте что повкуснее, — неуверенно попросил редактор, — и побольше, знаете... Валяйте все подряд...

Девушка бесшумно хлопотала возле нас. Она уходила от нас в кухню, приносила тарелки, таинственно спросила, не хотим ли мы сладкого, домашнего вина.

— Можно и домашнего вина, — ответил редактор и, строго покосившись на нас, добавил:

— Только немножко... По стаканчику на человека...

Из-за двери, ведущей в кухню, раза два осторожно выглядывало острое, лисье лицо старика, поросшее серой щетиной. И каждый раз девушка пугливо косилась на это лицо и старательно грела тарелками.

— Хозяин? — спросил редактор. — Что это он подглядывает?

— Хозяин, — прошептала девушка, и лицо ее потемнело, — смотрит за порядком...

Было без пяти минут двенадцать. Из угла доносилась заглушенная музыка. Там, на красивой тумбочке, стоял радиоприемник.

— А что, Москву он берет? — спросил редактор, — неплохо бы здесь послушать, как шумит Красная площадь...

И он замолчал, с удивлением глядя на лицо девушки. Это лицо было искажено страхом, она махнула на редактора рукой, точно отгоняя ужасный призрак.

— Что вы, что вы, пане, — вырвалось у нее. — Разве можно сейчас Москву? Ведь сейчас будут играть «Интернационал»...

Мгновенье в кафе было тихо. Девушка смотрела на нас. Сначала на лице ее были страх и недоумение. Взгляд ее упал на красные звезды, сверкавшие на наших фуражках, она робко улынулась, нерешительно покосилась на кухню, еще раз посмотрела на нас, и лицо у ней стало другим. Ей, очевидно, трудно было понять сразу, какая перемена произошла в ее жизни, в ее городе, в ее стране. Но она поняла. Быстрыми шагами подошла к приемнику, переставила рычажок. И вот в комнате польского кафе, где на стене еще висел портрет Пилсудского, послышался шум Красной площади. Донеслись гудки машин, могучее дыхание великого нашего города, похожее на шум далекого моря. Каким прекрасным, каким родным казался нам этот шум!

Уже слышался густой звон кремлевских часов. Тяжко падали их удары. Прозвучал двенадцатый удар. Мы были в напряженном ожидании, точно ждали чего-то необыкновенного. Все встали с первыми звуками пролетарского гимна. Много раз мы слышали его, но никогда он не производил на нас такого впечатления, никогда не звучал так величественно, так зовуще. И все незлобно смотрели на девушку. Она дрожала, глаза ее расширились. Мы запели, и она по-польски стала подпевать.

Из двери кухни показалось лисье лицо хозяина и сейчас же скрылось.

Девушка не обратила на него внимания.

Гремел «Интернационал».

Г Р А Н И Ц А

Граница делила большое село пополам. С одной стороны расположился большой колхоз «Соловьи» — с сплошными массивами полей, длинными хлевами для скота, с красивыми домами, с клубом. С другой стороны лежало Вильбовно — с соломенными, почерневшими крышами домов, с полями, изуродованными межами, с позолоченным крестом церкви. Когда-то Соловьи и Вильбовно были одним селом, и двадцать с лишним лет украинские крестьяне были отделены друг от друга. И как только Красная армия перешла границу, колхозники бросились в Вильбовно. Старые люди узнавали друг друга, родные целовались. Оборванный крестьянин из Вильбовно плакал и кричал:

— Та кажить мині, добріє люди, чи жив Остап Дроздук?.. Тож мій брат...

Лейтенант пограничной заставы смотрел с недоумением. Он не привык еще к новому порядку. Долгие годы научили его бдительности, научили распознавать каждое движение на границе. И

вот нет границы! Старый мир отодвинулся далеко на запад.

Стоит столб с серпом и молотом, а в шести метрах от него — другой, с польским орлом. Между столбами тянется ров — он разделял два мира. И вдруг начинается нечто невиданное. С польской стороны с песнями идут девушки в праздничных платьях, с лопатами на плечах и начинают засыпать ров. На помощь к ним спешат парни, но девушки гонят их — им хочется самим проделать эту работу, символическое значение которой ясно всем присутствующим.

...Стоят наши колхозники, толпятся дети, женщины вытирают концами платков слезы, и собирается все больше народу из Вильбовно, и все смотрят, как девушки в белых платьях засыпают ров.

И все знают, что это не простой ров, а страшная грань, разделявшая украинский народ.

К вечеру от рва не осталось и следа. Красная армия проходила на запад.

★

В ПИНСКИХ БОЛОТАХ

Наша машина мчалась по Варшавскому шоссе. По обеим сторонам дорога была обсажена деревьями, стояли белые столбики на поворотах, а дальше виднелись белорусские деревни. Мрачные, покряхтевшие избы, сгнившие крыши на них, крошечные окна, забитые досками или заткнутые тряпьем, черная солома на низких сараях.

Нам надо было в Пинск. Машина свернула с шоссе на песчаный проселок. Начались Пинские болота. Широкая просека в лесу была покрыта глубокой, липкой грязью. Ее пересекали кривые, запутанные колеи. По ним можно было догадаться, с каким мучительным трудом пробирались по этой проклятой дороге автомобили. Нашу машину бросало в стороны, как лодку в море на большой волне. Мотор ревел, шофер

непрерывно крутил руль, отчаянно выдираясь из глубоких рытвин. Наконец, машина застряла. Мы вышли, стали подталкивать ее. Все было напрасно. Задние колеса бешено вертелись, из-под них комьями летела грязь, и колеса все глубже и глубже оседали. Не помогли и ветви, которые мы кидали в грязь. Шофер вылез из кабины, огляделся и горько сказал:

— И это они называют дорогой? Панам бы по ней ездить...

Надо было все же что-то делать. Машина завалилась набок, без рычага ее нельзя было вытащить. Рычаг можно было сделать из ствола дерева, но у нас не было топора. Мы стояли облепленные грязью, подоткнув полы шинелей. Мимо проезжала крестьянская телега. Маленькая лошадка ровно тащила ее.

Крестьянин соскочил с телеги и подбежал к нам. Он был бос, несмотря на осенний холод, — был уже октябрь. На нем была рваная шапка, рваный, из рыжей ряднины зипун. Он снял шапку и, радостно улыбнувшись, поклонился нам. Затем исчез в лесу, что-то крикнул жене, оставшейся на телеге. Она проворно слезла и куда-то ушла — по другую сторону дороги. Через десять минут нас окружило несколько белоруссов. Из лесу доносился стук топора. Показался первый крестьянин, тащивший на плечах только-что срубленное и уже очищенное от ветвей дерево. Он весело кивнул нам.

— При товарищах можно рубить, — сказал он, — лесник не арестует.

И тут все они бросились к машине. Помогали и женщины, и даже однуру-

кий парень, подошедший в последнюю минуту. Рычагом подняли машину, шофер дал газ, и она пошла.

— Мы проводим вас, — сказал один из крестьян, — там дальше еще хуже. Опять застрянете...

Во всех этих худых, землистых лицах было столько дружелюбия к нам, носящим форму Красной армии, так любовно помогали они нам, что мы почувствовали себя, как на родине, как среди близких людей. Крепко пожали крестьянам руки, поблагодарили.

— Нас благодарить не за что, — негромко сказал один, — вам спасибо, что пришли к нам. Спасибо Красной советской армии.

Они шли с нами до второго опасного места, помогли преодолеть и его и махали нам вслед руками и шапками.

★

БЕСПЕРЕБОЙНО СНАБЖАТЬ ПАТРОНАМИ...

Постороннему человеку трудно было узнать, что часть недавно была в бою. У бойцов и командиров был совершенно свежий вид, и они весело разговаривали. Отовсюду доносились взрывы смеха, в одной роте ладно пели «Кочегара». Капитан, чуть ссутулясь, с видимым удовольствием курил и прищуренными глазами лукаво поглядывал на меня.

— Вам только тех подавай, кто первый бросился в атаку, — улыбаясь сказал он, — будто только они решают исход боя. Вы вот побеседуйте с незаметными людьми:

И, помолчав, добавил:

— Поговорите с подносчиками патронов на боевые позиции. Очень советую. Часто им приходится действовать в сложной и опасной обстановке, и все же они справляются со всеми поставленными им задачами... Геройские ребята.

Через несколько минут, сидя под высокой елью, мы разговаривали с младшим комвзвода Николаем Кошелевым. Над лесом кружил наш разведчик, потом он улетел на запад.

Кошелев рассказывал сжато, придерживаясь языка боевого приказа:

— Бой происходил у села Копчи. Мне и товарищам Максименкову и Миснику было дано задание: обеспечить бесперебойное снабжение нашей огневой позиции боеприпасами. Мы принялись за дело, не теряя ни минуты. Бой начался, гремят выстрелы, со свистом проносятся пули. Видно, что дерутся сильно, выстрелы учащаются. Пора уже как-то явиться подносчикам патронов, а их нет. Мы беспокоимся. Все ли там благополучно? Может быть, подносчики выбиты из строя и некому подносить патроны? В это время противник пристрелялся к нам. Снаряды рвутся в нескольких метрах от повозки с боеприпасами. Прошло уже сорок минут, но никто не приходит за патронами. Становится ясно, что огонь противника мешает сообщению с нами. Оставляю Мисника у повозки, а сам вместе с Максименковым забираем коробки с дисками, ящики с винтовочными патронами и отправляемся на позиции. Огонь противника усиливается, с его стороны доносятся громкие крики — видно, он готовится к атаке. Мы с Максименковым торопимся, но в некоторых местах приходится ползти — слишком уж густо

летят польские пули. Оглядываюсь на Максименкова, не убило ли его, а он весело кивает мне: все в порядке, давай скорее. Патроны наши поспели в самый раз, взвод на позициях достреливал уже последние. Мы сейчас же побежали назад к повозке. Опять нагрузились патронами и обратно. Огонь противника не ослабевает, но нам уже привычнее — идем не останавливаясь. Так за три часа мы полностью обеспечили взвод боевыми припасами. Надо добавить, что, пока мы ходили, Миснику приходилось трудно. Его засыпало пулеметным огнем, и несколько раз он менял положение повозки. Боевое задание было выполнено, поляков опрокинули. Вот и все.

Я закрыл блок-нот.

Кошелев посмотрел на меня и попросил:

— Запишите про Максименкова и Мисника. Оба замечательные парни. Максименков — командир отделения, Мисник — боец. В мирное время они считались лучшими в подразделении, имели по несколько благодарностей. А в бою вели себя геройски, как настоящие сыны родины, как большевики. Жизни своей не жалели...

— А вы, товарищ Кошелев? Про вас что написать?

Он пожал плечами.

— Этого хватит...

И, прощаясь со мной, подал жесткую, негнущуюся ладонь.

★

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Малолитражная машина, одна из тех, которые на фронте зовутся «трофейными» и «мухами», остановилась у края дороги. Вся она была густо залеплена грязью, колеса казались бесформенными от налипшей на них сырой земли. Старший лейтенант вылез из машины. Мы уже встречались с Федором Черновым. Он работал по связи в штабе N-ской дивизии и проводил большую часть времени в машине. По дороге непрерывно шли части, обозы, танки, орудия. Двигались они медленно — плохая дорога сильно раскисла после большого дождя. Старший лейтенант показал рукой на колонну пехоты в стальных касках, на сопровождавшие их короткоствольные гаубицы и сказал:

— Это РБ. Из-за него я вчера попал в интересную историю.

— Ну как, — спросил он, — проедем?

— Еще минут пятнадцать подождем и проедем, — ответил шофер, — ведь части идут в две колонны, сейчас никак не прорвешься.

Старший лейтенант кивнул ему и присел на пенек. Удобно вытянул ноги, закурил. Потом стал рассказывать.

— Ехал я из Комарова в Томашев.

Дорога ужасная. Там поляки дрались с немцами, и все осталось развороченным, валялись убитые лошади, брошенные повозки, разбитые орудия. Я получил боевой приказ — надо было срочно изменить направление нашего РБ. Показывая мне по карте дорогу, начальник первого отдела штаба сказал, отмечая красным карандашом:

— Тут, конечно, ближе всего, но, говорят, попадают банды. Смотрите.

Смотреть, собственно, было нечего. Приказ надо было доставить как можно скорее. Поехали. Обогнали наши части, и скоро мы были одни. Наша «муха» давала по восьмидесяти километров. Дорога шла лесом. С обеих сторон сдвинулись деревья, и, чорт его знает, что за ними скрывалось! Только мы выскочили за поворот — поляки! Идет целая рота, при ней станковые пулеметы. Я даже испугаться не успел (Чернов улыбнулся), так скоро это произошло. Знаю, что надо действовать как можно скорее, иначе конец. Выскакиваю из машины и громко кричу:

— Всем бросать оружие сюда, — показывая на дорогу, — и бежать вперед. Скорее, скорее! Иначе всех расстреляем из пулеметов.

Поляки растерялись. Ясно, что я не один, за мной части. Наверно, окружили их. За деревьями-то не видно. Бросают они оружие, а я тороплю:

— Вперед бегом... Кто сдал оружие, вперед бегом...

Они бегут, как на ученьи. Испуганно оглядываются: а где же красные?

Встают пулеметы. Ощерясь, кладут пистолеты три офицера — последние, — солдаты поторопились сдать оружие раньше. А я думаю: что же я буду с ними всеми делать? И вдруг гудок. Идет

грузовая машина с местной милицией. Знаете, — рабочие с красными нарукавными повязками и разномастными винтовками. Вот она, моя армия! Не давая полякам опомниться, погрузил на машину оружие и офицеров и приказал гнать в Томашев. Солдаты же пошли своим ходом...

— Дорога свободна, товарищ старший лейтенант, — доложил шофер. Чернов проворно вскочил в машину и махнул мне на прощанье рукой.

— До свиданья, — прокричал он, — надо обгонять колонну...



Верность

Аркадий КОГАН

★

Ты вернулся. И песня похода,
Песня славы звучит над страной,
И сияет награда народа
На груди золотою звездой.

Сколько раз мы за школьною партией
Острова изучали вдвоем.
Там, где мы проходили по карте,
Ты прошел под навесным огнем.

На висках седина заблестала,
Словно изморозь северных выюг...
Что вчера лишь уроком казалось,
Стало жизнью сегодня, мой друг.

И, быть может, когда-нибудь внуки
Вспомнят наши простые дела.
Сядь поближе. Возьми мои руки, —
Я тепло для тебя сберегла.

Вандага

РАССКАЗ

Иван АРАМИЛЕВ

★

I

В деннике пал последний изюбрь... Я сделал все, чтобы предотвратить катастрофу, и она все-таки наступила. Черноспинник был самый крепкий производитель, держался долго, но и его свалила болезнь. Осталось двенадцать ланок. Осиротелые, они молчаливо стоят с опущенными головами. Я изолировал их в начале эпизоотии. Они то здоровы, да что толку, если не осталось ни быков, ни телят?

— Беда, зоотехник, — говорит председатель колхоза Дмитрий Иванович. — Не спасла твоя наука животных.

Он умолкает, нахмурив лоб. Я знаю его недосказанные слова. Столько трудов положили мы на создание изюброводческой фермы. О нас писали в газетах. Наркомзем прислал похвальную грамоту. И теперь все рушится.

Где возьмем производителей?

В правлении собирается колхозный актив. Я смотрю на озабоченные лица, жду попреков. Сейчас кто-нибудь скажет:

— Ты к чему приставлен, дорогой товарищ Николай Васильевич Охлопков? Не сберег стадо. Какое ж наказание тебе определить?

Как объясню я им, что в науке много нерешенных вопросов и ветеринария часто бессильна помочь?.. Но странно. Все наперебой стараются ободрить, успокоить меня. Каждый деловито излагает свой план спасения фермы. И чем боль-

ше говорят, тем очевиднее становится: положение безнадежно. Последним берет слово охотник Ерофей. Ничего утешительного он сказать не может. Купить изюбря негде. Поймать поблизости в тайге невозможно. Надо ехать на горячий солонец, в верховья Кульдур. Там ловил зверей основатель фермы Павел Михайлович Жбанов с сыновьями. Старик Жбанов, обогативший и прославивший колхоз, умер в прошлом году. Один сын его в Красной армии, другой служит в городе. Больше никто не знает дороги к заповедному солонцу. Высказав это, Ерофей степенно оглаживает черную бороду и садится на лавку.

Все вздыхают. Мужчины достают кресеты с табаком, свертывают цыгарки, закуривают. Дмитрий Иванович пристально и строго смотрит на Ерофея.

— Твое предложение какое? Стало быть, ланок под нож, на мясо. Ферму прикрыть. Так, что ли?

— Вот загнул, — отзывается Ерофей. — Дай проводника, первый пойду. Пушай ноги в кровь сотру, пушай мошара заест. Ежели надо итти для общей пользы, — какой разговор.

— То-то и оно: некому дорогу показать, — уныло роняет председатель.

Молчание. Струйки махорочного дыма вьются над столом. Женщины выходят на улицу. Стало просторнее и как-то еще тоскливее в избе.

— Э, мужики, а ведь есть ходок на солонец, — вспоминает завхоз Данило. — Охотник Вандага.

— Верно, — подтверждает Ерофей. — Он ходил на Кульдур за пантами. У меня из головы это выскочило. Совсем забыл.

Данило улыбается, радуясь тому, что нашел-таки лазейку из тупика.

Начинается спор. Вандага не колхозник. Случайным ветром прибило его к нашему поселку. Сегодня он здесь, завтра уйдет в другие места. Что ему, перекати-полю, колхозная ферма? Деньгами его не соблазнишь.

Я кое-что слышал про Вандага.

Нанаец по матери, удахэец по отцу, это — настоящий таежник. В молодости ему будто бы вздумалось разбогатеть. Он ушел от своего племени, сблизился на Санхобу с китайцами, женился на китайке. В поисках счастья исколесил Большой и Малый Хинган, долины Амура, Селенджи, Зен, Уссури, Амгуни. Соболевал, искал жень-шень, ловил трепангов и жемуч, старательствовал на золотых россыпях, добывал кабарожий мускус, занимался сбором древесных грибов и лишайников, отправляя их, как редкое лакомство, целыми корзинами во Владивосток. И он почти разбогател. Но тут его застигла беда. На фанзу напали хунхузы. Убили жену, дочь и сына, пограбили имущество. Сам Вандага, раненный в схватке, едва спасся от смерти. С тех пор страсть к наживе угасла в нем навсегда. Он кочует по русским поселкам и прославился как мастер зверового промысла.

Лучшего проводника, обойди все Приамурье, не сыщешь.

Только, в самом деле, захочет ли он провожать меня с Ерофеем?

Дмитрий Иванович отправляется разыскивать Вандага.

Мы ждем. Никто не расходитя. Все молчат, и по этому молчанию я догадываюсь, как взволнованы колхозники. Проходит полчаса, час...

Председатель вбегает с повеселевшим лицом.

— Согласен, — кричит он, переступая порог. — Давайте, не мешкая, собираться. Ответственным назначаю Николая Васильевича, чтобы по науке выбрал производителя. Ерофей помощником будет. Согласны?

И все отвечают:

— Согласны.

И тут все закипело. Боясь, как бы Вандага не раздумал, решаем выезжать сегодня. Нам предстоит проехать к солонцу тайгою на лошадях и с добычей спуститься по реке на плоту.

Старший конюх выводит на улицу трех меренков, прозванных одрами. Изъезженные клячи, непригодные для работы в колхозе. Они были намечены для притравы волков осенью. Судьба их неожиданно изменилась.

— Когда словите изюбря, — говорит председатель, — одров разрешаю пристрелить. Плыть с ними через пороги и судои¹ немисливо. Да и кони бросовые. Так-что не беспокойтесь.

Мы с Ерофеем чистим ружья, снаряжаем патроны, наполняем вьюки сухарями. Мужчины и женщины помогают нам собираться. Одни приносят папиросы и махорку, другие — кремень для добывания огня, третьи — пилу и топоры. Завхоз Данило тащит знаменитую сеть, которой Павел Жбанов ловил изюбрей.

Ко мне подходит Вандага, и с ним его собака Хады. У охотника загорелое овальное лицо, живые темнокарие глаза. Длинные черные волосы заплетены в косичку. Одет он в короткую тельную рубаху серого цвета. Поверх рубахи — пестрый, длиною до колен, халат, застегнутый сбоку на костяные пуговицы. Рукава халата около кистей рук стянуты чарукавниками. На ногах короткие штаны из синей дабы, наколенники, замысловато привязанные к поясу ремешками, и мягкие унты из лосевой кожи.

Вандага здороваётся со мною, называет меня комиссаром. Оказывается, он даже рад ехать. С прошлого года не был в дальних местах. Ему надоело выслеживать близ поселка напуганного зверя.

Он рассматривает мою одежду. Спрашивает — не тесны ли сапоги, чем набиты вьюки, сколько патронов я беру с собою.

¹ Водовороты, образующиеся от слияния двух горных рек.

— Забывай ничего нету? — говорит он, сощуриив глаза. — Дорога шибко далеко. Надо хорошо подумай.

Меня трогает эта хозяйская осмотрительность, и я ласково киваю ему головою:

— Все в порядке, друг.

На вопрос, удастся ли нам изловить изюбря, он спокойно отвечает:

— Почему не моги поймать? Можно сетка имай, лудева имай, петля имай, солонца приезжай — лови будем.

Топоры, пила, котелки, сеть, веревки, палатка — все, наконец, уложено, приторочено. Бригадиры седлают коней. Сухонький, подобранный Вандага с длинностолою берданкой за плечами гладит Гнедка по шее и легко вдевает ногу в стремя. Мне подводят большебрюхого рыжего ветерана с кривыми ногами и облезлю привой. Его зовут Маштак. Ерофей вскидывает за плечи винчестер, садится на лохматого Скорохода, дергает повод:

— Но, не балуй, возродная.

Скороход стоит неподвижно, задрал к небу лисуую голову. Провожаящие смеются:

— Осторожно, Ерофей... Кабы этот рысак не скинул тебя.

Дмитрий Иванович подает мне двуствольную тулку.

— Счастливо обернуться, братки, — говорит он. — Чур: с пустыми руками не приезжать.

Напустуемые шутками и смехом, мы трогаемся. За нами бежит Хады.

День теплый, и недвижим воздух. Над рекой играет марево.

II

Вечер застигает нас в тайге.

Ерофей разводит костер, ставит палатку для ночлега. Стреноженные кони пасутся на поляне. Мы с Вандага идем добывать дичь на ужин. В низинах высокая, по пояс, прошлогдняя трава. Чуть приметный ветер бежит по тайге. Шумят лиственницы и дубки. Два раза Хады подлаивает глухарей. Нам не удается выстрелить. Птицы сторожки. Кругом валежник, хрустят под ногою сухие ветки.

Выходим к склону горы, в редколесье. Под ногами мох и песчаные холмики.

— Медведь недавно ходи, — говорит Вандага, показывая сошками на отпечатки огромных лап.

На песке медвежьи следы пересекаются другими следами.

— Твоя понимай, какой тут люди ходи? — спрашивает Вандага.

Я мотаю головой.

— Чушка ходи, — шепчет он. — Его где-то близко есть. Надо тихо иди, посмотри везде.

Мы идем, стараясь не наступать на колодник. Солнце уже опустилось за горы. Бледные тени деревьев падают на поляны. Хрусткая тишина в лесу. Кабаньи следы встречаются на каждом шагу. Хады вертится около наших ног, нюхает землю и затем, урча, скрывается в багульнике. Мы останавливаемся. Минуты через две Хады призывно лает у подножья горы. Вандага бежит в обход слева. Я осторожно иду на голос собаки.

Молодой грязнобурый секач стоит, прислонившись задом к лиственнице. Хады прыгает возле него, как мяч, — стрелять невозможно. Я поднял ружье и жду. Щелкнув клыками, секач бросается на Хады, подставляет мне бок. Мушка поймала левую лопатку, и палец привично дергает спусковой крючок. Кабан, сунувшись вперед, падает на корневища. Из кустов выходит Вандага и улыбается мне.

— Твоя хорошо стреляй, комиссар.

Хады облизывает кровь на боку зверя.

Вандага отгоняет собаку, связывает ноги кабана ремнем, продевает между ними палку. Мы несем добычу к биваку. Свет костра мягко поблескивает впереди меж кедровых стволов. Ерофей встречает нас радостным вздохом.

— С полем, Николай Васильевич, — говорит он. — Подзаправимся мяском, веселее ехать будет.

Над костром закипает чайник. Я снимаю сапоги. Ерофей свежует кабана. Вандага кладет кабаньи ноги на угли и, когда они чернеют сверху, раскалывает их ударами ножа, высасывает горячий

мозг. Ерофей поджаривает окорока и рассказывает, что прошлые годы он в этих местах подманивал изюбрей на трубу, сделанную из бересты, и что тигры во время гона тоже охотятся на оленей, подражая реву самцов.

— Дую как-то в трубу и прислушиваюсь, — говорит Ерофей. — Откликается в кедровике старый бык. Голос у него не больно чистый, не в том порядке, как изюбрь, кричит. Ну, схоже. Я потрублю, он отвечает. Я подлеском к нему подбираюсь, он ко мне. На полянке и встретились. Увидел я, кого подманил, в озноб меня бросило. Что, думаю, делать? Бежать от тигра — не убежишь, да и осерчал я на него в те поры здорово: балуется, подлая душа, под изюбря работает. Такое прощать нельзя. Кричи тем голосом, какой природа тебе дала, под других не подлаживайся. Вскинул винчестер, да и стукнул его промеж глаз. С одной пули растянулся и ногами не взбрыкнул, миляга.

Вандага подтверждает слова Ерофея. — Амба постоянно так изюбря обмани, — говорит он, допивая чай из берестяной кружки. — Изюбря, когда ланку ищи надо, совсем дурной делается. Его тогда понимай нету, какой люди тайга кричи.

Вандага поднимает из костра уголек, раскуривает трубку. Я смотрю на его твердое безбородое лицо, и меня занимает пустой, навязчивый вопрос: сколько ему лет.

— Много, комиссар, много, — смеется он, обнажая сплошные белые зубы. — Моя считать не люби. Живи-живи, смерть приходит к тебе — помирай. Зачем считай надо?

— По годам его не суди, — вставляет Ерофей. — Нанай в лесу живет, на земле спит, под луной спину греет, ни стужи, ни солнца не боится. Ему век долгой положен. Он против нашего брата, русаков, куда дюжее. Глаз вострый, слух тонкий. Он, поди-ка, зверя даже носом чует.

Вандага жалуется — обеднела тайга. Зверь исчезает. Раньше он добывал на притоках Амура по семьдесят соболей в зиму. Пушнина шла дешево. Были времена: за железный котел таежники да-

вали купцам столько соболей, сколько в него входило. Кустарной работы нож стоил шесть соболей. А за винчестер с патронами платили целые охотки. Теперь охота стала худая. Народу много. Лес рубят, на реках шумят.

— Почему с берданкой охотиться? — спрашивает Ерофей, считающий только винчестер настоящим промысловым оружием. — Обеднел, что ли?

— Нанай теперь богато живи, — говорит Вандага. — А винчестер хуже берданка. Тяжелый больно. Пуля большой. Винчестер стреляй крупный люди. Берданка все стреляй: гуран, кабарожка, собель, птица.

— Ну, ежели тигра встретишь?

— Амба тоже убивай берданка, — раздумчиво говорит Вандага. — Стрельнешь голова, его помирай. Худой люди амба. Моя за ним иди по следу. Его ходи кругом, находи моя след, ползи сзади. Моя стань за дерево. Его подползи близко, и живи нету.

— А вдруг промахнешься? — допытывается Ерофей.

— Как можно попади мимо? — удивляется Вандага. — Амба такой большой голова, и попади мимо. Бурундука голова стреляй, белка стреляй голова и то мимо нету.

— Да ведь осечки бывают у берданки.

— Что ж, бывай осечка, — соглашается Вандага. — Другой патрона вставляеми и бьем амба, медведь бьем, лося бьем.

Старый охотник просто и спокойно рассказывает о встречах с тигром. Однажды зимой он пошел осматривать капканы. В сумке было пять патронов. На открытой поляне увидел зверей. Тигрица, старый самец и двое молодых терзали только-что задранного оленя. Лыжи не скрипели по мягкому снегу, и Вандага подкрался к тиграм на сорок шагов. Ему даже в голову не пришло отступить. Первым выстрелом из берданки он положил самца. Тигрица повернулась к нему и сердито закашляла. Потом бросилась на охотника. А у него застряла гильза в патроннике. Утеряны были какие-то секунды, необходимые для перезарядки. Пришлось бить в

упор, на прыжке. Тигрица рухнула у его ног. Она еще пыталась подняться, и он тогда всадил ей под лопатку нож. Молодые смотрели-смотрели и, поджав хвосты, побежали. Одного из них Вандага все-таки успел свалить выстрелом в угон.

— Смелый ты человек, а не миновать тебе тигровых зубов, — говорит Ерофей. — От старости глаза испортятся, промажешь по зверю, и конец.

— Как придется, — тихо отвечает Вандага. — Может, его моя, может, моя его кончай. Собака есть, берданка есть, нож есть. Страшно тайга нету.

Я спрашиваю Вандага, сколько тигров он убил за все годы скитаний по тайге. Старик отвечает не сразу: что-то бормочет себе под нос, считает на пальцах. Он в большом затруднении. Наш брат, охотник-спортсмен, доходит до смешного. Ведет аккуратную запись, где и когда добыт им бекас, дупель, чирок-трескунок. А уж если ненароком удалось застрелить зверя, заполнит описанием охоты не одну страницу тетради. Вандага равнодушен ко всему, что им сделано в прошлом, и память его сохраняет лишь наиболее значительные эпизоды охоты. После долгих раздумий и разговоров с самим собою он виновато улыбается:

— Моя не помни, комиссар:

Я задаю наводящие вопросы и сам подсчитываю его трофеи. Он охотится сорок лет. Каждый год убивает двух-трех тигров. В счастливые годы иногда шесть-семь матерых зверей да столько же маленьких тигрят. Цифры ошарашивают меня. Какой-нибудь француз, в поисках сильных ощущений, отправляется в Индию или Африку. Там, с помощью десятка загонщиков и помощников, убивает до десятка львов или тигров, и он становится национальным героем, о нем долго шумят в газетах и журналах, его именем называют охотничьи клубы. Вандага, один-на-один, с плохонькою берданкой, убил свыше сотни тигров, и никто об этом не знает...

Разговорившись, Вандага вспоминает подробности разрыва с родичами.

Нанайцы называют тигра — амба, удэхэйцы — куты-мафа. И те, и другие

в прежние времена почти не охотились на тигра, считая его священным зверем. Тигры свободно жили близ людских поселений, наносили огромный вред. Съедали добрую половину попавших в лудевы кабарожек и оленей. Опустошали склады мороженой рыбы. Будучи подростком, Вандага тоже не охотился на тигров. При случайных встречах боялся поднять ружье на полосатую кошку, ибо верил, что нападение на тигра грозит охотнику неисчислимыми бедствиями. Это был родовой, наследственный предрассудок, и его держались крепко.

Как-то, по первой пороше, тигр ранним утром ворвался в стойбище и утащил любимую собаку Вандага. Тут Вандага рассердился, схватил винтовку и побежал по следу зверя. Тигр услышал его шаги, бросил недоеденную собаку и скрылся в подлеске. Юный охотник долго стоял над трупом собаки: ругался и плакал. И горе толкнуло его на смелый поступок. Он оставил возле собаки настороженную винтовку и пошел к стойбищу. Если тигр священное животное, рассуждал он по дороге, ружье не выстрелит, когда он коснется грудью волосяной нити, привязанной к курку. А выстрелит... неправы старики: тигр — обычный таежный вор, которого нужно истреблять. Дома Вандага всю ночь беспокоился. Ему мерещилось, что тигр в ярости поломает ружье и тогда не с чем будет охотиться. Утром, сам не свой, он пошел к насторожке. Тигр, пораженный пулею в грудь, лежал на снегу, и вороны успели выклевать ему глаза.

Так Вандага перестал бояться тигров. Начал стрелять их из винтовки, ставил на них самострелы, травил стрихнином, купленным у корейцев. Старики осудили Вандага, нарушившего древний обычай. Все от него отвернулось. На какое бы стойбище он ни пришел, с ним, как с прокаженным, не разговаривали, и ни одна девушка не хотела стать его женою. Вот тогда-то он и вынужден был уйти к китайцам и начать новую жизнь...

В горах еще теплится заря, а в низине клубится туман, и темнота заливает

вает поляны. Над нами чистое небо в крупных звездах. Редкие вскрики ночных птиц в лесу.

Ерофей и Вандага спорят, как лучше брать из берлоги медведя. Спать не хочется. Я лежу на спине и слушаю, как падает роса на траву.

III

Утром просыпаюсь от крика рыси. Она мякнула где-то рядом и затихла. Я приподнимаю край палатки. Хады вскочил и вытянул морду, готовый вот-вот ринуться в чащу.

— Лежать! — говорю я. — Начальник экспедиции запрещает тебе охотиться, глупая собака.

Он ложится, вздрагивая и рыча. Косит карим глазом, пошевеливает хвостом. Я подзываю его к себе и глажу по голове.

Лес какой-то праздничный, свежий. Стволы кедров и елей в солнечных пятнах. На ветках дрожат капли росы. Дымятся муравьиные кучи. Иней висит на траве. Я развожу костер, поднимаю Ерофея и Вандага. Наскоро завтракаем, садимся в седла.

Едем давно заброшенной тропой. На деревьях кое-где желтеют старые затеси. Переходим в брод шумливую каменистую речку и двигаемся левым берегом вверх по течению.

Скоро тропа исчезает. Густые заросли загораживают путь. Ерофей спешивается, ведет на поводу Скорохода, рубит топором кусты дубняка и молодой березник, царапающий вьюки. Потом ему надоедает это занятие. Он садится в седло. Лошади едва проходят меж деревьев. Краснолесье кончилось. Угрюмо и мертво кругом. Ели и лихты покрыты серо-зеленым мхом, ржавой плесенью.

Сплошная стена непроницаемого леса.

Ни полянки, ни сухого огорочка. Даже не видно вершин гор из-за деревьев. День пасмурный. Мы то уклоняемся от речки, то снова подходим к ее руслу.

Может быть, залуптали?

Вандага спокойно идет впереди.

— Вали, вали, — посмеивается он. — Моя дорога хорош знай.

Ерофей говорит, что надо итти по горам: на увалах суше и лес реже.

— Там хорошо нету, — мотает головою Вандага. — Дерево падал, камень падал. Лошади совсем не могли ходить. Здесь валежник мало, болота еще не таял. Знай вали да вали.

Так или не так, надо соглашаться. Карты нет, компаса нет. Только привычный глаз Вандага может разобраться в этих тущобах и отыскать нужное направление.

— Сколько часов езды до перевала? — спрашивает Ерофей.

— Моя часы не знаю, — говорит Вандага. — Вечер там будем.

— Ну, дорожка, — вздыхает Ерофей. — Чертей гонять впору. Давайте-ко привал делать.

И он, не дожидаясь моего разрешения, валит сушину для костра. Вандага черпает в яме воду, ставит на сошки чайник. Я расстилаю на земле палатку. Лошади тянутся к деревьям, жуют ветки. Беднягам нечего пощипать: мох да сухой лишайник. Вандага кормит Гнедка и Скорохода сухарями. Это расточительство не нравится Ерофею. Что за фасон травить хлеб обреченным на убой сдрам? Израсходуем сухари, самим голодать придется.

— Зачем напрасно твоя скули? — смеется Вандага. — Человек пропади тайга не бывает. Стрилай будем, мяса вари есть.

Отдохнув часок, двигаемся на юго-запад.

К вечеру тайга, действительно, как предсказывал Вандага, поредела.

Почва тверже. Хвойные деревья перемежаются с лиственными. На прогалинах густые гривы прошлогоднего свиарника — высокой и сильно пахнущей травы, стебли которой так крепко переплетаются между собою, что лошади едва передвигают ноги.

Что-то темное мелькнуло на валежнике и скрылось в траве. Сперва мне показалось: это — зайчик тени. В небе плыли клочковатые облака, и тени, передвигаясь, покрывали пятнами тайгу. Вдруг Хады, взлаивая, бросается в сторону. Мы останавливаемся.

— Соболь, — говорит Ерофей, снимая винчестер.

Теперь и я вижу зверя. Он взобрался на вершину ильма, смотрит на собаку. Ерофей подбегает к дереву. Эхо выстрела разносится по лесу. Цепляясь за ветки, соболь падает. Хады хватает его за горло и тащит к хозяину. Вандага тихо произносит какое-то слово. Хады неохотно кладет зверя к ногам Ерофея.

Ерофей стоит перед нами сияющий. Соболь еще вздрагивает в его руках. С морды зверя стекает кровь.

— Вот как я стреляю. Тоже в голову попал.

И он привязывает добычу к седлу. Вандага, насупившись, подходит к нему, выдирает шерсть на спине соболя. Ость легко поддается и обнажает темножелтый подшерсток.

— Твоя дурака, — говорит Вандага, вспыхивая и сердито вращая глазами.— Союзпущина несешь, его принимай нету. Там тебе все станут говори: дурака, дурака.

Ерофей оправдывается. Старые звери до середины весны носят зимнюю шубу. Он думал, шкурка вполне подходящая. Раньше в это время все били соболей.

Вандага взмахивает руками, кричит:

— Вот через такой люди, как твоя, погибай тайга. Твоя думай: все можна. Тайга начальник нету, закона нету. Птица и зверя, когда види глаз, вали да вали.

Ерофей поблек. Лицо у него растерянное.

— Ошибся маленько, — признается он, — увижу соболя, рассудок теряю. Сердце у меня больно горячее.

Они долго еще бранятся. Наконец, оба замолкают. Ерофей старательно подтягивает подпруги и переметные сумы.

— Больше этого моя види не хочу,— начинает опять Вандага. — Моя тебя по шее колоти будет.

Ерофей кидает соболя в траву. Коли так, ему вовсе не нужна шкурка. Пусть будет по закону. Он, Ерофей, проживет и без соболя.

Эта выходка вызывает новый взрыв негодования со стороны Вандага. Стре-

лять соболя нельзя, но уж если ты сбавлял, нечего благородство показывать. Береги шкурку, какая бы она ни была. Ругаясь, Вандага приторачивает соболя к своему седлу.

Тут вмешиваюсь я и отчитываю обоих. Когда три человека предприняли большой и трудный поход, им не следует ссориться в пути. Увлечшись этой мыслью, я с жаром проповедника говорю о дружбе, как великом чувстве, которое сплачивает коллектив для победы. И я, должно быть, перехватил немного. Ерофей видит во мне союзника и покровителя.

— Разошелся, понимаешь, дикарь, — подмигивает он. — Орет, будто соболь ему родным братом доводится. Одним зверем в тайге больше, одним меньше. Подумаешь, проблема.

— Ты сам дикарь, — говорю я громко, перечеркивая только-что сказанные слова о дружбе в походе. — Вандага прав. Его гнев — хороший гнев человека, думающего о других. Ты должен извиниться перед Вандага.

Ерофей смотрит на меня испуганными глазами.

— Николай Васильевич, да ведь я ж признал себя виновным, — изворачивается он. — Чего вы от меня хотите? Или я на колени перед Вандага стать должен?

Я махнул рукою.

Переваливаем через хребет и по крутому распадку спускаемся в долину. Весеннее небо синее над лесом. Солнце золотит траву. Все повеселело кругом. И кони шагают резвее, словно радуясь тому, что осталась позади мертвая тайга.

Подъезжаем к берегу Хингана, расседываем лошадей. Они жадно хватают губами зелень. На лужайке, возле отвесного утеса, Ерофей ставит палатку. Вандага зовет меня осмотреть утес.

Высокой стеною нависает утес над руслом реки. Цепляясь руками за скалы, кусты багульника и таволги, мы кое-как взбираемся на вершину. Заросшая ельником и пихтою, убегает вдаль пойма Хингана.

— Вон расти кедра, там береза расти, — говорит Вандага, показывая на

темные и светлые тени в тайге. — А за тем гольцом речка Сутар бежи. Там соболевал моя, сайба ставил.

Садимся на камень, раскуриваем трубки.

— Ай, утеса, — говорит Вандага. — Хорош утеса. Много зверь бывай. Моя здесь убивай сохатых, изюбря.

И он объясняет мне, как звери, спасаясь от волков или охотничьих собак, бегут прямо к этому утесу и, вставши на его площадку, задом к отвесному краю, отгоняют врагов: бьют копытом, рогами. Ничего тогда не могут поделаться с ними волки и собаки. Лишь бросаются на них, не дают покоя. Утомится изюбрь, ляжет на утес, снова кинутся и снова получают отпор. Чем кончается осада? Измученный рогац оступится, летит в пропасть, разбивается насмерть. Или же бросается напролом в тайгу, расшвыривая врагов. Охотники называют эти утесы отстоями. Значит — зверь отстаивается здесь от беды. Однажды Вандага промышлял в здешних краях. У него тогда была хорошая собака Бушма. Вот погнала Бушма изюбря и пропала. Неделю разыскивал он лайку. Звал на трубу, постреливал, ожидая, что она прибежит на выстрел. Нет Бушмы. Вандага думал — ее тигры съели. Подошел к отстою, глазам не поверил. Лежит Бушма на брюхе и тявкает на изюбря. Зверь еле на ногах стоит, и собака чуть жива.

— Волка хитрый, — говорит Вандага. — Два-три лежи перед изюбря, пугай, другие жди под обрыва, когда его валится.

Ерофей кричит снизу, машет рукою, зовет нас ужинать. Мы осторожно спускаемся, вернее, сползаем по отвесной покати. На крутизне, где едва может удержаться человек, с подножья до вершины утеса узкая тропа, и на мхе среди камней свежие следы изюбрей и сохатых.

— Не легко им сюда подниматься, — замечаю я.

— Как пуля верх лети, — улыбается Вандага. — Низ ходи тихо. Гляди, тропа право-лево верти. Звери так придумай, чтобы лучше низ ходи было. Сюда и соболь тоже ходи.

Он снимает с куста клочок соболойной шерсти, скатывает его на ладони в шарик. Останавливаемся на минуту перевести дух.

— Много тут соболь, — вздыхает Вандага. — Ой, много. Только промышляй нету. Моя его гоняй, он каменная россыпь прятаться, и ни огонь, ни собак, ни пуля добывать нельзя.

У подножья утеса белеют крупные кости, черепа, и серо-желтая шерсть, как паутина, опутывает кустарник. Здесь кладбище оленей, сорвавшихся с утеса и загрызанных волками.

Ночь проводим у костра.

Вандага и Ерофей по очереди сторожат коней. Кругом ходят медведи, рыси и росомахи. Хады поднимает хребтину, рычит, рвется в тайгу, чуя зверя. Кони храпят и жмутся к костру. Я несколько раз просыпаюсь от выстрелов. Это Ерофей палит в темноту из винчестера. Вандага ворчит:

— Твоя какой люди стреляй? Зачем патрона зря порти?

IV

Утро. Большое багровое солнце плывет над горами.

Мы укладываем выюки, трогаемся. Хинган остается в стороне. Опять начинаются дубри. Исчезли сосны, дубы и клены. Не слышно птиц. Только дятел постукивает на сушинах, да изредка крикнет, пролетая стороною, ворон. Во мху чернеют звериные тропы. Следы медведя и сохатого. Попадают за теси на елях и пихтах. Загнутые стрелами ветки указывают, куда прошел человек.

— Моя тут ходи, — напоминает Вандага. — Солонец прямой дорога.

— Ну, и места, — говорит Ерофей, привыкший охотиться близ поселков и рек, в обжитой тайге. — Как тебя черти по таким трущобам носят?

— Охотник везде можно ходи, — отвечает Вандага. — Где легко ходи, стреляй нету. Трудно ходи — богата будешь.

Шагаем гуськом, ведя на поводу лошадей. Ноги вязнут во мху среди корней и камней. Под мхами вода,

скользкий лед. Неподкованные лошади спотыкаются и падают, обрывая вьюки.

Кажется, не будет конца дороге!

Я поглядываю на часы. Как медленно движется стрелка!

Лес понемногу редееет. Солнце здесь нагрело землю. Лошади вязнут в топях. Порою приходится их развьючивать и нести груз на себе. У Ерофея скучное лицо. Он вздыхает и ворчит. Немыслимо так долго идти без привала. Что мы, к тебе в гости торопимся?

— Ходи, мало-мало ходи, — ласково просит Вандага. — Скоро видим Кульдурская покать. Там хорошо будет. Терпи маленько надо.

Часа через два взбираемся на вершину перевала.

Я оглядываю низину.

Море тайги.

Темные пади речушек и долины рек Ольдогдо, Соболиной, Кульдура. В тумане белеют зубчатые горы: водораздел Сутара и Хингана. Я спрашиваю, далеко ли еще до солонца. Оказывается, мы почти пришли. Спустимся в распадок, найдем безымянный ключик, и он доведет нас до Кульдура.

Кабанятина кончилась. Вандага советует запастись мясом. Там, где будем ловить изюбря, стрелять нельзя. Я киваю головою: хорошо, глядите в оба, стреляйте здесь, если попадется что-нибудь подходящее.

Ерофей стоит нахмуренный.

— Тут съедобным зверем и не пахнет, — замечает он, — кедровок, что ли, стрелять?

Вандага смотрит на него, как на капризного ребенка. Губы его презрительно сжаты.

Отдохнув на перевале, спускаемся по базальтовым карнизам в густой ельник. Падь расширяется. Сбоку ручейка чуть заметна звериная тропа. Идем по ней, переходя то на правый, то на левый берег. Круто сворачиваем в сторону, пересекаем топкое болото и выходим на широкий луг. Перед нами — кочковатая равнина, покрытая редкими соснами. Даем отдых коням. Помахивая хвостами, они жуют траву, доходящую им до брюха.

— Его зовут ага, — объясняет Ванда-

га, — его зима под снегом зеленый лежи. Его мороз не бери. Желтый никогда нету.

На сухих островках равнины пучки растения, похожего на камыш, с мягким и сочным стволом. Вандага срывает и подносит мне пахучие стебли:

— Трава берут. Его кабан ешь, изюбря ешь.

Хады вертится между кочек, прихватывает чей-то след, опустив морду к земле, бросается в траву.

— Надо погоди, — шепчет Вандага, — его найди какой-то люди.

Гуран — дикий козел, самец — поднимается с лежки, шагах в пятидесяти от нас, и бежит, прыгая через кочки. Вандага и Ерофей стреляют. Козел и собака скрываются из виду.

Ерофей бранит свой винчестер.

— Неужели моя попади мимо? — спрашивает Вандага. Глаза его широко раскрыты. Кажется, он не понимает того, что произошло.

— Стало быть, промазал, — смеется Ерофей. — А еще хвастался: я, да я, белку в голову бью. Хвали бога, что у винчестера тугой спуск. Я бы показал, как надо стрелять.

Подходим к следу козла. На стеблях травы красные капли.

— Э, — улыбается Вандага, — попади есть. Хады гурана лови, горло кусай. Надо поищи кругом.

Ерофей остается с лошадьми. Мы с Вандага идем по следу. Проходим километр, другой. Попадаем в заросли сухого прошлогоднего свинарника. Трава местами в метр вышиною. Следов много. За утро здесь прошли десятки гуранов. Вандага бормочет что-то себе под нос, качает головою.

Я догадываюсь: он потерял след стреляного козла. Рана, как видно, была незначительная. Крови на траве больше нет. Следы скрещиваются, петляют. Тут собака не разберется. Вандага, ничего не сказав мне, поджигает свинарник. Огонь ползет во все стороны. У меня рябит в глазах и сильно стучит сердце.

— Ты с ума спятил, — кричу я. — Изюбрей распугаешь пожаром, да и сами сгорим.

— Гори долго нету, — успокаивает

меня Вандага. — Дальше болото, сырой мох. Ветер тяни одна сторона. Бояться не надо. Моя тут всегда палы пускай. После огонь молодой трава хорошо расти, звирь спасибо говори охотника.

Пал бушует на огромной площади. Сизый дым поднимается в небо. Мы стоим на кочке. Где-то в дыму лает и взвизгивает Хады. Вандага, согнувшись, бежит на голос Хады. Я едва поспеваю за ним. Невдалеке от пала мы находим козла и собаку. Хады все-таки догнал, задавил гурана, разорвал ему брюхо и спокойно улетал его внутренности. Дым, видимо, испугал собаку. Рванувшись, Хады зацепился ошейником за рог козла и не мог сдвинуться с места. Вот и задаял он, почуяв опасность.

Мы потрошим, свежем добычу и возвращаемся к лошадям. Ерофей разводит руками:

— Нашли козла-то?

Глаза Вандага улыбаются.

— Моя никогда потерей нету.

Ерофей рубит мясо на мелкие куски, посыпает солью и укладывает в переметы.

Обходим болото, взбираемся на каменный увал и за ним попадаем в молодой веселый кедрач.

На полянах пестреют сибирская вероника с бледнофиолетовыми и синими, на подобие султанчиков, цветами, чемерица с остроконечными листьями, высокие папоротники, похожие на страховые перья, и везде опутывает деревья амурский виноград с шелушащейся коричневою корою.

Лес полон смолистых запахов. Под ногами сухая, твердая земля. К тропе, по которой мы едем, сбегаются все новые и новые тропы, вытопанные зверем.

Тайга меняет свой облик. Нет унылого однообразия хвои. По обеим сторонам тропы, словно выстроившись на параде и приветствуя путников, шумит под ветром амурская липа, манчжурский орех, ясень с трещинами вдоль коры и ланцетовидными остроконечными листьями.

У Ерофея оторвалось стремя. И, пока он перетягивает ремни, мы разнуздываем и кормим лошадей. Я стою про-

тив вяза с приземистым стволом и узловатыми сучьями. Невозможно оторвать глаза от его светлосиневатой коры, освещенной солнечными лучами и перевитой лианами. Достаяю из планшета бумагу, цветные карандаши и, усевшись на валежину, начинаю рисовать. Вандага склоняется надо мною, смотрит через плечо. Он глубоко дышит и причмокивает. На бумаге вырастают контуры дерева, солнечные пятна, зелень травы. Вандага качает головою. Затем решительно останавливает меня.

— Надо ходи дальше,—говорит он.— Солонца много разный люди. Твоя писать будет. Здесь не надо писать.

Я уже привык, что Вандага очеловечивает природу. Медведь, лось, муравей, бурндук, дерево, солнце, вода — все это на его языке люди. Я догадываюсь, почему он тянет меня вперед. Это он хочет показать более достойную кисти натуру. Быстро заканчиваю эскиз, и мы садимся в седла. Въезжаем в залитую солнцем, укрытую от ветров долину. И невиданные еще мною в этих краях деревья обступают нас: японская береза, даурская береза, бархатное дерево, каменная береза, аралия, зеленокорый клен, ильм с узкими, как у ивы, листьями, дикая черешня, сирень. На увале зеленеют лиственницы и ели. Вандага погоняет Гнедка рысью.

Выезжаем на большую поляну, покрытую желтыми цветами, и через несколько минут останавливаемся на гранитном берегу Кульдура. Журчанье и плеск воды.

Перед нами, в дымке испарений кипящих ключей, чистый песчаный остров. Вокруг шатрами стоят деревья, буйные заросли травы. Вандага вытягивает руку:

— Вот она, горячий солонец.

V

В километре от солонца, на сухой сопке, мы ставим палатку, купаемся в реке, стираем белье и запасаем дрова. Лошади, привязанные на длинных чумбурах, пасутся рядом.

— Отдыхай балаган, мясо кушай, чай кушай, — говорит Вандага. — Ночь звирь ловим.

На подступе к главному ручью солонча роем глубокую яму, ставим сеть, маскируем ловушку настилом из веток и травы. В кустах Вандага мастерит скрадки, где мы будем сидеть по ночам в ожидании зверя. Часам к двенадцати все готово. Я вижу, Вандага чем-то озабочен. Хмрору оглядывает песок.

— В чем дело, друг?

— Худой дела, — отвечает он. — Свежий след нету. Изюбря давно сюда не ходи. Моя понимай нету.

Вмешивается Ерофей. Последнее время здесь шли дожди. Следы на песке смыло водой. Беспокоиться нечего.

— Твой голова есть? — сердится Вандага. — Ходи ружьем тайга столько год и понимай не моги. Какой твоя охотник?

Он обходит ключи, пинает ногами ссохшиеся лепешки лосиного и оленьего помета.

— Это не види твоя? Это звирь клади давно. Где вчера его клади?

Ерофей, подавленный, трет переносицу.

Надо все-таки проверить. Может быть, не ходили много дней, а сегодня придут.

Ночью, оставив Ерофея у палатки с лошадьми, мы с Вандага отправляемся на солонец. Небо занесло тучами. Хады ложится возле Вандага на траву. Я высказываю опасение: собака увидит изюбря, залает и отгонит от ловушки.

— Его все понимай, — отвечает Вандага. — Его лает, когда надо. Когда надо молчи, его лаять нету.

Я сажусь на свое место. Что поделаешь? У Вандага свои странности и недостатки. Если ему трудно расстаться с собакою, его не переспоришь.

Темнота заливает сопки, ущелья и деревья. Чуть слышно бурлят ключи. Где-то далеко воеет волчица, и старый волк стывается ей протяжною щемящей нотой. Потом совсем рядом, в распадке, твякает лисовин. У него тонкий, с подвизгиванием голос. Он чем-то недоволен. Может быть, в его владения забежал чужой зверь, и он прогоняет его, наступая и взлаивая.

В полночь задувает ветер. Шумят деревья. Подозрительно хрустнет ветка на

земле. Потом как-то вдруг стихают порывы ветра, и тихо становится в лесу.

Я вслушиваюсь в тишину: шорох за спиною. Кажется, по траве идет босой человек, останавливается, вздыхает. Но я знаю, насколько обманчивы эти ночные звуки в тайге. Просто слишком обострены мои чувства...

Один раз Хады зарычал. Я слышу удар и злой шопот Вандага. Это он укрощает забывшегося пса. «Вот тебе и умная собака, — думаю я, — лает, когда хочу».

Идет рассвет. В редющей темноте видны струйки пара от солонцов. На берегу Кульдура обозначаются белые граниты. В клочьях тумана, как зеленые свечи — клены и дубы. Перекликаются кедровки, насвистывают поползни.

Вандага подходит ко мне с озабоченным лицом.

— Какой тут люди пугай ивюбря? — спрашивает он. — Надо ходи кругом, посмотри везде.

Мы идем по мокрой траве. Поляны дымятся. На ветках манчжурского ореха и на кленах висит роса. Блестящие мокрые листья качаются под ветром. Холодные капли падают с деревьев. Мы промокаем насквозь. В сотне метров от ключей находим растерзанного изюбря. Голова, ноги и костяк хребта — все начисто обглодано. Кругом вытоптана трава, обломаны кусты. Дерн вспахан копытами. Изюбрь долго не сдавался врагу. Тут шла борьба.

— Э, смотри сюда, — говорит Вандага, показывая на отпечатки огромных лап на глинистой почве берега, — амба ходи.

Он окидывает поляну взглядом, нагибается к траве:

— Амба дави изюбря, кушай, уходи спать. Тогда волки приходи кушай.

Мы делаем несколько кругов, снова натываемся на свежий труп изюбря.

На росистой траве Вандага замечает след тигра: зверь только-что прошел. Мы идем по наброду и приходим к солонцу. Тут лежка. У меня холодеет спина. Я вспоминаю шорох, слышанный ночью, рычание собаки... Может быть, Вандага потому и взял с собою Хады, что надеялся встретить амбу?..

Тигр подползал ко мне и долго лежал в десяти шагах от моего скрадка. Но почему зверь не прыгнул?

Теперь все понятно: здесь поселился хищник. Он отвадил от солонца изюбрей и лосей.

Мы идем к становью и совещаемся, как быть.

Небо заволочло тучами. Льет мелкий дождь. Палатка промокает. Вандага делает из корья и веток просторную юрту. Перебираемся в новое жилье. Пьем чай, спорим.

Вандага советует начать охоту на тигра.

— Надо убивай амба, комиссар. Тогда изюбри опять ходи на солонец.

Ерофей пал духом.

— Не фартит нам, братцы, — бормочет он. — Тигр не заяц. Пока его выследишь да возьмешь на мушку, неделя, а то и две пройдет. У нас еда кончается. Изюбри без того напуганы тигром. Начнем стрелять козлов или глухарей, совсем отшибем зверя в другие места.

— Что ты предлагаешь?

— Ехать домой.

Я начинаю стыдить его. Самое трудное позади. Неужели так вот и бросим начатое дело? С какими глазами явемся в колхоз?

— Ну и будем тут сидеть до морковкина заговенья, — отвечает Ерофей. — Время потеряем. Лбом стену не пробьешь. Кто станет ругаться, пускай сам едет.

Спор не утихает до вечера. Меня раздражает молодуха Ерофея. Я начальник бригады. Мною принят план Вандага. Извольте подчиняться, Ерофей Павлович.

— Хорошо, — отвечает Ерофей, — я молчу. Только ничего у нас не выйдет. Намаемся зря.

VI

Дни проходят и уходят. Погода как будто испортилась надолго. Каждую ночь льет дождь. В распадах шумят потоки. Кульдур вышел из берегов, заливает луговину. Вандага снял сеть из ловушки.

Днем дождь иногда утихает. Небо светлеет, как-то уютнее становится кругом. Я отправляюсь поразмять ноги. Иду вниз берегом, по звериным тропам. Над зеленою молодью, как утесы в море, стоят кедровые с темною после дождя хвоей. Рядом могучие тополи, высокоствольные пальмы, пробковое дерево, желтый клен, пихта, граб, тис. Я узнаю деревья, которые видел вчера, и камни, на которых отдыхал.

Сажусь возле воды, на поваленный ветром осокорь. Здесь почему-то мало птиц. Промелькнет азиатская трясогузка, покажется на секунду где-нибудь ремез-овсянка, застрекочет кедровка, и опять тихо в мокрым лесу. Мерно падают дождевые капли с деревьев. Трава, обильно политая дождем за эти дни, растет на глазах. Вчера еще на полянах я не видал ничего, кроме вейника и полыни с перистыми стеблями. Сегодня везде цветут рододендроны и сорбарии, сибирская вероника с продолговатыми ланцетовидными листьями распускает бутоны и покрывается бледнофиолетовыми и синими лепестками. Слева, на древней лиственнице, я замечаю пищуху. Эта маленькая веселая птичка, которую можно встретить в самых глухих урехах, быстро лазает по стволу, ощупывает тонким клювом кору. Забавно смотреть, как она порою спускается к земле хвостиком вниз, чуть касаясь лапками дерева. Рядом с пищухой суетится бойкий поползень. Его клюв похож на короткое долото, и он забавно ударяет им по древесине сбоку: то с одной стороны, то с другой, покачивая головою.

Одиноким зимородок рыбачит на отдели. Сверкнув изумрудно-синие спинкой, садится тут же у воды и глотает добычу.

Птицы не видят или не боятся меня. Между облаков сверкает солнце. Полоса какого-то необыкновенного света падает у моих ног на траву.

Кочки дымятся. Подают голоса кузнечики. Совсем тепло. Я расстегиваю ворот рубахи, снимаю кепку и втягиваю ноздрями чуть-чуть сладковатый запах кедров.

— Ничего, — говорю я себе. — Не-

множко терпения, молодой человек. Все пойдет хорошо. Изюбрь будет в сетке.

Чтобы скоротать время, я достаю тетрадь, кое-что записываю, рисую. Незаметно текут часы. С верховьев набегают серые облака. В тайге становится сумрачно. Стволы кедров темнеют. Разом смолкают шорохи, взмахи крыльев, щебет птиц и жужжанье насекомых. И опять шумит густой, нескончаемый ливень. Тяжелые раскаты грома. Польшают молнии.

Я бреду к становью.

Вода стекает с меня ручьями. В сапогах хлюпает. Но воздух теплый, распаренный, и этот душ отчасти приятен. Лошади встречают меня тихим ржаньем. Маштак подходит ко мне и мотает головою. Это значит: давай сухарей.

У входа в юрту стоит Хады и помахивает хвостом. Удивительная собака, этот Хады. Ежедневно я подбрасываю ему куски мяса, пытаюсь подружиться. Он лижет мои руки, ласкается ко мне, и только. Если Вандага остается в юрте, Хады ни за что не будет сопровождать меня по тайге. Однажды Вандага приказал ему пойти со мною. Пес как-то презрительно зевнул, почесал себе лапой бок и не послушался хозяина.

Вечером Вандага говорит:

— Дым от костра сверху иди: дождь скоро кончай.

Я засыпаю с надеждою на хорошую погоду.

Утром небо проясняется. Над тайгою, как триумфальная арка, оранжевая радуга. Мы с Вандага отправляемся к солонцу. Хады тоже идет с нами. Ерофей желает нам фарту и напоминает, чтобы мы не увлекались, берегли себя.

Клены встречают нас тихим шумом. Ветер едва шевелит деревья. Желтые блики играют на стволах. Солнце жжет, но трава еще не обсохла. На полянах за нами темный наброд.

Мы идем в молчании, не раскуривая трубок. Проходим ключи, углубляемся в молодь бузины и черемушника. Вдруг Хады поднимает шерсть на хребте и как-то робко оглядывается. Вандага оттягивает затвор берданки, посылает

Хады вперед. Собака идет по траве, еле переступая ногами, как легавая перед стойкой. Я взвожу курки, беру ружье наизготовку. За бузиною сдержанное рычание и треск валежника. Мы переглядываемся. Хады подбегает к ногам хозяина. На полянку мы выходим одновременно с Вандага. Перед нами лосиха, только-что задранная тигром.

— Амба пугайся, — говорит Вандага. — Теперь его далеко. Ночь опять сюда ходи. Тут надо прятаться, гляди, слушай, стреляй.

Постояв немного, мы возвращаемся к палатке.

Я думаю о встрече с тигром. Если мы не убьем его, все-таки он, напуганный выстрелами, может быть, уйдет в другие места.

Перед закатом Ерофей подает мне винчестер. Он считает, что нельзя с тулкою выходить на тигра. Вандага осматривает оба ружья и советует взять тулку.

— Его пуля большой. Всякий зверь можно вали.

В этот раз Хады остается на привязи в юрте. Мы с Вандага идем в засаду. По нашим расчетам зверь должен подойти из распадка, упирающегося в реку. Мы садимся в кусты, лицом к реке.

Над трупом лосихи вьется мошкара. Пахнет смолою, сыростью, распаренными мхами.

Ночь светлая. Ветер совсем затих, слышен малейший шорох. Бурлят ключи. Темный лес, и над ним синее небо в звездах.

Наутро опять, как вчера, в кустах легкое ворчанье и хруст травы. Зверь идет прямо к лосихе, раздвигая заросли. Сначала на поляне показывается его тень. Потом он вылезает, огромный, мохнатый, в лунном блеске, обходит поляну, громко зевает и нагибает голову к земле. Я приподнимаюсь, вскидываю ружье. Вандага стреляет одновременно со мною. Пороховой дым стоит перед глазами. Я ничего не вижу. В ушах, как гром, рев тигра. Значит, он еще жив. Неужели оба не попали? Но почему он медлит, не прыгает на нас? У меня еще не использован заряд левого ствола.

Но стрелять нельзя, и боязно шагнуть сквозь дым на поляну. Пока я соображаю, что делать, сбоку раздается второй выстрел, и рев смолкает. Выбегаю из скрадка на поляну. Тигр лежит на брюхе, задние ноги его судорожно дергаются.

Вандага стоит над зверем.

— Кончай амба, — говорит он. — Твоя хорошо стреляй, моя хорошо стреляй. Две пуля голова попади, его все кричи. Моя заходи той сторона, его лопатка пуля гони.

Как-то вдруг стало просторно и легко дышать. Хочется сделать что-то необыкновенное.

— Bravo, товарищ Вандага, — говорю я. — Теперь-то уж мы изюбря поймаем.

— Давай кури мало-мало, — смеется он. — Работа нету. Отдыхай можно, говори можно. Все можно.

Он садится на тигра, насыпает в трубку табак, высекает кремнем огонь. Крутящейся синей лентой вьется дымок, относимый в сторону ветром. Старик курит глубокими затяжками, глаза его прикрыты ресницами, лицо неподвижно, застыло, и только губы, сосущие мундштук, слегка шевелятся. В его трубке вспыхивают мелкие искры. Я смотрю на старика и думаю: «Что если зверь под ним встряхнется и начнет вставать? Испугается ли Вандага?» Мне он представляется человеком без нервов, у которого в любой обстановке ровно бьется сердце, никогда не дрожат руки. Сидеть возле только-что убитого зверя опасно. Я знаю случай. Зимой невдалеке от поселка убили матерого тигра. Приехали за ним на лошади, положили на сани, привязали веревкою и повезли. Старик-охотник, стоя в передке, правил лошадью; его сын, с двумя ружьями на ремне, шел сзади. По дороге тигр «ожил», рывкнул и начал рвать веревки. Лошадь понесла. Старик присел в передок и замер, боясь оглянуться. У него под рукою не было даже топора, чтобы ударить зверя. Так и влетел он с ревушим тигром в поселок. Зверя обили во дворе. Я шутя напоминаю об этом Вандага, чтобы проверить: не дрогнет ли его каменное лицо.

— Что ж, — говорит он спокойно, — его оживи, моя прыгай сторона и опять стреляй: берданка заряжен.

Я спрашиваю Вандага про самый страшный случай на охоте. Помолчав, он рассказывает. Самое страшное воспоминание осталось у него от встречи с росомахами. Лет двадцать пять назад он построил в тайге фанзу. Хранил в ней шкурки, убитую дичь, охотничьи припасы, ночевал в холодное время. Замка не было. Уходя на промысел, он подпирал дверь колышком. Бывало, заходил без него какой-нибудь охотник, отогревался в фанзе, пил чай, снаряжал патроны и шел дальше своей дорогой. Однажды, по чернотропу, случилось Вандага запоздать в лесу. Собака погнала соболя, и он не стал дожидаться ее, один в темноте пошел к ночлегу. Колышек лежал на земле. Дверь была настежь раскрыта. Он, крайне удивленный, остановился у порога и спросил:

— Тут какой люди есть?

Никто не ответил. Его ухо поймало легкий шорох, скрипнула доска. Значит, кто-то был в фанзе. Тогда он зажег бересту и с огнем в руке шагнул через порог. Возле печки, оскалив морды, стояли две росомахи.

— Моя тогда шибко пугайся, — вспоминает Вандага. — Моя думай: приходи злой духи, ломай фанза, дерй шкурка.

Одна росомаха прыгнула на него. Он увернулся, выскочил наружу, припер дверь колом. Он весь дрожал, не мог заменить дробовой патрон в берданке пульей. Тут к нему прибежала собака, и стало веселее. До рассвета сидели они с собакой у костра. Ночью росомахи пытались разломать потолок и уйти. Он страшно обрadowался. Это были обыкновенные звери. Дух не станет ломать фанзу, чтобы освободиться из осады. Он может просто исчезнуть, пролезть в маленькую щель, обернуться птичкою или жуком. Выстрелами по крыше Вандага стпугивал зверей, кричал во весь голос. Утром выдавил в оконце оленью брюшину, заменяющую стекло, просунул в отверстие берданку и застрелил росомах.

В другой раз его смертельно напугала встреча с огненным шаром. Ночью по таежной тропе он шел к морю. Ночь была светлая, и его несказанно удивило, что кто-то идет ему навстречу с фонарем. Круглый матовый шар, приближаясь, качался над кустами. Он то опускался к самой траве, то поднимался выше человеческого роста. Казалось, его несет человек на палке. Сначала он подумал: это матросы с какого-нибудь судна, стоящего в бухте; они вышли в тайгу, заплутали и, боясь встречи со зверем, зажгли фонарь. Он прислушался. Голосов не слышать. В лесу была тишина. Даже валежник не хрустел под ногами идущих с фонарем людей. Вандага стоял, боясьдохнуть. Фонарь приблизился к нему. Теперь он ясно видел, что огненный шар плывет по воздуху сам по себе. Трава и заросли, мимо которых он проплывал, тускло освещались его загадочно-бледным светом и словно тянулись к нему, приходили в беспокойство. От шара тянулся хвостик, который время от времени давал трескучие вспышки. На глазах Вандага внешняя оболочка шара лопалась, и тогда внутри его пылал яркий бело-синий свет. Потом оболочка снова замыкалась, и шар плыл, обходя деревья. Дрожащими руками Вандага вскинул ружье и выстрелил в шар. Все кругом вспыхнуло, грянул гром. Вандага был поднят страшным ударом с земли и отброшен в распадок. Там он пролежал до утра, не смея подняться и раскрыть глаза.

Сильно болели голова и грудь. Днем, осмелев, он стал разыскивать брошенное в траву ружье. Ствол берданки был разорван. Ложе, сделанное из прочного корневища ореха, оказалось в трещинах. Он решил: это место занято духами и появляться тут человеку нельзя.

Я объясняю ему, что он видел шаровидную молнию, которая может плыть по воздуху при абсолютно чистом небе и в тихую погоду. Он слушает меня с изумлением.

— Ты говоришь, духа нет? — спрашивает он. — А кто ломай берданка? Кто в грудь толкай?

Приходится объяснять свойства электричества, действие атмосферных разрядов. Кажется, Вандага ничего не понял, но ему надоело слушать трудные для него слова, и он кивает головою:

— Ладно. Теперь моя знай. Бояться не буду.

Вандага снимает с тигра шкуру и мурлычет песню. Слова непонятны мне, но я знаю, о чем он поет. Еще один амба, враг оленей и человека, убит. Вандага привезет в поселок полосатый мех и белые усы тигра. Все будут радоваться, хвалить охотника. Я сижу на кочке и тоже радуюсь. Мне кажется: листва и травы пахнут сегодня по-особенному хорошо.

Розовеют восточные склоны гор, обращенные к солнцу, но в распадках еще лежат сумеречные лиловые тени. Солнце ползет по горам. Лучи скользят по вершинам деревьев и падают в реку. Водяные брызги на перекатах вспыхивают, как искры, и голубой пар стелется над равниной. Становится тепло.

Мы несем на палке шкуру тигра к станью.

VII

Две недели отдыхаем в юрте. Изюбри не ходят на солонец. Дни стали теплее. Трава на полянах вытянулась в метр. В сырых местах заходишь в пырей, как в рожь. Мясо у нас кончилось. Вандага ловит силками рябчиков. Ерофей ставит на перекатах и в заводях верши, каждое утро приносит рыбу. Я ничего не говорю моим спутникам, но часто ловлю себя на мысли:

«А что если изюбри надолго ушли за перевал?»

Хады, несмотря на запрещение, убегает в тайгу и охотится без нас. Гоняет козлов, подлаивает белок и горностаев. Пришлось привязать его на поводок. Он сидит возле юрты, скучающий и недовольный. В его глазах я вижу немой упрек.

— Что же вы, охотники? — говорит он нам, — сами не стреляете и меня приарканили...

Однажды Вандага возвращается с разведки заметно взволнованный. У ме-

ня падает сердце. Может быть, опять появился тигр?

— Изюбря ходи на солонца, — говорит Вандага. — Один ланка, старый изюбря и молодой. Наша дела шибко хорошо теперь.

Мы с Ерофеем накидываемся на Вандага и качаем его на руках.

— Не надо, комиссара, не надо, — отбивается старик. — Моя худо будет. Голова совсем думай не моги.

Мы все-таки делаем ему основательную встряску. Потом Ерофей готовит нам пышный обед.

Наевшись, я засыпаю и впервые за все ночи, проведенные здесь, вижу увлекательные сны. Будущее не пугает меня.

VIII

Мы выжидаем еще три дня. Пусть изюбри привыкнут и осwoятся. На четвертый день Вандага говорит:

— Моя так понимай: сегодня можно.

Мы проверяем ловушку, подтягиваем на колях сеть, садимся в скрадки. К ночи небо заносит тучами, Мрак окутывает лес. Проходит час, другой. Тишина. Невдалеке от меня чавканье и шорох. Звери пришли. Едят водяной лютик, облизывают гальки, грызут соленую землю. Но какие звери? Ничего нельзя разглядеть. Может быть, лоси? А вдруг изюбри? Я сию, боясь дохнуть. Вандага лучше меня видит в темноте. Он должен подать сигнал к началу. И если старик молчит, что же мне делать?

Тут случилось что-то непонятное: звери, испугавшись, со всех ног бросаются к распадку, и один из них попадает в сеть. Я слышу в яме возню, сопенье, удары копыт по земле. Вандага зажигает приготовленный с вечера факел из бересты, и мы подходим к ловушке. В ячехах сети ланка. Ей не больше трех лет. В отблесках огня сверкают огромные черные глаза.

— А-я! А-я! — сердито вскрикивает Вандага. — Ну, слепой твоя люди. Зачем ходи ловушка? Твоя нам вовсе не надо.

Он достает нож, чтобы коротким ударом перехватить горло оленухе.

Мне становится жаль эту ланку. Я отвожу руку Вандага.

— Выпустим утром на волю.

Старик не согласен.

— Его сеть порви может. Ей убей надо.

— Давай сейчас, — приказываю я, — отпуская сию минуту.

Вандага соглашается и кладет факел в развилки куста. Я держу ланку за задние ноги. Он снимает петли с ее головы и передних ног. Освобожденная оленуха убегает, как вихрь, ломая кусты на своем пути.

— Твоя худо делай, — говорит мне с укоризною Вандага. — Его теперь ходи тайга, всем люди говори: солонец ловушка есть. Как твоя понимай нету?

Меня душит смех. Но я боюсь обидеть старика и сдержанно улыбаюсь.

— Звери не умеют разговаривать друг с другом, — говорю я. — Ты ошибаешься, приятель. Это уж я, наверно, знаю.

— Как не моги? — удивляется он. — Его все понимай.

Так мне и не удастся доказать ему, что он не прав. По дороге к становой он горячо убеждает меня, что насекомые, птицы и звери имеют свой язык, предупреждают один другого об опасности.

— Ворона сиди на дереве. Иди охотник ружьем. Ворона кричи: енот беги, гуран беги, изюбря беги. Его много разный люди тайга понимай, и все прятаясь. Когда его понимай нету, все пропади.

Но Вандага ошибся на этот раз. Его предсказание не сбылось.

Ночь выдалась подходящая для ловли. Луна заливает светом солонцы. Видна даже галька. Изюбри приходят под утро. Рослый самец остановился против ловушки. Вандага кричит:

— Ух, ух!

Зверь делает прыжок, падает в яму.

Мы подходим к нему с веревками, связываем ноги и вытаскиваем его наверх. Это прекрасный производитель. Сытый, могучий, с широкою грудью и десятью отростками на рогах. У него уже летняя краснубурая шерсть с

аспидно-серым подшерстком. Он бьется в путах, вздрагивает всем телом.

— Твоя лежи смирно, — говорит Вандага. — Твоя худо нету. Твоя скоро много жен будет.

Повеселевшие, мы валим на берегу сушняк, сколачиваем плот. Вещи уложены. На волокуше подвозим к плоту изюбря и благополучно погружаем его на корму. Поверх бревен Ерофей настелил тальника и травы. Пленнику мягко и удобно лежать.

Хады забрался на плот, рычит на изюбря. Вандага грозит собаке пальцем, и она свертывается клубком, не спуская глаз с морды зверя. Все готово. Можно отчаливать.

Лошади подходят к плоту и останавливаются, помахивая хвостами. За эти недели они отдохнули, поправились на заповедных лугах. Вид у всех бодрый. Теперь их надо застрелить.

— Кончай, — говорю я Ерофею.

Он снимает винчестер. Целится в Скорохода. Я зажмуриваюсь. Но выстрела долго нет. Ерофей подозрительно кашляет. Я открываю глаза. Ерофей стоит с опущенным ружьем. У него вздрагивают руки. Он поворачивается ко мне. Лицо у него смятое и чужое. На щеках испарина.

— Понимаешь, Николай Васильевич, не могу... Стреляй сам. Ты начальник. Рука у тебя твердая.

И он смотрит просящими, испуганными глазами, как солдат, не способный выполнить боевое задание.

Я киваю Вандага. Может быть, он сделает это?

— Его не надо стреляй, — тихо говорит Вандага. — Мы делай большой плот, все люди клади, вези колхоза. Вот как нада.

Скороход шагает к воде, протягивает к нам морду и протяжно ржет. Гнедко и Маштак отвечают ему.

— Будь они прокляты, — вздыхает Ерофей, улыбается. — Ну, хлопот с ними. В дороге их поить, кормить надо. Измучимся. И убивать скотину жалко.

— Худо плыть только четыре солнца, — успокаивает Вандага. — Потом река тихо иди. Хорошо едем.

И опять виэжит пила, стучат топоры. Мы сбиваем узкий и длинный плот, таскаем на него ветки, мох, лозняк, траву. Переносим изюбря, валим и привязываем лошадей.

Вандага ставит паруса из палатки. Ерофей по случаю отъезда переоделся. На нем сияет голубая рубаха.

В полдень снимаемся с прикола. Изюбрь смотрит на нас печальными глазами. Ерофей запекает:

На серебряной реке,
На желтом песочке,
Долго девы молодой
Я искал следочки...

Дует попутный ветер. Плот легко идет по течению. Мелькают базальтовые берега. Над рекою крикливые чайки. Стаи уток, вспугнутых нами, поднимаются с заводей и улетают, свистя крылом. Иногда ущелья сжимают русло реки. Течение стремительно. Вода с шумом бьет по камням. Мы свертываем паруса, работаем веслами и шестами, чтобы не разбиться об утесы. Спокойные горы стоят по берегам. Зверинные тропы, как ленты, опоясывают зеленые склоны сопок.

Потом вдруг исчезают горы. Река выбегает на поемные луга, с одинокими деревьями и высокими кустами по берегам, разбивается на протоки. У самой воды растет амурская липа с корявым стволом и узловатыми ветвями, пробковое дерево с серой морщинистой корою, бархатистой на ощупь. У него яркожелтая заболонь и узкие листья, как у ивы. Рядом с пробкою и липою, на солнцепеках, развесистые кусты калины с крупными черешковыми листьями и цветами: чашеобразные плодоносящие в середине и снежнобелые пустышки по краям.

Амурская сирень достигает в этих местах исполинских размеров. Каждый побег куста можно назвать деревом. Кое-где ветки сирени склоняются над водой. Мы задеваем их головами. Я срываю гроздь, устилаю ими бревна плота. Воздух свеж, крепок и пахуч. Ветер часто меняется, то забегает сбоку, то дует навстречу, но Вандага так

ловко поворачивает парус, что ветер всегда помогает нам плыть.

Мое ухо ловит какой-то неясный шум впереди.

Вандага вытягивает шею, прислушивается.

— Сулоя. Надо маленько бояться, комиссар.

Ерофей снимает паруса. Движение плота замедляется. Мы въезжаем в сулой. Здесь сталкиваются две реки, образуя новую. Вода не вмещается в русло. Она вздымается кверху большим пузырем, пенится и кипит в этой котловине, разбрасывая белую пену. На гребне водяного бугра образуется воронка. Она возникает сразу, как чаша, в сажень диаметром, быстро увеличивается в размерах, издает всасывающий звук и неожиданно исчезает.

Плот мотается во все стороны. Он то становится ребром, то вдруг ныряет с водяного бугра в ямы. Скрепы трещат, шевелятся бревна. Струйки воды захлестывают нас. Лошади бьются, стараясь порвать путы, протяжно ревет изюбрь, скулит Хады, привязанный на поводок. Через несколько минут плот, вздрагивая и скрипя, выбивается из водоворота на широкое разводе. Вандага вытирает лицо рукавом.

Я спрашиваю, много ли еще сулов на пути.

— Сулоя будет, порога будет, — говорит он. — Ничего, комиссар. Бойся не надо. Моя плот вязал хорошо.

И он молча сосет трубку. О чем он думает? Может быть, вспоминает свое детство, стремительное, как вот эта река, и полное приключений. Иногда он думает вслух, но говорит на языке удэха, и я ничего не понимаю. Я поворачиваюсь к нему спиной, смотрю по сторонам. Если с плота пристально глядеть на землю, кажется, стоишь на месте, а берега плывут. Набегают круглые сопки с тенями облаков на скатах, долины лежат в синих и желто-вишневых цветах. С гор по камням несутся ручьи. Сверкает и пенится вода. В высоком просторном небе раскаленное докрасна солнце.

В сумраке причаливаем к берегу.

Поднимаем лошадей, стреноживаем и пускаем пастись на луг.

Вандага и Ерофей суетятся возле изюбря. Вливают ему в горло из берестяного туса воду. Потом дают травы и круто посоленных сухарей. Зверь выталкивает языком пищу на плот. Воды он выпил, а есть отказывается. Строптивость зверя беспокоит меня. Что если за десять дней пути он совсем отощает и подохнет? Вандага отрицательно мотает головою.

— Умирай нет. Его два солнца кушай не моги, три не моги. Четвертый солнце начинай. Его не дурак, его понимай — мы люди хороша: стриляй нету, ножом коли нету. Можно кушай.

У костра мы беседуем об охоте, о скорой встрече с друзьями. Прохладная тишина окружает нас. Мерцают, передвигаясь по небу, звезды. На кусты ложится сизая мгла. Возле костра ночь кажется темной и непроглядной, а склоны гор белеют в лунном свете, как днем, на них — скользкие тени облаков.

В зарослях протяжные звуки, напоминающие крик коростеля. Хады отправляется туда. Крики смолкли. Мы слышим только лай и рычанье собаки. Я ничего не понимаю.

— Мики, — говорит Вандага, — Хады кусай Мики.

Я заряжаю ружье, бегу к собаке. Вандага идет за мною с топором. На поляне, извиваясь, шипит большой полоз, и вокруг него прыгает Хады. Я поднимаю ружье. Вандага отстраняет меня и бьет змею топором по голове. Мы несем полоза к биваку. Ерофей, увидев нашу добычу, делает презрительную гримасу и ворчит. Взрослые люди затеяли глупую возню с гадом. Оказывается, он видеть не может змей.

— Пустое животное, — говорит он. — Ни кожи, ни мяса. Поглядишь на него, в душе сумно станет. Воистину — стерва пресмыкающая.

Вандага подбрасывает сушняк в костер. Смолистые ветки, потрескивая, вспыхивают белым огнем. На поляне становится светло. Я вспарываю ножом брюхо полоза. В желудке — бурундук

и голубоватый, с тупым носиком, по-ползень. Оба, видимо, только-что проглочены.

— Птицу съела? — восклицает Ерофей. — Ну, божья тварь. Да как он ловит поползней? Дохлого, небось, подобрала.

— Мики дохлый кушать не могли, — говорит Вандага, — его ходи трава тихо-тихо. Рядом твоя иди, его слыши нету. Бурундука, мыша, сойка, поползень и другой люди мало-мало спи. Мики ходи да глотай. Мики день лежи на солнце, как дерево. Поползень думай — тут живой люди нету. Рядом играй, садися мики на голова. Мики открывай рот, хватай.

— Ты это сам видал или от дяди слышал? — спрашивает Ерофей.

Вандага, обиженный насмешливым тоном вопроса, не отвечает. Простодушный, как ребенок, честный во всем, наверное, за всю свою жизнь не сказавший слова неправды, он всегда сердится, если мы не доверяем ему в чем-нибудь. Надо сгладить бестактность Ерофея. Я решительно поддерживаю Вандага. Пристыженный Ерофей делает под дымом костра шалаш из лозняка, ложится и через минуту всхрапывает. Вандага отправляется к протоке ловить рыбу, Хады плетется за ним, как тень.

Костер догорает. Дров заготовлено много, но нет нужды подкидывать их на угли. Небо посветлело. Близится утро. Скоро над горами покажется солнце, и все живое в тайге будет приветствовать его радостными голосами: застучат на деревьях дятлы, утки начнут свои полеты над рекою, цветы, как бы вздохнув от сна, раскроют чашечки и вытянут смятые росую лепестки.

Я смотрю на заречный хребет, выступающий в тумане, прислушиваюсь к всплескам рыбы на отмелях и думаю: как разумно и великолепно все на цветущей, каждый год обновляющейся земле. И приходят глупые мысли о том, что хорошо бы вот не стареть и не умирать, бродить с ружьем по тайге, плавать по бурным рекам сотни лет и ночами отдыхать у костра на влажной от росы траве. Жизнь я понимаю как движение.

Лошади наелись. подходят ко мне и стоя дремлют. Возвращается Вандага с полным пестерем рыбы. Разводит огонь, готовит завтрак. Я хочу ему сказать, какой он славный человек и товарищ, что мы будем теперь дружить, вместе охотиться, но сон валит меня на траву, и я засыпаю, как с крутизны в распадок проваливаюсь.

IX

Изюбрь начал есть пырей и проглотил с водой из ведра несколько сухарей.

Как мы обрадовались.

Вандага смотрит на меня радостными блестящими глазами, то-и-дело чмокает языком и повторяет свое излюбленное: «Шибко хорошо». Ерофей до того расчувствовался, что приплясывает на плоту и напевает двусмысленные частушки.

Ширится река. Плесы и перекаты спокойнее. В заводях мы вспугиваем серебристых крохалей, чирков и крикуш. С галечника поднимаются мартины и буревестники. Высоко в небе парят орлы. Когда утки пролетают над плотом, я стреляю. Иногда мне удается сбить одну, двух. Хады бросается за ними в воду. Мы упираемся шестью, придерживая плот. Собака поднимается на борт, подает птиц хозяину. Она видала, что стрелял не Вандага, и все-таки отказывается подать мне добычу.

— Глупая собака, — говорю я и глажу по мокрой спине. — Ведь все равно птицы пойдут в общий котел...

Целые сутки мы сидим на биваке. Ерофей стрелял молодого лося и ранил его. Хады погнался за подранком и пропал в тайге. Вандага несколько раз стрелял в воздух. Собака не возвращается к берегу. Вчера на увалах изредка слышался лай. Сегодня — тишина в лесу. Может быть, Хады попал в зубы тигру? Ерофей предлагает отчаливать. Собака будет гонять зверя неделю. Неужели ждать ее, когда на плоту драгоценная добыча?

Я обращаюсь к Вандага. Собака его. Пусть сам он решает, как быть.

— Моя не могу ехать, — твердо говорит он. — Хады пропади, охота хо-

ди нельзя. Охота ходи нету, чего-чего купи не могу.

— Колхоз даст тебе другую собаку, — говорит Ерофей, — у нас лаек до чорта.

Вандага презрительно сплевывает.

— Хады один дороже ваших десять собак. Как твоя, охотник, понимай нету? Собака разный бывает.

— Скажи, пожалуйста, присохлали друг к другу, — возмущается Ерофей, — водой не разольешь. Кабы в гости ехали, можно и подождать. А изюбрь подохнет, тогда что?

Я молчу. Вандага опускает глаза. Ему жаль собаку, но, понимая серьезность положения, он колеблется.

— Едем, — говорю я.

Вандага покорно укладывает лошадей на плот, ставит парус, закуривает трубку и садится у рулевого весла.

Меня поражает выдержка этого человека. Случись такое с Ерофеем, сколько бы пришлось уговаривать его!

Плот медленно плывет по тихому плесу. Я смотрю на согнутую спину Вандага, и мне жаль старика. Но что же делать? Риск слишком велик. Изюбрь дороже собаки...

Вдруг на берегу — неистовый лай. Мы все одновременно поворачиваем головы. Хады скачет в траве, догоняя плот.

Причаливаем к берегу, сажаем собаку. Хады возбужденно повизгивает.

Бока его вздулись. Он, видимо, загнал лосенка и основательно позавтракал.

— Ах, стервец, — ругается Ерофей. — Ах, стервец. Мы его ждем, не дождемся, а он мамону свою набивает.

Собака виновато ласкается к хозяину. В темных глазах старика радость. Но все-таки надо отчитать пса:

— Твоя худой люди, — говорит он, грозя пальцем. — Изюбря колхоз торопится, лошади торопится, комиссар домой торопится. Твоя понимай нету.

Хады чуть-чуть шевелит свернутым в крендель хвостом. Вандага срезает прут таволожника и два раза ударяет прутом по спине Хады. Собака ложится и визгивает.

— Палкой его поучи, — советует

Ерофей. — За такую безобразию ребра поломать следует.

Вандага бросает прут в траву, гладит собаку по спине и говорит ей что-то на своем языке.

Мы садимся, и опять плот несет нас по сверкающей под солнцем воде. Кирпично-красные бабочки с темными пятнышками на крыльях и синие махаоны кружатся над нами, садятся на бортовые бревна. Я накрываю их кепкою и, подержав немного в плену, выпускаю на волю. Они легко поднимаются в воздух и, трепеща крылышками, улетают к берегу.

На тихом плесе откуда-то сбоку, изпод кустов, выплывает оморочка — маленькая лодка, выдолбленная из тополя. В ней стоит пожилой удэхэец с двулопастным веслом в руках. На корме — длинная острога. Вандага окликает его. Они приветствуют друг друга:

— Сородэ.

— Сородэ.

Удэхэец приближается к нам и плывет рядом. Оказывается, это старый приятель Вандага, охотник и рыболов Маха.

Поговорив немного с Вандага, Маха резким движением весла направляет оморочку к перекату, шумящему впереди. Лодочка прыгает на волнах. Маха кладет весло, поднимает острогу, мечет ее в воду и тотчас поднимает серебристую рыбину. Еще удар, и вторая рыбина бьется на дне лодки, потом третья...

Удэхэец упирается острогою в дно реки, задерживает лодку и, когда мы проезжаем мимо, кидает рыбу на плот...

— Моя вам гостиница. Кушай, пожалуйста...

Вандага что-то кричит ему в ответ.

Мы с Ерофеем машем руками. Плот быстро несется по течению. Удэхэец стоит в оморочке и провожает нас взглядом.

— Ну, слава богу, — говорит Ерофей. — Населенные места пошли. Скоро будем дома.

Х

Перекаты, забитые плавником, где образуются водопады, кончились.

Едем без передышки всю ночь. Изюбрь и лошади лежа принимают корм из рук Ерофея. Ветра нет. Парус висит на мачте. Плот движется замедленным ходом. Шесты уже не достают дна. Вандага и Ерофей подгребают веслами.

В полночь из воды поднимаются эфемериды, именуемые в наших краях поденками. Их личинки живут до поры до времени в воде. Сегодня эти маленькие водяные хищники достигли зрелости. Они превращаются в крылатые создания бледно-голубого цвета с прозрачными крылышками и тремя хвостовыми щетинками и, шурша над водой, как снег, летят во все стороны. Их век — одни сутки. Они взлетают, чтобы произвести новое поколение и умереть.

Поденок неисчислимо множество. Миллионы их кружатся над рекою, то взвиваясь вверх, то опускаясь к самой воде, садятся на плот. Даже рога изюбря облеплены ими, как лепестками нежнейших цветов. Мы сидим неподвижно, захваченные необычностью происходящего на реке. Вандага перестает грести.

— Вот сколько новых люди появилось, — шепчет он растерянно. — Его долго живи нету. Завтра все кончай.

Мы плывем в снегопаде эфемерид час или два. Потом они исчезают, как видение, но долго еще чудится тихий шелест их крыльев.

Причаливаем к родному берегу. Ерофей на правом борту расстилает шкуру тигра, чтобы все видели наш трофей. Меня раздражает его хвастливость. Я прошу накрыть шкуру брезентом.

— Ничего, — лениво отвечает он. — Пусть поглядят. Стыдиться нам нечего: не краденая.

Неисправимый человек. Так и не удастся мне урезонить его. Плот уже заметили в поселке. Первыми с криком бегут навстречу дети.

— Изюбря привезли. Изюбря привезли, — оповещают они всех. — Тигра убили.

Сбегаются колхозники. Дмитрий Иванович подъезжает на длинном ролупске.

— Батюшки, — вскрикивает он. — И одры живы-здоровы. Поправились черти, хоть на ярмарку веди. А мы-то беспокоились: долго вас нет. Не случилось ли, думаем, чего?

Десятки рук тянутся к изюбрю, отзывают веревки. Зверя укладываем на роспуск, везем к ферме. Сторож Нил Демьяныч открывает ворота, и мы осторожно вносим дикаря на носилках в денник. Ланки, испуганные шумом, прядают ушами, жмутся к ограде. Люди выходят из денника и подглядывают с той стороны в щели.

Один только Дмитрий Иванович стоит в воротах, положив руку на щеколду двери. Улыбка не сходит с его лица. Я распутываю ремни на ногах изюбря. Он поднимается и стоит несколько секунд, весь дрожа и поводя боками. Ланки смотрят на него. Он, пошатываясь, идет к корыту с водой, начинает пить. Пьет жадно и долго.

За оградой кто-то вздыхает, и я слышу веселый шопот:

— Теперь дело пойдет. Бычок — что надо. Таких сам Павел Михайлович Жбанов не привозил.

Я поворачиваюсь, шагаю через порог и попадаю в медвежьи объятия Дмитрия Ивановича.

— Спасибо тебе, — говорит он, целуя меня в щеку. — Вот уж спасибо.

— Благодарю его, — киваю я на Вандага. — Кабы не он, приехали бы порожняком.

Председатель обнимает Вандага.

— От всех колхозников тебе низкий поклон, — с чувством говорит он. — Во век твоей услуги не забудем, дорогой друг.

Не дав нам отдохнуть, нас зовут на колхозный ужин. Ерофей уже успел побриться, надел новую кумачевую рубашку и рассказывает колхозникам о нашем походе. Его слушают, вытянув шеи. Как заправский охотник, он чуть-чуть фантазирует, расписывая таежные приключения, и, в особенности, встречу с тигром, в которой ему совсем не довелось участвовать, но помалкивает, хитрец, о том, как он убил соболя и как ему от Вандага за это попало.

Вандага сидит рядом со мною. На вопросы колхозников отвечает с достоинством человека, выполнившего свой долг.

На столе появляются рыбные пироги, пельмени, жареная свинина, румяные шаньги. Дмитрий Иванович сам откупоривает бутылки, наливает вино в стаканы. В избе шумно. Девушки подносят нам цветы. Никодим Булыга, редактор стенной газеты, подсаживается ко мне с блок-нотом в руках и требует интервью для специального выпуска. Я кратко излагаю маршрут поездки. Никодим записывает. Хады лежит под столом у ног хозяина и уписывает огромную шаньгу. Дмитрий Иванович просит тишины. Все смолкают. Председатель поднимает стакан с вишневой настойкой.

— Выпьем за смелых людей, товарищи, — говорит он. — Выпьем за героев, которые, что бы им ни поручили,

отвечают одним только словом — сделаем.

Тост принимается... Потом пьют за меня, Вандага и Ерофея — за каждого отдельно. Под конец выпили даже за Хады, охранявшего нас в пути. Выпили за процветание фермы, за здоровый приплод изюбрей. Мне хочется поднять стакан за ночную тишину в тайге, за легнее солнце, за звезды, за дым охотничьего костра и за многое другое, что познается только в походе, в движении по неисследованным местам. Но я боюсь показаться смешным, и не произношу слов, которые просятся с языка.

От вина у Вандага покраснели щеки, блестят глаза. В самый разгар ужина он склоняется к моему уху и шепчет:

— Моя тебя полюби, Николаи Васильевич... Нам с тобой осенью надо сопка ходи, амба стриляй.

Я молча пожимаю ему руку.

НОВЫЕ ВОДЫ

Сергей ЮРИН

★

В Москве идет холодный октябрьский дождь, и как-то странно вспоминать иное, яркое небо. Было оно — три дня назад.

Иссохшие кукуруза и сорго убежали по сторонам дороги; станицы, заглядывая в ветровое стекло машины, улыбались приветливо и гордо, словно кубанские казачки; уткнув головы в пыль, тесно сгрудившись, пережидала зной баранта. Коричневая бабка под навесом взвешивала помидоры, две девушки бродили по бахче; дети, как зайчата, проскакали через поле арахиса, — видно, хотели полакомиться, да испугались, и бабка погрозила им темным кулаком.

И степь, и большая Васюринская станица — как вымерли. Но разве заметишь в даях, за подсолнечными и клещевинными зарослями, хобот комбайна, ссыпającego в грузовик жирное, бокастое зерно? За блеском школьных окон — разве увидишь ребят, склоненных над партами?

Нас принял медлительный паром; правобережные крутые обрывы стерегли Кубань, а она текла, успокоенная в это время года, купая вербы в темноватой воде; машина вынеслась на противоположный берег.

— Вот они, бывшие плавни! — сказал мой спутник.

Внизу шурами высохшие тростники, лоснилась под ветром трава; на горизонте, легкие, синели холмы и горы Адыгеи.

Давным-давно жил будто бы в Адыгее жестокий князь. Не окинуть взором его земель, не сосчитать его стад, не расценить ясака. И пировал князь, со своими узденями, «сильными родом», а унауты терпели лобой и голод, ибо унаут — значит раб, «стоящий у сакли», не более того.

Стенания и слезы унаутов поднимались к небу, как пар, и сгустились, наконец, в темные грозовые тучи... Хлынула с неба вода, гневно разлилась Кубань и затопила владения князя.

— Тщик! Тщик! Бедствие! — дико, как сова в ночном лесу, закричал князь и сгинул в пучине.

С тех пор стало то место залятым. Никто там не селился. Никнут над застойной водой перепутанные камыши, тянутся кривые сучья древних дубов, и слышен звон неисчислимых комаров — это Тщикские плавни. Длинной полосой раскинулись они меж устьев двух горных рек, впадающих в Кубань, — Лабы и Белой.

Прошло много лет. Царь подарил плавни своим узденям — помещикам. Из гнилого места сумели они добыть чистое золото. Яхья знал это очень хорошо.

Каждый год во время уразы один мудрый эфенди совершал путешествие в Краснодар, дабы продать на базаре каштаны, собранные для него черкесами в лесах под Туапсе. Черкесы надеялись, что благодаря этой жертве в час смертного суда архангел Джабраил невредимо проведет их по проволоке через го-

рящий ад, и они попадут прямо в рай. Так учил их эфенди.

Яхья, сидевший на козлах у мудрейшего, однажды спросил:

— Эфенди! Почему во время уразы ты кушаешь всю дорогу, а мне не разрешаешь?

Эфенди спросил в свою очередь:

— Ты знаешь, где живет бог?

— На небе, — с живостью ответил Яхья.

— Кто же, глупый, по-твоему, ближе к небу: эфенди или простой человек? Ты — всего лишь «стоящий у сакли», не более того. Поэтому тебе нельзя. Я — эфенди, ближе к богу, поэтому мне можно.

И в другой раз спросил Яхья:

— Эфенди! Чем отличается царь от бога?

В это время тарантас, на котором они ехали, сильно встряхнуло на размытом валу у берега Кубани.

— Почти ничем, — ответил эфенди.

— Тогда может ли царь быть таким глупым, — сказал Яхья, — чтобы платить помещикам каждый год за ремонт этих валов, которые они нарочно делают никуда негодными? Посевы бедняков гибнут, и не потому ли я батрачу у тебя за полтора пуда проса в год?

— Правь лучше, глупец, и не задавай мне таких вопросов! — вскричал рассерженный эфенди.

К счастью, он не видел лица Яхьи, плечи которого беззвучно содрогались под рваным бешметом: худощавый, белоzubый Яхья смеялся!

не замедляется ее стремительный девятисоткилометровый бег. Разливаясь, топя огороды и сады, на сотни километров превращает она свои низовья в непробудные плавни, ерики и камыши.

Двенадцать миллионов рублей — средняя цифра ежегодных убытков от разливов Кубани за последние двадцать семь лет. Десятки тысяч гектаров земли, которая просится под чай, рис, хлопок, кунжут, пшеницу, держит Кубань в болотистом, малярийном плену.

В 1931 году она залила половину Адыгеи, разрушила железнодорожную линию.

Лет сто назад население прикубанских станиц и аулов, как могло, своими средствами и силами начало бороться с разливами. Разрозненно, на сотни километров, от Псекупса до Темрюка, возводились примитивные валы. Они не спасали от наводнения.

Только в годы советской власти были начаты организованные, планомерные работы для обуздания непокорной реки.

Помог ферганский опыт, накопленные силы. Нет таких крепостей, которых не могут взять большевики! Покорить Кубань можно только устройством надежных обширных водохранилищ с современными гидротехническими сооружениями, регулирующими прием и сброс воды.

19 марта 1940 года Сталин и Молотов, по ходатайству трудящихся Кубани и Черноморья, подписали постановление о сооружении ускоренным, народным способом Тшикского и Шапсугского водохранилищ и обвалования реки Кубани. Срок был дан — полтора года.

Решение партии и правительства было получено в Краснодаре 22 марта. 23-го утром состоялось расширенное заседание крайкома и крайисполкома. Лучшие инженеры края приступили к рабочему проектированию. На подготовительные работы был дан один месяц и пять дней.

По радио, из газет, из бесед тысяч агитаторов весь край — от субтропического Адлера до калмыцких степей —

И вот я стою на свободной земле Адыгеи. Курятся, дымят дома — не сакли! — аула Адамий. Неподалеку — русское селение Николаевка, левее — Усть-Лабинская.

И все, что я вижу, — поля, селенья, зеленые чаши долин, — все напоено многоводной Кубанью.

Она рождается от снега и солнца на склонах Эльбруса. Вырвавшись далеко на север, круто поворачивает на запад, к морям, и своенравно впадает то в Азовское, то в Черное море. Но нигде

узнал: Тщикское водохранилище избавит от угрозы наводнения шестьсот пятьдесят тысяч гектаров культурных, густо населенных земель. Оно будет регулировать воды Кубани и ее притоков, улучшит судоходство и орошение. Плавни превратятся в рисовые плантации. Водохранилище будет использовано для правильного рыборазведения.

На многолюдных собраниях в колхозных станах, в клубах инженеры и техники рассказывали: ложе водохранилища имеет такое расположение, что при небольшом повышении воды на Кубани возможно его затопление. Водохранилище образуется оградительной земляной дамбой длиной в тридцать два километра, с основанием до ста метров и высотой до восьми метров. В нем будут храниться сотни миллионов кубометров воды.

Для того чтобы забирать воду из Кубани, надо выстроить головное сооружение с бетонным шлюзом. Его пропускная способность — триста кубометров воды в секунду. Река Белая будет впадать в водохранилище свободно по вновь проложенному каналу. Старое ее течение преградится наглухо плотинной.

Для того чтобы сбрасывать по мере надобности воду в Кубань, надо выстроить сбросное сооружение с бетонным шлюзом. Его пропускная способность — пятьсот кубометров воды в секунду. Вокруг головного и сбросного сооружений возникнут два новых города. Строить надо так же быстро, как строили каналы в Фергане и Азербайджане, так же красиво и прочно, как Волго-Московский канал и Московское метро. Но это не все. Тщикское водохранилище — первое звено в цепи полной реконструкции Кубани.

Двадцать семь бурных горных рек впадают в Кубань ниже Краснодара, также образуя гнилые плавни. Воды этих рек надо собрать в другое, Шапсугское, водохранилище, которое, впрочем, будет гораздо меньше Тщикского. И, наконец, последнее звено — осушение низовых Кубанских плавней, для чего надо насыпать сто шестьдесят километров прочных валов. Расширяется старая

кубанская протока. Кубань будет впадать по постоянным руслам и в Черное, и в Азовское моря.

А пока велась вся эта разъяснительная работа, на сухой островок между берегом Кубани и Тщикскими плавнями трактор-тягач вывез маленький жилой вагончик, и прораб трассы Худяков вывесил над ним на шесте красный флаг.

Связисты, не обращая внимания на выпавший снег, прокладывали телефонную линию.

— Готово? — спросил Худяков.

— Готово, товарищ прораб.

— Кто говорит, Краснодар? Краснодар! Немедленно шлите резиновые сапоги..

В то же время в другом уголке края, в Сочи, расцвели мимозы. Молодой архитектор коммунист А. Н. Иванов рассеянно бродил по берегу моря: думал. Архитектурные формы головного сооружения должны быть простыми и ясными. Их фон такой же, как это море: много простора, света, воды. Электросветильники,obelisks, решетка... Скульптуры Ленина и Сталина, колхозницы, тракториста... Молодой архитектор был назначен руководителем коллектива архитектурно-проектной мастерской.

А великий мастер своего дела, гордившийся своим искусством шеф-повар прославленной «Ривьеры», пришел к заведующему:

— Прошу отпустить.

— Куда вы?!

— Хочу приложить свое искусство на кухне Тщикского строительства, — скромно ответил шеф.

Прораб из вагончика вставал затемно и начинал свой рабочий день с тщательного бритья.

Намыливая щеку, он отвечал на телефонные вызовы.

— Сколько готово барачков? — хрипело в трубке.

— Сто процентов, — отвечал прораб. — Тысяча двести штук.

— Пекарии?

— Семьдесят пять штук.

— Народ как?

— Идет, поет...

Прошло две недели с тех пор, как маленький вагончик выехал на Тщикские плавни.

В турлучном бараке на глиняном полу стояли наборные кассы — работала выездная редакция и типография газеты «Большевик». Монтировались электростанции. Вытягивая длинные шеи, как бы высматривая, где лучше проехать, двигались экскаваторы.

Главный инженер Жиринов строго объяснял прорабам важность замка дамбы.

...И сотни подвод и автомашин с людьми двигались к месту работы. Сорок пять оркестров сопровождало их. Медные звуки гремели над плавнями, у перевозов через Кубань, на станциях и пристанях. Люди организовались еще в колхозах, в районах и в пути. Они занимали заранее намеченные участки трассы и сразу брались за дело. Колхозники приезжали во всеоружии богатой техники, знаний, опыта, полученного за микроскопом хат-лабораторий и у рулей сложных машин. Каждый отряд напоминал механизированную воинскую часть. Свои механики, электрики, мелиораторы, агитаторы, плотники, шоферы, планировщики, кооператоры, кузнецы и даже свои журналисты, художники, бонификаторы малярных пунктов, инструкторы ПВХО, лаборанты, медсестры и врачи.

Во главе каждого района ехали секретарь райкома партии и председатель райисполкома — заместителями прорабов по политической и административно-хозяйственной части.

Ехали лучшие люди колхозов, стахановцы, участники ВСХВ, знатные люди края, орденосцы.

Две тысячи коммунистов и десять тысяч комсомольцев шли в передних рядах пятидесятитысячной армии труда.

И потому неудивительно было, что на всей трассе, на всех тридцати двух километрах, как по волшебству, засияли электрические огни, потянулись автоколонны с материалами, заработали механизмы, открылись кино, — первым показан был фильм «Могучий поток» о строительстве Большого Ферганского ка-

нала, — и открылся Дом обороны, и киоски Огиза, и радиоузлы, и пять тысяч газет почтальоны на велосипедах развозили подписчикам.

Знамя социалистического соревнования с первого же часа было поднято на стройке.

Фрол Васильев был назначен начальником строительства на самый важный его период — массовой организации, разворота массовых работ.

В кабинете его было спокойно. Только, кто бы ни приходил к Васильеву, видел, что нужно говорить как можно короче: рука Васильева все время тянулась к телефону. Но он всегда выслушивал собеседника до конца.

Входила секретарша и докладывала, что пять буксиров начали перевозить фондируемые материалы, что из Ростова вышли еще пароходы и баржи и что завод имени Седина взялся за изготовление щитов.

Член артели «Путь Ленина» Славянского района Терентий Демьянович Иваник, морщинистый, в коротко стриженной седине, колхозник, крепкий, как ядрышко, очень деловито, не спеша, собрался на стройку.

Он думал о том что стройка, куда он едет, очень важная и что работать надо особенно тщательно, хорошо. Не переставая следить за парой строгих кубанских коней, он думал, что лопата, которую он вез с собой, для такой стройки не годится.

Это было сырой и теплой апрельской ночью. По степи неслышно плыли огни: заканчивался весенний сев.

Недалеко от Кубани кони Терентия Демьяновича остановились. Впереди смутно чернел длинный хвост из подвод и машин, слышались крики, толпился народ. Горели костры.

— Что тут такое? — спросил Иваник.

— Пробка у переправы, — сказал кто-то в темноте. — Непорядок!

Иваник, огладив лошадей, зашагал к ближайшему костру. Багроволицый казак в кубанке, присев на корточки, развер-

тывал непослушный и гремящий лист, жаркое пламя костра бурьяна тянуло лист к себе; несколько слушателей с кнутовищами в руках терпеливо ждали, стоя в светлом оранжевом круге.

— Кто кого бьет? — поздоровавшись, весело оттого что он видел людей, спросил Иваник.

Но казак, справившись с газетой и сев полуоборотом к огню, продолжал чтение.

«...Стены пустого и мертвого города Страсбурга, — читал казак, — до сих пор оклеены плакатами шестимесячной давности, призывающими французов к оружию. Кое-где более поздние указы закрыли эти призывы. Этот пограничный французский город, обезлюдевший и опустевший почти так же внезапно и быстро, как несколько столетий назад город Помпея, останется, как памятник, свидетельствующий о Франции во время объявления войны...»

Послушав еще о миллионах бездомных, стремившихся на юг Франции, Терентий Иваник молча неодобрительно покачал головой и вернулся к коням. Два его напарника, Канивец и Кондратьев, выехавшие позже, поджидали его.

— Хозяин идет! — еще издали крикнул Канивец.

— Хозяин и есть, — откликнулся серьезно Иваник. — А ну, хлопцы, кажите свои лопаты!

В ту же ночь, а может быть, и не в ту, что не имеет решительно никакого значения, молодой инженер Александр Иванович Константинов отодвинул от себя шахматную доску и смешал фигуры финала, который он изучал. Он чувствовал, что жизнь его снова ломается между двумя искусствами: шахматы — инженерия.

Семнадцать лет, студентом Ташкентского университета, он уже редактировал шахматный отдел в «Заре Востока». Он участвовал в турнирах, матчах и много раз выходил победителем. Думы были только о шахматах — этом пробном камне, по словам Гете, для определения ума. Все же шахматы оставались спортом, и жизнь не вмещалась в шесть

десять четыре клетки классической доски... Он кончил университет и возглавил узбекскую проектную контору; позже он руководил дорожным строительством в Куйбышевской области.

Эти работы его увлекали, но снова и снова манили турниры, состязания гроссмейстеров, отчеты о которых — бывали дни — занимали первые страницы газет.

Молодой шахматист вскоре завоевал звание чемпиона по Краснодарскому краю; жизнь изменилась второй раз и, казалось, теперь — окончательно. Уже два года он в качестве профессионала руководит шахматным сектором в краевом комитете по делам физкультуры и спорта. Он усердно готовился к матчу на звание мастера, и вот...

В кепке, помнившей еще узбекистанское солнце, в высоких сапогах и в сером пиджачке, карман которого отягивался толстым инженерским «Хютте», он предстал перед начальником тшкских сооружений.

— Как только я узнал о строительстве водохранилища, — говорил он, — как только уяснил себе грандиозность народной стройки, я твердо решил ехать сюда. Я знаю, что здесь нужны специалисты, нужен мой опыт. Шесть лет я работал инженером.

— А шахматы? — прервал начальник.

— Шахматы я не бросаю, — ответил Константинов. — Звания мастера я добыю. Обязательно добыю.

Он был назначен старшим прорабом строительства дамбы.

И в те же дни десятки девушек края, — все они были ты ся ч н и ц а м и: кто с братом, кто с отцом выработывали они по ты ся ч е колхозных трудодней, — запросились на Тшкские плавни.

Лена Дудкина, Катя Демидова, Ольга Драчева — Оля из Ильинского района, колхоза «Донбасс», которую правление не могло не премировать ежегодно за стахановскую работу и которую избиратели не могли не выбрать в свой районный совет!

В дни стужи и боев, в дни сражений с белофиннами ни одной семьи призванного в районе красноармейца не миновали ее теплая забота, помощь, ласковое слово, — и там, за далеким Ленинградом, не один боец вспоминал о ней с братской любовью и нежностью.

Она была достойным депутатом.

На строительстве она стала на самую трудоемкую работу: крепление откосов дамбы.

Рядом стала и Дуся Столбова, тоже тысячница; она хотела, чтобы в ее станице Новолакинской была построена электростанция; на строительство она пришла, как в школу.

Комсомолка Ефросинья Чуприна организовала конвейер молодежных бригад на погрузке камня из Варениновских карьеров и, когда буксир «Кубанец» привел пустые баржи, нагрузила их в четыре раза быстрее, чем требовалось по норме. Команда парохода ахнула от изумления, и капитан, войдя на мостик, обратился к комсомольцам с речью.

— От имени команды, — отрапортовал он, — выражаю вам искреннюю благодарность за стахановскую работу, обеспечившую досрочную отправку парохода в очередной рейс!

Такие люди собирались в теплую апрельскую ночь к переправе через Кубань, когда Терентий Иваник позвал свое звено и строго приказал:

— А ну, кажите свои лопаты!

29 апреля табельщик, составляя ведомость суточной выработки, обратил внимание на то, что звеньевой Терентий Иваник с напарниками Канивецом и Кондратьевым ручными носилками перенесли на дамбу тридцать пять и восемь десятых кубометра грунта при норме четыре и пять десятых кубометра, выполнив дневное задание на семьсот девяносто девять процентов.

Краткая заметка об этом факте была получена в редакции «Большевика». Редактор, получив ее, поблдедел от

волнения: это был тот самый чудесный подарок к Первому мая, которого он ждал и без которого газета была бы не газетой!

На другой день в «Большевике» под большой шапкой появилась статья:

«Подхватить опыт знатного звеньевого Т. Д. Иваника».

В статье подробно излагалось, что Терентий Иваник к обыкновенной штыковой лопате приделал двухсторонние железные планки для ног. Таким образом, лопата стала глубже входить в землю и отрезать более массивный пласт. К носилкам, чтобы удобнее поднимать, Иваник приделал небольшие ножки. Звено обзавелось также специальными наплечниками, топорами для ремонта инвентаря, напильниками для точки лопат и дополнительными носилками. В то время, как двое относили грунт, третий нагружал свободные носилки: работа шла непрерывно. Носильщики менялись местами. Лишние «перекуры» были устранены. Так организовал труд в своем звене Терентий Демьянович Иваник.

Через час после выхода газеты колхозники уже шли к Иванику — знакомиться с его лопатой. Через день вся трасса переходила на метод Иваника. Возникло знаменитое в истории строительства движение «иваниковцев». Производительность труда на дамбе сразу подскочила во много раз. Проектировщики схватились за голову: жизнь опережала чертежи. Катя Демидова и Лена Дудкина не сумели сделать иваниковские лопаты. Коммунист Голуб, узнав об этом, отдал им свою, а себе смастерил другую. Подруги стали выполнять норму на триста пятьдесят процентов, завоевали переходящее красное знамя лучшего женского звена. Кузнец-щербиновец Близинок взялся за переоборудование лопат и ковал их сотнями... Бригадир-коммунист Николай Шманкевич, переняв метод Иваника, не остановился на нем. Он приделал к носилкам колесо, — бригада стала выполнять норму на тысячу триста процентов. Соревнование, изобретательность поднялись небывалой волной... Два конюха — два товарища Янченко

и Загоруйко — разыскали остров рядом со строительством, набитый, как мешок горохом, замечательным гравием.

Это было на участке Верхне-Баканского района. В один день верхнебаканцы проложили к острову плотину и в первые же сутки заготовили сверх плана сотни кубометров гравия. Непрерывная цепь подвод, носилок с грунтом тянулась от карьеров к дамбе... Вот на участке Темиргоевского района исчерпаны запасы грунта, живая тяга не успевает подвозить его издали, — и десятки коммунистов и комсомольцев садятся ездовыми и накидальщиками на грабарки. Вот застопорилась на высоком подъеме подвода, задержка угрожает всему конвейеру, — и кухарка, проходившая мимо, бросает ведра с водой и спешит на помощь.

Ни жара, ни дождь, ни ночная темнота не останавливали строителей и не отражались на качестве работы. Через две недели стало ясно, что дамба закончится намного раньше срока. 19 мая колхозники Ново-Покровского района обратились с призывом об окончании всего строительства в 1940 году. И тысяча семьсот пятьдесят стахановцев вызвали на соревнование друг друга...

Они осушали болотистые речонки, — по-черкесски «псенафы», — грязнуши, встречавшиеся на пути. Вырывали котлованы вокруг трехсотлетних деревьев и, зацепив канатами, с дружной песней валили их наземь. Найдя в земле, в карьерах, остатки древних скифских погребений, скелеты ихтиозавров, они передавали их работникам музеев, собиравшим археологические сокровища. Покой древней Кубанской долины был основательно нарушен...

И еще они успели организовать курсы бетонщиков и арматурщиков, и тренировочные стрельбы, марши в противогазах, кавалерийские скачки с джигитовкой, и провели двенадцать конкурсов по всем видам художественной самостоятельности, и обслужили концертами и спектаклями свыше пятисот тысяч зрителей, и сводный оркестр в сто двадцать семь лучших трубачей отмечал торжественные моменты стройки...

Обогащенные опытом строительства, они сооружали десятки новых водоемов в своих колхозах. Шкурников же, ротозеев, нерях и лентяев они показывали народу в ежедневном сатирическом журнале, который называли: «Крокодил на дамбе».

Они ухаживали за конями так, что на всем строительстве не было ни одного коня с побитой холкой, а шоферы, чтобы не останавливаться во время рейсов, наполняли шприцы солидолом и смазывали машины во время погрузки и, чтобы сберечь от жары покрывки, смачивали их водой.

И помимо всего этого устроили площадку для гранатометания, на которой занимались в свободные часы.

Ибо в те дни, когда шло строительство дамбы, вторая империалистическая война разливалась все шире и шире вокруг Советской страны.

12 июня газета строительства вышла с красными заголовками, с портретами стахановцев, лучших людей...

«Москва, Кремль, ЦК ВКП(б) — товарищу Сталину. Совнарком СССР — товарищу Молотову.

Воодушевленные сталинской заботой партии и правительства, колхозники Краснодарского края досрочно завершили массовые земляные работы на строительстве Тшикского водохранилища и обвалование реки Кубани.

63 тысячи колхозников построили дамбу протяжением 32 километра высотой до 8 метров и насыпали валы длиной в 160 километров по берегу реки Кубани. Вынуто и уложено 6 450 тысяч кубометров земли. Заготовлено и подвезено к месту строительства 100 тысяч кубометров камня и гравия, 2 700 тысяч колея, 30 тысяч кубометров хвороста.

Пройдя на стройке замечательную школу социалистических методов труда, партийные и непартийные большевики Кубани, сплоченные вокруг большевистской партии, Советского правительства и любимого вождя народов товарища Сталина, приложат все силы к окончанию в текущем году строительства гид-

ротехнических сооружений водохранилища.

Весной 1941 года водохранилище примет паводковые воды Кубани и Белой. Трудящиеся Советской Кубани с благодарностью будут вспоминать созидательный труд строителей водохранилища, которые с именем любимого Сталина на устах вышли на борьбу с непокорными реками и, воодушевленные его заботой о благополучии народа, в невиданно короткий срок построили это грандиозное сооружение».

В эти же дни в крае происходили и другие замечательные дела. Ежедневно поезд увозил в Москву группу колхозников: каждый третий колхоз в крае был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В дни, когда кончалось строительство дамбы, начиналось новое невиданное дело: пожнивны культуры. Кубанские большевики задумали взять от земли двойной урожай. Первые сотни тысяч гектаров были уже засеяны. И, подъезжая в солнечный сентябрьский день к бывшим плавням, я забыл упомянуть о полях бело-розовой гречи, которая доцветала в степи на месте убранных пшеницы.

По верху дамбы проложена отличная гравийная дорога. Мелкий, еще не зацементированный гравий пощелкивает по крыльям и кузову машины. Справа все время виден покатым откос дамбы, тщательно убитый кольями и — в тех местах, где волнобой ожидается особенно сильный, — уложенный камнем. Васильев говорит, что колхозники высчитывали: если эти миллионы колев вытянуть в два ряда, то получится линия от Краснодара до Москвы.

На буро-зеленой равнине со следами титанических работ — ведь были здесь топи и вековые леса — стоит знакомая фигура в шинели, с заложенной за борт рукой, — известная скульптура Меркурова, изображающая Сталина. Строители ставили ее посреди своих временных городков.

Все взрыто вокруг. Дамба, выемки.

Нет и следа первобытных плавней. Ушли в дальние тущобы дикие кабаны, исчезли тучи малярийных комаров. Открылись огромные перспективы развития экономики целого края.

Вдали, у бровки дамбы, копошится группа колхозников. Это первые люди, встреченные мною на народной стройке. Шофер тормозит.

— Нет ли среди вас Яхьи? — неожиданно для самого себя спрашиваю я.

— Меня зовут Хамид, — отвечает один.

— Я Рух, сын Гиса, — отвечает другой.

— Та вы ж забыли про Семена Бойко с колхозу имени Ворошилова! — И третий высовывает голову из-за дамбы.

Лица их черны от загара. Солнце дробится на отполированных лопатах. Работы тут кончены давно. А колхозники пришли сами в свободный день. Они трудятся над огромной плитой рго метогія, на память векам.

Надпись гласит:

«1940, Тихорецкий район, 78 000 к/м».

Дальше в круге: 1/V, и стрела молнии ведет к следующему кругу: 1/VI. По краям — звезды.

Это означает, что свой участок дамбы колхозники Тихорецкого района окончили за месяц, уложив семьдесят восемь тысяч кубометров грунта.

— Все уже готово? — спрашиваю я, обходя внушительные бетонные цифры, возлегшие по внешнему ожосу.

— Еще нет, — отвечает Семен Бойко. — Мы хотим, чтобы они светились по ночам, когда люди будут ехать мимо на своих машинах! — И показывает на груду толстого стекла, приготовленного для украшения звезд.

Рух говорит:

— Про какого Яхью вы спрашивали?

— Он работал у эфенди. Он возил эфенди в Краснодар продавать каштаны, — отвечаю я.

— Эфенди? Как звали его?

— Не знаю.

— Был такой эфенди из Понезужая, Намитокон. Он тоже спекулировал

каштанами. Но его возил не Яхья. Го-
нежук его возил... — И Рух отходит,
задумчиво теребя щетинистый, сизый
подбородок.

Машина останавливается на обрыве.
Внизу, в палящем солнце, — гора
свежей земли: головное сооружение.
Заканчивается укладка семнадцати
тысяч кубометров бетона. Мы спуска-
емся по лестницам на «центральный
проспект» — дощатый помост, по кото-
рому, от бетономешалок к блоку шлюза,
мчатся тачки с бетоном.

Говорить тут надо громко и смотреть
надо в оба.

— Как дела, товарищ Роенко? —
спрашивает Васильев подошедшего ин-
женера.

— Слезы! Гравий плохо подают...

Они удаляются.

А я глаз не могу оторвать от корич-
нево-розового гиганта, атлета античных
времен. Он обнажен до пояса. Мускулы
шевелиются на спине, под блестящей,
гладкой кожей. Руки его придерживают
две длинные рукояти тачки. Она с
жидким бетоном. Она так тяжела, что
видно, как вибрируют рукояти, как
прогибаются доски помоста под ней.
Но она катится как-будто сама. Народ
отшатывается, как под сильным вихрем,
с ее пути.

И с бесподобной тренировкой, в ко-
торой силы не видно за ловкостью,
чуть согнувшись, придерживает ее об-
наженный казак. Только в глазах, в
устремлении головы его видно напря-
жение.

— Кто это? — спрашиваю я соседа,
который, как и я, прижался к шатким
перилам.

— Казак-темиргоевец, товарищ Жур-
ба. Он берет почти замес — двадцать
пудов. Для него у нас особая табель
составляется!

В это время на другом конце помо-
ста казак неуловимо быстрым движе-
нием опрокидывает тачку. Чувствуется,
что все его выпрямленное тело отдыхает
несколько секунд, — пока лопаты,
высовывающиеся снизу, очищают ос-
татки жидкой серой массы в тачке.

Потом легким, гимнастическим ша-
гом Журба снова подкатывает тачку к
бетономешалкам.

Я делаю шаг к нему. Меня останав-
ливают.

— Не хвалите его, — говорят незна-
комые мне люди. — Нельзя хвалить его.
Он будет брать по тридцать пудов!

Это не исключительный случай. То-
варищ Журба — не один. Казак-темиргое-
вец Калашников, Маруся Васюкова,
много славных приморо-ахтарцев и мно-
го других работают так же, как он.
Возродилось племя былинных богаты-
рей. Их так и зовут здесь:

— Богатыри!

Работают они с шутками, смехом.

— Отойди на пятьдесят километров!
Сразу! — кричит беловолосый парень,
рысью возвращаясь с порожней тач-
кой.

Внизу — немолчный гул работающих
на стационаре тракторов. Они приводят
в движение насосы, откачивающие под-
почвенную воду.

— Страшное дело было, когда начи-
нали первый бетон класть, — говорит
вернувшийся Роенко. — Подпочвенные
воды! Кубань — рядом. Уровень ее был
выше дна котлована метров на десять.
Теперь справились.

— Когда думаете кончить шлюз? —
спрашивает Васильев.

— К седьмому ноября.

Васильев громко кричит, сердясь:

— Что вы, друзья, оппортунистиче-
ские сроки назначаете?

А сам не может скрыть радостной
улыбки.

На постройке головного шлюза одно-
временно работает одна тысяча семьде-
сят человек.

... И среди этого гама, пыхтенья дви-
гателей, звона молотов молодая девуш-
ка, напевая песенку, большим зеленым
веником все время подметает помост.

На пригорке, на фоне уже отстроеной
улицы эксплуатационного городка,
сиротливо стоит облупленный серый ва-
гончик с полинялым флагом: сюда пять
месяцев назад приехал прораб Худяков
и начал работу.

Уже много десятков километров исколесила машина по дамбе, по карьерам, по участкам, рабочим городкам, а день все еще стоит — истомный, жаркий, и только порозовела мгlistая пыль.

Когда, сделав огромный круг по кубанским венцам, машина проскочила аул Адамий, пыль сгустилась в сплошное облако. Сотни подвод и машин, одна за другой, непрерывным потоком день и ночь двигались к строительству сбросного сооружения. Они везли камень, бревна, тес, фураж, продукты, арматуру... В пыли, в скоплении зданий, труб, кранов, молотов, лесов, на багровой заре открылся перед нами гигантский котлован. Людской муравейник шевелился на его дне, чавкая резиновыми сапогами в синей грязи, вытаскивал погрязший экскаватор, стучал топорами, мыл гравий, откачивал воду, ставил восьмую, девятую, десятую бетономешалки, — и прожекторы, причудливо сплетая фигуры и тени, освещали эту долину, вырытую руками колхозников.

На лесах и уступах огромного амфитеатра чернели фигуры сидящих людей. Они походили на грачей, когда те сидят на голых ветвях, еще не успев свить свои гнезда.

Их было тысячи. Их безделье мне показалось странным, но я промолчал, не задал никому вопроса — и хорошо сделал.

Часы показывали без десяти минут шесть. Ровно в шесть протяжный звук сирены раздался на стройке. И ровно в шесть работавшие прервали работу, а тысячи «грачей» тут же спрыгнули со своих лесов и стали на их место. Ни на одно мгновение не оставились лопаты, топоры, электромолоты на забивке свай, насосы, бетономешалки и даже какая-то по виду совсем простая доска, сама по себе, с присвистом, пришлепыванием ползавшая, прессовавшая бетон, — автомат, о работе которого с немалой похвалой отзывались строители.

Бригады дневной смены поднимались из котлована. Иные из них несли красные знамена, многие — гармошки. Девушки были нарядны.

Я всматривался в лица проходивших мимо меня, но где тут было найти Яхью? А был он, наверное, где-нибудь здесь — худолыцый, белозубый Яхья, проработавший свою молодость за полтора пуда проса в год. Думалось почему-то, что увижу его молодым, цветущим и здоровым, — уж он-то, наверное, дает не одну, а десятки норм!

У длинного барака конторы Васильев собрал штаб строительства. Сто двадцать руководящих работников районов — мозг и сердце края — рассаживались на стульях и бревнах. Электрик тянул провод. Воткнув шест в стреху, он повесил на него большую стеклянную колбу, и, вспыхнув, она осветила сосредоточенные, серьезные лица, косоворотки, кепи, шляпы, галстуки и высокие сапоги.

— Товарищи! — говорил Васильев. — План бетонирования на сбросном сооружении за сентябрь не выполнен. Колхозники требуют закончить основные объекты стройки к Октябрьской революции. В октябре нам надо уложить двадцать две тысячи кубометров бетона. Это — большая цифра. Мы дали слово Центральному Комитету партии, правительству. Нас никто не просил об этом. Мы вызвались сами.. Послушаем доклад главного инженера...

Поздней ночью я свалился на койку в турлучной хате какого-то степного хуторка и уснул мгновенно.

Утро следующего дня застало меня уже далеко от того места — у хутора Кош, на реке Белой.

Запыленный «зис», накренившись, стоял посреди вырубленных колючих кустов.

Шофер, устроившись на подушках поудобнее, слушал концерт из Москвы. Над Белой поднимался тонкий пар. Вода ее была зеленая.

Противоположный теневой берег поднимался мрачным, черным уступом, — во весь разрез его был виден плодородный аллювиальный пласт. Могучие деревья, под которыми я стоял, были вскормлены этой землей. Высоко, за-

слоняя половину неба, поднимались их кроны, страшны были шишковатые, в обхват, наросты на стволах, вспученные над перегнутом рукастые корни.

Отмель же вся золотилась; и было видно, как стаи мальков ходили в тиховодье. На отмели стояли Васильев, новый начальник — инженер Смирнов, прорабы, землекопы, они показывали руками на ту сторону реки и совещались о чем-то.

— Грунта негде взять! — говорил плотный, высокий инженер, снова и снова оборачиваясь к зарослям, осенившим берега.

Грунт этот искали. Здесь готовилось стремительное нападение на Белую, чтобы загородить ее плотиной, повернуть ее воды в новое русло. Немцы колхозники из колхоза «Ленинталь» и адыгейцы из соседних аулов перерубали корни, снимали дерновые пласты. Гусеничный трактор, переваливаясь, как танк, ползал по берегу. Тысячи искр вспыхивали, дрожали на воде.

И две золотоволосые девушки-немки, подбирая платья, входили в воду. Звонко хохоча, они вздрагивали от ее свежести.

— Куда вы?

— Пить!

— Так возьмите ведро! Вот чудачки!

Нет, им хотелось пить прямо из реки.

Занятый этой сценой, я не сразу услышал тихие струнные звуки домбры. Но вот они входят в мое сознание, я думаю о том, как замечательно играет кто-то среди этой свежести, солнца, струящейся реки, и оборачиваюсь.

В глубокой тени, у ствола самого толстого, самого могучего осокоря, сидел сереброголовый старик.

Он пел.

— Яхья! Ну, конечно, это Яхья! — говорил я себе, подбегая к группе адыгейцев, уже обступивших певца.

Я представлял его себе всем: землекопом, шофером, стахановцем, — и только о народном аэде, что больше всего и лучше всего подходило к нему, я забыл.

«А может быть, — не он?»

И, не спрашивая об его имени, я притронулся к плечу внимательно слушавшего адыгейца:

— О чем поет он?

— Тсс... тише! О новых водах он поет... — ответил тот, не шелохнувшись, весь уйдя в музыку песни и тихо звеневшей домбры.

На корабле „Георгий Седов“ через Ледовитый океан*

Записки капитана

К. БАДИГИН

★

ПОСЛЕДНИЕ МИЛИ

Ледокол «И. Сталин» после того, как состоялся наш разговор с И. Д. Папаниным, закончил бункеровку углем в рекордный срок, и вечером 1 января я получил телеграмму:

«13 часов вышел из Баренцбурга. Принял 1175 тонн угля. Больше сортированного угля не было, ушел недогруженным. В 20 часов—широта $78^{\circ}14'$. долгота $10^{\circ}28'$ восточная, восточный ветер 6 баллов. Новогодний привет, — Белоусов».

Видимо, и на «И. Сталине» новогодняя встреча прошла не лучше нашей!..

Пока «И. Сталин» продвигался на север, «Седов» дрейфовал дальше и дальше на юг. В 17 часов 1 января он находился на $81^{\circ}06',0$ северной широты и $3^{\circ}09'$ восточной долготы. В 19 часов 2 января мы спустились до широты $81^{\circ}01',9$ и долготы $3^{\circ}18'$. С каждым часом становились все явственнее признаки приближения к кромке льдов. Количество разводьев в районе «Седова» возрастало. Вечером 2 января от севера через восток до востоко-юго-востока было видно водяное небо.

Наконец, в этот же вечер совершенно неожиданно были отмечены первые отзвуки отдаленной океанской зыби. Работая с теодолитом, Буйницкий заметил, что пузырек воздуха в уровне медленно перемещается с севера на юг и обратно.

Эти колебания происходили строго периодически, словно во время качки судна.

Буйницкий немедленно сообщил мне об этом странном явлении. Качка в дрейфующем льду? Это предположение казалось совершенно невероятным, но я все же отправился к теодолиту. В самом деле, уровень показывал, что судно медленно, почти неуловимо, покачивается, опуская то нос, то корму.

Я снял уровень с теодолита и побежал с ним в кормовой кубрик. Установив уровень здесь в горизонтальной плоскости, я с огромным волнением глядел на воздушный пузырек, заключенный в трубочке с прозрачной жидкостью. Вот он дрогнул, пополз на север, потом остановился, пополз обратно, ушел на юг и снова через строго определенный промежуток времени вернулся...

Отправившись в радиорубку, я набросал донесение, которое Полянский тотчас передал Папанину:

«Наблюдается равномерное килевое покачивание судна, хорошо ощущаемое уровнем. Все благополучно...»

Но на ледоколе в это время были озабочены новым, совершенно неожиданным, осложнением: пароход «Узбекистан», который вез в своих трюмах несколько сот тонн пресной воды для котлов ледоколов «И. Сталин» и «Седов», вдруг сел на камни у южной око-

* Окончание. См. «Новый мир», №№ 4—5, 6, 7, 8, 9 и 10 за 1940 г.

нечности острова Форланд. Капитан «Узбекистана» требовал помощи.

Командование экспедиции было вынуждено повернуть ледокол назад и полным ходом направиться к терпящему бедствие судну. Мы не могли возражать против такого решения, — в данную минуту положение у «Седова» было менее опасно, чем у «Узбекистана». И все же отсрочка похода ледокола была для нас неприятной неожиданностью.

К счастью, ледоколу не пришлось задержаться у острова Форланд. И. Д. Папанин по радио разрешил капитану «Узбекистана» слить пресную воду за борт. Облегченный «Узбекистан» был поднят приливом, и сам, без посторонней помощи, сполз с камней. Поручив подошедшему «Сталинграду» отвести потерпевшее аварию судно в Баренцбург, Папанин распорядился повернуть ледокол «И. Сталин» на север.

Потеряв на этой операции 8 ходовых часов, ледокол снова направился к «Седову».

До 79° 40' северной широты «И. Сталин» дошел по чистой воде, но затем ему пришлось войти в тяжелые льды. Немногим больше одного градуса разделяло теперь наши корабли. Но какой это был трудный градус!

Всю ночь со 2 на 3 января ледокол упорно пробивался на север, освещая путь мощными прожекторами. Мела пурга, дул холодный западный ветер. К 7 часам утра «И. Сталин» достиг 80° 08' северной широты. Дальше лежали сплошные торосистые поля, среди которых трудно было отыскать не только разводье, но даже трещину. Все же капитан флагманского корабля не сдавался. Он вновь и вновь атаковывал льды, дорогой ценою прокладывая путь к «Седову».

3 января, в 9 часов утра, как обычно, все люди «Седова» разошлись по своим рабочим местам. Из кают доносилось потрескивание и шипение, — механики опробовали батареи парового отопления, которые с часу на час должны были заменить нам камельки. Буторин и Гаманков убирали помещения. Андрей Георгиевич, стоявший на вахте

с 8 часов утра, готовил очередные метеосводки и приводил в порядок вахтенный журнал.

Буйнидкий тщетно пытался «поймать» в просветах низко опустившихся облаков хоть одну звезду, чтобы определить координаты «Седова», — нам очень важно было узнать, как далеко находится от нас ледокол. Но все попытки его неизменно кончались крахом: плотная облачная пелена застилала весь небосвод.

Часов в 11 Буторин зачем-то вышел на палубу. Взглянув на горизонт, он увидел нечто такое, что приковало его к месту и на миг лишило дара речи: где-то на юго-востоке мелькнул как бы луч прожектора.

Вначале наш боцман не поверил собственным глазам. Уже несколько раз его жестоко обманывали звезды, которые он принимал за огонек ледокола. Всякий раз бедняге доставалось от команды, потешавшейся над его легковерием. Быть может, и на этот раз на горизонте мелькнула звезда в просвете между облаками?

Буторин вглядывался в темноту. Через несколько минут видение повторилось.

Боцман позвал Андрея Георгиевича, указал ему на то место, откуда мигал луч прожектора, а сам бросился разыскивать меня.

Я сидел в кают-компании, когда туда стремглав влетел Буторин. На его лице можно было прочесть одновременно и радость, и смущение, и удивление, и какую-то неуверенность в самом себе. Я сразу понял, о чем будет идти речь.

— Константин Сергеевич! — выпалил боцман, — на зюйд-зюйд-осте прожектор!..

— Прожектор? — переспросил я. — Вам, наверно, опять почудилось...

— Ей-богу, прожектор, — проговорил уже менее уверенно боцман, — настоящий прожектор, а не звезда...

— Пожалуй, он прав, — подтвердил Андрей Георгиевич, появляясь в дверях, — мне и самому показалось что-то такое...

Но я все еще сомневался. Мало ли что может почудиться людям, которые

ждут, не дожидутся встречи с ледоколом! Все же, на всякий случай, я решил проверить. Втроем мы вышли из кают-компании и поднялись на мостик. За нами гурьбой повалили на палубу наблюдатели-добровольцы.

Было темно. На небе ни одной звезды, — низко ползущие облака обложили весь горизонт. Густой мрак скрадывал все, что находилось дальше 10—20 метров от судна.

— Ну, где же прожектор? — спросил я Буторина.

Боцман отвечал виноватым тоном:

— Вон там, на зюйд-зюйд-осте было видно...

Андрей Георгиевич подтвердил:

— Был, был... Я тоже видел...

Минут пять вглядывались мы в темноту. Ничего, кроме смутных очертаний торосов, нагроможденных близ судна, разглядеть не удавалось. И вдруг, в тот самый момент, когда мы уже хотели сойти с мостика, на юго-юго-востоке мелькнул далекий голубоватый отсвет — какая-то светлая черта, похожая на луч прожектора, пересекла горизонт и уперлась в тучу, образовав характерный отблеск.

— Вот!.. Вот!.. — раздалась со всех сторон голоса.

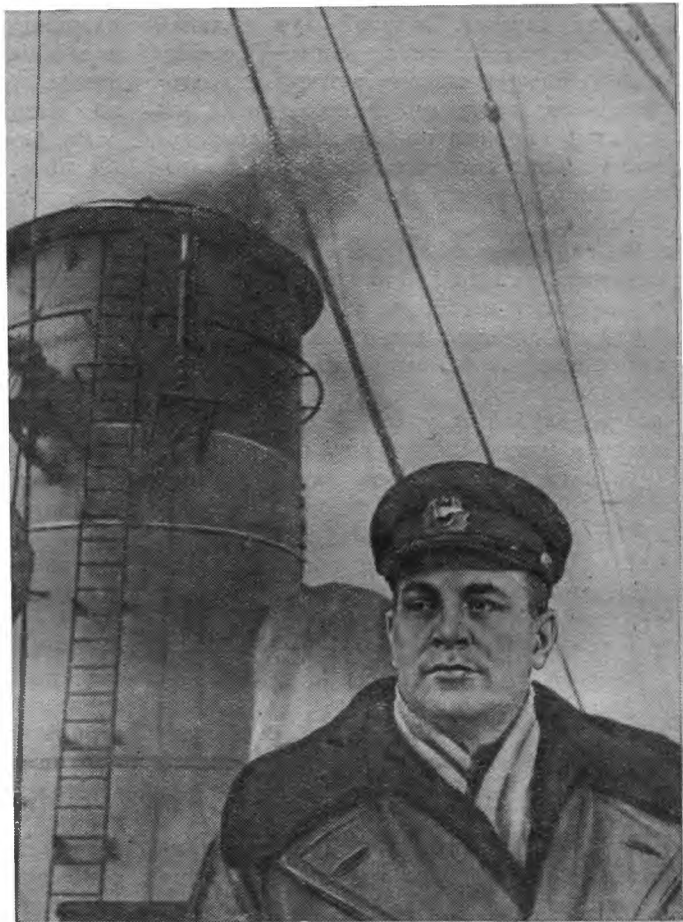
— Зря я не брехал бы, — с гордостью произнес боцман, к которому разом вернулись и самообладание, и спокойствие.

С огромным нетерпением ждали мы теперь очередного срока радиосвязи с ледоколом, — хотелось проверить правильность наших предположений. И в 2 часа дня, вызвав к радиотелефону Белоусова, я, едва сдерживая волнение, сказал:

— Видим вас на юго-востоке! Для того, чтобы лучше убедиться, хорошо бы поставить минуты на две-три прожектор вертикально...

Белоусов ответил:

— Константин Сергеевич, будем итти



Герой Советского Союза Белоусов М. П.— капитан ледокола «И. Сталин»

только вперед, назад возвращаться не будем. Лед очень тяжелый, с удара прохожу три-четыре метра. Винты заклинивает. Возьму немного к западу. Судя по нашим расчетам, до «Седова» осталось по прямой миль тридцать-тридцать пять. Прожектор сейчас направим в зенит...

Мы снова высыпали на палубу. На

юго-востоке была попрежнему смутно видна почти горизонтальная полоска голубоватого света, упирающаяся в облака. И вдруг эта полоска вздрогнула и начала выпрямляться. Достигнув вертикали, она замерла.

— Ура!.. — закричали на палубе. — Прожектор!.. Прожектор!..

Этот далекий голубой луч радовал нас. Он как бы звал, манил «Седова» к югу, обещая скорую встречу с долгожданным ледоколом. Теперь, когда мы увидели прожектор флагманского корабля, даже закоренелые скептики заговорили о том, что наш дрейф близится к концу.

Как хотелось нам подать «И. Сталину» ответный сигнал! Но из-за нелепой случайности мы были лишены возможности это сделать: как-раз накануне наш старший механик, вынудив из прожектора зеркало, чтобы стереть с него пыль, поскользнулся и упал. Зеркало разбилось на мельчайшие кусочки.

Я решил попытаться заменить чем-либо разбитый прожектор. У нас сохранилась мощная лампа в 1000 свечей. Присоединив ее к проводке, мы зацепили лампу фалинем и начали осторожно подтягивать под самый клотик грот-мачты.

Вызвав еще раз к телефону капитана ледокола, я сообщил:

— Прожектор видим ясно, совершенно ясно на юго-востоке. Через полчаса подготовим свое освещение. Желаю успеха!..

В 15 часов наша 1000-свечевая лампа была поднята под клотик. Механики пустили в ход «Червоный двигун» — и лампа вспыхнула ярким светом. Но, к сожалению, ее свет не мог заменить направленного луча прожектора, и некоторое время спустя пришлось лампу выключить.

В 12 часов 50 минут 3 января Буйницкому и штурманам ледокола «И. Сталин» удалось одновременно определить свои координаты. «Георгий Седов» находился на широте $80^{\circ}56'$ северной широты и $3^{\circ}10'$ восточной долготы. «И. Сталин» в то же самое время был на $80^{\circ}33'$ северной широты и $4^{\circ}15'$ восточной долготы.

Итак, «Георгий Седов» и «И. Сталин» к вечеру 3 января сошлись во льдах, как-будто бы на очень короткую дистанцию. Не больше трех часов понадобилось бы ледоколу, чтобы преодолеть это пространство, если бы оно было заполнено более или менее разреженным льдом. Но законы арктического мореплавания учат, что самый короткий по расстоянию путь во льдах далеко не всегда является самым коротким путем по затраченному времени. И в самом деле, для того, чтобы пройти эти 20—25 миль, мощному ледоколу потребовалось затратить не день и не два, а целую декаду. Только 13 января «И. Сталин» после долгой и упорной борьбы с многолетними льдами подошел к «Седову».

На нашем корабле дни с 3 по 13 января также прошли в упорном труде и серьезных заботах. Но эти заботы были совсем иными, нежели те, которые испытывало командование ледокола. В то время как флагманский корабль, забившийся в самую гущу многолетнего пака, вынужден был обороняться от наступающих на него льдов, «Седов» испытывал серьезные неудобства от.. обилия чистой воды. Окончательно оторвавшись от поля, вместе с которым мы дрейфовали больше года, наше судно беспомощно болталось посреди огромной полыньи. За все десять дней оно не испытало ни одного серьезного сжатия. Такое резкое различие в обстановке, окружавшей корабль, которые находились почти-что рядом, представляло собой крайне редкий в морской практике и весьма поучительный случай. Поэтому на обоих судах с огромным вниманием следили за развертыванием событий.

По нашим расчетам «Георгий Седов» уже 3 января был полностью подготовлен к плаванию. Мы могли начать самостоятельную борьбу со льдами в тот же момент, как только нам удалось бы освободиться от тяжелой ледяной чаши, сковывавшей руль и винт. Нам оставалось поэтому терпеливо ждать, когда наступит этот, столь долгожданный, момент, а пока я вернулся к своему дневнику, — благо, те-

перь можно было выкроить время для записей, — и последовательно, час за часом, регистрировал в нем ход событий, развертывавшихся в эти дни.

4 января. 80°48' северной широты, 2°57' восточной долготы. После долгого перерыва снова берусь за перо. Событий так много, и все они так значительны, что было бы преступлением предать их забвению.

Сейчас по гринвичскому времени, по которому мы живем, 6 часов утра, но никто еще не ложился спать. Весь экипаж взбудоражен, люди ждут, что встреча с флагманским кораблем состоится с часу на час.

Боюсь, что это все же не совсем так. Ледокол за эту ночь не смог приблизиться к нам ни на одну милю.

Только-что я разговаривал с Папаниным. Он сообщил, что ледокол попал в тяжелые поля и вокруг него идет сильное сжатие. Вырастают огромные торосы. Чтобы зря не тратить уголь, командование экспедиции решило выждать до перемены обстановки.

Иван Дмитриевич просил, чтобы мы еще раз проверили — виден ли прожектор ледокола? Я выслал из радиорубки на палубу Бекасова; он потушил наш своеобразный маяк — лампу, поднятую на грот-мачту, и несколько минут вглядывался в темноту. Однако ничего разглядеть не удалось — горизонт закрыт низкими облаками.

Значит, будем ждать лучших времен. Хорошо и то, что в районе «Седова» не заметно никаких признаков сжатия, которое так беспокоит ледокол...

12 часов. Немного поспал, чувствую себя бодрее. На «Седове» судовые работы продолжают своим чередом. Механики заканчивают оборудование парового отопления.

В кают-компании камелек уже не топится. Удивительная вещь! Все время кажется, что чего-то не хватает. Нет прежнего уюта. Не кипит, как прежде, чайник на камельке, не потрескивает уголь, не пышит жаром железная труба. Даже настроение немного испортилось! Сколько мы мучились с этими камельками, а вот нет их, — и уже начи-

наем скучать по ним. Что значит сила привычки...

Только-что получил телеграмму от Белоусова. Ледокол стоит на прежнем месте в 10-балльном торосистом льду. Лед форсировке не поддается. У них, как и у нас, дует северный ветер. Значит, будем дрейфовать, так сказать, коллективно — до тех пор, пока ледокол не вырвется из западни, в которую он попал.

23 часа. Все время дуют ветры северной половины горизонта. Свирепствует метель. На горизонте дымка. Огней «И. Сталина» не видим.

Буйницкому удалось определиться. За сутки нас снесло к югу на восемь миль. Это неплохо. Хуже то, что одновременно мы подвинулись на целых 17 минут по долготе к западу. Чем ближе к Гренландии, тем меньше шансов на скорый выход из льдов.

Ледокол, скованный льдами, попрежнему стоит на месте...

5 января. 80° 48' северной широты, 1° 48' восточной долготы.

10 часов утра. Полная перемена! Ветер совершил поворот на 180 градусов и теперь дует с юго-востока. Настоящий свежий зюйд-ост с низовой метелью. Это значит, что наш дрейф на юг по меньшей мере замедлится, если не прекратится. Атмосферное давление падает, температура повышается. Надо ждать нового усиления ветра и подвижек.

Токарев только-что пустил в ход аварийный двигатель, и корабль озарился электрическим светом. Свет нужен для работы в машинном отделении: там механики ремонтируют центробежную помпу и набивают сальники главной машины, — последняя работа перед пуском машины в ход!

Пользуясь случаем, мы включили и свои лампочки. Как-то непривычно писать при электрическом свете — он кажется слишком ярким после наших керосиновых коптилок.

Я получил слезную мольбу от кинооператоров, находящихся на борту «И. Сталина», не убирать наше зимовочное оборудование. Они хотят, чтобы

мы сохранили в неприкосновенности облик дрейфующего корабля. Идя навстречу их просьбам, решил оставить в первобытном виде все, что только возможно.

Впрочем, говоря откровенно, мы и сами лишь скрепя сердце ломаем обстановку, с которой так свыклись за эти годы. Очевидно, нам после трех полярных зимовок придется довольно долго привыкать к удобствам цивилизации. Боюсь, что мне захочется в своей новой московской квартире установить камелек, завесить окна собачьими шкурами и при свете керосиновой лампы распивать чай, пахнувший каменноугольным дымом...

16 часов. Ледокол, наконец, двинулся с места. Уже в час дня свет его прожектора был отчетливо виден на юго-западе. Когда прожектор тушили, на том же месте виднелось смутное зарево огней ледокола.

Мы снова зажгли свою лампу на грот-мачте, но на ледоколе ее так и не увидели.

Час тому назад я разговаривал по радиотелефону с Белоусовым. Вот что он передал:

— Сегодня вновь пытались пробиваться, но ход имел только на ост и вост. В направлении на север все время втыкался в тяжелый, невзломанный массив. Пришлось опять остановиться, чтобы не расходовать зря уголь. Определялись астрономически, совмещая определение с пеленгом «Седова». Получается—широта $80^{\circ}35'$, долгота седовская. Конечно, при таком горизонте возможны ошибки, но не думаю, чтобы много ошибся. Буду светить прожектором. Пожалуйста, посмотри — видно или нет. Между прочим, подвинулся я на восток около одной мили, а пеленг изменился на 7 градусов. Это говорит о том, что находимся близко.

Я ответил, что прожектор мы видим хорошо, подробно рассказал о ледовой обстановке, окружающей «Седова», и снова посоветовал искать дорогу к нам с юго-запада. Не может быть, чтобы тяжелый, невзломанный массив, о котором говорит Михаил Прокофьевич Белоусов, тянулся беспредельно!

В районе «Седова» разводья с каждым часом расходятся все шире.

Начиная с 10 часов утра в пределах видимости на всех 32 румбах начали появляться одна за другой трещины, идущие с севера на юг. Местами видим водяное небо.

Если «И. Сталин» отойдет к западу, он, очевидно, сумеет подняться на север по одному из этих разводьев...

20 часов. У левого борта опять разводит лед. А с ледокола сообщают, что там в 21 час 30 минут по московскому времени (по нашему — в 17 часов 30 минут) снова происходило торошение.

Начинается пурга. Ветер попрежнему дует с юго-востока. К сожалению, никак не удается определить координаты — не видно никаких светил. По всей вероятности, нас относит на север.

24 часа. В 50 метрах от судна открылась новая трещина. Ветер, совершив резкий поворот, перешел к западу и ослабел до 4 баллов. Неужели и теперь лед в районе «И. Сталина» не разредится?..

6 января. $80^{\circ}49',5$ северной широты, $2^{\circ}10'$ восточной долготы.

1 час 30 минут. Только-что собрался лечь спать, как прибежал Александр Александрович Полянский с чрезвычайным известием: на юго-западе очень явственно видны огни ледокола. Похоже на то, что ледокол подходит к нам.

Я вскочил, как встрепанный, и бросился на палубу. Действительно, ледокол был совсем близко. Даже наши собаки Джерри и Лыдинка почувствовали его приближение: выбежав на лед, они до хрипоты лаяли на далекие огни. Видимо, их скудному воображению рисовалось на горизонте нивесть какое чудовище.

Распорядился включить лампу на грот-мачте, — авось, теперь нас заметят! И действительно, через несколько минут радисты флагманского корабля вызвали Полянского и сообщили:

— Видим ваш огонек...

3 часа. Что я хотел сказать?.. Сразу приключилось столько событий, что

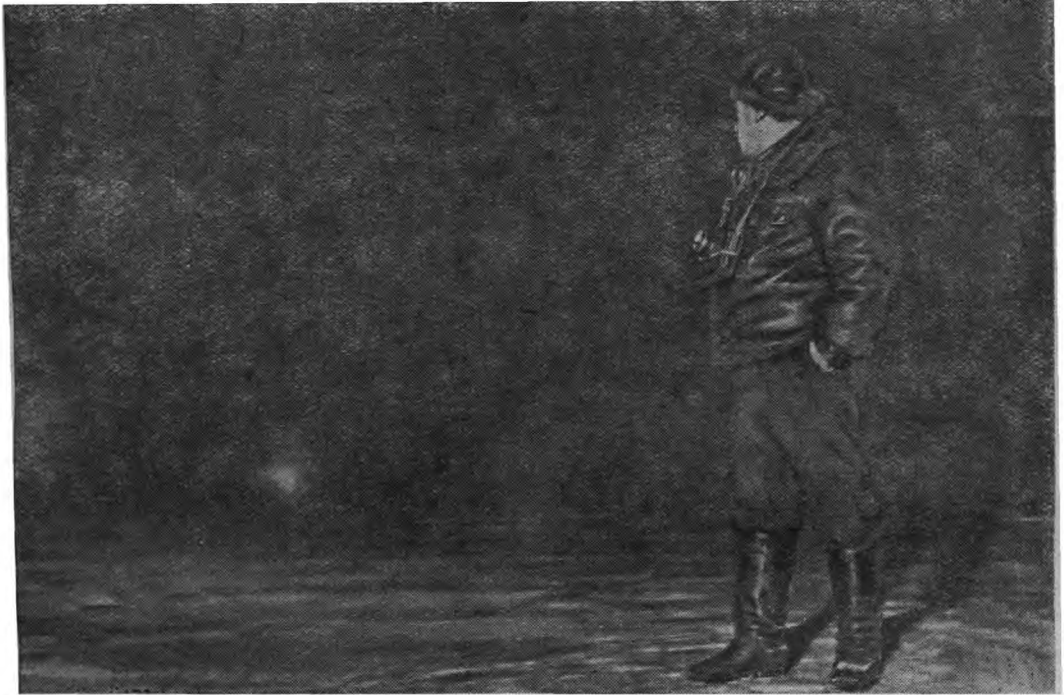
обо всем и не расскажешь. Предыдущую запись пришлось оборвать из-за медведицы, которую мы только-что убили. Потом начался разговор с Папаниным. Потом...

Нет, надо все по порядку.

Сначала ко мне примчался Недзвецкий, который, кажется, становится настоящим специалистом по обнаружению

Это были медвежата. Если бы поймать их и привезти с собой в подарок Московскому зоопарку! Я знал, что обычно медвежата не отходят от убитой матери и поймать их не трудно. Соблазн был велик.

Вскинув винтовку, я выстрелил. Медведица упала на лед. Медвежата начали ее обнюхивать. Услышав выстрел,



Папанин смотрит на огонек «Седова»

зверя, — ему везет на медведей. Недзвецкий заявил:

— Константин Сергеевич! Под самым бортом медведь!..

Я схватил винтовку, и мы выбежали на палубу. Действительно, в десяти шагах от борта топтался мохнатый белый зверь. Видимо, он был голоден и искал пищи.

Мне стало жалко его, и я опустил винтовку: зачем он нам? Ведь мы уже скоро встретимся с ледачком и сумеем пополнить свои запасы более ценными продуктами, чем медвежье мясо. Но потом я заметил рядом со зверем два маленьких белых пятнышка.

Вся команда высыпала на палубу. Вооружившись пружинными сетками, Буторин, Гаманков, Бекасов спустились на лед ловить медвежат.

Я хотел последовать за ними, но в это время меня позвал Полянский:

— Вас Папанин зовет к микрофону...

Пришлось отказаться от участия в ловле медвежат и отправиться в радиорубку. Судя по голосу, Иван Дмитриевич был очень взволнован. Наш огонек пробудил в нем воспоминания о далекой февральской ночи 1938 года, когда советские корабли пробивались на выручку к дрейфующей станции «Северный полюс». Он говорил:

— Ваш родной огонек очень хорошо видим. Сердце так и переполнено радостью. Я вспоминаю, как было на нашей льдине. Тогда, когда увидели огни «Таймыра», четверо суток не спали. Все следили за огоньком. Теперь мы за ваш огонек ухватились и от него не отойдем. Если что случится с вами, — мы рядом. Ложитесь спать. Ледовая обстановка у нас тяжелая. Сегодня к вам не пойдём. Весь наш экипаж не спит, — готовятся к встрече, но мы их уговорим, уложим спать. И вы ложитесь, отдыхайте. Мой самый сердечный привет вам и браткам вашим...

Я честно признался, что вряд ли сумею уснуть: сон не берет вторые сутки... Кроме того, по ночам я дежурю.

Не успел я выйти из рубки, как репродуктор ледокола отчаянно запищал. Полянский взял карандаш и начал записывать, чему-то ухмыляясь. Я вернулся и заглянул через плечо радиста. Он писал:

«Дорогой Константин Сергеевич, я вас просил, а теперь приказываю лечь спать. Учтите, что сон и отдых вам необходимы сейчас, как никогда. На вахту можете поставить кого-нибудь другого. Спокойной ночи, дорогой! Папанин».

Пришлось тут же присесть к столу и написать:

«Доброй ночи, ваше приказание принято к исполнению...»

Удастся ли только его выполнить? Очень трудно уснуть, когда знаешь, что ледокол стоит в каких-нибудь четырех-пяти милях от «Седова». Что, если он уже утром подойдет к нам?..

А медвежат так и не поймали. Только вышли наши звероловы со своими сетями на лед, медвежата прижались друг к другу, да так, бок о бок, и рванулись в темноту. Пробовали их догонять, куда там! Ускакали в три минуты.

Ну, ничего. По крайней мере, угостим команду «И. Сталина» экзотическим блюдом — медвежьими отбивными.

Пойти и в самом деле немного поспать, что ли?..

10 часов. Кажется, медвежьи отбивные придется съесть нам в одиночестве. Ледокол до сих пор не может сдвинуться с места. Погода отвратительная — туман, снег, низкая облачность. Хотя мы стоим почти-что рядом, временами огней «И. Сталина» не видно.

15 часов. Недавно из трещин, образовавшихся в молодом льду, донеслись какие-то странные звуки: будто из какого-то отверстия с силой вырывается воздух. Звуки мощные. Наши поморы говорят, что это спят звери — тюлени или нерпы. Теперь понятно, зачем возле корабля бродила медведица с медвежатами. Она явилась в гости к тюленям, а не к нам.

23 часа. Положение остается без перемен. Оказывается, пять миль, разделяющие нас и ледокол, труднее пройти, чем путь от Баренцбурга до этих мест. Сейчас дует северо-северо-восточный ветер силой 6 баллов. Пурга, Огни «И. Сталина» не видны. И только наши собаки каким-то непостижимым образом чуют ледокол. Они попрежнему выбегают на лед и лают в ту сторону, где он стоит.

7 января. 80°44',5 северной широты, 2°00' восточной долготы.

23 часа. Все то же: туман, дымка, низкая облачность, капризный, меняющийся ветер. То задует западный ветер, то южный. Огни ледокола дразнят нас, появляясь и теряясь во мраке.

В 17 часов, когда немного прояснилось, отчетливо увидели на востоке водяное небо. Это — след разводья, которое уже давно держится в той стороне. Оно проходит почти прямо с севера на юг. Разводье упрямое — никак не сдается морозу. Только затянёт его молодым льдом — оно опять разойдется.

Вечером Буйницкому удалось определиться. Выходит, что за трое суток мы продвинулись лишь на три с половиной мили к югу. Зато на запад нас отнесло почти на целый градус. Это мне совсем не нравится. Нет никакого желания перебираться в Западное полушарие.

Радисты, внимательно следящие за всеми передачами с «И. Сталина», сообщают, что ледокол час тому назад поднял пары и снова начал форсировать лед, — где-то по левому борту от него отыскивали разводье, и сейчас «И. Сталин» пытается пробраться к этому разводью, чтобы подойти к нам с запада. Целиком правильное решение, — на западе много разводьев, покрытых молодым льдом.

8 января. 80°46',4 северной широты 2°28' восточной долготы.

19 часов. Весь день внимательно следили за огнями «И. Сталина». Вначале ледокол двигался на запад. Потом он остановился и медленно-медленно двинулся обратно — на восток. Сейчас ледокол остановился. Оттуда передают, что у борта корабля снова началось торошение. Вокруг него — сплошные поля тяжелого, многолетнего льда.

Как это ни странно, мы, находясь рядом с ледоколом, не только не испытываем сжатия, но, наоборот, наблюдаем непрерывное разрежение льда. В 17 часов 30 минут на востоке, в расстоянии полутора километров от судна, явственно видели трещину, которая быстро расходилась, превращаясь в разводье. Трещина, проходящая под правым бортом, также расходится. Наш крохотный ледяной островок отходит все дальше от кромки пака. Скоро, скоро начнем плавать по разводью!

Сейчас, когда пишутся эти строки, мы наблюдаем совершенно неестественное явление природы: в Арктике зимой идет дождь! Температура поднялась до плюс 1°, и тучи, принесенные южными ветрами, плачут над «Седовым» горькими слезами.

Воспользовавшись тем, что снег подтаял и промок, неутомимые Буторин и Гаманков убирают палубу, сбрасывают тяжелую снежную массу, пропитанную водой. Наконец-то наша палуба примет приличный вид...

23 часа. Разговаривал с Иваном Дмитриевичем по телефону. Он говорит, что на ледоколе люди, потеряв

всякое терпение, рвутся итти к нам пешком.

— Скажите откровенно: есть ли у вас больные, требующие неотложной помощи? Тогда мы немедленно вышлем к вам пешую партию...

Ответил, что больных на судне нет. Но если к нам пожалуют гости — милости просим. Мы с большой радостью выйдем к ним навстречу.

Папанин подумал-подумал и сказал: — Нет, не стоит. Если бы возникла острая необходимость в таком путешествии, тогда другое дело. Но ведь вы только вчера убили медведицу, и свежее мясо у вас есть!..

Я пошутил:

— К вашему приходу кончим вчистую. Хотел было оставить вам пару бифштексов, но все уплетают свежее мясо с таким аппетитом, что, боюсь, к вечеру даже кусочка не останется...

9 января, 15 часов. Наш корабль превратился в пловучий остров... Произошло это так.

После дождя, который шел до полудня, мы почувствовали, что «Седов» вместе со своей ледяной чашей медленно отходит от кромки пака. Потом в молодом льду под левым бортом открылась огромная трещина. Она соединилась с трещиной, которая идет вдоль правого борта, и быстро разошлась в разводье. Очувтившись со своей одинокой льдиной на чистой воде, «Седов» начал беспомощно разворачиваться. За последние полчаса судно повернулось на 78 градусов.

А ледокол, находящийся в 4—5 милях от нас, все еще стоит: он попрежнему блокирован льдами и не может двинуться ни вперед, ни назад.

18 часов. Полная иллюзия свободного плавания! Разводье расширилось до 700 метров. Оно уходит к югу и кончается на пределе видимости — где-то в миле от нас. На север разводье уходит метров на 800 и затем поворачивает на северо-восток.

Южный ветер разводит в полынье волну. Волны лижут нашу льдину. Когда вода сбегает, на льду остается зеленоватое фосфорическое свечение. С

большим волнением слежу я за ним. Как давно я не был в южных морях!.. Ведь так вот флюоресцируют волны Индийского океана!..

Только-что ко мне зашел Андрей Георгиевич и сообщил, что от нашей ледяной чаши оторвался довольно солидный кусок. Теперь наше судно находится в середине льдины, шириной каких-нибудь 40 метров и длиной около 100 метров. Оно плавает по разводью и часто разворачивается. Сейчас наш компасный курс — 13 градусов.

Судя по всем признакам, мы находимся у самой кромки льдов, где происходит окончательное разрежение их. Вокруг же — огромные пространства чистой воды. Повсюду виднеются новые и новые разводья. Такая ледовая обстановка не может быть чисто местным явлением. Если бы только корпус судна освободился от ледяной чаши, мы немедленно попытались бы самостоятельно выйти из льдов, — на юго-западе почти наверняка можно найти выход.

23 часа. По слухам, сейчас из Москвы передают по радио большой приветственный концерт мастеров искусства, посвященный нам.

Концерт должны были передавать в день встречи «И. Сталина» и «Геorgia Седова». Мы догадались об этом по радиogramмам специального корреспондента «последних известий по радио», находящегося на борту ледокола. Уже несколько дней подряд наши радисты перехватывали в эфире его таинственные лаконичные молнии:

«Приготовиться тчк Эфраимсон».

«Временно отставить тчк Эфраимсон».

«Приготовиться тчк Эфраимсон».

Мы наловчились безошибочно определять по этим радиogramмам ледовую обстановку в районе «И. Сталина». Если корреспондент «последних известий по радио» молнирует «приготовиться», — значит, появились разводья. Если он сигнализирует «отставить», — значит, началось сжатие.

Видимо, москвичам надоела капризы Арктики, и они решили пустить концерт в эфир, не дожидаясь встречи

ледоколов. Очень хотелось бы его послушать, но, как ни крутит Полянский ручки приемника, ничего, кроме хрипа и треска, расслышать не удается; сегодня атмосферные помехи почему-то особенно сильны.

Спросил Ивана Дмитриевича по телефону, как они слышат Москву: на ледоколе более мощные приемные устройства, чем у нас. Он ответил:

— Одни разряды... Только часть выступления твоей жены услышал, а потом все оборвалось...

Значит, наши родные выступали сегодня по радио! Тогда вдвойне обидно, что мы ничего не слышим. Они там, наверное, волнуется, думают, что их слова доходят до нас, а здесь, кроме треска и писка, — ничего.

Вскоре наши радисты услышали, как с ледокола передавали в Москву радиogramму Папанина, который решил не разочаровывать московских мастеров искусства:

«Примите самую теплую благодарность за внимание к нашим полярникам. Искусство наших артистов доносится сюда, в сердце Арктики, полноценным и чистым...»

10 января. 81°11',4 северной широты, 3°49' восточной долготы.

8 часов. Всю ночь плавали. Судно, как слепой котенок, тычется носом то в одну, то в другую кромку льда.

Наши собаки, впервые за всю свою жизнь узнавшие, что такое плавание, никак не могут сообразить, почему приятная и удобная для их лап твердь сменилась какой-то подозрительной соленой влагой. Они все время норовят перебраться на лед.

Эти попытки чуть-чуть не стоили жизни бедной Лыдинке. Когда мы подошли к какой-то кромке, она обрадовалась и перескочила на лед. Но судно стало отходить. Сообразив, что она остается в одиночестве, Лыдинка подняла жалобный вой на все Гренландское море.

Я распорядился срочно накачать резиновую шлюпку и предпринять «спасательную экспедицию». Шлюпку уже спустили с борта, когда наш плывущий остров еще раз на миг подошел

к кромке, и собака одним прыжком перемахнула обратно.

Теперь Лыдинка весьма подозрительно относится ко всему, что лежит по ту сторону железных бортов «Седова»...

10 часов. Возникла новая трудно разрешимая проблема: нам неоткуда брать пресную воду для питья. В течение двух с половиной лет мы добывали ее из снега. Он дает прекрасную, абсолютно чистую и здоровую воду. Но сейчас, когда мы остались на крохотном пловучем островке посреди широких пространств соленой морской воды, добывать снег неоткуда. Судно окружено лишь узким ледяным пояском шириной от трех до восьми метров. На этом пространстве снег сильно загрязнен.

Приходится ловить проходящие мимо льдины и собирать снег на них. Час тому назад к левому борту причалило довольно солидное поле, покрытое сугробами. Вооружившись парусиновыми мешками, вся команда немедленно отправилась на добычу снега. Но, к сожалению, эта льдина задержалась у нашего пловучего острова всего на несколько минут, и мы успели набить снегом лишь три мешка.

Это — в лучшем случае четыре-пять ведер воды. Маловато!

Ледокол все еще стоит на месте. Иван Дмитриевич и Михаил Прокофьевич за последние сутки предприняли две пешие разведки. Только-что получил от них телеграмму:

«Константин Сергеевич! — сообщил Белоусов. — Наши пешие походы показали, что трещина, идущая от ледокола на востоко-северо-восток, затем поворачивает на восток и дальше уходит на юго-восток. Вдали от конечного пункта разведки на юго-восток заметны водяные пятна на небе. Трещина в очень многих местах сжата. Местами — вода, шириной 6—8 метров. Трещина проходит по очень тяжелому торшешному льду. Очевидно, этот лед плавает вместе с вами от Ново-Сибирских островов. Если трещину не разведет до ледокола, то форсирование ее повлечет за собою значительные повреждения корпуса. Разведка от этой трещины по направлению на «Седов» показала многолетний массив тяжелого льда, не имеющего никаких признаков разводей.

Из этой разведки Иван Дмитриевич и я заключили:

1) либо ждать, пока разведет трещину, идущую на востоко-северо-восток, и по ней выходить на разводье, а затем с восточной стороны пытаться находить проход к разводью «Седова».

2) либо пробиваться назад тем же путем, каким мы сюда пришли, выйти на разводье, если они еще сохранились, а по ним пробиваться к востоку и опять искать прохода в разводье «Седова» с восточной стороны.

Как видишь, пока оба варианта восточные. С изменением ледовой обстановки приступим к выполнению одного из них. Все будет зависеть от того, какой вариант будет стоить меньше угля. Вот пока наши перспективы...»

Перспективы, надо сказать, весьма безотрадные. Я еще 6 января говорил Ивану Дмитриевичу, что в том районе, где сейчас находится ледокол «И. Сталин», мы ни разу не видели водяного неба. Ледокол, очевидно, забрался в глубь узкой, зигзагообразной трещины, которая не поддается воздействию ветров.

12 часов. Ледяной пояс «Седова» все больше разрушается. Недавно от него откололся еще один большой кусок, на котором находились деревянные козлы, служившие нам для глубоководных измерений. Козлы вместе с куском льдины относит на северо-восток.

Между бортами и ледяным поясом образовалась солидная щель, в которой хлупает вода. Вот если бы наша чаша совсем отстала от корпуса! Лед становится рыхлым. Я только-что принял холодную ванну: подошел к кромке ледяного пояса по левому борту и провалился по пояс в какое-то жидкое болото: лед расползался, словно кисель. Хорошо, что под руку попало нечто вроде кочки — остаток старого торося. Ухватился за нее и вылез.

С утра падала какая-то морось, а сейчас опять идет самый настоящий дождь.

18 часов. Волны продолжают разрушать ледяную чашу «Седова».

Немного похолодало. Идет снег. Разводье наше частично сошло. Но «Седов» попрежнему передвигается с места на место, медленно вращаясь.

В 9 часов наш компасный курс был равен 349° , в 16 — $12,50^\circ$, сейчас он приближается к 300° .

23 часа. Сейчас «Седов» находится на самой середине разводья, заполненного крупно- и мелкобитым льдом. Лдины перемещаются в самых различных направлениях. Компасный курс корабля — 225° .

Недавно определили координаты. Теперь, когда судно двигается, определяется не так просто, — уровень теодолита очень чутко реагирует на малейшие колебания, и пузырек воздуха в нем легко перемещается. Поэтому теперь у теодолита работают одновременно Буйницкий и Ефремов: один замечает положение пузырька, другой в то же мгновение берет азимут.

Наши сегодняшние координаты — $81^\circ 11',4$ северной широты и $3^\circ 29'$ восточной долготы. За трое суток сильные южные ветры отбросили нас на северо-восток, на 28 миль!

Эта цифра представляет собою особый интерес. Она означает, что чистая вода уже близка.

Сегодня, когда я спал после дежурства, ледокол давал гудки. Но седовцам только один раз удалось услышать нечто похожее на гудок. Огни ледокола видны попрежнему на юго-юго-западе, но сила их слабее. Видимо, ледокол отнесло немного дальше...

Три часа спустя, во время передачи очередного выпуска «последних известий по радио», я неожиданно услышал:

— Сегодня утром ледокол «И. Сталин» дал несколько протяжных гудков. Капитан «Седова» товарищ Бадигин сообщил, что он хорошо слышал эти гудки...

Не совсем точно, но зато весьма оперативно передано!..

11 января, 12 часов. $81^\circ 06',7$ северной широты, $3^\circ 50'$ восточной долготы. Наконец-то начал дуть долгожданный норд! Произошло это вскоре после полуночи, когда на вахте был Соболевский. Вначале ветер стих. Потом он начал дуть с севера — сначала слабо, затем все сильнее и сильнее.

Сейчас все небо закрыто тучами, и над палубой свищет 8-балльный почти чистый северный ветер, чуть-чуть отходящий к востоку. Надо полагать, теперь ледокол освободится из своего плена.

«Седов» продолжает путешествовать по разводью. В 1 час 45 минут он коснулся левой скулой кромки льда и опять начал разворачиваться против часовой стрелки. К восьми часам утра наш компасный курс был равен 165° . Потом корабль начало относить на восток, и сейчас он разворачивается в обратном направлении.

Думаю, что на этот раз свежий северный ветер отбросит нас к югу гораздо дальше, чем когда-либо.

15 часов. Удалось пополнить запас пресной воды: к кормовой части судна подошла занесенная снегом льдина. Был объявлен аврал, и в течение пятнадцати минут мы успели погрузить на судно шесть мешков снега. После этого льдина отошла от нас.

18 часов. Северный ветер усилился до шторма. Метет пурга. Лед на разводье находится в непрерывном движении. Время от времени от ледяной чаши «Седова» откалываются новые и новые куски. Волны фосфоресцируют. Дикое и вместе с тем прекрасное, ни с чем не сравнимое зрелище.

12 января, 3 часа. Время позднее, но на корабле никто не спит. Северный ветер усилился до 10 баллов. Вокруг нас все так и кипит. Свист ветра, плеск воды, стоны ломающегося на волнах молодого льда, заунывное пение снастей лишают нас покоя.

Но пока-что опасность нам не угрожает. Попрежнему нет никаких признаков сжатия. Зато на ледоколе дело обстоит значительно серьезнее. Оттуда передают, что огромные ледяные поля, заклинившие корабль, пришли в движение и жмут на его корпус. Могучие шангоуты ледокола «И. Сталин» прекрасно сопротивляются сжатию, но на всякий случай И. Д. Папанин распорядился вынести аварийный запас на палубу. Из трюмов подняты мешки с мукой, уголь, камельки, аварийная радиостанция, теплая одежда, снаряжение.

9 часов. Ночь прошла относительно спокойно. Лишь изредка судно ощущало слабые толчки, по правому борту происходило сжатие молодого льда, образовавшегося за последние сутки. Слева на 200—300 метров от судна попрежнему тянется чистая вода.

С ледокола передают, что там сжатие благополучно закончилось. Ледяные поля растрескались, вдоль трещин выросли гряды торосов, потом напряжение ослабло, и поля начали расходиться.

20 часов. Только-что окончилась долгая беседа по радиотелефону с корреспондентами газет, находящимися на ледоколе. Отвечали на их вопросы вдвоем с Трофимовым. Вопросов было очень много, поэтому разговаривали больше часа. В заключение корреспонденты шуточно пригрозили:

— Просим вас приготовиться к нашей атаке.

22 часа. Зыбь! Настоящая океанская зыбь! Трудно поверить, но это факт: наконец-то к нам донеслось могучее дыхание Атлантики. Как отрадно чувствовать после двух с половиной лет мертвого спокойствия это мерное покачивание судна, видеть, как перекачиваются мощные водяные валы, слышать отзвуки далекого урагана, взбаламутившего океан...

Влияние океанской зыби мы почувствовали уже несколько часов назад, — льдины периодически опускались и сходились с характерным для сжатия скрипом, потом приподнимались и расходились. Но трудно было поверить, что это зыбь.

Я спустился на лед, лег на самую кромку и, вытянувшись во весь рост, начал наблюдать. Да, это была настоящая океанская зыбь: со строгой периодичностью в 9—10 секунд обломки льда покачивались и взаимно перемещались.

Когда я вернулся на судно, здесь уже чувствовались новые признаки зыби: висячие лампы ритмически покачивались.

Я немедленно сообщил о своих наблюдениях Папанину. Зыбь должна довершить разрушение ледовых полей,

окружающих ледокол «И. Сталин». Она раздробит их на мелкие куски, тем более, что северные ветры дуют с неослабевающей силой.

23 часа. Только-что снова говорил по телефону с Папаниным. Он сообщил, что на ледоколе тоже явственно ощущается океанская зыбь. Ледяные поля ломаются и крошатся. С часу на час можно ждать, что путь к «Седову» расчистится.

— К утру, часиков в семь, двинемся к вам, — сказал на прощанье Папанин, — а пока укладывайте людей спать...

Боюсь, что теперь это сделать уже не удастся. Все понимают, что до встречи с ледоколом осталось каких-нибудь 7—8 часов. Тут не до сна! Повсюду кипит работа. Буторин и Гаманков докрашивают кормовой кубрик. Механики проверяют, как действует паровое отопление в судовой бане. Я, Ефремов и Буйницкий собираем документы, упаковываем материалы научных наблюдений.

Все спешат, все торопятся. В общем, настроение такое, как будто бы мы сидим на вокзале и ждем поезда. Поезд немного запаздывает, и от этого нетерпение растет.

Так или иначе, дрейф уже закончен. Лишний час, даже лишние сутки не могут сыграть никакой роли. И судно, и мы сами — в полной безопасности. Сжатия бояться больше не приходится. Дрейф закончен...

★

Еще многое будет сказано и написано о дрейфе «Геorgia Седова». Специалисты подсчитают с точностью до сотых долей соленость собранных нами проб океанских вод, проанализируют измеренные нами глубины, вычислят поправки для компасов на основе наших магнитных измерений, разберутся в собранных нами пробах планктона, установят новые законы динамики движущихся льдов, уточнят пути циклонов, используют наши гравитационные измерения для уточнения формы земли.

Вероятно, все эти новые законы, которые наука выведет на основе собран-

ных нами материалов, будут представлять собою значительную ценность. Но ценнее их всех — простой жизненный закон, получивший новое подтверждение на примере нашего дрейфа. Это закон о человеке, рядовом советском человеке.

Среди нашей команды были и больные люди, с трудом переносившие тяжелые условия арктических ночей, были люди, которые еще не прошли достаточной жизненной школы, не приобрели волевых качеств, необходимых полярнику; были и такие люди, которые



Буйницкий и Буторин идут на магнитные наблюдения

Когда Нансен готовился к своей экспедиции, он отобрал для участия в ней самых сильных, энергичных, волевых людей, отважившихся добровольно последовать за ним в рискованный рейс.

Когда Бэрд собирался идти в Антарктику, он самым тщательным образом проверял каждого своего спутника, оставляя лишь самых здоровых, самых выносливых людей.

И вот в длинный перечень побед арктической науки вписывается имя нашего корабля, простого советского корабля, отнюдь не приспособленного к длительному дрейфу в полярном паке, с обычной советской командой, отнюдь не готовившейся к такому труднейшему рейсу.

просто не обладали достаточной квалификацией. Но это были советские люди, обладавшие высоко развитым чувством долга перед родиной. И, как ни трудно приходилось нам порой, это чувство неизменно брало верх над всеми остальными, и коллектив «Седова» постепенно крепнул, рос, мужал.

Пройдет еще немного времени, ледокол «И. Сталин» подойдет к борту нашего корабля, освободит нас от остатков ледяного пояса, и мы последуем за ним к берегам родины. Как приятно и радостно возвращаться к этим берегам, когда чувствуешь, что ты выполнил порученное тебе задание, что время и труд твой не прошли даром, что твой коллектив сделал все, что мог...

К РОДНЫМ БЕРЕГАМ

Как долго тянется эта ночь! Тщетно пытаюсь я заснуть—сон бежит от меня. Снова и снова встаю с койки, одеваюсь, закуриваю, обхожу корабль. Из каждой каюты доносятся голоса, повсюду горит свет. Только в кубрике все тихо, — там спят уставшие за день Буторин, Гаманков, Гетман, Шарыпов, Мегер.

Вахту несет Александр Петрович Соболевский. Нервно пощипывая свою бородку, доктор то-и-дело поглядывает на часы. Он поспорил с Андреем Георгиевичем, который должен его сменить, что встреча с ледоколом произойдет до передачи вахты.

В радиорубке дремлет, облокотясь на стол, Полянский. Его чемоданы уже уложены. Все убрано по-походному. Приемник настроен на волну радиостанции ледокола, — первый же вызов разбудит радиста.

Над кораблем ползут низкие, тяжелые тучи. Ни одна звезда не блеснет, ни один луч полярного сияния не нарушит унылого однообразия ночи. И даже огни ледокола, который стоит где-то совсем близко, окончательно затерялись в тумане. Темень. Такая темень, что не увидишь и собственной ладони, если протянешь руку перед собой. Только свист ветра, шорохи разбитых зыбью льдов да мороз, пощипывающий щеки, напоминают о том, что под тобою палуба дрейфующего корабля, а не каменные плиты глухого подземелья. Наконец, часовая стрелка подползает к цифре три. Это значит, что на ледоколе, где живут не по гринвичскому, а по московскому времени, уже шесть часов утра. Сейчас он должен двинуться к нам. И в самом деле, взглянув в радиорубку, я вижу, что Полянский, разбуженный сигналом приемника, уже записывает:

«Сейчас выступаем поход. Зажгите лампу прот-мачте...»

Всего несколько минут требуется механикам для того, чтобы запустить «Червоный двигун» и дать ток от авариной динамомашинны. Лампа на прот-мачте вспыхивает и заливаает всю палу-

бу ослепительно ярким сиянием. Но за пределами палубы ночная темень по-прежнему стоит глухой, непроницаемой стеной. Как ни вглядываемся мы с Соболевским вдаль, — нам не удастся разглядеть ни малейшего проблеска прожекторов ледокола.

Проходит час, другой, третий. Судя по сигналам радио, которые звучат все явственнее, ледокол движется, подходит к нам ближе и ближе. Но мы по-прежнему не видим его, и это раздражает.

Соболевский готовится к сдаче вахты. Теперь уже ясно, что пари проиграно, — ледокол придется встречать не ему, а Андрею Георгиевичу. Доктор зол и нахмурен. Но в тот самый момент, когда Андрей Георгиевич уже выходит на палубу, совершенно внезапно в каком-нибудь километре от нас открываются сразу огни ледокола. Густой туман, разделявший нас, рассеялся как-то мгновенно, словно занавес поднялся. И это неожиданное появление ледокола буквально потрясает нас.

Могучий широкотелый флагманский корабль идет к нам напрямик, строго по радиопеленгу, легко преодолевая разрушенный зыбью лед. Мощные судовые прожекторы, ослепительные юпитеры кинооператоров, полное палубное освещение, огни иллюминаторов — все это вместе взятое составляет какой-то удивительный праздник света. Мы отвыкли за тоды дрейфа от такого обилия света и теперь, ослепленные им, немного растерянные, заматались по палубе точь-в-точь, как куры, которых ночью спугнули с насеста.

Я долго готовился к этой встрече, медленно представлял ее во всех деталях, чтобы чего-нибудь не упустить. Но вот ледокол уже совсем рядом с нами, а мне кажется, что мы все еще не готовы. Я прихожу в отчаяние от одной мысли о том, что флаги расцвечивания еще не подняты, что в кубрике еще спят, что люди еще не одеты в малицы, — мы условились встретить ледокол в полном арктическом обмундировании.

— Скорее, скорее! — тороплю я доктора. — Сейчас же будите Буторина! Мы ничего не успеем сделать...

Доктор стремглав мчится в кубрик. Уже через минуту на палубу выскакивают на ходу одевающиеся люди. Лучи прожекторов ледокола ярко освещают их лица. Люди жмурятся, отворачиваются, но потом вновь и вновь жадно разглядывают приближающийся флагманский корабль. Слышится смех, шутки. Разговариваем мы громче обычного. Это от нервной приподнятости.

ского корабля усеян людьми. Они машут нам шапками, что-то кричат. Пока различить их лица невозможно, но в каждом мы видим родного и близкого человека.

Над ледоколом взвивается облачко пара, и густой, бархатистый гудок оглашает льды приветственными кликами. Я избегаю на мостик и, волнуясь, нажимаю рукоятку свистка. Несколько се-



Седовцы приветствуют ледокол «И. Сталин»

Буторин и Гаманков возятся с флагами расцветивания. У них что-то, как назло, заело, и они, опасливо оглядываясь на ледокол, работают изо всех сил.

А на ледоколе уже ясно видят нас. Высоко к небу взлетает ракета, за ней другая, третья. Целый дождь разноцветных огней спускается на льды, прорезая мрак. И вот уже до нас доносятся звуки поющей меди. При свете палубных огней можно различить, как поблескивают трубы музыкантов ледокола. Весь правый борт флагман-

кунд он гудит басом, но потом начинает петь тоненьким, словно застуженным голоском. Я передаю рукоятку свистка Токареву и сбегаю вниз к фальшборту. Ледокол приближается вплотную к «Седову», и на его широкой, могучей груди уже можно прочесть гордое имя «И. Сталин».

— Да здравствуют сталинцы! — кричит кто-то рядом со мной.

— Да здравствует Сталин! — вырывается у всех нас из груди.

— Да здравствует родина!

Все громче гремит оркестр. Все силь-

нее звучат приветственные крики на палубах обоих кораблей. Я вижу, как по обветренным щекам моих друзей сползают предательские капли влаги.

— От света это... Света слишком много, — смущенно говорит, как бы оправдываясь, Полянский.

А Андрей Георгиевич ведет себя как-то странно, он то аплодирует, то громко смеется, то вдруг вытаскивает из

в чем дело: исполнительный и педантичный старший помощник не считал себя вправе нарушить установленный распорядок научных наблюдений даже за три минуты до конца дрейфа! Я закричал:

— Андрей Георгиевич! Вернитесь! Сейчас будем швартоваться. Дрейф закончен...

Ефремов оглянулся, растерянно пожал



«И. Сталин» и «Г. Седов» сближаются во льдах

кармана часы, смотрит на них и беспомощно оглядывается по сторонам. Неожиданно, когда корабли уже стали почти-что рядом, он подходит ко мне и говорит:

— Константин Сергеевич! Срок подошел. Я побегу делать метеонаблюдения. Вы побудете на палубе?..

И он привычной походкой направляется к метеобудке.

До меня в этой праздничной суматохе не сразу доходит смысл слов Андрея Георгиевича. Только тогда, когда он уже добрался до будки, я сообразил,

явными плечами, явно неодобрительно покачал головой и, сгорбившись, стал спускаться на палубу, бережно прикрыв дверцу метеобудки...

Всего десять метров разделяют теперь корабли. Вот бок ледокола уже поровнялся с носом «Седова». Юпитеры кинооператоров обращены прямо нам в лицо, — очевидно, снимают наш корабль. Оттуда что-то кричат мне. Я подхожу к поручням и тоже кричу, заслоня глаза рукой:

— Я ничего не вижу! Кто со мной говорит?..

Но вот луч юпитера на мгновение скользнул в сторону, и я увидел плотную фигуру, смутно знакомую по фотографиям, опубликованным в газетах два с половиной года назад. Не совсем уверенно я произношу:

— Папанин!.. Иван Дмитриевич!.. Здравствуйте...

— Здравствуй, браток, здравствуй! — донеслось в ответ.

Папанин разглядывает меня так же внимательно, как и я его: газетные фотографии — увы! — лишь отдаленно передают облик человека. В это время слышится знакомый голос Белоусова:

— Сергеевич, держи кормовые швартовы!..

— Есть, принимаем! — отвечаю я.

Папанин, убедившись, что перед ним капитан «Седова», оживает и кричит:

— Константин Сергеевич! Идите к нам! Все идите...

С борта ледокола уже спустили на лед деревянные сходни, т. е. оба трапа были разбиты штормом еще в Баренцовом море. Я откликаюсь:

— Все? Не можем все... У нас котлы под парами.

Через какую-нибудь минуту на лед с флагманского корабля спускается человек. Я шагнул к нему навстречу. По трапу поднялся Александр Алферов — брат нашего Всеволода, возвращавшийся на родной корабль. Мы обмениваемся рукопожатиями, целуемся. Алферов скороговоркой выпаливает:

— Товарищ капитан! Разрешите стать на вахту у котлов, заменить брата...

— Разрешаю. Обратитесь к старшему механику, — говорю я, невольно любясь раскрасневшимся от счастья машинистом.

— Идите же сюда! Идите скорее!.. — несется с ледокола.

Мы торопливо сбегает по трапу.

Впервые за два с половиной года весь экипаж «Седова» покидает свой корабль!

Еще мгновение — и мы попадаем в какой-то водоворот. Я слышу приветствия, треск киноаппарата, какие-то отрывочные восклицания, поцелуи. Кто-

то жмет руку, кто-то обнимает, чья-то щетинистая борода колет мне щеку, чьи-то руки суют в карман какие-то письма, кто-то легонько подталкивает меня в спину, — просят куда-то пройти, что-то сказать, что-то делать.

Как в кинематографе, мелькают, появляясь и исчезая, знакомые и незнакомые лица.

— Костя! Ну, Костя, — минуточку... Ну, сделай лицо веселее...

Это неистовый фоторепортер Митя Дебабов¹, с которым мы когда-то дружились на «Красине».

— Товарищ Бадигин, пожалуйста, хоть два слова для «Вечерней Москвы»...

Это моряк с ледокола «И. Сталин», корреспондент-доброволец столичной газеты.

— Пришлось-таки еще раз свидетелься! По вашей телеграмме в один час собрался...

Это Иван Васильевич Екимов, старый буфетчик «Седова». От радости он плачет...

Горсточка седовцев как-то сразу тает в этой бушующей толпе. Александра Александровича Полянского потащил к себе в каюту его друг Женья Гиршевич, старший радист флагманского корабля. Наши механики уже нырнули в каюты своих приятелей. Бывшие седовцы Каминский и Кучумов одолевают расспросами Мегера и Гетмана.

Я какими-то судьбами очутился в салоне у Белоусова. В меховом наряде немного жарко. Яркий свет с непривычки режет глаза. Меня заботливо, словно тяжело больного, усаживают в какое-то кресло. Чувствую себя крайне глупо и неудобно, — в одну руку мне сунули апельсин, в другую яблоко; перед самым носом — целая ваза фруктов; все вокруг охают, ахают, вздыхают, ходят чуть ли не на цыпочках.

Разговор идет как-то впереводку, отрывочно, невпопад:

— Ну, так как же вы?..

— Ничего, все в порядке...

¹ Все фото в этом очерке (кроме стр. 173) сделаны Д. Дебабовым и публикуются впервые.

— Все ли здоровы?
 — Как видите...
 — Нет, вы только подумайте, как это чудесно!..
 — Еще бы!..
 — Ну, так как же вы все-таки там, а?..
 — Ничего, ничего, отлично...
 Видимо, каждому хочется сказать нам что-то приятное, сделать что-нибудь хо-

На палубе у подножия подъемной стрелы собираются экипажи обоих кораблей — крохотный коллектив «Седова» и огромный коллектив «И. Сталина». Иван Дмитриевич приветствует нас, поздравляет с успешным завершением дрейфа, с большой теплотой и сердечностью говорит о лучшем друге полярников—Сталине, которому мы обязаны всеми своими успехами.



А. А. Полянский и К. С. Бадигин подписывают рапорт товарищу Сталину об окончании дрейфа

рошее. Раздают фотографии наших родных, сделанные перед самым отходом ледокола, суют свежие газеты, опять дают фрукты. Почему-то каждому хочется угостить нас именно фруктами. Но, как ни привлекательны эти плоды, есть их решительно некогда. Я так и проходил весь вечер с апельсином в руке.

— Ну, на митинг, братки, пора на митинг!.. — торопит нас Папанин.

Могучее «ура» гремит над притихшими льдами, и торжественные звуки «Интернационала» завершают митинг. В это время радисты уже передают в Москву подписанный всеми членами экипажа «Седова» рапорт об окончании дрейфа. Его адрес состоит из четырех слов:

«Москва, Кремль, товарищу Сталину».
 ...Было уже далеко за полночь, когда я принял пополнение экипажа, при-

бывшее с ледоколом «И. Сталин», проинструктировал вступившего на вахту третьего помощника Малькова, закончил целую серию бесед с корреспондентами и кинорепортерами и, наконец, улизнул в каюту к Белоусову, который обещал мне до утра полную безопасность.

— Ни о чем не спрашиваю, ничего не требую, ничем пока не интересуюсь, никого сюда не пускаю, — заявил он мне, улыбаясь. — Вот тебе мыло, полотенце, вот тут ванна, а это твоя койка. Одним словом, будь как у себя в каюте...

Попыхивая папиросой, он уселся за стол и углубился в чтение какой-то книги, словно меня и не было в каюте.

Трудно было придумать более ценный подарок, чем это предложение! После всей праздничной сутолоки, после всех приветствий и поздравлений так хотелось побыть наедине с самим собой, перечитать письма, полученные из дому, собраться с мыслями, хоть немного успокоиться.

Добрый час просидел я в ванне, настоящей, давно невиданной ванне, любуясь безукоризненно чистой эмалью и сверкающими никелированными кранами. Потом вылез из нее, вытерся такой же безукоризненно чистой мохнатой простыней, вышел на цыпочках в каюту и нырнул под мягкое новенькое одеяло. Не было во всем мире в эту минуту более счастливого человека, чем я!

★

Но наш рейс еще не был закончен. Подойдя к «Седову», ледокол «И. Сталин» выполнил лишь первую половину задачи, поставленной перед ним партией и правительством. Нам предстояло проделать еще длинный и трудный путь от 80-й параллели до Мурманска, сквозь льды Гренландского моря и беспокойные воды Баренцова моря. И на завтра же после торжественной, праздничной встречи начались самые прозаические, будничные приготовления к походу.

С борта «И. Сталина» перегружали на «Седов» уголь, ящики с продовольствием. По четырем шлангам с ледо-

кола подавали кипяток, — струи горячей воды разрушали ледяную чашу, примерзшую к корпусу нашего корабля. Палубная команда, усиленная пополнением, заваливала якоря на палубу и отклепывала их, готовясь к буксировке. Дмитрий Прокофьевич Буторин, которого я назначил 14 января четвертым помощником капитана, как хорошо освоившего курс школы судоводителей двухсоттонников, действовал весьма расторопно. Работа быстро подвигалась вперед.

Пока палубная команда готовила судно к буксировке, а механики в последний раз проверяли машину, назначенная И. Д. Папаниным комиссия осматривала судно, чтобы установить, как отозвалось на его состоянии длительное пребывание в дрейфе. После двухдневной работы комиссия составила такой документ:

АКТ

Осмотром корпуса установлено:

1) Вся наружная обшивка, доступная осмотру, повреждений не имеет, за исключением двух вмятин на правом борту в районе третьего трюма. Водотечности в районе вмятины не наблюдалось.

2) Набор корпуса, за исключением прогиба стального айсбимса в машинном отделении и незначительного прогиба шпангоута в районе вмятин, находится в удовлетворительном состоянии.

3) В носовой части судна (район форпика), по заявлению командования л/п «Г. Седов», имелась водотечность через расшатанные заклепки, наблюдавшаяся до дрейфа.

4) В акте, составленном на л/п «Г. Седов» в июле месяце 1938 года, указано, что нижняя часть рамы ахтерштевня вместе с пером руля свернута вправо. Во время дрейфа летом 1939 года экипажем л/п «Г. Седов» перо руля и рудерпис в месте прогиба перерезаны, чтобы получить частичную управляемость. В настоящий момент установить возможность управления не удалось, так как вся подводная часть корпуса, в том числе руль, находится в ледяной чашке.

5) Водотечности в междудонных отсеках на протяжении дрейфа не наблюдалось, в настоящее время в отсеках частично еще осталась лед.

По машинно-котельному отделению:

1) Котлы находятся в удовлетворительном рабочем состоянии под паром (питаются заборной водой).

2) Вспомогательный котел при поступлении воды в корпус судна во время кре-

на был приведен в действие в течение 2½ часов, в результате чего были обнаружены течи трубок.

3) Машина последний раз работала в сентябре 1938 года, после чего находилась в консервации. Сейчас заканчивается подготовка к походу. Машина еще не проворачивалась, так как винт заморожен в лед.

4) Все отливные средства не испытывались, но, по заявлению командования «Г. Седова», находятся в удовлетворительном состоянии.

По помещениям:

1) Носовой кубрик не приспособлен для жилья, так как обшивки были израсходованы в качестве топлива.

2) Частично убраны переборки в помещениях комсостава в целях экономии топлива при камельковом отоплении.

3) В трюмах № 1 и № 2 груза нет, в трюме № 3 имеется около 350 железной бочкотары, частично наполненной водой. В настоящее время вода замерзла.

4) Осушительная система во всех трюмах очищена от грязи, но в трюме № 3 требует дополнительной очистки.

5) Вспомогательные механизмы, в частности главный и вспомогательный холодильники, в неудовлетворительном состоянии и по приходе в порт требуют немедленной замены.

6) Брашпиль находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены.

Ввиду отсутствия необходимого ремонта л/п «Г. Седов» во время эксплуатации до дрейфа, а также длительной консервации во время дрейфа судно нуждается в капитальном ремонте по приходе в порт.

Таким образом, все основные жизненные организмы корабля были сохранены в целости и исправности. Наши механики ждали только приказа «вперед».

Наступила торжественная минута: после долгого перерыва можно было проверить, как действует сердце корабля — главная машина. В машинном отделении собралась большая группа гостей, пришедших полюбоваться этим зрелищем. Кинооператоры притащили сюда даже свои аппараты и юпитеры — было решено заснять на пленку первый оборот машинного вала.

Когда все приготовления были закончены, Токарев подошел к регулятору и слегка приоткрыл клапаны. В наступившей напряженной тишине был отчетливо слышен каждый звук: легкое шипение пара, стрекотанье киноаппаратов, гуденье вентилятора, нагнетающего воздух в топку. И вдруг, слышал-

ся тяжелый, мощный вздох, — пар с силой двинул поршень, заработали шатуны, и солидный гребной вал пришел в движение.

Токарев точным заученным движением перекрыл пар и высоко поднял большой палец:

— Как часы!..

Гребной вал совершил полный оборот. Все детали механизмов действовали вполне исправно.

Всю ночь с 14 на 15 января я провел на ногах, — как-раз в эти часы завершалась очистка руля и винта от льда. Уже под утро я направился к Белоусову — посоветоваться с ним о подготовке к рейсу. Неожиданно в каюту вошел старший радист флагманского корабля Гиршевич. В руках у него было два телеграфных бланка.

— Вам, — сказал он мне, протягивая листок. — И вам... — Он повернулся к Белоусову и отдал ему второй бланк. В них значилось:

ЛЕДОКОЛ «СЕДОВ»

Бадигину
Трофимову

Команде ледокола «Седов»

Приветствуем вас и весь экипаж «Седова» с успешным преодолением трудностей героического дрейфа в Северном Ледовитом океане.

Ждем вашего возвращения в Москву. Горячий привет!

И. Сталин

В. Молотов

ЛЕДОКОЛ «И. СТАЛИН»

Папанину
Белоусову

Команде ледокола «И. Сталин»

Примите нашу благодарность за блестящее выполнение первой части задания по выводу ледокола «Седов» из льдов Гренландского моря.

Горячий привет!

И. Сталин

В. Молотов

Мы обменялись взглядами с Белоусовым. В глазах капитана флагманского корабля я прочел выражение непередаваемого волнения, — никогда я не видел его таким.

А в двери уже стучали — моряки, журналисты, механики, научные работники.

В час дня на небольшой площадке, у заиндевших самолетов, на палубе «И. Сталина» собрался митинг. Небо очистилось от туч, и над кораблями ярко блистали звезды. Люди, одетые в малицы и ватные костюмы, поеживались от холода: оттепель сменилась морозом. Но настроение у всех было праздничное, приподнятое, — нам предстояло уже через несколько часов выступить в поход. Разбитые зыбью льдины с сухим скрежетом скреблись о стальные борта. Корабли слегка покачивались.

Помполит флагманского корабля уже собирался открыть митинг, когда с «Седова» примчался возбужденный Буйницкий. Он задержался, чтобы определить координаты судов.

— Константин Сергеевич! — зашептал он. — Мы пересекли 80-ю параллель... Наша широта $79^{\circ}59'$, долгота $0^{\circ}40'$ — мы на самом краю Восточного полушария...

В ту же минуту с шипением взлетели в воздух ракеты, рассыпая дождь огней. Зажглись прожекторы.

В морском воздухе загремело «ура». Началась долгая и страстная овация в честь товарищей Сталина и Молотова, в честь родины и партии.

Долго длится этот митинг. Выступают Папанин, я, Белоусов, произносят речи Трофимов, Буйницкий, работники экспедиции на ледоколе «И. Сталин». С огромным подъемом участники митинга утверждают текст ответных телеграмм товарищам Сталину и Молотову.

И, как только митинг заканчивается, с удвоенной энергией возобновляется подготовка к походу.

Вот уже вечер подошел — последний вечер нашей стоянки. Назавтра мы уходим на юг. Кажется, сама Арктика решила отпустить нас на покой без новых тревог и волнений, — по левому борту «Седова» открылись широкие разводья, черные пространства воды охватывают уже корму и огибают носовую часть «И. Сталина». Небо окончательно очистилось от облаков. Ветер утих. Но отзвуки океанской зыби все еще доносятся до нас, — кромка недалеко. Да,

пора, пора проститься с льдами, которые провожали нас от моря Лаптевых до Гренландского моря. Беспокойная и шумная компания провожатых! Но мы так свыклись с нею, что как-будто бы даже жаль расставаться.

Решили провести прощание со льдами торжественно и празднично, — мы оставим на широком торосе красное знамя с именем того, чьи заботы и внимание обеспечили успех нашего дрейфа.

Вот оно, это знамя, заботливо подготовленное в кубрике «Седова», — большое красное полотнище, укрепленное на высоком древке. Наискосок волнующее имя — Сталин. Внизу даты и координаты первой и последней точек дрейфа.

Весь экипаж «Седова» в сборе. Люди одеты в оленьи малицы. За плечами карабины.

— Ну, пошли, товарищи! — говорю я, поднимая знамя. Мы спускаемся по парадному трапу. Высоко поднятые факелы озаряют красноватыми отблесками лед, немногочисленную нашу колонну, знамя, развевающееся над нашими головами. Бледное сияние тонкого полумесяца придает этому пейзажу несколько романтический колорит.

В ста метрах от борта «Седова» висится довольно значительный ледяной холм. Медленно, неторопливо, стараясь как можно дольше продлить эти минуты прощания с Арктикой, шагаем к нему.

Сколько раз мы выходили вот так же, со знаменем и факелами, на праздничные митинги! Но эта демонстрация ничем не похожа на предыдущие. Она по-особому мила нам и дорога.

Вот мы уже и у цели. Стоим на вершине ледяного холма, тесной кучкой прижавшись друг к другу. Прочно и глубоко вбито в лед древко знамени. Легкий ветерок слегка колышет его полотнище. Снимаем меховые шапки, прощаясь со своим стягом.

Стоим молча, без слов. Я оглядываю озаренные факелами серьезные, сосредоточенные лица своих друзей. Они обветрены, исчерчены морщинами. В волосах у многих уже серебрится седина. Да, не даром дался нам этот дрейф! Мы все повзрослели, стали старше,

опытнее. Скоро, скоро нам предстоит расстаться.

Видимо, и моим друзьям не чужды такие же немного грустные мысли. Одни, потупившись, глядят вниз, на лед. Другие устремили свои взоры на горизонт—туда, где робко розовеет ответ далекой зари. Каждый по-своему переживает минуты прощания, и молчание это красноречивее самых пылких речей.

Я поднимаю руку. Это сигнал: «К салюту!» Все винтовки и карабины подняты вверх, и через мгновение над льдами прокатывается гулкое эхо залпа.

Второй залп. «Седов» откликается на него протяжным басистым гудком, — корабль вместе со своим экипажем прощается со льдами.

Третий залп. Теперь все кончено, но мы медлим уходить и еще несколько минут стоим на ледяном холме. Только напоминание о том, что надо ускорить подготовку к отходу корабля, заставляет людей расстаться со стягом, на котором в свете молодого месяца белеют буквы:

«Сталин».

★

В шесть часов утра 16 января Виктору Буйницкому снова удалось определить координаты судов. Корабли находились уже на $79^{\circ}42'$ северной широты и $0^{\circ}55'$ восточной

долготы,—нас быстро несло почти прямо на юг. Лды разрежались все больше, влияние качки становилось все заметнее.

Но от остатков ледяной чаши, примерзшей к корпусу «Седова», освободиться полностью еще не удалось.

К нам подошел ледакол. Мы приняли буксир, и могучий флагманский корабль потянул нас через тяжелый лед. Но и на этот раз остатки ледяной чаши уцелели. Они держались настоль-



Седовцы водружают на льдине флаг с именем товарища Сталина

ко прочно, что встречные льдины крошились, как мел, при соприкосновении с этими острыми закраинами из многолетнего спрессованного льда.

Наконец, буксир, не выдержав страшного напряжения, беззвучно лопнул, как гнилая нитка.

— Будем опять взрывать! — передал я на флагманский корабль.

Ледокол отошел. Буторин спустился на лед с бутылками, наполненными аммоналом. Он заложил заряды у края чаши, у левого борта, и зажег фитиль. Раздался взрыв — судно вздрогнуло. Большие куски льда отвалились. Буторин перешел направо и повторил ту же операцию у правого борта.

В результате у корпуса судна остались лишь самые незначительные обломки ледяной чаши.

Я передал на ледокол:

— Попытаюсь итти за вами.

Флагманский корабль ответил гудком:

— Следовать за мной!..

Наступила решающая минута, ради которой мы положили столько усилий: наш укороченный руль должен был выдержать испытание. Готовясь к походу, механики ввели в действие рулевую машину и заставили перо поворачиваться в обе стороны, перекадывая его с борта на борт. Штуртрос был уже соединен, и мы ждали, что руль будет работать нормально.

Было 19 часов 57 минут, когда я поставил ручку машинного телеграфа на деление «малый вперед», — и за кормой «Седова» забурлила вода. Рулевому было приказано держать в кильватер флагманскому кораблю. Но тут произошло нечто совершенно непредвиденное: «Седов» неожиданно развернулся влево и уткнулся носом в лед.

У меня по телу прошел озноб. Неужели же все наши заверения о том, что судну возвращена управляемость, оказались фальшивыми? Неужели мы зря трудились под кормой в течение нескольких месяцев?

Раньше, до того, как мы перерезали руль, «Седов» поворачивался вправо, так как и перо было отогнуто вправо. Теперь же судно почему-то разворачивалось влево. Я не мог ничем объяснить этот странный, самовольный маневр судна. Да и некогда было заниматься анализом в такое горячее время. Следовало считаться с фактом. «Седов» не слушается руля. И в 20 часов 30 минут после нескольких безуспешных попыток

выправить движение судна я с горечью записал в вахтенном журнале:

«Ввиду невозможности следовать самостоятельно, застопорили машину».

Ледокол вернулся и передал нам новый буксир. Злые, нахмуренные седовцы торопливо закрепляли его в клюзах. Мы избегали глядеть в глаза друг другу, — было нестерпимо стыдно и больно.

Наконец, все приготовления к буксировке были закончены, и ледокол дал ход вперед. Нас окружил крупно- и мелко-битый лед мощностью 9—10 баллов. Начиналось сжатие. Лдины, слегка покачиваясь от зыби, сходились и теснили друг друга. «Седов» упрямо заворачивал носом влево и тащился за флагманским кораблем как-то боком, увлекая груды льда, скоплавшиеся под правым бортом. И снова стальной буксирный трос беззвучно лопнул...

Только к полудню 17 января, после долгой и утомительной борьбы, во время которой были порваны один за другим еще два буксирных троса, флагманскому кораблю удалось преодолеть несколько миль, отделявших нас от широкого разводья, которое находилось у самой кромки. К этому времени на «Седове» вступила в строй пародинамо, и корабль впервые после двухлетнего перерыва засиял всеми своими огнями. Но на душе у нас попржему было невесело: как мы ни ломали голову, выяснить, что мешает «Седову» итти по курсу, никак не удавалось.

Три часа спустя наши радисты приняли сообщение капитана парохода «Сталинград» Сахарова, который вез нам и ледоколу уголь:

«Видю огни прожекторов, следую пенгену «И. Сталина».

Я хорошо знал этого молодого, смелого капитана, который без боязни вступил ночью во льды, чтобы самостоятельно пробиться к нам и поскорее доставить топливо. Отец Сахарова был капитаном того самого печально-знаменитого «Святого великомученика Фоки», на котором так трагически завершилась экспедиция Георгия Седова. Капитан «Фоки» сделал все, что было в его силах, чтобы проникнуть возможно даль-

ше на север, но как малы были эти возможности у дряхлого и дырявого суденышка!

Сын капитана «Святого великомученика Фоки» неизмеримо счастливее его. Уже в 1937 году, когда я плывал на «Садко», он работал старшим помощником капитана на этом первоклассном ледокольном пароходе. Щупленький, низкорослый, черноволосый, он не отличался внешней солидностью. В своих кожаных галифе, заправленных в носки, и в туфлях Сахаров отнюдь не производил впечатления старого морского волка. Но он пользовался большим уважением и авторитетом, как прекрасный специалист, отлично знающий свое дело.

И вот теперь капитан Сахаров ведет сквозь льды «Сталинград» навстречу «Георгию Седову». Нетерпение Сахарова нетрудно понять, — ведь с этим именем в его семье связано представление не только о знаменитом деятеле Арктики, но и о близком отцу человеке, вместе с которым он четверть века назад тешно пытался достичь полюса...

Флагманский корабль оставил нас и устремился навстречу «Сталинграду», чтобы обеспечить его движение в дрейфующих льдах. К вечеру «И. Сталин» и «Сталинград» вернулись. Среди плавающих льдов Гренландского моря стали рядом три мощных корабля, над которыми реяли флаги СССР.

Зыбь, шедшая с Атлантического океана, еще больше усилилась. Огромные водяные валы мерно катились друг за другом, разрушая разреженные льды. «Седов» тяжело покачивался с боку на бок. Мы с огромным удовольствием встретили качку — настоящую океанскую качку, от которой так отвыкли за эти годы. Невыразимо приятно было чувствовать, что под тобою живое, вечно движущееся, бурное и изменчивое море, а не мертвенный опостылевший своим однообразием лед. Но для перегрузки угля с корабля на корабль такая погодка отнюдь не является идеальной. «Седов» и «Сталинград», стучась бортами, прыгали на воде, как пробки. Ледокол, более других судов подверженный качке, вообще не смог бункероваться так близко от кромки льда и отошел чуть по-

дальше от «Сталинграда», чтобы переждать зыбь.

Нам надо было принять в свои бункера 600 тонн угля, — я хотел загрузить углем корму, чтобы обеспечить работу укороченного пера. Сахаров обещал Папанину закончить перегрузку за 15 часов. Но усиливающееся волнение до крайности затрудняло работу: прошло уже 9 часов, а дело почти не двигалось. Маленький, сухонький капитан «Сталинграда» все в тех же неизменных галифе, заправленных в носки, суетился на палубе, торопя своих механиков.

Папанин, немного нервничая, поднес ко рту мегафон и крикнул:

— Сахаров, ты обещал весь уголек дать за 15 часов. Как теперь будет, браток, а?..

Капитан «Сталинграда» ответил:

— Иван Дмитриевич, 15 часов еще не прошло...

Папанин посмотрел на часы, пожал плечами и крикнул:

— Посмотрим!..

До срока оставалось всего шесть часов. Было более чем сомнительно, что бункеровку удастся закончить во-время. Но молодой капитан «Сталинграда» решил во что бы то ни стало выполнить свое обещание. Он спустился к лебедке, ссадил машиниста и сам начал орудовать рычагами — да так, что любо было глядеть. Ковш углеперегрузателя летал в воздухе, как птица, и уголь сыпался в трюм «Седова» почти непрерывным потоком. На исходе пятнадцатого часа погрузка была закончена.

Нас постепенно сносило дальше на юг. Льды расплзались и терялись в темноте. Похоже было на то, что скоро корабли очутятся на чистой воде. Следовало возможно скорее закончить погрузку ледокола, чтобы затем пойти к Большой Земле. И Папанин отдал распоряжение:

«Сталинграду» войти за «И. Сталиным» во льды, чтобы в спокойной обстановке перегрузить топливо. «Седову» ждать возвращения ледокола».

Через полчаса огни кораблей растаяли в темноте, и мы снова остались одни. Качка все усиливалась. Корабль

швыряло, как попало. В каютах звенели падающие со стола стаканы, чернильницы, ездили с места на место чемоданы, летали бумаги.

Льды окончательно развело, и теперь «Седов» был на чистой воде. Положение становилось серьезным. Как мы ни билась, нам не удавалось заставить корабль слушаться руля, — он попрежнему упорно заворачивал влево. Поэтому войти во льды, где можно было бы отстояться во время шторма, не удавалось. Здесь же, на чистой воде, шторм мог оказаться гибельным для неуправляемого судна.

Я решил еще раз проверить все детали рулевого управления. Одновременно вызвал по радио Папанина и доложил ему о сложившейся обстановке. Вначале он не понял, что произошло, — так быстро изменились ледовые условия.

— Зачем вы вышли на чистую воду? — с недоумением спросил он меня.

Я ответил:

— Не мы вышли, а нас вынесло. Все время стараюсь войти в лед, но судно руля не слушается...

— Значит, у вас не судно, а баржа, — в сердцах сказал Папанин...

Расстроенный, я вышел из радиорубки. Папанин был прав: судно, лишенное управления, — та же баржа. Неужели же нам так и не удастся наладить рулевое управление.

Механики возились у штурвала, проверяли румпель, осматривали каждое соединение штуртроса. Как-будто бы все было в полном порядке. И вдруг, в то самое мгновение, когда мы были готовы окончательно отставить все попытки исправить руль, нам случайно удалось найти причину всех наших бед. Она была необыкновенно проста. Как это часто случается, мы анализировали сотни сложнейших технических вариантов, в то время как надо было лишь взглянуть, как сектор руля сообщен с штуртросом.

Оказалось, что при сообщении штуртроса наши механики забыли поставить перо в прямое положение. Оно оставалось под левым бортом в то время, как указатель положения руля на мостике показывал «прямо руля». Поэтому-то

судно и разворачивалось с таким упорством влево, хотя мы были уверены, что перо руля стоит прямо.

Всего несколько минут потребовалось для того, чтобы исправить глупейшую монтажную ошибку. Сразу же я дал ход, и судно с хорошо загруженной кормой послушно двинулось заданным курсом в разрез волне. Оно так легко и чутко слушалось руля, что непосвященный человек даже не догадался бы, что за кормой у «Седова» осталась лишь часть пера.

— Лево руля! — командовал я штурвальному.

Судно тотчас же поворачивало влево. — Так держать!

Судно шло прямо вперед.

— Право руля!

Судно разворачивало вправо.

Испытав судно в течение получаса и убедившись в том, что оно прекрасно слушается руля, я поспешил в радиорубку, чтобы донести Папанину о результатах проверки управления.

— Иван Дмитриевич! — сказал я в микрофон. — Рапорту о полной исправности руля. На малых ходах — удовлетворительно, на средних и полных — хорошо. Так что «Седов» уже не баржа. Жду ваших распоряжений.

Мое донесение, переданное всего час спустя после нашего разговора по радио, видимо, вызвало сенсацию на ледаколе. Поздравив меня и весь коллектив, Иван Дмитриевич передал распоряжение:

— Следуйте к ледаколу...

«Седов» вошел во льды, легко расталкивая обломки полей. Я позвал Трофимова:

— Дмитрий Григорьевич! Теперь давай самый полный, жми все, что только возможно. Это для нас — самая настоящая проверка...

Стармех понимающе кивнул головой и нырнул в машинное отделение. Я поднялся на мостик и невольно залюбовался своим кораблем. Вокруг нас был битый сплошной лед мощностью 10 баллов. «Седов» со звоном и грохотом крошил, давил и мял льдины, двигаясь вперед со скоростью 4—5 миль в час.

Возвращенный к жизни после двух с половиной лет вынужденного бездействия, корабль, казалось, с удвоенной энергией штурмовал льды. Было приятно и радостно видеть реальные плоды долгого и упорного труда всего нашего коллектива: мы не только сберегли корабль от гибели, но и подготовили его к ледовым битвам.

Огней «И. Сталина» и «Сталинграда» все еще не было видно, хотя мы шли уже минут двадцать

Внезапно Полянский принял радиogramму от Папанина:

«Сталинград» зажало. Следуйте к нему...»

Битые льды, окружавшие нас, с каждой милей становились все более мощными. «Седов» дрожал от напряжения, но хода не сбавлял. За кормой чернела вода, в которой плыли, покачиваясь, куски старого льда.

Наконец, впереди замелькали огни,— это был «Сталинград». Но, видимо, необходимость в нашей помощи отпала, и Папанин передал новое распоряжение:

«Седову» — отставить. Выходить на разводья...»

Разворачиваться в сплошном битом льду с укороченным рулем было довольно рискованно. Но уж если проверять — так проверять до конца. Я дал распоряжение:

— Самые полные обороты!..

Биение машинного сердца ускорилося. Винт еще сильнее забурлил за кормой. Руль лег на борт, и судно, вздрогнув, начало описывать циркуляцию.

Свободные от вахты члены команды выбежали на палубу и любовались этим красивым маневром. Послушный рулю корабль уверенно развернулся во льдах и лег на обратный курс, оставив позади подковообразный черный след.

— Сделано хорошо! — восхищенно проговорил Андрей Георгиевич, оглядываясь назад, — наш старик еще работает в Арктике...

Я молча кивнул головой. Экзамен, действительно, был выдержан до конца, — «Седов» не только мог следовать заданным курсом, но и был способен маневрировать во льду...

★

Поздней ночью 21 января «И. Сталин» и «Георгий Седов» входили в извилистый Айс-фиорд. Озаренные лунным светом, обрывистые берега Шпицбергена, покрытые вечными ледниками, выглядели фантастическими, совершенно неправдоподобными декорациями. Все же это была земля, пусть обледеневшая, каменистая, но — настоящая земля, по которой мы так истосковались. В последний раз мы видели землю в Тикси, — это было два с половиной года назад. И мы жадными глазами разглядывали эти скалистые мысы, эти голубоватые глетчеры, эти занесенные снегом горы — угрюмую, но прекрасную землю, так хорошо изведенную русскими мореходами еще в средние века.

Почти трое суток шли мы от ледовой кромки до Айс-фиорда. Хотя «Седов» мог следовать за флагманским кораблем самостоятельно, И. Д. Папанин распорядился на всякий случай подать нам два буксирных конца. Но наша машина, как и следовало ожидать, работала без перебоев, и буксирные концы почти не натягивались, купаясь в солевой воде, — «Седов» шел самостоятельно в кильватере у ледокола.

Плавание проходило очень спокойно. Море баловало нас: сразу же, как только мы отошли от кромки, установилась прекрасная, тихая погода. Слегка покачивало. На воде блестела до самого горизонта серебряная лунная дорожка. На юге все ярче разгоралась заря — предвестник скорого окончания полярной ночи. К полудню становилось настолько светло, что на палубе можно было без труда разобрать крупную печать.

Под мерный шум машины на корабле после длительного перерыва снова текла привычная морская жизнь: чередовались вахты, на карте прокладывался курс, вахтенные помощники определяли секстаном координаты. Но конец затянувшегося рейса был уже близок, и во всех уголках корабля в свободное от вахт время шли приготовления к высадке на берег.

Виктор Буйницкий бродил по всем каютам и вытаскивал из разных углов то закопченную керосиновую лампу, то рванный бумажный репродуктор, то старый фонарь, — я поручил ему собрать возможно больше предметов нашего обихода для Музея Арктики в Ленинграде.

Буторин почти все свободное время проводил в трюме, откуда доносилось мирное гоготание гусей, такое непривычное для нашего слуха. Гусей нам привезли на ледоколе, чтобы мы ими полакомились. Но эти смиренные домашние птицы так пленили великодушное сердце моего четвертого помощника, что он решительно запротестовал против их уничтожения. Команда поддержала Буторина, и было решено доставить птиц в Мурманск целыми и невредимыми.

Никому не доверяя такого деликатного дела, как кормление своих любимцев, четвертый помощник сам таскал гусям пищу. Возвращаясь из трюма, он докладывал, блаженно улыбаясь:

— Совсем ручные! Как приду к ним, они бегут навстречу и гогочут.

И только Джерри и Лыдинка не разделяли всеобщей привязанности к гусям. Они крайне подозрительно и ревниво глядели на этих белых жирных прищельцев и свирепо лаяли на них...

У входа в Айс-фиорд «И. Сталин» отдал буксирные концы. Они были закреплены за брашпиль «Седова», но мало мощный его механизм оказался бесильным выбрать из воды тяжелые канаты. Похожие на стометровые усы, они висели из клюзов, и нам пришлось волочить их за собой по дну, затрудняя маневрирование «Седову».

Вот уже впереди зажглись электрические огни Баренцбурга. Смутно чернеет силуэт мощного угольного крана высотой в 15-этажный дом. Белоусов радирует мне:

— Константин Сергеевич! Я стану под угольный кран, а ты давай к пассажирской...

Раздвигая битый лед, осторожно подходим к причалу. Навстречу нам несутся крики «ура», аплодисменты. Хочется поскорее сойти на берег, обнять

и расцеловать приветливых граждан самого северного поселка советских горняков. Но длинные тяжелые усы мешают развернуться... Пять раз нацеливаюсь я на причал и пять раз отхожу. Наконец, кое-как удается приткнуться к причалу носом и подать на берег швартовы.

С исключительным радушием встретили нас горняки. В честь экипажей «Седова» и «И. Сталина» устраивается торжественный бал в местном клубе. Нам преподносят подарки, нас закармливают вкуснейшими кушаньями. Нам показывают поселок и рудник, которыми по справедливости гордятся баренцбургцы.

Шпицберген, как известно, принадлежит Норвегии. Но норвежцы не сумели освоить колоссальные природные богатства этого острова. Когда-то в Баренцбурге пытались организовать добычу угля более предприимчивые голландцы. Но жестокий кризис в 1932 году разорил хозяев рудника. Они попытались обратиться за субсидией к королеве, взывая к ее патриотизму. Но королева осталась равнодушна к этой затее. Голландцы были вынуждены продать свой рудник. Его приобрел советский трест «Арктиуголь», который уже в 1931 году начал разработку соседнего угольного месторождения в Гумант-Сити, отстоящем лишь на 30 километров от Баренцбурга.

7 ноября 1932 года шахтеры «Арктикугля» выдали на-гора первые тонны баренцбургского угля, вернув к жизни заброшенный рудник.

Нынешний Баренцбург ничем не напоминает заброшенный поселок, купленный восемь лет назад у голландцев. Мы с большим интересом осмотрели хорошо обставленные общежития горняков, большой благоустроенный клуб, новую столовую с механизированной фабрикой-кухней, теплицы, в которых при электрическом освещении цветут розы и зреют огурцы, животноводческую ферму.

Потом нам пришлось самим принимать гостей. Началось настоящее папаничино: каждому жителю Баренцбурга захотелось поглядеть собственны-

ми глазами на корабль, дрейфовавший через весь Ледовитый океан.

Вот ко мне приходят работники местной газеты «Полярная кочегарка» и торжественно вручают специальный номер, посвященный прибытию «Седова» в Баренцбург. Потом является делегация школьников. Прибегает парикмахер: он узнал, что на «Седове» люди обросли волосами. Может быть, требуется его помощь? Но наши бородачи вежливо, но твердо отказались от услуг полярного мастера — они решили во что бы то ни стало довести свои окладистые бороды до Большой Земли. И только доктор, чтобы не обижать парикмахера, решается расстаться с бородой, оставив лишь пышные усы.

Только поладили с парикмахером, как являются две женщины. Они внимательно оглядывают мою каюту, заставленную ящиками с фруктами и прочими лакомствами, и лица их мрачнеют. Одна из них говорит:

— Всего-то у вас много. А мы думали вас порадовать. Вот жены горняков прислали вам домашней колбасы. Может, не побрезгуете нашим подарком? От души прислали...

Я вскочил с кресла и, немного растерявшись, заговорил, угощая гостей апельсинами и конфетами:

— Что вы, что вы, мы будем очень рады. О такой колбасе я мечтал во льдах. Я ее страшно люблю.

Мои гости успокоились и начали поперебой спрашивать.

— А жареных поросят вы любите? Мы утром пришьлем...

— Может быть, и молока хотите?

— У нас ведь все есть, совсем как на материке...

Я решил оставить на Шпицбергене большую часть наших продовольственных запасов. Зачем везти их в Мурманск, если потом придется доставлять опять те же продукты из Мурманска в Баренцбург?

Зажужжали лебедки, грузовые стрелы пришли в движение, разгрузка трюмов «Седова» началась.

Экспертиза врачей подтвердила, что большинство продуктов, дрейфовавших с нами два с половиной года, сохрани-

ло свои вкусовые качества. Сливочное масло, например, оказалось лучшим, чем то, какое было доставлено в Баренцбург «Арктикснабом».

И только под конец разгрузки произошел один комичный инцидент, над которым мы потом долго хохотали. В спешке Андрей Георгиевич, руководивший сдачей продовольствия, выгрузил на берег несколько бочек с квашеной капустой, на которую мы уже давно махнули рукой, — она за эти годы превратилась в нечто совершенно неопишное. И вот, ознакомившись с пахучим содержимым этих бочек, молоденькая и энергичная заведующая складом явилась ко мне с решительным протестом: как смели мы снабжать советскую колонию недоброкачественными продуктами?

Я осторожно разъяснил, что снабжение Баренцбурга, собственно, не входило в прямые обязанности экипажа «Седова», и порекомендовал утопить бочки с гнилой капустой на дне Айс-фиорда, что и было сделано.

Трое суток пробыли мы в гостях у советских горняков-полярников. За это время бункера и трюмы «И. Сталина» и «Седова» пополнились до отказа первосортным отборным углем.

И 24 января, погасив все огни, наглухо задрав все иллюминаторы, мы вышли в ночное плавание к берегам СССР через чужие воды. Надо было соблюдать строжайшую осторожность и бдительно следить за морем: даже сюда, к обледеневшим берегам Шпицбергена, доносились отголоски бушующей в Европе второй империалистической войны...

★

Всего 682 мили отделяют Баренцбург от Мурманска. Мenee пяти дней понадобилось кораблям, чтобы преодолеть это расстояние. Но нам дни плавания по Баренцову морю показались вечностью.

Радио приносило радостные новости: наши семьи уже прибыли в Мурманск, навстречу нам должен выйти пароход, с которым приедут наши родные; улицы заполярного города уже украшены плакатами и праздничными флагами.

Даже Ленинград и Москва готовились чествовать наш экипаж. И вот наступает день 28 января. До Мурманска осталось менее ста миль. Золотисто-красная заря залила половину небосвода. Звезды угасли. Море приняло, наконец, голубоватый оттенок, — до сих пор оно было черное, как уголь.

Заря разгоралась все ярче и ярче. И, наконец, далеко-далеко на юге брызнул горячий ослепительно-яркий краешек солнца. Гигантскими стрелами помчались ввысь его лучи, и пурпурное сияние окрасило сначала клотики кораблей, потом такелаж, потом палубы, потом морские волны. Стаи белокрылых чаек взлетели навстречу солнцу, которое мы увидели впервые после третьей полярной ночи.

А на юге в небесной синеве уже возникли черные дымки. Они приближались к нам с невероятной быстротой. Уже видны наклоненные назад мачты, лихо заломленные трубы, стремительно подобранные корпуса.

— Эсминцы, — подсказывают нам с гордостью моряки «И. Сталина», — новые эсминцы Северного флота...

Вздымая белые буруны за кормой, эсминцы круто разворачиваются и ложатся на параллельный курс. Вдоль бортов стоят шеренги моряков. На мачтах вьются флажки приветственных сигналов. Гремят орудийные салюты и торжественно плывут звуки «Интернационала». А в вышине уже слышится рокот могучих авиационных моторов, — два мощных воздушных корабля идут к нам навстречу, низко опускаясь и делая круги над «Седовым».

Не успеваем мы налюбоваться этим зрелищем, как кто-то уже кричит:

— Земля! Земля!..

И в самом деле, далеко впереди в голубой дымке медленно-медленно возникают заснеженные гористые отроги, окаймляющие Кольский фиорд. Все наши чувства, все помыслы, все чаяния устремлены к этой далекой земле, и мы глядим на нее, как на самую дорогую нам святыню.

Дни в этих широтах пока еще коротки. Солнце прячется за горизонтом очень быстро. Сумерки сгущаются. Кон-

туры берегов тают и расплываются. Но Большая Земля шлет нам новое напоминание о себе: внезапно вспыхивает и ложится на воду длинная струя голубого света. Еще один луч, еще один... Это моряки береговой обороны приветствуют наши корабли и указывают нам путь к родным берегам. А сзади, справа, слева вспыхивают все новые и новые сигнальные огоньки, — это к нашей эскадре присоединяются новые корабли. Красные, белые, зеленые огни мелькают до самого горизонта.

Я читаю светотелеграмму, которую передает мигающий прожектор нашего флагманского корабля:

«Военному совету. Спасибо за теплую встречу. Привет от седовцев военным морякам Северного флота. Па п а н и н».

Поздняя ночь. Неудобно являться в Мурманск в такой неурочный час, — ведь там готовятся встретить нас массовым митингом. И мы отдаем якоря, чтобы здесь, у входа в Кольский фиорд, выждать наступления утра. Конечно, никто из нас спать не ложится. Трудно заснуть, когда знаешь, что наутро ты вступишь на родную землю и после долгой разлуки обнимешь близких!

Наши родные, которые уже несколько дней жили в Мурманске, провели эту ночь так же тревожно, как и мы: они знали, что «Седов» находится всего в нескольких милях от Мурманска, и считали минуты до отхода парохода «Герцен», предоставленного в их распоряжение.

Было около 11 часов утра, когда «Герцен», наконец, показался на горизонте. Он шел медленно, накренившись на правый борт. На палубе суегились сотни людей, и пароход напоминал своим видом какой-то пловучий муравейник. Гирлянды праздничных флагов, медные трубы музыкантов, эта нервничающая толпа на палубе — все напоминало, что «Герцен» идет далеко не в обычный рейс.

Я не принадлежу к породе чувствительных людей. Но в тот миг, когда корабли пошли на сближение, у меня сильно застучало сердце и к горлу под-

катил какой-то комок. Мы глядели во все глаза на палубу «Герцена», и каждому хотелось поскорее найти в густой толпе его пассажиров лица родных, любимых людей. И вдруг на корме послышался звонкий крик Гетмана, в котором прозвучали сразу и радость, и изумление, и благодарность судьбе за то, что все кончается так благополучно: — Мама! Моя мама...

Какой-то вихрь приветствий, радостных возгласов, оживленных восклицаний поднялся над палубами обеих кораблей.

— Витя! Витя! Ты нас видишь?..

— Привет, Михаил Прокофьевич!..

— Ивану Дмитриевичу!..

— Костя, Костя!.. Ну, Костя же!..

Мне кричат сразу с трех сторон, и я не знаю, куда смотреть раньше. А «Герцен», как назло, подвигается так медленно. Сотни людей навалились на правый борт и, того и гляди, посыплются в воду.

Наконец, в этой толчее я нахожу сразу четырех — вот они: Оля, отец, мать, сестренка. Они изо всех сил пробиваются к борту, орудуя локтями. Оля... Она все та же, ни капельки не изменилась, вот только похудела немного, бедняжка... Отец... Как сильно он поседел за эти два с половиной года! А сестренка-то, сестренка... Я с трудом узнаю Женечку: когда я уезжал, это был долговязый нескладный подросток, а сейчас передо мной миловидная девушка. А вот и мама... Она плачет навзрыд от радости...

— Оля! Поторопи капитана, скажи чтобы он быстрее швартовался, — кричу я в шутку.

Не дожидаясь окончания швартовки, люди лезут через перила и прыгают на борт «Седова». Первым перемахнул к нам гидролог Чернявский — старый друг Виктора Буйницкого, вместе с которым он дрейфовал на «Седове». Потом кто-то помогает перелезть через перила Оле. Я бегу к ней навстречу и вижу, как Полянский торжественно уносит в радиорубку сидящую у него на плечах дочурку Зою. Буторин одним богатырским объятием сжимает и брата, и сестру.

Три часа спустя мы уже мчимся на быстроходном катере к морякам Северного флота. Никогда не изгладится из памяти эта первая встреча с людьми Большой Земли, этот необычайный город, выросший на голых скалах в уединенном фиорде.

А вечером мы были уже в Мурманске. Величественной симфонией гудков встречали нас заводы и корабли, стоящие на рейде. Десятки прожекторов расстилали перед нами светящуюся голубую дорожку на воде. Гром оркестров, тысячеголосое «ура», приветственные крики...

Потрясенные этим приемом, мы медленно-медленно сходим по трапу навстречу ликующим толпам народа.

★

Можно очень долго, без конца рассказывать о теплых, дружеских встречах с гражданами Большой Земли. О том, с каким энтузиазмом чувствовали нас пионеры заполярного Мурманска, мобилизовавшие все свои артистические таланты, чтобы получше развлечь нас. О том, как в морозный февральский вечер на глухом полустанке Кировской дороги рабочие преподнесли нам букеты настоящих живых цветов, заботливо выращенных для нас при искусственном освещении. О том, как ловкие и сильные лыжники Карелии провожали наш поезд от семафора к семафору, чтобы продлить минуты встречи. О том, как гостеприимно встречали наш экипаж горняки Мончегорска и лесорубы Петрозаводска, бойцы финского фронта и колхозники Ленинградской области...

А встреча в самом Ленинграде? С каким теплом и радушным гостеприимством принимали нас ленинградцы, начиная от металлостроителей и судостроителей и кончая курсантами военных училищ и пионерами. А прием в Смольном, где руководитель ленинградских большевиков, один из виднейших деятелей нашей партии — товарищ Жданов обнял и расцеловал каждого из нас и долго беседовал с нами, расспрашивая о нашей жизни и работе в дрейфе!

Мы явственно ощущали, что благополучное завершение дрейфа «Седова» радовало не только нас, полярников. Мы видели, что судьба затерянного во льдах советского парохода и его маленькой команды за эти годы сделалась предметом дум и забот всего советского народа.

И седовласые академики, и машини-

узнавали у меня и моих друзей о состоянии льдов за 86-й параллелью, с каким мы расспрашивали их о второй очереди метро, о Сельскохозяйственной выставке, о последних достижениях науки. Прекрасна и величественна в своем реальном воплощении эта ведущая идея нашей страны — идея коллективизма!



Седовцы на приеме в Смольном у товарища Жданова

Первый ряд (слева): т.т. Токарев С. Д., Полянский А. А., Гаманков Е. И., Трофимов Д. Г., Шарыпов Н. С. и Мегер П. В. Второй ряд: т.т. Бекасов Н. М., Алферов В. С. Третий ряд: Соболевский А. П. (стоит), Буторин Д. П., Гетман И. И., Недавецкий И. М., Ефремов А. Г., Жданов А. А., Папанин И. Д., Бадигин К. С. и Буйницкий В. Х.

сты паровозов, и пожилые колхозницы, и мастера искусств — все с одинаковой заботливостью и товарищеской непринужденностью расспрашивали нас о нашей жизни, о работе, о здоровье, о перспективах исследования Арктики.

Личное в этих беседах не отделялось от общего, — люди, которые, казалось бы, стоят бесконечно далеко от практики ледового мореплавания, с таким же интересом, по-хозяйски, деловито раз-

И чем ближе мы приближались к сердцу родины — Москве, тем больше крепло в нас чувство законной гордости своей могучей страной, своим великодушным народом и вместе с тем чувство глубокой благодарности к тому, кто неустанно воспитывает в советских людях лучшие качества подлинного товарищества, братской взаимопомощи, инстинжного гуманизма, — к великому Сталину. Нетерпеливо считали мы

часы и минуты, оставшиеся до прибытия в столицу: хотелось возможно быстрее отблагодарить нашего вождя за все, за все...

И вот перед нами, наконец, Москва, величественная и гордая, веселая и гостеприимная, родная, вечно юная Москва. За стеклами вагона уже мелькнули занесенные снегом дачные поселки, прогрохотали бесчисленные товарные и

ВКП(б) А. С. Щербаков, академики, работники искусств, Герои Советского Союза. Вот это, вероятно, Эрнест Кренкель, а это — Петр Ширшов... Но не успеваю я пожать им руки, как неожиданно попадаю в чьи-то железные объятия. Маршальские звезды на воротнике шинели, знакомые всему миру усы... — Семен Михайлович!..

Блеснули штыки почетного караула.



Москва встречает седовцев

пассажирские составы, надвинулись каменные громады каких-то новых зданий. Поезд замедляет ход, и мы сразу попадаем в какой-то шторм дружественных объятий, перед которым блекнет все, что мы испытали до сих пор.

Морозное, невероятно холодное утро. Огромные букеты сирени, левкоев, хризантем. Раскрасневшиеся, улыбающиеся лица. Я узнаю их по давно виденным фотографиям: заместитель председателя СНК СССР Н. А. Булганин, секретарь МК и МГК

Распахнулись широкие двери. Площадь заполнена делегациями москвичей. Клубы пара плывут над толпой, хрустит под сапогами промерзший снег. Но никто из нас не ощущает холода.

Краткий митинг. Нас рассаживают по автомобилям, и мы мчимся по какой-то широкой магистрали. Невзирая на холод, окна квартир распахнуты настежь, балконы заполнены людьми. Нам машут платками из окон, бросают букеты цветов. Слышатся приветственные крики.

На тротуарах — оживленные толпы приветливых москвичей. Что же это за улица?

— Неужели не узнаешь? Да ведь это улица Горького, — кричит мне на ухо Оля...

Еще бы узнать! Два с половиной года назад гигантского дома на углу Лесной еще не было. А вместо вот этого красивого здания на углу Васильевской торчал дощатый забор. И этой станции метро не было. А это что? Целый квартал новых великолепных зданий. И улица вдвое шире прежнего...

— Костя, Костя! Это же наш новый дом, вон окна твоей квартиры...

Автомобили поворачивают вправо и въезжают в ворота островерхой башни. Сердце бьется учащенно, — вот минута, о которой мы так долго и так страстно мечтали!

Высокое величественное здание Большого дворца. Широкие мраморные ступени. Яркий свет, очень много света. За длинными столами — сотни гостей, приглашенных правительством на прием. Нас встречают аплодисментами. А несколько секунд спустя эти аплодисменты превращаются в громкую овацию, — из боковой двери вышли руководители партии и правительства.

— Да здравствует Сталин!..

— Слава Сталину!..

— Да здравствует сталинский штаб большевистской партии!

Мы присоединяемся к этой овации, как когда-то в далеком море Лаптевых, куда радио донесло из Большого театра отзвуки горячих приветствий вождю.

Сталин идет навстречу нам неторопливой походкой, немного вразвалку, как ходят моряки. Он крепко жмет нам руки, оглядывая нас пытливым заботливым взором. Эта отеческая встреча глубоко волнует нас. Сразу вылетают из головы заранее приготовленные для рапорта слова. Хочется просто, по-сыновнему, отблагодарить товарища Сталина за

все сделанное для нас, хочется сказать, что теперь все в полном порядке...

Мы долго мечтали об этой встрече. В пургу и мороз, в страшные минуты ледовых атак, в долгие полярные ночи мы говорили себе: все это временное, все это преходящее; пусть сегодня нам тяжело, но зато, какое счастье ждет нас завтра, если мы с честью выдержим испытание!..

И вот этот день наступил. Нас принимает в Кремле Сталин. Нас приветствует товарищ Молотов. Лучшие люди страны собрались под сводами древнего дворца, чтобы разделить с нами радость победы.

Порою кажется, что все происходит во сне. Как-то даже не верится, что эта встреча может быть такой интимной, простой, непринужденной. Вечер проходит без тени официальности. Сам товарищ Сталин, как радушный хозяин, следит за тем, чтобы никто не скучал, чтобы всем было весело. Он разговаривает то с одним, то с другим, шутит, аплодирует ораторам.

И вдруг, внимательно вглядываясь в мое лицо, он участливо спрашивает:

— Почему вы так плохо выглядите? Как вы себя чувствуете после дороги?..

Я сконфуженно отвечаю:

— Спасибо, спасибо... Это пройдет...

Поздно ночью, возбужденные, разгоряченные, мы выходим из ворот Спасской башни на притихшую Красную площадь. Мелодично звенят куранты кремлевских часов, звон их разносится в этот час по всему земному шару от северного полюса до южного. Мирно сияют рубиновые звезды на башнях Кремля. И каждый удар курантов, каждый луч звезды, каждый камень этих древних стен дружески напоминают нам:—Вы дома, дорогие. Отдыхайте и спите спокойно. Ваш покой охраняет неутомимый стальной человек, бодрствующий за этой стеной. До свиданья, до новых побед, до новых встреч...

Сибирские стихи

Иван МОЛЧАНОВ

★

ПЕСНЯ

Далеко, далеко, за Байкалом,
В отдаленном таежном селе
Было сложено песен немало
О просторной сибирской земле.

Через горы, поля и дубравы,
До того ли глухого села —
От старинной московской заставы
Путь-дороженька лентой легла.

И лежала дорога в тумане,
Путь-дороженька в желтой пыли...
Утоптали ее каторжане,
Кандалами ее замели.

И метельною, белой канвою
Опоясан был дальний Байкал.
За метелью, в Сибирь, под конвоем
Той дороженькой Сталин шагал.

А сегодня — от края до края,
От Уды¹ до далеких озер
Рассиялась Сибирь молодая,
Нарядилась в зеленый узор.

Улыбаются ясные лица,
Расцвела необъятная ширь...
Едут парни на наши границы,
Едут девушки строить Сибирь.

Далеко, далеко, за Байкалом,
В отдаленном таежном селе
Будет сложено песен немало
О счастливой сибирской земле.

★

¹ В этом селе (Иркутский быв. уезд) от-
бывал ссылку товарищ Сталин.

ПАРИКМАХЕР

Да, брили в этот день особенно

прилежно
В дырюльне у шахтеров, за рекой...
Журчала бритва трепетно и нежно,
Водимая умелою рукой.

Плыла заря огромной красной лодкой,
Струили сосны ароматный сок.
Сибирский вечер мягкою походкой
Входил в шахтерский тихий городок.

Мой мастер длинные ресницы сузил
И у него, — смотрю в зеркальный
плес,—
Вернее, у нее — в большой тяжелый
узел
Завязаны жгуты лучистых кос.

Сибирский день широк, но он не вечен:
Вползают звезды на заречный бор.
И мы идем с товарищем на вечер
В шахтерский клуб, шахтерский слушать
хор.

Я брился б вечно, говорить не стоит:
Какая девушка! И до чего славно!
И не спросила: «Вас не беспокоит?»—
Работою своей увлечена.

...Чудесный хор! И техника, и сила.
Мы слушали, дыханье затая.
И песня нас на крыльях уносила
В мерцанье детства, в милые края.

Потом, смотрю: ресницы птицей реют
Над ямочкой на розовой щеке...
— У вас, в Москве, наверно, лучше
бреют,
Не то, что в нашем диком уголке?

Гремела в песнях молодость лесная,
Шумел под сводом песенный разбег
О том, как «широка страна родная»,
Как «много в ней лесов, полей и рек»!

Я не ответил. Что я мог ответить?
За озером улыбки золотой
Я даже не сумел в глазах заметить
Иронии бесхитростно-простой.

Казалось, пели заводи и горы...
И, главное, — в стихах не утаю:
В прекрасном дирижере хора
Узнал я... парикмахершу мою!

Входили бороды. Герань на окнах
рдела,
И был, как снег, колюч одеколон...
Да, мастеру легко любое дело,
Коль это дело в сердце носит он!

Прощались. Без иронии колючей
Сказала, руку придержав в руке:
— У вас, в Москве, поют, наверно,
лучше,
Не то, что в нашем тихом уголке?

Кузбасс—Москва,
лето, 1940 г.

Мертвая петля

Сценарий

Л. З. ТРАУБЕРГ, С. А. ТИМОШЕНКО

★

ОТ АВТОРОВ

В наши дни, дни невиданного расцвета сталинской авиации далеко не бесполезно вспомнить, в каких условиях приходилось работать первым русским авиаторам — предтечам Чкалова, Громова, Байдукова.

Герой картины Сергей Уточкин выбран вовсе не потому, что ему нужно создать нечто вроде памятника. Он выбран только потому, что достаточно типичен для летчиков предвоенной эпохи, и на его судьбе легче всего можно увидеть всю подлость русской буржуазии, душившей народные таланты.

Хотя сценарий не претендует на название «биографического», но почти все эпизоды не выдуманы, они опираются на факты — от проезда по одесской лестнице до сцены в Зимнем дворце. Все фотографии, иллюстрирующие сценарий, заимствованы из русской периодической печати 1911—1914 годов.

★

1. Одесса. Начало XX столетия.

Жаркий летний день. Нарядная улица, засаженная деревьями. Длинная цепь дорожек вдоль забора, между ними — старинный автомобиль.

Ворота, украшенные флагами. Огромный анонс: «Сегодня — большие велосипедные состязания!»

Велодром. Под звонкий галоп, под рев толпы, по гладкому трэку, низко пригнувшись к рулю, бешено вращая педали, мчатся велосипедисты.

Трибуны заполнены. В ложах, на дорогих местах — дамы в модных туалетах, чиновники, военные, буржуазия, да-

же священники. На другой стороне — нижние чины, матросы, учащиеся, грузчики из порта.

И в ложах, и на дешевых местах страсти кипят с одинаковой силой. В воздухе звенят фамилии фаворитов-гонщиков.

Афиша. Крупными буквами имена чемпионов: Ксидиас, Цорн, Поршерон, Кясели...

Чемпионы летят впереди всех. Фуфайки украшены жетонами и значками. В лицах, напряженных и потных, в усах, лихо закрученных кверху, — уверенность победителей.

Четверо впереди. За ними на солидном расстоянии — трое других. И уже в самом конце — никому не известный и не интересный — последний гонщик.

В самом конце афиши, петитом, вместо фамилии — буква «У» и в скобках — «любитель».

Предпоследний круг. Волнение нарастает. Внезапно один из идущих первыми гонщиков съехал с дороги, бухнулся на траву. Нехватило сил.

Свистки с трибун. Дамы кричат, потрясая зонтиками. Матросы орут хором. Пронзительный визг мальчишек.

Громздного роста дьякон взывает неистовым басом:

— Ксиди-ас!

Рядом сухой чиновник в форме министерства просвещения, очевидно, директор училища, надрывается, позабыв о чине:

— Цорн! Шнель! Шнель! Цорн!

Уже трое чемпионов впереди. Через просвет за ними — прочие. И попрежнему в самом конце — худой, пригнувшийся низко к рулю юноша: на спине его, на фуфайке, — огромная буква «У».

Гонг. Последний круг. Протянута ленточка финиша.

Пылающий азартом дьякон, перегнувшись через барьер, ревет:

— Ксидиас!

— Цорн! — вопит директор училища.

— Цорн! Ксидиас! Ксидиас! Цорн!

Две эти фамилии несутся со всех сторон, и, словно подталкиваемые криками, чемпионы мчатся быстрее и быстрее, из последних сил оспаривая победу.

И вдруг совершается невероятное. Сорвавшись с последнего места, немислимым броском рванулся вперед никому не известный гонщик под буквою «У». Он птицею пролетел мимо всех отставших, достиг третьего чемпиона, опередил его.

На мгновение весь велодром замер. Странная тишина. Кажется, стал слышен шелест велосипедных шин. Гонщик под буквою «У» нагнал Цорна и Ксидиаса, идет рядом с ними.

И тут тишина обрывается. Кто-то из

публики вдруг вскочил на скамью, неистово заорал:

— У! У!!!

Весь велодром — трибуны и ложи — грянул:

— У-у-у!

Ревет оглушительной октавой потрясенный дьякон:

— У-у-у-у!

Гонщик с буквою «У» на спине обошел Цорна и Ксидиаса, летит впереди. Ленточка финиша стремительно несется к рулю его велосипеда.

Весь велодром поднялся на ноги: дамы, матросы, мальчишки. Велосипед рвет ленточку. Звонок.

Не слышно оркестра. Ничего, кроме аплодисментов, воя, истерических криков:

— Кто? Кто? Фамилию!!

Маленький человек в пенсне со свисающим длинным шнурком прыгает вокруг распорядителя, потрясая карандашом и пронзительно восклицая:

— Фамилию!.. Полцарства за фамилию! Я сотрудник «Одесской почты» Фра-Дьяволо... Мне для хроники...

На огромной доске поднимается наскоро написанный плакат:

«Сергей Уточкин».

Фанфары оркестра. Трескучий, браваурный марш «Выход гладиаторов». Под трубы, трамбоны, литавры, под оглушительный рев толпы появляется победитель. На юношеском худом теле — черная фуфайка без единого значка. Смущенный, веселый, он чуть горбится. Лицо некрасиво, в веснушках, но исполнено ума и странного очарования. И рыжие волосы вспыхивают на солнце, как пламя.

Расталкивая толпу, окружившую триумфатора, проходит вперед важный сухой чиновник в форме министерства просвещения. Он смотрит грозно на Уточкина.

— Ученик восьмого класса Уточкин Сергей! — зловеще говорит он. — Кто разрешил вам гоняться?

Уточкин глядит на него, смущенно улыбаясь, словно не узнавая.

— Безобразие! — свирепеет директор. — Во-первых, вы нарушаете прави-

ла для учащихся. Во-вторых, вы обогнали знаменитого Цорна. Я не допускаю этого. Выбирайте: или училище, или велосипед!

Юноша секунду с тревогою смотрит на директора, потом, вновь улыбаясь, сильно заикаясь, но решительно говорит:

— В-в-велосипед!

Гремит туш. Ревёт восторженно толпа. Главный судья, отодвигая директора, поворачивает к себе Уточкина и прикладывает к влажной черной фуфайке жетон победителя.

«Имя его стало известно всей России, потом — всей Европе, но он оставался верен любимой Одессе»

2. Под веселый галоп мелькают афиши с именем Уточкина на разных языках, велосипеды, мчащиеся во все стороны. Рвутся ленточки финишей, встает толпа, приветствует победителя, гремит музыка.

И снова Одесса. Те же ворота, перед ними уже много смешных с виду автомобилей. Гудят клаксоны.

Афиша на стене извещает о мотоциклетных гонках. Жирными буквами на самом верху: «С. И. Уточкин», и уже потом иностранцы: «Метро (Париж), Гейнц (Берлин), Эрос (Рим)». Еще ниже — имена Ефимова и других русских гонщиков.

«Цвет» Одессы сидит на трибунах: банкиры, заводчики, биржевики, владельцы конфексионнов, экспортеры и импортеры, греки, румыны, турки, итальянцы. Особняком — англичане, представители пароходств и компаний.

Ленивый вальс. Ветер раздувает флаги. Пыхтят мотоциклы, стоящие у помещения для гонщиков.

Внутренний вид помещения. Гонщики готовятся к выходу, прихорашиваются, болтают.

В стороне сидит с раскрытой книгой в руках Уточкин. Он уже не мальчик. Складки рта стали жестче, на лице, попрежнему некрасивом, морщинки. Но попрежнему что-то озорное в выраже-

нии лица, и в глазах странный — и боевой, и тоскливый — огонь.

Не обращая внимания на шум, на оркестры, на треск мотоциклов, он читает вслух стоящему подле него, поправляющему чулки, коренастому гонщику с симпатичным лицом — Ефимову:

— «...А теперь я должна проститься с вами: стало почти темно, и я уже больше ничего не вижу. Прощайте, Иоганнес, благодарю вас за каждый день. Когда я буду отлетать от земли, я все-таки до конца буду повторять ваше имя для себя самой».

Поправляя перед зеркалом галстук, добродушный гонщик, француз, напевает превесело:

— Viens, Poupoule, viens, Poupoule, viens!

— «...Будьте счастливы всю жизнь, Иоганнес, и простите мне все то, что я сделала вам наперекор...»

Пыхтят мотоциклы, прогудел клаксон.

— Кто это написал? — спрашивает, надевая перчатки, Ефимов.

— Гамсун, — коротко отвечает Уточкин, теперь вновь заикаясь, — К-кнут Гамсун.

— Странное имя, Кнут, — пожимает плечами Ефимов, — и ты тоже... странный человек, Сережа. Гонщик, спортсмен и любишь... такое...

Щелкнул пальцами.

— Впрочем, ты кончил восемь классов...

— Не к-к-кончил, — говорит Уточкин; он уже встал, пристегивает ленту с жетонами к фуфайке, — выгнали.

— А я из шоферов, — говорит со вздохом Ефимов, — учился только в ремесленном... Как ее звали, девочку?..

Уточкин, сдвинув брови, смотрит на него, потом отвечает:

— В-в-виктория.

Чей-то крик с поля:

— Гонщики! К выходу!

— Пошли! — говорит Ефимов. — Держись, Сергей! Сегодня я — первый...

Тоший, смешной немец Гейнц, прижимающий к себе жену, робкую, болезненную немочку, весело протестует:

— Но-но, Ефимов! Аусгешлбсен! Ich muss Geld verdienen, Берта befiehlt das. На ее лечение...

— Та-та-та, синьоры! — восклицает на ломаном русском языке щеголеватый, с потасканной физиономией, итальянец Эрос. — Деньги беру я.. Я проигрался, *perdiva duo cento domani...*

Крики протеста, смех. Гонщики выходят в поле. Гром музыки, шум трибун. Восторженные почитательницы окружают Эроса и Метро.

Ефимов подталкивает Уточкина:

— Иди! Тебя тоже ждут!.. Ку-мир!

— Н-ну их! — хмуро говорит Уточкин, подходя к мотоциклу.

— Тогда женись... Видишь, как счастлив Гейнц... Их унд Берта, Берта унд их...

— А ч-ч-что? — говорит Уточкин. — И женюсь... Только...

Резко включил мотор. Грохот и шум.

— М-марш! Ее величество публика, ч-чорт ее побери, ждет.

Торжественный выход мотоциклов. Марш «Выход гладиаторов». Аплодисменты, восклицания.

Стартер поднял руку с пистолетом вверх. Выстрел. Мотоциклы, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее понеслись вперед.

Гремит оркестр. Круг сменяется кругом. Бушует толпа:

— Эрос! Метро! Гейнц! Ефимов!

Но чаще других, особенно с тех трибун, где стоят и сидят мальчишки и рыбаки, матросы, цветочницы и мистильщики салог, раздаются отчаянные вопли:

— Уточкин! Уточкин! Уточки-и-ин!

Гонщики борются за места. Это уже не велосипедные гонки, веселые и похожие на игру. Чемпионы сидят ровно в седлах, одетые, словно в латы, в толстые фуфайки и шаровары. Глаза закрыты очками, руки — в огромных перчатках. Все это грозно и даже зловеще. Машины летят, как мустанги, и кажется, что у самих гонщиков нет возможности их удержать.

Один обходит другого, один нагоняет другого.

Мгновение — впереди Гейнц. Мгновение — впереди Ефимов.

— Гейнц!

— Ефимов!

— Уточкин!

Протянута лента финиша. Темп убыстряется.

Безумствуют трибуны. Чинно восседавшие до начала гонок дамы и господа словно сбросили с себя одежды приличия и культуры. Они потрясают зонтиками и палками, вопят и визжат, в глазах у них хищный блеск, как-будто ничто не насытит их, если не будет крови.

Эрос летит впереди. Его настигает Уточкин. Эрос оглядывается. Вдруг вильнул в сторону, закрывая Уточкину дорогу. Свистки, топот, крики с трибун.

Маленький человек в пенсне возмущенно, пронзительно кричит:

— Неправильно! Эрос делает кросинг!

Матросы и рыбаки, энтузиасты чистого спорта, возмущенно орут:

— Долой! Эрос делает кросинг! Долой!

Уточкин великолепно увертывается, обходит Эроса. Теряя всякую выдержку, Эрос снова вильнул. Летящий сзади Гейнц, стремясь избежать столкновения, резко заносится в сторону, теряет управление, вылетает из седла.

Крики ужаса. Публика вскочила.

Мотоцикл Гейнца изуродован. Гейнц поднимается на ноги и падает. Труба кареты «Скорой помощи».

Уточкин прорывает ленточку финиша.

Торопливый, бравурный марш. Высокий, худой распорядитель кричит, надрываясь, с центральной трибуны:

— Победитель Уточкин получает приз в пятьсот рублей...

Уточкин идет среди возбужденной, аплодирующей и охающей публики к центральной трибуне. Лицо его угрюмо, он старается не глядеть на всех этих дам и господ. Гремит туш.

— ...установленный президентом одесского Мото-Вело-Клуба...

Туш еще громче, торжественней.

— ...жулом первой гильдии, Артуром Антоновичем Анатра!

Имя это выкрикнуто, по меньшей мере, как имя Цезаря. Шумные рукоплескания. В центральной ложе поднимается человек невысокого роста. Малень-

— О-о-казывается, еще м-м-можно жить! Т-только в-вино ставлю я... В-выпьем за побеждающих и... п-п-погибающих!

3. Одесский порт. Вечер. Прекрасные абрисы шун и баркасов. Тихий шум моря, скрип лебедок, гудки пароходов. На набережной, среди груд арбузов, сидят на бочонках, ужинают Уточкин, Ефимов, репортер Фра-Дьяволо, матросы и рыбаки. Тишина, и Фра-Дьяволо, держа в руке тарань, взволнованно продолжает рассказ:

— Из мотора вместе с дымом выбивалось наружу пламя. Вилбур лежал на животе вот так. Он летел на высоте двух саженей над землей, вот там...

Все сидят молча, словно слушая сказку. Ефимов сдвинул брови, его очень волнует рассказ. Уточкин откинулся на мешки, задумчиво глядит в небо.

— ...И Орвил Райт, и три матроса спасательной станции, и двое мальчишек бежали вниз и кричали «ура!», и махали руками... Это было шесть лет назад, в девятьсот третьем году...

Маленький, смешной, в пенсне со свисающим длинным шнурком, он садится на бочонок и почти в отчаянии заканчивает:

— И ни одного репортера, чтобы немедленно — тысячу строк! «Человек получает крылья».

Молчание. Ефимов выпивает стакан вина и говорит, прищелкнув языком:

— Это неплохо... А? Сережа? Крылья!

Уточкин, не меняя позы, хмуро отвечает:

— П-плохо... Всего две с-сажени!.. Земля близко. Все эти... п-публика...

— Если вы полетите, Сергей Исаевич, — с убеждением говорит один из матросов, — вы обязательно будете выше...

— Ты поднимаешься высоко, — торжественно говорит Фра-Дьяволо, поднимая стакан, — совсем высоко...

— До виселицы, — вздыхает Уточкин.

— До самых звезд! — патетически заявляет репортер. — Sic itur ad astrā!

— Только, чтобы на звездах трибу-

ны и места для нас подешевле! — смеется один из рыбаков.

— Н-ну, если до з-звезд... — разводит руками Уточкин.

— И я с тобой! — пылко восклицает Фра-Дьяволо, во-время подхватывая падающее пенсне. — Первая информация с Марса... От нашего специального корреспондента...

— Уж если брать пассажиров, лучше — женского пола, — балагурит кто-то. — Вдруг — порча мотора, придется застрять на звезде...

Уточкин выпрямляется, наливает вина в стакан, поднял его, говорит нето с грустью, нето с издевкою:

— Т-таких девиц, ч-чтобы с с-собой на звезду, нет... Т-только в романах...

Ефимов ставит на бочку, служащую столом, пустой стакан и говорит с ожесточением:

— Главное, чтобы всей этой швали не видеть из главных лож... дамочек, кавалеров!..

Сжал кулаки, цедит сквозь зубы с ненавистью:

— Ух, если б шарахнуть, чтобы вся эта нечисть рассыпалась!..

— Только с песней, Миша! — подхватывает один из матросов.

— Категорически песня! — воодушевленно машет руками Фра-Дьяволо. — «Видь на Волгу, чей стон раздается, этот стон у нас песней зовется...»

— Так шарахнуть!!! — повторяет, потрясая кулаком, Ефимов.

А уже мощные голоса начали песню, она протяжно и прекрасно звучит над морем:

Наверх вы, товарищи, все по местам!
Последний парад наступает.
Врагу не сдастся наш гордый «Варяг».
Пошдады никто не желает.

Пронзительным тенором поет Фра-Дьяволо. Подхватил припев Ефимов.

Уточкин, чуть сощурился, глядит перед собой и нето с озорной, нето с яростной улыбкой говорит, как-будто про себя:

— А ч-ч-что! Можно и ш-ш-шарахнуть!

4. По главной в Одессе, по Дерибасовской улице, по самому тротуару мчится с солидной скоростью гоночный автомобиль с открытым мотором, без капота. Пар валит из мотора, дым летит из глушителя. Гудит клаксон, ежесекундно стреляет глушитель, фырчит оглушительно двигатель.

Публика, заполняющая в этот послеобеденный час центральную улицу, — дамы, девицы, молодые люди, юнкера, почтенные граждане, издавая панические крики, бегут врассыпную на тротуары, в лавки, за афишные столбы.

За рулем дымящего и воющего чудовища сидит невозмутимый Уточкин.

Автомобиль достиг пересекающей улицы. Отчаянно свистит городской. Бегут со всех сторон радостно визжащие мальчишки.

— Уточкин! Уточкин!

Автомобиль дважды быстро объезжает замершего в испуге городского, словно замыкая его в магический круг, потом переезжает через рельсы, преграждая дорогу конке. Кучер стремительно тормозит. Лошади поднимаются на дыбы.

Уточкин уже мчится по тротуару. Тротуар молниеносно пустеет, люди бросаются в стороны. Уточкин с явным удовольствием смотрит на бегущих, истерически кричащих господ и дам, на перетрусивших, в бессильной злобе орущих проклятия военных, на потерявших всякий локтя, в панике удирающих представителей «золотой молодежи».

И вдруг в глазах Уточкина вспыхивает удивление. Уже близок конец улицы. У ограды Городского сада на секунду остановилась шедшая навстречу компания девушек и молодых людей. Потом, увидев мчащийся на них автомобиль, и молодые люди, и девицы с криками испуга разбегаются, оставляя посредине тротуара девушку лет двадцати.

Она никуда не бежит. Сдвинув брови, она спокойно и гневно смотрит на летящий по тротуару автомобиль.

Уточкин резко поворачивает руль, чтобы не налететь на девушку, тормозит. Но глаза его не могут оторваться от сердитого и прекрасного лица девушки.

Автомобиль налетает на афишную тумбу и с громким взрывом останавливается. Уточкин вылетает с сиденья на тротуар, почти-что к ногам молодой девушки. Потом он поднимается, весь в грязи, в крови. Смотрит внимательно, с любопытством на девушку.

Ее глаза словно мечут молнии. Чистым, музыкально звучащим голосом она сердито говорит:

— Если вам нехватает места, катайтесь по одесской лестнице!

Уточкин пристально смотрит на нее. Лицо его медленно освещается улыбкой, делающей его почти красивым. Слегка заикаясь, словно ему сделано серьезное предложение, он отвечает:

— А ч-ч-что? Это — м-м-мысль! Надо поп-пробовать!

В глазах девушки на секунду мелькнуло недоумение, потом, резко пожав плечами, она прошла мимо Уточкина, идет прочь, не оглядываясь, гордо подняв голову. Уточкин с застывшей на лице забавной улыбкой глядит ей вслед.

5. Оркестр, сидящий в «раковине» на одесском бульваре, играет бравурный вальс. Внезапно дирижер остановился, повернул голову. Оборвалась музыка, оркестранты приподнялись, глядят на бульвар. Вскочили парочки на скамьях, выбежали жильцы из «Лондонской гостиницы». Пронеслись мимо памятника герцогу де-Ришелье юные велосипедисты, неистово крича:

— Едет!! Едет!

По широкой, длиннейшей одесской лестнице бегут снизу, из порта, вверх мальчишки, вопя:

— Едет! Едет!

В кафе, расположенном в детском саду, неподалеку от нижнего конца лестницы, поднялись с мест, бросились к решетке посетители. Бегут дети с крокетными молотками, кольцами от серсо, палочками от «дьяболо».

У самой решетки, за столиком сидит компания: юнкер, студент и девушка, та, что стояла на улице. Они едят мороженое из маленьких рюмочек. Студент и юнкер вскочили.

— Это сумасшедший! — в негодовании кричит студент. — Он разобьется. Девушка равнодушно ест маленькой ложечкой мороженое. Мимо проносятся дети, крича:

— Едет! Едет!

Бегут вверх по лестнице ошалелые зрители. Суматоха на бульваре.

Повернув с Пушкинской улицы на бульвар, влетает на полном ходу на мотоцикле Уточкин. Мотоцикл летит по мостовой, объезжает один раз памятник, подъезжает к лестнице и без замедления, под единодушный вопль зрителей, устремляется по ступеням вниз.

Темп полета все убыстряется и убыстряется. Волосы встают дыбом на головах у потрясенных зрителей.

Студент и юнкер в кафе внизу замерли с искаженными лицами. Шум мотоцикла приближается. Девушка вздрогнула, выронила ложечку, вскочила.

Мотоцикл проносится с дикой скоростью мимо кафе. Уточкин сидит в седле, не дрогнув. Приближается порт, каменная ограда напротив лестницы.

— А-ах! — во весь голос кричит девушка и вдруг бросается вон из кафе, на лестницу, вниз.

Резко повернув руль, Уточкин сворачивает на мостовую, проносится еще сотню шагов и здесь, изо всех сил затормозив, падает вместе с мотоциклом на камни.

Девушка пролетела, как стрела, мимо толпы, далеко опередила всех, первой очутилась подле Уточкина. Он поднимается как ни в чем не бывало, глядит на нее с обычной, нето-веселой, нето-грустной улыбкой. Отчаяние на лице девушки.

— Это я, я виновата! — бессвязно, с раскаянием восклицает она. — Я, я не знаю, что сделать, чтобы вы простили меня...

Вдали бежит ликующая, орущая толпа. Из общего крика выделяется чей-то вопль:

— Елена! Елена!

Девушка оглянулась, словно сразу пришла в себя, всплеснула руками, восклицает горестно:

— Теперь я стану посмешищем всего города!

Уточкин смотрит на нее уже без улыбки. Потом говорит медленно, серьезно:

— М-можете в-вы под-дарить мне один ц-целый день?

На лице девушки снова упрямое, сердитое выражение.

— Нет. Не могу, — строптиво говорит она.

— Т-тогда все в п-порядке, — деловито заключает Уточкин. — В-вы в-видели к-картину «В-вахх похищает Ариадну на к-колеснице»? К-колесница готова, Ариадна, м-марш на б-багажник!

Прежде чем она может ответить, он поднял мотоцикл, посадил на багажник девушку, вскочил в седло. Мотоцикл взревел, рванулся вперед.

Толпа восторженно кричащих, машущих руками людей подбегает к месту падения, останавливается. Облака дыма исчезают вдали; мотоцикла, Уточкина, девушки — уже нет. Громкий гудок вблизи отходящего парохода.

6. Пустынный уголок пляжа. Солнце, песок, море. Уточкин и Елена в купальных костюмах лежат на песке и сосредоточенно едят обкатанную в соли «пшенку» — кукурузу. Вдали проплывают паруса лодок и яхт. Где-то громкие крики купающихся.

— А мама у вас есть? — спрашивает Уточкин, поворачивая в руках пшенку.

Елена мычит утвердительно, занятая пережевыванием зерен.

— В этом в-вы п-похожи на б-большинство людей, — задумчиво констатирует Уточкин. — А ч-чем в-вы не похожи?

Девушка бросает на него быстрый, подозрительный взгляд и ничего не отвечает, отгрызая зерна от кочна. Уточкин повернулся к ней и миролюбиво говорит, помахивая кукурузой:

— В-вы, наверно, с-сердитесь, ч-что я лю-любопытствую... М-можете не отвечать... Я и с-сам в-все о вас з-знаю... В-вы живете на П-пушкинской, угол Троицкой...

— В Аркадии, — коротко поправляет девушка.

— В ш-шестом этаже...

— В первом...

— У в-вас сорок четыре поклонника, но в-вы обожаете одного нищего, с-симпатичного студента...

— Терпеть не могу нищих студентов!

— И больше в-всего на свете в-вы любите борьбу з-за идеи, — торжественно сообщает Уточкин.

— Повидло, — протестует Елена, — повидло из слив.

Уточкин поднимается, бросает далеко в море очищенный стебель пшеники и с довольным видом заключает:

— В-видите, к-как хорошо я в-вас знаю...

Елена в свою очередь поднялась и швырнула пшенику в воду, повернулась к Уточкину и с неожиданной яростью, быстро говорит:

— И я вас тоже знаю.. Вы — Уточкин, и все вас в Одессе чествуют, и вы всегда и всех побеждаете, а я — не бицикл, не трицикл и даже не мотоцикл, и я не люблю рыжих... Довольно стоять, идем в воду!

— А ч-ч-что? — говорит Уточкин. — Можно и в в-воду!.. П-приготовились? Р-раз! Д-два!

7. Неистовый грохот роликов. Скэтинг-ринг. Оркестр пожарных. Уточкин и Елена летят вперед, держась за руки. — Осторожнее, ч-чорт побери! — орет Уточкин.

— Нет! — кричит Елена; лицо ее полно и страха, и решимости.

— Вы в первый р-раз! — вопит Уточкин. — В-воздержитесь!

— Нет! — изо всех сил кричит Елена.

— Но в-вы сейчас т-т-треснетесь!..

— Нет!

Тотчас же она летит со всего размаха на пол, увлекая с собой Уточкина. Гром роликов, сквозь который тшится пролезть грохот оркестра. Пронесются пары. Толстые дамы визжат, боясь оторваться от поручней. Вопли и смех.

— В-видите ли, — наставительно говорит, лежа на полу, Уточкин, — п-почка-то к-коньки к-катаются под вами, а надо, ч-чтобы вы к-катались на них... С-спокойнее!

— Нет, — упрямо говорит Елена, садясь, — еще!

Уточкин с любопытством смотрит на нее.

— У в-вас есть характер, д-девушка из Аркадии. К-кажется, теперь с-самое время, ч-чтобы с-сказать в-вам несколько слов о моей лю-любви...

Девушка порывисто повернулась к нему.

— Даже не заикайтесь! — яростно говорит она.

Уточкин поднимается, поднимает ее.

— Если мне п-придется начать, — говорит он, — я уж не з-заикнусь, я п-понесусь вперед, к-как Уточкин, вот как!

8. Человек на мотоцикле летит по установленной в воздухе деревянной дорожке; она резко поднимается вверх, мотоцикл летит вверх; она погибаетя кругом, и мотоцикл летит дальше, вниз головой, проносится прыжком через провал в дорожке, летит дальше по кругу вниз, теперь уже вниз колесами и резко тормозит на арене.

Гром аплодисментов, барабанная дробь сменилась оглушительным маршем, человек в блестящем трико, стоя у мотоцикла, раскланивается.

Одесский цирк. Уточкин и Елена сидят в одном из рядов, и Уточкин очень торжественно объясняет:

— Это называется «looping the loop», мертвая петля. Это и есть п-предмет моей лю-любви. Скорость, п-понимаете, божественная скорость... Надругательство над з-законами природы... П-понимаете, мертвая п-петля...

Он остановился, повернулся на шум. Капельдинеры внизу, в проходе, торопливо проводят в одну из лож какого-то почетного гостя со свитой. Гость садится, молча оглядывает цирк. Это — Анатра. Взор его падает на Уточкина. Уточкин спокойно отворачивается и продолжает:

— ...мертвая п-петля, и в ней — ж-живой ч-человек, и он рвет п-петлю с-скоростью! П-понимаете?

Человек в клоунском костюме, в веселом клоунском гриме, стоящий на арене, радостно кричит:

— Уточкин! Сирежа! Где ты?

Уточкин нагнулся вниз, спокойно отвечает:

— В с-с-седьмом ряду!

Клоун безумно пугается.

— Господин штальмейстер, господин штальмейстер! — вопит он.

— Что с вами, Жакомино? — эффектным, цирковым голосом спрашивает, подходя, штальмейстер.

— Там... Уточкин, там, на седьмом ряду, — испуганно машет рукой Жакомино.

— Ну, и что же?

— А то, что если Уточкин на седьмом ряду, то весь седьмой ряд сейчас поедет вперед и очутится впереди всех рядов!..

Хохот публики. Жакомино стремительно карабкается вверх, очутился перед Уточкинским и Еленой.

— Синьорита! — с комической патетикой расшаркивается он. — Вы — самый счастливый женщина в мире! В Одессе есть два самых популярных человека — Сирежа Уточкин и памятник Дюку на бульваре.

Снова радостный смех публики. Елена молча, чуть сдвинув брови, смотрит на Жакомино.

— Все мои знакомый женщин, — патетически восклицает Жакомино, — жаловались, что Дюк — очень холодный особа. Но Сирежа Уточкин!.. У Сирежи Уточкин — большое сердце, очень большое... Я передаю этот сердце вам!

И, сунув руку в пиджак спокойно улыбающегося Уточкина, он извлекает оттуда огромное гуттаперчевое сердце и под оглушительный смех всех зрителей галантно кладет его на колени девушки.

— Сирежа! Прощай! — трагически кричит он и вдруг великолепным задним сальто-мортале летит на арену.

Весь цирк гремит рукоплесканиями. Хлопает Уточкин. Елена сидит попрежнему молча, без тени улыбки на лице. Брови ее еще более сдвинулись, она словно чувствует на себе чей-то взгляд. Повернулась, смотрит.

Из противоположной ложи на нее направлен бинокль. Человек отводит би-

нокль от глаз. Это — Анатра; он пристально глядит на девушку.

Оркестр, фанфары, марш «Выход гладиаторов».

На арену, где уже разостлан ковер, вышел грузный человек в поддевке, приветствуемый зрителями.

Елена порывисто встает.

— Пойдемте! — говорит она Уточкину. — Пожалуйста.

Уточкин внимательно смотрит на нее, перевел взгляд, увидел Анатра. Поднимается и спокойно говорит:

— К-к-конечно, пойдемте!

Они идут к выходу. С арены мощный голос арбитра объявляет:

— В настоящей международной чемпионат французской борьбы прибыли пока и записались следующие борцы...

Марш «Выход гладиаторов», на арену выходят один за другим борцы в легких трико, «парад-алла».

9. И опять море. Вечер. Луна. Парусная лодка. На руле Уточкин. Елена сидит на носу, где-то на берегу звенит гитара, медлительный, старинный романс, и Елена поет чудесным, низким голосом наивные, неумелые слова:

Дремлют чинары.
Под твоим окном льются
Звуки гитары.
Ярко светит луна.

Тихий плеск воды, легкий трепет паруса.

Звуки несутся,
Из груди как-будто рвутся,
Плачут, рыдают
И рокочут, как волна.

Все громче перебор струн, чуть ускоряется мелодия:

Я под твоим окном стою,
Тебя люблю, тебя молю,
Выйди скорей, все позабудь,
Но помни только об одном,
Что под твоим окном стою,
Стою с мольбой, мольбой одной,
И умереть у ног твоих
Готова за любовь.

Тишина. Плеск воды. Где-то вдали, на другой лодке, захлопали.

— К-кто это с-сочинил? — осведомляется Уточкин.

— Я, — рассеянный ответ.

— А ч-ч-что, — задумчиво говорит Уточкин, — неп-плохо.

Волны плещут за лодкой. Девушка сидит молча, лицо у нее жмурое. Уточкин, держа руль, вынул портсигар, закуривает папиросу. Затянулся. Говорит негромко, с забавным подобием изумления в глазах:

— Так в-вот, к-кстати о земле... М-может быть, есть еще к-кое-что хорошее на эт-той земле. Нап-пример, в-вода... Т-также п-песня... П-пятое-десятое...

Он повернулся к Елене, спрашивает озабоченно:

— С-слушайте, девушка, оч-чень будет ругаться ваша мама, если м-мы с вами в-выпьем по стакану в-вина з-за пятое-десятое?

— Будет, — не меняя позы, отвечает Елена.

Уточкин резко поворачивает руль.

— Т-тогда мы выпьем по п-полстакана, — серьезно заключает он.

10. Ресторан. Румынский оркестр играет что-то тягучее. Официант наливал вино в бокалы.

— Оч-чень хорошее вино, — говорит Уточкин, — хватит ли у меня денег на такое в-вино?

— Своими заплачу, Сергей Исаевич! — с жаром говорит официант. — Для вас!..

Он отходит, влюбленными глазами глядя на Уточкина.

— Я с-страшно популярен в Одессе, — задумчиво говорит Уточкин. — К-когда я иду по улице, мальчишки к-кричат: «Уточкин, рыжий пес!..»

Девушка сидит неподвижно. Уточкин поднимает бокал.

— За в-вашу маму! И п-попросите ее улыбнуться мне, к-когда я завтра п-приду в гости.

Они чокнулись. Елена делает глоток. Вдруг ставит бокал на стол. Говорит со скрытым волнением, не глядя на Уточкина:

— Я попрошу ее не принимать вас.

Уточкин, чуть нахмурившись, смотрит на нее.

— И не надо приходить, — говорит

Елена, — не надо больше встречаться... Пожалуйста...

Хохот и звон бокалов за другими столами.

— Вы... вы очень хороший человек... Настоящий... Я — нет... Я не знаю, чего хочу...

Она чуть дрожит, как-будто от холода.

— Зачем мне дали глаза?.. Я вижу все... И хочу все... Камни... меха... Зачем я читала книги?.. Париж... Сандвичевы острова... Пальмы... Неужели я не увижу пальм?..

Она усилием воли подавила волнение, говорит устало:

— Я не гожусь вам в подружки... Понимаете — я слишком жадная... плохая...

Уточкин не отрывает глаз от нее.

— Поп-пробуем, — невозмутимо говорит он. — Ч-чего хотели бы в-вы сейчас?

Она с недоумением смотрит на него. Потом говорит неуверенно:

— Кажется... орхидей...

— П-понимаете! — говорит Уточкин. — П-подождите, п-пожалуйста... Я сейчас...

Он встает, неторопливо идет к выходу. Девушка широко раскрытыми глазами смотрит ему вслед. В свою очередь на нее смотрит с другого конца зала сидящая за столиком компания блестящих молодых людей.

11. Часы; прошло двадцать минут. Уточкин входит в зал. В руке у него цветок.

На сцене какие-то девицы поют и танцуют. Уточкин подошел к столу. Елены нет. Он берет со стола большой лист бумаги. Только два слова: «Не надо».

Официант в выжидательной позе, чуть согнувшись, стоит перед Уточкин-ным.

— С-слушай, — говорит Уточкин, протягивая ему цветок, — в-возьми это и п-подари своей девушке...

Он лезет в карман за портсигаром.

— Ох, да! — присвистнул он, словно вспоминая. — Портсигар-то — т-тютю... Дай-ка, б-братец, п-папиросу...

Роня стул по дороге, в страшной экзальтации подлетает к Уточкину маленький человек в пенсне, Фра-Дьяволо.

— Сережа! — возбужденно восклицает он. — Я ишу тебя по всему городу... Победа! Рубикон перейден! Кси-диас дает тебе деньги на поездку в Мурмелон.

— К-куда? — с каменным лицом, глядя на него, спрашивает Уточкин.

Фра-Дьяволо, вытаращив глаза, смотрит на Уточкина.

— Во Францию... В авиационную школу... Какие заголовки! «Блестящий жест банкира-филантропа». Пиши сейчас же благодарность для газеты, со слезой...

— Ч-чтобы оторваться от з-земли, нужно, значит, п-по ней сначала пополз-зать! — с гримасой говорит Уточкин.

И вдруг с неожиданным пылом заканчивает:

— Ну, ч-что ж... П-ползнем еще раз и потом — в в-воздух! К ч-чорту зем-земля и в-всех, кто на ней остается!

— Сережа! — обиженно восклицает Фра-Дьяволо, следуя за идущим к выходу Уточкинским. — Ты — циник. Ведь я — твой историограф, Фра-Дьяволо, — тоже остаюсь на земле, пять копеек за строчку.

Уточкин остановился, положил руку ему на плечо.

— А ч-ч-что? — мягко говорит он. — Т-ты и Миша... и... все... Б-больше никого.

12. Через несколько дней. Отдельный большой кабинет в ресторане. Последние ноты прощальной песни. Человек сорок — гонщиков, спортсменов, друзей — дают прощальный ужин Уточкину. Шум и несвязные восклицания следуют за песней. Все взволнованы, Фра-Дьяволо стучит ножом по бокалу, добиваясь тишины:

— Господа, господа!

Воцаряется тишина.

— Господа! — напыщенно, но с искренним волнением начинает репортер, минутно поправляя пенсне. — Сегодня рыдают колеса. Сергей Уточкин надевает крылья! Как новый Икар, он

стремится в высь, к солнцу, только крылья его не растают от палящих лучей. Теперь это фундаментальное сооружение из дерева и металла. Вот!

И он торжественно демонстрирует всем фотографию. Она обходит всех, на нее смотрят почти благоговейно. На фотографии аэроплан братьев Райт — чудовищное по эфемерности сплетение палочек и тросов. Трудно даже представить себе, что на этом летали люди.

В голосе репортера предательская слеза. Он поднимает бокал и с необычайной силой восклицает:

— Теперь у нас появятся свои Райты, Фарманы, Блерио, Вуазены... Ур-ра!

Общий воодушевленный крик. Кто-то вынул часы:

— Вы опоздаете, Сергей Исаевич.

— Пора, Сережа, — встал Ефимов. — Эх, и завидую я тебе!

— Тогда идем, — встает и Фра-Дьяволо. — Мне за десять минут не дойти.

— И не н-надо! — спокойно говорит Уточкин. — Я п-пойду один, братцы... Н-ненавижу п-проводы на вокзале... Обожано, ч-чтобы встречали...

— Ясное дело, — шутит кто-то, — на вокзале будет она...

— Т-ты угадал, — спокойно улыбается Уточкин, — она... Итак, п-последний бокал...

Из ресторана доносится громкое, пьяное: «Ура!»

В кабинете повернули головы. Кто-то объясняет:

— Это — одесские лавочники... Сегодня — табельный день, рождение государя...

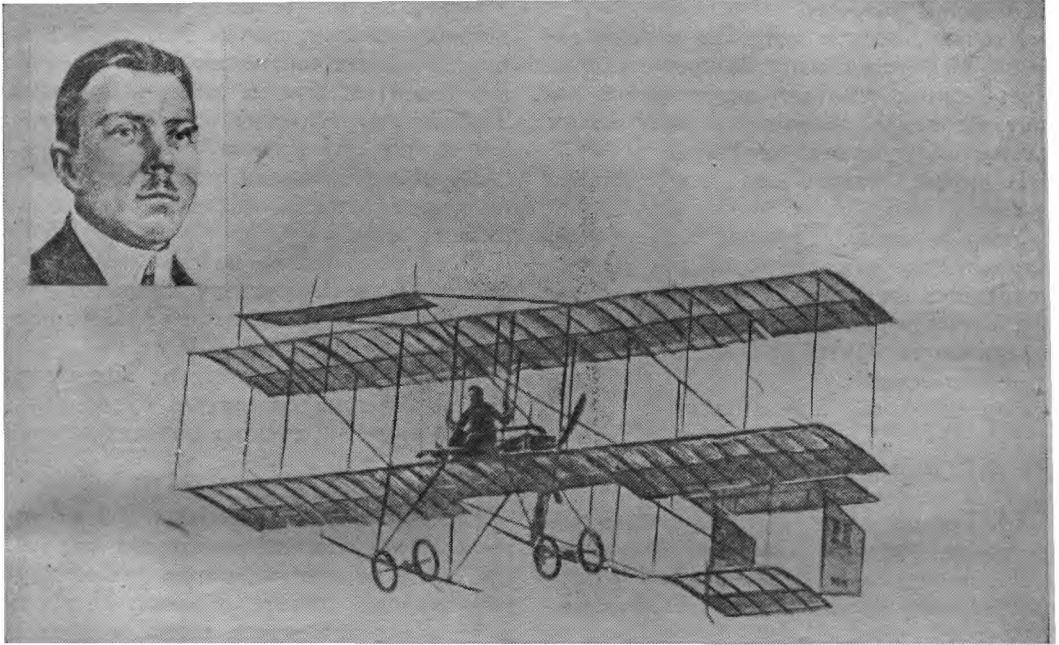
— Н-ну, — говорит Уточкин, — м-мы не лавочники... За будущий день рождения русской авиации!

13. Он идет, легко неся большой обклеенный ярлыками чемодан по вечерней, засаженной акациями улице. Где-то музыка, и Уточкин насвистывает тот же мотив. Теплый вечер. Стоят люди у «Фабрики искусственных минеральных вод». Пьют воду с сиропом. Прогуливаются пары. Проезжают медлительно велосипеды, украшенные сиренью. Висят цветные фонарики на протянутой меж деревьев проволоке.

На мгновение — яркий свет: театр-иллюзион, картина с участием Гаррисона. Плакат с лицом Макса Линдера. Из кино доносится бойкая, трескучая мелодия. Стоящие на улице мальчишки узнают Уточкина, почтительно, восторженно перешептываются. Цветочницы, веселые, смуглые, стоят у корзин, громко

Идет погром; женщины, дети, старики бегут, их догоняют, бьют. Из какого-то окна выбрасывают скарб, распоротые перины; пух сыплется, как снег. И на мосту бравый городской стоит, перегнувшись через перила, отечески наблюдая.

Девочка в изодранном платье вырва-



Первый русский летчик М. Ефимов и его самолет, на котором он завоевал все первые призы международных авиасостязаний в Ницце

рекламируя товар — яркие розы, белые лилии.

Уточкин все идет. Может быть, на секунду ему стало прустно. Уже остались позади голоса цветочниц, бойкая мелодия. Почти сейчас же — шум, какие-то крики.

Путь лежит через мост, под которым другая улочка. И по этой, черной, с жалкими домами, улице бегут, оглашая воздух отчаянными криками, какие-то люди. За ними, преследуя, размахивая палками и нагайками, выкрикивая пьяные ругательства, бегут, спотыкаясь, верзилы-погромщики. Кто-то из них еще держит в руках царский портрет, кто-то азартно размахивает стягом.

Лась из рук погромщика, бежит по лестнице, ведущей наверх. Ее настигают, опрокидывают.

В ту же секунду Уточкин отбросил чемодан, сорвал с себя шляпу и пиджак и одним прыжком перемахнул через перила. Как ангел с неба, он появляется перед погромщиками.

— Н-ну!! — кричит он и сразу налетает на верзилу, схватившего девочку.

Верзила летит вниз по ступенькам. Другие, осмелев при виде одного только человека, вместе бросаются на Уточкина.

Присяжный боксер, спортсмен Уточкин бьет налево и направо. Сила его удесятрена злобой; кажется, что на

этих людях он вымещает всю ярость за многое иное.

Битва напоминает героическую поэму. Новые и новые враги бросаются на Уточкина и летят наземь от ударов страшных кулаков. Дикая крики, свистки.

Наверху, по улице мчатся молодые рабочие, услышавшие о погроме. Бегут на помощь матросы.

Уточкин, весь в поту, но словно забыв об усталости, сыплет удары. Уже десяток сбитых погромщиков лежит на земле. Девочка в изодранном платье вдруг кричит в ужасе.

В руках одного из погромщиков сверкнул нож.

Удар в спину. Уточкин остановился. Страшная, забавная и тоскливая улыбка появляется на лице. Он падает на землю. Секунду пытается подняться. Почти отчетливо говорит:

— Э-э-земля!..

Падает вновь, лицом вниз.

21 (8) марта 1910 г.

14. Гром музыки. Невообразимое море голов. Афиши извещают о первом в России полете вернувшегося из Франции первого русского летчика Михаила Ефимова.

Тысячи человек окружили огромное поле. Больше всего простых рабочих, женщин, солдат, матросов. Какое-то особенное настроение; приглушенный шум.

В центральных ложах большое оживление. Военные, разодетые пышно дамы, «высший свет» Одессы. В центре одной из лож — Анатра. Где-то, в местах для публики, — Елена.

И вдруг прекратился шум. Замолк оркестр. Волнение стало еще более сильным.

Именно в этот момент бледный после долгой болезни Уточкин проходит мимо лож. На мгновение встретились взгляды его и Елены. Он хмуро кланяется. Она, вдруг тоже помрачнев, сухо кивнула головой, повернулась к сидящему рядом с ней молодому человеку. Никто не видел этой молчаливой сцены. Все взоры прикованы к центру.

Туда механики выкатывают аэроплан. Зрителям 1910 года это сооружение из бамбука и полотна не кажется игрушечным. Он потрясает, наполняет трепетом, биплан с вынесенным вперед, как опахало, рулем высоты, с винтом сзади.

Ефимов занимает место. Молчание тысячной толпы стало еще ошутимее.

Фра-Дьяволо стоит в позе невиданного оцепенения; пенсне покривилось на носу. Рядом с ним стоит с выражением неистовой зависти на лице — Уточкин. Тишину прервал шум, шум пропеллера. Он звучит, как музыка.

Аэроплан тронулся, покотился. Разбегаются механики. Ефимов переводит руль высоты.

Одно неслышанное по силе чувств восклицание вырывается у толпы. Аэроплан плавно отделяется от травы и поднимается вверх.

Мелькают лица людей; на них странное выражение: состоялось чудо. Только одно слово слышно во всех концах поля:

— Летит! Летит!! Летит!!!

Ефимов летит на необычайной по тому времени высоте семидесяти метров. Он летит по прямой, потом делает крутой вираж, летит обратно. И вновь круг, аэроплан летит и летит.

Теперь счастье, восторг, опьянение на лицах зрителей. Головы подняты вверх. Кто-то блаженно хохочет. У Фра-Дьяволо льются слезы из-под стекол пенсне. Уточкин стоит, не отрывая взора от реющей птицы, бессмысленно повторяя:

— Эх, М-мишка, Мишка, Мишка!

Аэроплан идет на снижение. Колеса коснулись земли, аппарат подпрыгнул, покотился вперед. Механики поймали его, останавливают. Ефимов вылезает из аэроплана.

Буря восторгов. Прорывая канаты, народ ринулся к летчику. Его подняли на руки, несут. Несвязные выкрики упоения, оркестры, аплодисменты...

Аплодируют, правда, весьма сдержанно, господа и дамы, сидящие в ложах. Они взволнованы, но не желают показаться провинциалами. Какая-то дама,

снисходительно похлопав, поворачивается к кавалеру и томно говорит:

— Забавно! Очень забавно!

— Ох, я ожидала большего, — с некоторым разочарованием пожимает плечами другая дама, — никакого азарта, взлетел, полетел... Ну, и прилетел... Нет, знаете, это не сможет заменить французскую борбу!..

— Вы только поглядите, — горячится какой-то господин с окладистой бородой и манерами адвоката, — заурядный русачок, что-то вроде шофера... А собирает сборы — куда Собинову и Карузо!

Цепь солдат оттеснила публику, готова место для следующего полета. Ефимов стоит, отдыхая, куря папиросу, у ангара. Он очень раздражен. Рядом с ним кипятится человек в котелке и дорогом пальто, с набриолиненными усами — банкир Ксидиас:

— Я послал его за границу вместо Уточкина... Я содержал его в школе... Я купил аэроплан... А он все еще недоволен..

Ефимов молча курит.

— Вам только кажется, что сегодня большой сбор, — продолжает Ксидиас. — Все приглашенные и эти... чернь... Я теряю, массу теряю... Это решительно невыгодное дело — авиация...

Ефимов бросает папиросу. Вдруг говорит злым шопотом, прямо в лицо Ксидиасу:

— Слушайте, вы! Я голодал в Мурмане, а вы тут писали, что я трачу ваши деньги. Вы не хотите ни гроша дать на починку мотора... Я иду на верную смерть..

Ксидиас хочет что-то сказать, но Ефимов властно обрывает его:

— Хорошо! Я буду летать всюду, я буду ломать себе ребра, но я выкупила свой контракт. А сейчас — идемте. Предстоит полет с пассажиром. Вы имеете право на первую очередь!

Он идет к аэроплану, у которого стоит молчаливый, жадно разглядывающий новинку Уточкин.

Ксидиас отшатывается.

— Чтобы я... На верную... Нет, нет, я не могу, у меня вдруг сердце...

Ефимов поворачивается.

— Но по программе должен быть полет с пассажиром..

— П-позволь. мне быть т-твоим п-пассажиром, — волнуясь, вмешивается Уточкин.

— Ты хочешь? — обрадованно говорит Ефимов. — Я рад, Сережа... Кстати, я хочу проверить обороты мотора... Садись пока на мое место...

Уточкин с радостной улыбкой лезет на место пилота.

— Ч-что это? — кричит он, показывая на рычаг.

— Руль высоты. Я ведь тебе рассказывал. Только не трогай... Сейчас проверим мотор..

Механики держат крылья. Ефимов берет за винт.

— Контакт! — кричит он, рванув лопасть.

— Есть контакт! — кричит упоенно Уточкин.

Мотор сразу заработал.

— Хорошо! — кричит Ефимов. — Выключай мотор! Сейчас полетим!

Но Уточкин не выключает мотора. Стараясь перекричать его шум, он кричит умоляюще:

— М-миша! П-пожалуйста... Дай прокатиться, Миша, немного...

Страшный шум. Ефимов что-то кричит. Внезапно мотор заработал еще сильнее. Треск и дым. Испуганные механики отпускают крылья. Аэроплан покатился вперед. Ефимов едва успел отскочить. Он кричит, размахивает руками.

В публике большое волнение. Все вскакивают с мест, переспрашивают друг друга. Замерла на месте Елена.

Уточкин сидит на месте пилота, держась за рули. Лицо его похоже на лицо механика. Внезапно он берет на себя руль высоты.

Аэроплан отделяется от земли, поднимается в воздух.

Суматоха на поле. Общий крик:

— Уточкин! Уточкин!

Кто-то орет:

— Что он делает? Он разобьется.

Елена сидит на своем месте, бледная, дрожащая.

Ксидиас рвет на себе волосы, Ефимов застыл, словно не веря своим глазам.

Один Фра-Дьяволо, вне себя от восторга, кричит:

— Зачем вы волнуетесь? Это же Уточкин! Уточкин!

— Это сумасшедший! — вне себя кричит Ксидиас. — Господи, спаси мои деньги.

Уточкин в воздухе. На его лице возникает и разгорается улыбка безумной радости, счастья, опьянения. Он словно нашел то, что искал всю жизнь. Сам не зная, что делает, будто учась на ходу, он двигает рули, и вот аэроплан описывает круг, пролетает низко над полем.

Все вскочили, рев тысяч голосов заглушает оркестр, люди машут руками, платками, кидают в воздух шляпы. Елена, вскочив, кричит что-то бессвязное.

Но Уточкин не слышит этого. Только шум мотора и свист ветра. Они звучат, — мотор и ветер, — как фанфары и трубы, как мелодия марша «Выход гладиаторов». И вдруг Уточкин, не заикаясь, во весь голос запел на мотив марша глупые, но отвечающие настроению слова:

Солнце светит — я смеюсь!
Ветер дует — не боюсь.

На деле он начинает бояться. Надо спускаться, но как? Он снова делает круг, снова проносится над зрителями, кричит отчаянно Ефимову:

— Я б-буду учиться, Миша, б-буду! Только с-скажи, к-как с-спускаться! Миша!

Он не слышит ответа. Нужно искать выхода без чужой помощи. Он вновь находит нужный руль, идет на посадку. Аэроплан стремительно приближается к земле. Каким-то чудом Уточкин делает необходимые движения и сажает самолет вдали от центра поля, на пустом месте. Аэроплан, вздрогнув, останавливается, вдруг становится на голову и перскидывается.

Ужас зрителей. Прежде чем кто-либо другой бросился на помощь, Елена провала цепь солдат, бежит к месту падения.

Добегают. Уточкин, ударившийся при падении о мотор и тросы, лежит окровавленный, без чувств.

Елена в отчаянии ищет тряпки. Не нашла. Не задумываясь ни на секунду, рвет на себе юбку, наклоняется к Уточкину, перевязывает его. Целует грязное лицо, плачет.

Подбегают Ефимов, Фра-Дьяволо, механики. Подбежал молодой человек, сидевший с Еленой. Он в отчаянии восклицает:

— Что вы делаете, Елена? Как вам не стыдно?!

Слова эти слышит очнувшийся Уточкин. Он молча смотрит на Елену, потом внушительно говорит:

— Ж-жене Уточкина никогда не может б-быть стыдно!

15. Они идут по Одессе, направляясь в театр. Сумерки. Город прекрасен. Бульвар, с которого видно море. Улица с цветочницами. Сад, ведущий к театру, с клумбами и аллеями. Уточкин в кепке и не очень парадном костюме. Елена в огромной шляпе, очень самоуверенная после замужества и в то же время безудержно-озорная и счастливая. Впервые такое же выражение довольства на лице Уточкина.

— Я с двух лет от роду, — плачет Елена, — мечтала появиться в городском театре с мужем, самым красивым, самым красноречивым, самым блестящим. И вот, я иду с дворником...

Они идут, и люди оборачиваются на счастливую пару, с улыбкой перешептываются.

— ... Весь в царапинах, в пятнах... Весь день жди, пока явится, час жди, пока выдавит слово... У, ненавижу!

— П-понимаешь, машина... Это же не велосипед... П-понимаешь, учусь...

— Все равно, ненавижу... Лучше бы ты женился на этой своей Виктории, ей что, она неживая, в книге... Уступаю... Пожалуйста... Зачем эта женщина смотрит так на тебя? Даже подмигнула правым глазом...

— К-куда ты? — испуганно удерживает Уточкин рванувшуюся в сторону жену.

— Пойду, выцарапаю ей все глаза, — решительно говорит Елена, — особенно правый...

— Было б-бы на что глядеть! — уныло осмóтрел себя Уточкин. — Заика, в царапинах, в масле..

— Молчи, молчи! — угрожающе говорит Елена. — Ты самый блестящий, ты самый красивый, ты заикаешься лучше всех... Я люблю тебя, Уточкин!

Они подходят к прекрасному зданию театра. Фра-Дьяволо, необычайно выфрантившийся, кидается им навстречу:

— Скорее, скорее, вы опоздаете... Такой спектакль!.. Сама Теттрачини!..

— Вы шикарны, Фра-Дьяволо! — восхищенно оглядывает его Елена. — Вы больше похожи на молодожена, чем он... Я пойду с вами, пусть дворник идет сзади... Идем смотреть оперу, которая названа в честь вас — «Фра-Дьяволо»!

16. И вот они в каком-то ряду театра. Блистательный зал. Шум смычков. Особенная суета перед темнотой.

— Сергей! — говорит шопотом репортер. — Я обошел всех... Ксидиас машет руками... Пташников говорит: «Лучше я в воду их кину, чем в воздух...» Ашкинази смеется: «Авиация — мода на год-два!» Остается один Анатра, вон он, в ложе...

В лучшей из лож, действительно, сидит Анатра. Елена с досадой смотрит на эту ложу и протестует:

— Не надо!.. Не надо Анатра!.. Пожалуйста! Зачем тебе антрепренер? Я буду твоим антрепренером, буду сидеть в кассе, зазывать зрителей... «А вот сегодня блестящий полет всемирно-известного рыжего Уточкина!»

— Да-а? — качает головой Уточкин. — А на чем я п-полечу? На п-палочке?

— Тогда не надо летать, — взволнованно решает Елена, — не летал же ты прежде...

— Что вы делаете? — в ужасе восклицает Фра-Дьяволо. — Далила! Клеопатра! Вы губите Россию!.. У нас — итальянская опера, английские пароходы, французские летчики!.. У нас должны быть свои, русские...

— П-понимаешь, — ласково берет жену за руку Уточкин, — надо летать...

Всем... Всему народу... И т-тебе... Мы с т-тобой полетим, куда з-захочешь... На С-сандвичевы острова!.. Т-ты будешь иметь в-все!..

— Не надо, — глубоким голосом говорит Елена, — не надо никаких островов!.. Я имею все... Я имею Уточкина!

— Тебе придется поделиться с другим хозяином, — грустно говорит Уточкин. — Иди, чаруй Анатра! Он с-смóтрит на нас!.. Улыбнись п-по-светски, Л-лена!..

Она вызывающе смотрит на ложу, откуда на нее устремлен взор Анатра, вдруг скорчила ужасную гримасу и сейчас же пленительно улыбается, цедя сквозь зубы:

— Улыбаюсь, улыбаюсь! Чтоб ты лопнул, старик Черномор!

Погас свет, стук дирижерской палочки, началась увертюра.

17. Они стоят в дверях ложи Анатра: Уточкин, Елена, Фра-Дьяволо и сам Анатра, и Фра-Дьяволо, захлебываясь, читает спешно написанную хронику:

— «...Движимый лучшими чувствами, наш прославленный меценат Артур Антонович Анатра сделал благородный жест! Он покупает аэроплан, на котором будет летать известный спортсмен С. И. Уточкин...»

Трое слушающих стоят молча, с лицами, на которых невозможно что-либо прочесть. Сзади прогуливается в фойе народ, с любопытством поглядывая в сторону ложи. Анатра чуть заметно пожал плечами и сухо говорит:

— Нет!

Фра-Дьяволо вздрагивает, поспешно ловит пенсне.

— Напишите, — поднял палец Анатра, — «Собственный пилот господина Анатра Уточкин».

Уточкин стоит все так же молча, чуть сгорбившись. Елена тоже молчит, в глазах ее — злой блеск.

— Мое имя придаст вес, — внушительно объясняет Анатра. — Так и будет стоять в афишах... Конечно, все будет удивляться: рисковать деньгами, давать дорогостоящий аппарат русскому!..

Он, словно считая вполне законной грубость своего тона, с нескрываемой бесцеремонностью обращается к Елене:

— Но я романтичен, мадам!

Елена молчит. Фра-Дьяволо растерянно хихикнул. Анатра вновь величаво:

— Контракт заключим завтра, — говорит он. — Прошу вас с супругою завтра на обед...

— Ах, как жалко! — жеманно вздыхает Елена. — Вот как-раз завтра мы обедаем у моей старой мамочки!..

— Тогда — в следующий раз!.. — немного опешив, говорит Анатра.

— Ах! — с обворожительной улыбкой и все с тем же злым блеском в глазах говорит Елена. — Боюсь, что и в следующий раз мы обедаем у моей старой мамочки!

Звонки. Публика спешит в зал.

18. Уточкин, Елена, Фра-Дьяволо — на местах.

Уточкин шопотом, словно смакуя, повторяет:

— С-собственный господина Анатра пилот!

Пленительно звучат голоса со сцены, несется оберовская музыка. Елена тихо, не поворачивая головы, говорит:

— Ты будешь теперь летать и летать, Уточкин?

— Да!

— Будешь оставлять меня часто одну?..

— Ч-часто одну... И ты н-начнешь з-забывать меня...

— Наверно, наверно, начну забывать...

На сцене — дуэт Церлины и маркиза. Певица звонко поет:

«Дьяволо, Дьяволо, Дьяволо!»

Фра-Дьяволо блаженно раскачивается в такт музыке. Елена прижалась к мужу и очень тихо, со странной тоской повторяет на тот же мотив:

— Уточкин! Уточкин! Уточкин!

19. «Уточкин! Уточкин!! Уточкин!!!» — огромные плакаты, специальные люди несут их по улице большого города.

Школа. Урок прекращен, все дети

жадно прислушиваются, глядя в окно. Учитель тоже повернулся.

Стоят люди на тротуаре, задрав головы кверху.

В небе летит биплан Уточкина. Он делает круг, идет на снижение.

Орущие в восторге мальчишки и девочки.

Биплан снизился на поле. Восторженная толпа прорывает ограду, ринулась к биплану.

Уточкина несут на руках.

20. Другой маленький, грязный город, типа Жмеринки. По темнеющим улицам возвращается с поля публика. Идут молча, подавленные зрелищем. Идет жена с мужем и маленьким сыном; по ее лицу еще катятся слезы потрясения. Всклипывая, она причитает:

— Ты видел? Ты видел, на что только ни способны люди! А ты...

— Молчи, пожалуйста, — умоляюще просит муж. — Пожалуйста, молчи...

Плохонький аэродром. Сумерки. Механик Уточкина, молодой, веселый парень, с тремя любителями вталкивают биплан в наскоро сколоченный ангар.

В стороне стоят Уточкин и уполномоченный Анатра — Дирин, лысоватый, с наглой физиономией человек. Уточкин еще возбужден после полета и триумфа. Ко всем неприятностям он сейчас (как и в дальнейшем) относится благодушно.

— М-милочка, — ласково говорит он Дирину, — м-может быть, в-ваша финансовая деятельность з-заставила вас позабыть адрес? Р-раскидайловская, 8, Елене С-сергеевне...

— При чем тут адрес? — раздраженно отмахивается Дирин. — У меня нет денег... Я не могу послать и ста рублей... Вам сверху, конечно, кажется, что большой сбор...

— К-котик, — меланхолично говорит Уточкин, — сверху в-все кажется меньше... А в-вас даже вроде и нету... Но меня носили н-на руках!..

— Они за это не платят, — огрызается Дирин. — Это чернь, простой народ... Они норовят даром... А избранное общество, откуда оно в такой дыре?

Он раздражается все больше:

— Вас тянет в места, где живут одни бедняки... Умрут они, если не увидят аэроплана?! Плохо вам летать в Киеве, в Варшаве?

— Летать м-можно всюду,— спокойно говорит Уточкин,— и в Париже, и в Б-бердичеве... Всюду есть небо...

— Но не всюду есть деньги! — решительно машет рукой Дирин. — Подождите до следующего города.

Механик Уточкина подходит к ним с озабоченным видом.

— Сергей Исаевич! По-моему, лучше бы завтра вам не лететь: тяги совсем расшатались...

Уточкин повернулся к нему, смотрит на него все с той же непобедимой ласковостью:

— Н-нет, Петя!.. Надо л-лететь!.. К-каждый день... П-понимаешь, люди могут умереть, не увидев аэроплана!

21. Страшный ветер. Еще один город, где-то на востоке России. Вдали видна мечеть. Рев ветра сливается с протестующими криками толпы за веревками.

Уточкин стоит у ангара, курит. Дирин, бледный, взволнованный, насккивает на него:

— Вы должны лететь... Помните, по контракту за отмененный полет платите вы...

— Да это ж верная смерть, — возмущенно кричит механик.

Человек в котелке, восточного типа, из городских заправил, подбегает к летчику, задыхаясь, вопит:

— Обман! Надувательство! Весь цвет общества ждет...

Уточкин вынул папиросу изо рта, говорит отечески:

— С-спектакль не состоится... С-сценические эффекты — не в п-порядке... П-получите в кассе деньги!..

Длинный, как верстовой столб, офицер подходит, придерживая шашку, орет, стараясь перекрыть шум ветра:

— Его превосходительство господин губернатор приказывает начать полет...

— Пусть г-губернатор прикажет в-ветру,— спокойно говорит Уточкин,— вести с-себя п-по уставу...

— Господин авиатор! Господин авиатор! — теревбит Уточкина неизвестно откуда взявшаяся пылкая дама. — Неужели вы откажете мне, нам?

— С-сударыня! — галантно говорит Уточкин, — я не м-могу улететь отсюда... Мое с-сердце...



С. Уточкин

— Вы издеваетесь! — вышел из себя Дирин. — Я дам телеграмму господину Анатра...

Уточкин спокойно посмотрел на него, повернулся к механику:

— П-петя! М-машину в ангар!

Маленький мальчик с чудесными раскосыми глазами дергает Уточкина за рукав:

— Дяденька! Неужто не будет полетов? Мы с самой ночи ждем...

Уточкин остановился, посмотрел на мальчишку.

— Г-где? — удивляется он.

— Вон там, на деревьях...

— П-понимаешь, — смущенно чешет затылок Уточкин, — в-ветер...

— Ничего, — бодро кричит мальчишка. — Мы будем крепко держаться за ветки... Мы не упадем.

— Н-ну, тогда в-все в порядке, — говорит Уточкин, внезапно решаясь. — П-петя! Пошли!

— Сергей Исаевич! — восклицает механик.

— Д-держи этого хлопца, — говорит уже на ходу Уточкин, — он будет говорить надо мной н-надгробную речь...

Они подходят к биплану. В последний момент Дириин бросается вслед за Уточкиным, кричит возмущенно:

— Вы отказываете губернатору, обществу, мне, наконец... И летите из-за какого-то байстрюка!..

— Я с-сам был т-таким же байстрюком! — весело говорит Уточкин, влезая на сиденье.

Дириин отскакивает в сторону, ветер рвет на нем пальто, вдруг он кричит почти в отчаянии:

— Но аэроплан... Помните, за поломку отвечаете вы...

— М-милочка, — нежно отвечает Уточкин, — подите к ч-чертям! П-петя! Д-давай контакт!

Дикий шум винта. Несвязно кричащая, устремляющая головы вверх публика.

Уточкин летит, борясь с ветром и слякотью. В глазах его — страшное напряжение, он весь словно напружинен, но тем не менее громко и весело распевает:

Ветер дует — не боюсь!
Солнце светит — я смеюсь.

Механик глядит вверх с гордостью и тревогой. Мальчишка крепко держится за его рукав и, не отрывая раскосых глаз от биплана, кричит во всю мочь:

— Дяденька! Я, когда вырасту, тоже буду летать.

22. Утро. Тишина и покой. Где-то кричат петухи. Какая-то песня вдали.

Выкатив аэроплан из ангара, Уточкин, в рабочем костюме, и Петя копаются в моторе, проверяя и поправляя. Идет задушевная беседа.

Петя. И как это вам, Сергей Исаевич, в небе не страшно? Ни тебе опоры, ни приятеля, чтоб поддержать, если что... Без никого...

Уточкин. Эт-то самое м-милое и есть... Летишь и чувствуешь, п-победил природу... Т-только еще н-надо учиться... П-понимаешь, летать по-в-всякому... Л-летать боком... Летать в-вниз головой...

Петя. Как вниз головой?

Уточкин. Ты в цирке бывал? М-мертвую петлю в-видел?

Петя. Так для чего же?..

Уточкин. Чтобы все... м-мочь...

Петя. Замечательный вы человек, Сергей Исаевич... Ничего не боитесь...

Уточкин. В-врешь, боюсь... Земли боюсь... Р-рано или поздно она будет моим п-палачом...

Петя. Расшибеть?

Уточкин. Нет. Я людей б-боюсь... Х-хозяев, м-мысли к-которых в-воняют золотом... И б-больше всего г-городового.

Петя. Городового?

Уточкин. Я с детства его б-боюсь... Он меня с в-велосипеда сшиб... Очень кричал: «В-вот я тебя — в тюрьму!...» А я: «П-пустите!». С тех пор и з-заикаюсь...

Пауза. Они молча работают. Несмотря на печальные мысли, с лица Уточкина не сходит улыбка, — теперь без тени тоски и горечи. Помолчав, он вновь говорит:

— Он стоит, охраняет этот п-порядок... В-всех этих К-кисидиасов, Анатра... Я — их с-собственный... А п-попробуй протестовать, они: «горрродовой!»

— Странное дело, — смущенно улыбается Петя, — а я вот городских ни чуточки не боюсь...

— Н-ну? — изумляется в свою очередь Уточкин.

— Я ж питерский, — гордо говорит Петя, — мы там, за Невской заставой, прямо так, в лицо им: «Вставай, подымайся, рабочий народ!»

Озорно оглянулся, хохочет.

— Они свистят, а мы — врассыпную, с достоинством.

С удвоенной энергией работает.

— И хозяев... Мне не пришлось... А отец... Он у хозяина Семянникова с делегацией был... И кричал на него, на хозяина.

— Н-ну? — недоверчиво слушает Уточкин. — И что же?

— Посадили, — философски говорит Петя. — Так что мы, Соколовы, тюрьмы не боимся...

— А я б-боюсь, — подмигнул Уточкин, впрочем, тон его слов серьезен, — т-тюрьмы боюсь, с-сумасшедшего дома... Узко, п-понимаешь... Двигаться некуда...

— Странное какое дело, — не перестает изумляться Соколов, — я воздуха боюсь, тюрьмы не боюсь... А вы наоборот...

— Т-так и поделим, — весело говорит Уточкин. — Т-только ты врешь... Т-ты ведь в авиашколу х-хочешь?..

— Хочу... А вы городского по шею не сможете?

— Т-ты, оказывается, ф-философ, — одобрительно качает головой Уточкин.

— А что, Сергей Исаевич, — внезапно загораясь, понизив голос, говорит Соколов, — если бы городских и этих... Семянниковых — долой... И всем в воздух... Летать...

— Да т-ты не т-только философ, — присвистнул Уточкин, — ты еще и с-социалист...

— Не знаю, Сергей Исаевич... Только, думаю, хорошо бы, если бы все по-иному... Да чтоб не мечтать, а — сделать...

— А ч-ч-что! — задумчиво говорит Уточкин. — Хорошо... Т-тогда бы... Т-тогда...

Он сам оборвал себя, решительно встал.

— Хватит, готов м-мотор... В-вставай, подымайся, р-рабочий народ!

— Повыше поднимайся, Сергей Исаевич, — с лукавой искоркой в глазах говорит Петя, — на сто метров...

— Ш-шалишь... Т-тогда на тысячу...

— Ну, этому не бывать! — качает головой Петя.

День встает, ясный, летный, радостный.

23. И — снова оркестры, жужжание толпы, полет.

Только-что кончен второй подъем, Уточкин стоит у самолета, пьет кофе из термоса, который держит Соколов. Рядом стоят военные, какой-то важный дряхлый генерал, окруженный свитой. Один из адъютантов, козыряя, спрашивает Уточкина:

— Его превосходительство спрашивает, что вы ощущали там, наверху...

Уточкин отнял термос от рта и непринужденно отвечает:

— Т-там наверху я ощущал б-боль от раны, п-полученной во время п-погрома...

— Что, что? — приложил руку к уху генерал. — Что он говорит?

Подходит запыхавшийся Дириж.

— Изъявила желание лететь в качестве пассажира, — волнуясь, говорит он, — супруга вице-губернатора... Но я опасуюсь... Наш самолет...

По полю идет к самолету почтенная пара: он — маленький, сухопарый, важный чиновник, и она — необъятных размеров, очень высокая дама.

— Сергей Исаевич! — в ужасе шепчет механик, — машина развалится еще на земле...

— С-сейчас устрою! — говорит Уточкин.

И, прежде чем кто-либо мог опомниться, он идет быстрыми шагами навстречу важной паре. Учтиво и низко кланяется, целует ручку дамы, долго не выпуская.

— Я счастлив иметь т-такую пассажирку, — восторженно говорит он, — мы п-полетим п-повыше...

Дама расцветает. Супруг явно обеспокоен.

— Позвольте, — говорит он, — я еще не решил. Я попросил бы господина авиатора подробно объяснить, не опасно ли лететь?

— Со мной, — твердо говорит Уточкин, — оч-чень опасно...

— То-есть как? — растерялся вице-губернатор. — Почему?

— А в-видите ли, — серьезно объясняет Уточкин, кидая страстные взгляды на даму, — аэроплан капризен, как женщина... А ж-женщина неустойчива, как аэроплан...

— Ах, так, — вспыхнул чиновник, — в таком случае... Мальвина!

Они уходят. Соколов не в силах сдержаться, хохочет. Даже Дириин фыркает, вдруг забеспокоился.

* — Но полет с пассажиром...

— А в-вот, — показал Уточкин на Соколова, — он п-полетит. С-садись, Петя!

Подавшаяся вперед толпа. Шум пропеллера. Общее ликование.

Аэроплан с Уточкинским и Соколовым пролетает над головами.

24. Пустынное поле. Разбегаются овцы, жалобно бляя. Севший аэроплан Уточкина еще немного катится, потом останавливается.

— Сергей Исаевич! — встревоженно говорит Соколов, — что случилось?

Уточкин улыбается, слезает со своего места, коротко говорит:

— С-садись!

— Сергей Исаевич! — не веря себе, восклицает Соколов.

— К-кто поступает в авиационную школу? — грозно кричит Уточкин. — Т-ты или я? Садись!

— Сергей Исаевич!

— Ч-что же, боишься? — прищурил глаза Уточкин.

Мотор приглушенно трещит. Соколов быстро садится на место пилота, кричит:

— Нет, нет нет! Сергей Исаевич! Эх, Сергей Исаевич! — повторяет он, задыхаясь от наплыва чувств.

— С-сергей Исаевич уже умеет летать, — наставительно говорит Уточкин, влезая на пассажирское место, — теперь очередь з-за Петром П-петровичем... П-потом пойдут Вани, М-миши, Егоры... П-понимаешь ты, н-народ... Р-россия!.. Д-давай, т-тронулись!

25. Стоят в тревоге, в ожидании аэроплана Дириин и прочие. Внезапное оживление. Крики:

— Летит! Летит!

Аэроплан идет на посадку. Восторженные аплодисменты. Дириин подбегает к аэроплану. Отшатнулся, увидев сходящего с пилотского места Соколова.

— Ч-что это значит? — заикаясь, восклицает он.

— П-практика, — добродушно замечает Уточкин, слезая с аэроплана. — Он едет в К-киев, в школу...

— Но как вы смели? — бушует Дириин. — Доверять машину простому рабочему!..

— Н-ну, ну, — хлопает его по плечу Уточкин, — з-за поломку плачу п-по договору я!.. А насчет рабочих у нас р-разные взгляды... И д-давайте не спорить, м-меня сейчас понесут!

Прорвавшись сквозь цепь солдат, зрители набегают на Уточкина и Соколова и, подхватив их на руки, несут, крича и ликуя. Уточкин уже привык, Соколов — растерян, растроган, слезы радости в глазах.

26. Сарай, в котором стоит биплан. Сбоку — столик, на нем лампа. За окном — дождь. Темно и туман. За столиком Дириин щелкает на счетах. Уточкин сидит на пилотском сиденье, с веселой улыбкой глядя на тощую пачку кредиток, которую держит в руках.

— Я с-сквозь дождь пробьюсь, — говорит Уточкин, — сквозь град. Сквозь огонь пушек... Но ч-через вашу б-бухгалтерию — не могу.

— При чем бухгалтерия? — раздраженно откинулся на стуле Дириин. — Отмены полетов были? Контракт. За ваш счет. На поле трех человек помяли? Судились? Контракт. За ваш счет. Угощение урядникам, то да се...

Уточкин не слушает. Он подходит к Дириину, дружески взял его за плечо.

— С-слушайте, Дириин... Одолжите мне т-тогда денег... П-понимаете, нужно ж-жене послать...

— Не могу, — беспомощно разводит руками Дириин, — разве Артур Антонович...

— К-кто? — прищурился Уточкин.

— Анатра, — глядя на него искоса, говорит Дириин. — Он может ей дать взаймы...

Уточкин внимательно смотрит на него.

— А ч-ч-что? — медленно говорит он. — К-конечно, может.

Улыбнулся, говорит, словно извиняясь:

— Т-только мы не возьмем... И вообще нам денег не надо...

Он закашлялся, сейчас же вновь улыбнулся, идет к биплану, говорит бодро:

— П-понимаете, Дирин, ж-жизнь прекрасна...

— Вы с ума сошли! — негодуяше взывает Дирин. — Адский дождь... Я простужен... Вы тоже... Который месяц скитаемся...

Дверь открылась. Вошел Соколов, одетый по дорожному, промокший, с сундучком в руках.

— Пришел проститься, — бодро говорит он, и сейчас же спазма перехватывает его горло, — Сергей Исаевич!..

— Н-ну, и дурак! — ласково говорит Уточкин, подходя к нему, — это небо пусть плачет, что еще один и-наглец в нем скоро по-появится... А т-ты теперь без пяти минут авиатор, п-понял ты?

Дождь шумит за стеной. Они стоят друг против друга: опытный (шутка ли, почти год полетов) авиатор и авиатор начинающий.

— Это особое племя л-людей, — пламенно, с силой говорит Уточкин, — к-которые родились слишком рано, но жить должны, к-как будут жить ч-через много лет — в-весело!

— Как мне отблагодарить вас, Сергей Исаевич! — с огромным чувством говорит Соколов.

Объятие. Поцелуй. Уточкин сует Соколову деньги. Тот протестует.

— Б-бери, б-бери, — весело говорит Уточкин, — у меня м-много...

Хлопнула снова дверь. Уточкин пошел к ней, приоткрыл, смотрит вслед уходящему Соколову.

— П-петя, прощай! — кричит он.

— До свиданья, Сергей Исаевич! — ответ из тьмы.

Ветер ворвался в сарай, шевелит бумагами на столике.

— Закройте двери, Сергей Исаевич! — недовольно говорит Дирин. — Вы и так не вполне здоровы... Вот даже захотели, чтобы весь народ летал... Может быть, и мне надо?

Уточкин повернулся к нему, говорит, как бы шутя, но с серьезным видом:



У места гибели пилота Шиманского

— Н-нет... Ч-что вы? Зачем в-вам беспокоиться?

27. На фоне облаков, взлетающих, летающих и снижающихся старинных аэропланов идет надпись:

«Он объездил 50 городов, сделал 150 полетов, принес хозяину 300 000 рублей, сам получив гроши...»

Ряд афиш, извещающих о полетах. Названия городов: Мариуполь, Керчь, Нижний-Новгород...

«И в июле 1911 г., накануне первого всероссийского перелета Петербург — Москва, он встретился с приятелями в городе Николаеве.»

Меблированные комнаты «Свет и воздух». Коридор. Мгла и удушье. Из

какого-то номера доносится граммофон, марш «Выход гладиаторов». В какой-то номер стучится девица, рыхлая и подозрительная. В открытые двери рядом видна компания картежников. Коридорный в грязном переднике проносит дымящийся, пыхтящий самовар.

Большой, неуютный номер. Три летчика — Уточкин, Ефимов и Васильев, тонкий, застенчивый, еще совсем молодой авиатор. Он нервничает, кричит Ефимову:

— Ты должен лететь, Ефимов! Первый русский, поднявшийся в воздух, не участвует в первом всероссийском перелете! Что ж это?

— Первый всероссийский, — желчно передразнивает Ефимов. — Громкие слова! Реклама для генералов и торговцев! Это ловушка, понимаете вы?

Он злобно, большими шагами ходит по номеру:

— Ты, Сережа, только сегодня закончил полеты, завтра — в столицу, и сразу лететь... Ты просил два дня на отдых... Канцелярский ответ: «Своевременно было объявлено, ничего знать не хотим...»

Он все больше распаляется.

— Ты, Васильев, потребовал сигнализации красными флагами! Чего захотел: красными флагами! Завтра тебе для полетов потребуется — республика!

Он задохнулся от гнева, откашлялся.

— Будто бы перелет для проверки летчиков... Я летал в Европе, с Гаро, с Ведриным, с Блерио... Не хуже мы, не хуже. Да разве в нас только дело?

Подшел к столу, сел на край его, говорит, словно высказывая сокровенную тайну:

— Когда я лечу, — кругом пусто, а я знаю: врешь! Не должно быть пусто. Вся страна должна быть под моими крыльями, подпирать их. Вот когда будет так, полечу... На край земли полечу... Из Москвы в Гонолулу, на Марс, на Луну, чорт побери!.. Что, неправ я?

— П-прав, Миша, — спокойно, отвечает Уточкин.

— Поняли? — восторженно кричит Ефимов, соскакивая со стола. — Посы-

лайте депешу, что отказываетесь от участия, не летите.

— Л-летим, Миша! — так же спокойно говорит Уточкин.

Ефимов широко раскрытыми глазами смотрит на него. Яростно сплюнув, восклицает:

— Сумасшедший ты!

— Все мы здесь сумасшедшие, — весело говорит Уточкин. — П-понимаешь, Миша, надо же кому-нибудь и-начинать...

— Я тоже за то, чтобы так лететь, как ты говоришь! — возбужденно восклицает Васильев. — Когда-нибудь будет так... Нам не удастся, через двадцать-тридцать лет кто-нибудь так полетит... Может быть, вспомнят и нас и выпьют за наше здоровье!

— А ч-ч-что! — твердо говорит Уточкин. — Обязательно выпьют! И м-мы... выпьем за них!

— За них! — поднимает стакан Васильев.

— Сумасшедшие! Самоубийцы! — ругается Ефимов и тоже поднимает стакан.

Звон стаканов. Женский, молодой голос раздается у двери:

— Зачем пить плохое вино, когда у нас есть шампанское?

Три авиатора живо повернулись. В раскрытой двери стоит оживленная, в дорожных пальто, компания: Анатра, несколько его приближенных, Елена. Тут же — сияющий Дирин. Анатра церемонно кланяется и говорит тоном короля, навещающего подданных:

— Господа!

— Л-лена! — наконец восклицает изумленный Уточкин, — к-какими судьбами?

Елена бросается к нему, порывисто, никого не стесняясь, обняла:

— Ты рад, рад?

Она быстро оглядывается, увлекает его за ширму. Анатра следит за ними ревнивым взглядом. Тем временем один из приближенных напыщенно объясняет:

— Автомобиль Артура Антоновича покрыл расстояние из Одессы в Николаев за восемь часов! Рекорд!

В узком пространстве, за ширмой, Елена торопливо, новым, взрослым и чуть аффектированным голосом говорит:

— Ты завтра — на перелет, и ты не заехал в Одессу. Ты испортился, Уточкин.

Уточкин спокойно улыбается ей и негромко спрашивает:

— П-почему Анатра?

— Ах, не все ли одно? — с досадой отмахивается Елена. — Я готова была на все, только бы повидать тебя... А ты, ты даже не благодарен...

Вдруг она прижалась головой к его груди, на мгновение чужие нотки исчезли в ее голосе:

— ...Я даже забыла, какой ты... Может быть, у тебя — зеленые волосы и золотые глаза... Я больше не в силах жить без тебя... Ни тебя, ни денег, ничего... Ты должен взять первый приз, Уточкин.

Глаза ее горят грозным блеском.

— Ты бросишь полеты, мы уедем... Ну, что тебе стоит взять этот приз? Пожалуйста!..

Уточкин смотрит на нее все с той же спокойной улыбкой и медленно говорит:

— А ч-ч-что! Может быть, и в-возьму... И в-все-таки п-почему Анатра?..

— Молчи, молчи! — закрывает ему рот Елена и тащит его к столу.

— Господа! — звонко кричит она. — Я хочу выпить за первый приз Уточкина!

— В этом нельзя сомневаться! — предупредительно говорит один из компаний.

— Это было бы только справедливо! — льстиво говорит Дирин. — Пилот госпожина Анатра не может не победить!

— У каждого — свой Анатра! — негромко замечает Васильев.

— Благодарю! — с достоинством кивает головой Анатра. — Я не нуждаюсь в рекламе. И притом этот перелет...

— Отвратительный перелет, ловушка! — громко восклицает Ефимов, вновь наливая себе вина.

Анатра благосклонно поворачивается к нему:

— Я такого же мнения... Слабое подражанье... Авиация — не для России... Другое дело — Франция, Италия... Там — настоящие летчики, состязания, перелеты...

Он все больше увлечен своей речью, жестикулирует.

— Мы, одесситы, понимаем это... Ведь Одесса — та же Европа: англичане, французы, греки, турки, итальянцы и, меньше всего, русские...

— Бывает, — мягко улыбается Уточкин, — б-бывает, что гостей больше, ч-чем хозяев... Это говорит о радушии хозяев и о н-некотором... на-нахальстве гостей!..

— Bravo! — смеется, делая вид, что услышал нечто лестное, Анатра. — Я вижу, вы понимаете... Перелет исключительно при участии русских!.. Смешно!..

Молча слушавший Ефимов вдруг вскочил, говорит, с трудом сдерживая гнев:

— И это вы говорите нам, русским летчикам!?

Он резко отставил стакан, так что вино пролилось на стол.

— Вы, один из тех, кто виновен во всем; смеете говорить о перелете?.. Вы?

— Господа, господа! — испуганно восклицает Дирин.

— Н-не надо сердиться на М-мишу! — спокойно, продолжая улыбаться, говорит Уточкин. — Он обижается з-за нас, а сам д-даже не участвует в перелете...

— Кто сказал тебе, что я не участвую? — в бешенстве кричит Ефимов. — Врешь, я отниму у тебя первый приз... Наливайте вина, мы еще им покажем...

— Стыдитесь! — стараясь все обратить в шутку, кричит Елена. — К вам приехала прекрасная дама увенчать вас лаврами, а вы спорите, как на рынке!.. Я хочу, чтобы всем было весело, очень весело... Уточкин, я для тебя заучила новую песенку. Ее поет Иза Кремер. Когда она кричит припев, лошади у театра становятся на дыбы. Слушайте!

Один из приближенных Анатра успешно бросается к стоящему в номере разбитому пианино, открывает его. Раздались трескучие звуки. Елена с бока-

лом в руке звонко поет, с настоящей опереточной манерой:

Любим мы, американцы,
Зажигательные танцы...

Уточкин молча пьет и глядит на жену. Он уже рассеянно улыбается, он словно не узнает в этой самоуверенной, взрослой женщине своей Елены. Вся компания Анатра дружно подпевает, и сам Анатра сияет, когда Елена поет бравурный припев:

Ха-ца-ца — пленяет нам сердца...

Задрезбуждали стаканы. Пение оборвалось. С силою ударив кулаком о стол, Ефимов вскочил и кричит с яростью:

— Не надо! К чорту эту дурацкую песню! Мы не американцы. И мы не в пляс отправляемся, а в полет. Сережа, друг, мою любимую!

И он запевает громовым голосом:

Наверх вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступает...

Уточкин и Васильев дружно подхватили. Анатра хмурится. Елена стоит молча. На лице ее — тень, вдруг с него сбежала бравада, она едва удерживается от слез. Приближенные, неловко себя чувствуя, стараются поддержать пение.

По мебелированным комнатам несется громкая, грозная песня. Три авиатора стоят, подняв головы упрямо и гордо, и так же упрямо звучат слова:

Врагу не сдается наш гордый «Варяг»,
Пощады никто не желает!..

28. Коломяжский аэродром в Санкт-Петербурге. Раннее утро. Молочный туман.

В нем маячат сигнальные мачты, едва видны абрисы готовых к отлету и ждущих очереди аппаратов — бипланов и монопланов, Блерио, Фарманов, Этрихов.

Где-то в центре поля — небольшая кучка военных, репортеров. Оттуда слышатся в утренней тишине обрывки чьей-то высокопарной речи:

— Всероссийское торжество... Высочайшее соизволение... Уповая на милость божью... Финансовые круги...

У столиков закрытого летнего буфета ждут очереди авиаторы. Спит, положив голову на столик, Васильев. Курит молчаливый, с очень усталым, но спокойным лицом, Уточкин. Рассматривает карту Ефимов.

Удар колокола. Чей-то громкий голос перечисляет фамилии авиаторов. Первым лететь Уточкину. Потом следуют Лерхе, Янковский, Васильев, Ефимов и прочие.

Уточкин встает. За ним поднимается Ефимов.

— Уточкин везде первый, — улыбается он.

Они пожали друг другу руки. Проснулся, тупо глядит на поле Васильев. Светает. Уточкин идет к своему аппарату.

Грянул шум моторов. Завертелись пропеллеры. Музыка. Это не оркестр, его нет. Это музыка перелета.

Перелет начался.

29. Он летит над лесами и кручами. Воздушные вихри со всех сторон. Аппарат мотает вправо и влево, вверх и вниз. Уточкин борется изо всех сил с стихией. Смотрит в карту. Она врет. Вдруг в бешенстве комкает ее, швыряет вниз. Летит дальше.

30. Летит Васильев. На его лице — дикое напряжение. Он смотрит вниз, ничего не видит. Нет сигнализации.

31. Летит Ефимов. Только теперь в воздухе он предается полному гневу. Почти слышно, как он кричит какое-то проклятие.

«Была обещан бензин на стоянках — его не было».

Надписи чередуются с летящими аэропланами, идут под рев моторов, под музыку, под свист ветра.

«Были обещаны костры на земле — их не было».

Летят аэропланы над лесами, болотами.

«Была обещана помощь на пути — ее не было».

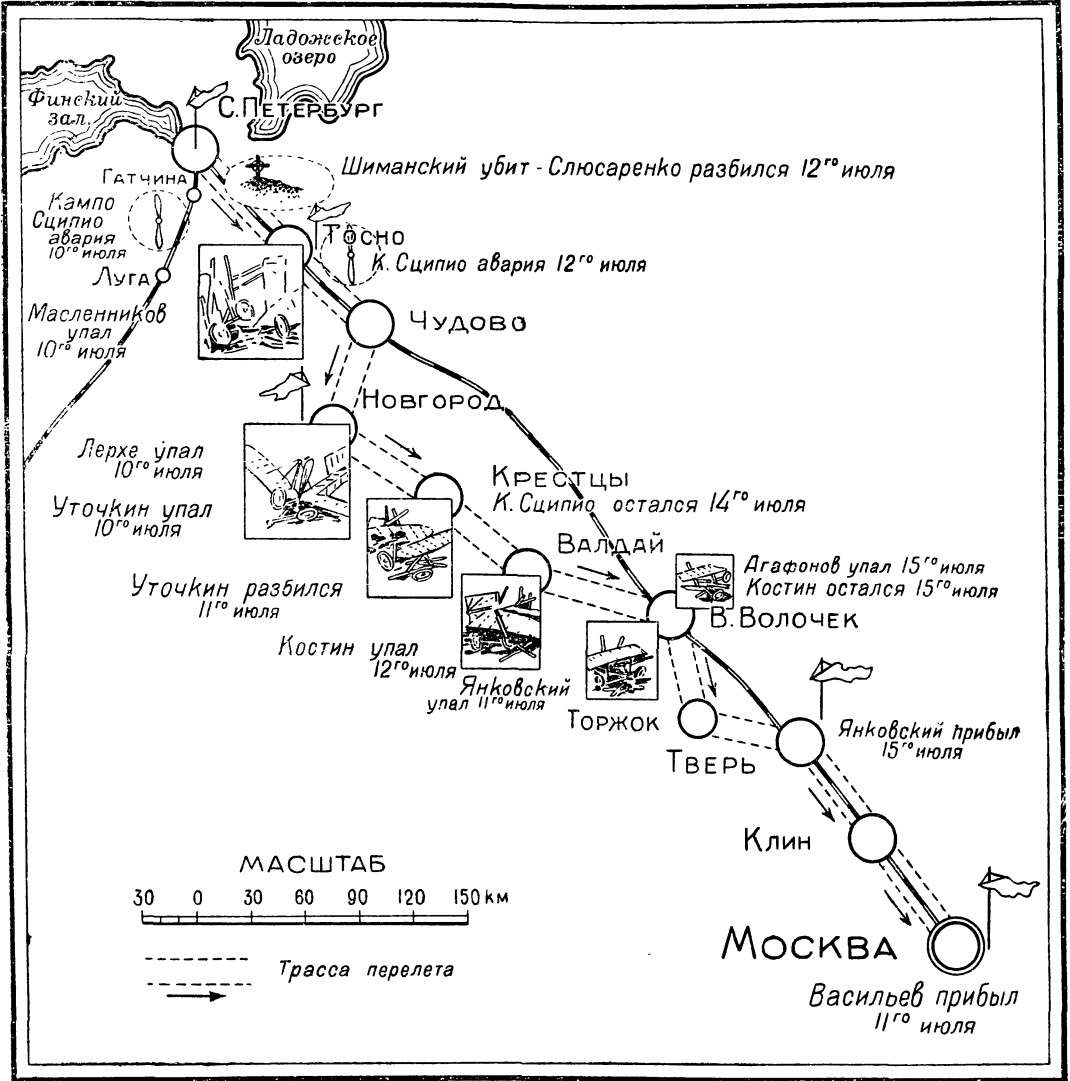
Летят аэропланы.

«Карты пугали, аппараты были не в порядке, люди выбились из сил еще до перелета».

Летит Уточкин. Аэроплан явно начинает изменять. Усилился ветер. Все

вверх и вниз, качается все сильней и сильней.

Удар грома. Что-то трещит в аппарате. Уточкин испуганно повернулся, сейчас же вновь хватается за рычаги.



Карта первого российского перелета Петербург — Москва

трудней и трудней лететь. Но Уточкина не оставляет уверенная улыбка. С колоссальными усилиями он двигает рычагами.

Тучи — темней и темней — бегут над ним. Гнутся от ветра деревья. Аэроплан все больше капризничает. Он прыгает

Аппарат сильно подбросило, швырнуло вверх. Потом он запрокинулся набок. И вдруг стремительно полетел на землю.

Еще раз Уточкин могучим усилием выравнивает его. Аэроплан словно подпрыгнул вверх и сейчас же тихо падает на землю.

32. День. Лежат обломки аэроплана во ржи. Лежит без движения Уточкин. Мальчик лет 13 сидит на корточках подле него, испуганно взывает:

— Дяденька!

Вдруг осекся, повернулся, как зачарованный, смотрит в небо. Там появляется приближающаяся точка. Она снижается. Мальчик вскочил в испуге.

Аэроплан опустился на поле, прокатился почти до обломков аппарата Уточкина, остановился. С сиденья соскочил Васильев, он бежит к обломкам.

Увидел Уточкина, наклонился к нему, кричит:

— Уточкин! Ты жив?

Уточкин с трудом открывает глаза. На его лицо медленно возвращается спокойная улыбка.

— А ч-ч-что? — с некоторым изумлением говорит он, — к-кажется, жив...

— Я сейчас достану телегу, — волнуется Васильев, — отвезу в больницу.

Уточкин смотрит на него, насупив брови. Приподнялся на локте. Видно, что это доставляет ему отчаянную боль. Увидел аэроплан Васильева.

— П-почему не летишь? — спрашивает он.

Васильев махнул рукой, с отчаянием:

— Вышел бензин. И на всем пути — ни бензина, ни масла.

Вдруг им овладела дикая ярость. Он угрожает кому-то кулаками:

— Обманули! Предали!.. Ефимов был прав, прав! Это ловушка, Уточкин! Нас послали на смерть... Кампо-Сципио уже сел...

Уточкину тяжело говорить.

— Убит? — спрашивает он.

— Нет, ранен... И вылил бензин... «Не я, так никто!..» Он прав... Конкурент...

— И он д-дурак, и ты д-дурак, — гневно говорит Уточкин, — бери мой бензин...

— Но мы вправду ведь — конкуренты...

— Б-бери! — орет, морщась от дикой боли, Уточкин. — Мы — не конкуренты... Мы — русские авиаторы... Л-лети!

Васильев вскочил. Он плохо соображает. Вдруг кинулся к обломкам, ищет

бензинный бак. Бак уцелел. Он бежит с ним к своему аэроплану.

Уточкин лежит, закрыв глаза, тяжело дыша.

Васильев вдруг издает проклятие. Уточкин вновь раскрыл глаза.

— Ч-что? — почти громко спрашивает он.

— Все равно, — скрежещет зубами Васильев. — Не завести мотор. Ты, парень, иди сюда, иди...

Но мальчик с диким криком испуга бросается в сторону, где лежит Уточкин.

— Эх, ты! — морщится Уточкин и вдруг почти здоровым голосом командует: — Иди сюда!

Мальчик невольно повинуется. Цепляясь за него, Уточкин поднимается. Это стоит ему нечеловеческих усилий. Пот выступил на грязном, окровавленном лбу.

— Что ты делаешь?! — в ужасе кричит Васильев. — Ты же упал, еле жив...

— Я п-привык падать! — говорит Уточкин. — Ну ты, в-великан, держи крыло... С-смотри, к-как п-пускают п-пропеллер... Учись!.. П-пригодится!

Стиснув зубы, чудом не падая, он идет к аэроплану.

Васильев, кривя рот, чтобы не разреваться, садится на свое место.

— К-контакт! — кричит Уточкин, с нечеловеческой силой рванув винт.

Мотор недвижим.

— К-контакт!

Мотор безответен.

— К-контакт! — кричит в третий раз Уточкин.

Он напряжен до предела. Ему нельзя не подчиниться. Мотор подчинился. Страшный рев. Завертелся пропеллер. Уточкин уже почти без сознания отскокил в сторону, едва держится на ногах.

— Спасибо, Сережа! — кричит Васильев, лицо его залито слезами.

Аэроплан покатился, побежал, вдруг оторвался от земли, поднялся, пошел и пошел и — вот уже нет его.

Мальчик стоит с разинутым ртом. И Уточкин тоже стоит. Земля качается под ним. Возник образ Елены. Она протягивает руки с мольбой, словно прося защитить ее.

И сейчас же гром музыки. Ария из «Фра-Дьяволо». И опять — Елена, веселая, торжествующая. Она поет:
— Уточкин! Уточкин! Уточкин!

И мука, и спокойная улыбка на лице Уточкина. Музыка нарастает. Уточкин, медленно закрывая глаза, падает вперед, вниз лицом.

33. Шум толпы. Несметное количество зрителей на московском аэродроме. Оркестры. Флаги. Необычайное волнение.

Аэроплан Васильева опускается на поле. Люди бегут к нему. Восторженные крики.

Из аэроплана выносят заочневешего, черного, не похожего на человека Васильева. Кто-то из администрации машет платком. Оркестры умолкли. Кто-то пронзительным голосом кричит:

— Слово предоставляется триумфатору, победителю перелета, авиатору Васильеву!

Взрыв энтузиазма и — тишина. Васильев выпрямился, обвел лихорадочным, почти безумным взором толпу, блестящих военных, нарядных дам, почтенных господ. И вдруг голосом резким и повелительным он кричит:

— Что с Слюсаренко?

Секундная пауза. Растерянность. Тишина. Потом чей-то смятенный голос, как отзыв при переключке:

— Разбился.

— Уточкин? — все так же требовательно кричит Васильев.

И тот же голос вновь откликается в общей тишине:

— Разбился.

— Шиманский?

— Убит.

— Лерхе?

— Разбился.

— Янковский?

— Разбился.

— Ефимов?

— Разбился.

Вне себя от горя, гнева, боли Васильев поднимает руки и нечеловеческим голосом кричит:

— Так что же вы...

Но кто-то из администрации уже махнул платком, грянул оркестр, триум-

фальный марш. Васильев кричит проклятия, их не слышно. Ободренная музыкой, толпа подхватила победителя на руки, несет, и победитель, по лицу которого текут слезы ярости и отчаяния, потрясает в воздухе кулаками, кричит, и его не слышно: гремит оркестр, ревет восторженно толпа, и важные военные



Васильев на финише перелета
Петербург — Москва

в сознании собственного достоинства отдают честь и раскланиваются налево и направо.

Перелет закончен.

34. Одесса. Осень. Непокойное море. Ветер.

Лестница. Раздается свист: марш «Выход гладиаторов».

Уточкин, осунувшийся, прихрамывающий, но попрежнему веселый, с чемоданами в руках поднимается по лестнице, насвистывая любимый мотив.

Подошел к двери своей квартиры. Звонит. Нет ответа. Немного удивлен. Звонит снова.

Зашлепали туфли. Дверь открылась. На пороге — домашняя работница,

девочка. Увидев Уточкина, она превращается в соляной столб.

— Здравствуйте! — весело говорит Уточкин. — Не ждали?

Он входит в квартиру, скинул пальто, шляпу, кричит:

— Л-лена!

Нет ответа. Он идет в комнату. Пусто. На столе — большая корзина цветов. Уточкин кричит в другую комнату:

— Л-лена!

Повернулся к следовавшей за ним, стоящей, разинув рот, девочке:

— Где хозяйка?

— На... на яхте, — наконец, выдавила из себя девочка.

— Тоже э-зайкаешься? — удивляется Уточкин.

— Нет! — застенчиво отвечает девочка. — Я от смущения.

— Э-значит, на яхте, — задумчиво говорит Уточкин. — «Семья спортсмена, или м-муж и жена одна с-сатана...» А что цветы, — это х-хорошо!

Он берет цветок, вкалывает в петлицу. Девочка смотрит на него, словно изо всех сил борясь с собой. Вдруг из глаз ее потоком хлынули слезы, она закрыла лицо фартуком, бежит из комнаты, шлепая туфлями. Уточкин удивленно смотрит ей вслед.

35. Кафе Фанкони. Веранда. За столиками — дельцы, маклера, дамы. Плющ на решетке. Полускрытый им, сидит за столиком и пишет очередную хронику Фра-Дьяволо. Рука опускается на его плечо. Он поднимает голову. Перед ним незаметно подошедший к столику Уточкин. Некоторое время потрясенный Фра-Дьяволо молчит, потом визгливо восклицает:

— Сережа! Ты?

— Тсс! — машет рукой, садясь за стол, Уточкин, — не надо с-сенсаций... Что слышно в Одессе? П-понимаешь, приехал домой, а ж-жена на яхте...

Капли пота выступают на лбу у Фра-Дьяволо. Опрямная радость уступила место волнению и растерянности.

— Да, да, — говорит он, запинаясь, и быстро меняет тему разговора. — Ну, расскажи...

— Н-нет, — смеется Уточкин, — п-постояй.. Кто хроникер, т-ты или я? Рассказывай, ч-что нового...

— Видишь ли, — бормочет Фра-Дьяволо, — я ничего не знаю...

Уточкин внимательно смотрит на него.

— Э-знающий все на свете и еще к-кое-что Фра-Дьяволо, — улыбаясь, говорит он, — ничего не э-знает... Значит, ч-что-то есть, чего не надо э-знать мне...

За соседним столиком пьют кофе и просматривают газеты два каких-то дельца.

— Наш-то человек-птица, — замечает один из них с усмешкой, — возвращается в Одессу...

— Я знаю, что есть крылатые быки, — острит, попивая кофе, другой, — но никогда не слыхивал о рогатых птицах... Человек! Пирожных!

Он наклоняется к соседу, шепчет с масляной улыбкой:

— Говорят, что Анатра...

Вдруг осекая. Оба подняли головы, глядят в испуге.

Уточкин стоит перед ними. Пауза.

— В-вы, кажется... — спокойно улыбаясь, говорит Уточкин, — просили п-пирожных...

Он совершенно спокойно берет второго дельца за шиворот обеими руками, поднимает его, как котенка, в воздух и несет к стойке. Публика оцепенела.

Уточкин подходит к стойке, на которой лежат ряды пирожных, высоко поднимает дельца над нею и опускает лицом вниз.

— П-получите! — спокойно говорит он.

И, вынув несколько монет, он бросает их на стойку и идет прочь.

36. Комната. Полутьма. Елена сидит на тахте. Уточкин — у ее ног, на подушке, брошенной на ковер, говорит оживленно:

— Я э-заберу все деньги, что мне п-причитаются... Возьму в долг... И я-начну... Я все рассчитал... Есть ч-чудесный профессор Жуковский... Он объяснил мне...

Говоря, он иллюстрирует жестами.

— ...П-понимаешь, надо взять р-руль высоты на себя все б-больше, б-больше... И вдруг головой вниз... Г-главное, чтобы голова не з-закружилась... И опять з-замкнуть круг и — и петля закончена!

— И в эту петлю, — холодным, почти враждебным голосом говорит Елена, — мне надо сунуть голову и затянуть ту петлю потуже!

Уточкин забавно приподнимает брови:

— Ч-что ты, Елена?

Она вскочила, идет по комнате взад и вперед. Наружу прорвалось долго накапливаемое бешенство.

— Не могу... Не могу больше слышать... Опять риск, сумасбродства, мертвые петли. Ну, а когда жить, жить?

— А ч-ч-что? — спокойно глядя на нее, задумчиво говорит Уточкин. — Это и есть ж-жизнь!

— Ты эгоист, Уточкин! — озлобленно, не слушая, продолжает она. — Тебе хорошо в твоём воздухе, ты летаешь, падаешь вниз головой, вверх головой... А я? Я ведь хожу по земле... Я живу на ней...

Она заломила руки движением, прекрасной актрисы.

— Жизнь проходит мимо меня... Я хочу видеть жизнь, все красивое в жизни, Уточкин... Понимаешь, жизнь!

В голосе ее слышны слезы. Он молча, нето с болью, нето с философским спокойствием глядит на нее.

— Я ведь говорила тебе... Ну, да, я плохая... Ты — хороший, а я — плохая... Ничего не изменилось...

— Да, — тихо говорит он, не двигаясь, с усталой улыбкой, — ничего не изменилось...

— Ты улыбаешься? — почти истерически восклицает она. — Ты считаешь себя выше всех оттого, что читаешь Гамсуна, заикаешься, чтобы обдумать ответ, летаешь там, в небесах... И улыбаешься, презирая всех, как всегда...

— Н-нет, — говорит Уточкин серьезно, — не как всегда... Я улыбаюсь иначе, А-лена. П-потому что, видишь ли, я н-никогда так не в-видел жизнь, как з-за этот год...

— Ты издеваешься! — дрожит она от злости. — Что ты видел? Маленькие города...

— Маленькие г-города, — спокойно повторяет Уточкин, — и маленьких людей... К-когда я летаю, они не кричат, они стоят молча... Это с-сильнее рева оваций...

Он поднялся на ноги, стоит, освещенный сзади лампой. Лицо его сохраняет спокойную улыбку, но в этой улыбке — огромное волнение и уверенность. Впервые он не заикается.

— Понимаешь, они видят чудо, они видят, что человек делает чудо... Значит, можно все делать, все... Можно из маленьких стать большими... Можно расправиться с жизнью, которую жаждешь ты!..

Они стоят друг против друга, как два бойца перед схваткой.

— Красивая жизнь! — без презрения в голосе, просто и спокойно говорит он. — Ты говоришь о красивом, а твой лучший друг, постоянный спутник — поганый червяк Анатра...

Она вздрогнула, как от удара. Подняв руку, он останавливает ее:

— Ты хочешь взять в жизни все... Бедняга! Тебя берут, покупают, ломают... Ты — не та...

Он идет к столу, наливает себе воды, пьет, и теперь видно, что волнение его тем сильнее, чем приглушеннее.

— И я — не тот... Я не хочу только брать... Я должен давать, рождать чудеса, совершать... И то, что я получаю, больше твоей жизни, как вечность больше минуты...

Внезапно волнение, пыл прорвались наружу. Прямо в лицо ей он говорит резко, с силою:

— Я — Уточкин, Уточкин, понимаешь ты? Лететь вниз головой, тр-рах, меня нет, и, врешь, все-таки я останусь... Сто пятьдесят полетов, первых в России, останется... Петля, мертвая петля останется...

Он стоит, выпрямившись, и она словно съежилась, потерялась перед ним. В голосе его — дикая и понятная гордость.

— Спросят: кто сделал? Уточкин! Т-ты думаешь, спросят, какая бы-

ла у него жена? Не спросят... Все равно, что не было... И пусть — не будет!

С воплем отчаяния она бросается к нему, схватила за плечи, потрясла, кричит:

— Лжешь, лжешь, была!.. Мне все равно, пусть не спросят... Я — жена тебе, Уточкин... Я только не в силах жить без тебя...

Она с силой сжимает его плечи.

— Я люблю мир, только когда вижу его сквозь твои рыжие волосы... Я верю в правду, только когда она заикается... Уточкин! Уточкин! Не оставь меня ни на минуту!

Слезы льются из ее глаз. В голове — неподдельная страсть.

— Бери меня всюду с собой... Я хочу видеть твои города... Я буду летать с тобой... С тобой в мертвую петлю, вниз головой, ты увидишь...

Она задыхается от слез, повторяет уже беззвучно:

— Увидишь, я та же... Бери меня в жены опять, опять... Доставай вина, рыжий, будем праздновать... И скажи, заикнись, что ты любишь!

Лицо его просветлело, он вновь заикается, говорит почти весело:

— А ч-ч-что! К-конечно, люблю! И сейчас б-будет вино!

Он целует ее и совсем по-мальчишески бросается к двери. Она бежит за ним, кричит возбужденно, остановившись в дверях, потрясая захваченной со стола книжкой:

— Лети! Развей скорость! «Виктория» ждет!

37. Летит велосипед по улице. Уточкин, как встарь, вертит педали, проносятся, словно молния, по одесским улицам. Звенит уже звучавший в начале картины галоп. Вертятся в головокружительном темпе колеса. Мелькают вывески, двери магазинов, огни улиц.

38. Уточкин, нагруженный припасами, входит в комнату. Комната пуста. Не переставая улыбаться, он кладет все пакеты на тахту. Насистывая, заглядывает в другую комнату. Повернулся к столу. Свист оборвался.

На столе — большой лист бумаги. На нем размашистым почерком написано:

«Прости... Я вновь все обдумала. Я не смогу... Не пытайся вернуть меня...»

39. Он сидит в кресле, чуть сгорбившись, неподвижно глядя застывшим взглядом перед собой. Скрипнула дверь, входят с некоторой осторожностью Фра-Дьяволо и клоун Жакомино.

— Здравствуй, Сирежа! — бодро кричит Жакомино.

Уточкин недвижим, молчит.

— Что ты такой невеселый? — удивляется Жакомино. — Хочешь, я тебе спрошу один замечательский загадка?

Он стал в комическую позу и клоунским голосом говорит:

— Я посадил под своим окном три фрукта: арбуз, дыню и тикву. Что потвоему нараньше всего взошло?

Он заранее делает смешное лицо и торопливо отвечает:

— А раньше всего взошел околоточный надзиратель и сказал: «Убрать все это к чортова матерь!..»

Тоненько, заразительно смеется. Уточкин молчит. Фра-Дьяволо с тревогой смотрит на него.

— Тебе не нравится мой загадка? — обиженно спрашивает Жакомино. — Тогда я тебе спою...

И, делая вид, что играет на гитаре, он поет:

Тарарабумбия, сию на тумбе я,
И горько плачу я, что мало значу я...

Оборвал пение, с комическим испугом смотрит на Уточкина.

— Может быть, ты умер? Если ты умер, скажи мне... Вот, я для тебя скручу один сальтоморталь...

Спружинившись, он делает великолепное сальто. Уточкин молча смотрит на него, потом коротко говорит:

— Еще!

— А-а! — с видом победителя кричит Жакомино и вновь крутит сальто.

— Еще! — повторяет Уточкин.

Снова — сальто. И снова:

— Еще!

— Горе лишает тебя разума! — с болью говорит Фра-Дьяволо. — Успокойся, Сережа! Всякое бывало, как говорит Бен-Акиба...

Уточкин резко повернулся, смотрит на него.

— Ангел м-мой, Фра-Дьяволо! — хрипло, но твердо говорит он. — Не утешай меня! Еще не родилось то горе, которое может лишить меня разума.

Он тряхнул головой, провел рукой по лбу, потом говорит нето жалобно, нето с изумлением:

— П-понимаешь, ушла Елена... Ж-жена...

— Мы знали, Сережа, — тихо вздохнул Фра-Дьяволо, — власть золота!..

Уточкин вдруг ударяет кулаком по столу, глаза свирепеют:

— Так не м-может же быть, ч-чтобы только на этом, на з-золоте, стоял мир... Я пойду, я скажу им... Военным, министрам, царю...

Он встает, бьет себя в грудь.

— В-вот я, ничего не имеющий в ж-жизни, ничего не желающий, кроме одного, ч-чтоб расплодиться!.. Сто, двести летчиков Уточкинских!..

Глаза его горят яростным блеском.

— Из нижних чинов, из матросов, из п-простых рабочих... Мой ученик Соколов, в П-петербургском отряде... Т-там же, где ш-штабс-капитан Нестеров... В-военный летчик! Я еще научу...

Он схватил бутылку шампанского, возится с ней, глядя перед собой, продолжая страстно:

— Случится в-война, мы п-полетим в разведку, б-будем стрелять... Сейчас не с-стреляют, а надо с-стрелять!.. По врагам России!

Вылетела с треском пробка. Золотистая жидкость льется в стаканы. Уточкин порывисто поднимает свой:

— А ч-ч-что! Одной Уточкиной м-меньше! За здоровье т-тысячи Уточкинских!

— Ура! — пронзительно кричит Жакомино. — Ура!!

40. Ворота завода. На кружевном металле — надпись: «Аэропланый завод А. А. Анатра».

Бородатый сторож лаконически сообщает Уточкину:

— Пускать посторонних не велено.

— М-милый, — ласково говорит Уточкин, — я не с-совсем п-посторонний... Вот этот-вот завод выстроен на м-мой полеты...

— Не велено, — сердито повторяет сторож, — отойдите, господин, нето позову городского.

41. Дача Анатра. Высокий забор, стальные ворота. Уточкин звонит. Звонит сильнее. Толстый мажордом спешит к калитке. Не открывая, спрашивает:

— Вам кого?

— Господин Анатра? — сохраняя спокойствие, осведомляется Уточкин.

— Уехали. Вчера уехали. В Петербург. Артур Антонович и Елена Сергеевна. Уехали.

Уточкин чуть бледнеет. К калитке медленно идет Дирин.

— Сергей Исаевич? — официально осведомляется он. — Очень кстати. Артур Антонович поручил мне найти вас. Передать в окончательный расчет...

— Я д-думаю, все-таки не в окончательный, — задумчиво говорит Уточкин. — Слушайте, Дирин, мне надо с вами поговорить.

— Мне не о чем больше говорить с вами, — отпрянул от калитки Дирин.

— Б-боитесь? — удивленно смотрит на него Уточкин.

— Да, — с достоинством говорит Дирин, — я с детства не терплю сумасшедших... Надеюсь, вам хватит денег на лечение...

Протянул конверт через решетку. Уточкин открыл, смотрит и хмуро улыбается.

— Если нехватит, — злобно говорит Дирин, — обратитесь к Артуру Антоновичу за помощью. Теперь вы можете рассчитывать на протекцию.

Уточкин рвет конверт с деньгами на куски, бросает на мостовую.

— Значит, вы з-заменяете Анатра? — серьезно спрашивает он потрясенного Дирина.

— Вы считаете, что он вам еще что-нибудь должен? — растерянно, с испугом смотрит на него Дирин.

— Н-нет, — спокойно говорит Уточкин, — наоборот, я ему д-должен. Получите и передайте.

Он с силой толкает калитку. Она распахивается. Уточкин наносит Дирину две увесистые пощечины. Дирин летит на землю. Яростно залаяли во дворе собаки. Пятится в ужасе лакей. Уточкин поворачивается и уходит.

Дирин, держась обеими руками за щеки, по-бабьи всхлипывая, смотрит ему вслед.

42. Скрежет и лязг подаваемого на платформу поезда. Уточкин, задумчивый, осунувшийся, с опущенной головой, выходит на перрон. Поднял голову, в глазах его — сильное удивление.

У вагона третьего класса — огромная толпа. Матросы, рыбаки, грузчики, цветочницы, спортсмены, мальчишки с сапожными ящиками. При виде Уточкина все оживляются, по толпе прокатился шум голосов.

— Это м-меня? — запинаясь, спрашивает Уточкин.

Девушка-цветочница, смуглая, очевидно, бойкая по натуре, но сейчас донельзя смущенная, вытолкнута вперед.

— Господин Уточкин! — дрожа, говорит она. — Мы, ваши друзья, почитатели, очень... очень...

— Скорбим, — подсказывает кто-то нетерпеливо.

— Скорбим, что вы покидаете нашу Одессу... И мы... и мы...

Она раздражается вдруг слезами. Толпа окружает Уточкина. Несутся взволнованные голоса:

— Возвращайтесь, Сергей Исаевич!

— Не забывайте, Сергей Исаевич!

— Скоро начнете летать, Сергей Исаевич?

Уточкин улыбается, стараясь не показывать, что он расстроган.

— С-спасибо, друзья! — говорит он. — Я, п-правда, не очень люблю провозды... Я люблю, ч-чтоб встречали...

— Вас встретят там, — кричит кто-то. — Обязательно встретят!..

— Фра-Дьяволо дал уже телеграмму во все газеты, — оживленно говорит один из спортсменов.

— Оркестры будут, толпа! — кричит воодушевленно какой-то мальчишка. — Шутка ли, Уточкин!

Стоящий у вагона, наблюдающий иронически за сценой проводов пожилой интеллигент саркастически улыбается и говорит:

— Бедняжки! Они не знают, что Северная Пальмира — не чета Южной. Там — холод, лед, никаких встреч...

Второй звонок. Фра-Дьяволо стоит в стороне, непохожий на себя, молчаливый, грустный. Уточкин подошел к нему.

— И ты, Б-брут! — шутит он, — пришел провожать... Ну, прощай, мой л-лучший друг!

Вдруг из глаз Фра-Дьяволо хлынули слезы. Он судорожно, беззвучно плачет, говорит сквозь слезы:

— Я — не друг тебе больше, Сережа... Я предал тебя...

Уточкин со спокойным удивлением смотрит на него.

— Я написал заметку... Завтра появится... Редактор... Ему предложили... Пригрозили снять объявления... И я... я... У меня дети, Сережа... Я называю тебя... сумасшедшим...

Он захлебывается от слез.

— А ч-ч-что! — улыбается, словно ничто не может его удивить, Уточкин. — Х-хорошая утка... про Уточкина...

Притянув к себе репортера, он ласково говорит:

— Не п-плачь, Фра-Дьяволо... Мы с тобой — в одной п-петле, в м-мертвой петле... Н-ничего, прорвем... Прорвем...

Третий звонок. Шум голосов:

— Садитесь, Сергей Исаевич! Опоздаете!

— Вот, возьмите!..

— Вы не должны отказывать... Возьмите... халва... ваша любимая...

Ему суют цветы, еду, какие-то сувениры. Поезд тронулся. Уточкин стоит на площадке. Руки его заняты. Губы сжаты, чтобы не расплакаться...

— Вам ничего больше не надо? — озабоченно спрашивает рослый матрос.

— Н-надо! — говорит Уточкин, — чтобы к-кто-нибудь закричал: «Уточкин, рыжий пес!»

Сейчас же какой-то мальчишка пронзительно кричит:

— Уточкин, рыжий пес!

Крик подхватывается десятком других звонких голосов. Поезд идет. Матросы, грузчики, спортсмены, девочки, мальчишки бегут рядом с поездом, орут, машут руками.

Поезд убыстряет ход. Пронесется за окном осенние деревья. Вдали мелькнуло море. Уточкин стоит у окна неподвижно, с горькою нежностью на лице. Пронесется деревья, мелькают все чаще, сливаясь в быстро несущееся пятно. Гудит, все убыстряя ход, поезд. Стучат на пересечениях рельсы.

Прощай, Одесса!

43. Поезд подходит к Санкт-Петербургу. Пассажиры готовятся к выходу. Уточкин стоит в пальто, ему немного нездоровится. Его сосед, пожилой интеллигент, закрывая чемодан, поучительно повторяет:

— Да-с, Петербург — не Одесса... То, что в Одессе — бум, в столице — еле-еле писк. Никаких встреч, оваций...

Поезд подходит к перрону. Гром оркестра, рев толпы. Уже за окном видны взволнованно ждущие люди. Пожилой пассажир прервал болтовню, выпучил глаза, повернулся к Уточкину. Тот, очевидно, также изумлен.

Они вышли на площадку вагона. Несется толпа: дамы, студенты, девушки, гимназисты — прямо к их вагону. Гремит оркестр. Пожилой пассажир почти в столбняке шепчет:

— Я ошибся, ошибся...

Уточкин стоит бледный, взволнованный. Сходит на перрон.

Толпа пронесется мимо. Крики, аплодисменты. Уточкин спокойно следит за проносящимися угорелыми людьми. Пожилой пассажир понимает, что встречают не его соседа. Иронически улыбаясь, он останавливает пробегающего гимназиста:

— Кого это?

Гимназист вырывается, бежит дальше, крича восторженно:

— Макс Линдер приехал! Макс Линдер!

На лице пассажира — торжество. Он поворачивается к Уточкину, говорит, смакуя слова:

— Что слава? Дым пустой...

И вдруг осекается, увидев, что Уточкин, схватив свои чемоданы, собирается бежать в том же направлении, что и толпа.

— Куда вы? — кричит огорошенный пассажир.

— М-макс Линдер приехал, — увлеченно кричит Уточкин. — В-великий М-макс!..

Он бежит, проталкиваясь через толпу, и невольно останавливается. Мимо него ликующая толпа пронесит на руках маленького веселого француза с усиками. Это — король экрана Макс Линдер.

Крики восторга, оркестр, овация.

И Уточкин, сорвав с себя шляпу, азартно кричит:

— В-вив Макс Линдер! Вив!

44. Вестибюль «Европейской гостиницы». Уточкин получает ключ, идет вверх.

Он проходит по коридору. Из какого-то большого номера вышла горничная, вынося много грязного белья. Уточкин проходит мимо номера, дверь которого осталась открытой. Внезапно, словно какой-то запах донесся из номера, запах тонких духов, знакомый, неповторимый аромат.

Уточкин останавливается. Потом молча входит в номер.

Номер пуст. Ясно, что час или несколько часов назад его покинули постояльцы. Валяются картонки, флаконы от духов, грязный мужской воротничок.

Уточкин стоит молча. Окна приоткрыты, ветер чуть развевает занавески на окнах. В глубине — незастланная, широкая, безвкусная кровать.

И на столике — забытая раскрытая книга.

Уточкин смотрит на книгу.

Чуть колеблется страница. На ней текст: «Будьте счастливы всю жизнь»,

Иоганнес, и простите мне все, что я сделала вам наперекор, и простите, что я не могла упасть к вашим ногам и просить вашего прощения». В самом конце страницы — имя, имя Виктории.

Уточкин стоит неподвижно. На его лице — странная усмешка. Вздыхнул, сказал сам себе громко, раз навсегда:

— Н-нет, это не была В-виктория!

Вошедшая в номер горничная удивленно смотрит на незнакомого человека и считает долгом ответить:

— Здесь такие не проживали... И они уехали в Италию, утром, господин Анатра с супругой...

По лицу Уточкина пробегает судорога. Он вежливо кланяется, говорит:

— Извините, я... ошибся!

Он идет из номера. Горничная смотрит ему вслед с изумлением.

45. Петербургская улица. Осень и очень скверный, промозглый день. Днем горят фонари и не могут пробить тумана. В тумане этом тонут люди, лошади, трамвайные столбы, дома.

Шум и движение. Где-то оркестр: проходит воинская часть. Газетчики кричат о войне на Балканах. Спешат пешеходы, у них — бледные, петербургские физиономии, растерянное выражение глаз.

Уточкин идет сквозь туман, чуть дрожа от сырости, но ни на секунду не теряя уверенности.

Площадь Зимнего Дворца. Гренадер у колонны.

Уточкин входит в подъезд дворца. Мамонтоподобный швейцар преграждает ему путь:

— Вам кого?

— Доложите дежурному! — спокойно сообщает Уточкин. — Известный авиатор Уточкин ж-желает сделать д-доклад царю...

Швейцар во все глаза, с подозрением смотрит на Уточкина.

— Сначала вы должны получить пропуск, — внушительно говорит он, — в канцелярии его величества.

По широкой лестнице важно идет полный, молодой военный. Увидев постороннего, остановился.

— Что такое? — морщится он.

Ловко увернувшись от швейцара, Уточкин бросается вверх по лестнице. Военный испуганно отшатнулся.

Уточкин останавливается, очень вежливо говорит:

— Г-господин дежурный?... Я — Уточкин... авиатор Уточкин...

Швейцар замер, готовый к расправе. Дежурный всматривается в Уточкина и учтиво отвечает:

— Совершенно верно... Я видел вас на Ходынском поле... Пожалуйста...

Он жестом приглашает Уточкина в свой кабинет.

Швейцар стоит, разинув рот.

46. Кабинет. В окно видна туманная Нева, похожий на ночь день. Дежурный сидит за столом, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. Уточкин, увлеченный собственными мыслями, ходит по кабинету, говорит горячо, быстро:

— Я с-смогу обучить д-десятки матросов, солдат. Надо наладить г-государственные авиазаводы... Отобрать з-заводы у п-предпринимателей... Ш-шутка ли, авиационные заводы — в руках иностранцев!.. Р-разве за границей...

— Ох, господин Уточкин, — с досадой перебивает дежурный, — не сравнивайте нас с заграницей... Русским вообще не свойственно летать, а вы еще говорите о простых солдатах, о мужиках...

Уточкин растерянно смотрит на него. Потом, решая принять это за шутку, смеется:

— Как это р-русским не свойственно? А Ефимов, Россинский, Нестеров, Уточкин — это ч-ч-что же, американцы?

— Одиночки, — корректно отстраняется от спора дежурный, — нет, помощи в деле авиации мы ждем от западных государств... Там — природное дарования, наука...

— П-позвольте! — уже нервничает Уточкин. — Н-но вы не знаете... Можайский и Чернов работали в то же время, что Р-райт... У нас уже есть с-свои модели... И у нас есть г-гений, профессор Жуковский... Его расчет м-мертвой петли...

Дежурный кусает губы, сдерживаясь.

— Вы опять об этой петле? О чепухе, о полете вверх тормашками?..

— Слушайте, — кричит Уточкин, — н-но ведь это н-нужно... В в-во-воздушном бою очень нужно...

Он совершенно забыл, где находится, тормозит дежурного, стараясь объяснить:

— П-представляете, два самолета... Его и мой... Он наверху... М-мне надо обмануть... Я — руль высоты н-на себя... И я сверху стреляю в упор...

— Не понимаю, что за садизм, — брезгливо отшатывается дежурный, — авиация — это спорт, забава, а вы... Вы еще предложите из пушек друг в друга стрелять... в воздухе...

— А ч-ч-что? — твердо говорит Уточкин, — к-когда мы б-будем защищать свою страну, все пригодится... Я в жизни мухи не убил, но, если мне попадется в-враг...

Дежурный мрачнеет.

— Да, да, — говорит он, — разговоры о врагах...

Он встает, говорит решительно:

— Господин Уточкин! Мне говорил один уважаемый авиазаводчик, что вы... что вы не совсем нормальны... После всех этих ваших... разговоров я склонен поверить...

Он встает, идет к дверям, чтобы открыть их, — в знак окончания беседы. Уточкин, страшно волнуясь, бежит за ним, пробует уговорить:

— Ваше п-превосходительство!.. Я п-прошу п-пропустить к царю... Я л-лично ему доложу... Царь должен знать...

Дежурный открыл дверь.

— До свидания! — сухо говорит он. — А что касается его величества, я знаю его мнение об авиации.

Уточкин застыл, слушая.

— Его величество государь император считает, что, прежде чем пускать русский народ летать по воздуху, надо сначала научить летать — городских.

Уточкин, пораженный, смотрит на дежурного. Потом спокойно улыбается и через силу, брезгливо говорит:

— Я с-снова ошибся... Кто-то здесь действительно ненормален... Л-либо я — дурак, либо...

Он круто поворачивается, идет к две-

ри. Дежурный, окаменев, смотрит ему вслед, потом, словно поняв, вдруг шалает от гнева, бежит на лестницу, крича:

— Да это — сумасшедший! Держите его!

Затаивший злобу на Уточкина швейцар бросается на него, с размаху бьет в грудь. Уточкин отшатывается, но сейчас же ответным, профессиональным ударом сбивает швейцара с ног. Тот с грохотом катится по лестнице.

Пронзительный звон сигнализации. Из всех дверей бегут жандармы, лестница заполняется жандармами, они окружают Уточкина, схватили его.

Не прекращается гулкий, тревожный звон.

47. Тишина. Узкая комната в сумасшедшем доме. Сидит профессор, важных, бородатых, в белых халатах, сидит полукругом, на табуретках. У самой стены — Уточкин, осунувшийся, усталый, но с боевым огоньком в глазах.

Решетки на окнах, на двери. И профессора коротко, дорожа временем, задают вопросы, на которые Уточкин отвечает односложно:

— Вы хотели лично прорваться к его величеству?

— Да.

— Вы считаете, что нужно сажать весь народ на эти... фарманы?

— Да.

— По-вашему, с этих фарманов будут стрелять друг в друга?

— Да.

— И будут летать вниз головой? Как это, мертвая петля?

— Да.

Профессора понимающе переглядываются, наклоняются друг к другу, слышен шопот, латинские термины. Уточкин спокоен. Допрос возобновляется.

— Вы недавно упали с большой высоты?

— Да.

— Пережили большое нервное потрясение?

— Да.

— Жена не смогла жить с вами, ушла?

— Да.

— Заметки о вашей болезни в южных газетах подписаны вашими друзьями?

— Да.

— Были в роду люэс, запой, эпилепсия?

— Да. Да. Да.

Профессора издают общий глубокий вздох. Больше не о чем спрашивать. Они хотят подняться. Властным движением руки Уточкин останавливает их.

— Уважаемые светила! — звонко и с явным издевательством в голосе говорит он. — Сумасшедшие в-сегда доказывают, что они — не с-сумасшедшие. Я — счастливое исключение... Я — сумасшедший!

Профессора немного встревожены, хотят подняться. Уточкин вновь останавливает их.

— ...Пока еще тихий, но могу с-стать буйным. С-спокойнее! Представим себе на минуту, что я — эскулап, а вы, гм, больные... Отвечайте на м-мой вопросы...

— Но... — растерянно пробует сказать один из профессоров.

— Я — сумасшедший, — предостерегающе говорит Уточкин, — я за себя не отвечаю. Говорите, с-светила! Галилей твердил, что з-земля вертится, его осудили. Кто был сумасшедший, он или они?

— Но...

— К-колумб открыл Новый Свет, его п-посадили в тюрьму... Кто был сумасшедший, он или они?

— Но...

— Пестель с-считал, что России нужна республика... Его повесили... К-кто сумасшедший?

— Но...

— Осторожнее. Я — с-сумасшедший... Яблочков изобрел электрическую с-свечу... Он с-сдох с голоду... Кто сумасшедший, он или...

— Но...

Уточкин шагнул вперед. Профессора отшатнулись. На лицах у них — животный страх, и уже не понять, кто здесь кого посетил.

— Т-так чего же вы ждете? — полным голосом кричит Уточкин. — Вы — с-светила науки, гении м-медицины, в-врачи!.. Вокруг вас ходят с-сотни сумасшедших... Они затевают войны, гноят гениев...

Профессора словно окаменели.

— П-почему вы их д-держите на свободе, — страстно восклицает Уточкин, — а нас сажают в клетки? Или, может быть, вы — такие же, как они?.. М-может быть, вы — п-подкуплены?

Он с внезапной догадкой всматривается в них, словно увидел в глазах их признание, кричит яростно:

— Вы! Сколько вам д-дал Анатра, чтобы держать меня здесь?

— Вы не смеете! — дрожа, вскочил один из профессоров.

— Врете!.. В-вижу по вашим глазам... Дал...

— Вы — сумасшедший! — истерически кричит другой профессор.

— Т-так я же не отрицаю... Я — сумасшедший! В этом мире, где властвует Анатра, я — сумасшедший, мое место з-здесь... Но что вы с-стоите? Идите, хватайте других!

Профессора в паническом страхе бегут из комнаты, и он с яростной энергией, с непобедимой улыбкой кричит им вслед:

— Там еще ходят Ефимов, Россинский, Н-нестеров! Они мечтают о мертвых петлях, о больших п-перелетах, о том, чтобы вас, врачей, возить за сотни в-верст на спешные операции.

Грохот поворачиваемого в замке ключа.

— Там ходят рабочие, там за Невской з-заставой... Они — сумасшедшие... Они скоро дадут п-по шее полиции и Анатра... Хватайте их, их много, у вас нехватит тюрем и с-сумасшедших домов...

Грохот ключей и топот ног за дверь. Уточкин стоит посреди камеры, продолжая кричать, как бы находя в этом выход для гнева, для угрозы:

— И меня вы з-здесь не удержите... Мы еще повоюем... З-земля еще вертится... Я еще п-полон сил... Я крутну ее... Р-руль высоты на с-себя... Я вырвусь из мертвой петли!.. Вот так!

Собрав последние силы, сжав руки в кулаки, он отрывается ногами от земли, откидывается назад, «крутит» заднее сальто и — не доходит, «приходит» лицом на землю, на каменный грязный пол.

Топот ног, грохот ключей за дверь. Решетка на узком окне.

И настал июль 1914 года...

48. Улица. Медленно идет Уточкин. Он необычайно изменился: похудел, осунулся до предела, кашляет. Сворачивает за угол.

Здесь видна Нева, далекие мосты, здания дворцов.

Навстречу Уточкину бежит несколько человек в военной форме. Они радостно машут руками, кричат:

— Сергей Исаевич! Сережа! Уточкин!

Уточкин останавливается. Всматривается. Вдруг просиял. Протягивает руки:

— П-петя! Соколов! И В-васильев!.. Какими судьбами?

Они окружили, жмут ему руки, хлопают по плечу.

— Тебя встречать, Сергей! — радостно говорит Васильев. — Мы все в летном отряде... А вот наш премьер, штабс-капитан Нестеров...

Уточкин порывисто поворачивается. Худой, с измученным, простым и очень приятным лицом, офицер козыряет, протягивает руку.

— Здравствуйте! — говорит он, улыбаясь. — Рад, наконец, с вами познакомиться... Я видел ваши полеты... Давно хотел с вами поболтать...

— Это б-было очень л-легко! — с привычной веселой усмешкой замечает Уточкин. — Надо было с-сказать что-нибудь совсем очевидное... Обязательно попали бы в с-сумасшедший дом...

— Чудом спасся, — смеется Нестеров, — чуть-чуть не попал сюда, когда сделал мертвую петлю.

Уточкин отступает, смотрит на него с недоверием и волнением.

— Вы... вы с-сделали мертвую петлю? Н-не может быть...

— Сделал, — вздыхает Нестеров, —

правда, во время петли выронил казенный анероид. Оштрафовали на двадцать пять рублей.

Боль и волнение на лице Уточкина уступает место радостной, восторженной улыбке.

— Ну, раз оштрафовали, — говорит он, — значит, правда!..



Летчик Нестеров

Он влюбленно смотрит на Нестерова, вздыхает.

— Нет, я уже не г-гожусь... К-кто-то ч-что-то сделал раньше меня, п-пришел первым, и я даже — радуюсь... Можно пожать вашу руку? П-по-товарищески...

— Можно, — серьезно говорит Нестеров, — и вы действительно будете мне товарищем...

Уточкин вновь, страдальчески морща лоб, глядит на него.

— А знаете, вас вписали в состав, — улыбаясь, объясняет Нестеров. — Вы теперь наш, военный летчик, прапорщик Уточкин...

Где-то задорно просвистел пароход. Уточкин, бледный, взволнованный, смотрит на Нестерова, потом на остальных.

Все радостно улыбаются, и Соколов шуточно вытягивается во фронт.

— Нет, нет, — с трудом говорит Уточкин, — говорю вам, я не гожусь... Инвалид... По п-правде сказать, нигде так не быют, как в этих... домах...

— Сволочи! — сжал кулаки Васильев.

— И я... болел... Р-раз больница, н-надо же болеть... Нет, нет, я не м-могу... Со мной к-кончено... Ч-что это?

Они повернулись. Послышался приближающийся топот копыт. Еще секунда, и мимо них пролетел отряд конной полиции, всадники нахлестывают лошадей. Топот исчезает в отдалении.

— На Выборгской неспокойно, — понизив голос, объясняет Соколов, — и на Путиловском... Стачки большие... Городовые боятся...

— Г-городовые боятся, — повторяет Уточкин.

— И, знаешь, здорово пахнет порохом, — вмешивается Васильев, — как бы не пришлось воевать...

Летчики стоят задумчиво, полные тревоги, на берегу Невы.

Вдруг Уточкин выпрямился:

— Я готов... К-как, Петя, готов?

— Я за вас спокоен, Сергей Исаевич! — убежденно отвечает Соколов. — Вы подниметесь раньше всех, выше всех...

— А ч-ч-что! — говорит Уточкин.

Перед нами опять Уточкин первых лет, крепкий, не сдающийся, улыбающийся.

— Я же, чорт п-побери, Уточкин, — гордо говорит он, — в-военный летчик Уточкин! Мы еще п-поживаемся!.. Я п-поднимусь раньше всех, выше всех...

Глаза его закрываются, лицо покрывается мертвенной бледностью, он медленно оседает, падая на руки Соколова и Нестерова.

49. Постель. На ней лежит Уточкин. Маленькая комнатка где-то в верхнем этаже большого петербургского дома. Из окна видно небо.

Какая-то старушка сидит возле постели, смотрит с тревогой на больного. Тишина.

Доносятся крики газетчиков:

— Австрия вручила ультиматум Сербии!

— Австрия вручила ультиматум...

Крик этот переходит в рокот моторов. Три моноплана стоят на поле. Нестеров, Соколов и Васильев застегивают шлемы.

— Ну! — говорит Нестеров. — Пошли!

Они садятся в самолеты. Через все поле бежит к ним какой-то военный.

— Есть разрешение на полет? — кричит он, — куда?

— Потом разрешение, — кричит Нестеров, берясь за руль, — некогда!

— Без разрешения не смеете! — кричит военный.

Самолеты побежали вперед.

— Пойдете под арест!

Взревели моторы. Аэропланы поднимаются вверх, в небо.

Уточкин раскрывает глаза. Нарастает шум за окном, он все слышнее.

— П-птицы! — почти неслышно говорит Уточкин. — Откройте окно!

Старушка испуганно идет к окну. Окно распахивается.

Гул авиационных моторов входит в маленькую комнатку. Уточкин, собирая последние силы, поднимается на локте, смотрит. Глаза его расширяются.

Три самолета летят прямо в окно, стройно, согласно, прекрасно. Почти долетев до дома, они одновременно резко идут вверх, вверх, вверх. Три мертвых петли.

Безумное счастье на лице Уточкина.

— А ч-ч-что! — хриплым, громким, победным голосом говорит он, — а ч-ч-что!

Басни из Лашамбоди*

Александр ГАТОВ

★

ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ

Неся колчан и лук, шла смерть. И купидон
Шел рядом, стрелами вооружен.
Вдвоем они брели. Ночная птица пела.
Беззвездной ночь была. Обоих одолела
Усталость. Рядышком, укрытых темнотою,
Свалил их сон...

В тот миг в траве густой
Перемешались выпавшие стрелы.

Когда зажглась заря, заголубела вьсь,
Любовь и смерть надолго разошлись.

И сделалась любовь источником печали, —
В ее руке смертельная стрела.
А стрелы, что любви принадлежали,
Смерть по ошибке унесла.

И сердце старика с тех пор нередко
Стрелой любовной смерть пронзает метко.
И ранит сердце юноши порой
Любовь смертельною стрелой.

* Пьер Лашамбоди (1807—1872) — неизвестный у нас французский революционный поэт, автор замечательных басен. Участник восстания в июне 1848 года, Лашамбоди в 1852 году был осужден на каторгу, которая была ему заменена ссылкой в Африку.

★

Победа над Врангелем

Военно-исторический очерк

С. БОРИСОВ

★

В конце лета 1920 года военная обстановка на юге РСФСР ухудшилась: наступление войск Врангеля, вышедших из Крыма, поставило под угрозу снабжение жизненных центров нашей страны хлебом, углем и нефтью.

Серьезная опасность грозила Красной армии, действовавшей на польском фронте. Войска Врангеля могли появиться у нее в тылу.

После разгрома Красной армией Колчака и Деникина, после того, как уже начались переговоры с Польшей о мире, Врангель являлся для империалистов последним заслоном, который должен был, как откровенно выражался Черчилль, «закрывать от взоров человечества перспективы сияющего нового мира».

Поэтому Антанта усиленно снабжала Врангеля оружием и военными припасами. Все силы контрреволюции были мобилизованы в помощь «черному барону». Даже грузинские меньшевики отправляли ему пароходы с углем и нефтью.

Армия Врангеля была сформирована из разбитых войск Деникина, которые частично отступили в Крым с Украины, частично были переброшены на пароходах с Северного Кавказа.

Следует учесть, что в войсках Врангеля большой процент составляли отборные офицерские части и крупные массы регулярной конницы. Вооружены они были прекрасно. И великий стратег пролетарской революции товарищ Сталин еще 11 июля 1920 года, оценивая положение на фронтах, указывал:

«...Пока Врангель цел, пока Врангель имеет возможность угрожать нашим тылам, наши фронты будут хромать на обе ноги, наши успехи на антипольских фронтах не могут быть прочными. Только с ликвидацией Врангеля можно будет считать нашу победу над польскими панами обеспеченной. Поэтому партия должна начертать на своем знамени новый очередной лозунг: «Помните о Врангеле!», «Смерть Врангелю!»¹

До того как был образован самостоятельный Южный фронт, борьбу с Врангелем осуществлял Юго-Западный фронт, под непосредственным руководством товарища Сталина. Громя белополяков, товарищ Сталин одновременно осуществил целый ряд мероприятий, которые имели целью остановить наступление Врангеля и разгромить его армию.

По сталинскому стратегическому плану на правом берегу Днепра, у Бериславы, сосредоточивалась мощная ударная группа, которая должна была переправиться через Днепр и стремительным ударом отрезать войска Врангеля от Крыма. Военкомом правобережной группы был назначен Л. Э. Мехлис.

Второго августа Центральный Комитет партии принял, по предложению В. И. Ленина, такое решение:

«Ввиду успеха Врангеля и тревоги на Кубани необходимо признать врангелев-

¹ К. Е. Ворошилов, Сталин и Красная Армия, Госвоениздат, 1937, стр. 228.

ский фронт имеющим огромное, вполне самостоятельное значение, выделив его как самостоятельный фронт. Поручить товарищу Сталину сформировать Реввоенсовет, целиком сосредоточить свои силы на врангелевском фронте...»¹

ЦК партии предложил главнокомандующему согласовать с товарищем Сталиным вопрос о назначении командующим фронтом М. В. Фрунзе.

В тот же день Владимир Ильич Ленин телеграфировал товарищу Сталину:

«Только что провели Политбюро разделение фронтов, чтобы вы исключительно занялись Врангелем...»²

Новый фронт был организован товарищем Сталиным. Однако болезнь помешала ему довести до конца осуществление своего плана разгрома Врангеля. Реализация этого плана легла на плечи М. В. Фрунзе.

★

Страна уже хорошо знала Фрунзе как одареннейшего полководца, который нанес сокрушительный удар Колчаку и разгромил контрреволюцию в Средней Азии.

Решение ответственной задачи, которую возлагала на Фрунзе партия, облегчалось тем, что, приступая к операции, он мог опереться на громадную военную и политическую базу, подготовленную товарищем Сталиным в бытность его членом Реввоенсовета Юго-Западного фронта. Подобранные и воспитанные Сталиным кадры коммунистов и комсомольцев явились цементом, который спаял единство армии.

★

13 сентября 1920 года Михаил Васильевич Фрунзе, вызванный из Туркестана в Москву, явился к Ленину.

Фрунзе докладывал о положении в Средней Азии. Владимир Ильич слушал с обычным вниманием, делая отметки на бумаге.

¹ К. Е. Ворошилов, Сталин и Красная Армия, стр. 56—57.

² Там же.

Когда Фрунзе закончил, Владимир Ильич отложил в сторону карандаш и, внимательно смотря в глаза собеседнику, сказал:

— А теперь, товарищ Фрунзе, вам надлежит отправиться на Южный фронт.

— Слушаюсь, Владимир Ильич,— по военному четко ответил Фрунзе.

Принимая ответственнейшее назначение, Фрунзе высказал Ленину сожаление лишь о том, что время не позволило подготовить надежные кадры своих военных специалистов, а старые военные специалисты, даже при их лояльности, с трудом пронижаются сознанием, что Красная армия принципиально отлична от старой армии, и что гражданская война совсем не похожа на прошлую позиционную войну.

В. И. Ленин сказал Фрунзе:

— Наши товарищи или совершенно попадают к ним в плен, или же их дают и душат. А вот вы, я знаю, сами умеете делать и другим даете работать...

Беседа вернулась к основной теме — врангелевскому фронту.

— Затяжка войны еще на год означает неминуемую гибель революции, — сказал Владимир Ильич. — С Врангелем должно быть покончено к зиме. Такова директива партии. Как вы думаете, в какой срок можно будет его ликвидировать?

— К декабрю, Владимир Ильич, Крым будет советским...

27 сентября Фрунзе прибыл в Харьков и вступил в командование фронтом.

Обстановка на фронте была весьма сложной. Сосредоточение ударной группы на правом берегу еще не было закончено. На левобережном участке фронта части 13-й армии отходили под натиском противника. Врангель занял Александровск (ныне Запорожье) и развивал наступление на Волноваху — Мариуполь. Белополяки явно выжидали результатов наступления Врангеля и медлили с мирными переговорами. В тылу наших армий орудовали банды Махно.

М. В. Фрунзе уверенно взялся за выполнение поставленной перед ним

грандиозной задачи, имея постоянную помощь товарищей Ленина и Сталина.

После тщательного изучения обстановки Фрунзе разработал план разгрома Врангеля в Северной Таврии, положив в основу идею сталинского плана. Главный удар должна была нанести правобережная группа армий (6-я, 1-я и 2-я Конные). Первой Конной поручалось отрезать армию Врангеля от Крыма. Левобережная группа армий должна была в первый момент притянуть на себя как можно более сил противника, а затем уничтожить его совместно с ударной группой. План М. В. Фрунзе был обсужден с главным командованием в присутствии товарища Ворошилова.

Фрунзе был спокоен за судьбу кампании: на фронт шли надежные подкрепления—около 13 тысяч коммунистов, посланных партией. За положением на Южном фронте неослабно наблюдал Владимир Ильич Ленин. Он настойчиво требовал ускорить движение Первой Конной армии и других частей на врангелевский фронт.

4 октября Владимир Ильич вызвал по прямому проводу Ворошилова и Буденного и передал Первой Конной: «Крайне важно изо всех сил ускорить передвижение вашей армии на южфронт. Прошу принять для этого все меры, не останавливаясь перед героическими. Телеграфируйте, что именно делаете»¹.

Перед началом операций против Врангеля 16 октября Фрунзе получил мудрую и четкую директиву Ленина, содержавшую практические указания, которые очень помогли Фрунзе при разработке оперативного плана.

В. И. Ленин писал:

«Помните, что надо во что бы то ни стало на плечах противника войти в Крым. Готовьтесь обстоятельнее, проверьте — изучены ли все переходы вброд для взятия Крыма».

Армии фронта должны были удерживать занимаемое положение до тех пор, пока не закончится сосредоточение сил для решающего удара. Это было трудно: Врангель, напрягая последние усилия,

стремился сорвать группировку наших сил и выйти в Правобережную Украину, где он рассчитывал соединиться с белополяками.

★

С 14 сентября по 5 октября на северовосточном крыле фронта шли ожесточенные бои. Врангель стремился разбить нашу 13-ю армию и нарушить группировку красных за Днепром.

В телеграмме Ленину Фрунзе указывал:

«Наша задача — во что бы то ни стало продержаться на левобережном участке и прикрыть Донбасс, не вводя в бой пока не готовой правобережной группы».

Эту задачу Фрунзе разрешил блестяще. Сорвать нашу группировку Врангелю не удалось.

Но Фрунзе предвидел и дальнейшее развитие событий на фронте. Изучая обстановку, он уже 4 октября сделал для себя такую заметку: «Меня тревожат опасения возможности переправы через Днепр и удар в левый фланг нашей правобережной группы с одновременным фронтальным ударом (на Каховский плацдарм)»¹. Фрунзе оказался прав в своих предположениях: невзирая на оперативную неудачу наступления против 13-й армии, Врангель решил прорваться за Днепр.

7 октября Врангель приступил к выполнению своей Заднепровской операции. Он намеревался окружить и разбить 2-ю Конную армию в районе Никополя, а затем обрушиться против 6-й армии, державшей Каховский плацдарм. С этой целью 1-й армейский корпус и сводная конная дивизия генерала Бабиева переправились у Александровска и начали наступление с востока на Никополь — Апостолово. 3-й армейский и конный корпуса врага переправились у Бабина — Ушкалка — Грушовка и, закрывшись заслоном от нашей 6-й армии, пошли в наступление на Шолохово — Никополь навстречу группе генерала Бабиева. После разгрома 2-й Конной армии Врангель намеревался двинуть

¹ «Правда» от 23 февраля 1933 г.

¹ М. В. Фрунзе. Сочинения, т. I, стр. 171.

всю конницу и пехоту на тыл и фланг 6-й армии.

Но Фрунзе четко и уверенно разработал и осуществил контрудар. Предвидя переправу врангелевцев за Днепр, он принял решение разбить группировку противника по частям. 2-я Конная армия при поддержке частей 6-й армии разгромила под Шолохово конницу противника, а 46-я дивизия и курсантская бригада сбросили с правого берега марковскую дивизию белых у Александровска. Таким образом, вторжение Врангеля за Днепр окончилось полным провалом.

Тогда же Врангель предпринял атаку на Каховский плацдарм, который защищала 51-я дивизия¹. Для атаки на Каховку враг сосредоточил две дивизии, массу артиллерии, танки, бронемашину, самолеты. Атака должна была начаться на рассвете внезапным появлением танков.

Каховка...

Ровная открытая степь, с небольшими холмами и неглубокими балками. Плацдарм растянулся на сорок километров вдоль фронта. Его глубина — до двенадцати километров. На флангах — редкие деревеньки, кое-где хутора и курганы — древние могильники. Жесткая, выжженная солнцем трава. Плацдарм был укреплен окопами у переправ через Днепр и у могильников.

13 октября над расположением 51-й дивизии пронеслись врангелевские самолеты и сбросили прокламации:

«Красноармейцы, сдавайтесь в плен, бросайте оружие...»

На рассвете 14 октября началась атака Каховки. Из предрассветной мглы со страшным скрежетом ползли большие, тяжелые танки. Артиллерия прикрывала огнем валом движение танков, за которыми шли бронемашину и в третьем ряду пехота. С воздуха позиции красных бомбили самолеты.

Восход солнца был встречен грохотом битвы. Танки смяли проволочные заграждения и прорвали первую линию обороны.

Многие красные бойцы видели эту боевую технику впервые.

Пехота пропустила вражеские танки; они уже двигались в тылу красных цепей, изрыгая огонь из пулеметов. Четырнадцать огромных машин, управляемых лучшими боевыми офицерами Врангеля, двигались к переправам.

Красная артиллерия начала бить по танкам. Каждое мгновение возникали фонтаны огня и земли. Воздух дрожал от пролетающих снарядов. Весь плацдарм был во власти огня и стали.

Вражеские танки упорно ползли вперед и вперед. К 7 часам утра они прорвались через основную линию. Сломив сопротивление защитников внешней линии обороны и предвкушая скорую победу, врангелевская пехота и кавалерия устремились к основной линии. Однако здесь противника ждал энергичный отпор. Белая кавалерия была вынуждена повернуть обратно, а пехота залегла и начала перестрелку с защитниками основной линии.

К 11 часам утра красное командование решило перейти в контрнаступление и восстановить положение. Врангелевцы упорно держались достигнутой линии. Но вот наши меткие артиллеристы, подбив восемь танков, вступили в поединок с вражеской артиллерией и разгромили четыре врангелевские батареи. Под дружным натиском нашей пехоты конница белых, бросая артиллерию и обозы, в беспорядке отступила.

Руководивший боем на Каховском плацдарме Фрунзе, на основе первых донесений, пришел к следующему выводу:

«Если чутье меня не обманывает, то противник под Каховкою уже захлебывается в своих атаках. Теперь необходимо энергичное контрнаступление с нашей стороны».

Во время боя Фрунзе запросил командование:

- Каково положение на плацдарме?
- Бой идет чрезвычайно ожесточен-

¹ По составу 51-я дивизия отличалась от остальных. Она состояла из четырех стрелковых бригад, двух кавалерийских полков, четырех легких артиллерийских дивизионов, гаубичного дивизиона, тяжелого пушечно-гаубичного дивизиона, отдельной тяжелой гаубичной батареи и двух автобронепоезд.

но. Красноармейцы дерутся великолепно...

Командование сообщило подробности разворачивающейся операции:

«Противник ввел большое количество танков и бронемашин... Это первый случай в трехлетней гражданской войне».

Михаил Васильевич ответил:

— Привет славным войскам. Они сейчас решают судьбу кампании...

Командарм 6 получил от Фрунзе приказ немедленно перейти в наступление, разгромить 2-й корпус врага и прочно закрепить за собой плацдарм. Приказ был выполнен неточно. Все же, отброшенный далеко за границы плацдарма, противник понес жестокие потери.

Таким образом, попытка врага захватить Каховский плацдарм, значение которого он оценивал правильно, закончилась полным крахом. Благодаря блестящим контрмерам Фрунзе Врангелю было нанесено поражение. Красные войска захватили девять танков, несколько орудий и много пленных.

Не ожидавший такого энергичного сопротивления враг вынужден был перейти от наступления к обороне в Северной Таврии. На северо-западе он опирался на Днепр, а на северо-востоке — на созданные за лето мелитопольские позиции. В районе Серогозы Врангель образовал сильную ударную группу из конницы и пехоты, чтобы бить наши армии по частям.

Тем временем пролетарский полководец, в осуществление принятого плана ликвидации армии Врангеля, ставил следующую задачу войскам Южного фронта:

«Инициатива у врага вырвана, ему нанесен крупный ущерб. Обеспечена возможность нанесения нашего ответного и решающего удара. Начало разгрома положено, теперь остается его довершить».

Фрунзе правильно оценивал сложившуюся обстановку. Победа под Каховкой и за Днепром, под Шолоховым, не только помешала Врангелю войти в соприкосновение с правым флангом польских войск и сорвать переговоры между

Польшей и Советской Россией, но и обеспечила войскам Южного фронта возможность перейти в общее наступление. Учитывая это, пролетарский полководец немедленно принимает смелое решение:

«Разбить армию Врангеля, не дав ей возможности отступить на Крымский полуостров, и захватить перешейки»¹.

19 октября Фрунзе разослал командирам общие соображения относительно подготовки и проведения операции. В общих чертах этот план сводился к следующему.

Правобережные армии, наступая на восток, должны были отрезать путь отступления Врангеля и уничтожить его резервы в районе Мелитополя. Левобережным армиям ставилась задача — оттянуть на себя значительные силы врага и, связав его боями, помешать ему ударить в тыл нашей правобережной группе. Первая Конная (которая еще шла к Днепру) должна была, отрезав врагу путь отступления, преследовать его до полного уничтожения. Чтобы эффективнее использовать всю мощь нашей конницы, Фрунзе ставил 13-й армии задачу — опрокинуть врангелевцев на клинки Ворошилова и Буденного.

Таким образом, предполагалось зажать врага в клещи, раскрытые концы которых начинались с одной стороны у Херсона (6-я армия), а с другой — у Бердянска (13-я армия). Согласно плану Фрунзе, враг оказывался отрезанным от перешейков, а в лоб ему били конные части и 4-я армия.

Обстановка на театре гражданской войны позволяла Фрунзе следовать уже испытанному им приему — охват флангов, окружение и фронтальный удар в центре по группировке врага.

Осуществление плана Фрунзе, который отличался обычной для пролетарского полководца ясностью оперативного замысла, требовало от командиров частей точных действий в пределах указанных им директив и соблюдения сроков.

К началу реализации плана Фрунзе — к 26 октября — армии Южного

¹ М. В. Фрунзе. Сочинения, т. I, стр. 135.

фронта были усилены до 137 тысяч штыков и сабель при 527 орудиях, 2664 пулеметах, 17 бронепоездах, 29 самолетах и 41 бронемашине.

Врангель располагал к этому времени 35 тысячами штыков и сабель при 213 орудиях, 1663 пулеметах, 6 бронепоездах, 10 танках, 40 самолетах и 85 броневедомыми.

Таким образом, благодаря энергичным мерам, принятым партией и правительством, командование Южного фронта смогло обеспечить четверное превосходство в силах и двойное превосходство в артиллерии и пулеметах. Тем самым были созданы необходимые предпосылки для успешного решения труднейшей задачи — разгрома отборных офицерских частей барона Врангеля.

Армии Южного фронта располагались так:

6-я армия, находившаяся на правом берегу Днепра, упиралась своими флангами в Херсон и Ново-Воронцовку. Против 6-й армии находились 2-й армейский корпус Врангеля и отряд генерала Черепова. У Серогозы сосредотачивались части конного корпуса Барбовича.

К Каховке двигалась Первая Конная.

2-я Конная армия располагалась в районе Никополя и на левом берегу Днепра. Ее противником были 1-й армейский корпус Врангеля, кубанская дивизия и терско-астраханская бригада.

4-я армия красных войск, только что закончившая формирование, держала фронт в районе Александровска.

13-я армия наступала на фронте Орехов—Бердянск. Против этих двух армий действовали дроздовская пехотная дивизия, 3-й армейский корпус и донской корпус врангелевских войск.

В частях Южного фронта была развернута широкая политико-воспитательная работа. Лозунг «Добить Врангеля!» приобрел огромную популярность. Была усилена воинская дисциплина, укреплены фронтовой и армейские тылы.

Красные летчики сбрасывали в расположение войск противника тысячи листовок с призывом к солдатам

Врангеля — прекратить борьбу и сдать Красной армии.

Врангелевцы продолжали отход на линию мелитопольских укрепленных позиций. Но Врангель еще не считал себя побежденным.

Он решил принять бой в Северной Таврии и разбить Красную армию. С этой целью Врангель начал концентрировать свою «бронированную конницу» — корпус генерала Барбовича — и лучшие пехотные части, укомплектованные офицерами в районе Серогоз. Отсюда Врангель хотел нанести удар во фланг и в тыл нашим частям, когда они начнут наступать к Крымским перевалам.

Михаил Васильевич неослабно следил за действиями врага.

Командующие Красными армиями и члены Реввоенсовета были созваны Фрунзе на совещание, которое состоялось 26 октября на станции Апостолово. На этом совещании Фрунзе, Ворошилов и Буденный, совместно с высшим командованием, обсудили детали предстоящей большой операции. Обращаясь к командованию 6-й армии, 1-й и 2-й Конных армий, Фрунзе указал, что их части в предстоящей битве должны решить ударную задачу.

В этот же день Фрунзе приказал войскам фронта:

«Во что бы то ни стало не допустить отхода противника в Крым и согласованным концентрическим наступлением всех армий уничтожить его главные силы, группирующиеся к северу и северо-востоку от перевалов, отрезать пути его отхода в Крым и стремиться на плечах бегущих овладеть перевалками»¹.

Тотчас же Фрунзе доложил об этом В. И. Ленину по телеграфу:

«Сейчас отдал окончательный приказ об общем наступлении. Решающими днями будут 30—31 (октября) и 1 ноября. В разгроме главных сил противника не сомневаюсь. Отойти за перевалки к моменту нашего удара он не успеет. На немедленный захват перевалков считаю не более 1 шанса из 100...»

¹ М. В. Фрунзе. Сочинения, т. I, стр. 157—158.

Конкретно по плану операции в Северной Таврии ставились армиям Южного фронта следующие задачи:

6-я армия, оставив одну дивизию у Каховки для обеспечения переправы Первой Конной, должна перейти утром 28 октября главными силами в наступление на юг и, разгромив стоящий перед ней 2-й корпус врангелевцев, ворваться своей конницей в Перекоп. Своим левым флангом 6-я армия должна была теснить врага в направлении Рубановка — Серогозы, имея задачей содействовать операциям 2-й Конной армии.

2-й Конной армии надлежало перейти 29 октября в наступление на Серогозы — Калашинская и, совместно с частями 6-й армии и Первой Конной, уничтожить главные силы Врангеля: 1-й армейский корпус, кубанскую дивизию и терско-астраханскую бригаду.

13-й армии — перейти в наступление по всему занимаемому ею фронту Орехов — Нельговка на Мелитополь.

4-й армии надлежало наступать также на Мелитополь с севера. 13-я и 4-я армии, сковывая своим наступлением врага, должны были притянуть максимум сил противника и обеспечить Первой Конной выполнение задачи уничтожения основной группы врангелевской армии.

Решающая роль в предстоящей битве отводилась детищу товарища Сталина — героической Первой Конной армии, которая пришла с польского фронта походным порядком, проделав шестисоткилометровый марш.

26 октября Первая Конная армия получила приказ Фрунзе:

«...закончив в ночь с 27 на 28 октября переправу через Днепр у Каховки, стремительным маршем выйти 29 октября на фронт Аскания-Нова — Громовка, отрезать противника от перешейков и решительным наступлением с юга на Агайман — Серогозы совместно с 6-й и 2-й Конной окружить и уничтожить главные силы противника»¹.

Не останавливаясь, не отдыхая, шли полки славной конницы. Миновав Каховский плацдарм, 28 октября они пере-

правились через Днепр по понтонному мосту. По реке уже плыли первые льдины. На берегу стояли товарищи Ворошилов и Буденный, — они непосредственно руководили переправой больших масс конницы, артиллерии...

★

На рассвете 28 октября началось наступление армий Южного фронта. По мерзлой пустынной степи шли в бой красные полки.

51-я красная дивизия 6-й армии, разгромившая войска генерала Витковского у Каховки, подходила к Перекопу.

— Вот оно, море! — возбужденно говорили бойцы 51-й дивизии, которая пришла на юг из Иркутска через Урал.

Сумерки сгустились, и пустынная осенняя степь сливалась с морем. Слово посаженный ровно кустарник, чернела невысокая стена проволочного заграждения. Дальше, перед вздымавшимися над степью строениями города шли, как застывшие волны, три гряды окопов. Еще дальше возвышался Турецкий вал.

В этот же день, 28 октября, Фрунзе, — на основании донесения о разгроме врага под Никополем и учитывая обход левого фланга его укрепленных мелитопольских позиций, — приходит к выводу, что армии Врангеля начнут стремительный отход из Таврии к перешейкам.

Тотчас же Михаил Васильевич приказывает 13-й и 4-й армиям развить стремительное наступление, не считаясь со сроками и рубежами. 29 октября М. В. Фрунзе доносит В. И. Ленину о ходе наступления и уже в этой телеграмме предусматривает возможность «переправ бродом или на плотках через Сиваш». В тот же день Фрунзе отдает приказ Первой Конной движением на восток овладеть районом Геническа — Сальково и 6-й армии — атаковать Перекоп.

Надо сказать, что фактически вся тяжесть развернувшихся боев легла на Первую Конную, так как командармы 6-й, 2-й Конной, 4-й и 13-й армий допустили серьезные ошибки, в результате которых эти армии наступали

¹ М. В. Фрунзе. Сочинения, т. I, стр. 159.

медленно и плохо взаимодействовали друг с другом. Уже 30 октября Фрунзе обращает внимание командарма 2-й Конной на то, что его армия продвигается непростительно медленно, — это ставит в тяжелое положение Первую Конную. Пассивно отражая атаки двух конных полков противника, командование 2-й Конной не разгадало, что эти полки лишь прикрывают отход главных сил. Обращаясь к командирам 4-й и 13-й армий, Михаил Васильевич вновь подчеркивает, что от успешности «выполнения ими данного задания зависит разрешение основных задач...»

Первой Конной Фрунзе подтверждает приказ — перерезать пути отступления Врангеля.

Переправившись через Днепр, Первая Конная переходит в стремительное наступление. Она действует двумя группами. Северная — в составе 6-й и 11-й кавдивизий — наступает на Агайман — Серогозы, южная — в составе 4-й, 14-й кавдивизий и Особой кавбригады — движется на Сальково.

Ночью 30 октября началась атака Перекопа частями 51-й дивизии.

В свете вражеских прожекторов двинулись наступающие цепи красных бойцов. Лихорадочно бьет артиллерия врага, неумолчно трещат пулеметы, — знакомые, но всегда волнующие и возбуждающие бойцов картины боя! Падают убитые, раненые. Нами взяты две линии укреплений. Белые бегут под защиту Турецкого вала.

Холодный осенний рассвет. Атака возобновляется.

Но взять сильно укрепленный Турецкий вал не удастся. Эта операция требует большой предварительной подготовки. И, получив донесение о неудачной атаке частей 51-й дивизии на Турецкий вал, Фрунзе приказывает подготовить обход укреплений противника по Сивашу.

★

Тем временем на фронте Первой Конной также развертывались ожесточенные бои. Руководимые К. Е. Ворошиловым и С. М. Буденным части выполнили 30 октября приказ Фрунзе и отрезали

Врангелю пути отхода в Крым. Они продвинулись до Чонгара. 6-я и 11-я кавдивизии Первой Конной на своем пути у Агаймана встретили основную ударную группу Врангеля. Белые нацеливали свой удар во фланг и тыл нашей перекопской группе. Но героические дивизии красной конницы грудью прикрыли части 6-й армии, оперировавшие у Турецкого вала, и преградили путь дивизиям белых, стремительно откатывавшимся в Крым под защиту фортификационных сооружений Перекопа.

Весь день не прекращался бой. Буденновцы храбро атаковали численно превосходящего их противника. Белые закрывались от этих сокрушительных атак буденновцев броневиками и вооруженными автомобилями. В результате многократных атак движение белых, пробивавшихся к Перекопу, было приостановлено. Однако 6-я и 11-я дивизии не смогли пробиться к основным силам Первой Конной, которые уже стояли на подступах к Чонгару. 4-я кавдивизия под командованием С. К. Тимошенко в этот день уничтожила врангелевские части, которые прикрывали район Сальково, и после упорных боев захватила Геничеськ и Ново-Алексеевку. 14-я кавдивизия заняла Рождественское.

Выход основных сил Первой Конной к Чонгару вызвал панику в штабе Врангеля: вся армия белых была отрезана от Крыма. В Джанкой из Севастополя был срочно вызван на консультацию «спаситель Крыма» генерал Слащев. Когда Слащев явился, Врангель лихорадочно бегал по салон-вагону.

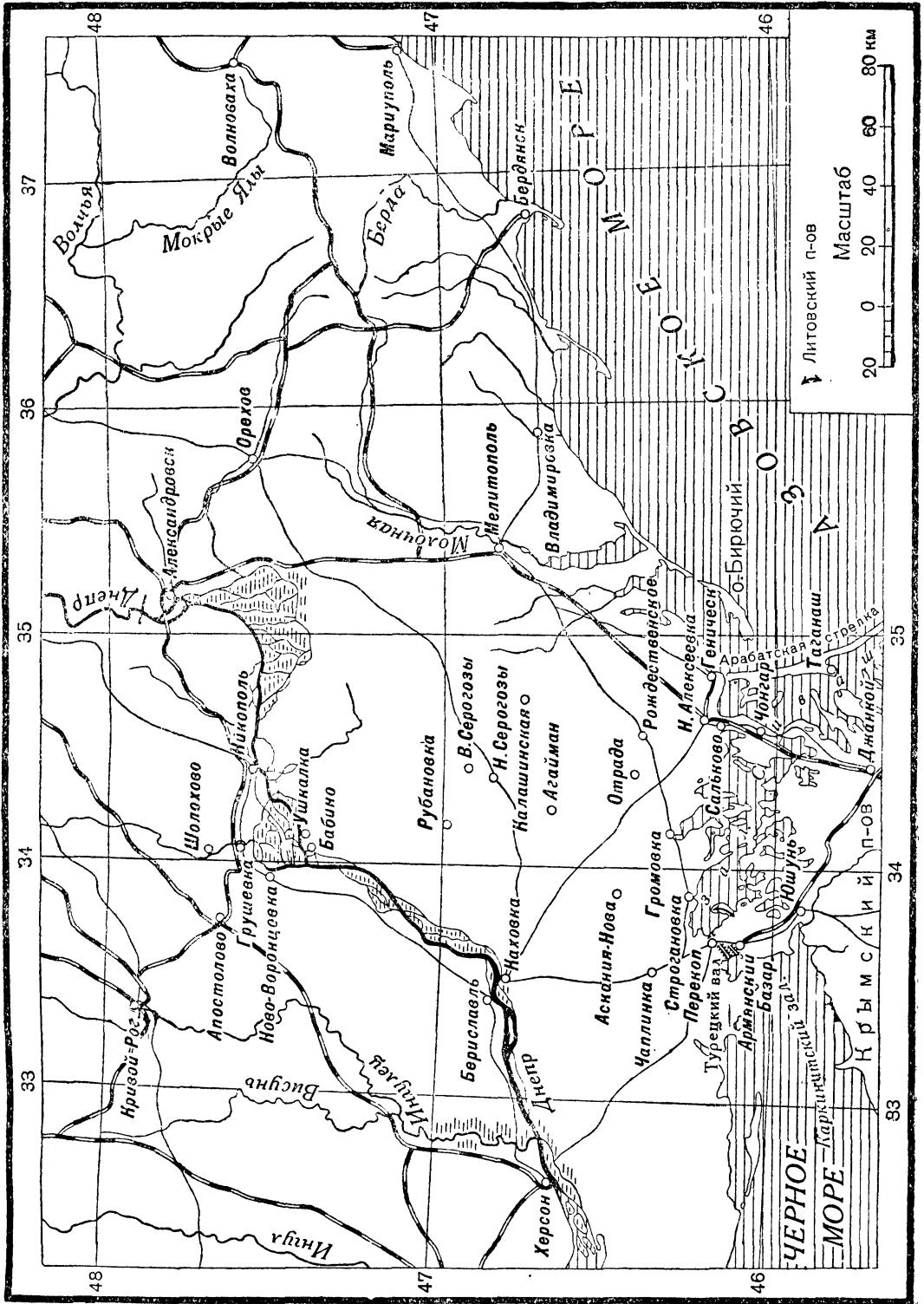
— Вы знаете, что Буденный у Чонгара? — обратился он к Слащеву.

— Откуда он — с неба или от Каховки? — спросил Слащев.

— Не время шутить, генерал, — закричал Врангель, теряя самообладание, — вся армия осталась в Таврии! Что делать?

— Единственный выход — всей армией обратиться на Буденного и утопить его в Сиваше, — посоветовал Слащев.

Тут же была отправлена радиограмма Кутепову — объединить всю армию и пробиваться на Чонгар.



Назревало решительное сражение. Врангель использовал положение, создавшееся во время предшествовавшего боя 6-й и 11-й кавдивизий Первой Конной у Агаймана: после того как Первая Конная разделилась на две группы, связь между ними еще не была восстановлена.

На рассвете 31 октября начались бои. Густые колонны конницы и пехоты Врангеля обрушились на 14-ю кавдивизию товарища Пархоменко, которая стояла у села Рождественского, и на Особую кавбригаду и штаб Первой Конной, находившиеся у села Отрада. Против 4-й кавдивизии, стоявшей у Геническа и Ново-Алексеевки, были двинуты 7-я и 3-я пехотные дивизии белых.

На фронте 4-й кавдивизии развернулись кровопролитные бои с переменным успехом. В разгар боя 4-я кавдивизия получила приказ от Реввоенсовета Первой Конной — немедленно выйти из боя и двигаться к Отраде, где обстановка оставалась крайне напряженной. Там врангелевцы попытались окружить штаб Первой Конной. В рукопашной схватке рубились с белыми С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов. Текинец с пикой бросился на К. Е. Ворошилова. Пика запуталась в бурке, а белогвардейца сразила меткая пуля...

Получив приказ о выходе к Отраде, С. К. Тимошенко повернул 2-ю кавбригаду фронтом к северу и скомандовал:

— В атаку! За мной!

Сверкая клинками, конница во главе со своим храбрым комдивом бросилась на врага. Офицерские роты встретили атакующих дружными залпами винтовок и огнем пулеметов. Как вихрь, неслась красная конница за комдивом, и белые цепи, дрогнув, побежали под прикрытием картечи своих бронепоездов. К белым спешит подкрепление, но красная конница уже в трехстах шагах от окопов врангелевцев. Внезапно падает с коня С. К. Тимошенко, — он ранен пулей в ногу. По бригаде разносится тревожная весть:

— Тимошенко ранен!..

Конники бросаются к любимому командиру и под огнем врага выносят его

и кладут в тачанку. Враг обрушил на тачанку жестокий огонь. Вторая пуля пробивает С. К. Тимошенко руку.

Тачанка срывается с места, но через несколько шагов останавливается. Залп врага убивает всю запряжку. Конники подводят свежих коней и вывозят своего командира в безопасное место.

4-я кавдивизия, прорвав фронт врага, вышла из окружения. Приказ Реввоенсовета Первой Конной был выполнен. Захватив в бою 3 000 пленных, 4-я кавдивизия в ночь на 1 ноября сосредоточилась в районе Отрады. 14-я кавдивизия также начала отходить на фронт южнее Отрады.

Как ни велик был количественный перевес врангелевских армий, обрушившихся всеми своими силами на одну Первую Конную, им не удалось смять отважные полки красной кавалерии.

1 ноября Первая Конная, собрав свои силы в кулак, вновь обрушилась на врага.

Перед боем К. Е. Ворошилов обратился к конникам с зажигательной речью:

— Вы являетесь бойцами легендарной Первой Конной армии. Перед нами стоит ответственная задача: разгромить барона Врангеля—этот последний оплот белогвардейщины на юге. Бесстрашно идите вперед! Боритесь смело, решительно и мужественно! Победа будет за нами!

Воодушевленная этой речью, красная конница вновь стремительно обрушилась на численно превосходившего ее врага, который яростно пробивал себе дорогу в Крым.

Сдерживая врангелевцев, Первая Конная рассчитывала, что с севера и востока на врага двинутся части 2-й Конной, 4-й и 13-й армий, как это было предусмотрено планом Фрунзе. Но командование этих армий опоздало с выполнением приказа.

Это было наруку Врангелю. Не чувствуя нажима с севера и востока, он сосредоточил против Первой Конной многочисленную конницу, артиллерию, бронемашин и авиацию, стремясь во что бы то ни стало преодолеть стойкое сопротивление Первой Конной, которая при-

няла на себя удар главной массы войск противника. К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный, видя, что враг ускользает за перешейки, делали все, чтобы нанести ему поражение.

Врангелевцы отступили на Чонгарском направлении за перешейки и укрылись за сальковскими укреплениями. Эти укрепления выглядели весьма внушительно: две линии окопов с проволочными заграждениями и убежищами. Помимо большого количества артиллерии сальковские позиции защищались четырьмя курсировавшими бронепоездами.

Шестая кавдивизия О. И. Городовикова, совместно с доблестной 30-й стрелковой дивизией, получила приказ взять сальковские укрепления. Корниловцы упорно защищали свои позиции и неоднократно переходили в контратаку против наступающих цепей 30-й дивизии. Все же они вынуждены были отступить после кровопролитного боя, и наша славная пехота, захватив укрепления, открыла буденновской кавалерии дорогу на Чонгарский полуостров.

6-я кавдивизия, сметая со своего пути врага, устремилась к Чонгарскому мосту, стремясь на плечах отступающих врангелевцев ворваться в Крым. Белые зажгли Чонгарский мост. Это не остановило красную конницу. По пылающему мосту эскадроны Городовикова ворвались в Крым, и, лишь встретив мощные укрепления врага, они вынуждены были отойти.

После этого боя 6-я кавдивизия, проявившая исключительное мужество, получила название Чонгарской.

Героическими усилиями Красной армии врагу было нанесено большое поражение. В приказе войскам Южного фронта от 5 ноября М. В. Фрунзе так оценил итоги этой операции:

«Первый этап по ликвидации Врангеля закончен. Комбинированными действиями всех армий фронта задача окружения и уничтожения главных сил врага к северу и северо-востоку от Крымских перешейков выполнена блестяще. Противник понес огромные потери, нами захвачено до 20 тысяч плен-

ных, свыше 100 орудий, масса пулеметов, до 100 паровозов и 2 000 вагонов и почти все обозы и огромные запасы снабжения с десятками тысяч снарядов и миллионами патронов.

Лишь отдельные части армий противника прорвались в Крым по Сальковскому перешейку, да небольшая группа укрылась за Перекопским валом»¹.

Все же до конца Врангель еще не был разгромлен. Частям Красной армии предстояло добить белую армию в Крыму...

2 ноября к белым, прочно занимавшим Турецкий вал, из 51-й дивизии был послан политрук в качестве парламентаря с приказом о капитуляции.

Отправляясь к валу, политрук спросил командира:

— До белых мне удастся дойти?

— Вряд ли. Скорее вас убьют, как только покажетесь перед валом...

Политрук повернулся и направился к валу. Белые, однако, огонь не открыли, а выслали своего офицера для переговоров.

Произошел следующий разговор:

— Кто вы такой?

— Я политрук. Вот вам приказ для гарнизона Перекопа о сдаче.

— Я не уполномочен решать вопрос о сдаче,—заявил офицер, прочитав приказ.—Перекоп вам не взять...

— За что вы воюете?

— А вы за что? — спросил в свою очередь офицер.

— За освобождение рабочих и крестьян от тирании капиталистов. Вы же за что воюете?

— Мы сами толком не знаем. Но Перекоп вам не взять...

Парламентареры разошлись. Перестрелка продолжалась.

★

С моря действующие белые корпуса охраняли дредноут «Генерал Алексеев», крейсера «Генерал Корнилов», «Алмаз» и «Георгий». Кроме того, в Севастополь, прибыли военные французские корабли во главе с флагманским дред-

¹ М. В. Фрунзе. Сочинения, т. I, стр. 160.

ноутом «Мальборо» и английский сверхдредноут «Рамилье».

С суши вход в Крым оберегали сильнейшие фортификационные сооружения, о которых Врангель писал в своем приказе:

«Я осмотрел укрепления Перекопа и нашел, что для защиты Крыма сделано все, что только в силах человеческих».

Белая печать, захлебываясь от восторга, кричала:

«Это почти второй Верден... Непроходимая сеть проволочных заграждений... Глубокие окопы... Бетонированные блиндажи... Тяжелая артиллерия... Подъездные пути...»

В этих сообщениях нет преувеличений. Дорога в Крым действительно была защищена прочно.

Части врангелевской армии — дроздовская, корниловская и марковская дивизии, кубанская и терско-астраханская конница, конный корпус генерала Барбовича — имели сильный кадровый офицерский состав. Белые были полны решимости защищать Крым. В их руках оставался последний клочок русской территории; с ее потерей погибала «белая идея».

Потерять Крым — значило или обратиться к большевикам с покаянием и просить у родины прощения, или итти на содержание к своим покровителям из лагеря Антанты. Последнее было, конечно, больше по сердцу представителям паразитических классов.

Удержать Крым, с точки зрения белых, значило сохранить кое-какие перспективы на будущее. Белое командование знало, что красные войска терпят большие лишения, что в Советской России голод, разруха. Поэтому враги рассчитывали, что, продержавшись в течение известного времени в Крыму, они смогут опереться на союзников не только вне, но и внутри Советской России: на кулачество в деревнях, представлявшее еще внушительную силу, и на остатки буржуазии в городах.

В мемуарах, появившихся после гражданской войны в белоэмигрантской печати, очень много места отводилось показу разложения белого тыла — широко описывалось пьянство и разгул, ца-

рившие среди командного состава, распространение среди офицерства идеи «обреченности» и т. д. Все это якобы помогло красным одержать победу. На самом деле, пьянство и разложение белого офицерства были только следствием разгрома врага доблестной Красной армией. Во всех значительных битвах гражданской войны белые дрались с большим упорством; победа над ними стоила нам немало крови и далась вовсе не так легко, как это хотелось бы представить обанкротившимся белогвардейским мемуаристам.

Таким образом, решающие бои за овладение Перекопом неизбежно должны были вылиться в жестокое, кровопролитное сражение. Пролетарские полководцы это учитывали и серьезно готовились к предстоящей операции.

Большую помощь наступавшей с севера Красной армии оказали большевики, работавшие в крымском подполье, и товарищи, переброшенные к ним в помощь из Советской России. Они проводили большую работу, залагая и дезорганизуя тыл врангелевских войск.

Ни самые суровые репрессии, ни жесточайший террор не могли пресечь мужественную деятельность большевистских организаций, работавших в тылу у Врангеля.

Один корреспондент севастопольской белогвардейской газеты писал:

«Всюду красные газеты читаются, везде группы солдат, читающих самые различные советские газеты. Здесь и «Красный стрелок», и «Дело победы», и газета «На Крым», а также «Беднота» и всевозможнейшие «Известия Советов», не считая многочисленных прокламаций: «К солдатам армии Врангеля», «К белым солдатам», «Кто ваш враг» и т. д. Читают их вслух. Смотришь — ходит солдат, а в душу его, видно, закралось сомнение».

В белой армии росло дезертирство. Боевые отряды партизан взрывали мосты, нападали на двигавшиеся к фронту эшелоны с продовольствием и снаряжением, спускали под откос паровозы.

Одним из организаторов партизанских отрядов был И. Д. Папанин.

Э. Кренкель в книге «Четыре товарища» пишет:

«Папанин рассказывал о грозных годах гражданской войны, о Севастополе, о боях красной повстанческой армии в тылу последнего белого барона, о том, как темной осенней ночью, укрывшись в мешке из-под муки, на фелюге контрабандистов пробираясь он через Черное море, а затем, переодевшись нищим, шел через Турцию, чтобы доставить товарищу Фрунзе донесение о действиях красных партизан...»

★

3 ноября М. В. Фрунзе в автомобиле отправился к месту расположения частей.

Чем ближе к фронту, тем чаще встречались красноармейские части, артиллерия, обозы. Командующий пытливо вглядывался в лица красноармейцев — осунувшиеся, изможденные, но полные суровой решимости. Большинство бойцов были в рваных шинелях, в изодранной обуви. Они переносили тяжкие лишения.

Путь, по которому следовал Фрунзе, был опустошен отступающими белогвардейцами. По сторонам дороги валялись трупы павших лошадей. На путях железной дороги горели составы с продовольствием и снаряжением.

Чернели скелеты мостов, обрушенных на дно рек и оврагов.

Стояли ясные дни. Десятиградусный мороз подсушил грязь на дорогах и посеребрил увядшую траву на полях. Мысль Фрунзе продолжала работать над планом операции разгрома Врангеля.

«...Мной намечался,—вспоминал М. В. Фрунзе,—обход по Арабатской стрелке Чонгарских позиций с переправой на полуострове в устье реки Салгира, что верстах в 30 к югу от Геническа. Этот маневр в сторону в 1732 году был проделан фельдмаршалом Ласси. Армии Ласси, обманув крымского хана, стоявшего с главными своими силами у Перекопа, двинулись по Арабатской стрелке и, переправившись на полуостров в устье Салгира, вышли в тыл войскам хана и быстро овладели Крымом.

Наша предварительная разведка в направлении к югу от Геническа показала, что здесь противник имел лишь слабое охранение из конных частей.

Оставалось обеспечить операцию со стороны Азовского моря, где действовала флотилия мелких судов противника, иногда подходившая к Гениеску и обстреливавшая там наше расположение. Эта задача была возложена мной на Азовскую флотилию, стоявшую в Таганроге»¹.

Но, объехав все побережье, Фрунзе убедился, что Арабатскую стрелку использовать невозможно. Эта стрелка находилась под обстрелом судов противника, а наша Азовская флотилия не могла притти на помощь из-за морозов, сковавших Таганрогскую бухту,

В поисках лучшего решения стратегической задачи Фрунзе приходит к выводу, что уничтожить войска Врангеля следует штурмом Перекопского вала с фронта; вместе с тем необходимо форсировать Сиваш и, овладев Литовским полуостровом, ударить во фланг и тыл перекопской группе противника.

Эта задача была чрезвычайно сложна. Перекопский перешеек защищала главная масса войск Врангеля (до 12 тысяч), против Чонгарского и Сивашского мостов стоял донской корпус (до 3 тысяч штыков и сабель). Более 6 тысяч штыков и сабель находилось в резерве. Нашим войскам нужно было атаковать укрепленные позиции врага по открытой местности. Артиллерии было недостаточно. Внезапно ударившие морозы увеличили лишения наших славных бойцов, обмундированных крайне плохо.

Но наступление нельзя было откладывать, иначе Врангель получил бы желательную для него передышку. Михаил Васильевич, которому было ясно, что всякая оттяжка только наруку Врангелю, начинает построение оперативной группировки войск, чтобы создать превосходство сил на решающих участках. Чтобы обеспечить развитие прорыва, Фрунзе на главных направлениях глубоко эшелонирует войска и

¹ М. В. Фрунзе. Избранные произведения, Партиздат, 1934, стр. 123.

обеспечивает развитие успеха путем ввода второго эшелона.

Он выезжает на передовые позиции и сам изучает местность. Особенно интересуют его метеорологические условия и в первую очередь направления ветров: Фрунзе установил, что ветры, дующие с запада, отгоняют воду с Сиваша к Азовскому морю, и Сиваш мелеет. Фрунзе решил воспользоваться этим и обойти перекопские укрепления по Сивашу.

Обычно восточный ветер нагоняет через Генический пролив воду, и Сиваш превращается в полноводное озеро — «Гнилое море», как его называют местные жители. Только в самые жаркие дни летом у северного берега дно Сиваша становится сухим. Осенью же Сиваш представляет равнину с засасывающей липкой грязью. Но в некоторые дни, когда западный ветер сгоняет воду с Сиваша, у обрывистого пересеченного оврагами берега открываются некоторые проходы.

Врангелевцы, зная эти места, охраняли их отрядами пехоты и артиллерии. Однако они не могли, конечно, предполагать, что красное командование отважится организовать в этом месте переправу больших масс войск, и считали десятикилометровый Сиваш надежной преградой на пути в Крым. Фрунзе справедливо рассчитывал, что мощный удар через Сиваш явится неожиданностью для белых.

5 ноября Фрунзе отдает директиву:

«Армиям фронта ставлю задачу — по Крымским перешейкам немедленно ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее убежище контрреволюции»¹.

Задача штурма перекопских укреплений была возложена на 6-ю армию. Ей Фрунзе приказал, «переправившись не позднее 8 ноября на участке Владимировка — Строгановка — М. Кугаран, ударить в тыл Перекопским позициям, одновременно атаковать их с фронта...» Для развития

успеха 6-й армии Фрунзе передал ей в оперативное подчинение 2-ю Конную армию. На Чонгарском направлении подготавливала удар 4-я армия. Первая Конная нацеливалась вслед за пехотой 4-й армии. 13-я армия была оставлена в районе Мелитополя, — ее дивизии находились в готовности к движению на помощь 6-й или 4-й армии.

Фрунзе указывал:

«Все операции по форсированию проводить сосредоточенными силами и с максимальной энергией, доводя атаки во что бы то ни стало до успешного конца, ибо при данных условиях открытая атака живой силой является наискорейшим и наилучшим средством решения вопроса».

Чтобы обсудить практические мероприятия, вытекающие из приказа, Фрунзе приехал на станцию Партизаны, где было созвано совещание с товарищами Ворошиловым и Буденным.

К. Е. Ворошилов рассказывает об этом совещании:

«...Захудалая и разрушенная железнодорожная станция, вчера еще кишмя-кишевшая бежавшими в панике врангелевцами.

В небольшой комнатке, в полумраке, собрались все высшие военачальники во главе с Михаилом Васильевичем. Враг разбит, но не добит.

Михаил Васильевич терпеливо и внимательно выслушивает мнение всех своих ближайших соратников и тут же принимает решения о дальнейших действиях...»¹.

Отсюда товарищи Фрунзе, Ворошилов и Буденный послали В. И. Ленину бодрую телеграмму, каждая строка которой проникнута уверенностью в близкой победе:

«Сегодня, в день годовщины рабоче-крестьянской революции, от имени армий Южного фронта, изготовившихся к последнему удару на логовище смертельно раненого зверя, и от имени славных орлов 1-й Конной армии — привет. Железная пехота, лихая конница, непобедимая артиллерия, зоркая стре-

¹ М. В. Фрунзе. Сочинения. т. I, стр. 160—161.

¹ К. Е. Ворошилов. Статьи и речи. Партиздат, 1937, стр. 11.

мительная авиация дружными усилиями освободят последний участок Советской земли от всех врагов...»

★

Полураздетые и полуголодные, при 15-градусном морозе, без тяжелой артиллерии, красные войска готовились к штурму Перекопа.

6 ноября Фрунзе приехал в Чаплинку, где еще недавно был со своей свитой и иностранными военными советниками Врангель.

В Чаплинке, в помещении почты, находился штаб 51-й дивизии. Туда же приехал и командующий 6-й армией.

В комнате было так холодно, что шел пар от дыхания. Фрунзе не раздевался, только расстегнул шубу. Выслушав донесения командования и проверив их по карте, он медленно сказал:

— Итак, по вашим данным, отмечена переброска Врангелем отдохнувшей дроздовской дивизии к району Турецкого вала, корниловской и марковской — к Юшуни, конного корпуса генерала Барбовича — тоже поближе сюда. Видимо, 13-я и 34-я дивизии белых должны быть сменены дроздовцами наднях — 7 или 8 ноября. Литовский полуостров защищается кубанской бригадой и невыясненными частями, общей численностью не свыше 3 тысяч человек, под командой генерала Фостикова...

Фрунзе сделал следующий вывод:

— Медлить нельзя... Атака открытой силой — единственно правильное решение...

Он закончил:

— Атаковать с 7 на 8 ноября через Сиваш на Литовский полуостров и в лоб — Турецкий вал...

Решение Фрунзе свидетельствует об огромной смелости пролетарского полководца, о непоколебимой уверенности в красных войсках, готовых самоотверженно выполнить свой долг перед родиной.

В Чаплинке в тот же день, 6 ноября, Михаилу Васильевичу был доложен план наступления 6-й армии. Штурм Турецкого вала и обход его по Сивашу

возлагался на 51-ю дивизию. Ударная группа армии — 15-я и 52-я дивизии — направлялась на Литовский полуостров, чтобы ударить во фланг Юшунских позиций. Командование 51-й дивизии в обход Турецкого вала по Сивашу направляло 153-ю бригаду. Фрунзе утвердил намеченные планы и выехал в полки 51-й дивизии, чтобы поднять боевой дух бойцов.

★

Накануне операции командирам подразделений 51-й дивизии было приказано найти брод через Сиваш.

Дно «Гнилого моря» блестело на солнце — огромная равнина с глубокими ямами, наполненными рапой — густым соленым раствором. Командиры отправились в разведку. Увязая по колону в жидкой грязи, они с трудом прошли около километра.

— Пехота пройдет!

— А артиллерия?..

Командиры переглянулись.

— Бойцы помогут!..

Одна из частей 15-й дивизии расположилась перед штурмом в Строгановке, на берегу Сиваша. Бойцы были измучены, голодны; многие забыли даже запах табака. Но больше всего донимали холод и сырость. В этой безлесной местности нельзя было развести даже хороший костер. Все же с трудом разожгли огонь. Около маленького костра грелись красноармейцы, одетые в летние рубашки, обутые в опорки вместо сапог. Плохое снабжение частей было результатом вредительства ставленников Троцкого, которые тормозили отправку снаряжения на фронт.

Артиллерия имела ограниченный запас снарядов; тяжелые батареи застряли в Кременчуге.

Начальник 15-й дивизии собрал строгановских крестьян-стариков и попросил их помочь найти наилучшие пути переправы через Сиваш. Старики выделили в качестве проводников столяра Оленчука и пастуха Ткаченко:

— Они лучше всех знают броды Сиваша. Им можно довериться. Они проведут полки... Только бы ветер дул с запада!

Словоохотливый Оленчук объяснял командирам:

— Прогноин бойтесь. Прогноины — это такие грязные жилы, — их тут на Сиваше много. От сырой погоды они растворяются, и попадись в них человек, — его сразу затащит. Оттуда уж не вырвешься!

Крестьяне с саперами отправились на Сиваш ставить вежи. Топкие места мостили фашинами, снопами соломы. Враг открыл артиллерийский огонь.

Саперы сказали Оленчуку:

— Иди, дед, назад!.. Неровен час...

— Я говорил, — доведу до края. Молодые себя не жалеют, а я, старый, кому я нужный?

★

Весь день 7 ноября прошел в приготовлениях к решающему штурму. Красноармейцы чинили снаряжение, приводили в порядок оружие. Части ждали последнего приказа.

Красноармейцы поздравляли друг друга с третьей годовщиной Октября. На легучих митингах повторяли слова Ленина и Сталина о необходимости немедленно покончить с Врангелем.

— Даешь Крым! — кричали бойцы.

Политотдел Южного фронта призывал:

«К моменту наступления ни один боеспособный коммунист не должен оставаться в тылу. В передних рядах коммунист должен воодушевлять красноармейцев своей решимостью, отвагой и примером».

В ответ на эту директиву Врангель отдал приказ: «Безжалостно расстреливать всех комиссаров и других активных коммунистов, захваченных на поле сражения».

Разведка изучала подступы к Турецкому валу. Грозная стена его замыкала вход в Крым с севера. Перед валом высотой в семь метров тянулся ров глубиной в пять метров и шириной в сорок метров. Весь вал был опутан колючей проволокой, в некоторых местах в семнадцать рядов.

Вершина Турецкого вала — удобнейший пункт для обозрения местности. Врангелевские артиллеристы изучили

каждый метр степи и, разбив ее на квадраты, пристреляли всю площадь перед валом. Спуск в ров и подъем на вал были устроены почти отвесно, а в некоторых местах от дна до вершины высилась гладкая каменная стена. Эти препятствия Врангель дополнил сложной системой долговременных сооружений, которые растянулись в глубину от Перекопа до Юшуни на 25—30 километров и включали семь взаимно связанных линий укреплений.

Красные летчики на старых, истребанных самолетах кружились над позициями противника, фотографировали их, выясняя и уточняя состав частей белых, расположение их батарей и резервов.

Фрунзе приехал в расположение полков 51-й дивизии, готовившихся к штурму Турецкого вала.

В беседе с командирами частей Михаил Васильевич сказал:

— Я увижу вас на валу или не увижу совсем...

Один из командиров ответил за всех:

— Мы будем на валу!..

Полки 51-й дивизии строились для атаки вала. От Перекопского залива до Тракта наступала 152-я бригада, от Тракта до Сиваша — ударная, огневая бригада. 55 орудий поддерживали атаку. Штурм был назначен на утро 8 ноября.

В районе Владимировки и Строгановки заканчивались последние приготовления к переходу через Сиваш.

Заходящее солнце бросало кровавый отблеск на залив. Ветер отогнал воду от берега. Поблескивала мокрая земля, кое-где синели лужи. За Строгановкой строилась бригада, которая должна была первой пойти в наступление. Командир бригады обратился к выстроившимся частям с напутственным словом:

— Товарищи, поздравляю вас с великим праздником Октября... Мы должны победить или умереть. Середины нет...

Гул одобрения покрыл слова командира.

★

Сгустились сумерки. Вскоре берега Сиваша потонули в тумане. Полки дви-

нулись вперед. Липкая грязь засасывала, соленая вода пробиралась сквозь рваную обувь и разъедала ноги. В темноте бойцы проваливались в ямы и гибли. Вдруг со стороны противника взметнулась ракета. Белый сноп прожектора начал шарить по воде. Загрелась артиллерия. Снаряды, падая в Сиваш, поднимали фонтаны огня и воды. С визгом рвались шрапнель. Озаряемые вспышками разрывающихся снарядов, красные полки молча двигались навстречу невидимому врагу. Раненые и убитые падали в воду.

Неожиданно ветер переменялся. Теперь он гнал воду к берегу, угрожая затопить наступающие части.

— Вода... вода... вода...

Тревожная весть передавалась по рядам. Но проводники-крестьяне успокоили бойцов:

— Высоко вода не пойдет.

Вступив на твердую почву Литовского полуострова, красные части бросились в атаку на кубанскую бригаду генерала Фостикова. Белые дрались отчаянно. Генерал Фостиков доносил Врангелю:

«Неизвестными, но крупными силами красные перешли вброд Сиваш... Стремятся выйти к Караджаная, Армянску — в тыл Турецкому валу».

Весть о появлении наших частей на территории Крыма быстро облетела белые штабы, и жерла орудий повернулись к Сивашу. Поднимая столбы грязи, со страшным грохотом рвались тяжелые снаряды.

Белые направили резерв дроздовской дивизии от Армянска на Караджанай против полков 153-й бригады. Под натиском противника бригада начала осаживать на Литовский полуостров. На помощь ей направилась резервная бригада 52-й дивизии. Совместными усилиями обе бригады разгромили дроздовцев и взяли 300 человек в плен. В это время 15-я дивизия, занимавшая позиции против Юшуни, подвергшись атаке всех сил 2-го армейского корпуса, также начала осаживать на Литовский полуостров, потянув за собой и фланги 52-й дивизии.

На Сиваше продолжался подъем воды. Броды были затоплены. Положение наших дивизий оказалось весьма сложным. Не был достигнут успех и на Турецком валу.

Операция под Турецким валом началась рано утром 8 ноября. Полки 51-й дивизии под прикрытием тумана заняли исходное положение.

Пелена тумана нависла над Турецким валом.

Заговорила наша артиллерия. После трехчасовой подготовки полки бросились на штурм. Их встретил убийственный заградительный огонь.

Начали поступать донесения:

— Первая волна¹ залегла в четырехстах метрах от вала...

— Вторая перебегает...

В атаке вместе с пехотой участвовали восемнадцать бронемашин.

Артиллерия врага и пулеметы заливали наступающие части потоками стали и свинца. У нашей же артиллерии снарядов нехватало, и в середине дня огонь наших батарей стал слабеть.

Все же красные полки с большими потерями достигли рва. На склоне вала они встретили густую сеть проволочных заграждений. Стрелки залегли...

Поредевшие части 51-й дивизии и огневой бригады бросаются в 6 часов вечера на новый штурм. Они прорвались уже через три ряда проволочных заграждений. Передовые цепи вновь залегли — на этот раз перед самым Турецким валом. Выбить врангелевцев и на этот раз не удалось. Где-то горела деревня, и от зловещих багровых отсветов зарева вода казалась кровавой.

Вторая неудачная атака!..

¹ Пехота была построена в четыре эшелона-волны. Каждая волна имела определенную задачу.

Первая волна, так называемые «чистильщики», это — разведчики и саперы, которые должны были проделать проходы в проволочном заграждении. Второй волне ставилась задача — преодолеть проволочные заграждения и вплотную подойти к валу. Третья волна должна была пополнить вторую волну и совместной атакой захватить вал, четвертая волна — закрепить за собой вал и преследовать противника.

★

Объезжая части 6-й армии, Михаил Васильевич Фрунзе вечером прибыл в Строгановку, в штаб 15-й дивизии. По всем направлениям тянулись провода. На берегу Сиваша установили радиостанцию.

При свете чадающей керосиновой лампы Фрунзе изучал исчерченную цветным карандашом карту.

Мокрые, перепачканные в иле связанные доложили:

— В Сиваше повышается уровень воды!

Михаил Васильевич предвидел эту опасность. Теперь нужны были решительные меры — слепая сила стихии могла сорвать всю операцию. В первую очередь следовало немедленно поддерживать уже переправившиеся в Крым части 15-й и 52-й дивизий, которые враг мог отрезать и сбросить в воду.

Фрунзе решил остаться в штабе 15-й дивизии до разрешения кризиса боя. В это время из 51-й дивизии передали о неудаче второй атаки на Турецкий вал и тяжелых потерях. В штабе загудели аппараты, и из каждой трубки — просьбы о помощи:

— Противник насаждает...

— Противник наступает от Караджаная...

— Нас оттесняют к Сивашу, а в Сиваше вода...

— Все заливают...

— Сзади вода, спереди — огонь белых...

Фрунзе в своих воспоминаниях рассказывает:

«Проверили, — оказалось действительно так. Положение создавалось чрезвычайно опасное. Стоило воде подняться еще немного, и тогда полки 15-й, а вслед за тем и 52-й дивизий окажутся отрезанными по ту сторону Сиваша. Надо было немедленно же принимать самые решительные меры, — иначе все дело могло погибнуть».

Михаил Васильевич отдал приказ — мобилизовать население и двинуть тыловые части для предохранительных работ на переправах. Сражающимся на Литовском полуострове частям по рас-

поряжению Фрунзе отправляют патроны, продовольствие. 7-я кавалерийская дивизия получает приказ садиться на коней и переправляться на южный берег Сиваша.

Командованию 51-й дивизии Михаил Васильевич отдает по телефону приказ: «Вода заливают Сиваш. Немедленно атаковать и во что бы то ни стало захватить Турецкий вал».

Приказ Фрунзе немедленно приводится в исполнение. Загрохотала артиллерия. Полки готовились к третьей атаке на Турецкий вал. Из резерва подошли полки 151-й бригады.

Комиссары бригад 51-й дивизии получили приказ военкомдива:

«Принять все меры к тому, чтобы вал был взят в течение ближайших двух-трех часов... Влить в части всех коммунистов как штабных, так и тыловых учреждений».

В 2 часа ночи 9 ноября началась новая атака Турецкого вала.

Всю ночь, не умолкая, гремела стальная буря.

Бывший начальник штаба 51-й дивизии Н. Датюк передает подробности боя после получения ночного приказа Фрунзе: «...полки уже «висели» над рвом; пользуясь темнотой, делали проходы в проволоке... Во главе полка (455-го) идет в атаку его любимый комиссар Безбородов. Он бросает на проволоку шинель и по ней перебирается на ту сторону».

— Товарищи, вперед! — кричит Безбородов. Красноармейцы дружно устремляются за комиссаром. Вражеская пуля выводит его из строя...

Группы наших войск на четвереньках со дна рва лезли по крутому скату вала, забирались на его вершину; многих оттуда сбрасывали обратно на дно, но это не останавливало потока штурмующих... Со дна рва непрерывно ползла пехота с пулеметами. Огнем и штыками выбив из ближайших гнезд белогвардейцев, она оседала вал. Сзади напирали все новые волны нашей пехоты, двигались бронемашины, меняла свои позиции артиллерия... Смерть косит ряды столкнувшихся в последней схватке...»

9 ноября Фрунзе проводит уже вторые сутки без сна. На рассвете пришло донесение, что Турецкий вал взят лобовым ударом: «Перекоп взят. Наступаем на Армянский базар».

Выслушав донесение, Михаил Васильевич облегченно вздохнул и сказал:

— Теперь отпала угроза потерять дивизии на Литовском полуострове, но это еще не означает окончания задачи, — ибо дальше путь в Крым преграждают сильные Юшунские позиции, и главная развязка всей операции должна произойти там...

Юшунские позиции были расположены между Каркинитским заливом Черного моря и южным берегом Сиваша. Суша здесь изрезана рядом озер. Небольшие дефиле¹ между озерами Врангель перегородил четырьмя линиями укреплений с бетонированными блиндажами и пулеметными гнездами. Укрепления шли с юго-запада на северо-восток, упираясь одним флангом в Черное море, а другим в Сиваш. Эти позиции являлись главными, и Врангель считал их непреодолимыми. Каждая линия укреплений была оплетена густой сетью колючей проволоки до шести рядов. Дальнобойная артиллерия держала под огнем все подступы. Пехоте предстояло итти по ровной местности, — ни бугров, ни оврагов, ни кустарника не было.

9 ноября дивизии 6-й армии подошли к Юшунским укреплениям. Утомленных боями бойцов 151-й бригады должны были сменить полки латышской дивизии. Но герои Перекопа не желали сменяться.

— Еще можем драться и просим доверить нам штурм Юшуни, — просили они.

В предрассветной мгле полки 151-й бригады штурмом взяли первую линию укреплений, а к 10 часам и вторая линия была уже нашей. В полдень в Каркинитском заливе появились корабли белых и начали жестокий обстрел побережья перешейка. Но теперь уже ничто не могло остановить штурмующие

цепи красных. И к вечеру наши полки были на подступах Юшуни.

Менее успешно шли бои в междуозерном пространстве у Сиваша. Сюда противник направил конный корпус Барбовича и потеснил части 15-й и 52-й дивизий к Караджаню. Создалась угроза выхода белой конницы в тыл 51-й и латышской дивизиям, которые штурмовали Юшунь.

Фрунзе приказал 7-й и 16-й кавдивизиям опрокинуть конницу Врангеля. Совместной атакой кавдивизий и частей 15-й и 52-й дивизий конница Врангеля была отброшена за укрепления.

Не желая проливать драгоценную кровь рабочих и крестьян, Фрунзе послал Врангелю требование сложить оружие. Он обещал врангелевцам простить их вину перед Советской Россией, если они прекратят бессмысленное сопротивление.

Однако Врангель не принял великодушного предложения: он надеялся еще удержаться в Крыму.

Борьба продолжалась.

Отдав 6-й армии приказ о дальнейших действиях, Фрунзе выехал на Чонгарское направление в район 4-й армии. Прибыв в расположение 30-й дивизии, Фрунзе сообщил бойцам, что 51-я дивизия уже взяла Перекоп и штурмует Юшунь. Это сообщение воодушевило полки.

— Скорее бы в атаку! А то досидим здесь, на Чонгаре, до того, что 51-я дивизия лодки пришлет за нами! — говорили бойцы, охваченные боевым пылом.

По приказу Фрунзе началась подготовка штурма чонгарских переправ.

Чонгарские укрепления были еще более мощными, чем на Перекопе. «Много сделано, многое предстоит еще сделать, но Крым и отныне уже для врага неприступен» — так писал Врангель в своем приказе после личного осмотра чонгарских укреплений.

Сама природа создала здесь неприступную крепость. Сиваш был непроходим здесь ни вплава, ни вброд. Два длинных узких полуострова с крымской стороны не давали решительно никаких закрытий для наступающих. Атакую-

¹ Тесные проходы, по которым войска вынуждены проходить, растянувшись в глубину.

щие неизбежно должны были стать легкой добычей пулеметов и артиллерии противника, защищенных бетонными бойницами и блиндажами.

Сеть проволочных заграждений началась еще в воде. Поэтому атаковать крутой, обрывистый берег было почти невозможно. Сетью проволочных заграждений была защищена каждая линия укреплений. Кроме того, укрепления были обеспечены тяжелой береговой артиллерией. Между тем с нашей стороны Чонгарский полуостров представлял собой совершенно открытую плоскую равнину, каждая точка которой находилась под наблюдением и огнем противника.

Тяжело приходилось красным частям 30-й дивизии на пустынном Чонгаре. Белые заблаговременно взорвали железнодорожные линии. Поэтому подвоз продовольствия был затруднен. Не было питьевой воды, топлива. Резко усилились холода. Но ничто не могло сломить боевой дух красных бойцов.

К утру 11 ноября саперы закончили сооружение пешеходного мостика через Сиваш. Этот мостик был воздвигнут на сваях сгоревшего Чонгарского моста. По обледеневшим перекладинам ползком, срываясь в воду, под огнем тяжелых морских орудий врага двинулись вперед бойцы 30-й дивизии.

Штыковой атакой 266-й стрелковый полк выбил врангелевцев из окопов первой линии укреплений и, на плечах бегущих, ворвался на вторую линию Тюп-Джанкойских позиций. Против ворвавшихся на Тюп-Джанкойский полуостров частей 30-й дивизии противник вынужден был бросить донской корпус, который только-что выступил из Джанкоя под Юшунь на усиление конного корпуса Барбовича. Угроза прорыва на Чонгаре заставила их вернуться обратно и оставить Барбовича без поддержки. Таким образом, своевременно осуществленный М. В. Фрунзе штурм на Чонгаре существенно повлиял на решение задачи под Юшунью.

Утром 11 ноября в районе почтовой станции Юшунь произошло сражение, решившее исход борьбы за укрепленные

позиции. Здесь встретились с врагом полки 51-й и латышской дивизий.

Противник не выдержал атаки, его части дрогнули и начали откатываться. Красные овладели Юшунью, охваченной пожаром. Горели брошенные танки, горели склады продовольствия, станционные постройки. Удушливый дым горячей муки стался по земле, покрытой трупами. Сквозь дым, шагая через трупы, шли батальоны и полки героической 51-й дивизии. Над колоннами реяли красные знамена, изрешеченные осколками снарядов и пулями.

Стремясь ликвидировать прорыв у Юшуни, Врангель бросил против наших частей корпус генерала Барбовича. Противник еще раз попытался взять инициативу в свои руки. Положение наших дивизий как-будто бы стало угрожающим: на левом фланге 51-й дивизии нависла грозная лавина конницы. Но боевой дух белой конницы уже упал, и дружный отпор нашей пехоты вынудил противника повернуть обратно на Джанкой...

11 ноября, в 12 часов дня, Фрунзе получил донесение:

«Срочно, всем, всем. Доблестные части 51-й Московской дивизии в 9 часов прорвали последние Юшунские позиции белых и твердой ногой вступили в чистое поле Крыма. Противник в панике бежит. Захвачено много пленных, артиллерии, морских дальнобойных орудий, пулеметы и прочие трофеи, кои выясняются. Преследование продолжается».

К 10 часам утра 11 ноября белые были выбиты из всех линий Тюп-Джанкойских позиций. На следующий день наши войска взяли Таганашские укрепления. Вход в Крым был открыт и со стороны Чонгарского полуострова.

Началось паническое бегство белогвардейцев. Врангель, устлав Крымский полуостров трупами обманутых им солдат, издал последний приказ: «У нас нет ни казны, ни денег, ни родины. Кто не чувствует за собой вины перед красными, пусть останется до лучших времен».

Фрунзе приказал:

— Преследовать врага до полного уничтожения!

Без отдыха от боевой страды, поредевшие в боях красные части двинулись к берегу моря: 6-я армия — в направлении Евпатория — Севастополь; 4-я и 2-я Конная армии — в направлении Феодосия—Керчь; Первая Конная — на Севастополь.

Врангелевцы рвались к портам, чтобы погрузиться на суда и уйти в море. Но на пути белогвардейцев встречали партизаны; возникали жестокие, упорные бои; летели в пропасти обозы белых, орудия, автомобили; офицеры стрелялись...

«Свидетельствую о высочайшей доблести, — доносил 12 ноября Фрунзе В. И. Ленину, — проявленной героической пехотой при штурмах Сиваша и Перекопа. Части шли по узким проходам под убийственным огнем на проволоку противника. Наши потери чрезвычайно тяжелы. Некоторые дивизии потеряли три четверти своего состава. Общая убыль убитыми и ранеными при штурмах перешейков не менее 10 тысяч человек. Армии фронта свой долг перед Республикой выполнили. Последнее гнездо Российской контрреволюции

разорено, и Крым вновь станет Советским».

12 ноября красное знамя взвилось над Джанкоем, 13-го наши части заняли Симферополь, Феодосию и Судак, 15-го — Севастополь. А 16 ноября со станции Джанкой Фрунзе рапортовал вождю партии В. И. Ленину:

«Сегодня нашей конницей занята Керчь. Южный фронт ликвидирован».

★

Никогда не померкнет слава героических дней штурма Сиваша, Перекопа и Чонгара. Памяти борцов с последней твердыней контрреволюции на перешейках Крыма посвятил в 1921 году свои замечательные стихи В. В. Маяковский:

Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава,
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем,
вашей отвагой она
взята в перекопском штурме.

¹ В. Маяковский, Грозный смех, Гослитиздат, 1932.

Фридрих Энгельс — друг и соратник Карла Маркса

С. ПАВЛОВА

★

Начало XIX века ознаменовалось победным шествием и утверждением капитализма в передовых странах Европы.

Под влиянием французской революции, ее революционных войн, а затем и наполеоновских завоеваний произошли значительные изменения и в Германии. Но никакая другая часть Германии не испытала такого благотворного влияния событий конца XVIII и начала XIX века, как прирейнские ее области, в силу присоединения к Франции левого берега Рейна.

Рейнская Пруссия, начиная с 1815 года, являлась одной из передовых областей Германии. Она обладала самой развитой и разнообразной промышленностью, поэтому здесь выросли, с одной стороны, крупная промышленная и торговая буржуазия, а с другой — довольно многочисленный пролетариат. Соотношение этих классов накладывало свой отпечаток на политическое развитие Рейнской области.

Несмотря на последовавшую затем реакцию, почва для развития капитализма в этих прирейнских областях оказалась расчищенной больше, нежели в остальной Германии. Именно там были живы освободительные идеи французской буржуазной революции, именно там, несмотря на торжество реакции, наблюдался рост демократического движения.

Отсталые политические формы, которые пыталась навязать Пруссия Рейн-

ской области, противоречили складывавшимся там капиталистическим отношениям и вызвали естественный протест со стороны части радикально настроенной буржуазии и передовой интеллигенции.

Наиболее развитыми в промышленном отношении городами Рейнской области были Бармен и Эльберфельд, расположенные в долине, где катилась свои пурпурные волны река Вуппер — приток Рейна. Почти на всем протяжении Вупперталя были разбросаны крупные и мелкие текстильные фабрики, белильные и красильные предприятия. Яркий цвет реки Вуппер и вел свое происхождение именно от этого великого множества красил. Однако сам город Бармен в начале 30-х годов XIX века еще не имел вида исключительно фабричного города. Среди дымных, промышленного типа зданий кое-где виднелись здания, построенные со вкусом, в современном стиле, сверкала на солнце полоска воды или, нарушая монотонность улицы, ласкала взор зелень широко раскинувшихся садов...

★

28 ноября 1820 года в семье барменского текстильного фабриканта Фридриха Энгельса родился первенец, названный также Фридрихом. Обстановка, в которой рос маленький Фридрих, была типичной для окружающей среды. Вупперталя был не только центром



Фридрих Энгельс (рисунок Т. В. Вайштейна)

текстильной промышленности, но и центром пиетизма, — самого ханжеского направления в протестантской религии. Люди, читающие романы, посещающие концерты и т. д., немедленно становились предметом осуждения. Правда, сугубая религиозность не мешала благочестивым купцам и фабрикантам из Бармена и Эльберфельда содержать в Дюссельдорфе — этом «маленьком Париже» — своих любовниц, ходить там в театр и развлекаться по-царски. Но в родном Бармене и Эльберфельде основным элементом воспитания каждой благочестивой семьи являлось строгое наставничество.

Фридриху, своему старшему сыну, так же, как и остальным детям, отец стремился привить традиционные религиозные представления, стремился привить мысль о неизбежности выбора того жизненного пути, которым следовало уже не одно поколение семьи Энгельсов, — путь торговли и предпринимательства. Но Фридрих рос своеобразным ребенком и внушал отцу тревогу и опасения своим складом характера: он оставался равнодушным к «заманчивым» перспективам открывшегося перед ним пути коммерсанта. Но как загорался мальчик, когда его дед по матери, филолог Ван-Гаар, открывал перед ним чудесный ларец греческой мифологии! Какой увлекательный и богатый мир борьбы и преодоления препятствий открывался перед живым и впечатлительным ребенком в сказаниях о Тезее, об аргонавтах и Золотом Руне, Минотавре и т. д.!

Обстановка, царившая в барменском городском училище и эльберфельдской гимназии, где учился Фридрих, была также консервативна. Большой редкостью были учителя, проявлявшие некоторое внимание к личным интересам и склонностям своих учеников, способные увлечь их своим предметом и пробудить в них дух поэзии.

Но и казенная обстановка школы не смогла задуть способностей юного Энгельса. Он с увлечением занимался историей, литературой. Его лингвистические способности, его работоспособность поражали учителей.

Мечтам об окончании гимназии, о систематическом университетском образовании не суждено было сбыться. Этим мечтам отец Фридриха противопоставил суровую действительность конторского стола и обширной коммерческой переписки. И все же юный Энгельс упорно продолжал работать над собой — он зачитывался произведениями классиков мировой литературы, изучал различные научные дисциплины, овладевал языками, продолжая развивать свои необычайные лингвистические способности.

Изумительны его многоязычные письма к друзьям детства, братьям Греберам! В них легко чередуются «...язык полновзвучный Гомера... прекрасный итальянский, чистый и приятный, как зефир, со словами, подобными цветам прекраснейшего сада, и испанский язык, точно ветер в деревьях, и португальский, точно шум моря у берега, украшенного цветами и лужайками, и французский, точно быстрое журчание милого ручейка, и голландский язык, точно дым табачной трубки, такой приятный и уютный»¹.

Юноша не уклоняется и от решения встающих перед ним проблем религии, философии, жгучих политических проблем, которые выдвигал перед передовыми людьми Германии полицейско-абсолютистский строй прусского государства. Нет, он снимает с религии покров ортодоксальности, вскрывает противоречия библии, и в результате упорной работы мысли вера оказывается «продырявленной, подобной губке». Юноша приходит к атеистическим выводам.

Не воспринимает покорно и равнодушно он и «плоды», которыми щедро одаряли его поколение, с одной стороны, консервативно-абсолютистский порядок, с другой стороны, утверждающийся и начинающий свое победное шествие капитализм. Уже в своих первых поэтических произведениях Энгельс протестует против тирании. Он приветствует зарницы революции, которая сметет этот гнусный порядок, восторгается героизмом народа, боровшегося на бар-

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 506.

рикадах Июльской революции во Франции. Он верит, что и у него на родине «...Солнце новое взойдет, и старый мир повергнется в руины»¹. Он не может спокойно относиться к бедствиям и страданиям трудящихся, которые наблюдает в родном Вуппертале. И хотя юноша еще не в состоянии вскрыть истинные корни и причины этих бедствий, он уже в своих первых публицистических произведениях, полных гневной обличительной силы, выступает на стороне народа, выступает как революционный демократ.

Горячая любовь к народу, к его языку, его сказаниям, полным мудрости и поэтического очарования, непоколебимая вера в силы народа, который разобьет «тиранов мощь», — уже тогда отличали молодого Энгельса.

Пребывание в Берлине, где он отбывал воинскую службу, посещая одновременно берлинский университет, упорная работа над собой, участие в страстных философских спорах, носивших боевой политический характер, довершили формирование Энгельса как революционного демократа, благородного якобинца и левогегельянца.

Восприняв прогрессивные и революционные стороны гегелевской философии и, в первую очередь, его диалектику, Энгельс развивал эти стороны дальше.

Один год, проведенный в Берлине, обогатил юношу Энгельса жизненным опытом и теоретическими знаниями. Но вслед за тем он был вынужден снова вернуться к конторскому столу: на этот раз отец отправляет его для совершенствования в коммерческом деле в Англию.

По пути в Манчестер — к месту своей новой работы — Энгельс заехал в Лондон, этот центр «мастерской мира». Уже короткое пребывание там, наблюдения, которые он сделал, заставляют Энгельса поставить вопрос: «Возможна ли, вероятно ли революция в Англии?»²

Короткий, но выразительный анализ общественных отношений, произведенный Энгельсом, заставляет его сделать вывод о неизбежности насильственного ниспровержения «существующих противоземельных отношений»¹, как единственной возможности «улучшить материальное положение пролетариев»¹.

Более близкое знакомство с конкретной капиталистической действительностью подтверждает его первоначальные предположения и выводы. Живя в Манчестере — этом центре английской текстильной промышленности, — Энгельс не может ограничиться только работой в конторе фирмы «Эрмен и Энгельс». Все свое свободное время он проводит в грязных кварталах, где ютятся рабочие, наблюдает их быт, тщательно изучает литературу и официальные документы о положении английского пролетариата.

Плодом этих изучений и наблюдений была вышедшая в 1845 году книга «Положение рабочего класса в Англии». В ней Энгельс приходит к решающим выводам о сущности капиталистического способа производства, исторических тенденциях его и исторической роли пролетариата.

Неумирающее значение этой работы охарактеризовал в своей статье об Энгельсе В. И. Ленин. Владимир Ильич писал:

«И до Энгельса очень многие изображали страдания пролетариата и указывали на необходимость помочь ему. Энгельс *первый* сказал, что пролетариат *не только* страдающий класс; что именно то позорное экономическое положение, в котором находится пролетариат, неудержимо толкает его вперед и заставляет бороться за свое конечное освобождение. А борющийся пролетариат *сам поможет себе*»².

Желание стать ближе к рабочему движению, узнать особенности английского рабочего движения приводит Энгельса к знакомству с деятелями чартизма (Гарни), с социалистами-утопистами (Р. Оуэн). Он начинает активно со-

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. II, стр. 461.

² Там же, стр. 269.

¹ Там же, стр. 273.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. I, стр. 412.

трудничать в их органах печати. Далее он знакомится с лучшими представителями немецкой эмиграции, членами «Союза справедливых», — такими, как Г. Бауэр, И. Молль, К. Шаппер.

Но одна встреча имела для Энгельса исключительное значение, оказала решающее влияние на весь его последующий путь развития. Это была встреча с Марксом.

★

В один из летних дней 1844 года по оживленным улицам Парижа шел стройный молодой человек, с голубыми глазами, по-английски безукоризненно одетый. Он направлялся к небольшому домику на одной из тихих улиц Парижа. Это был Энгельс, проездом в Германию остановившийся в Париже.

Переписка, завязавшаяся между ним и Марксом на почве сотрудничества в «Немецко-французских ежегодниках», выявила много точек соприкосновения, которые хотелось выяснить подробнее и вместе обсудить. Перед Энгельсом уже ясно вырисовывались общие черты характера могучего и привлекательного человека, каким был Маркс. И все же легкое волнение охватывало его при мысли о предстоящей встрече. В его воображении вставала картина беглого знакомства с Марксом два года тому назад в Кельне и последующий письменный обмен мнениями с ним. Переписка, особенно усилившаяся со времени появления в «Немецко-французских ежегодниках» работы Энгельса «Критические очерки политической экономии», показала, что Маркс и Энгельс приходили к общим выводам.

Десять дней провел Энгельс в Париже. После ужасного, почти всегда свинцового неба и зданий, покрытых копотью, которые так характерны для промышленных центров Англии, он наслаждался вечерней прохладой Елисейских полей, любовался синим и безоблачным небом Парижа. Веселого, всегда жизнерадостного, его захватила бурлящая жизнь этого политического центра Европы. Он устанавливал новые связи, знакомился с новыми людьми. Но где бы Энгельс ни был, с кем бы ни гово-

рил, он все время находился под обаянием своего знакомства и сближения с Марксом.

Снова и снова вспоминал он все разговоры с этим человеком, который, казалось, высказывал собственные, его, Энгельса, мысли и в то же время, каждый раз с удивительным искусством железной логики показывал новые и новые стороны вопросов и выводов, казалось, уже решенных для Энгельса.

Десять дней, проведенные Энгельсом в Париже, ежедневное общение с Марксом выяснили их полное согласие во всех теоретических вопросах, положили начало тем отношениям между ними, которые, по словам Ленина, «превосходят все самые трогательные сказания древних о человеческой дружбе»¹. С этого момента начинается великое содружество, невиданная до тех пор в истории дружба, совместная работа и борьба Маркса и Энгельса за дело пролетариата, за торжество научного коммунизма.

Пребывание в Бармене, куда отправился Энгельс из Парижа, его активное участие в радикально-демократическом движении окончательно раскрыли пропасть между ним и его «христиански-прусской семьей». Вечные укоризненные взгляды и вытянутые физиономии родных при его возвращении с собраний, подозрительное обнюхивание со всех сторон писем, получаемых на его имя, — все это делало невыносимой жизнь в семье.

«С того времени как мы расстались, я не был еще ни разу в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех десяти дней, что провел у тебя»², — писал Энгельс в октябре 1844 года Марксу. Он рвался прочь из этой обстановки и весной 1845 года уехал, наконец, в Брюссель, где в это время уже жил Маркс, высланный правительством Гизо из Парижа.

В Брюсселе Маркс и Энгельс проводят год в совместной теоретической и

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. I, стр. 414.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXI, стр. 4.

практической работе. Оба уже тогда ясно представляли себе необходимость обосновать свое новое революционное мировоззрение и привлечь на сторону своих убеждений европейский и прежде всего германский пролетариат.

Для этого надо было поднять теоретический уровень рабочего движения, показать несостоятельность, ошибочность распространенных тогда мелкобуржуазных, ложно-социалистических теорий. Надо было показать неизбежность разрыва подлинно пролетарского движения с этими теориями и носителями их, необходимость перехода на позиции подлинно пролетарской теории — научного коммунизма.

И в первых же своих совместных работах — «Святое семейство» и «Немецкая идеология» Маркс и Энгельс изложили и обосновали важнейшие положения научного коммунизма.

Исключительное революционное значение открытых Марксом и Энгельсом законов общественного развития состоит в том, что эти законы дали возможность исследовать общественные условия жизни масс. Основываясь на открытых ими законах, Маркс и Энгельс указали пролетариату путь к изменению этих условий.

Маркс и Энгельс показали, что капитализм не вечен, что в лице пролетариата он имеет своего могильщика, что неизбежно свержение капитализма и установление диктатуры пролетариата. Одновременно Маркс и Энгельс доказали, что осуществление этих грандиозных задач невозможно без создания революционной партии пролетариата.

Зародышем такой партии был «Союз коммунистов», который Маркс и Энгельс возглавили в 1847 году. Первым программным документом этой организации явился «Манифест Коммунистической партии» — эта «песнь песни марксизма», как характеризовал его великий Сталин. «В этом произведении с гениальной ясностью и яркостью обрисовано новое мирозерцание, последовательный материализм, охватывающий и область социальной жизни, диалектика, как наиболее всестороннее и глубокое учение о развитии, теория классовый

борьбы и всемирно-исторической революционной роли пролетариата, творца нового, коммунистического общества»¹ — так определил значение этого бессмертного труда В. И. Ленин. Набатным колоколом звучит и поныне призывный клич «Коммунистического Манифеста»: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

★

Едва началась революция 1848 года в Германии, Энгельс вместе с Марксом покидает Париж и направляется в Кельн. Начинается короткий, но исключительно насыщенный событиями период — период высокой политической активности и страстной революционной борьбы.

Вместе с Марксом Энгельс создает «Новую Рейнскую газету». В этой газете, — «донныне остающейся лучшим, непревзойденным органом революционного пролетариата»², — Энгельсу принадлежало по праву одно из первых мест. В своих статьях он блестяще анализировал международные события. Его работы написаны с огромным темпераментом. Он восхищается мужеством парижского пролетариата, проявленным в дни Июньского восстания. Он возмущается предательским поведением немецкой буржуазии в отношении своих естественных союзников — крестьян; он клеймит буржуазию, напуганную движением проснувшегося пролетариата, напуганную его требованиями, готовую в любой момент изменить народу и пойти на компромисс с коронованными представителями старого общества. С присущим ему сарказмом он разоблачает непоследовательность и трусость демократической левой Франкфуртского собрания — «...этой компании глупцов, вообразивших себя мудрецами»³.

При всем этом Энгельс не ограничивается литературной деятельностью. Он с головой уходит в коммунистическую пропаганду, организует народные собра-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII, стр. 6.

² Там же, стр. 35.

³ К. Маркс, Избр. произведения, т. II, стр. 69. Госполитиздат. 1940.

ния в Кельне и его окрестностях, выступает на этих собраниях.

Вскоре наступает реакция. Перед угрозой полицейских преследований и ареста Энгельс вынужден бежать из Германии. Но при первой же возможности он возвращается в Кельн и снова ведет борьбу за организацию сил пролетариата.

Восстание в Западной и Южной Германии весной 1849 года заставляет Энгельса сменить блестящее перо революционера-публициста на оружие. С неутомимой энергией, вопреки трусливому поведению мелкобуржуазных руководителей этого движения, Энгельс разрабатывает план борьбы, план создания ядра революционной армии. Он организует рабочие отряды, руководит фортификационными работами в Эльберфельде. С бесстрашием революционного борца и солдата, пренебрегая всякой опасностью, он сражается в рядах баденско-пфальцской армии. И только явная безнадёжность борьбы, наступление прусской контрреволюции заставляют Энгельса последним покинуть поле сражения, перейти швейцарскую границу и сделаться эмигрантом.

В огне революции теория научного коммунизма получила боевое крещение, проверку и блестящее подтверждение. Как подлинный пролетарский вождь, Энгельс в своей работе «Германская кампания за имперскую конституцию», а затем в «Обращении ЦК к Союзу коммунистов» и книге «Революция и контр-революция в Германии» — работах, написанных совместно с Марксом, дал глубокий анализ этой революции, показал, каковы дальнейшие задачи пролетариата.

★

В обстановке временного отлива революционной волны Энгельс вместе с Марксом всей своей огромной теоретической и практической деятельностью учил пролетариат искусству организации, готовя его к новым решающим битвам. Наряду с этим своей основной партийной задачей он поставил задачу обеспечения Марксу материальных усло-

вий для его теоретической и практической революционной работы.

Разрешение этой задачи оказалось возможным лишь при условии возвращения в фирму «Эрмен и Энгельс». Энгельс ни минуты не колеблется, как ни тяжело было ему обрекать себя на занятие «собачьей коммерцией». В конце 1850 года он покидает Лондон, расстается с Марксом и уезжает в Манчестер, где вновь приступает к работе в торговой фирме «Эрмен и Энгельс» сначала конторщиком, затем с 1860 года — доверенным фирмы, а с 1864 года — компаньоном.

Почти двадцать лет подряд Энгельс вынужден был иметь дело с напыщенными, манерными и расчетливыми купцами и фабрикантами. «Хотелось бы разок послушать, как ты воешь в компании этих волков»¹ — писал однажды Маркс в ответ на сообщение Энгельса, что он стал «почтенным» членом биржи. Но ведь это обеспечивало Марксу возможность закончить его великое творение — «Капитал», ведь это давало, наконец, возможность Энгельсу, урывая время от сна, отдыха, самому заниматься научной и партийной работой! И «хлопчатобумажный лорд», как шутливо называла Энгельса жена Маркса, терпеливо выполнял днем свои обязанности в грязной конторе, в мрачных, покрытых копотью складах, на бирже и т. д. Вечера же он посвящал военным наукам, необходимость изучения которых особенно показала ему революция 1848 года, занятиям физиологией и сравнительной анатомией, языкам, литературе, писанию многочисленных статей и т. д.

Увлекаясь верховой ездой и будучи искусным наездником, Энгельс часто принимал участие в охоте на лисиц. «Он был в числе первых в яростной скачке за зверем, и рвы, кустарники и прочие препятствия были ему нипочем»² — писал в своих воспоминаниях о нем П. Лафарг. Но своему увлечению любимым спортом Энгельс придавал

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 53.

² «Воспоминания о Марксе». Сборник, «Молодая Гвардия», 1940, стр. 72.

практический смысл: овладеть искусством верховой езды так, чтобы в момент новой революционной схватки, если понадобится, сесть на коня и быть первым в рядах пролетариев, сражающихся против буржуазии.

Свой досуг Энгельс отдавал также друзьям и соратникам по революционной борьбе. Карл Шорлеммер, Вильгельм Вольф, Самуэль Мур и ряд других были желанными и частыми посетителями небольшого уютного домика на одной из отдаленных улиц Манчестера.

Несмотря на то, что Маркс и Энгельс жили в разных городах, их общение никогда не прерывалось. Почти ежедневно из Лондона в Манчестер и обратно летели письма, представляющие богатейшую сокровищницу мысли двух гениев человечества. Эти письма в известной мере заменяли живое общение, которого так недоставало друзьям. В них они делились своими мыслями, чаяниями, надеждами, обменивались советами, выводами, оценками. В них они разрабатывали важнейшие теоретические и практические вопросы революционного движения, пролетарской революции. Не даром Ленин говорил, что в переписке Маркса и Энгельса «богатейшее теоретическое содержание марксизма развертывается в высшей степени наглядно, ибо Маркс и Энгельс неоднократно возвращаются в письмах к самым разнообразным сторонам своего учения, подчеркивая и поясняя — иногда совместно обсуждая и убеждая друг друга — самое новое (по отношению к прежним взглядам), самое важное, самое трудное»¹.

Часто выводы, к которым приходили Маркс и Энгельс, — каждый порознь, — оценки, которые они давали людям и событиям, поразительно совпадали или замечательно продолжали, дополняли друг друга. «Наши письма в дороге встретились, — пишет Маркс, — но тем не менее ты как будто отвечаешь на мое письмо»².

Иногда желание убедить в чем-ни-

будь Энгельса приводило Маркса к тому, что он перечитывал множество книг, отыскивал все новые и новые факты, под давлением которых Энгельс мог бы переменить свое мнение и сделать те же выводы, что и Маркс.

«...Я вспоминаю, — пишет младшая дочь Маркса Элеонора (Тусси), — как часто Мавр, — так звали дома отца, — разговаривал с письмами (речь идет о письмах Энгельса. — С. П.), точно тут присутствовал тот, кто их написал: «нет это все же не так», «тут ты прав» и т. д. и т. п.»¹.

Нередко Маркс и Энгельс побуждали друг друга заняться разработкой той или иной проблемы, помогали друг другу в этой разработке. По совету Маркса Энгельс занялся изучением истории Ирландии, над которой он затем много и с увлечением работал. Под влиянием Энгельса Маркс приступил к изучению анатомии и физиологии. Не раз Маркс обращался к помощи Энгельса при разработке тех или иных научных вопросов, связанных с работой над «Капиталом». Энгельс засел за русский язык, русскую литературу и сделал огромное количество выписок, чтобы снабдить Маркса материалами о русских формах землевладения, когда тот изучал вопрос о земельной ренте. «Таков уж был наш обычай: помогать друг другу в специальных областях»², — замечает Энгельс.

Они прочитывали работы друг друга в рукописи или корректуре, давали советы друг другу, оценку работ, дорожили этой оценкой. «Я надеюсь, что ты останешься доволен этими четырьмя листами. Твое одобрение до сих пор мне важнее, чем то, что may say of it [может сказать об этом] весь остальной мир»³ — писал Маркс, посылая Энгельсу корректуру I тома «Капитала».

Не было ни одного вопроса истории, политической экономии, литературы, искусства, любой отрасли науки и знаний,

¹ Элеонора Маркс, Фридрих Энгельс. «Борьба классов» № 9, 1935, стр. 11.

² Ф. Энгельс, «Анти-Дюринг», стр. 8. Госполитиздат, 1938.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIII, стр. 416.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. XVII, стр. 30.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 340.

который бы, как в фокусе, не отразила в себе переписка Маркса и Энгельса. Нельзя назвать ни одного события в политической жизни любой страны, мимо которого прошли бы они, которое не нашло бы своей оценки на страницах этих писем. Любое из них, взятое наугад, проникнуто глубокой партийностью, дышит жизнью, борьбой. Это ежедневное общение настолько вошло в привычку, что малейшая задержка письма вызывала беспокойство. «Дорогой Энгельс! Плачешь ты или смеешься, спишь или бодрствуешь?»¹ — пишет Маркс. «Дорогой Мавр! Ты беспокоишь меня своим молчанием; я стал почти бояться, что опять что-нибудь стряслось с твоим здоровьем»² — тревожится Энгельс, не получая некоторое время писем друга.

Несмотря на почти ежедневную переписку, Маркс и Энгельс испытывали потребность личного общения, которое не могло быть очень частым, но которое было абсолютно необходимо друзьям. «...меня злит то, что мы теперь не можем вместе жить, вместе работать, вместе смеяться»³ — досаждает Маркс в одном из писем к Энгельсу вскоре после его отъезда из Лондона в Манчестер. «Я ничего так сильно не желаю, как иметь тебя здесь денька на два»⁴ — пишет Маркс позже. «Есть масса вещей, которые мне хотелось бы тебе рассказать, а это лучше делается устно, чем в письме»⁵ — заявляет он в другой раз. «Нам обоим будет полезно побродить по полям и при этом посмеяться по поводу разных нелепых историй, происшедших со времени моего последнего пребывания в Лондоне»⁶ — вторит Энгельс, посылая Марксу одно из своих многочисленных приглашений приехать к нему вместе с Тусси отдох-

нуть, полечиться, поработать и обсудить ряд вопросов, которые не всегда можно было доверить бумаге.

Английская полиция, связанная с прусским правительством, проявляла необычайную «заботливость» к переписке друзей и повидимому систематически наблюдала за ней, поскольку переписка могла представлять ценнейший источник для осведомления о деятельности всей пролетарской партии. Поэтому приходилось часто прибегать ко всевозможным уловкам, переправляя письма частным путем, посылая их под видом «деловых» на другой более надежный адрес и, наконец, встречаясь лично. Посещения Манчестера Марксом, приехавшим туда чаще всего с Тусси, и приезды Энгельса в Лондон превращались в радостный праздник.

«Когда Энгельс объявлял о своем приезде, — пишет в своих воспоминаниях П. Лафарг, — это было торжеством для семьи Маркса. В ожидании его шли нескончаемые разговоры о нем, а в самый день приезда Маркс от нетерпения не мог работать. Подкрепляя свои силы табаком, друзья просиживали вместе всю ночь, чтобы досыта наговориться обо всем, что произошло со дня их последнего свидания...»¹ Эти взаимные посещения оставляли не только приятные воспоминания, но нередко в результате этих встреч появлялись боевые партийные документы...

★

Маркса и Энгельса сближала не только совместная научная и общественная деятельность, но и взаимная нежная привязанность, помогавшая переносить все жизненные невзгоды.

Их переписка 50-х и 60-х годов бросает яркий свет на одну из сторон отношений друзей, связанную с материальной поддержкой, которую оказывал Энгельс семье Маркса. Сколько благородства и самопожертвования, сколько взаимной преданности, доверия друг к другу, понимания друг друга вскрывает

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 179.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 347.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXI, стр. 532.

⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 163.

⁵ Там же, стр. 16.

⁶ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 344.

¹ «Воспоминания о Марксе». Сборник, «Молодая гвардия», 1940, стр. 66.

эта сторона переписки! Она с исключительной силой показывает, что Энгельс был не только суровым борцом, строгим мыслителем, но обладал и великим любящим сердцем.

Одному только Энгельсу Маркс доверял все мелочи своей тяжелой жизни политического изгнанника, борца за дело пролетариата. «... вот уже 10 дней, как у меня в доме ни гроша»¹ — пишет Маркс, и Энгельс немедленно посылает Марксу один из своих многочисленных переводов. «Мне очень больно, что я пока вынужден наседать на тебя, — пишет Маркс в другом письме, — но дефицит, образовавшийся у меня, привел к тому, что заложено все, что только может быть заложено»² — «Относительно «нажима» на меня ты не волнуйся: я бы тебе не простил, если бы ты меня не предупредил о необходимости intervention of the sovereigns [денежного вмешательства]»³ — пишет Энгельс и посылает Марксу деньги, которые должны смягчить гнев свирепого мясника, обновить запас бумаги и дать возможность выкупить заложенный сюртук.

Самым замечательным в этих отношениях было то, что они не носили на себе ни малейшего следа человеческой ограниченности, они были сами собой разумеющимися, вытекали из глубокой партийности этих двух гениев человечества.

«Я не могу выразить, насколько я тебе благодарен, хотя мне, перед моим внутренним форумом, не нужно было новых доказательств твоей дружбы, чтобы знать, что она самоотвержена»⁴ — писал Маркс в ответ на один из многочисленных денежных переводов.

Исключительной признательностью и глубокой благодарностью дышит короткое письмо Маркса, написанное в 2 часа ночи 16 августа 1867 года после прочтения последнего листа корректуры I тома «Капитала». «Итак, этот том го-

тов. Только тебе обязан я тем, что это стало возможным! Без твоего самопожертвования для меня я ни за что не мог бы проделать всю огромную работу для трех томов.] embrasse you, full of thanks! [обнимаю тебя, полный благодарности]»¹.

Энгельс считал своим партийным долгом эту систематическую помощь и поддержку Маркса. И как был счастлив он, когда в 1868 году получил возможность оплатить все долги Маркса и ежегодно посылать ему 350 фунт. ст., не считая сумм на различные непредвиденные экстренные расходы. «Дорогой Фред! Я совершенно knocked down [подавлен] твоей чрезмерной добротой»² — взволнованно отвечал на это Маркс.

Энгельс оказал Марксу большую помощь и тем, что написал в течение этого времени вместо него множество статей, которые появлялись в «Нью-Йоркской Трибуне» и других органах печати. Это делалось с единственной целью: дать Марксу возможность быстрее закончить его гениальный труд — «Капитал».

Здоровье Маркса было источником постоянных забот Энгельса. В феврале 1866 года, когда у Маркса повторился один из частых рецидивов карбункулеза, Энгельс писал Марксу: «...будь же и ты благоразумен и сделай мне и твоей семье единственное одолжение — позволь себя лечить. Что будет со всем движением, если с тобой что-нибудь случится? ...у меня нет покоя ни днем, ни ночью, пока я не выпарапаю тебя из этой истории, и каждый день, когда я от тебя ничего не получаю, я беспокоюсь и думаю, что тебе опять хуже»³.

Энгельс решительно заставляет Маркса серьезно заняться своим здоровьем, переводит ему деньги специально для поездки на курорт, просматривает медицинские справочники, консультируется со своим врачом, посылает рецепты, настойчиво советует бросить на время ночную работу, вести несколько более

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXI, стр. 523.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 185—186.

³ Там же, стр. 188.

⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 129.

¹ Там же, стр. 429.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 137.

³ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 328.

регулярный образ жизни. «Когда ты опять справишься, приезжай на две недели, или на сколько хочешь, сюда, чтобы создать некоторую перемену обстановки, и привези с собой достаточно тетрадей, чтобы ты мог здесь немного поработать»¹.

Жена Маркса, зная огромное влияние, которым пользовался Энгельс на ее мужа, не один раз просила Энгельса побудить Маркса принять меры к поправлению здоровья. «Как часто в течение последних лет мечтала я, дорогой господин Энгельс, — писала в один из таких моментов Женни Маркс, — о вашем переселении сюда! Многое сложилось бы иначе»².

Выполняя просьбу жены Маркса и зная, что в целях скорейшего окончания «Капитала» Маркс согласится под известным нажимом серьезно заняться своим лечением, Энгельс писал ему: «...даже в интересах твоего второго тома тебе необходимо изменить образ жизни. При таких постоянно повторяющихся перерывах ты ведь никогда не кончишь; при усиленном же движении на свежем воздухе, которое избавит тебя от карбункулов, все же — раньше или позже сделаешь это»³.

Когда Энгельс, наконец, переехал в Лондон, ему чаще удавалось вырывать Маркса «из трудовой рутины», заставляя его поехать лечиться. Как радовался Энгельс, когда Маркс приезжал после лечения окрепшим, посвежевшим, бодрым и здоровым, когда к нему снова возвращалась его исключительная работоспособность.

Но и после этого Энгельс не оставлял в покое Маркса: он тщательно следил за тем, как Маркс выполнял предписанный доктором режим; он совершал вместе с ним полуторачасовые и двухчасовые прогулки. Часто можно было наблюдать, как два друга, оживленно беседуя, поднимались и спускались по довольно крутым склонам Хемстеда — излюбленного места этих прогулок.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 324.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 278.

³ Там же, стр. 279.

Энгельс воспринимал, как собственные, горести и радости семьи Маркса. В 1855 году семью Маркса постигло большое горе: умер единственный сын Эдгар — «полковник Муш», как часто в шутку называли его. Энгельс немедленно пригласил Маркса и его жену к себе в Манчестер и окружил их там заботами, чтобы хотя немного отвлечь от тяжелой утраты.

Маркс, вернувшись в Лондон, на эту исключительную заботу ответил Энгельсу следующими выразительными словами: «При всех ужасных муках, пережитых за эти дни, меня всегда поддерживала мысль о тебе и твоей дружбе и надежда, что мы вдвоем сможем сделать еще на свете что-либо разумное»¹.

Болезнь кого-нибудь из членов семьи Маркса волновала Энгельса так же глубоко, как и Маркса. Сообщение о заболевании Женни и Тусси — дочерей Маркса — скарлатиной выбило Энгельса из обычного темпа его жизни.

«Никогда еще не были мы так напуганы, как сегодня утром, когда получили твое сообщение, что твои девочки больны скарлатиной. Это не выходит у меня целый день из головы... *Располагай моими средствами*, — пишет он Марксу, — пиши или телеграфируй, когда тебе что-либо нужно, и ты получишь тотчас же все, что только возможно...

Сообщай мне почаще, — продолжает он, — как идут дела...

При таких обстоятельствах я совершенно не могу писать о других вещах»².

Зато какую радость и ликование вызвали в доме Энгельса известия о том, что девочки выздоровели! Энгельс немедленно перевел Марксу деньги, чтобы отправить Женни и Тусси для укрепления их здоровья на морской берег.

Тусси часто и продолжительное время гостила в семье Энгельса. Как бы Энгельс ни был занят, какой бы срочной ни была работа, которую необходимо было выполнить, — он всегда уделял Тусси, так же как и воспитывавшейся у

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXII, стр. 94.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 67.

него племяннице Мэри-Эллен Бернс, исключительно много внимания. Он руководил их чтением, вместе с ними читал датские былины, руководил их музыкальными упражнениями на рояли и т. д.

Семья Маркса платила Энгельсу тем же горячим чувством. В ответ на сообщение Энгельса о смерти его первой жены — ирландской работницы Мэри Бернс, Маркс писал: «Известие о смерти Мэри меня столь же поразило, сколь и потрясло... как будто умер один из самых близких мне людей»¹. А несколько позже, зная, как тяжело Энгельс переживает эту утрату, Маркс заботливо просил: «Напиши мне прежде всего, что ты теперь поделываешь в Манчестере. Ты, наверное, чувствуешь себя там чертовски одиноким»².

Обеспокоенный молчанием Энгельса, который делал героические усилия, чтобы взять себя в руки и выбраться, наконец, из тяжелого состояния, в котором он находился, Маркс вновь и вновь заверяет своего друга, что «...ни один человек на свете не принимает так близко к сердцу все твои горести и радости, как

Твой Мавр»³.

1 июля 1869 г. Энгельс получил возможность навсегда освободиться от работы в фирме «Эрмен и Энгельс». Как тяготился Энгельс на протяжении всех этих лет своей коммерческой работой, видно из ряда замечаний в его письмах. В одном из них Энгельс писал: «Я ничего так страстно не жажду, как освобождения от этой собачьей коммерции, которая совершенно деморализует меня, отнимая все время. Пока я занимаюсь ею, я ни на что не способен»⁴. Дочь Маркса Элеонора, гостившая у Энгельса в Манчестере, позже в своих воспоминаниях писала: «...Я была с Энгельсом в тот момент, когда он раздался с этой принудительной работой, и тогда я узнала, чем все эти годы были для него. Я никогда не

забуду его торжествующего восклицания: «в последний раз!», которое он произнес, надевая утром свои сапоги, чтобы в последний раз отправиться в контору. Спустя несколько часов, когда мы стояли у ворот, поджидая его, мы увидели его идущим через небольшое поле, находившееся перед его домом. Он бросал в воздух свою трость, пел и смеялся во всю»¹.

Об этом радостном событии Энгельс не мог не сообщить немедленно же Марксу:

«Ура! сегодня покончено с *deux choses* [милой коммерцией], и я—свободный человек...

Тусси и я отпраздновали сегодня утром мой первый свободный день продолжительной прогулкой за город»².

«Самое горячее поздравление по случаю твоего бегства из египетского пленения!»³ — писал своему другу в ответном письме Маркс.

Это был последний год «египетского пленения» Энгельса. В сентябре 1870 года он получил возможность окончательно переехать в Лондон, поселиться вблизи от дома, где жил Маркс, видеться с ним ежедневно и вместе обсуждать бесчисленное множество вопросов.

Когда же Энгельсу удалось освободиться от «милой коммерции», он все свои силы и кипучую энергию отдал без остатка научной и партийной работе.

Ощущение свободы бесконечно радовало Энгельса. «Со вчерашнего дня я стал совсем другим человеком и помолодел лет на десять»⁴—писал он своей матери. Его радовала возможность, используя чудесную летнюю погоду, пробродить ранним утром несколько часов по полям вместо того, чтобы идти в мрачный город. За письменным столом, в своем кабинете, где можно было открыть окно, не боясь копоты, Эн-

¹ Элеонора Маркс. Фридрих Энгельс, «Борьба классов» № 9, 1935, стр. 14.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIV, стр. 206.

³ Там же, стр. 207.

⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 20.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXIII, стр. 123, 125.

² Там же, стр. 134.

³ Там же, стр. 135.

⁴ Там же, стр. 406.

гельсу работалось совсем иначе, нежели в его мрачной комнате на складе с видом на двор гостиницы.

Но особенно радовало Энгельса то, что его освобождение «произошло именно теперь, когда события в Европе все больше и больше обостряются и в один прекрасный день может совершенно неожиданно разразиться гроза»¹. И, действительно, атмосфера, насыщенная электричеством, разрядилась вскоре грозой...

★

Работа Маркса и Энгельса после революции 1848 года была, как и раньше, направлена на развитие и организацию самостоятельного рабочего движения. Они продолжали вооружать рабочее движение верным компасом — теорией научного коммунизма, — создавали пролетарскую партию.

Результатом гигантской теоретической и практической работы Маркса и Энгельса было создание I Интернационала — первой международной пролетарской партии. Будучи еще в Манчестере, Энгельс принимал самое живое участие в работе I Интернационала, который, в результате неутомимой борьбы Маркса и Энгельса, уже к концу 60-х годов превратился в серьезную силу международного рабочего движения.

Перебравшись в Лондон, Энгельс вместе с Марксом с удвоенной энергией развернул научную и практическую работу, осуществляя руководство Интернационалом. Энгельс вел твердую непримиримую борьбу с прудонизмом, бакунизмом и лассальянством, за превращение Международного Товарищества рабочих в массовую революционную пролетарскую партию, твердо стоящую на почве теории научного коммунизма.

Каждая попытка совлечь пролетарское движение с его исторического пути встречала решительный отпор Энгельса, который беспощадно разоблачал врагов пролетариата. Благодаря этой неустанной практической и теоретической борьбе, учение Маркса и Энгельса одержало

решающую победу над всеми его противниками.

Период I Интернационала занимает важное место в деятельности Энгельса. Именно в эти годы развернулся его блестящий талант неутомимого организатора и вождя мирового пролетарского движения.

Духовным детищем Интернационала была Парижская Коммуна, открывшая новую эпоху в истории человечества. Она была самой яркой страницей в истории Интернационала, была, как отмечал Маркс, «...славнейшим подвигом нашей партии со времени парижского Июньского восстания»¹. Коммуна — эта первая пролетарская революция — была блестящим подтверждением того, что пролетариат может прийти к победе только в ожесточенной классовой борьбе.

Как и Маркс, Энгельс вдохновлял своими указаниями героическую борьбу парижских коммунаров, был их практическим советником. В результате усилий Маркса и Энгельса, организовавших помощь Коммуне, «...весь социалистический пролетариат, от Лиссабона и Нью-Йорка до Будапешта и Белграда, немедленно же взял на себя en bloc [целиком] ответственность за действия Парижской Коммуны»². Но Коммуна пала под соединенными ударами версальских убийц и иностранных интервентов, сама, своим возникновением нанеся первый удар по капитализму.

После поражения Парижской Коммуны и прекращения деятельности I Интернационала встали новые задачи: создание в отдельных государствах массовых пролетарских партий, на организацию и развитие которых Энгельс оказывает решающее влияние.

Наступление реакции после Парижской Коммуны усилило почти во всех странах оппортунистические элементы, их стремление оказать свое влияние на рабочее движение, овладеть им. Энгельс снова бросается в бой с противниками марксизма. Он вместе с Марксом руко-

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 106.

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XV, стр. 229.

¹ К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения, т. XXVI, стр. 22.

водит международным социалистическим движением. Учитывая специфические особенности развития рабочего движения каждой страны, Энгельс направляет борьбу пролетарских партий, резко критикует, предупреждает и выправляет ошибки.

С присущей ему исключительной скромностью, Энгельс рассматривал себя только как помощника Маркса. Он всегда подчеркивал огромное влияние, которое оказывал на него Маркс. В предисловии ко II изданию своей работы «Анти-Дюринг» Энгельс писал: «...излагаемое в настоящей книге мировоззрение в главной своей части было обосновано и развито Марксом и только в самой незначительной степени мною»¹. Не однажды Энгельс заявлял: «Всю свою жизнь я делал то, к чему я был предназначен, — я играл вторую скрипку, — и думаю, что делал свое дело довольно сносно. Я рад был, что у меня такая великолепная первая скрипка, как Маркс»². В общем это совершенно справедливо, но не надо забывать, что на протяжении всей своей жизни Энгельс работал рука об руку с Марксом, что в величественном здании теории научного коммунизма немало камней, которые самостоятельно заложены Энгельсом.

После смерти Маркса организующая и направляющая роль Энгельса в международном рабочем движении еще больше усилилась. Ни одна из многочисленных нитей, которые до сих пор сходились в кабинете Маркса, не была оборвана. Энгельс взял на себя всю тяжесть гигантской переписки с деятелями и руководителями международного социалистического движения.

Он руководил и немецкими социал-демократами, сила которых вопреки преследованиям все возрастала; он направлял и первые, еще робкие шаги рабочего и социалистического движения в таких странах, как Испания, Румыния, Россия и т. д.

«После смерти Маркса Энгельс один

¹ Ф. Энгельс. «Анти-Дюринг», Госполитиздат, стр. 8. 1938.

² К. Маркс, Ф. Энгельс, т. XXVII, стр. 415.

продолжал быть советником и руководителем европейских социалистов... Все они черпали из богатой сокровищницы знаний и опыта старого Энгельса»¹.

Обладея даром гениального предвидения, он все чаще и чаще обращал свой взор на восток. Внимательно следя за первыми шагами пролетарского движения в России, он угадывал в них приближение революционной бури, приветствовал ее предвестников.

Энгельс продолжал неустанно разрабатывать и целый ряд теоретических проблем. Вопросы естествознания, диалектического и исторического материализма, вопросы происхождения и исторической роли государства нашли свое отражение в книгах Энгельса, написанных в этот период. Такие работы, как «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Людвиг Фейербах», показывают блестящую эрудицию Энгельса, совершенство, с которым он владел методом научного анализа.

Он вел ожесточенную борьбу с оппортунизмом и примиренчеством к нему. В этой борьбе он разрабатывал важнейшие вопросы стратегии и тактики пролетарского движения, до конца своих дней оставаясь революционером мысли, революционером действия.

★

Энгельс был вернейшим другом живого Маркса, таким он остался и после его смерти. Работа Энгельса над рукописным и литературным наследством Маркса — лучшее доказательство этому. Весь остаток своей яркой и прекрасной жизни Энгельс посвятил тому, чтобы прежде всего подготовить к печати II и III томы «Капитала» Маркса. Ни болезнь, ни работа над подготовкой к изданию и переизданию целого ряда произведений Маркса и своих собственных, ни огромная работа по руководству международным рабочим движением, — ничто не могло помешать Энгельсу осуществить цель, которую он себе поставил.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. I, стр. 415.

Десять лет напряженнейшей работы над сложным и подчас запутанным текстом рукописей Маркса, наконец, увенчались успехом, и II и III томы «Капитала» Маркса — «этого самого страшного снаряда, который когда-либо был пущен в голову буржуазии», были закончены Энгельсом.

Ленин писал, что «...изданием II-го и III-го томов «Капитала» Энгельс соорудил своему гениальному другу величественный памятник, на котором невольно неизгладимыми чертами вырезал свое собственное имя»¹.

История освободительной борьбы человечества, история мировой культуры не знает более ярких, сверкающих имен, чем имена Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина.

Появление на исторической арене к середине XIX века теории научного коммунизма не было случайностью. Оно было вызвано к жизни ростом капитализма и означало отныне «уже не фантастическое измышление возможно более совершенного общественного идеала, а понимание природы, условий и выте-

кающих из них общих целей борьбы, которую ведет пролетариат»¹. Вместе с Марксом Энгельс был творцом этой величайшей научной теории. Вот почему «...имена Маркса и Энгельса справедливо ставят рядом, как имена основоположников современного социализма»². Роль Энгельса в создании теории научного коммунизма исключительно велика. Он самостоятельно обосновал и разработал ряд важнейших положений марксистской теории. «Нельзя понять марксизм и нельзя цельно изложить его, не считаясь со всеми сочинениями Энгельса»³.

Как и Маркс, Энгельс был исполним передовой человеческой мысли, великим борцом за дело рабочего класса. Образ Энгельса, всегда беспощадного к врагам, страстно любящего народ и беззаветно преданного делу пролетариата и его партии, навсегда останется в памяти трудящихся всего мира.

¹ К. Маркс. Избранные произведения, т. II, стр. 10. Госполитиздат. 1940.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. XVII, стр. 34.

³ В. И. Ленин. Сочинения, т. XVIII, стр. 43.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. I, стр. 414.

Борис Васильевич Щукин

(К годовщине со дня смерти)

Х. ХЕРСОНСКИЙ

★

Кажется, что не прошло и одного дня с того времени, когда он делился своими последними замыслами, — так тесно они были связаны с нашей жизнью.

Он умел мечтать и много думал. Это был очень целеустремленный и чуткий человек. Он проникал в самое существо драматических образов, к сердцу своих героев. И когда спрашиваешь себя: почему ему это удавалось? — все яснее становится единственный ответ: потому что жизнь искусства всегда была для него глубоким отражением жизни страны, жизни народа.

Незадолго перед смертью, лежа в кровати в санатории, он читал друзьям монолог Чацкого. Читал задорно и молодод с жизнерадостным юмором. Говорил:

— Образ Чацкого по существу еще совсем не раскрыт на русской сцене. Великолепную, веселую иронию Чацкого неверно превращают в трагический сарказм и в ложную патетику. В итоге получается не Чацкий, не русский человек... Он был заряжен пушкинским юмором, как и вся его эпоха.

Щукин приготовил две новых роли. Смерть артиста не дала зрителям увидеть его в гоголевском городничем и в фельдмаршале Кутузове (в пьесе В. Соловьева).

Своим исполнением на репетициях Щукин поднимал сатирический образ городничего над трафаретным толкованием. Сквозник-Дмухановский, попавший в трагикомичное положение из-за

того, что принял маленького чиновника, Фитюльку за важную персону, вырастал у Щукина в образ глубокого жизненно-го обобщения.

Происшествие, случившееся в уездном городке, стало не только поводом для того, чтобы показать сатирическую галерею типов (как мы не раз видели на сцене), оно осветило философию общественного строя, создававшего таких людей, как городничий. Щукин, вводя нас в душевный мир городничего, показал, что тот вовсе не является какой-либо исключительной натурой, склонной от природы к подлости и злодейству. Его делают держимордой, хапуном и одновременно ничтожеством прочно укоренившиеся в его сознании и поведении взгляды и обычаи чиновничьей бюрократии России того времени. Щукин раскрывал уродливость мысли и жалкие чувства городничего, и тем этот образ был страшнее, и трагичнее, и отвратительнее — как образ мышления, унижительный для человека и глубоко враждебный народу. По существу можно сказать, что на сцене присутствовал не только незримый положительный герой, о котором писал в своих комментариях к «Ревизору» Гоголь, — его умный смех, — но был и другой незримый герой, ради которого Гоголь написал пьесу, — сам русский народ.

Кутузов же у Щукина был историческим воплощением мудрости русского народа. Прямодушный и лукавый, сердечный и скрытный, не допускавший

мысли попасть в плен к врагу, русский фельдмаршал у Щукина не боялся порой откровенно-«наивно» обнаружить свою военную хитрость, шуткой или молчанием обмануть лишние уши, — все для того, чтобы оставить при себе свое гениальное предвидение, сделать тонкий и трезвый реалистический расчет, привести в жизнь более глубокие и дальновидные планы. Основное у него — беспредельная любовь к родине, к своему народу и вера в его силы.

Эти замыслы Щукина отличались такой же жизненностью и цельностью, как и все, что он создал раньше.

★

Б. В. Щукин пришел в начале 1920 года в театр-студию Е. Б. Вахтангова еще молодым человеком. Но его характер и взгляды к тому времени уже сложились.

Он принес в студию серьезный жизненный опыт и свои, хотя не обширные, но продуманные навыки актера-любителя, много выступавшего в самодеятельных, как мы называли бы их теперь, кружках... Все это в общих чертах уже известно из статей о Щукине, появлявшихся в печати. Но жизнь его семьи, особенности формирования характера и мировоззрения Бориса Васильевича, незаурядная его работа над собой и его первые актерские опыты оставались до сих пор неосвещенными.

Дед Щукина по матери, Артемьев, крестьянин, служил в нижних чинах в армии 25 лет. Жена во время его передвижений следовала за мужем. После солдатской службы дед Щукина вернулся на родину, в деревню Рязанской губернии, а потом поселился с семьей в Москве, где был сторожем-привратником у вокзальных путей Казанской железной дороги. Он умер семидесяти пяти лет на рубеже двух столетий. Сыновьям он дал техническое образование. Александр стал мастером и начальником цеха в Перовских мастерских Казанской дороги. Дмитрий заведывал электроподстанцией элеватора. В воспитании характера будущего артиста

большую роль сыграла его мать — младшая дочь Артемьева, Анна Петровна.

Отец Щукина, Василий Владимирович, выходец из крестьян Волоколамского уезда, служил официантом в московском ресторане «Эрмитаж». Через несколько лет после рождения (в 1894 году) сына Бориса Щукины переехали из Москвы в Венев, затем в Каширу. Там, на станции недавно проведенной железной дороги, отец Б. В. Щукина снял с торгов вокзальный буфет. Детство и юность Бориса Васильевича были тесно связаны с уездной Каширой и привокзальным поселком (гор. Кашира расположен в трех километрах от станции).

С малых лет Б. В. Щукин наблюдал жизнь рабочих железнодорожного депо и провинциальной служилой интеллигенции. Но самым большим удовольствием для него было присматриваться к живому потоку людей на станции. Бывало, услышит, — поезд идет, — уже бежит на платформу встречать пассажиров, — вспоминают каширяне, хорошо знавшие Щукиных и их любознательного лобастого Боря.

На станциях железных дорог, как и на пристанях больших рек, смешиваются нравы, наречия, профессии всей страны. В Кашире железная дорога пересекала Оку. Через Каширу жители приокских уездов были связаны с Москвой. По течению Оки и через ее низовье шел путь к промысловым лесам, к Нижнему и Волге, к степям, рыбе и нефти, к Прикамью и Уралу. С юга везли в столицу хлеб. Старые русские города Серпухов, Тула, Коломна, Рязань были тесно связаны со своей ближней соседкой Каширой транзитом и торговлей. Здесь же двигалась пестрая масса сезонных рабочих, мастеровых, крестьян и разного трудового люда — в столицу и обратно.

Здесь, при встрече, в людском потоке не так ценилось внешнее положение человека, как его ум, отзывчивость, энергия, труд.

Боря с детства впитал любовь к душевному, деятельному русскому народу, к его труду, задумчивости и веселью.

Мальчика рано манило стать машинистом пассажирских поездов или другим человеком необходимого всем труда.

От деда солдата, отца — «человека из ресторана» — и радушной матери перешла к Щукину воспитанная житейским опытом традиция осторожной, внимательной оценки людей и сердечного демократизма.

Началось увлечение театром у Б. В. Щукина со школьной скамьи.

Первые актеры, которых Борис Васильевич видел в раннем детстве, были бродячие фокусники и акробаты, выступавшие на площади у трактира близ станции. После окончания трех классов железнодорожного училища мальчика отдали в реальное в Москве. Он жил в семье сестры своей матери — Екатерины Петровны (ее муж служил сторожем при магазине). А все каникулы на рождестве, на пасхе и летом Щукин проводил дома, в Кашире. В первый же приезд домой он собрал с помощью матери занавески и реквизит, устроил во дворе сцену, организовал из ближайших друзей «труппу» и дал представление. Показаны были самодеятельные инсценировки рассказов И. Ф. Горбунова.

Популярный во второй половине прошлого века артист-рассказчик И. Ф. Горбунов подмечал типичные черты в жизни мастеровых, купцов, церковников, мелкого чиновничества, крестьян. «Улыбку и раздумье, — писал о нем А. Кони, — видимый смех и подчас невидимую скорбь возбуждал в нем, а через него и в слушателях, не смешной случай, не искусственное сплетение комических положений и неожиданных обстоятельств, а — если можно так выразиться — кусок жизни, выхваченный и показанный с милым и безобидным юмором, который искрится и бьет через край». Юмор и раздумье. Улыбка и ощущение народной трагедии...

Неприглядную картину рисовал Горбунов: уродливый быт, невежество, суеверие, лень, несправие. «Вся-то жизнь наша — слезы, — говорит старик в одном из его рассказов, — родимся мы в слезах и померем в слезах... И сколько

я этих слез на своем веку видел, и сказать нельзя!»

Рассказчик хотел бы своими «сценами из народной жизни» пробудить главным образом несложную мысль; что надо ценить нравственные качества людей и их отношения. Но чувства, возникавшие у слушателей от талантливо нарисованных артистом картинок человеческого существования, были нередко шире и содержательнее, чем он сам думал. Борис Васильевич и позже не раз возвращался к рассказам И. Горбунова.

Москва, театральные впечатления, влияние преподавателей в реальном училище углубили в последующие годы кругозор Б. В. Щукина. Он стал восторженным поклонником Московского Художественного театра и больше всех писателей полюбил А. Чехова. Но вкусы провинциальных кружков артист-любителей были проще. Для среды, в которой жил Борис Васильевич в Кашире, какой-нибудь водевиль или мелодрама были ближе «Чайки».

Друг детства и юности Щукина, актер-любитель Н. И. Самохвалов, рассказывал мне о том довольно пестром репертуаре, в котором выступал затем Щукин вместе с молодыми каширскими любителями. Наряду с «Медведем» и «Мертвым телом» А. П. Чехова играла фарс Мясницкого «Я умер», инсценировали А. Куприна, ставили довольно популярные в свое время, ныне забытые комедии-водевили: «В бегах» Рассохина и Преображенского, «Оболтусы и ветрогоны» Яковлева, «Сперва скончались, потом повенчались» Максимова. Позже Б. В. Щукин играл Желтухина в «Касатке» А. Толстого, Константина в «Детях Ванюшина», Найденова, графа Любина в «Провинциалке» Тургенева, Бубнова в «На дне» Горького. Ставили «Дни нашей жизни» Л. Андреева, пьесы С. Белой, Евдокимова, Невежина, Карпова.

Но каким бы пестрым по содержанию и по художественным достоинствам ни был этот репертуар, можно было уже тогда видеть в выборе ролей Щукина и особенно в манере его исполнения стремление к жизненной правдиво-

сти и простоте, к юмору, к мягкости и задушевности.

Играл ли Б. В. Щукин чудаков, мечтателей, комичных, недалеких людей, водевильных папаш или неврастеников, графов, помещиков или людей «дна», он всегда, может быть, инстинктивно, искал случая сказать что-либо о глубоко-человеческом, нравственном принципе жизни. Сказать об этом не назойливо, без преувеличений и без позы, только мягким внутренним освещением показанного «куска жизни», его непосредственным смыслом.

Меньше удавалось это Борису Васильевичу сделать в декламации стихов и в модной тогда мелодекламации. Он много увлекался этим. Потом забросил. Зато неизменный успех имел он как рассказчик характерных юмористических рассказов и лучше всего владел формой диалога, — когда в каждой реплике мог выразить характер и невысказанные чувства и мысли своего героя, то, что актеры называют подтекстом. По самой природе своего дарования и, больше того, по своему отношению к жизни Б. В. Щукин был «характерным» актером, он был художником, для которого каждая идея должна быть воплощена в самой природе данного человека и его отношений.

Щукина всегда звала жизнь, он учился только у нее, — остальное было для него просто неправдой, тем, что он органически не принимал, отталкивал своим существом, без позы, осторожно и мягко, но категорически.

Не имея большой книжной эрудиции, он уже тогда обладал той личной культурой, которая дается людям глубокого ума, наблюдательным, душевным и строгим к себе. Отличительной чертой его характера была бескомпромиссная, скрытая за мягкостью и застенчивостью принципиальность и последовательность во всем, что он ставил себе задачей. Как бы малограмотна и легкомысленна ни была обстановка любительских спектаклей, она не засадывала его. Она не привила ему дилетантского отношения к профессии актера.

Он рос неторопливо, как художник-

реалист, осваивая в ту пору законы сцены почти самостоятельно. Он брал их не столько в теоретическом изложении, сколько, так сказать, всем телом и логикой труда актера, — добиваясь простой и ясной убедительности поведения героя на сцене.

Ко времени прихода к Е. Б. Вахтангову Щукин много пережил.



После окончания реального училища он провел два года в высшем техническом. На практике работал в железнодорожном депо Каширы лезкальщиком. Был мобилизован. Одно время работал слесарем на военном заводе. Затем окончил ускоренным выпуском юнкерское училище. Весну 1917 года провел в Самаре. Потом был на австро-германском фронте в окопах. После Октябрьской революции вернулся в Каширу — там работал на железной дороге помощником машиниста и был фотографом. Играл на сцене местного театра. Снова был мобилизован. Работал инструктором Всеобуча, затем в штабе воинской части в Москве. Похоронил отца. Перенес голод и вел нелегкую жизнь.

★

Когда Борис Васильевич начал заниматься в студии, он уже многое знал и умел, но все еще был простодушным актером.

На первых же занятиях в студии он поразил всех естественностью и простотой в этюдах, свободой самочувствия и поведения на сцене. Б. Е. Захава вспоминает, что даже Е. Б. Вахтангов растерялся.

— По опыту педагога Евгений Богратионович знал: чтобы поднять актера, как для того, чтобы поднять гирию, нужно приложить усилие. А тут — гирия легкая: только возьмешься за ручку, чуть потянешь, а гирия поднимается, как бы сама. Игра Щукина подтверждала слова Станиславского о том, что он свою «систему» не выдумал, а извлек из наблюдения над искусством больших актеров, которые творят, идя от самой своей природы. Вахтангов любовался новым учеником. У Щукина все само собой выходило так, как должно было бы выходить по системе.

Так происходило — пока дело шло о простоте, общении с партнером, сценическом внимании, внутренней свободе, чувстве сцены. Щукин сыграл грека в чеховской «Свадьбе». Ему поручили роль отца в той же пьесе, и через несколько репетиций Щукин играл и ее так же легко. Никакой фальши! Никакого тягостного напряжения, обычного для учеников.

Щукину дали играть Мерика в «Ворах» Чехова. Б. Е. Захава рассказывает: артист захватил зрителей стихийностью, широтой раскрытого им характера. Диковатость, озорное веселье и юмор Мерика шли от исполнителя как бы совершенно произвольно. Он покорила опромным обаянием. И вдруг, когда Щукин произносил свой лучший монолог о том, как вора Мерика мужики протаскивали подо льдом из проруби в прорубь, и всем студийцам казалось, что это очень хорошо, — Вахтангов крикнул «стоп!», и начался жестокий разнос: «Это простоватость, а не простота. Где фраза? Где лепка речи? Где ее скульптура? Ее выразительность?

Вы разговариваете, как в жизни, а надо разговаривать на сцене...»

Правду жизни Щукин чувствовал так, что все учились у него. Но у него еще не было высокого мастерства.

В другой роли — кюре из «Чудо св. Антония» — Щукин сразу потерпел неудачу; он не чувствовал особенностей психологии французского попа. Вынужден был давать только внешний рисунок, не жил в образе.

Зато всем стал близким и знакомым в «Принцессе Турандот» его простодушный, добрый Тарталья. Комичный персонаж итальянской народной комедии масок сразу удался Щукину. В этой роли артист раскрыл обаятельную особенность своего таланта — умение передать в образе очень непосредственные, наивные, «детские» черты. Щукин буквально перевоплотился в большого ребенка Тарталья, не задумываясь, носил поверх современного костюма зеленую кофту и нелепую шляпу, смотрел наивным глазом, озабоченно наклонял голову, семеня по наклонной площадке, осторожно выводил одно плечо вперед, откидывался назад и нес руки, согнув их округло в локте.

Тарталья был неопытен и робок. Вот-вот споткнется и упадет. Вот-вот забудет все, что надо сказать и сделать, и сконфузится. Он застенчиво улыбался публично, но с серьезно-наивным видом выговаривал зрителям, опоздавшим к началу действия. Щукин полюбил своего Тарталья за его мягкость, легкость, ясность души, полюбил эту роль за незлобивый, ласковый юмор и за поэтичность, полюбил шутки, свойственные народному итальянскому театру, — за высокую человечность этого театра.

Вахтангов взял у своего ученика лучшее, что тот мог в то время дать. Учителя и ученика в «Принцессе Турандот» объединила гуманистическая идея жизнерадостного спектакля. Идея борьбы за освобождение лучших человеческих чувств: любви, отзывчивости, дружбы.

«Детское» в Тарталье и его веселость всегда были близки Щукину. Он сознавался, что любит наблюдать детей, учит-

ся у них непосредственности жеста. Думается, что позже он нашел для этого и особое художественное применение. Характерные «детские» черты в жестах взрослых, интеллектуально глубоких людей, которых изображал впоследствии Щукин, усиливали ощущение душевной чистоты, непосредственности, эмоциональной цельности, прямоты этих людей.

★

В студии Е. Б. Вахтангова перед Щукиным встали по-новому вопросы о «художественном» и «естественном». Он понял, что непосредственное раскрытие характера героя еще не есть создание художественного образа-характера. Понял необходимость овладения всеми средствами сценической актерской техники ради того, чтобы искусство отражало жизнь, отражало все ее существо глубоко, в обобщающих образах, в произведениях большого искусства.

Щукин поселился в то время в маленькой комнате за сценой театра и, имея при себе, кажется, только одеяло, неразлучный чайник и несколько книг, стал дни и ночи заново, с азов, пересматривать и осваивать всю технику актера.

Для Щукина это было вместе с тем пересмотром и его чувства народности искусства. От «простонародного», немного наивного И. Ф. Горбунова, от водевилей и мелодрам он шел к пушкинскому и горьковскому пониманию народности.

Освоение мастерства, путь к высокой художественной форме, вдумчивое отношение к рождению художественного образа стали для Щукина одновременно путем и к углубленному пониманию самой жизни. Большое искусство Щукин не мыслил без его содержания, то есть без проникновения в психологию человека и в жизнь народа. А жизнь, в свою очередь, актер учился глубже понимать, вдумываясь теперь по-новому серьезно в образы классической и современной драматургии.

Щукин взял лучшее от Вахтангова, как Вахтангов в свое время — от Мо-

сковского Художественного театра. Если художественный и эстетический смысл этой преемственности определить в самой сжатой формуле, то надо сказать, что русское театральное искусство за это время развивалось, главным образом, от школы «душевных переживаний» к раскрытию «жизни человеческого духа» (по определению К. С. Станиславского) в ее наиболее полном интеллектуальном и цельном выражении.

Если до социалистической революции в Художественном театре, при всем многообразии его спектаклей и различии артистических индивидуальностей, господствовала (своейственной тогда интеллигенции) тенденция утверждать на сцене, как и в жизни, преимущественное значение субъективных переживаний и настроений, если, далее, у Вахтангова решающее значение приобрела критическая мысль и фантазия художника, его активное отношение к жизни и «отношение к образу», — то Щукин прежде всего искал близости, искал связи между духовным миром героев и мыслью художника, с одной стороны, и тем, что глубоко и кровно волнует миллионы новых зрителей, — с другой.

Высшую правду и силу переживаний, чувств, настроений Щукин видел там, где они находят непосредственный живой отклик у масс.

«Чувство современности» у Щукина не было результатом примитивного и пассивного следования за требованиями, выдвинутыми революцией. У него оно появлялось естественно из органического притяжения революции, как величайшего процесса в народной жизни. Искусство Щукина стало сознательным участием артиста в утверждении нового мироощущения и в новом воспитании чувств и характеров людей.

Творчество ближайшего учителя Б. В. Щукина Вахтангова отражало революционный перелом, происходивший в сознании русской художественной интеллигенции, — от пассивных и эгоцентрических настроений к резкой критике буржуазной действительности, к объективному познанию мира и активному участию в строительстве новой

жизни. И не что иное, как страстная активность Вахтангова в его восприятии кризиса старой жизни, стремление к освобождению и искреннее обращение художника к революционному народу потребовали яркой театральности, образности, поэтичности на сцене и изощрения техники актера, — чему Вахтангов и отдал много сил и смелой фантазии. Но при всем широком размахе исканий Вахтангов был все же очень субъективен. Для него главным оставалось субъективное, личное отношение художника к миру.

Только незадолго перед смертью Вахтангов, как художник, «прозрел», по его выражению, «зерно» истины и (восставая против отношения к народу свысока) призывал художников «творить ни для народа, ни ради него, ни вне его, а вместе с ним». Б. В. Щукин последовал этому завету. Вахтангов далее спрашивал: «О каком же «народе» идет речь? Ведь мы все — народ...» И отвечал: «О народе, творящем Революцию». Щукин понял это так, что артист должен помочь людям, создающим нашу страну, понять самих себя и помочь нам воспитывать свои чувства и мышление.

Делясь мыслями об искусстве, Щукин однажды говорил мне:

— Откуда черпается актером материал? Мое глубокое убеждение, что черпать его в тиши своего кабинета, своей комнаты нельзя; его можно брать из воспоминаний и фантазии только тогда, когда человек видел много и у него огромный запас и какие-то детали он еще досмотрит. Мы видим пример больших художников, больших литераторов. Возьмем Максима Горького: как он выразителен, в особенности в тех областях, которые он так хорошо знал, так хорошо изучил, так органически воспринял! Ему есть что сказать. Отсюда его большая народность: он все это взял от народа и в художественной форме отдал народу обратно.

Все взять от народа и все вернуть ему, — Щукин жил по этому завету.

И, поэтому для Щукина главным в создании каждого образа-характера на сцене было найти такие его внутрен-

ние черты, которые бы одновременно были чертами духовной жизни народа, выражали бы то, что типично не только для судьбы героя, но и для биографии народа, для его истории.

★

Начав изображать на сцене большевиков, Щукин сразу же (в роли Павла в «Виринее» Л. Сейфуллиной, в 1925 году), первым из актеров обрел нужную естественность и простоту. До него образы коммунистов, в то время для театра новые, страдали на сцене схематизмом. Это были железо-бетонные маски, большею частью резонеры. Щукин в своем Павле осветил живые, типические черты. Его солдат-большевик, вернувшийся в деревню в разгар гражданской войны, был сердечным, любящим и негромким человеком. Он был сдержан и тих, он не много говорил, но много думал. Побывав в окопах империалистической бойни, этот крестьянин во многом разобрался и прежде всего понял то, что его личную судьбу и судьбу всего ограбленного трудового крестьянства решит исход классовой борьбы.

Щукин убеждал без фразы и без позы, глубоким вниманием Павла к жизни, последовательностью и необходимостью его поступков. Павел у Щукина начал борьбу за свое освобождение и за освобождение народа потому, что не мог жить никак иначе. Он нашел правду, и ход борьбы закалял его.

Шаг за шагом, с каждой новой ролью Щукин все полнее освещал тему революции и ее преобразующей роли в формировании человека, охватывал все новые и новые стороны жизни.

Глубокое знание жизни и проникновение в судьбы людей вели Щукина в каждом образе большевика к утверждению, в сущности, одной истины: ленинизм — это лучшее, что создано человечеством.

★

Герои Щукина — люди, пытливо думающие о жизни. Они любят просторы земли «и в поле каждую былинку, и в

небе каждую звезду», любят наивное детство жизни, рост людей и рост трав, и мудрый опыт труда, — любят не созидающей и благословляющей, а созидающей, терпеливой, мужественной любовью. Они молчаливы, но всегда деятельны. Изучают меняющуюся жизнь. Взвешивают, сопоставляют. Берут судьбу всего в свои руки. Видят смысл каждого шага и знают свою цель. Больше всего они любят упорный труд мастера, садовника, творца, оставляющего после себя новый, умный, веселый и прочный мир.

Щукин осветил органическую цельность характеров своих героев.

В естественном и богатом содержании их духовного мира и в их деятельности Щукин показал, что политика неотделима от морали и от любви к жизни. Он показал, что скромность, простота, сердечность, моральная чистота, душевная ясность и энергия, отзывчивость и вместе с тем принципиальность и непримиримость — все это неотделимые стороны характера настоящего большевика, выдвинутого народом в вожаки и учителя.

В этих людях «особого склада», создающих нашу страну и новую жизнь человечества, Щукин особенно ярко показал их целеустремленность.

Актеры прошлого могли только мечтать о таких героях или находили их в роли героических одиночек, противостоящих обществу. Щукин показал, что такой тип человека становится в нашем обществе, в нашей стране основным и характерным для целой эпохи.

Каждый из этих образов в исполнении Щукина — художественный слепок с жизни революционной России.

Щукин проникал до дна в жизнь человеческих чувств, но про него прежде всего хочется сказать, что он был мудрым актером, художником-мыслителем.

Богатство душевной жизни человека неисчерпаемо, потому что главное в ней — мысль и труд — творчество. Человек — это прежде всего мыслитель, и красота его в действии, в труде, — говорит своим творчеством Щукин.

★

Особое место в творчестве актера занимает образ Егора Булычева.

Обреченного на смерть своей болезнью и исторически гибнущего вместе со своим классом Булычева многие артисты играли уже живым покойником, не сопротивляющимся и безучастным к жизни. Щукин правильнее понял



идею Горького: никакая активность, никакой ум не спасают Булычевых от уничтожения. Гибель всему лучшему человеческому несет в себе капитализм. Гибель и уничтожение всему, что сопротивляется, отстаивая капиталистическую систему, всему, что хочет попрежнему управлять миром, исходя из звериной капиталистической философии и морали, — уничтожение до конца несет социалистическая революция. У Щукина Булычев страстно любит жизнь, не хочет умирать, не думает о смерти, не покоряется, он умень-

и еще полон энергии. И его больше всего занимает окружающая действительность. Его волнует наступление революции. Над всем у него преобладает одно желание — понять эту действительность. Понять — значит овладеть ею, найти в ней свое место, «свою улицу». В обреченном хищнике просыпается человек, он жадно цепляется за жизнь, но не находит в ней смысла, — он опустошен, несмотря на свой ум, бессилён при всей силе характера. В трагедии Булычева, а не в простом факте его смерти, ярче видна неизбежность его гибели и гибели капитализма в целом.

Щукину было чуждо любое рассудочное отношение к этой теме. Его глубоко интересовал человек. Артист не мог оставаться равнодушным к Булычеву. «В Булычеве Горький такой великий подарок оставил, — говорил мне Щукин в 1936 году. — Это очень интересный образ... Такой лаконичный, такой многообразный и такой разносторонний!»

И Щукин вынашивал свое воплощение образа Булычева, вспоминая весь свой жизненный опыт, свои наблюдения над купцами, рассказы отца и матери, юношеские впечатления в дореволюционной Кашире и в Москве. Булычев, как известно, происходил из крестьян-костромичей и в детстве жил среди сплавщиков леса. Работая над ролью, Щукин поехал на лето перед премьерой на Волгу. После он рассказывал:

— Я близко наблюдал людей Волги, восстанавливая прошлое. Слушал народную речь. Ночью ходил я взад и вперед по берегу, встречался с людьми или оставался один. В одну из таких ночей я как-то внезапно почувствовал, что становлюсь Егором Булычевым, что у меня так, и никак иначе, сидит голова, что у меня так движутся ноги и такие руки. И вместе с этим внешним портретом пришло и понимание внутреннего существа образа.

Булычевы гибнут. Новый мир, рождаясь, проходит мимо них. Щукину было ясно, что путь у народа один — к Ленину, вместе с Лениным. Щукин понимал это в широком человеческом

смысле. Он понимал, что народ осуществляет то, о чем сказал Сталин: «Стройте новую жизнь, новый быт, новую культуру по Ильичу!» Щукич видел, что люди строят и самих себя по Ильичу: об этом артист рассказывал во всех образах рядовых большевиков. А постоянным внутренним ориентиром для Щукина был уже давно образ самого Владимира Ильича.

Рисуя черты лучших людей (черты своего народа), Щукин каждый раз освещал типический для нашей эпохи характер человека с какой-нибудь новой стороны, всегда думая о Ленине.

Именно поэтому образ героя нашего времени, его духовный мир у Щукина росли от роли к роли, а вместе с тем последовательно рос и мужал талант артиста.

Когда возникла смелая мысль о постановке спектаклей и выпуске фильмов, в которых был бы показан Ленин, то выбор пал прежде всего на Б. В. Щукина.

Но, когда еще задолго до этого Максим Горький высказал мысль, что Щукин мог бы сыграть Ленина, никто не отдавал себе отчета, до какой степени артист на своем творческом пути постоянно внутренне готовился к этому.

Режиссер М. И. Ромм, постановщик фильмов «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году», рассказывает, что он застал Б. В. Щукина уже за деятельной и упорной подготовкой ко всему, с чем мог встретиться актер при создании образа Владимира Ильича. Щукин читал сочинения Ленина, вслушивался в записи его голоса, изучал фотографии, беседовал с людьми, видевшими Ленина, прочел много воспоминаний о нем. Работа эта возрастала и углублялась с каждым днем репетиций и съемок. Щукин отнесся к своей задаче, как к величайшему счастью актера.

О результате этого труда Б. В. Щукина — о созданных им в театре и в кино образах Ленина — много написано и будет еще написано подробнее. Скажем только об основном направлении этой выдающейся в искусстве и очень поучительной работы актера-художника, великого реалиста нашего времени.

Б. В. Щукин через внешнее портретное сходство, через характерность, преодолевая подражательство, шел к глубокому раскрытию характера и к Ленину-мыслителю. Во втором фильме — «Ленин в 1918 году» — Щукин меньше заботился о буквальном воспроизведении жестов, поз, манеры речи Владимира Ильича, но шел гораздо больше от его внутренней сущности и добился очень выразительной цельности, естественности образа и непосредственности и свободы игры.

Именно идя от существа ленинских чувств и мыслей, артист стал больше походить на Ленина! Такова природа не натуралистического, а реалистического образа, созданного Щукиным.

Щукин понимал, что в одном спектакле или фильме доступно осветить только какие-то немногие грани этого великого образа. Артист смотрел при этом на себя, как на ученика, который всего лишь начинает понимать пути к решению задачи.

Уже сделав все, что мы видели, он говорил:

— Вот теперь, мне кажется, я могу начать играть Ленина.

Самым глубоким желанием Щукина было продолжить работу над образом Ленина.

Вместе с режиссером М. И. Роммом Борис Васильевич обдумывал следующий, третий фильм.

Взволнованно и осторожно вынашивался этот образ. Режиссер и актер думали и о Ленине в апреле 1917 года, и о Ленине во время Брестского мира, о Ленине в эмиграции. Щукин копил новые масла, наблюдения, много читал, неустанно готовился.

Образ Ленина освещался для него все с новых и новых сторон. Щукин отдавал себя этой подготовке со всем рвением исключительного таланта и великого труда.

Про Щукина никак нельзя было сказать, что он живет и работает легко, как с горы идет.

Нет, он, владея уже изумительным мастерством, упорно, последовательно, мудро нес на своих плечах искусство актера в гору и отличался необыкновенным трудолюбием.

Каждый зритель ощущал, что в творчестве этого актера органически, как внутренняя необходимость, как закон жизни, заложено высокое, я бы сказал, народное моральное начало, выраженное без малейшего резонерства, без подчеркивания, естественно, скромно и деликатно. Вместе с тем это был актер громадной, мужественной силы. В центре его творчества всегда стоял человек, любящий жизнь, строящий новый мир. И поэтому Щукин был художником необычайно родным и близким своему народу, который отвечал ему на это искренней любовью.

Мастерство жизни и мастера слова*

С. МСТИСЛАВСКИЙ

★

I

В историю советской литературы сорок первый год должен войти как год решительных сдвигов. Думается: общее мнение литературной общественности выразил один из ораторов, выступавших на сентябрьском общесоюзном собрании Союза советских писателей.

«Оставаться такими, как мы были до сих пор, нельзя больше».

Под теми же лозунгами коренной перестройки работы прошли писательские собрания во всех городах Союза.

Не без горечи приходится констатировать, что к выводу этому писатели пришли не самостоятельно, — хотя вопрос о необходимости «коренного сдвига» поставлен был по существу еще в январе — учреждением сталинских премий. Соревнование, к которому призван был этим актом широкий литературный актив, должно было заставить писателей пристально проверить себя — свою жизнь, свою тематику, методы своей работы, — чтобы поднять их в уровень требований, которые ставит литературе сталинская премия: ведь именно в этом великое организующее значение ее. Ибо критерий мастерства, которым определится присуждение премий, должен быть высок — в полный рост возможностей, открытых художнику слова в нашу советскую эпоху; ясно без оговорок, что премия может быть дана толь-

ко мастеру социалистического реализма, а не просто автору «относительно» лучшего в литературном отношении произведения за данный год.

К сожалению, за все прошедшие с того дня месяцы не появилось даже признаков столь естественной, казалось бы, и необходимой мобилизации литературных сил. Она не стала в порядок дня Союза писателей, о ней молчала «профессиональная» наша пресса: «литературная жизнь» текла попрежнему широким — в три тысячи «квалифицированных» перьев — медлительным и тягучим потоком.

И потребовался ряд указаний со стороны партии и вызванных этими указаниями организационных мер, — реформа Гослитиздата, изменение договорной системы, выделение Литфонда и Управления по охране авторских прав из системы ССП, — мер, внесших радикальные перемены в экономику писательского дела, — чтобы писательская общественность всколыхнулась, наконец, и заговорила о «больных вопросах» литературного нашего движения. Заговорила в тонах очень резкой самокритики, в речах некоторых ораторов доходившей, мягко говоря, до самобичевания. Если бы сделать сводку писательских высказываний о недостатках и даже «пороках» современной советской литературы, картина получилась бы весьма безотрадная: в статьях и на собраниях говорили и о плохом художественном качестве литературной

* Статья печатается в порядке обсуждения.

продукции, и о низком идеологическом ее уровне, о вредных идеях, которые все еще в значительном количестве «просачиваются» в книги, на сцену, на экран; о пороках писательского быта, доходящих иногда — как в жизни Авдеенко — до полного морального разложения; о «кастовой замкнутости» значительной части высококвалифицированных писателей, о высокомерном отношении их к «средним» писателям; с чрезвычайной резкостью критиковали руководство Союза советских писателей; говорили о том, что при оценке произведений играют нередко роль «индивидуальные симпатии к тому или иному автору» или даже «мелкое самолюбие, копеечные личные обиды заменяют, подчас, принципиальность»; говорили об отсутствии творческого общения между писателями, о том, что работают они, как кустари-одиночки; что в Союзе «довольно большое количество самых настоящих и отъявленных лодырей, есть явные и очевидные бракоделы, с которыми беспрекословно возятся и носятся»; о «слабости коммунистического воспитания и легкой возможности для рвача и туеядца... жить без труда, при помощи пособий и авансов»¹; о том, что «одни сводят всю работу художника к более или менее умелому использованию старых и изобретению новых художественных приемов, проповедуя, что все остальное (мировоззрение, знание жизни) приходит само собой; а другие под громкий шум своей якобы исключительной идейности стыдливо молчат о художественной форме, скрывая свое неумение работать и нежелание учиться».

Характеристика тяжкая. Особенно для наших дней, когда с особою силой и настойчивостью поставлен жизнью вопрос о максимальном подъеме производительности труда. Но принять ее можно, лишь устранив излишние обобщения, итог излишнего обличительного пыла; ибо пороки, отмеченные выше, отнюдь не характеризуют движение в целом. Вопросы же «движения в це-

лом» в тех выступлениях, которые пришлось слышать и читать, — по существу не затрагивались. Высказывания в подавляющем большинстве, не исключая передовиц «Литературной газеты», носили чисто декларативный, неконкретный характер. В этом смысле — прения прошли мимо темы. И на этой стадии остановиться нельзя, так как тогда могут сбыться «зловещие» предсказания той же «Литературной газеты»: «Мы часто и много говорим о наших «бедах». Буквально годами мы возимся с одними и теми же так называемыми «большими вопросами» нашей литературной жизни и никак не можем покончить» (передовая № 45). Не можем кончить, потому что занимаемся частностями, обходя общее. Есть реальная опасность, что и сейчас «общее» это будет обойдено и дело закончится «ущемлением блохи», по чудесному ленинскому выражению, — хотя мы и слышали заявление, что «оставаться такими, какими мы были, нельзя больше».

Но, чтобы «не оставаться такими», — надо говорить не о «больных», а о «больших» вопросах литературы.

Их надо обсуждать не в узкой «профессиональной среде», а вынести в широкую «читательскую» аудиторию. Ибо литература есть дело общенародное, в нем заинтересованы, в точном смысле слова, все — от ребятенка-дошкольника до ответственного государственного деятеля. Читательским массам, трудящимся, рабочему классу, мысли которого и суть господствующие мысли эпохи, дан решающий, в подлинном смысле слова, голос в судьбах литературы. И он уже пользуется этим голосом широко. В области темных преданий отошло то хронологически недавнее время, когда Леонид Андреев, в зените своей славы, мог громко выражать восторг по поводу того, что достигнутое им «финансовое великолепие» обеспечило ему независимость от читателей: слово, которое он произносил с приставкою «хам» — «хамо-читателей»². Из пассивного потребителя, лишь «коммерчески» принимавшегося в учет (издателями, а не писателями), читатель в совет-

¹ «Литературная газета» № 45 и след.

ское время обратился в активную силу литературы, оказывающую прямое воздействие на творчество писателей и теми тысячами писем, которые идут в адрес авторов наиболее значительных книг, и в адрес редакций, и теми выступлениями — печатными и устными, — которые стали явлением обычным. В высшей мере показательно, что исключения из Союза писателей в Ленинграде афериста «драматурга» Ротко едва ли не первыми потребовали читатели.

Воздействие читателей растет быстро, у нас на глазах, в меру быстрого культурного и политического подъема масс. Потому что печатное слово для современного нашего читателя — не «полоскание мозгов» в часы досуга и не отвлечение «тайнами и красотами иных — уву, недоступных! — миров от неприглядности собственной жизни», как было это в прошлое время; печатное слово для него мощное оружие революционной борьбы и строительства, источник новых мыслей, чувств, опыта и знаний. И он проветривает нас, наши книги на собственном жизненном опыте, отбрасывая негодное, отбирая лучшее, указывая способы исправления опытом выявленных недостатков. Он делает это в сознании, что литература — дело общественное.

Из года в год ширится и прямое «писательское» участие в литературе читательской массы: растет число рабочих, инженеров, летчиков, командиров, ученых, закрепляющих в слове, в художественных образах свой жизненный творческий опыт для передачи его другим: это — особенность нашей литературы, предопределенная самой сущностью советского строя.

«Профессиональные вопросы» литературы приобретают поэтому широкий общественный интерес, далеко перерастая узкие «корпоративные рамки»; тем более, что речь идет, как мы сказали уже, о больших вопросах — вплоть до основного: о самой профессии писателя, ибо корень всех перечисленных выше недостатков литературного нашего движения — именно здесь, в общем характере нашего писательского «профессионализма».

II

В сталинском определении писатель есть «инженер душ». Человек, силою художественного слова, силою образов «создающий нового человека социалистического общества», внедряя в читателей, в миллионы трудящихся лучшие человеческие качества, «любовь к своему народу, любовь к трудящимся массам», «честность», «храбрость», товарищескую спайку, любовь к труду¹. Это человек, организующий революцию силой художественного слова.

Определение это целиком приложимо не только к публицистам, но и к прозаикам, поэтам, драматургам, ибо прав был Маяковский: «Разница газетчика и писателя — это не целевая разница, а только разница словесной обработки». Уже из самого определения этого ясны и моральный облик советского писателя, и необходимая ему подготовка, и методы его работы.

Помимо литературных данных, определяющих способность к художественному творчеству, для него обязательна мера, которую указал товарищ Сталин, как требование народа к нашим партийным и государственным работникам:

«...чтобы они в своей работе не опускались до уровня политических обывателей, чтобы они оставались на посту политических деятелей ленинского типа, чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин (*аплодисменты*), чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными к врагам народа, каким был Ленин (*аплодисменты*), чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники, когда дело начинается осложняться и на горизонте вырисовывается какая-нибудь опасность, чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как был свободен Ленин (*аплодисменты*), чтобы они были так же мудры и неторопливы при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и минусов, каким был

¹ См. М. И. Калинин, Вопросы коммунистического воспитания, 1940, стр. 43.

Ленин (*аплодисменты*), чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин (*аплодисменты*), чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин (*аплодисменты*)»¹.

Только такой писатель отвечает требованиям «партийной», доподлинно-свободной литературы, о которой писал тридцать пять лет назад Владимир Ильич.

«Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скушающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Это будет свободная литература, оплодотворяющая последнее слово революционной мысли человечества опытом и живой работой социалистического пролетариата...»².

История дала ряд блестящих образцов таких писателей-революционеров. Но рядом с этим типом писателя-борца в рядах буржуазной литературы сложился другой писательский тип, с наибольшим, пожалуй, цинизмом воплощенный в изысканном облике Теофиля Готье, прославленного (и по заслугам) французского стилиста. Характерные черты этого типа даны самим Готье в его автопортрете:

«Я никогда не думаю о том, что буду писать, я беру перо и пишу. Я — писатель, я должен знать свое ремесло. Вот передо мною бумага: я — как клоун на трамплине... И кроме того, у меня в голове не плохо упорядочен синтаксис. Я подбрасываю свои фразы в воздух, как кошек, и я уверен, что они упадут на все четыре лапы. Это очень просто, надо только иметь хороший синтаксис... Вот мой черновик: без помарки...

...Я был талантлив. Теперь я люблю только шляться. И не пью только потому,

что у меня будут тогда синие жилки на носу: шикарные куртизанки не будут меня любить, мне придется довольствоваться девками по двадцать су».

В «исповедании веры» Готье до последней черты обнаружена сущность буржуазного «профессионального писателя», в «ремесле» своем видящего лишь средство обеспечить себе беззаботную, сытую, «роскошную» жизнь, служащего тем, кто ему эту жизнь обеспечит. «Банковская газета или нет, не все ли равно для печатного слова». Будет ли издавать газету богатейший банкир или «Васька Чурилин, Ванька Каин или Гришка Отрепьев, — не все ли равно? Начать издавать газету никакой блаародный бедняк не может, если не сплит с ума, это понятно, ergo — в чем же дело?» — писал в 1916 году Леониду Андрееву один из именитых русских литераторов, цинично высмеивая, как «блаародный соплизм», отказ Горького, Короленко, Блока и И. Шмелева сотрудничать (не в пример всем остальным «корифеям» тогдашней буржуазной литературы) в «Русской воле» — органе банков, дворцовой камарильи и департамента полиции. «Сопляки в России только тем и занимаются, что уныло разыскивают везде мерзавцев, сопляки с головой утонули бы в своем блаародном соплизме, и кто бы их вытащил, бедных?»¹

★

Два типа писателей — непримиримо противостоящие друг другу, как непримиримы создавшие их миры. Два движения: в одном — тесная связь с жизнью народа, тесная спайка, созданная чувством единства задачи, общего дела; в другом — связь с жизнью заменяется связью с издательством, общее дело — общим рынком; а тем самым — спайка заменяется конкуренцией.

Эти различные типы писателей четко разграничиваются по признаку: является литературный заработок целью, причиной, стимулом — литературной работы или только материальным

¹ И. Сталин, Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского избирательного округа гор. Москвы, 1937, стр. 12 — 13.

² В. И. Ленин, Сочинения, т. VIII, стр. 390.

¹ «Литературное наследство» № 2, 1932, стр. 185.

следствием общественной работы писателя.

Революционная литература прошлых эпох, естественно, не знала в своих рядах профессионалов «литературного заработка». Но после установления советской власти, когда печать получила гигантский размах, положение изменилось. В ряды литературы и главным образом литературы художественной влилась определенная группа литературных работников дореволюционной России. Многие из них принесли с собой традиции «людей литературного заработка». Тщательная и долгая, с величайшей терпимостью проведенная партией воспитательная работа в сильнейшей мере преобразила первоначальное, исходное соотношение двух вышеуказанных групп в нашем литературном движении, приблизила литературную работу к типу писателя — партийного и государственного деятеля. И все же приходится сказать со всей прямотой, что пережитки буржуазного профессионализма, просочившиеся за октябрьский рубеж, не только оказались живы до сего дня, но наложили свою печать в определенной мере и на новые, вступавшие за это время в строй литературные кадры. Исключительные условия, в которые поставлены были советские писатели с целью обеспечить им совершенную свободу и предельную продуктивность работы, — при отсутствии должной воспитательной работы (и даже хуже того — отсутствии должной бдительности со стороны руководящих литературных органов) привели к засорению рядов литераторов искателями крупных гонораров, «привольной» и даже попросту пьяной, «богемной» жизни. Политическая сущность нашей профессии людьми этого типа затемнялась и отодвигалась на задний план. Правда, носители буржуазных традиций, рьяно отстаивавшие одно время лозунг «аполитичности» писателя, стали охотно подписывать политические векселя деклараций, как только убедилась, что по векселям этим можно не платить. Но декларации создавали только видимость органической перестройки писательских рядов, видимость благопо-

лучия. В конечном итоге «забвение сущности» зашло настолько далеко, что в печати пришлось читать такое — невероятным кажущееся на первый взгляд — официальное объяснение хвалебного отзыва, данного президиумом ССП (компетентнейшим писательским органом!) порочной пьесе В. Катаева: «президиум прошел мимо идейного содержания пьесы». То же «забвение» засвидетельствовало собрание кинокритиков, удостоверившее, что «авторы статей и рецензий вообще сплошь и рядом подходят к оценке работы художника с абстрактно-эстетических позиций», а некоторые «даже не ставят своей задачей рассмотреть политическое содержание картин, определить, какие чувства воспитывает она у зрителей». Так было и с порочнейшим фильмом «Закон жизни»: писавшие о нем «забыли о политической оценке произведения». Авторы этих объяснений (как, впрочем, и органы, опубликовавшие их) явственно, как свидетельствует контекст, не отдают себе отчета, в чем, собственно, они признаются. Это же равносильно объяснению командующим армией неудачи операции тем, что он «забыл про стратегию»: забыл — существо своей профессии.

В таких условиях естественным представляется и жизненный уклад писателей, который в настоящее время можно считать довольно распространенным. Отметая крайние, доходящие до бытового разложения примеры, мы можем с полным правом констатировать, что колоссальным мастерством жизни немногие писатели наши обладают. Но без мастерства жизни нет и мастерства слова.

Искусство писать — это прежде всего искусство жить. Раньше, чем стать мастером слова, надо стать мастером жизни. Вот почему, скажем полутно, так вредна ранняя профессионализация.

Мастерство жизни в том, чтобы жить полной жизнью, суметь всем существом, без оглядки, включиться в жизнь, в ее борьбу, в ее строительство; включиться так, чтобы (как Горький писал в одном из своих писем) «каждая минута бытия казалась великим собы-

тием». Признаки подлинного писателя: не настроение, а чувство; не влюбленность, а любовь; не злость, а ненависть; не жест, а движение; и в каждое движение мысли, чувства, тела — вкладывать себя целиком.

Только в такой жизни может человек почерпнуть тот пафос, без которого нет писателя. Пафос, которым напоена каждая строка Маяковского; пафос, который дал такую силу «технически» слабо вооруженному Николаю Островскому.

В одной из первых песен «Ада» Данте есть такие строки:

Их память на земле невоскресима.
От них и суд и милость отошли,
Они не стоят слов: взгляни — и мимо.

Признав иных, я, посмотрев кругом,
Узнал того, кто от великой доли
Отреся в малодушии своем.

И понял я, что здесь вопят от боли
Ничтожные, которых не возьмут
Ни бог, ни супостаты божьей воли.

Это люди, о которых говорил в речи своей избирателям товарищ Сталин: «ни рыба, ни мясо, ни богу свечка, ни чорту кочерга».

Люди, привыкшие и стремящиеся «жить минимальной частью своего существа» (М. Пруст), могут, конечно, достичь в ремесле своем большого технического искусства, но литераторами они никогда не станут. Ибо как может человек «учить» других людей любви и ненависти, когда в нем самом их нет; как может он поднимать в людях волю к жизни, к творчеству ее, когда воли этой нет в нем самом.

Пафос не мыслится без целеустремленности. Иначе нам пришлось бы говорить не о пафосе, а о «телячьем восторге»: примеры его, действительно, являются и в нашей литературе некоторые «восторженные приспособленцы» или просто неумные, но весьма экспансивные сочинители. Но читая произведения их, можно лишь повторить брезгливую фразу Маркса: «Я бы предпочел быть котенком и кричать «мяу», чем таким рифмоплетом»¹.

История литературы непреложно свидетельствует, что мера мастерства писателя во все времена определялась мерою жизненной целеустремленности, мастерства его жизни. Данте не написал бы «Божественной Комедии», если бы не был пламенным, до конца непримиримым, до смерти не сложившим оружия политическим борцом, крупным государственным деятелем. И достаточно двух строк Валерия Брюсова —

... Сквозь окно

Три революции мог наблюдать я жадно.—

чтобы ясна стала литературная, историческая судьба этого человека, который обладал всеми данными крупнейшего писателя: литературным талантом, умом, необычайной трудоспособностью, великолепной литературной техникой, эрудицией. Горький назвал Брюсова «самым культурным писателем на Руси», но в книгах его мы учимся не жизни, а только словесному искусству, потому что он не жил так, как должен жить писатель: он был только наблюдателем жизни «сквозь окно». И какой жизни! «Три революции!» Солон издал, как известно, закон о лишении гражданской чести всех, не принявших участия в гражданской войне. Закон, подлинно, — не государственной только, а и человеческой мудрости.

«В жизнь! — писал Золя. — В самую гущу жизни, чтобы описание было меньше всего игрою слов, чтобы оно дышало, чтобы оно всегда казалось отодранным с мясом». Кабинетный затвор, — *idolus specus*, — пещерный идол «Нового Органона наук» всегда был могилой писателя. Четыреста лет назад издевался Френсис Бэкон над людьми, пытающимися достичь истинного знания в одиночестве кабинета: «Они думают, что могут извлечь из своей черепной коробки всю вселенную, как фокусник извлекает из шкатулки свои пестрые ленты».

Много лет назад, в год войны с Японией, Леонид Андреев «извлек из своей черепной коробки» «Красный Смех» — поэму об ужасах войны. Он плакал над ней подлинными и жуткими

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 389.

слезами, слова шли надрывно, из самого сердца, а на позициях наших войск под Мукденом, когда дошел туда этот «Смех», — смеялись над ним, как над живой, фальшивой от звука до звука истерикой. Поставьте рядом в окопах выношенные мысли и чувства Барбюсса — силу его книги, созданной на крови и в огне войны.

Прав был Флобер, когда писал: «Я отдал бы полстопы заметок, написанных мною за пять месяцев, и девяносто восемь прочитанных мною томов за то, чтобы в течение хотя бы трех секунд «действительно» переживать страсти моих героев».

Это не значит, конечно, что писать можно только о непосредственно пережитом. Пережитое дает ключ к целому ряду явлений. Чтобы писать о любви, нет никакой необходимости идти в жизни от одной любовной интриги к другой, как шел Мопассан; но кто никогда не любил, о любви никогда не напишет правды. Кто хоть недолгий час, но искренно, полной грудью, дышал воздухом баррикад, уже держит «ключ» к правде и Декабрьского восстания Пресни, и Парижской Коммуны, и любого из восстаний народа.

Потому что только собственной жизнью, ее мастерством и не чем иным выдвигается собственная, своя тематика писателя: тема, которой писатель живет.

Именно мастерства жизни, а не только «искусства слова» требует литературно-художественное творчество, поскольку определяется оно законом диалектического материализма, сформулированным Лениным: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности»¹. Познания — действительно, не только объясняющего, но и преобразующего мир.

III

Горький, наш высокий авторитет в вопросах социалистического реализма,

¹ В. И. Ленин, «Философские тетради», стр. 166.

утверждал, что «художественность без вымысла невозможна», и особо подчеркивал, что «воображение — один из наиболее существенных приемов литературной техники... Технику — процесс работы — нельзя смешивать с понятием формы»¹.

Это вполне созвучно высказыванию Белинского: «Списывают с природы не художники, а маляры, и их списки, чем вернее, тем безжизненнее». Даже такой, всеми корнями сращенный с реальностью писатель, как Достоевский, в основу творчества своего полагал: «Писатель (поэт) сам создает жизнь, да еще такую, какой в полном объеме до него не было».

Вне «вымысла» вскрыть в образах подлинную сущность явлений и людей, показать правду жизни — задача невыполнимая. Образ всегда правдивей образа, в котором «возможность» обычно затемнена, «запылена» (по горьковскому выражению) «дурными случайностями»; художественный же образ ставится в условия, позволяющие вскрыть эту «возможность» с наибольшей силой.

Другими словами: типическими могут быть только творчески преобразованные в ходе литературного процесса «характеры» и «обстоятельства».

«В идеале» в художественном произведении (любого жанра, включая жанр исторический) не должно быть ничего воспроизведенного непосредственно, фотографически, с природы. Не потому, что это является «бессмысленным повторением действительности в слове» (Салтыков-Щедрин), а потому, что дает, в лучшем случае, «правдоподобие», но никогда не дает «правды»; каждый жизненный факт верен только в данном жизненном комплексе: малейшее изменение связей, предистории и т. д. лишает его достоверности.

Но, утверждая, таким образом, безоговорочно обязательность вымысла, мы вместе с тем твердо — до беспощадности — ограничиваем право на вымысел определенными, автору предъявляемыми условиями, ибо в литературной практике злоупотребление «правом

¹ «О литературе», 3-е изд., стр. 281 — 282.

вымысла» наблюдается в довольно широких размерах.

Я разрешу себе для первого примера использовать некую рукопись о Казахстане, в которой автор пишет, не обинуясь, что «Казахстан — огромная детская, где учатся постигать мир реальностей». В этой «детской» его больше всего «потрясли»... верблюды «тем, что в женских глазах верблюда, несмотря на поби, никогда не умирает величие», а, кроме того, когда «верблюды медленно, словно пророк, поворачивают голову, вместе с поворотом головы на какой-то незримой оси поворачивается опадающий белыми и лимонными хлопьями горизонт. Так начинается Азия». Кроме того, на автора произвели впечатление пески и... трактор, «являющий собой, — по его словам, — пример несовпадения формы с идеологическим содержанием, потому что он похож на бредовых животных, несмотря на то, что стук его машины является стуком сердца будущего». А люди Казахстана никакого интереса у этого — с позволения сказать — писателя не возбудили, поскольку «они застыли в первозданности, люди статики, абсолютно чуждые нашему темпераменту актера, инсценирующего жизнь». «Как человеку статики, кочевнику в жизни свойственно не движение, а конвульсии». «Жизнь пустыни и теперь часто управляет парадокс». «Природа копирует историю. Но, конечно, ветра, несущие желтоватую пыль, ставшую мифом, грозят бесклассовому обществу».

Эти бредовые «сенсации» современной «госпожи Курдюковой» вызывают резкое негодование, как пример воистину преступной траты государственных средств, поскольку цитируемый «опус» явился итогом шестимесячной (sic!) командировки автора... Гипроводом, при содействии правительства Казахской ССР, с заданием составить (как сказано было в предъявленном мне командировочном удостоверении) «литературные очерки для популяризации илийской проблемы, представляющей большой народнохозяйственный интерес». С точки же зрения литературной, «очерки» эти являются типичнейшим примером произвольного

вымысла, построенного не на познании жизни, а на ультра-субъективном «впечатлении», что, как известно, всегда приводит к словесному кривлянию и полной идейной опустошенности.

Если бы цитированный мною автор знал французский язык, я заподозрил бы прямое влияние Клоделевского путешествия в Китай, где бонзы в храме, «оторванные от земли, без ног, невесомые, восседают на собственной своей мысли. Сознание собственного бездействия достаточно для пищеварения их духа...»

Для литературы СССР, литературы социалистического реализма, принцип этот, само собой, является мертвым уже отголоском того недавнего прошлого, когда перед самой революцией «теоретики» пытались совместить «ничем не стесняемое выражение вещей» с реализмом в их толковании: «реализм — глубоко-искреннее свидетельство о действительно виденном». И только. «Аполлон» на этом основании объявил реалистом даже Чурляниса — автора до предела фантастики доведенных символических картин. В категорию таких «реалистов» входил и Андрей Белый, ибо, когда в пылу ночного разговора он говорил вам:

— Я иду по Арбату, и вдруг — из стены на меня выходит лев! — он «свидетельствовал о действительно виденном»; достаточно было посмотреть ему в глаза, чтобы твердо убедиться: он искренно уверен, что «видел».

Справедливость требует признать, что случаи столь откровенного «произвола вымысла», как только-что извлеченный из архива недавнего прошлого документ, стали исключением. Давно сошли со страниц печати и «теоретические» высказывания, обосновывавшие «право писателя» на такого рода «личное отношение к теме»: много лет уже протекло с тех пор, как Ю. Олеша писал: «Я начинаю мыслить образами. Для меня перестают существовать законы». Социалистический реализм давно принят как единственный творческий метод советских художников. Но принят он — да простится мне резкость «самокрити-

ки» — по существу лишь как некая катехизическая истина, «теоретически» и «принципиально» бесспорная, но отнюдь еще не определяющая практической деятельности. И на практике мы нередко наблюдаем самое «произвольное выражение вещей», — с социалистическим реализмом, само собой, совершенно не совместимое. Только делается это не с той откровенностью, с которой в свое время Сологуб противопоставлял «сладкий вымысел» каких-нибудь «Навях чар», «творимой легенды», «душному нелепому сплетению фактов злой обыденности», а под реалистическим покровом, под прикрытием «правдоподобия», которое нередко (я бы сказал, чаще всего) является злейшим врагом правды.

Поучительным примером такого «произвольного вымысла», внешне правдоподобного, внешне реалистического, поскольку он оперирует «как-будто» действительными фактами, может служить недавно изданная повесть С. Григорьева «Александр Суворов». На обсуждении этой книги в Доме писателя автор с похвальной прямоотой рассеял недоумение выступавших писателей и профессоров, не могших найти объяснения, каким образом такой опытный, отпраздновавший 40-летний юбилей писатель мог допустить грубейшие ошибки, искажающие подлинный образ великого полководца и события его времени.

Автор благодушно объяснил, что он и не ставил себе целью писать «портрет», т.-е. биографию, Суворова: он только использовал некоторые факты яркой, напряженной и трагичной жизни этого, по его словам, «типичного homo sapiens» для доказательства, что жизнь человека состоит из «вдоха» в первую треть жизни и «выдоха» в остальной период существования; что после 30 лет человек уже «завершен»: он ничего не приобретает, а только расходует накопленное. Но «подлинный» Суворов, само собой разумеется, никак не укладывался в этот, с позволения сказать, «тезис», и автору, как констатировала критика, пришлось сбросить со счетов весь период расцвета полководческого гения Суворова, поскольку он приходился на период

«выдоха», и приписать Суворову победу при Куннерсдорфе, «хронологически» относящуюся к периоду «вдоха», хотя Суворов не принимал ровно никакого участия в решении этого боя. Второй тезис о том, что победы Суворова, как и победы Наполеона, определились сексуальными неудачами названных полководцев, их половой неполноценностью (что, по словам Григорьева, особенно легко показать на Рымникской победе), остался только едва намеченным, поскольку книга предназначена для детей.

В данном примере «произвол вымысла» настолько прикрыт реалистическим правдоподобием подобранных автором из подлинной суворовской биографии эпизодов, что это «антиисторическое» по самому существу своему произведение не только получило широкий доступ в детскую аудиторию в качестве биографии Суворова, но едва ли не было рекомендовано в школьные библиотеки.

Пример еще одного типа «произвольного выражения предметов» дает М. Пришвин, писатель с установившейся репутацией мастера «живописи словом». Удивительная тонкость рисунка пришвинских деревьев, птиц, цветов, пчел, травы вызывала безудержный восторг — от критиков эстетского «Аполлона» до советских критиков. Тем примечательней, что, искренно любясь мастерством писателя, в то же время чувствуешь все время, что это — не подлинная, живая природа, как «живо» написана она; что художник не вскрыл подлинную ее жизнь, правду ее, а «произвольно» вкладывает ее в придуманную им для этой природы жизнь.

Он и сам, впрочем, говорит в одном из произведений своих, что искусством своим он подкрепляет «тезис», и «тезис» этот — пришвинская «философия жизни», его «учение» о «едином мировом брачно-творческом акте», «родственном внимании к природе», «аппетите к жизни», «явлении природы, как брачного сна наяву», о «желанном мире, где «Я» делается душой всего», и т. п. Все это органически и непримиримо чуждо мироощущению человека, живущего подлинной, не отгороженной от борьбы и строительства, человеческой жизнью,

чуждым остается и монотонный, несмотря на все богатство красок, из книги в книгу повторяющийся прищвинский, елями, березками и иволгами заполненный и ограниченный мир.

Человека в этом мире, по существу, нет. «Тоской по единственному неведомому другу» заменена живая, действительная связь с людьми. Раскройте хотя бы «Фацелию» — последнюю, только-что опубликованную философскую поэму Пришвина, в которой он как бы суммирует долгий жизненный свой опыт.

1940 год. Мир залит кровью и огнем пожаров, весь народ нашей родины работает с утроенной силой, не сводя глаз с рубежей, а Пришвин, на страницах поэмы, — «летает душою с пчелами и листьями», умиляется над почками, над тем, как «блеет бекас божьим баранчиком», и «обрадованная» мысль автора опять «летает от одного солнечного пятна к другому», как-будто вокруг него — необитаемая страна, и нет ничего на свете, кроме «ручейков», «родных хохлатых почек», «шишечек», «хвостиков» и «клювиков». Люди обойдены «родственным вниманием» Пришвина, и даже такой восторженный поклонник его, как Козачинский¹, констатирует, потупив глаза, что в рецензируемой им книге «Неодетая весна» люди оказались «вневременными и внепространственными мужиками» (sic!) «неприкосновенно-дремучего вида», нисколько не похожими на современных советских колхозников.

Но если люди «непохожи», «вневременны и внепространственны», как может быть похожей на подлинную — природа?

Вспоминается: назад тому уже несколько лет на литературном вечере, в клубе одного из московских заводов, во время перерыва, в коридоре завязался разговор о только-что прошедшем выступлении «крестьянского» поэта, в то время известного, ныне сошедшего со сцены. Критикуя его стихи, один из рабочих сделал такое, чудесное по тонкости, замечание: «Нового человека изображает, а земля вокруг этого человека —

старая: как была до революции, так и осталась. Но ведь каков человек, такова и земля. Лжет, стало быть, — никакого нового человека он и не чувствует».

Эта столь правильно отмеченная взаимосвязь между изображением природы и человека сохраняет полную силу и при оценке прищвинской живописи.

Я вполне понимаю, что «вещи» эти с величайшей охотой печатают на страницах наших журналов и книг как ценные экспонаты словесного искусства. Но крупной и вредной ошибкой нашей критики я считаю, что при объяснении этих экспонатов она чаще всего обходит философию автора, со всей четкостью выраженную и в «Журавлиной родине», и в «Корне жизни», и в «Клавдофоре», и, в особенности, в совершенно замолченных критикой «Сказках для детей». Один из товарищей мотивировал это в беседе со мной уверенностью, что прищвинская философия ни до кого не дойдет и разъяснить ее поэтому не стоит.

Или даже хуже этого: критики пытаются оправдать философию эту — «марксистских позиций»¹. И еще более вредным считаю я, когда «Литературная газета», пером уже упомянутого Козачинского, выражает «зависть» «счастью» Пришвина, которое он нашел в уходе от жизни народа, от жизни родной страны в самый бурный, напоенный строительством и борьбой период ее истории в «тихую заводь» — под березки и ели, в «общение с природой», и тем самым рекомендует читателю идти по стопам «этого жизнерадостного философа и счастливого человека». Отсюда — один шаг до рекомендации выдвинутого Сергеевым-Ценским (в воспоминаниях его в журнале «Октябрь», 6—7, 1940), в обоснование его «философии жизни» афоризма Дидро: «Только тот хорошо прожил, кто хорошо спрятался».

Критики должны были сказать, обязаны были сказать: если даже это и счастье — то счастье «девы Февронии»

¹ Характерна в этом смысле статья Замошкина в № 1 «Красной нови»: не случайно мы не находим в ней цитат, наиболее показательных, наиболее выявляющих существо прищвинской философии.

¹ «Литературная газета» № 46, 1940.

из первого акта «Сказания о граде Китеже»; оно не имеет ничего общего ни с тем радостным, но не по-пришвински, и не по-пришвински полным «общением с природой», чувством ее, которое присуще каждому живущему полной, подлинной жизнью, ни, тем более, с тем подлинным счастьем «мастерства жизни», к которому мы должны звать нашу молодежь. И не пришвинским лозунгом — «лови мгновение, как дитя, и будь счастлив» — должны мы напутствовать в жизнь детей.

IV

Наряду с «произвольным художественным вымыслом», наиболее типичные примеры которого я привел выше, в чрезвычайно широких размерах приходится наблюдать в современной литературе дефекты — как-будто правильно трассированного вымысла, — приводящие, в конечном итоге, к искажению в той или иной мере жизненной правды или даже — клевете на действительность. За самое последнее время дефекты этого рода были установлены в произведениях таких писателей, как Л. Леонов, В. Катаев, Н. Вирта, М. Козаков, С. Герасимов, М. Зощенко, И. Прут, М. Левидов, А. Глебов¹ и другие... Писатели разных поколений, разных культур, разных степеней таланта, но (в отличие от трех вышеприведенных примеров) одинаково искренно стремящихся «войти в эпоху», следовать в идеологической работе своей учению Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. И ошибки — подчас очень серьезные, которые допустили они, с особой силой подчеркивают, какое решающее значение имеет идеология писателя: при дефектах ее правильный, т.е. единственно допустимый, «вымысел» становится невозможным. Анализируя ошибки перечисленных товарищей, легко убедиться, что мера и характер ошибок этих целиком и полностью определяются мерой и характером идеологических

дефектов. Для одних они временны, для других, которым не под силу оказывается одолеть тяжкий груз старого идеологического наследства, они органичны: для одних это срыв, для других — хроническая болезнь. Но корень у всех — один.

Каждый из нас, стоящих в рядах революции, не одной логикой, строгой научностью учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина, но собственным, каждодневно утверждаемым жизненным опытом убежден, что именно это учение, эта теория «и только она, может дать движению уверенность, силу ориентировки и понимание внутренней связи окружающих событий, ибо она, и только она может помочь практике понять не только то, как и куда двигаются классы в настоящем, но и то, как и куда должны двинуться они в ближайшем будущем»¹. Для писателя, как для каждого политика-практика, такое знание — момент исключительной важности, ибо верно писать о сегодняшнем можно, только зная завтрашний день. «Два выхода из пределов действительности» указывал Плеханов в статье об Ибсене: «Один — символистов, другой — по линии развития самой действительности, выход, который рисует волшебные образы будущего на основе ведущих тенденций действительности. Мы — за второй выход». Для советской литературы этот выход единственный.

Вне его неразрешима и самая задача «типичности» обстоятельств и характеров. Выше уже указывалось: типична не «действительность», а «возможность»; типичен не «среднебытовой» человек; это не какое-то «человеческое среднеарифметическое», как определяют иные; типичен тот, в чьих действиях, мыслях, чувствах выявляется ведущая тенденция эпохи. То же надо повторить и о явлениях-«обстоятельствах».

Но чтобы в полной мере овладеть той творческой, «практической» силой, которая заложена в ленинизме, — необходимо органическое овладение им. «На-

¹ Я обхожу Авдеенко, потому что имя это нельзя ставить в одну строку с названными: это было бы для них незаслуженным оскорблением.

¹ И. Сталин, Вопросы ленинизма, стр. 14, изд. 11-е.

правление писателя должно быть в его крови» (Белинский).

Творчество нельзя опереть на цитаты. Творчество требует собственной мысли. По силе этой мысли мы определяем талант художника, ею определяются все три стадии литературного процесса — от наблюдения и исследования до «вымысла», ибо для художника «идея» значима во всех трех определениях, которые имеет в греческом языке это слово: «идея — способ изложения — наружность». Замечательные слова написал Микель-Анджело: «Рисуют головой, а не руками». Самое «лицо» художника, выделяющее его из ряда остальных, определяется не своеобразием формы, присущей его произведениям, а лишь своеобразием мысли, неповторимостью замыслов. Их неповторимость дает неповторимость и формы, как естественный и неизбежный итог.

Своя мысль. И сила ленинизма в том именно, что он требует неустанной работы собственной мысли, ее движения вперед. «Овладесть марксистско-ленинской теорией вовсе не значит — заучить все ее формулы и выводы и цепляться за каждую букву этих формул и выводов... Овладесть марксистско-ленинской теорией — значит усвоить существо этой теории и научиться пользоваться этой теорией при решении практических вопросов революционного движения... уметь обогащать ее новыми положениями и выводами, ...развивать ее и двигать вперед». Ибо «марксистско-ленинская теория есть не догма, а руководство к действию»¹.

Вторым элементом «внутреннего вооружения» является культура писателя, его знания. Вряд ли надо напоминать ленинские слова на III съезде комсомола: «Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество»².

Для писателя охват этих знаний дол-

жен быть особенно широк. Если Марк Витрувий Поллион за две тысячи лет до нас требовал в знаменитом трактате своем («Об архитектуре») от «инженера зданий», помимо знания прямых его «технических» дисциплин, изучения истории, философии, музыки, «знакомства» с правом и медициной, то советский художник слова — «инженер душ» — не мыслится, естественно, без знания хотя бы основ всего круга дисциплин, трактующих о человеке, как социальной и физической особи. Изучение истории классовой борьбы и социальных наук должно идти об руку с изучением наук естественных. Напомним: крупнейшие писатели искони были первыми и на культурном фронте своего времени, имена многих из них вошли в историю не только литературы, но и науки.

Глаз знающего художника видит даже в окружающем, обыденном, привычном совсем другое, чем глаз неуча. Совсем другими красками оживает пейзаж, когда вам известны деревья и травы, кустарник и цветы, и птицы на ветвях для вас не просто «какие-то хохлатые пичужки».

Без этих знаний не мыслится обогащение жизненного опыта, который позволяет в мгновенном движении человеческой руки, в выражении глаз, в чуть заметном оттенке голоса прочесть «вскрывающие» человека черты. Да и вообще ни одну черту, ни одну «деталь» нельзя взять без знания, на вооруженный глаз. А каждому писателю (не сказать ли, вернее, и каждому читателю) ясно, какое значение имеет «деталь» в создании образов, да и во всем построении художественного произведения.

Зоя высказывал уверенность, что «поэт сможет в грядущие века находить новые эффекты, опираясь на точное знание». Флобер считал, что «пора обратиться искусство в такую же науку, как науки физические, применив к ним самый беспощадный метод». И Чехов мечтал о «будущих временах, когда, при совершенстве методов, наука и литература сольются в одну гигантскую силу». Сталинская эпоха вооружила нас «совершенным» и «беспощадным» методом:

¹ «Краткий курс истории ВКП(б)», стр. 339 — 340.

² В. И. Ленин, Соч., т. XXV, стр. 388.

мы можем осуществить «слияние науки и литературы в одну гигантскую силу». Именно на этом должны быть построены наши методы работы, начиная с работы над материалом.

Социалистический реализм требует научно-исследовательского метода при изучении материала: в этом коренное отличие его от приемов людей, ограничивающихся в лучшем случае «наблюдением», в худшем — даже одними «впечатлениями». На первой стадии работы — при изучении материала — писатель должен, я сказал бы, забыть о прямых литературных заданиях: его дело на данном этапе — исследовать проблему, которая составляет тему задуманного им произведения: исследовать ее, как ученый, если речь идет о теме исторической или научной; исследовать, как исследует партийный или государственный деятель, для практического ее разрешения, если дело идет о теме из современной жизни. И исследовать во всей широте. Нет ничего вреднее, как ограничивать, даже добросовестное изучение, узким кругом только того частного явления, которое в первоначальной авторской заметке, в замысле, т.-е. рабочей гипотезе, должно составить содержание будущего рассказа или романа. «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и «опосредствования». Мы никогда не достигнем этого полностью, но требование всесторонности предостережет нас от ошибок и от омертвления»¹. Именно в итоге ограниченности изучения материала писателями, неполного его знания энгельсовская формула «показа типических характеров в типических обстоятельствах» искажается столь часто в писательской практике в том смысле, что «обстоятельства», т.-е. общественная среда и пр., приводятся к «фону», на котором действуют образы-«характеры», тогда как на деле «обстоятельства» должны быть активнейшим действующим лицом, даже когда они непосредственно не показываются «внешне», во всей своей действенной силе. В них, зачастую,

даже особо не вдумываются. Но — «не понимая дел, нельзя понять и людей иначе, как... внешне. Т. е. можно понять психологию того или другого участника борьбы, но не смысл борьбы, не значение ее партийное и политическое»¹.

Личность развивается в соответствующих условиях общественной и «природной» среды, в каждый исторический момент она — продукт определенных общественных отношений; она связана тысячами нитей с другими людьми, другими членами общества, и, не зная его, нельзя построить ни одного доподлинно живого образа.

«Частное знание» не может дать освоения даже самой «частной» темы, отдельного явления: только исследованный нами, доподлинно известный нам предмет мы можем дать в любом ракурсе, поставить в любое положение; только о доподлинно изученном явлении мы можем писать, не отрывая его от целого, «показывая океан в капле воды». Это одинаково правильно для всех видов искусств. Хорошо сказал об этом художник Ге в письме к Льву Толстому: «Рисовать — значит видеть пропорции, и потому никогда не позволяйте себе видеть одну часть без всего общего, т.-е. вы рисуете не нос, не глаза, не рот, не ухо, не голову, не руку, а какую роль играет нос на лице и т. д.; всякий раз, когда рисуете часть, рисуйте ее в смысле с общим».

Отсутствие подлинного знания материала нельзя компенсировать ничем: степень смелости «вымысла» (что для нас, напомним, равнозначно степени глубины раскрытия правды) прямо пропорциональна степени знания. Полностью должно быть принято писателями «к сведению и исполнению» наставление, которое великий наш физиолог И. Павлов дал своим ученикам: «Никогда не пытайтесь прикрыть недостатка своих знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами. Как бы ни тешил вас своими переливами мыльный пузырь, он неизбежно лопнет, и ничего, кроме конфуза, у вас не получится».

¹ В. И. Ленин, Соч., т. XXVI, стр. 134.

¹ В. И. Ленин, Соч. т. XIV, стр. 190.

«Полузнание» для художника слова, по существу, хуже невежества, потому что хуже всего видят жизнь «полузнайки» — люди, которым «кажется», что они знают, а «видимость знания» нередко дает им смелость писать о вопросах, на которые не станет покушаться человек, сознающий свое невежество. Но «тематическое самоограничение» — точный расчет своих сил и прежде всего своих знаний, перед тем как браться за тему, — одно из крупных условий правильной работы.

V

Внутреннее вооружение—идеология— и культура (знание) писателя неотрывно связаны с мастерством жизни, определяя целеустремленность и организацию жизни, и, в свою очередь, укрепляются и ширятся, «живятся» этим мастерством. В этой связи мы и говорим о «праве на вымысел»: владеть этим правом может только писатель, стоящий на таком идеологическом и культурном уровне, который обеспечивает верность вымысла, т.е. правду его; обеспечивает возможность осуществлять задачу нашего искусства хотя бы в тех пределах, как ставил ее Стендаль: «Раскрыть жизнь во всей полноте. Это значит — раскрыть великий смысл процессов, совершающихся вокруг нас, раскрыть движение истории. Это значит изобразить глубокую связь событий, сложность человеческих отношений, многообразие человеческих характеров». Задача эта сама по себе огромна. Но для нас она еще сложнее и выше, ибо наша задача — не только «раскрыть» мир, но и преобразить его.

Преобразить — значит не просто «изменить» жизнь: это значит поднять ее на новую, высшую ступень. К этому приходится идти новыми, нехоженными путями. И дело литературы — искать и прокладывать эти пути словом, пролагать путь делу.

Прилагая критерий этот к текущей нашей литературе, нам приходится, конечно, признать, что мы еще далеко ниже определенного им уровня.

Правда, идеологический рост нашего писательства несомненен. Но все же вплоть до недавних дней отметить крупные успехи в деле овладения ленинизмом на широком литературном фронте мы бы не смогли. Есть среди нас и такие, которые и вовсе отступились от этой задачи, фактически повторив не безызвестную аргументацию А. Жиды: «Политика, экономика, финансы... эти вопросы так сложны, что чем больше ими занимаешься, тем хуже понимаешь».

Не этим ли объясняется следующее: если проследить «кривую творческого роста» некоторых популярных наших писателей, мы вынуждены будем констатировать весьма слабый подъем, а для иных и несомненное снижение. Так, в работах Вирты «кривая» от «Одиночества» круто идет вниз; А. Толстой, как уже отмечалось в печати, — после «Петра» не дал ни одного хотя бы в такой же мере полноценного произведения; так же снижается от «Белеет парус одинокий» через «Солдата» — до «Домика» линия Валентина Катаева; левинские «Волк» и «Метель» — шаг назад, а не вперед; «Двадцать лет спустя» М. Светлова — несравнимо ниже его «Сказки».

Не знаменует подъема, конечно, и то длительное молчание, которое хранят некоторые когда-то блестяще начавшие писатели. Несомненно, что творческий рост многих писателей неоспоримо отстает от быстро идущего роста читателей, а тем самым от роста требований, предъявляемых к литературе. На это явление еще пять лет назад обращал внимание в письме к Всеволоду Иванову Горький.

«Я совершенно четко чувствую, — писал Алексей Максимович, — весьма и все более заметное различие в степенях грамотности писателя и читателя. Говорю не о формальной грамотности — в этой области литератор, конечно, «начитаннее» массового читателя. Но есть другая грамотность, — эмоциональная грамотность людей, которые чувствуют себя строителями новых условий жизни, создателями новой структуры государства...»

«Наши литераторы, люди эмоционально мало- или безграмотные, даже и тогда, когда они читали книги Ленина. Они знакомы с идеями, но у них идеи взвешены в пустоте, эмоциональной основы не имеют. Вот какова, на мой взгляд, разница между писателем и читателем нашего времени. Этой разницей я и объясняю себе все пороки современной литературы»¹.

С тех пор «различие», отмеченное Горьким, не сгладилось. Потому что слишком медленным темпом идет переход писательства от былых привычных методов жизни и работы к «мастерству жизни» литератора, «инженера душ», не только сознающего, но и «эмоционально» чувствующего себя «строителем новых условий жизни», как сознают себя строителями — читатели.

Только в таком сознании человек может найти мощный стимул к работе над собой и к соответственной организации жизни. Без этого люди легко поддаются соблазну легкой и беспечальной жизни, которую обеспечивает им «финансовое великолепие», принесенное «славой». Не тайна, что именно у наиболее «знатных» писателей мы меньше всего можем учиться мастерству жизни. И мы недостаточно учитываем, насколько развращающе действует на широкие писательские круги, и в частности на молодежь, беспутный и «барский» образ жизни иных «старших».

Мы бьем — по временам и очень лениво — по мелкой богеме, но закрываем глаза на крупную. «Невмешательство в личную жизнь»? Но именно в этом, все еще сохранившемся в нашей среде, характерном для буржуазного общества, расщеплении «личного» и «общественного» яснее всего сказываются пережитки буржуазного профессионализма: ибо коренное различие между двумя писательскими типами именно в том, что для литератора — партийного и государственного работника — личная и общественная жизнь неразделимы. А в условиях такого расщепления нелепо говорить о каком-либо мастерстве жизни.

Я останавливаюсь на этом с особой

настойчивостью, так как образ жизни полностью определяется ее целеустремленностью, т.е. идеологией человека, дающей то или иное направление его жизни: а образ жизни, в свою очередь, определяет и объем, и направление работы над собой. Но рост внутреннего мира многих писателей идет, как мы видим, не в том объеме и не в тех темпах, которых требует эпоха и в смысле идеологическом, и в смысле культурном.

В этой связи необходимо отметить весьма характерный и весьма прискорбный факт. Как здесь, в «центре», так и в областях и национальных республиках при организации работы с писателями (семинары, лекции и т. д.) участие «ведущих» писателей почти незаметно. Они явно «стыдятся» стать в положение «учащихся», словно это уронит их авторитет. И в то же время они воздерживаются от выступлений в качестве «учащих», очевидно, сознавая свою к этому неподготовленность. Ведь не случайно в разного рода дискуссиях, даже на самые жгучие темы литературы, «спор ведут» литературоведы и критики, а писатели молчат, тогда как именно им должно бы принадлежать первое слово: ибо многое, очень многое в неурядицах нашего литературного дела зависит именно от этого. Еще ведь Галилей в «Диалоге о двух величайших системах» отнюдь не добродушно высмеивал теоретиков живописи, «которые знают все правила Винчи, но не в состоянии нарисовать даже скамейки». А у китайца Каи Лунг есть превосходнейшая притча о лягушке, которая однажды повредила себе голосовые связки, стараясь научиться орла искусству летать.

«Молчание» это может найти себе объяснение только в опасливости — не обнаружить какой-либо ошибкой слабость своего идеологического и культурного вооружения. Опасливость обоснованная, так как, в порядке самокритики, надо признать со всей резкостью, что (опять-таки характерное для буржуазного профессионализма) «полузнание» все еще является чертою обычной, и немало писателей уподобляются тому бакалейщику, над которым издевался в одном из очерков своих Бальзак, «дока-

¹ «Литературная газета» № 25, 1938.

зывая» его образованность тем, что он по заглавиям знал огромное количество произведений, разрозненные листы которых проходили через его руки на завертку.

Но при таких предпосылках неизбежны узость трактовки темы, скудость содержания, не говоря уже об ошибках и «срывах», так как отпадает, по существу, самая возможность применения научно-исследовательского метода при изучении материала: он требует твердого мировоззрения и твердых знаний. И в действительности, в писательской практике почти безраздельно господствует прием «подбора материала» вместо исследования проблемы, в процессе которого критическим отбором материала подготавливается его преобразование в образы. Другими словами: не вывод строится на основании материала, а материал подгоняется к зачастую произвольному выводу.

Порочность этого приема с особой четкостью можно констатировать на некоторых произведениях исторических или выполненных на «национальном» материале, так как проверка здесь легче и ошибки — нагляднее.

Невысокое качество произведений русских писателей на темы из жизни и истории народов нашей родины в известной мере предопределяется уже тем, что авторы, как общее правило, не знают языков и отводят весьма короткое время для ознакомления с материалом. В этих условиях даже квалифицированные писатели, с должной добросовестностью относящиеся к работе, не могут дать полноценного художественного произведения. Опыт писательских бригад, ездивших в Среднюю Азию, служит в этом смысле поучительным примером: рассказы и повести, явившиеся итогом этих поездок, вызвали весьма резкую критику «на местах».

С резкости этой критики надо, конечно, сделать «скидку» — за счет того ревнивого отношения к тематике, которое иногда наблюдается у местных писателей: иные склонны считать ее своей монополией.

Ни о какой «монополии», конечно, не может быть речи, но, с другой стороны,

именно от писателей, берущихся за национальную тематику, мы обязаны требовать особо пристальной, вдумчивой работы, особенно тщательной подготовки, так как «право на художественный вымысел» должно здесь осуществляться особенно строго: принимая на себя задание такого рода, писатель должен быть «политиком» больше чем когда-либо.

На практике наблюдается обратное: именно в этой области проявляется максимальная беззаботность. Есть, например, такие авторы, которые вполне добросовестно смешивают «мюридов» (последователей ишана, главы секты), с «мирабами» (служащими оросительной сети, переводящими воду с участка на участок), уподобляясь вошедшему в анекдот туркестанскому генерал-губернатору Духовскому, путавшемуся в словах «аксакал» (седобородый; старшина) и «саксаул» (кустарник): на официальных приемах волостных старшин означенный генерал бодро покрикивал:

— Здорово, саксаулы!

Еще анекдотичнее оказалась одна рукопись, месяц назад данная мне на рецензию в Сталинабаде. Она принадлежит одному москвичу, который, пробыв десять дней в Ленинабаде, написал, по договору с Таджгизом... шестнадцать рассказов о людях и социалистическом строительстве этой республики. В Таджикистане он первый раз и языка не знает.

И еще один пример, вдвойне показательный, так как дело идет о работе не случайного халтурщика, а о серьезном, подлинно-квалифицированном писателе Н. Никитине, напечатавшем роман «Дело началось в Коканде». О степени исторической достоверности этого произведения можно судить уже по одному тому, что «Кокандская автономия» 1918 года, о которой повествует автор, изображается, как следствие Осиповского восстания в Ташкенте¹, бывшего в 1919 году.

¹ «В Старом Городе, т.-е. в старой части города Коканда, сидело белое правительство, называвшее себя «Кокандской автономией». Это были промышленники и торговцы хлопком, удравшие сюда из Ташкента после неудачи Осиповского восстания». («Звезда» № 4, 1939, стр. 11.)

Что сказала бы критика, если бы нашелся романист, который изобразил бы роспуск учредительного собрания в 1918 году последствием деникинщины 1919 года? А поскольку речь идет об Узбекистане — это не только оказывается допустимым, но на справедливо резкий отзыв «Литературной газеты»¹ ленинградские критики и писатели ответили архивалебными отзывами в ленинградской прессе и коллективным выступлением, в котором рецензия «Литературной газеты» квалифицировалась, как «уголовщина».

Думается, «уголовным преступлением» пора начать квалифицировать присвоение себе «права на вымысел» без должных оснований, т. е. без должного знания материала.

Что же касается произведений исторических, то в этой области приходится нередко встречать поверхностный подход к материалу, подмену исследования — подбором сюжетных положений и эффектных образов. М. Ковалевский отметил в свое время: «Все русские Вальтер-Скотты очень плохо знают историю; исключение представляет Салиас... Он совсем не знает истории». Признаться, читая историческую нашу «беллетристику», нередко приходится вспоминать Максима Максимовича. Особенно же вспоминался он, когда месяцев шесть назад пришлось быть свидетелем консультации, за которой обратился некий молодой драматург, задумавший писать пьесу из Екатерининской эпохи. По мере того, как консультант говорил, перечисляя источники, лицо молодого товарища темнело. Он не выдержал, наконец, и сказал, сухо поджимая губы:

«Простите, вы, очевидно, не поняли меня: я не научное что-нибудь собираюсь писать. И я полагаю, что для моей драмы я свободно могу обойтись одними... романами Салиаса».

Ненаучный, неисследовательский подход к разработке темы исключает по существу самую возможность самостоятельных, собственных авторских оценок: из литературного процесса изымается

важнейшее его звено; автор строит произведение не на своей собственной мысли.

Не преувеличением будет сказать: автор исторического романа должен быть способен написать на ту же тему и научную работу. Сочетание пушкинских «Истории Пугачевского бунта» и «Капитанской дочки» не случайно. И не к чести исторических романистов наших, что они не продолжали эту пушкинскую традицию. В норме историки должны бы пользоваться историческими романами наряду с научными трудами, как пользуются, например, востоковеды книгой Каверина о Брамбеусе.

VI

Дефектам содержания естественно и необходимо отвечают и дефекты формы.

«Для меня форма и идея — одно и то же, — писал Флобер, — я не представляю себе одной без другой. Чем прекраснее идея, тем звучнее фраза. Точность мысли уточняет слово (и сама по себе уточняется им)».

Положение бесспорное, но для осуществления его необходимо подлинное мастерство: Флобер владел этим мастерством (мы особенно охотно цитируем его поэтому), и он имел право написать вышеприведенные строки.

Уровнем нашей писательской техники мы опять-таки похвастаться не можем. Более того: самую необходимость изучения ее приходится доказывать. Это звучит дико. Ибо никому даже в голову не придет взяться за строительство — не только Дворца Советов, но даже и самого простого здания, не имея соответственных знаний; никому в голову не придет производить операцию мозга, не учившись хирургии, или писать оперу, не овладев всем сложным комплексом необходимых композитору музыкальных знаний. А для «создания» повести, драмы, сценария, поэмы, даже монументальнейшего — в рост дворца Советов — романа или эпопеи считается вполне достаточным знать орфографию, да и то, в конце-концов, не обязательно: выправит машинистка.

¹ Я имею в виду не тон и даже не ход аргументации автора, не во всем достаточно серьезный, а только верность вывода.

До сих пор еще живы обывательские представления о «вдохновении» и «таланте», избавляющих будто бы от необходимости учебы. До сих пор еще приходится слышать ссылки на «классиков», которые «никакого специального литературного образования не получали». Даже несколько стыдно доказывать вздорность такой болтовни, поскольку именно классики дают образцы тщательного и настойчивого изучения технологии — на опыте лучших писателей прошлого и современности, на анализе их приемов композиции и живописи словом, ибо «литературная технология» (надо ли говорить?) не «обиходная рецептура», она не навязывает те или иные «приемы», не стандартизирует их, а наоборот: систематизируя и анализируя опыт лучших писателей, она помогает избежать ошибочных и шаблонных приемов письма, избавляет от опасности открывать давно открытую Америку. Тем самым она закладывает на а ч н у ю основу для поисков собственной манеры письма и с т и л я задуманного произведения.

Право на собственную технику надо иметь; оно опять-таки дается только знанием, позволяющим преодолеть ранее созданные образцы. Формалистское беснование бесчисленных литературных группок эпохи нэпа ничего общего с технологией не имеет: технология по самому существу своему антиформалистична, ибо назначение ее — полностью и исключительно — обеспечить содержанию адекватную, каждый тончайший оттенок содержания передающую форму.

В этой области на первом месте стоит владение языком, з н а н и е языка, поскольку язык — основной компонент стиля¹.

О недостаточном знании нашими писателями языка, недостаточной работе над ним писалось и говорилось неодно-

кратно. И тем не менее должного внимания к языку нет.

Вот небольшой список из «энциклопедии стилистических красот», от опубликования которой в полном объеме я предпочел воздержаться.

«Он говорил одними губами, не изменяя набитого мясом лица» (Макаренко).

«Человек в нижней рубашке привел свой рот в деловое движение» (Макаренко).

«Там, в одеялах, закрыв окна и стянув брови, лежал его сожитель помбух» (Елена Каралина).

«Волосы его задремали» (Митрофанов).

«Он надел фуражку и стоял, полный готовности к борьбе, ненавидящий ясно, богато, почти спокойно, вооруженный опытом и пониманием» (Митрофанов).

«В сочившемся большой желчью свете электричества» (Лавренев).

«Человеческие резервуары партии» (Левман).

«На левом берегу почти у самой воды — бурой пеной прыгающей на дне, лежит ферма из массивных и обточенных камней» (Н. Панов).

«В ту же минуту справа и слева у нее засверкало утро в росе» (Эрлих).

«Лысина его источала шаровой блеск» (Эрлих).

«Надпись о прошлых заводских победах сдабривала ядом его красноречие» (Эрлих).

«Он тяжело пыхтел, разинув рот, вытаращенные глаза его мутнели по оловянному... Потом из его пасти полезного грохочущий сумасшедший хохот, нето ржание жеребца» (Вяч. Шишков).

«От качающегося горба реки отлетел сиреневый туман, что солдатская шапка» (Лаврухин).

«Одноцветные радуги, отраженные осколками стекол, дремлют на тесе» (Шведов).

«Безлицый шахтер с огнем на лбу» (Кригер).

«Клубки жестокого горя толпились в его горле» (Г. Фиш.)

¹ Энгельс в письме одному молодому немецкому писателю советует ему бросить на время писать, изучить классиков, «чтобы развить вкус и научиться немецкому языку, которого он не знает» (т. XXV, 235). Совет, который полезно «принять к сведению» и нашей литературной молодежи.

«Неподвижно, уронив свои выщевшие глаза в одну точку». (В. Некрасов).

«У Дойкина сразу глаз намылся еще гуще кровью и отрывно заметался» (Черненко).

«Мозг его, этот бахвальный обманщик, разбился весь всмятку и, описав траекторию, брызгом шлепнулся в волны» (Шишков).

И. т. д., и т. д., и т. д.

Если такие небрежности мы находим в произведениях писателей, печатающихся в крупных наших журналах, то не приходится удивляться, что писатели, менее квалифицированные, расточают в своих повестях и рассказах красоты вроде нежеследующих:

«Вокруг его фигуры, облитой темно-коричневым костюмом, вилась атмосфера зернистого мрамора статуи и роговых очков».

«Комната прыгала перед глазами, как танцовщица, мелькающая розовыми бедрами».

«Контур абстрактных линий».

«Читая протоколы, он багровел с носа».

«Все конечности проделывали несогласованные в воздухе, доступные только балеринам жеманства».

«Заливая нависший туман помесью молока с брусничным вареньем, грохоча прокатным цехом, содрогался завод».

«Задняя мысль стояла, как прут, в рассыревшей его душе».

«Отверстие имело пол, стены и, главное, возможность продвигаться во весь рост в глубь его».

«Он весь жизненно вытек».

Но ведь и этих писателей читают. Читают и, стало быть, учатся у них языку. Об этой функции литературы писатели, кажется, совсем забыли.

У нас много и настойчиво говорят о необходимости тщательного воспитания молодых кадров. Но при этом упускают из виду, что лучший способ воспитания — личный пример жизни и творчества. Борьба с «пьянками» и богемным образом жизни (точнее: безобразным образом жизни) трудно, когда перед глазами молодых пример старших; обличать погоню за «роскошной жизнью» и «иж-

дивенчество» — трудно, когда перед глазами молодых пример старших; трудно заставлять работать над словом, когда перед глазами, на страницах журналов и книг, бьют в глаза «перлы и алмазны», вроде приведенных (пригоршней, хотя их можно было привести — мешком), или тянется уныло-серая, по-нурая вереница скучных, плетущихся слов. Сколько раз при работе над рукописью с молодым автором я слышал вздохи об излишней придирчивости со ссылкой: «а вот у такого-то — еще хуже обороты, а его критики на руках носят».

Приходится напоминать, что «форма» имеет отнюдь не «формальное» значение. Плохое владение формой способно свести на-нет глубокое и яркое содержание, поскольку художник не найдет красок для адекватных глубине своей мысли образов. И самые образы потеряют ту специфическую особенность свою, которая составляет жизненную, жизнетворческую силу литературы: присущую художественному образу «беспорность». Зачастую, читая роман или повесть, ясно ощущаешь, что под «залитературенной», залощенной или, наоборот, за аляповато выписанной фигурой скрыт образ, интересный и подлинный, правильно задуманный и «почувствованный» автором, но не доведенный до читателя слабостью авторских изобразительных средств, скудостью его словесной палитры. Даже зная и, даже жизненный опыт, значение которого мы неоднократно подчеркивали, не всегда в силах преодолеть в художественном произведении эти недостатки.

И бывает обратное: блестящая техника, богатый и яркий язык способны «забаюкать» читателя, повести его за автором «рассудку вопреки», подчинить мысли, которую он в иной, менее «чарующей», форме отверг бы без колебаний. Как часто до сих пор поддается «обману языка» даже внимательный, даже вдумчивый и знающий читатель.

Не случайно выписал Ленин в «Философских тетрадах» своих следующую цитату из Фейербаха:

«Как много толковали о лживости чувств, как мало о лживости языка, от которого, ведь, неотделимо мышление!»

Но как, в конце-концов, груб обман чувств, как изыскан обман языка!.. Вот почему слова *Гайма*: «критика разума должна превратиться в критику языка» — в теоретическом отношении кажутся мне столько близкими»¹.

Выписку эту надлежало бы постоянно иметь критикам хотя бы перед глазами, если она не удерживается в памяти. Может быть, тогда они не поддавались бы в такой мере очарованию формы, гипнозу «блестящего языка».

Для советских писателей — писателей социалистического реализма — владение языком имеет особую, по сравнению с прежними литературными поколениями, значимость.

Ибо требование, которое предъявляет социалистический реализм языку, — предельная конкретность его. Марксистское мышление требует литературного языка, приведенного в тесную связь с реальной действительностью, с ее диалектической и физической конкретностью; требует слова, четко и предельно ясно доводящего до читателя реальное явление, которое оно выражает. В этом — величайшая сила социалистического реализма, ибо конкретность — первое условие подлинной реальности, а тем самым и простоты, вне которой нет ни красоты, ни силы.

При идеалистическом мировоззрении как язык в целом, так и отдельные его компоненты отрываются от реальности.

Такова, например, «любовь меньшевиков к общим фразам, уклонение от конкретного изложения вопроса, — это чисто интеллигентская черта. Она в корне своем чужда пролетариату и вредна с точки зрения пролетариата»².

И в другом месте: «Меньшевики боялись точного и прямого слова, заменяя его *описанием*»³.

Еще резче сказывается стремление «уклониться от конкретного» в языке художественной литературы, поскольку в основу «высокого искусства» некоторыми художниками полагается «смещение действительности, производимое чув-

ством» (Пастернак). «Достоинство художественного описания, — по утверждению Л. Андреева, — в том, чтобы... описывать вообще реку, вообще город, вообще человека, вообще любовь. Какой интерес в конкретности». Обнаженнее сформулировали ту же мысль Гонкуры: «Человек ищет тарбарщины».

Задачу советской литературы составляет создание конкретных в диалектическом смысле образов, т.-е. показ не только внутреннего качества (передача мышления и вообще логическая передача внешне видимых зависимостей), но и, прежде всего, процесса «движения», процесса развития, в его противоречиях, во всей его многогранности, в сложных связях и переплетениях, т.-е. в его диалектически вскрытой закономерности.

Это требует огромной изобразительной силы. «Как надо писать, — говорил Горький, — чтобы человек, каков бы он ни был, вставал со страниц рассказа о нем с той силой физической ощутимости его бытия, с той убедительностью его *полупантастической* реальности, с какою вижу и ощущаю его?»

Изобразительная сила, способность передать тончайшие оттенки мысли и движения требуют, в первую очередь, уточнения, а стало быть, уточнения лексики. Перед советским писателем стоит, в силу этого, задача не только овладения (критического, само собой) старым богатейшим наследством в области языка, но и работы над дальнейшим развитием его лексики, фонетики, грамматики.

Но для этого нужно научное знание языка: кустарным способом не разрешить ни одной из проблем, в которых кровно заинтересована литература. И сделанная лет шесть назад попытка организовать вовлечь писателей в такую работу разбилась именно о нежелание тех квалифицированных писателей, которые были выделены Оргкомитетом ССП в специальную «Комиссию по литературному языку», — возвращаться к «грамматике», как выразился один из наших «корифеев». В работе приняли участие только писатели национальных республик.

¹ XII Ленинский сборник, стр. 145.

² В. И. Ленин, Соч., т. XI, стр. 143.

³ В. И. Ленин, Соч., т. XIV, стр. 40.

Там роль писателей в разрешении вопросов литературного языка несравнимо активнее. Объясняется это тем, что в ряде республик вопрос о литературном языке стал на очередь только после установления советской власти, и при слабости местных лингвистических кадров писателям волей-неволей пришлось разрешать этот вопрос самим. Участие в работе диктовалось и личной, так сказать, заинтересованностью, так как в борьбе диалектов за право лечь в основу литературного языка писатели отстаивали, естественно, тот диалект, на котором сами писали.

Вместе с тем, борьба за литературный язык была борьбой политической: вспомним «султан-галиевщину» в татарской литературе, «вандеро-юмановщину» в чувашской, борьбу «панфиннов» за финскую основу удмуртского языка, перекрест пантюркистских и османистских воздействий в азербайджанском, белорусских «архаистов», националистов Украины, «кзыл-ордынцев» в Киргизии, стремление узбекских пантюркистов выдвинуть Чагайский язык в качестве первоосновы узбекского и т. д.

Это придавало борьбе чрезвычайно острый характер, не могло не вовлечь в нее почти весь писательский актив. Она в определенной мере продолжается и сейчас, так как даже полнейший разгром осиных гнезд классового врага никогда не кладет еще конца классовой борьбе в языке: история свидетельствует, что зачастую она даже приобретает особую остроту в данной области именно после разгрома политических группировок. Необходима поэтому особая бдительность писателей в отношении их основного «оружия». Пример показательный: еще какой-нибудь год назад из подготовленного было к печати I тома Таджикского словаря пришлось изъять свыше 30 000 слов — старого, религиозного и шариятского «сора».

С сожалением приходится констатировать, что и в национальных республиках эта важнейшая — и в культурном, и в политическом отношении — работа велась и ведется недостаточно организованно

и вне всякого участия Союза писателей. Очень редко и слабо — не в рост своему значению — освещаются вопросы литературного языка и в критике. Более или менее широкая дискуссия развернулась только лет шесть назад, когда Горький с присущей ему настойчивостью и прямоотой заговорил о «катастрофическом положении языка», о чрезвычайном его засорении. Но и эта дискуссия, носившая явно «кампанейский» характер, прошла на очень невысоком уровне и при весьма слабом и бесцветном участии писателей. В высказываниях ряда товарищей проявилась даже нездоровая тенденция «измельчить» вопрос переходом от поставленных Горьким основных вопросов писательской работы в область личной полемики и пустого, по существу, спора о «словах», взятых в отрыве от «литературы». В этом повинна была и групповщина, тогда все еще не изжитая. Но главное всего — сказалась неподготовленность писателей.

Положение, в этом смысле, не изменилось и на сегодня. Между тем без правильного разрешения вопроса в целом не мыслится и правильная, плодотворная работа каждого писателя над языком.

VII

Едва ли надо поэтому доказывать, насколько далеки мы еще от овладения всеми средствами, которыми располагает наше искусство. Соответственно на невысоком уровне стоит обработка рукописей, тем более что многие авторы (как часто жалуются редакторы) относятся к работе над формой с большей небрежностью.

Упрек этот, впрочем, справедлив только отчасти, ибо дело здесь чаще всего, думается, не в небрежности, а попросту в неумении, в слабости техники. Длительность и упорство в работе классиков над рукописью определялось именно высоким их мастерством. Бальзак переписывал «Цезаря Бирота» 17 раз, «Эсфирь» 16 раз; Мериме два года работал над «Венерой»; общеизвестно, с каким тщанием, строку за строкой, слово

за словом, правил свои ямбы Пушкин; сколько «словесной руды» переплавлял для одной—единой—строки Маяковский; сколько «чернений» проходили рукописи Льва Толстого (пять тысяч листов рукописей и гранок «Войны и мира», девять редакций «Крейцеровой сонаты»). «Я не понимаю,—говорил Лев Николаевич Гольденвейзеру в 1907 году,—как можно писать и не переделывать все множество раз». Чехов требовал от писателей «люто мараить написанное»; Достоевский, работая над «Бесами», «переменил чуть не десять редакций». Герцен «сто раз переписывал главу о разговоре с Грановским, смотрел на каждое слово... каждое просочилось сквозь кровь и слезы». И в итоге — как звучит каждое из этих слов! Но... великие мастера могли делать это, так как, возвращаясь к написанной картине, находили для усиления и углубления ее каждый раз новые и новые тона и оттенки. Чем слабее вооружен художник, тем быстрее иссякают его возможности; при возвращении к написанному ему «нечем править», даже если он видит недостатки: на данном уровне он не может сказать иначе. Когда начинающим писателям приходится рассказывать, например, о методах работы Флобера, зачастую на лицах появляется искреннее недоумение: «Столько часов, целый напряженный рабочий день на какую-нибудь страничку? Что он, собственно, делает?» Теофиль Готье — за это время исписал бы полстопы. А Флобер — не хуже Готье владел синтаксисом.

Я свожу, в упор, эти имена, чтобы «замкнуть тему», привести к единству и общему итогу изложенные на предыдущих страницах факты и мысли. Потому что в именах этих опять встают два несовместимых писательских типа — два пути писательской жизни и труда: линия наибольшего и линия наименьшего сопротивления.

Для нас нет вопроса о выборе. Весь вопрос в том, как практически перейти с линии наименьшего на линию наибольшего сопротивления, стать такими писателями, каких требует словами товарища Сталина советский народ.

Первое, что для этого нужно: сознание подлинного существа нашей профессии, осознание себя «партийными и государственными работниками», т.-е. «бойцами революции», каким сознавал себя Маяковский. Специфические особенности нашей профессии, вплоть до «техники» литературного процесса, нимало не выделяют нас из общего ряда: к нам от начала и до конца приложимы требования, обязательные для любого советского деятеля. И чем выше писатель по мастерству, тем строже для него эти требования.

И строго блюсти эти требования — дело нас самих, каждого из нас и всей организации, всего литературного движения в целом. Между тем литературное дело в целом далеко еще не стало делом каждого. Примеры безразличия к общим судьбам литературы, к движению в целом со стороны многих писателей и критиков, которые в первую очередь должны были бы воспитывать это чувство единства фронта, — можно найти в литературной практике на каждом шагу.

Возьмите хотя бы такой примечательный факт, как объяснение ленинградцев по поводу одобрения ими катаевского «Домика» на читке в «Доме писателя имени Маяковского»: поскольку пьеса была одобрена президиумом ССП, «мы сочли это официальным решением президиума, которое нам надлежало проводить»¹. И это против собственного мнения?! «Литературная газета», публикуя это заявление, называет его «смехотворным». Формулировка — характерная тоже, ибо это отнюдь не смешно; это было бы страшно, если бы это была правда. Не говорю о бредовой нелепости самого предположения — о возможности «директивы» — считать такого-то писателя «гениальным». Если бы даже допустить на секунду такое «помрачение мозгов» президиума, второй бредовой нелепостью было бы предположение, что директиве этой подчинится хоть один уважающий свое звание литератор. Звание, которое Ленин записал в

¹ «Литературная газета» № 50, 1940.

партийной анкете, как определение своей профессии!

Объяснению ленинградцев нельзя верить. Да и незачем верить. Потому что на читке «Домика» просто произошло то же самое, о чем с совершенной откровенностью пишет в газете «Кино» (№ 38) режиссер М. Донской, объясняя одобрение московским «творческим коллективом» «Закона жизни»: «В ряде наших фильмов отсутствует правда, а об этом молчат на собраниях творческих секций и художественных советов, студий и комитета, молчит критика, хотя фальшь видят все... по установившейся скверной традиции... говорить на «творческих дискуссиях» комплименты обсуждаемым авторам»; а «если находишься с автором в более тесных, дружеских отношениях, полагается целоваться». Характерно, что М. Донской даже не поднимает вопроса о борьбе с этой ложью: на собственном примере он указывает путь, как выйти из положения, «не кривя (по его мнению) душу»: он «всячески старался не встретиться с режиссерами фильма», который считал отвратным, а когда это не удалось, то «традиционный» комплимент все-таки сказал, но в той двусмысленной форме, в которой Козьмой Прутковым разрешен известный спор между «студиозусом из Бонна» и «студиозусом из Иены». «Так ловко вышел я сухим из воды, не сказав главного», — с самодовольством заключает автор. И добавляет с патетическим вздохом: «Такова сила плохих традиций!».

А на ком они держатся?

Здесь дело не в моральном каком-либо падении, не в «растлении нравов»: нелепо и бесстыдно было бы об этом говорить. С совершенной искренностью должен сказать: твердо уверен, что и Донской, и ленинградцы, и все хвалящие и хулящие собственному мнению вопреки поступали бы не так, если бы дело шло о жизненном, важном, своем для них деле; если бы то или иное произведение было для них не «личным» успехом или неуспехом товарища по корпорации (мне недаром вспомнились прутковские студиозусы) или даже... конкурента, — а частью общего дела,

которым все собравшиеся дышат и живут, которое является содержанием их жизни.

Возьмите для наглядности «военный» фронт: возможно ли себе представить, чтобы командиры, собранные на военный совет, зная, что тот или иной начальник ведет доверенные ему войска в операцию, которая грозит поражением, перешептываясь об этом между собой, гласно выражали бы ему одобрение, утвердили бы его выступление в бой? Таких командиров мы попросту назвали бы изменниками. А если бы то же самое произошло на производственном совещании, мы бы назвали даже молчащих — вредителями.

И хладнокровное отношение к аналогичным явлениям в литературе можно объяснить только недооценкой значения слова. «От слова не сбудется». «Словом человека не убьешь», по пословице. Неверно это, «сбудется» и «убьешь».

Только безразличием к общему делу можно объяснить вредную «традицию», низводящую вопросы общественного порядка в сферу личных отношений, подменяющую интересы литературы интересами отдельных писателей. Это тоже пережиток «буржуазного профессионализма».

Центр тяжести в этом, в этой подмене «общественного» «личным». При наличии этой подмены вполне естественно нежелание «осложнять личные отношения» неодобрительным отзывом, поскольку и воспринимается отзыв этот, как выпад, продиктованный «личным отношением», а не как защита общих с критикуемым автором интересов дела литературы, понимаемой опять-таки не как собрание писательских сочинений, а как боевой участок единого политического фронта.

Этот «личный подход» с особой яркостью проявляется в отношении с «маститыми» писателями, в оценке их произведений: им особенно редко приходится слышать правду. «Имя» создает писателю совершенно особое положение: даже заведомо плохие его произведения печатаются беспрекословно. Редакторы не решаются обычно в таких случаях

поднимать свой, беспощадный зачастую к «средняку», голос.

Это тоже буржуазная традиция. Но в буржуазном обществе «культ литературных имен» имел полное обоснование — и идеологическое, и коммерческое, поскольку он содействовал «сбыту» и никаких осложнений не вызывал: «писатель пописывал, читатель почитывал». Едва ли надо указывать, что в наших условиях такой «культ» является вреднейшим пережитком. Ни в одной отрасли труда не допускается выпуск заводом неполноценного продукта (тем более брака) на том основании, что он вышел из рук заслуженного, в прошлом, работника. Ни один конструктор нелетающего самолета не будет за него премирован на том основании, что предшествовавшая модель великолепно летала. Сила и полнота нашей жизни в том, что каждый из нас в любой отрасли труда должен каждодневно вновь и вновь утверждать себя: прошлые заслуги ширят возможность делания, круг действия, обеспечивают помощь и поддержку, крепят уже завоеванным авторитетом силу этого действия; но они не снижают, а повышают ответственность «заслуженного» и требования, которые мы предъявляем ему. И если «знатный человек» дал «брак», брак этот надо выбросить в помойную яму, а бракоделу воздать по «заслугам». Так и делается во всех областях труда. Только в литературе «знатные» не только пользуются привилегией выпускать в свет нелетающие самолеты, но и премируются за них — отзывами критиков, усердно доказывающих, явной действительности вопреки, что данное бревно — превосходный пикирующий бомбардировщик. В неполноценных и по форме, и по содержанию произведениях критики отыскивают и «удостоверяют своей подписью» несуществующие достоинства.

Незачем, собственно, говорить, какой огромный вред литературе приносит эта «личная политика». Подрывается всякое доверие к нашим литературным критикам и искусствоведам, когда читатель, которому они еще недавно внушали, что Авдеенко «волнующими словами рассказывает о том, как росли новые люди

после Октябрьской революции», — узнает через короткое время, что «Авдеенко — по крайне низкому уровню своих произведений — писатель никакой, раздутый всякого рода благодетелями... в ущерб советской литературе... Ряд так называемых произведений этого автора... приводит... худшие буржуазные взгляды и навыки...»¹. Или, когда он читает в «Литературной газете», «Театре», «Советском искусстве» хор похвал на высочайших теноровых нотах леоновской «Метели», как «пьесе о честности и мужестве»... «о моральной чистоплотности людей», а на самом деле, хотел того или не хотел Л. Леонов, он создал произведение, «которому не место на советской сцене». Но об этом, к сожалению, читатель узнает отнюдь не по инициативе критиков и искусствоведов, хотя из этих же газет и журналов.

VIII

В конечном итоге, какую бы сторону писательской жизни и работы мы ни взяли, мы приходим к тому же корню: остаткам «буржуазного профессионализма». И пока они не будут преодолены, пока писатели не осознают себя не в декларациях, а в жизненной практике партийными и государственными работниками, не поставят себя в один с ними ряд, под одни требования, под одни обязательства и под ту же ответственность, никакое переключение Союза на «исключительно творческие вопросы» не поможет. Союз может многое сделать, и руководство повинно в том, что ничего не сделано; в практической работе своей оно переходило от писателя к писателю, взятых «особно», вне литературного движения. Литературное движение в целом было, по существу, вне его кругозора. Мы видели «правленцев» на торжественных парадах очередных юбилеев, но стратегами, руководящими литературным движением, мы их не видели никогда. Они работали от дня к дню, от случая к случаю, который загоняла в повестки заседаний президи-

¹ «Литературная газета» № 48. 1940.

ума жизнь или даже только быт. Основные вопросы подготовки кадров, вооружения многотысячного писательского актива, организации его работ если и всплывали, то вновь тонули тотчас же в бульканьи «вермишelio» заправленной заседательской похлебки. Обособленной жизнью жили редакции журналов, входивших в систему Союза: они меньше всего походили на боевые центры дивизии и я, организующие, направляющие; они не являлись «штабами» отдельных армий единого на походе, в наступлении находящегося литературного фронта, генеральным штабом которого должно было служить правление ССП. И если у иных были хоть некоторые «оперативные планы», то другие, да простится мне, являли попросту вид рыболовов, сидящих над закинутыми в мутный «самотек» удочками:

«Ловися, ловися, рыбка, большая и маленькая».

Отсутствием организующих центров объясняется, конечно, многое: опыт оборонной комиссии, — за последний год так резко выделившейся именно тем, что писатели, работающие в ее строю, стали доподлинными бойцами литературного фронта, — указывает, какими организационными путями надо идти, как устанавливать организационную связь писателей с жизнью не как «наблюдателей», а как активных участников общественной и партийной работы. Это путь мастерства жизни, путь к тому, чтобы стать в литературе мастером социалистического реализма. И этим путем можно и должно идти в любой области нашей жизни и строительства.

Не путем «второй профессии», о которой заговорили было опять в литературных кругах как о единственном средстве подлинного включения писателей в жизнь. Вопрос этот, по существу, праздный. Поскольку вред ранней профессионализации бесспорен, поскольку «профессионализироваться» могут только люди, уже проверившие себя и в смысле литературных своих данных, обеспечивающих при дальнейшей работе подлинное овладение литературной технологией, и в смысле политической

подготовки, и в смысле достаточного жизненного опыта, каждый писатель, раньше чем стать «профессионалом-литератором», будет профессионалом в какой-то другой специальности. Специальные литературные вузы, как доказал трехкратный, на протяжении 20 лет, советский опыт от Брюсовского института до нынешнего Литературного института имени Горького, не дали положительных результатов.

Будущие писатели — сейчас еще в рядах читателей наших, переход их в писательские ряды должен определяться только «аттестатом зрелости» (по старой школьной терминологии), который даст им жизнь и который определит, останутся ли они, даже выступив в литературе, «авторами одной книги» или «профессионализируются».

Но с момента профессионализации вопрос о «второй профессии» сам собой отпадает. Профессия литератора настолько важна и ответственна, что нелепо было бы доказывать ее право на самостоятельное существование. И незачем доказывать, что по самому существу своему она требует широкого кругозора, а тем самым подвижности — возможности свободного выбора приложения своих сил, свободного расчета времени и места очередных своих работ. Между тем, сложность и трудоемкость работы писателя таковы, что, только целиком отдавшись ей, можно поднять себя на должный уровень. И даже в условиях полной свободы от всяких других занятий — я не уверен, что не найдутся люди, которые сочтут тот по необходимости конспективный и беглый очерк писательского труда, который дан выше, «бременем неудобноносимым», «теоретическим построением», которое нельзя воплотить в жизнь.

Обычные писательские ссылки на бюджет времени, не допускающий будто бы должной «работы над собой», явно несостоятельны. Они опровергаются легко и бесспорно примерами «бюджета времени» крупнейших деятелей и нашей, и прошлых эпох. Жизнь Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина может служить образцом напряженнейшей практической организационной работы в ми-

ровом масштабе, и наряду с этой «практикой» они находили время писать и учиться. Энгельс особо отмечает, что Маркс не брался за перо, пока оставалась непрочитанной хоть одна книга на избранную им тему; в одном из его писем находим указание, что для одной только русской статистики во II томе «Капитала» «Марксом прочитано было около 2-х кубометров книг». Читая переписку Маркса и Энгельса, поражаешься широте их знаний, авторитетности, с которой они равно трактуют вопросы истории и политической экономии, диалектики природы и военных наук, философии и математики, литературы, языкознания; трактуют не как дилетанты, а как ученые, специалисты... И кто из писателей мог бы написать, как Энгельс: «Довольно приятно читать старого забудыгу Гафиза в оригинале... Зато персидская проза убийственна...»¹

Счет часов в сутках был один для Энгельса и для нас: сопоставьте масштабы работы, которую приходилось вмести́ть в эти грани — ему и нам. И станет стыдно.

Дело не в отсутствии времени, а в неорганизованности его: в «плохой жизни» писателей, в разбазаривании часов и дней, в малой интенсивности труда — во всех «пороках», которых пришлось касаться и корень которых, еще и еще раз повторяю, один: неизжитость буржуазного «профессионализма пера». Для писателя, сознающего себя партийным и государственным работником, во-

просы эти снимаются, хотя трудность работы и ответственность повышаются неизмеримо: ибо, действительно, труд писателя сложен и тяжел. Недаром не раз приходилось слышать, как Горький, радостно и бодро взблескивая глазами из-под густых бровей, говорил:

«Писать — трудно».

Да. Писать трудно. Нам, советским писателям, — особенно, поскольку никогда еще не стояли перед литературой задачи такого исторического значения, такого творческого масштаба, какие стоят перед литературой советской. В 1934 году товарищ Жданов, выступая на съезде писателей, характеризовал советскую литературу как «самую идейную, самую передовую и самую революционную». С тех пор подъем продолжался: ряды писателей крепнут и растут, все ярче и значимей участие в литературном движении свежих сил. И если лет пятнадцать назад мы могли до известной меры терпимо относиться к наличию в нашей среде тех или иных пороков буржуазного профессионализма, как явлению в известной мере неизбежному, то в настоящее время мы достигли достаточной силы и зрелости, чтобы со всей беспощадностью ставить требования, которым должен удовлетворять подлинный советский писатель. Эти требования высоки. Они неосуществимы без напряженного и упорного труда. Но труд этот должен поднимать во всем объеме «по линии наибольшего сопротивления» тот, кто хочет по праву, как ленинец, вписать в жизненную свою «анкету» высокое, почетное и ответственное звание, определяющее его место в общем строю жизни и борьбы: *Литератор*.

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXI, стр. 495.

Замыслы Льва Толстого и их воплощение

Н. К. Гудзий

★

I

В трактате «Так что же нам делать?» Толстой писал:

«Мыслитель и художник никогда не будет спокойно сидеть на олимпийских высотах, как мы привыкли воображать... он всегда, вечно в тревоге и волнении; он мог решить и сказать то, что дало бы благо людям, избавило бы их от страдания, дало бы утешение, а он не так сказал, не так изобразил, как надо; он вовсе не решил и не сказал, а завтра, может, будет поздно — он умрет... Гладких, жуирующих и самодовольных мыслителей и художников не бывает».

Весь творческий путь Толстого — художника и мыслителя — прошел в напряженных поисках истины, как он ее понимал. Он принадлежал к тому роду писателей, для которых эстетика и этика были неразрывно связаны друг с другом. Художественное творчество для Толстого было средством выражения своего мирозерцания в первую очередь.

В 1876 г., в разгар работы над «Анной Карениной», он писал Н. Н. Стравову:

«Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрании мыслей, сцепленных между собой для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна и без того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я ду-

маю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя, а можно только посредственно словами, описывая образы, действия, положения».

Потому-то, полагал Толстой, если бы он хотел сказать словами все то, что он имел в виду выразить романом, то должен был бы написать тот самый роман, который написал (в данном случае «Анну Каренину»).

То, что Толстой называл «сцеплением», была художественная форма произведения, над которой он работал всегда очень упорно и которой придавал огромное значение в деле воздействия искусства на читателя. «Странное дело — эта забота о совершенстве формы, — записывает он в дневнике 21 января 1890 года, — недаром она. Но недаром тогда, когда содержание доброе. Напиши Гоголь свою комедию грубо, слабо, ее бы не читала и одна миллионная тех, которые читали ее теперь. Надо заострить художественное произведение, чтоб оно проникло. Заострить — и значит сделать его совершенным художественно».

Высокая идейность произведения, совершенство его художественной формы и — самое главное — искренность и правдивость художника по отношению к изображаемому им явлениям жизни — вот те основные требования, какие предъявляет Толстой к искусству и к художнику. Чем одареннее писатель, тем большую ответственность несет он, по

мысли Толстого, перед людьми за все то, что он пишет. А писать он должен лишь о том, что сам страстно любит, чему верит и о чем не может не говорить. В замечательном письме к В. А. Гольцеву 1889 года Толстой наиболее выразительно сформулировал свои взгляды на то, что нужно подлинному художнику. Он должен знать то, что «свойственно всему человечеству и вместе с тем еще неизвестно ему, т.-е. человечеству». Для этого он должен быть «на уровне высшего образования своего века» и не замыкаться в рамки эгоистической личной жизни, а жить общей жизнью человечества. Он должен овладеть мастерством и для этого упорно работать, подвергая себя самокритическому суду. И прежде всего — он должен страстно любить свой предмет и быть искренним и правдивым в своем писании.

Эти требования вытекали из собственного писательского опыта Толстого и проверены были им на этом опыте. Не объективное, спокойное созерцание жизни понуждало Толстого писать, а страстная заинтересованность в том, какие формы и направления принимала жизнь, в какой мере она соответствовала его моральному и общественному сознанию. Он много времени и сил потратил на работу над романом из эпохи Петра I, написал сотни страниц замечательных черновых набросков к нему и в конце-концов отказался от его завершения, потому что разлюбил «свой предмет» и не любил основного героя этого романа — Петра. В дневниковых записях, в письмах Толстого мы сплошь и рядом встречаем его жалобы на то, что та или иная вещь, над которой он работает, разонравилась ему, перестала его удовлетворять, и он не может продолжать ее.

Острое чувство неудовлетворенности сопровождало работу Толстого и над «Войной и миром», и над «Анной Карениной», и над «Воскресением». Нужно было вновь обрести на время утраченное чувство любви к теме, нужно было самому ощутить правдивость и искренность своего писания, чтобы с новыми силами и новым творческим

подъемом продолжать его. Толстого никогда не радовали отдельные удавшиеся ситуации, образы произведения, если его не увлекала основная мысль, которую он старался выразить в той или иной своей вещи.

В 1877 году он говорил своей жене: «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль. Так, в «Анне Карениной» я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную, вследствие войны 12-го года, а теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей». Замысел этого нового произведения, в котором Толстой хотел показать нравственную силу русского мужика, переселяющегося в Сибирь или в самарские степи, как и многие другие его художественные замыслы, так и не был осуществлен Толстым, хотя он пытался художественно претворить его в связи со своей работой над «Декабристами» и затем над романом из эпохи Петра I, и потом неоднократно возвращался к нему.

В тех случаях, когда замысел находил себе художественное осуществление, у Толстого шла огромная работа по воплощению его, работа с внезапными остановками, длительными перерывами, с мучительными разочарованиями в написанном и новыми творческими подъемами, подбигавшими работу вперед. Далеко не все задуманное, даже особенно привлекавшее Толстого, было им хотя бы начато. В дневниках мы через определенные промежутки, иногда в несколько лет, встречаем записи одних и тех же занимавших Толстого тем и сюжетов, к работе над которыми он вовсе не приступал. Работа над другими далеко не доведена была до конца — таковы «Посмертные записки старца Федора Кузмича», «История матери», «Отец Василий», «Иеромонах Илиодор» и др. Ряд начерно законченных вещей, как «Дьявол», «Отец Сергей», «Живой труп», «Хаджи-Мурат», так и не дождался окончательной обработки.

Первоначальные замыслы Толстого в процессе их постепенного художественного претворения во многих случаях

очень расширялись, захватывая новые большие темы; одновременно углублялась художественно и психологически основная тема. Происходило это, во-первых, потому, что сама проблема, большей частью чисто психологическая, на которой первоначально сосредоточен был Толстой, не могла быть решена им изолированно от сложного комплекса идейных, общественных или исторических ситуаций, от текущей злобы дня.

Известно, что «Войне и миру» непосредственно предшествовала работа Толстого над повестью «Декабристы», действие которой приурочено было к 1856 году, ко времени возвращения из сибирской ссылки ее героя. Но начатая повесть вскоре была оставлена, так как Толстой счел необходимым сначала рассказать о том, что определило судьбу его героя, и потому обратился к 1825 году, когда герой был уже возмужалым, семейным человеком, а затем — к 1812 году — поре молодости героя, совпавшей со «славной для России эпохой», «запах и звук» которой еще слышны были в 60-е годы, когда писался роман. Однако вскоре личность героя отступает у Толстого на второй план, а на первое место выступает сама эпоха 12-го года с ее людьми — молодыми и старыми, мужчинами и женщинами. Но так как, по чувству «застенчивости», Толстой не мог писать о нашем торжестве над армией Наполеона, «не описав наших неудач и нашего срама», то начало романа передвинуто было к 1805 году, ко времени завязки наших отношений с бонапартовской Францией.

По мере вызревания замысла и в процессе работы над романом первоначально задуманные характеры претерпевают радикальные изменения, а намеченная вначале семейная в основном тематика дается на фоне исторических событий, связанных с наполеоновскими войнами и с историческими деятелями, русскими и иностранными, принимавшими участие в этих войнах. В роман обильно вводятся философские рассуждения на тему о военных столкновениях народов и о роли личности и народной массы в этих столкновениях. На философские воззре-

ния автора «Войны и мира» оказывают влияние историософические концепции, возникавшие на Западе и в России как раз в ту пору, когда писался роман или незадолго до этого.

Рядом с апологией русской народной массы и ее признанных военных вождей, отстоявших Россию от французского нашествия, в романе присутствует острая сатира на нравственно ничтожные, своекорыстные аристократические слои русского общества, затруднявшие борьбу с Наполеоном и принадлежавшие к поколению дедов и отцов тех, кто привел Россию к севастопольскому разгрому. Роман оказался насквозь проникнутым морально-общественной тенденцией, и его автор выступил в качестве судьи не только нашего исторического прошлого, но и современной ему эпохи.

II

Но эпопея «Война и мир» все-таки была обращена к нашему прошлому, и отклики на живую современность в ней не могли быть очень значительны. Гораздо больше их в последующих художественных произведениях Толстого, начиная с «Анны Карениной». Этот роман самыми крепкими нитями оказался связанным с эпохой 70-х годов, когда он и писался.

«Анна Каренина», однако, задумана была Толстым в плане только морально-психологическом. Темой романа должна была быть, судя по записи С. А. Толстой, судьба «женщины, замужней, из высшего общества, но потерявшей себя», и задача, которую ставил себе Толстой, состояла в том, чтобы «сделать эту женщину только жалкой и не виноватой». К тому времени у него задуманы были также типы и образы, не воплощенные еще и не объединенные вокруг какого-либо центрального образа, и вот, как только определился этот последний, «так все лица и мужские типы, представлявшиеся прежде, нашли себе место и сгруппировались вокруг этой женщины».

Зарождение замысла романа относится к концу февраля 1870 года, но к работе над романом Толстой приступил

лишь через три года — в марте 1873 года, попрежнему ставя перед собой пока-что исключительно все ту же морально-психологическую проблему. Сюжетом романа должна была быть, опять-таки по свидетельству С. А. Толстой, «неверная жена и вся драма, происшедшая от этого».

До нас дошло большое количество черновых материалов, относящихся к «Анне Карениной», в том числе наброски приступов к роману и ранний конспективный набросок всей вещи, в котором для отдельных глав намечен был только их схематический план. По этому конспективному наброску легко судить о тех рамках, в которых должна была развиваться тема романа. Эти рамки определялись первоначальным замыслом — изобразить неверную жену, потерявшую себя, жалкую, но не виноватую. Она молода, полна неизрасходованных жизненных сил, страстно хочет любить и быть любимой, но муж ее, кроткое и доброе существо — человек невзрачный, рассеянный и чудаковатый, в полном смысле слова «не от мира сего»; он никак не может импонировать ни обществу, в котором вращаются супруги, ни жене. Жена, встретившись на своем пути с красивым, молодым офицером, который своим мужским обаянием пробуждает в ней не выявившийся до сих пор инстинкт настоящей женской любви, теряет голову и смело и дерзко, не считаясь с моральными преградами, ведет борьбу за свое счастье.

Без той напряженной рефлексии и мучительного самоконтроля, которые характеризуют поведение Анны в окончательной редакции романа, она в ранних его черновиках переступает обычные моральные устои, не считаясь с горем и страданиями своего незлобивого мужа, пренебрегая установленными нормами поведения замужней женщины. Она беззастенчиво лжет и мужу, и его любимой, доброй сестре, впоследствии замененной отталкивающей ханжой графиней Лидией Ивановной, и подчас браврирует свободой своего поведения и своих суждений о любви. Она «дьявол» в образе женщины; в ее облике «дьявольский блеск», в душе — решимость

ни перед чем не останавливаться на своем любовном пути. Есть что-то мало симпатичное и шокирующее в той inferнальной женщине, какой выступает перед нами Анна в первоначальной стадии работы Толстого над романом.

И при всем том она, действительно, жалка в своем любовном угаре. Ни Анна, ни Вронский не находят счастья в своей связи. Светское общество отвернулось от них, а признание людей свободомыслящих, нигилистически настроенных, дурно воспитанных писателей, музыкантов и художников, посещающих их, не доставляет им радости. Анна не может отделаться от мысли о ложности своего положения; она, кроме того, ревнует Вронского. Чтобы спасти себя от одиночества, она придумывает разные средства: пробует блистать красотой и нарядами и завлекать мужчин, пытается «построить себе высоту, с которой бы презирать тех, которые ее презирали», но все это оказывается не в ее натуре. Остаются одни голые животные отношения с любимым человеком и роскошь жизни, да еще «привидение» — покинутый муж, «осунувшийся, сгорбленный старик, напрасно старавшийся выразить сияние счастья на своем сморщенном лице». Анна не выдерживает такой жизни и кончает самоубийством.

Каренина, уже в раннем воплощении Толстым его замысла, не виновата в том, что она «потеряла себя» и стала неверной женой. Она, правда, эгоистична и безучастна по отношению к своему жалкому, хотя и доброму супругу, но это потому, что не в ее силах было совладать со своей страстью и отказаться от любовного влечения, которого она никогда не испытывала к мужу, обделенному природой и бедному талантом любви. Уже в одном из ранних начал романа появляется библейский эпиграф, призывающий к снисхождению к неверной жене и отнимающий у людей право судить ее. Первоначально этот эпиграф, в котором идет речь о божьем, а не человеческом суде над женщиной, изменившей мужу, был заимствован непосредственно из Шопенгауэра и звучал так: «Отмщение Мое»; затем дан был точный его библейский текст в церков-

но-славянском переводе: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Раз поставленный эпиграф уже не снимался, несмотря на то, что он далеко не обнимал собой впоследствии усложнившегося содержания романа.

В процессе работы над романом Толстой значительно отошел от первоначальной обрисовки характеров Анны и Каренина. Чем дальше, тем больше морально повышался и душевно обогащался образ Анны и одновременно понижался моральный облик Каренина, постепенно превращавшегося в педантически-самоуверенного, сухого бюрократа, по принципам канцелярского уклада пытающегося регламентировать свою семейную жизнь.

Художник, умевший найти подлинную правду жизни и считавший, что только о ней и нужно говорить, а не о том, что вообще бывает в жизни, усмотрел в человеческом общежитии своей эпохи типическое и определяющее и отказался от изображения единичного и потому не характерного. Он в завершённой редакции романа рассказал о трагедии молодой, внутренне незаурядной женщины, попытавшейся пойти тем путем, какой подсказывал ей живой инстинкт жизни, и погибшей в тех тисках общественного быта и светской морали, наиболее типичным выражением которых были ее постылый муж и ее ближайшая аристократическая среда. Механистической и бездушной морали Каренина и его круга и душевно-ограниченной, формальной правоте поведения Вронского противопоставлена была правда горячего и неуспокоенного женского сердца, которое не выдержало непомерной тяжести легшего на ее плечи душевного бремени.

В согласии с первоначальным замыслом, по которому в центре повествования должна была стать судьба несчастной в своей любви женщины, первые наброски романа еще не содержат в себе материала, связанного с фигурами Левина и Кити. Лишь через некоторый, правда, небольшой промежуток времени Толстой решил, как это он делал часто в своих художественных произведениях, связать судьбу посторонних его

биографии персонажей с судьбой персонажей, непосредственно связанных с его личной жизнью и с жизнью его близких. Так параллельно с линией Анна — Каренин — Вронский определилась, как равноправная, линия Левин — Кити, отразившая в существенных своих чертах личные отношения самого Толстого с его невестой, потом женой, и духовные искания и приближающийся духовный кризис автора романа.

Осложнение повествования о личной судьбе «потерявшей себя» женщины повествованием о жизни и душевной работе Левина на фоне его отношений с Кити неизбежно повлекло за собой введение в роман элемента злободневности. И это прежде всего потому, что сам Толстой — прототип Левина — живо откликался на важнейшие вопросы, занимавшие и волновавшие современное ему русское общество.

Не даром Ленин в статье «Л. Н. Толстой и его эпоха» пользуется цитатой из «Анны Карениной» для уяснения того, «в чем состоял перевал русской истории» за полвека — с 1861 по 1905 г., считая, что «трудно себе представить более меткую характеристику периода 1861 — 1905 годов», чем та, которая выражается мыслями Левина: «у нас теперь все это переменилось и только укладывается»¹.

В «Анне Карениной» пореформенный помещичий и крестьянский быт и происшедшие в нем сдвиги и экономические расслоения нашли себе самое живое и художественно убедительное воплощение. Формирование новой стадии капиталистических отношений воочию предстает перед нами в изображении жизненного пути Левина, его брата Николая, другого брата — Кознышева, Вронского, Облонского, семьи Щербацких, помещика Свяжского, кулака Рябинина, знаменитого петербургского адвоката, всего крестьянского люда. Личная, интимная жизнь персонажей романа выступает на фоне глубоких социальных противоречий эпохи, и этими противоречиями в конечном счете определяется их судьба. Заглавие романа, как и его

¹ Ленин, Сочинения, т. XV, стр. 100.

эпиграф, соответствовавшее объему темы в ее первоначальном замысле, применительно к законченному его тексту оказывается уже далеко не покрывающим того, что в этом тексте содержится.

В промежуточных стадиях работы над романом Толстой порой полнее и определеннее характеризует некоторых из своих персонажей, отражающих общественные движения эпохи и в окончательном тексте лишь бегло упоминаемых. Так, о Крицком, приятеле и соратнике Левина в деле насаждения в деревне производительных артелей, прямо сказано, что он социалист, проповедующий коммунизм и утверждающий необходимость насильственной борьбы с существующим общественным строем. В этом смысле в черновых текстах Крицкий и высказывается, и его речи, как и речи Николая Левина, — непосредственный отзвук идей революционного народничества 70-х годов, которые Толстой так или иначе склонен был ассоциировать с нигилизмом.

В первоначальных планах и набросках «Анны Карениной» несколько раз упоминаются нигилисты, принимающие своими советами какое-то участие в семейной драме Анны и Каренина. В дальнейшей работе над романом нигилисты в этой ситуации и вообще никак прямо не фигурируют, возможно, потому, что в 70-х годах нигилизм в том его понимании, какое утвердилось в 60-е годы, становится уже анахронизмом. Но в одной из черновых редакций романа все же имеется эпизод с выпадом против нигилистов. Тут мы читаем впоследствии исключенную главу, в которой, в связи с заботами Каренина о воспитании его сына Сережи, рассказывается о совещании Каренина с приглашенным им педагогом. Воззрения и поведение этого педагога очень подходят к тем, которые обычно связывались с понятием нигилизма. Педагог относится с презрением к Каренину и к его взглядам на воспитание и не пытается даже скрыть этого. Он возражает против религиозного элемента и против «чувственной стороны» в воспитании и считает основной его задачей образова-

ние в душе ребенка правильных понятий. В окончательном тексте ни о планах Каренина относительно воспитания сына, ни о споре Каренина с педагогом, ни о поведении и взглядах педагога ничего не говорится, и единственным намеком на его нигилизм является лишь фраза, обращенная к Сереже: «Вы бы лучше думали о своей работе, а именины никакого значения не имеют для разумного существа. Такой же день, как и другие, в которые надо работать».

В окончательном тексте романа Анна, находясь в «обществе партии крокета» у Бетси, спрашивает ее: «Вы будете на празднике у Роландаки?» Из текста неясно, кто такой этот Роландаки, так как больше о нем здесь нигде не упоминается. Чтобы понять, каким образом в законченный текст попала эта фамилия, нужно обратиться к черновым редакциям, в которых о Роландаки, вначале фигурирующем под фамилией барона Илена или Ильмена, говорится довольно подробно. Это финансовый делец нового типа, очень богатый, умный, образованный и прекрасно воспитанный человек. «Общество партии крокета» собирается на его богатой даче, а не на даче Бетси, как в окончательной редакции. У него бывают представители высшего света, вплоть до великого князя, которые ездят к нему, чтобы приятно провести время, вкусно поесть, посмотреть его картины, но они вместе с тем относятся к нему, как к чуждому им по положению человеку, с которым общаются лишь в известных, строго очерченных границах. Среди гостей Роландаки-Илена — и Вронский, и Анна. Этот впоследствии отброшенный Толстым эпизод очень хорошо иллюстрирует социальную эволюцию нашей аристократии в 70-е годы — по тому же приблизительно пути, через который прошел и Стива Облонский.

«Анна Каренина» писалась на протяжении от 1873 по 1877 год, и в ней Толстой, по мере того как работа над романом подвигалась вперед, отзывался на многое из того, что возбуждало умы русского общества и находило себе отклики в печати как-раз в эти годы или

незадолго до этого. Научные и философские проблемы, вопросы искусства, исторические и политические события, отдельные правительственные мероприятия, факты общественной жизни за этот период времени так или иначе отразились в романе¹.

Так, в нем нашли себе отражение споры русских ученых и философов по вопросу о границах между психическими и физиологическими явлениями, главным образом развернувшиеся на страницах «Вестника Европы» в 1872—1874 годы. Левин, интересующийся естествознанием, сам в курсе этих споров. Он же критикует популярное учение о тепле Тиндаля, книги которого были переведены в России в конце 60-х и в первой половине 70-х годов. С ним ведет беседу помещик Свяжский о теории воспитания, высказанной Спенсером в статье, появившейся в русском переводе в 1874 году в журнале «Знание». Свяжский говорит также о «Шульце-Деличевском направлении», о «Мильтгаузенском устройстве», занимающем теперь лучшие умы Европы, о громадной литературе по рабочему вопросу «Лассалевского направления». (В 1870 году вышло в русском переводе В. Зайцева собрание статей Лассалю.) Тот же Свяжский пытается заинтересовать Левина журнальной статьей о причинах раздела Польши. Этот вопрос в начале 70-х годов привлекал ряд русских историков во главе с Костомаровым; на эту тему в «Вестнике Европы» за 1874 год напечатана была статья Щербальского, о которой, видимо, и идет речь в романе.

Каренин читает брошюру о путешествии, очевидно, известного путешественника П. Я. Пясецкого в Китай, вышедшую в 1874 году. Он же читает сочинение о египетских надписях — видимо, статью на эту тему Мишеля Бреала, напечатанную в «Revue des Deux Mondes» за 1874 год, Анна читает «новую книгу» Тэна, т.-е. его сочинение «L'ancien régime», первый том которого вышел в

1870 году. В черновых текстах она, кроме того, читает «модные серьезные книги» Токвиля, Карлейля, Льюса. Полные собрания сочинений первых двух авторов вышли в оригиналах в 60-е и 70-е годы, наиболее же популярная книга Льюса «Вопросы о жизни и духе» вышла на английском языке в 1874 году, а в русском переводе — в 1876 году. Князь Львов, озабоченный воспитанием сына, читает учебник русской грамматики Буслаева, вышедший в 1869 году. За обедом у Облонского в одной из черновых редакций романа ведется разговор на тему о неверности жены в браке в связи с полемикой по этому вопросу между Дюма-сыном и Жирарденом, завязавшейся во французской печати в 1871—1872 годах. (В окончательной редакции спор уже ведется отвлеченно — на тему о правах и обязанностях женщины), без упоминания французских авторов.) В доме Щербацких спорят о спиритизме, особенно занимавшем некоторые круги русского общества начиная с 70-х годов; к помощи заезжего шарлатана-спирита обращается Каренин для решения своих семейных дел. Вместе с графиней Лидией Ивановной он в своей душевной тревоге одновременно старается опереться на учение о спасении одной лишь верой, без добрых дел. Это учение проповедывалось известным лордом Редстоком, приехавшим в Россию в 1874—1875 годах и искавшим себе здесь, в великосветской среде усердных последователей, особенно в лице В. А. Пашкова, основателя секты «пашковцев».

Текущие вопросы и события в области искусства также находят себе значительное отражение в романе. Как и некоторые другие его страницы, страницы, на которых говорится о встрече в Италии Вронского, Анны и Голенищева с художником Михайловым, не связаны тесно с фабулой романа и без особого ущерба для нее могли бы отсутствовать, но они понадобились Толстому для того, чтобы отозваться на основные вопросы живописного искусства, тогда у нас обсуждавшиеся. Образ художника Михайлова и его реалистическая манера письма, особенно сказавшаяся в изо-

¹ См. примечания В. Ф. Саводника к тексту «Анны Карениной», тт. I—II, ГИЗ, 1928, и статью С. Л. Толстого «Об отражении жизни в «Анне Карениной», «Литературное наследство», 37—38, М., 1939

бражении Христа перед Пилатом, скорее всего связаны с личностью и творчеством художника И. Н. Крамского, написавшего в 1872 году картину «Христос в пустыне», в которой дан очень очеловеченный образ Христа, близкий по идее к тому, какой вышел и из-под кисти Михайлова. В 1873 году Крамской рисовал известный портрет Толстого, и тогда, по свидетельству самого Крамского, между ним и Толстым велись долгие беседы по вопросам искусства, нашедшие себе, нужно думать, отражение в романе. «Ивановско-Штраусовско-Ренановское отношение к Христу и религиозной живописи», в котором Голенищев упрекает Михайлова, было свойственно и художнику Н. Н. Ге, автору картин «Тайная вечеря» (1863 г.), «Вестники воскресения» (1867 г.), «Христос в Гефсиманском саду» (1868 г.). Толстой познакомился с Ге лично лишь в 1882 году, но, несомненно, знал его как художника значительно ранее.

Во время визита Левина с Облонским к Анне завязывается беседа о новом направлении в искусстве, о новой иллюстрации Библии французским художником (очевидно, имеются в виду иллюстрации к библейскому тексту Доре, появившиеся в 1866 году). Анна говорит о торжестве реалистического направления в искусстве и литературе, в частности у Золя и Додэ, романы которых стали выходить в свет с начала 70-х годов. Вронский и Кити на балу говорят о будущем общественном театре, о чем шли у нас усиленные толки со времени Политехнической выставки 1872 года, при которой был организован общедоступный народный театр. В романе упоминаются певицы Нильсон, Патти, Лука, с большим успехом выступавшие в 70-х годах в Петербурге и Москве. Левин, слушая концерт, в беседе с Песцовым высказывается о недостатках вагнеровского направления в музыке, которые состоят в том, что музыка переходит в область чужого искусства. Как пример такой же ошибки, он приводит скульптора, который вздумал высекать из мрамора тени поэтических образов, стоящие вокруг фигуры поэта на пьедестале. Скульптором этим, окружив-

шим фигуру поэта как бы тенями персонажей его поэтических произведений, был Антокольский, выставивший в 1875 году в Академии художеств свой проект памятника Пушкину.

Наконец, в романе мы находим отклики большою частью на свежие общественные события времени. В салоне Бетси говорят о всеобщей воинской повинности, введенной указом 1 января 1874 года. Каренин высказывается против чрезмерного притеснения башкир, подвергшихся в начале 70-х годов особенно жестокому угнетению со стороны местной администрации. На обеде у Облонского происходит спор о преимуществах классического и реального образования — отголосок того общественного возбуждения, которое связано было с введением нового гимназического устава 31 июля 1871 года, по которому в гимназиях, для борьбы с вольнодумством, введено было усиленное преподавание классических языков, и лишь воспитанники гимназии получили доступ в университеты. На квартире у Катавасова в присутствии Левина идет разговор об университетском вопросе, являющийся отзвуком резких разногласий в профессорской среде Московского университета в 1867 году, результатом которых был уход в отставку трех молодых профессоров. Во время визита Левина к графине Боть завязывается беседа о процессе иностранца, которого в виде наказания предположено было выслать за границу. Тут очевидный намек на громкий процесс железнодорожного афериста Струсберга, арестованного в Москве в 1875 году, преданного суду и приговоренного к ссылке в Сибирь, но в конце-концов, благодаря своему иностранному подданству, высланного за границу.

Самым крупным общественным событием той поры был, конечно, «славянский вопрос». По словам Толстого, он пришел «на смену вопросов иноверцев, американских друзей, самарского голода...», т.-е. на смену разговоров, связанных с празднованием в 1875 году присоединения униатов к православной церкви, толков о приезде американской де-

путации в 1866 году для поздравления Александра II с благополучным исходом покушения на него Каракозова и для выражения благодарности за вмешательство России в гражданскую войну в Соединенных Штатах, наконец, на смену общественного возбуждения, вызванного страшным голодом в Самарской губернии в 1873 году.

«Славянский вопрос» особенно обострился у нас со времени возникновения в июне 1876 года сербско-черногорско-турецкой войны, в которой приняли участие русские добровольцы. С самого начала добровольческое движение вызвало у Толстого отрицательное к себе отношение. Когда 1 апреля 1877 года Россией была объявлена война Турции, он писал А. А. Толстой: «Как мало занимало меня сербское сумасшествие и как я был равнодушен к нему, так много занимает меня теперь настоящая война и сильно трогает меня».

Добровольческое движение в пользу славян наряду с духовным кризисом Левина являются, как известно, центральными темами последней, восьмой части «Анны Карениной». Катков, редактор «Русского вестника», в котором печатался роман, воспротивился тому, чтобы печатать на страницах своего журнала выпады против добровольческого движения, но Толстой, в черновых редакциях восьмой части, или «эпилога», как она тогда обозначалась, отзывавшийся о «славянском вопросе» еще более резко, чем в окончательном тексте, настолько упорно отстаивал свои позиции, что, как мы знаем, пошел на разрыв с Катковым и выпустил эту часть отдельной книжкой.

Так широко раздвинул Толстой рамки романа, задуманного первоначально лишь как роман о судьбе неверной жены. Через двенадцать лет после его окончания, в 1889 году, он в письме к Г. А. Русанову сам подчеркнул широту охвата жизни в «Анне Карениной» и идейную значительность романа. «Иногда, — писал он, — хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман, широкий, свободный, в роде «Анны Карениной», в который без напряжения входило бы все, что

кажется мне понятным мною с новой, необычной и полезной людям стороны».

III

В конце 80-х и в начале 90-х годов Толстого очень занимала проблема отношений между поэтами. На эту тему он написал несколько статей и повести «Крейцера соната» и «Дьявол». Тогда же он начал свою «Коневскую повесть», выросшую позже в роман «Воскресение». Проблема эта тем более волновала Толстого, что она связана была с личными, автобиографическими моментами его жизни, к которым он относился очень осудительно.

Из этих повестей наиболее автобиографической была повесть «Дьявол». Толстой написал ее начерно за две недели и потом не притрагивался к ней в течение двадцати лет, тщательно стараясь скрыть ее от глаз Софьи Андреевны, и лишь года за полтора до смерти приписал к ней второй вариант конца и сделал несколько небольших поправок: сугубо интимная тема повести удерживала, очевидно, Толстого от дальнейшей работы над ней.

Не так было с «Крейцеровой сонатой» и «Коневской повестью», в которых автобиографический момент был далеко не столь значителен, как в «Дьяволе».

В основу «Крейцеровой сонаты» лег эпизод убийства из ревности мужем своей жены, рассказанный Толстому актером Андреевым-Бурлаком. Толстой работал над повестью с перерывами не менее двух лет, и она прошла у него через девять редакций. Первая редакция, более всего соответствовавшая первоначальному замыслу, представляет собой довольно сжатую и динамичную новеллу, не осложненную тем трактатным элементом, который вносится в нее иностранными рассуждениями Позднышева, занимающими так много места в окончательной редакции. По мере того как работа над повестью подвигалась вперед, наряду с существенным изменением характеров ее персонажей в ней увеличивался из редакции в редакцию трактатный материал, касавшийся тех нравственных устоев, на которых держалась

дворянская и буржуазная семья. Повесть стала не только психологической, но и общественно-обличительной, направленной против семейного уклада привилегированных классов. Ее идейное наполнение в иных случаях зависело от привходящих обстоятельств, имевших место как-раз в пору работы над повестью и определенным образом направлявших мысль Толстого. Так, многие рассуждения Позднышева, по существу, повторяют содержание писем Толстого к Черткову, обращавшемуся к нему с просьбой разрешить волновавшие его и его друзей вопросы отношения полов. Как-раз в разгар работы над повестью Толстой получил письма и книги от шекеров — американских сектантов. В этих письмах и книгах он нашел поддержку своим взглядам на целомудрие и пополнил текст повести рассуждениями, близкими к воззрениям шекеров. Тогда же Толстой познакомился с книгой А. Стокгэм «Токология», одна из глав которой, трактующая о целомудрии и брачной жизни, отразилась в соответствующих выкладках «Крейцеровой сонаты» и «Послесловия» к ней.

Таким образом, первоначальный замысел осложнялся и в результате упорной работы собственной мысли, и под воздействием тех возбуждений, которые в процессе уже налаженного писания шли от единомышленников писателя.

Еще сложнее и шире шло развитие замысла «Воскресения». Как известно, зерном романа послужил рассказанный Толстому А. Ф. Кони случай встречи на суде присяжного — соблазнителя с подсудимой — своей жертвой, в результате чего у соблазнителя громко заговорила совесть и заставила его попытаться связать свою жизнь с жизнью соблазненной им девушки. «Коневская повесть», как первоначально называл свой будущий роман Толстой, начатая в 1889 году, задумана была, как и «Анна Каренина» в плане только морально психологическом и должна была ответить на вопрос о нравственной ответственности мужчины — соблазнителя перед жертвой его плотской необузданности. Вначале даже сцену суда Толстой, видимо, не предполагал рисовать в об-

личительных тонах. Судим так потому, что только через полгода после приступа к повести он записал в своем дневнике: «Обдумал на работе то, что надо Коневскую начать с сессии суда, и на другой день еще прибавил то, что надо тут же высказать всю бессмыслицу суда». Через несколько дней Толстой вновь записывает в дневнике, что нужно показать «юридическую ложь» суда.

Но, написав после этого несколько страниц нового начала, в котором дана только характеристика Нехлюдова и о заседании суда еще ничего не сказано, Толстой на несколько лет почти совсем приостановил свою работу над повестью, которую он теперь уже озаглавил «Воскресение». В начале 1891 года он задумывает написать большой роман, который соединил бы в себе большую часть пока еще не осуществленных им замыслов, в том числе и замысел «Воскресения». Этот роман должен был быть освещен «теперешним взглядом на вещи». Но через полгода Толстой записывает в дневнике: «Решил прекратить писание. Перечел все свои художественные начала. Все плохо. Если писать, все надо сначала, более правдиво, без выдумки».

В течение четырех лет после этого он не возвращался к тому, что им прежде было начато, а когда вернулся весной 1895 года, то его потянуло прежде всего к работе над «Воскресением». Начиная несколько раз повесть по-новому и комбинируя новое начало с прежними заготовками, Толстой к 1 июля 1895 года повесть начерно закончил. По крайней мере, ему казалось, что «подмалевка Коневской кончена». Эта первая редакция повести, однако, еще очень далека от того, что представляет собой окончательный текст «Воскресения». Она и по объему во много раз меньше окончательного текста. В ней присутствуют почти исключительно эпизоды, лишь непосредственно связанные с отношениями Нехлюдова к Катюше Масловой. Обличение общественного строя России дано лишь в сцене судебного заседания и в эпизоде поездки Нехлюдова в его имение для отдачи земли крестьянам по проекту Генри Джорджа, но сказано это с гораздо меньшей остротой,

чем в последующей и окончательной — шестой — редакциях романа. Эпизоды, связанные с фигурами политических ссыльных, совершенно пока отсутствуют, как отсутствует эпизод богослужения в тюремной церкви и многочисленные эпизоды, введенные позднее в «Воскресение» в связи с хлопотами Нехлюдова о кассации дела Масловой, так как здесь Нехлюдов об этом не хлопочет: он женится на осужденной Катюше, отправляется с нею в Сибирь, и затем они вдвоем бегут за границу и поселяются в Лондоне¹.

После этого Толстой еще несколько месяцев работает над «Воскресением», особенно напряженно и удовлетворенно после того, как его озарила мысль, что нужно начать повествование не с Нехлюдова, а с Катюши. Первоначальная редакция подверглась ряду исправлений и дополнений, картины суда и встречи Нехлюдова с крестьянами в его имениях стали острее, но в основном сюжет и его наполнение почти не изменились. Работа над повестью прервана была затем на 2½ года. Возобновилась она в середине 1898 года, как известно, в связи с решением Толстого продать свою повесть, для того чтобы выручка от этой продажи послужила денежным фондом для переселения духоворов в Канаду. Толстой с огромной энергией взялся за обработку повести, и в процессе этой обработки в многочисленных рукописях и корректурах она превратилась в большой злободневный роман, характеризующийся широкой политической и социальной тематикой, показавший обнищавшее крестьянство, тюремные этапы, мир уголовных, сектантов, сибирскую ссылку и ее жертв — революционеров, давший обличительное изображение суда, церкви, администрации, аристократиче-

ской верхушки общества и всего вообще государственного и общественного строя царской России. Психологически неоправданный эпилог романа, в котором шла речь о женитьбе Нехлюдова на Катюше, был заменен гораздо более правдоподобным, в котором показано было действительное нравственное воскресение Катюши, соединившей свою судьбу со ссыльным революционером. Из редакции в редакцию повышалось художественное качество романа, сила и убедительность психологического анализа его персонажей. Черты натурализма, порой проскальзывавшие в черновых редакциях, в окончательном тексте были устранены. Срывая в романе «все и всяческие маски», Толстой обнаруживает в нем «самый трезвый реализм».

Не приходится сомневаться в том, что разительное увеличение обличительных элементов в романе в пору его подготовки к печати обуславливалось энергичной реакцией Толстого на преследования русским правительством вкупе с русской церковью духоворов. Эти преследования заставили его еще острее и напряженнее, чем было до этого, почувствовать и осознать уродливость всей системы самодержавного строя, в котором гонения на инаковерующих представлялись ему лишь частным случаем в общем порядке вещей. Толстой в эту пору особенно интересуется материалами, характеризующими систему административных репрессий царского правительства. Он обращается за различными справками по этому поводу к своим знакомым юристам, в частности к В. А. Маклакову и Н. В. Давыдову, дважды приходит на квартиру к надзирателю московской Бутырской тюрьмы Виноградову для получения сведений о тюремном режиме, вероятно, сам посещает Бутырскую тюрьму, просит С. Ф. Русову описать свое заключение в Харьковской тюрьме и пользуется этим описанием для рассказа политической арестантки Ранцевой о своем сидении в тюрьме. С такими же просьбами обращается Толстой в то же время к Э. Г. Рубан-Щуровской, сидевшей в Петропавловской крепости, и к другим лицам. Для эпизода казни Лозинского и Ро-

¹ Насколько эта ранняя редакция «Воскресения» далека еще от окончательного текста, можно судить по тому, что текст ее, опубликованный впервые пишушим эти строки в 1933 году, был переведен на французский язык под произвольным названием «Le cas de conscience» и с рекламным заявлением на особой обертке: «Прекрасный роман Толстого. Неизданный» и с таким же рекламным заявлением, что рукопись романа найдена была в подвалах одного из флигелей Ясной Поляны.

зовского, повешенных в 1880 году, Толстой пользуется рукописными воспоминаниями неизвестного лица, переписанными для него Н. Н. Ге-младшим, как-раз в связи с работой Толстого над «Воскресением». Кроме того, он читает книги о тюрьме и ссылке Ядринцева, Мельшина и Кеннана.

Отдельные эпизоды романа, имеющие разоблачительный характер, подсказывались Толстому фактами текущей действительности, с которыми ему приходилось соприкасаться. Так, в предпоследнюю, пятую редакцию «Воскресения» он ввел эпизод с обезумевшей женщиной, заключенной в Петропавловскую крепость, отчаянно визжащей и бьющейся головой о стену. Влияние этот Толстой внес в роман под влиянием полученного им известия о самосожжении М. Ф. Ветровой в Трубецком бастионе Петропавловской крепости в феврале 1899 года. Толстой познакомился с Ветровой незадолго до ее смерти, и весть о ее гибели очень взволновала его, что явствует из его писем к Кони и к Черткову. В окончательном тексте этот эпизод был исключен, видимо, потому, что нарисованная Толстым картина человеческих страданий показалась ему слишком обнаженно-реалистической.

Рассказ о хлопотах Нехлюдова в Петербурге по делу сектантов своей реальной подкладкой имеет хлопоты самого Толстого в 1897—1898 годах о судьбе самарских молокан, у которых были отняты дети с целью обезопасить их от влияния родителей. Он дважды в связи с этим письменно обращался к Николаю II, просил о содействии Кони и напечатал свой протест в газете «Санкт-Петербургские Ведомости», а затем по этому делу ездил в Петербург к Победоносцеву, выведенному в романе под фамилией Топорова, дочь Толстого Татьяна Львовна. Свидание Т. Л. Толстой с Победоносцевым, описанное ею в своем дневнике, в ряде подробностей совпадает с тем, что говорится о свидании с Топоровым Нехлюдова.

Уже в последние корректуры конца романа Толстой внес эпизод на пароме, в котором выступает фигура старика-сектанта. Материалом для этого эпизода

послужило Толстому письмо к нему сектанта-бегуна А. В. Власова, полученное Толстым в октябре 1899 года. То, что говорит сектант в романе, иногда буквально совпадает с собственными словами Власова в его письме.

Любопытна даже следующая мелкая подробность. В «Воскресении» среди арестантов, находящихся в камере вместе с Катюшей, упоминается сторожиха при железнодорожной будке, отбывающая наказание за то, что она не вышла с флагом к поезду, отчего произошло несчастье. В письме к председателю московского окружного суда Н. В. Давыдову Толстой, также в период работы над «Воскресением», писал: «Подательница сего обвинения в окружном суде за то, что не исполнила своих обязанностей в будке на железной дороге, и вследствие этого раздавило человека. Как вы думаете, опасно ли ее положение? И следует ли ей брать адвоката? И как бы ей помочь?»

Желание писать роман «широкий, свободный, вроде «Анны Карениной», о чем писал Толстой в цитированных выше строках его письма к Русанову, роман, в который свободно вошло бы все, что казалось Толстому понятным им «с новой, необычной и полезной людям стороны», и о котором он думал, как видно из приведенной дневниковой записи, в 1891 году, — осуществлено было созданием «Воскресения», объединившего, как и хотел Толстой, его разрозненные художественные замыслы. Но оставался еще один замысел, очень притягивавший к себе Толстого еще с 70-х годов — замысел о крестьянах-переселенцах, «русских Робинзонах», на новых местах строящих новую жизнь. И вот Толстой, пытавшийся раньше связать эту тему то с «Декабристами», то с романом из эпохи Петра I, задумывает теперь привязать ее к «Воскресению», развив ее во второй части романа. Уже через полгода после его напечатания он делает пока еще неясную для нас запись в дневнике: «Ужасно хочется писать художественное, и не драматическое, а эпическое продолжение «Воскресения»: крестьянская жизнь Нехлюдова». Но через несколько лет, в 1904 году, Тол-

стой в дневниковой записи уже более определенно раскрывает свой замысел: «Был в Пирогове... Дорогой увидал дугу, связанную лыком, и вспомнил сюжет — Робинзона — сельского общества переселяющегося. И захотелось написать 2-ую часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка, и все на фоне Робинзоновской общины». Но к осуществлению этого замысла Толстой даже не приступал.

Как и Пушкин, Толстой, принимаясь за художественную работу, особенно за большое полотно, «даль свободного романа... еще неясно различал». Нужно было сжиться со своими героями, внутренне их освоить, чтобы ясно себе их представить. «Точно так же, как узнаешь людей, живя с ними, — писал Толстой в 1895 году в дневнике, в связи с работой над «Воскресением», — узнаешь свои лица поэтические, живя с ними».

Большая работа умственного и нравственного сознания и живой общественной инстинкт, всегда отличавшие Толстого, держали его мысль в постоянном напряжении и открывали перед ним такие горизонты в его творческом труде, о которых он первоначально и не догадывался. «Знаете ли вы, — говорил он А. В. Жиркевичу, — что я очень часто сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги». «Я сам не ожидал, — писал он в 1898 году Бирюкову по поводу работы все над тем же «Воскресением», — как много можно сказать в нем о грехе

и бессмыслице суда, казней». Еще раньше, в «Послесловии» к «Крейцеровой сонате», он признавался: «Я никак не ожидал, что ход моих мыслей приведет меня к тому, к чему он привел меня. Я ужаснулся своим выводам, хотел не верить им, но не верить нельзя было».

Толстой в своей деятельности старался, как мог, осуществлять им самим предписанное писателю правило — стремиться понять то, что «свойственно всему человечеству», «жить не эгоистичною жизнью, а быть участником в общей жизни человечества»; он любил свои темы и говорил только о том, о чем не мог молчать. И благодаря всему этому, подлинная, живая человеческая жизнь, настоящие, не выдуманные человеческие интересы, как их понимал Толстой, бурно вторгались в его художественные замыслы и обогащали их материалом, связанным с животрепещущими и насущными вопросами, которыми жило современное ему общество.

Пусть не во всех своих суждениях о том, что необходимо всему человечеству, был прав Толстой, пусть он был сильнее в своей отрицательной критике, чем в положительных утверждениях, — важен самый принцип писательской деятельности Толстого. Этот принцип заключался в стремлении в конечном счете отозваться на все то, что могло волновать — в сфере нравственной и общественной — его читателей, писать так, чтобы ответить в совершенной художественной форме на самые серьезные и самые важные, с его точки зрения, проблемы, какие выдвигала жизнь. В этом непреерекаемое величие Толстого — человека и художника.

Мицкевич и его русские друзья

М. А. ЦЯВЛОВСКИЙ

★

«Мы его получили от вас сильным, а возвращаем могучим» — сказал поэт Козлов друзьям Мицкевича перед его отъездом из Петербурга за границу. Действительно, четыре с половиной года, проведенные Мицкевичем в России, — период огромной важности в жизни и творчестве великого польского поэта.

С мрачными мыслями ехал он — административно высланный — из родной Литвы в чужой Петербург.

По снегу, в глушь дичающего края,
Как вихрь, летит кибитка, чуть мелькая;
Мои глаза, как пара соколов,
Подхваченных могучим ураганом,
Кружат над беспредельным океаном,
Кружат — и не находят берегов,
И средь стихии чуждой и безбрежной
Им кажется погибель неизбежной¹.

Так вспоминал впоследствии Мицкевич свои первые впечатления по пути из Вильны в Петербург. Как бы в оправдание этих предчувствий, северную столицу изгнанник увидел 9 ноября 1824 года в необыкновенном, страшном состоянии хаоса — накануне произошло великое наводнение, когда «возмущенная стихия» грозила снести с лица земли огромный город.

О жизни Мицкевича в Петербурге, где он пробыл в этот приезд немногим более двух месяцев, известно очень мало достоверного, в частности не сохра-

нилось ни одного письма поэта за это время. Лица, с которыми Мицкевич теснее общался, были поляки, и в первую очередь воспитанники Виленского университета — Пшецлавский и О. И. Сенковский. Через последнего, а возможно и через Булгарина, Мицкевич познакомился с А. А. Бестужевым и Рылеевым. Из дневника Бестужева узнаем, что у него Мицкевич со своими товарищами, Ежовским и Малевским, провел вечер накануне нового 1825 года. С Бестужевым и особенно с Рылеевым, владевшим польским языком и переведшим часть баллады Мицкевича «Lilie», последнего сближали в первую очередь литературные интересы. Несомненно, что кроме Бестужева и Рылеева Мицкевич познакомился и с другими декабристами, но с кем именно, остается неизвестным.

В одной из своих парижских лекций о славянских литературах (1842) Мицкевич дал в общем отрицательную характеристику движению декабристов, внушенную ему теми морально-мистическими идеями, во власти которых он тогда находился. Но и в этой характеристике он признает, что «тайные общества создавались из самых благородных, самых сильных, полных воодушевления, самых чистых представителей русской молодежи. Никто не имел в виду личных корыстных целей, никто не выступал из-за личной ненависти». Разделяя Мицкевича с декабристами самый для него важный вопрос — о взаимо-

¹ Перевод В. М. Фишера. «Голос минувшего», № 5—6, 1917, стр. 6.

отношении России и Польши, — и тут согласия между ними не было. Но, несмотря на эту в лучшем случае недоговоренность, отношения, по крайней мере между польским поэтом и Рылеевым, остались дружеские, о чем свидетельствует следующая приписка последнего в письме А. А. Бестужева к В. И. Туманскому от 15 января 1825 года, посланном с Мицкевичем, уезжавшим в Одессу: «Милый Туманский, полюби Мицкевича и друзей его Малевского и Ежовского: добрые и славные ребята. Впрочем, и писать лишнее: по чувствам и образу мыслей они уж друзья, а Мицкевич к тому же и поэт — любимец нации своей».

О знакомствах с русскими в Одессе, где Мицкевич прожил с февраля по ноябрь 1825 года (включая поездку осенью в Крым), тоже не имеется свидетельств, и лишь с приездом из Одессы в Москву в декабре этого года Мицкевич заводит обширные знакомства среди русской интеллигенции.

Причисленный к канцелярии московского генерал-губернатора и фактически не исполнявший никаких служебных обязанностей, Мицкевич в первые месяцы своего пребывания в Москве с декабря 1825 года жил со своими товарищами по ссылке — Малевским, Ежовским и Будревичем — в замкнутом кругу соотечественников. Первыми из русских писателей, с которыми познакомился Мицкевич в Москве, были братья Полевые.

Ксенофонт Полевой довольно подробно рассказал в своих записках о встречах с Мицкевичем в Москве и в Петербурге и дал такую характеристику поэта:

«Все, кто встречал у нас Мицкевича, вскоре полюбили его не как поэта (ибо очень немногие могли читать его сочинения), но как человека, привлекавшего к себе возвышенным умом, изумительною образованностью и особенно, какою-то простодушною, только ему свойственною любезностью. Ему тогда не могло быть тридцати лет. Наружность его была истинно прекрасна. Черные, выразительные глаза; роскошные черные волосы, лицо с ярким румянцем; довольно длинный нос, при-

знак остроумия; добрая улыбка, часто являвшаяся на его лице, постоянно выражавшем задумчивость, — таков был Мицкевич в обыкновенном, спокойном расположении духа; но когда он воодушевлялся разговором, глаза его воспламенялись, физиономия принимала новое выражение, и он бывал в эти минуты увлекателен, очаровывая притом свою речь: умною, отчетливою, блистательною, несмотря на то, что в кругу русских он обыкновенно говорил по-французски. Доказательством необыкновенных его способностей может служить легкость, с какою он усваивал себе иностранные языки. Все знают, до какой степени обладал он французским языком, на котором впоследствии был литератором; но он свободно говорил также на немецком языке; в знании латинского и греческого отдавал ему всю справедливость знаток этих языков г. Ежовский, известный филолог, друг и, кажется, соученик его. Я упомянул, что вскоре по приезде в Москву Мицкевич почти не знал русского языка; через год он говорил на нем совершенно свободно, и, что особенно трудно для поляка, говорил почти без акцента, не сбиваясь на свой родной выговор. Кроме того, он знал языки: английский, итальянский, испанский и, кажется, восточные. Начитанность его была истинно изумительна. Казалось, он прочитал все лучшее во всех литературах. О каком бы поэте и славном писателе ни зашла речь, он знал его, читал с размышлением, цитировал его стихи или целые страницы».

Н. А. Полевой в своем «Московском Телеграфе», этом боевом органе воинствующего романтизма, явился горячим пропагандистом польского поэта. Перепечатав в № 15 журнала (от 2 октября 1826 г.) статью о польской литературе из варшавского журнала, он снабжает ее примечанием о Мицкевиче, «которого с восторгом читает вся Польша и который не известен русским читателям. Юный поэт сей заслуживает европейскую славу по его сильным, пламенным стихотворениям...»

У братьев Полевых Мицкевич познакомился с приятелем Пушкина Соболев-

ским и, вероятно, с Вяземским. Последний жил в 1818 — 1821 годах в Варшаве, тесно общался там с писателями и овладел польским языком. По выходе в свет в Москве в декабре 1826 года сборника «Society» Мицкевича, Вяземский поместил в «Московском Телеграфе» (№ 7, 30 апреля 1827 г.) своей прозаический перевод двадцати двух сонетов из этого сборника, сопроводив его статьей. В ней он выражал желание, чтобы сонеты Мицкевича явились первым шагом к братскому сближению русского и польского народов, которое поможет им «слиться в чертах коренных своего происхождения и нынешнего соединения». Приведя в заключение сонет «Плавание», переведенный Дмитриевым, Вяземский призывал Пушкина и Баратынского «освятить своими именами желаемую дружбу между русскими и польскими музами». Об этом писал и сам Мицкевич Одынку 1 апреля 1827 года:

«Тут в Москве известный князь Вяземский перевел их (сонеты) на русский язык и они скоро появятся в «Телеграфе» с очень лестной для меня рецензией; позднее они будут напечатаны вместе с текстом. Выдающийся поэт, старый Дмитриев оказал мне честь и сам перевел один из сонетов»¹.

Важно отметить, что тот же Вяземский «свел», как он выражался, Мицкевича с «Нестором» польской литературы, известным поэтом Немцевичем. При письме Вяземского к Немцевичу было послано к последнему и письмо Мицкевича (от 11 ноября 1827 г.), на которое старый польский поэт любезно ответил.

Дружбе с Мицкевичем и высокой оценке его творений Вяземский остался верен до конца своей жизни. Вот как он вспоминал о знакомстве своим с поэтом через сорок с лишним лет:

«Всё в Мицкевиче возбуждало и привлекало сочувствие к нему. Он был очень умен, благовоспитан, одушевлен в разговорах, обхождения утон-

ченно-вежливого. Держался он просто, то-есть благородно и благоразумно, не корчил из себя политической жертвы; не было в нем и признаков ни заносчивости, ни обрядной уничижительности, которые встречаются (и часто в совокупности) у некоторых поляков. При оттенке меланхолического выражения в лице, он был веселого склада, остроумен, скор на меткие и удачные слова. Говорил он по-французски не только свободно, но изящно и с примесью иноплеменной поэтической оригинальности, которая оживляла и ярко расцветивала речь его. По-русски говорил он тоже хорошо, а потому мог он скоро сблизиться с разными слоями общества. Он был везде у места: и в кабинете ученого и писателя, и в салоне умной женщины, и за веселым приятельским обедом. Поэту, то-есть степени и могуществу дарования его, верили пока на слово и понаслышке; только весьма немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича человека. Между тем он в тишине продолжал свои поэтические занятия. Замечательно, что многие из них напечатаны в Москве и в Петербурге и, разумеется, с одобрением цензуры».

Через Соболевского, который сразу подружился с Мицкевичем, — познакомился в октябре 1826 года с Мицкевичем и Пушкин. Что это знакомство произошло не раньше этого времени, свидетельствует письмо приятеля Мицкевича Малевского от 15/27 сентября 1826 года к сестрам, в котором, сообщая о неожиданном приезде в Москву из ссылки Пушкина (8 сентября), он ничего не говорит о знакомстве с ним.

С другой стороны, вероятно, на каком-то вечере, когда присутствовавшие были заняты слушанием какого-то произведения, Соболевский на клочке бумаги написал Мицкевичу: «Не забудь же притти, kochany (коханный) Адам. Я объявил о нашем приходе Пушкину. С ним случится удар, если ты не придешь». Мицкевич отвечал на обороте этой записки: «Мор и глад на вас, до-

¹ Здесь и дальше цитаты из писем Мицкевича даны в переводе текста, помещенного в т. XIII варшавского издания Собрания сочинений Мицкевича 1936 года.

рогой Демон! Да пошлет господь бог на тебя худобу. — Я приду, но ради этого пропущу обед с очаровательной женщиной.

Твой Адам.

Если ты получишь мою вчерашнюю записку, посланную со слугой доктора Геймана, — ответь, что наш обед должен непременно состояться». (Обе записки написаны на французском языке.)

Из записки Соболевского ясно, что он уже до этого уговорился с Мицкевичем прийти вместе к Пушкину, который по приезде в Москву из Михайловской жил в гостинице «Европа» на Тверской.

Когда у Погодина, по случаю организации нового журнала московских «любомудров» — «Московского Вестника», — явилась мысль собрать «всех наших по образу мыслей, занятий, духу», то он пригласил на обед в доме Хомяковых в числе этих лиц и Мицкевича. В дневнике Погодина под 24 октября записано: «Общий обед — очень приятно было взглянуть на всех вместе. Неловко представился Баратынскому. Обед — чудно, но жаль, что общего разговора не было. С удовольствием пили за здоровье Мицкевича, потом Пушкина».

Вероятно, в это же время Мицкевич был введен в знаменитый салон кн. З. А. Волконской, собиравшей у себя избранный кружок писателей, артистов, музыкантов, художников. Одна из комнат, отделанная колоннами, статуями и вазами в античном стиле, воспета Мицкевичем в стихотворении «Греческая комната». При посылке З. Волконской сборника своих сонетов Мицкевич написал ей стихотворное посвящение, им же самим переведенное французской прозой. Возможно, что на одном из вечеров у Волконской Мицкевич выступал с той самой импровизацией, о которой восторженно писал приятель Мицкевича Одынец Корсаку 9/21 мая 1829 года из Петербурга:

«Мицкевич несколько раз выступал с импровизациями здесь и в Москве; хотя были они в прозе и к тому же на французском языке, но вызвали удивле-

ние и восторг слушателей. Ах, ты помнишь его импровизации в Вильне! Помнишь то подлинное преобразование лица, тот блеск глаз, тот проникающий голос, от которого тебя даже страх охватывает, как-будто через него говорит дух. Стих, рифма, форма — ничего тут не имеет значения. Говорящим под наитием духа дан был дар всех языков или, лучше сказать, тот таинственный язык, который понятен всякому. На одной из таких импровизаций в Москве Пушкин, в честь которого давался тот вечер, сорвался с места и, ероша волосы, почти бегая по зале, воскликнул: «*Quel génie! Quel feu sacré! Que suis-je auprès de lui!*»¹ и, бросившись на шею Адама, сжал его и стал целовать, как брата. Я знаю это от очевидца. Тот вечер был началом взаимной дружбы между ними!»

Когда Пушкин в ночь с 19 на 20 мая 1827 года уезжал в первый раз после ссылки из Москвы в Петербург, Мицкевич был на вечеринке в честь отъезжающего поэта в числе самых близких знакомых Пушкина.

Очень глубоко оценил Мицкевича и как человека и как поэта Баратынский. Когда, в связи с самовольными публикациями в Варшаве импровизаций и Крымских сонетов, в польской прессе стали появляться враждебные критические статьи и заметки о Мицкевиче, чрезвычайно его раздражавшие, — Баратынский обратился к нему с таким стихотворением:

Не бойся едких осуждений,
Но упоительных похвал:
Не раз в чаду их мощный гений
Сном расслабленья засыпал.

Когда, доверясь их измене,
Уже готов у моды ты
Взять на венок своей Камене
Ее тафтяные цветы,

Прости: я громко негодую;
Прости, наставник и пророк,
Я с укоризной указую
Тебе на лавровый венок.

Когда по ребрам крепко стиснут
Пегас удалым седоком,

¹ Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним?

Не горе, ежели прихлыстнут
Его критическим хлыстом¹.

Близким человеком стал польский поэт и у А. П. Елагиной, жившей в особняке у Красных ворот, почему салон ее был прозван «Красноворотской республикой», где Мицкевич сблизился и со старшим сыном Елагиной Иваном Васильевичем Киреевским. Сблизился он и с Веневитиновыми.

В свете всего приведенного становятся понятными такие строки в письме Мицкевича к Одыицу от марта 1827 года из Москвы:

«... Хотел бы сообщить кое-что о здешней литературе. В России два литературных лагеря — петербургский и московский. Их органами, вернее складом их произведений и взглядов, являются журналы. Московский лагерь берет теперь верх и делится в свою очередь на партии. Самый старый журнал «Вестник Европы», прежде редактировавшийся Державиным² и Жуковским, ведется Каченовским, но потерял свое влияние; печатает теперь почти только статистические и исторические статьи; у него кажется 500 подписчиков. Несколько лет как появился «Телеграф», немного уже знакомый тебе, редактируемый дельно, заботливо и совсем не по-нашему. Редакция журнала хорошо обеспечена новыми изданиями, массой газет и т. д. Главным редактором является Полевой, ему помогает известный писатель, очень остроумный — его знают в Варшаве — князь Вяземский. «Телеграф» имеет больше тысячи подписчиков. В этом году появился «Московский Вестник». Почти все молодые поэты и литераторы входят в редакцию; главный работник Погодин, но самой сильной опорой «Вестника» является Пушкин. Подробнее когда-нибудь напишу о нем; теперь только добавлю, что я знаком с ним, и мы часто видимся. Пушкин почти одного возраста со мной

(двумя месяцами моложе)¹, в разговоре очень остроумен и вдохновенен; читал много и хорошо знает новейшую литературу, о поэзии у него чистые и возвышенные понятия. Только-что написал «Бориса Годунова»; я знаю несколько сцен исторического характера; хорошо задуманные и прекрасные детали. Но мне кажется, я писал уже об этом тебе или кому-то другому...»

Еще более красноречиво выразил великий поэт свое отношение к русской и польской литературе в письме к Одыицу от конца октября 1827 года из Москвы. Сообщая о том, что «Конрад Валленрод» окончен, Мицкевич пишет:

«Происходят затруднения с цензурой, потому что Каченовский больше не исполняет этих обязанностей, а никто другой польского языка не знает. Вероятно, я поеду в Петербург. Хотел бы печататься в Москве. Варшава и далеко, и трудно с ней связаться, и продажа невелика. В Киеве 100 экз. «Сонетов» разошлись в неделю, столько же в Петербурге, даже больше. Повидимому, у вас моя слава не слишком-то привлекает людей в книжную лавку, хотя Валериан (Красинский), чтобы меня утешить, сваливает вину на формат «Сонетов». Поэтому в дальнейших литературных предприятиях моих Варшава будет на втором плане.... Что делает Залесский? зачем он переводит стихи Козлова, очень посредственного поэта, когда никто не хочет прикоснуться к Гете, когда столько сочинений Байрона не переведено? Ради бога, бросьте вы переводить второстепенных поэтов! Где теперь, кроме Варшавы, еще переводят Легувэ и Делиля и, что еще хуже, Мильвуа и т. под. Русские покачивают головами от жалости и удивления! Ведь мы отстали в литературе на целый век! Здесь каждое новое маленькое стихотворение Гете вызывает всеобщий энтузиазм, сейчас же переводится и комментируется. Каждый новый роман Вальтер Скотта немедленно идет по рукам, всякое новое философское сочинение немедленно появляется в книжной лавке;

¹ Стихотворение появилось в № 3 «Московского Телеграфа» за 1827 год, вышедшем в свет около 26 февраля.

² Мицкевич ошибочно вместо Карамзина назвал Державина.

¹ Небольшая неточность: Пушкин был моложе Мицкевича пятью месяцами.

а у нас! Почтенный Дмоховский признает Георгики Козьмяна за идеал польской поэзии!»

В этой горькой характеристике довольно жалкого состояния польской литературы звучит голос истинного патриота, потому что недовольство своим часто красноречивее свидетельствует о чувстве любви к родине, чем безоговорочное восхваление всего своего.

В первых числах декабря 1827 года Мицкевич поехал в Петербург, чтобы печатать своего «Конрада Валленрода» и хлопотать о разрешении издавать в Москве польскую литературную газету «Iris». Были у него и планы возвращения на родину¹.

У А. П. Елагиной заручился он рекомендательным письмом к Жуковскому. На это письмо Жуковский отвечал племяннице:

«Ваш Мицкевич был у меня. Мне он очень по сердцу. Он должен быть великий поэт. Я ничего из творений его не знаю; но то, что он прочитал мне в плохой французской прозе из своего вступления поэмы, им конченной, превосходно. Если бы я теперь писал или имел время писать, я бы тотчас кинулся переводить эту поэму. Дышит жизнью Вальтер Скотта» (письмо от 17 декабря 1827 г.).

Добиваясь разрешения на поездку в Польшу, Мицкевич обратился к помощи Пушкина. В Архиве III Отделения оказался один из самых замечательных документов, написанных Пушкиным. Условно «прощенный» царем, сам недавно лишь по специальному разрешению приехавший в Петербург, поэт, с никогда ему не изменявшим чувством дружелюбия, написал в III Отделение записку, в которой ходатайствовал об опальном поэте. И на этот раз все эти хлопоты остались безуспешными.

Это кратковременное (менее двух месяцев) пребывание в Петербурге ознаменовалось, можно сказать, рядом триумфов Мицкевича, которыми сопровождалась его поистине изумитель-

ные импровизации. Мицкевич импровизировал в течение четырех декабрьских вечеров в кругу соотечественников, среди которых были двое — Лев Сапега и Ленский, приехавшие из Варшавы. Для них Мицкевич импровизировал даже трагедию на тему из польской истории. Один из очевидцев передавал любопытную подробность, что Мицкевич любил импровизировать на мелодии арий Моцарта из «Дон Жуана» и «Свадьбы Фигаро».

Н. Малевский писал (28 декабря 1827 года) Лелевелю: «Приезд его в Петербург вызвал небывалую сенсацию. Русские и поляки наперерыв спешат проявить ему свое уважение. У нас здесь постоянная масляница: обеды, продолжающиеся за полночь, следуют один за другим, и принимать все приглашения Мицкевич не успевает. Он часто не знает, какое приглашение принять. Он довел свой импровизаторский талант до баснословного совершенства».

Сам же поэт о своих успехах в Петербурге писал очень скромно Зану уже из Москвы (3 апреля 1828 г.):

«Ты должен знать, что мы были с Францем в Петербурге. Моя литературная слава, которая распространяется в Москве и благодаря многим переводам «Сонетов» все растет, была причиной того, что мне всюду был оказан радушный прием. Земляки, живущие в столице, и приезжие устроили мне роскошный ужин; импровизации, пение и т. д. напомнили мне развлечения юных лет. Потом я стал получать ежедневные приглашения в разные места, и время прошло довольно приятно, за исключением только грустного и тяжкого свидания с братом Егором, дурное поведение которого отняло у меня много здоровья. Познакомился я в Петербурге с русскими писателями Жуковским, Козловым и др., и некоторые из них проявили в отношении меня искреннее доброжелательство.... Дни мои проходят однообразно, утром читаю, иногда — изредка — пишу, в два или три часа обедаю или одеваюсь, чтобы ехать к кому-нибудь обедать; вечером бываю в концертах либо в другом месте, обычно

¹ Первая попытка уехать в Польшу, сделанная Мицкевичем вместе с его другом Малевским в августе 1826 года, не имела успеха.

поздно возвращаюсь домой. Учю нескольких дам польскому языку. Скажу в скобках, многие здесь учатся по-польски, и попечитель, говорят, намерен учредить кафедру в университете. Я бы мог ее занять, но, не имея в виду остаться в Москве, я пренебрег этим делом».

В Москве Мицкевич сразу попал на ужин к Соболевскому в честь гостившего здесь Дельвига, а 2 февраля завтракает у Погодина вместе с Вяземским, Хомяковым, А. В. Веневитиновым, Раичем, Полевыми. В письме Вяземского к жене от 8 февраля находим интересный рассказ об импровизации Мицкевича на вечере у Залеской, где была «вся польская колония».

21 числа того же месяца произошло крупное событие не только в жизни Мицкевича, не только в истории польской литературы, но и в истории Польши: в Петербурге вышла в свет поэма «Конрад Валленрод». Появление ее вызвало новый прилив интереса к Мицкевичу среди русских. В «Московском Телеграфе» была помещена короткая рецензия, написанная, вероятно, Полевым, которая пророчила большое будущее поэту, «в таких юных летах» создавшему уже Дзядов, Крымские сонеты и Валленрода, доказавшему «торжество необыкновенного таланта над всеми неудобствами языка» — в самых трудных поэтических размерах.

Ксенофонт Полевой вспоминал: «Многочисленный круг русских читателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка, то-есть знал ее содержание, изучал подробности и красоты ее. Это едва ли не единственный в своем роде пример! Но он объясняется общим вниманием петербургской и московской публики к славному польскому поэту, и, как в Петербурге много образованных поляков, то знакомые обращались к ним и читали новую поэму Мицкевича в буквальном переводе».

В четырех номерах «Московского Вестника» с апреля печатается прозаический перевод поэмы, принадлежащий Шевыреву. Этот перевод был сурово

встречен в «Московском Телеграфе» неким «А. К-ий», который назвал поэму Мицкевича «одним из блистательных явлений литературы нашего времени».

В хоре похвал «Конраду Валленроду» снова раздался голос Баратынского, увидевшего в поэме Мицкевича слишком большую зависимость от Байрона. Снова посылает он упрек польскому поэту, но, как и в первом стихотворении, необыкновенно восхваляя его:

Не подражай: своеобразен гений
И собственным величием велик;
Доратов ли, Шекспиров ли двойник,
Досаден ты: не любят повторений.
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он!
Когда тебя, Мицкевич вдохновенный,
Я застаю у Байроновых ног,
Я думаю: поклонник униженный!
Встань, встань и вспомни: сам ты бог!

По приезде из Петербурга в Москву Мицкевич так писал Одынцу о своих успехах у русских: «Хотел бы послать тебе русские переводы моих стихов. Пришлось бы сделать большой пакет. Во всех почти альманахах (альманахов здесь выходит множество) фигурируют мои сонеты; они имеются уже в нескольких переводах. Один, как-будто лучший, это Козлова (того, что написал «Венецианскую ночь»), печатается частями, скоро должен выйти книжкой.

Жуковский, с которым я познакомился и который очень расположен ко мне, писал, что если он возьмется за перо, то посвятит его переводу моих стихов. Пушкин перевел начало «Валленрода», десяток-другой строк. Русские распространяют свое гостеприимство и на поэзию, и из любезного отношения ко мне переводят меня; рядовые писатели идут по стопам первых. Уже видел русские сонеты в духе моих. Вот какая слава, пожалуй, ее достаточно, чтобы возбудить зависть, хотя слава эта часто выходит из-за стола, за которым едим и пьем с русскими писателями. Имел счастье снискать их благорасположение. Несмотря на различные умонастроения и литературные взгляды, я со всеми в согласии и дружбе». (Письмо от 22 марта 1828 года.)

Как нельзя лучше подтверждается эта характеристика взаимоотношений, установившихся между Мицкевичем и русскими писателями, новым чествованием с их стороны польского поэта.

В этот приезд Мицкевича в Москву, русские его друзья в первых числах апреля в квартире Соболевского дали ему прощальный ужин. На ужине поэту был поднесен серебряный вызолоченный кубок с вырезанными подписями Баратынского, И. и П. В. Киреевских, их отчима А. А. Елагина, Н. М. Рожалина, Н. А. Полевого, Шевырева и Соболевского. И. Киреевский прочел стихи в честь Мицкевича, трогательно говорящие о той дружбе, которая связывает поднесших кубок с уезжающим поэтом.

Мицкевич в ответ на стихи по обыкновению импровизировал по-французски. Воспользовавшись образом Гомера, с которым сравнил его один из присутствовавших, Мицкевич описал странника, погибающего в чужом краю. Хозяин, который поместил его в своем доме, ничего не нашел у него, кроме открытого плащом кубка.

Он сам говорил, что был удивлен плавностью и размеренностью своей французской импровизации.

Об этом чествовании его писал Мицкевич Одынцу:

«Выехал из Москвы не без сожаления. Жил я там спокойно, без особых радостей и горестей. Перед отъездом писатели устроили в мою честь прощальный вечер (меня неоднократно баловали подобными сюрпризами). Были стихи и пение, преподнесли мне на память серебряный кубок с подписями всех присутствовавших. Я был глубоко тронут, импровизировал благодарность на французском языке, принятую с огромным одобрением. Провожали меня со слезами. Валленрод, переведенный прозой, печатается уже в «Московском Вестнике» (не у Каченовского в «Вестнике Европы»)». (Письмо от 28 апреля 1828 г.)

22 апреля 1828 года Мицкевич приехал в Петербург, где и пробыл около одиннадцати месяцев. Первые шесть месяцев этого периода — время наибо-

лее частых и значительных по содержанию встреч Пушкина и Мицкевича — расцвет их дружбы. Через два дня по приезде Мицкевича в Петербург Вяземский писал жене: «Мицкевич здесь; тоже хочет проситься в чужие края для поправки здоровья; но, вероятно, и ему откажут: такая полоса!» Накануне этого письма отказано было Пушкину в поездке в действующую армию на Дунае; в эти же дни Вяземскому было отказано в аналогичной просьбе.

Вскоре по приезде в Петербург Мицкевич в ресторане «Вокзал» в Екатерингофе дает московским и петербургским литераторам обед, на котором между другими присутствуют Пушкин, Вяземский, Н. А. Муханов, Ксенофонт Полевой.

30 апреля у Пушкина в трактире Демута состоялась вечеринка, подробно описанная в письме Вяземского к жене: «Третьего дня провели мы вечер и ночь у Пушкина с Жуковским, Крыловым, Хомяковым, Мицкевичем, Плетневым и Николаем Мухановым. Мицкевич импровизировал на французской прозе и поразил нас, разумеется, не складом фраз своих, но силою, богатством и поэзией своих мыслей. Между прочим, он сравнивал мысли и чувства свои, которые нужно выражать ему на чужом языке, с младенцем, умершим во чреве матери, с расплавленной лавой, горящей под землей, не имея вулкана, чтобы извергаться. Удивительное действие производит эта импровизация. Сам он был весь растревожен, и все мы слушали с трепетом и слезами».

Эта вдохновенная импровизация настолько врезалась в память Вяземского, что через 45 лет он так вспоминал о ней: «Импровизированный стих его свободно и стремительно вырывался из уст его звучным и блестящим потоком. В импровизации его были мысль, чувство, картины и в высшей степени поэтические выражения. Можно было думать, что он вдохновенно читает наизусть поэму, им уже написанную. Для русских приятелей своих, не знавших по-польски, он иногда импровизировал по-французски, разумеется, прозою, на заданную тему. Помню одну. Из свер-

нутых бумажек, на коих записаны были предлагаемые задачи, жребий пал на тему, в то время и поэтическую, и современную: приплытие Черным морем к одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха, убитого турецкою чернью. Поэт на несколько минут, так сказать, уединился во внутреннем святилище своем. Вскоре выступил он с лицом, озаренным пламенем вдохновения: было в нем что-то тревожное и прорицательное. Слушатели в благоговейном молчании были также поэтически настроены. Чуждый ему язык, проза, более отрезвляющая, нежели упоющая мысль и воображение, не могла ни подавить, ни остудить порыва его. Импровизация была блестящая и великолепная. Жаль, что не было тут стенографа. Действие ее памятно; но, за исключением положительных следов, впечатления непередаваемы. Жуковский и Пушкин, глубоко потрясенные этим огнедышащим извержением поэзии, были в восторге».

Анненков в своих «Материалах для биографии Пушкина» писал со слов П. А. Плетнева: «Подробности, находящиеся в стихотворении «Он между нами жил», все взяты из действительности. Лицо, к которому оно написано, отличалось даром импровизации и раз в самой квартире Пушкина, в Демутовом трактире, долго и с жаром говорило о любви, которая некогда должна связать народы между собою»¹.

Об этом же писал П. П. Дубровский в примечании к приведенным стихам: «От П. А. Плетнева я слышал, что эта мысль была выражена Мицкевичем в его речи на французском языке, которую он однажды импровизировал в дружеском кругу русских литераторов, в Петербурге».

В недавно опубликованных письмах Вяземского к жене за май и июнь 1828 года из Петербурга говорится о многократных встречах его с Мицкеви-

чем: 5 мая он обедает с ним у гр. Лаваль, 11 мая они на обеде у А. А. Петровского с Пушкиным, Крыловым и другими писателями, 15 мая Мицкевич обедает у Вяземской с пианисткой Марией Шимановской (на одной из дочерей ее впоследствии женился Мицкевич); 20 мая они в Приютино у Олениных, где был и Пушкин; 4 июня Вяземский на «прощальном обеде» у Мицкевича с Н. А. Мухановым. Кроме всех этих встреч Мицкевича с русскими писателями важно отметить чтение Пушкиным «Бориса Годунова» в салоне Лаваль, где были Вяземский, Грибоедов и Мицкевич. Читал трагедию в присутствии Мицкевича Пушкин и у Дельвига. Это можно предполагать на основании свидетельства барона Е. Ф. Розена, утверждавшего, что Пушкин исключил из «Бориса Годунова» сцену «Ограда монастырская» «по совету польского поэта Мицкевича и нашего покойного Дельвига».

Совершил Мицкевич и поездку в Кронштадт 25 мая с Пушкиным, Вяземским, Н. А. Мухановым и кн. С. Г. Голицыным. Собирался 12 мая Пушкин с Мицкевичем поехать к крестьянскому поэту Слепушкину, жившему под Петербургом, в селе Рыбацком. Неизвестно, состоялась ли эта поездка.

«Во время пребывания Мицкевича в Петербурге,—вспоминал Кс. Полевой,—была напечатана поэма его «Конрад Валленрод». Многочисленный круг русских почитателей поэта знал эту поэму, не зная польского языка... в буквальном переводе. Так прочел ее и Пушкин. У него был даже рукописный подстрочный перевод ее, потому что наш поэт, восхищенный красотами подлинника, хотел, в изъявление своей дружбы к Мицкевичу, перевести всего «Валленрода» своими чудесными стихами. Он сделал попытку: перевел начало «Валленрода», но увидел, как говорил он сам, что не умеет переводить, то-есть не умеет подчинить себя тяжелой работе переводчика. Свидетельством этого любопытного случая остаются прекрасные стихи, переведенные из «Валленрода» Пушкиным, не переведившим ничего...»

¹ Анненков не называет Мицкевича по условиям николаевской цензуры, так как после польского восстания 1831 года Мицкевич был фигурой одиозной в глазах русского правительства.

Перевод из «Валленрода» вышел в свет 2 января 1829 года в «Московском Вестнике» за 1829 год, часть I. Как бы в ответ на этот дар Пушкина, Мицкевич перевел стихотворение Пушкина «Воспоминание». Этот перевод вошел в собрание стихотворений Мицкевича «Роезуе», вышедшее в свет в феврале этого же 1829 года.

В последние дни пребывания своего в Петербурге Мицкевич для уезжавшего в Варшаву Жуковского составил меморандум о современных польских поэтах, заключающий в себе интереснейшие характеристики современных польских писателей. Этот меморандум одно из свидетельств все того же стремления Мицкевича сблизить русских писателей с польскими, которое заставило его составить проект газеты «Iris».

Из Петербурга Пушкин и Мицкевич выехали почти одновременно, в марте 1829 года, в Москву, где и происходили во второй половине марта — первых числах апреля их последние встречи. Из встреч Мицкевича перед отъездом навсегда из Москвы известны немногие.

Перед самым отъездом из Москвы, 6 апреля, он пишет прощальное посвящение Каролине Яниш (впоследствии известная поэтесса Павлова), которая была влюблена в поэта, не вызвав у него ответного чувства.

В дневнике Погодина от 21 марта записано: «К Мицкевичу. Свидание с удовольствием. О нашем просвещении. Россия непременно должна покровительствовать все славянские партии и этою мерою она привлечет к себе более, чем войсками».

В том же дневнике, в записи под 27 марта, читаем: «Завтрак у меня. Представители русской образованности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов. Разговор от (одно слово не разобрано) до евангелия без всякой последовательности, как и обыкновенно. Ничего не удержал, потому что не было ничего для меня нового, а надо бы помнить все пушкинское. Верстовскому и Аксакову не понравилось..... К Киреевскому..... Нечего было сказать о разговоре Пушкина

и Мицкевича кроме: предрассудок холоден, а вера горяча».

В последних числах марта вышла «Полтава» Пушкина, один экземпляр которой он подарил Мицкевичу. Возможно, что в эти же дни, в ответ на этот подарок, Мицкевич с своей стороны подарил Пушкину собрание сочинений Байрона в одном томе на английском языке, на котором написал польски: «Байрона Пушкину посвящает поклонник обоих — А. Мицкевич».

Вскоре после отъезда Мицкевича из России (он уехал из Петербурга 15 мая морем), в октябре—декабре этого года Пушкин вспомнил его в одной из крымских строф «Путешествия Онегина»:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пиллад,
Там заколося Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И, посреди прибрежных скал,
Свою Литву воспоминал.

В одном из черновиков назван он интимно:

Там мой Мицкевич вдохновенный.

Приведу и другие варианты рукописи:

Там пел Мицкевич вдохновенный,
Когда среди прибрежных скал
Стихи бессмертные слагал¹.

Вариант в другой рукописи:

Там пел изгнанник вдохновенный...

Снова как мастера сонета помянул Пушкин Мицкевича в своем «Сонете» (январь — 15 апреля 1830 г.):

СОНЕТ

Scorn not the sonnet, critic.
Wordsworth².

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камюэнс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,

¹ Было: Свои сонеты он слагал.

² Не презирай сонета, критик. Вордсворт.

зародыши будущих его произведений. Он любил касаться высоких религиозных и общественных вопросов, которые и не снились его землякам. Очевидно, в нем происходило какое-то внутреннее перерождение. Как человек и как художник он, без сомнения, изменил бы предшествующую манеру творчества; вернее сказать, он нашел бы свою собственную. Он перестал даже писать стихи, издав только несколько исторических сочинений, которые можно считать как бы подготовительной работой. Что готовил он? Развивал ли он только свою эрудицию в этом отношении? Несомненно, нет! Он презирал авторов, пишущих бесцельно; он не любил философского скептицизма и артистического равнодушия, какое видел в Гете. Что творилось в его душе? Рождались ли в ее тиши стремления, одухотворяющие произведения Манцони или Пеллико, плодотворные размышления Томаса Мура, тоже умолкнувшего? Может быть, творческий дух его работал над тем, чтобы воплотить в себе идеи, вроде идей Сен-Симона или Фурье? Не знаем. В мелких его стихотворениях и в разговорах можно было наметить признаки обоих указанных направлений...

Пушкин, в котором читатели восхваляли поэтический его талант, поражал слушателей живостью, ясностью и изяществом своего ума. Он обладал необыкновенной памятью, здравым суждением и изысканным вкусом. Слушая, как он говорил об иностранной политике или о политике своей родины, можно было бы думать, что это говорит муж, посевший в государственных делах, читающий ежедневно отчеты всех парламентов. Создал он себе эпиграммами и сарказмами много врагов, которые мстили ему, клеветая на него. Я знал русского поэта близко, в течение достаточно продолжительного времени, и видел в нем человека впечатлительного, иногда легкомысленного, но неизменно искреннего, благородного, открытого.

Недостатки его объяснялись той общественной средой, в которой он жил, но в то, что было в нем хорошего, имело источником его собственное сердце. Умер Пушкин на тридцать восьмом году жизни».

Чуждая какой-либо полемике, благородная по тону статья эта, делающая честь уму и сердцу великого польского поэта, освящена теми «правдою и миром», о которых писал Пушкин в своем стихотворении, посвященном Мицкевичу.

Московские писатели, с которыми общался в 20-х годах Мицкевич, не забыли и чтли его в тяжелые годы мрачной николаевской реакции. В «Былом и думах» Герцен вспоминал:

«В Москве, на публичном обеде, данном Грановскому в 1843 году, Хомяков поднял бокал со словами «за великого отсутствующего славянского поэта!» Имени (которое не смели произнести) не было нужно: все встали, все подняли бокалы и, стоя в молчании, выпили за здоровье изгнанника».

П. И. Бертенев рассказал и о еще более замечательном факте: «Пришло известие, что Мицкевич, больной и несчастный, живет в крайней бедности в Батиньоле под Парижем. По мысли Хомякова, собрано было пять тысяч рублей и послано к Мицкевичу, без малейшей огласки. Случайно нам довелось узнать об этом от того самого лица, которое, отъезжая за границу, получило от Хомякова эти деньги для доставления Мицкевичу. Не нарушая скромности еще здравствующих участников прекрасного дела, назовем только умерших: это были, кроме главного жертвователя Хомякова, Баратынский и Шевырев. Мицкевич, по словам доставителя, был изумлен и тронут; обливаясь слезами, он принял московский дар».

Гордый и неподкупный в полном смысле этого слова, великий польский поэт никогда не принял бы никакой помощи, если бы не считал пославших близкими своей душе.

Маяковский до Октября

А. КОЛОСКОВ

★

Начало литературной деятельности В. В. Маяковского, как известно, относится к эпохе, непосредственно предшествовавшей Великой Октябрьской социалистической революции. Впервые его поэтический голос зазвучал в те годы, когда на смену темной реакции пришел новый революционный подъем, приведший к ниспровержению самодержавия, а затем и всего помещичье-капиталистического строя в России, и к установлению диктатуры пролетариата. Отсюда совершенно ясно то огромное значение, какое имеет для понимания Маяковского, ставшего после Октября лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, изучение его дореволюционного творчества.

★

Когда Маяковский пришел в литературу, ему было всего-навсего девятнадцать лет. Несмотря на это, за его плечами уже был большой жизненный опыт, определенная школа, несомненно, оказавшая огромное влияние на творчество поэта и во многом предопределившая как его исходные позиции, так и дальнейшее развитие.

Немаловажное значение в этом плане имеют биографические данные о Маяковском, сами по себе характеризующие его как поэта нового типа, которого не знала вся предшествующая литература и жизнь.

Обстановка, в которой рос и воспитывался Маяковский, благотворно действовала на формирование его характера и первых жизненных воззрений.

«Кругом труд, — рассказывает сестра поэта Л. В. Маяковская, вспоминая об его детских годах, — трудятся крестьяне, окружающие нас люди, трудятся родители. С детства ясно для нас: труд — это основа жизни. К труду в доме самое глубокое уважение. Отец, как помню, начинал характеристику человека словами: «Хороший человек, труженик, надо ему помочь» или: «Бездельник, лодырь, ничего не стоящий человек».

Пример честного и упорного труда, мораль, основанная на уважении к труду и труженикам, — вот те первые элементы, которые явились прочным фундаментом жизненных воззрений Маяковского. Что касается образования, общего и литературного, то оно было самым обычным для трудовой семьи. Сначала учился дома, читал то, что было, — от «Птичницы Агафьи» до «Дон-Кихота»; затем гимназия — здесь Жюль Верн и «вообще фантастическое». Л. В. Маяковская рассказывает, что в детстве ее брат много и охотно читал классиков, любил и знал Пушкина.

Однако воспитание будущего поэта не замыкается рамками семьи и школы, не исчерпывается чтением художественной литературы. Вскоре Маяковскому пришлось познакомиться с литературой другого характера.

Уже во время русско-японской войны, приковавшей к себе внимание одиннадцатилетнего Маяковского, в его детском мире появилось слово «прокламация».

«Прокламации вешали грузины, — говорит Маяковский в своей автобиографии. — Грузинов вешали казаки. Мои товарищи грузины. Я стал ненавидеть казаков».

По всей Грузии разгорается ожесточенная борьба трудящихся против эксплуататоров, борьба, руководимая большевистской партией.

Большевики Закавказья развернули широкую деятельность по всей Грузии. Бежавший из далекой ссылки товарищ Сталин объезжает различные районы Закавказья, ведет устную и печатную агитацию против меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов, организуя и сплывающая трудящиеся массы вокруг партии большевиков, под революционным ленинским знаменем.

Повсюду, во всех уголках Грузии, появляются революционные кружки. Были такие кружки и среди учащейся молодежи г. Кутаиси. В один из них входил Маяковский, принимая участие в подпольных собраниях, демонстрациях и школьных забастовках.

Забросив учение, Маяковский с головой уходит в «политику».

Эти его увлечения сознательно подкрепляются влиянием Людмила Владимировны, сестры Маяковского, учившейся в Москве. Летом 1905 года она приехала в Багдади и привезла с собой пачку нелегальной литературы.

«Володю я нашла выросшим во всех отношениях, — вспоминает Людмила Владимировна. — Он был насыщен революцией, горел и жил ее судьбой. Я видела в нем юношу, которому было близко и интересно все, что касалось революции, поэтому я давала ему читать все, что привезла».

Среди привезенного ею были запретные листовки, написанные стихами:

Опомнись, товарищ, опомнись-ка, брат,
скорей брось винтовку на землю... и т. д.

«Это была революция. Это было стихами. Стихи и революция как-то

объединились в голове» (Маяковский. Автобиография, «Я сам»).

В 1906 году, после смерти отца, семья Маяковских переехала в Москву. Здесь будущий поэт снова попал в революционно настроенную среду учащейся молодежи. Читал Маяковский почти исключительно общественно-политическую литературу, в числе которой были: «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» Ф. Энгельса, «Социализация общества» Бебеля, «Воспоминания о Марксе» В. Либкнехта. В гимназии под партией у него обретался «Анти-Дюринг».

«Беллетристики не признавал совершенно, — писал Маяковский. — Философия. Гегель. Естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекался более, чем «Предисловием» Маркса. Из комнат студентов шла нелегалщина. «Тактика уличного боя» и т. д. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики» («Я сам»).

Связи с революционной молодежью, влияние сестры и чтение марксистской литературы сформировали сознание Маяковского и привели его на путь активной партийной деятельности.

В 1908 году Маяковский вступил в партию РСДРП (большевиков). Выбор, который сделал Маяковский среди многочисленных в то время политических партий и течений, конечно, не был случайным¹. Оно, как мы видели, было обусловлено всем предшествующим его развитием.

О том, насколько созрел Маяковский политически к этому времени (когда ему было всего 15 лет), говорит то, что он выдержал экзамен на пропагандиста и вел пропагандистскую работу с успехом. Однако долго работать Маяковскому не пришлось. 29 марта 1908 года он был арестован во время обыска в подпольной типографии. За первым арестом последовали второй и третий. Последний арест был связан с

¹ Между тем враги Маяковского всячески старались доказать, что пребывание Маяковского в партии большевиков было случайным фактом в его биографии.

причастностью Маяковского к организации побега политических каторжанок из Новинской тюрьмы. Маяковский сам попадает в знаменитую Бутырскую тюрьму, где пришлось ему провести в одиночке около года.

Месяцы, проведенные Маяковским в Бутырях, как и предшествовавшая недолгая партийная работа, имели огромное значение в развитии Маяковского и впоследствии оказали значительное воздействие на его поэтическое творчество. Будучи слишком молодым и малоопытным революционером, Маяковский следует традиции более опытных большевиков и время пребывания в тюрьме использует для учебы.

В автобиографии Маяковского об этом периоде («11 бутырских месяцев») читаем:

«Важнейшее для меня время. После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику.

Перечел все новейшее. Символисты — Белый, Бальмонт. Разобрала формальная новизна. Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни».

Последнее вполне понятно и закономерно. Маяковский был молод и вместе с тем он был революционер. Несмотря на все лишения, которые ему приходилось переживать, он был бодр, жизнерадостен. Он стремился к жизни, рвался к борьбе. Он искал соответствия своим стремлениям в книгах и находил их в «Капитале» Маркса, отдельные страницы которого знал наизусть, в «Анти-Дюринге» Энгельса, в «Двух тактиках» Ленина. Эти книги помогали ему осмыслить жизнь и звали к борьбе.

А что нашел он в современной художественной литературе? «Темы, образы не моей жизни» — именно так должен был оценить содержание стихов Белого, Бальмонта, Сологуба и др. Маяковский, живший в ином мире, — в мире борьбы и труда.

В январе 1910 года Маяковский был выпущен из тюрьмы под строжайший надзор полиции. После книг, прочитанных в Бутырях, ему захотелось самому

писать, хотелось попытаться создать новое искусство, для чего, он знал, нужно серьезно учиться. Из этого и возникла «так называемая дилемма».

«Вышел взбудораженный, — рассказывает Маяковский в автобиографии. — Те, кого я прочел, — так называемые великие. Но до чего же нетрудно писать лучше их. У меня уже и сейчас правильное отношение к миру. Только нужен опыт в искусстве. Где взять? Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии — надо стать нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научиться. Перспектива — всю жизнь писать легучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мной придуманных книг. Если из меня вытряхнут прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие? Легко орудовать им, если имеешь дело только с мыслью своих. А что при встрече с врагами? Ведь вот лучше Белого я все-таки не могу написать».

«Что я могу противопоставить навалившейся на меня эстетике старья? Разве революция не потребует от меня серьезной школы?..

Я прервал партийную работу. Я сел учиться».

Уход Маяковского с партийной работы нередко рассматривают, как отход его вообще от революционной деятельности. Но этот шаг нужно рассматривать лишь как ошибку молодого революционера, не сумевшего в тот момент найти правильное соотношение между партийной работой и необходимостью серьезной учебы.

★

Поэзия символистов и вообще вся новейшая буржуазно-дворянская литература была и не могла не быть чужда Маяковскому. В стихах символистов его привлекала лишь формальная новизна. И Маяковский решил попробовать «писать так же хорошо, но про другое», т.-е. про свое, близкое ему, юноше-революционеру.

Но «оказалось так же про другое — нельзя. Вышло ходульно и ревлаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались,
Солнце играло на главах церквей,
Ждал я; но в месяцах дни потерялись,
Сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям — при выходе отобрали. А то б еще напечатал!» («Я сам»).

Отсюда сознание необходимости научиться писать о своем и по-своему. Но к разрешению этой задачи Маяковский пришел несколько позднее. Выйдя же из тюрьмы и расставшись со своими «ревлаксивыми» стихами, Маяковский взялся за живопись, так как ему после неудачных опытов, отобранных предусмотрительным надзирателем, думалось, что он не сможет писать стихи.

Зимой 1911 года в стенах училища живописи происходит знакомство Маяковского с поэтом и художником Д. Д. Бурлюком, сыгравшим значительную роль в становлении Маяковского, как поэта.

Связь Маяковского с Бурлюком носила не только личный, но и творческий характер. Это была связь гневного «обогнавшего современников мастера» и «социалиста, знающего неизбежность крушения старья». На данной основе, по словам Маяковского, и «родился российский футуризм».

Тема «Маяковский и футуризм» неоднократно затрагивалась нашим литературоведением и критикой. Но, несмотря на это, вопрос о связях и отношениях творчества Маяковского с футуризмом до сих пор не выяснен, причем существует в подходе к данному вопросу две тенденции: одни (главным образом в более ранних исследованиях о Маяковском) рассматривают поэта чуть ли не как выразителя всех сторон, всей сущности русского футуризма, другие (ряд работ последнего времени) пытаются доказать отсутствие каких бы то ни было связей Маяковского с футуризмом.

По нашему мнению, творческое раз-

витие Маяковского в целом ни в какой мере не определялось и не могло определяться ни футуризмом, ни, скажем, Лефом в послереволюционные годы.

Тем не менее футуризм не случайный факт в биографии поэта. Связь его с поэтами-футуристами была довольно длительной, базировалась она на общности взглядов на буржуазное искусство и имела определенное влияние на творчество поэта в дооктябрьский период.

Подпись Маяковского стоит под первым манифестом и другими манифестами «Гилей», он принимал активное участие в сборниках и публичных выступлениях гилейцев.

Но в какой мере разделял Маяковский положения, выдвинутые в декларациях группы «Гилея», и если разделял, то получило ли это какое-либо отражение в его творчестве?

Известно из воспоминаний самих участников «Пощечины общественному вкусу», что манифест составлялся в жарких спорах, в горячих дискуссиях его авторов. Это говорит о том, что уже тогда между членами группы «Гилея» было некоторое различие во взглядах. Подобное различие во взглядах (и еще более в творческой практике) было и впоследствии, но оно не мешало гилейцам сотрудничать, потому что у них у всех было одно общее — общий враг.

Из мемуаров участников «Гилеи» известно и то, какие именно положения, вошедшие в манифест «Пощечины», были выдвинуты Маяковским. Так, явно принадлежащими Маяковскому считаются слова о «парфюмерном блуде Бальмонта», о «грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевыми», о «сделанном из банных веников венке грошовой славы». Типичной для Маяковского того времени признается фраза: «стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования».

Маяковскому принадлежат, следовательно, самые острые стрелы манифеста, и именно он бил сильнее всех, смело обрушиваясь на некоронованных королей тогдашней литературы — К. Баль-

монта и «бесчисленных Леонидов Андреевых» (они действительно были бесчисленными). Само собой разумеется, что именно Бальмонты и Леониды Андреевы, а не Пушкин и Горький, были врагами Маяковского.

Таким образом, мы видим, что с футуризмом, точнее с группой «Гилея» Маяковского объединяла ненависть к буржуазному искусству, ненависть к «здравому смыслу» и «хорошему вкусу», под маркой которых господствующими эксплуататорскими классами навязывались трудящимся различного рода отравляющие их сознание «идеи».

Второй точкой соприкосновения Маяковского с гилейцами был взгляд на искусство, как на жизненный процесс, ненависть к мертвым схемам и литературным канонам, защищавшимся буржуазным искусством все под теми же вывесками «здорового смысла» и «хорошего вкуса».

И Бурлюк, и Хлебников, и Маяковский стремились к обновлению литературного языка, к созданию новых форм в поэзии. Можно сказать, что Маяковский первые свои шаги на литературном пути сделал при двусторонней опоре на Д. Бурлюка и Хлебникова, испытывав особенно сильно влияние последнего. Но Маяковский быстро вырастает из рамок, определенных стремлениями Бурлюка и Хлебникова, он выходит на более широкий и более трудный путь — на путь борьбы не только против старых литературных форм, но и против господствующих общественных форм.

В автобиографии (раздел «Веселый год») Маяковский пишет: «Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом». (Маяковский имеет в виду 1912—1913 годы). Сказанное им верно лишь по отношению к первым стихам, написанным в указанный период («Ночь», «Утро», «Из улицы в улицу»).

По содержанию эти вещи представляют собою лишь поэтический пейзаж. И каждая из них носит на себе в той или иной мере следы экспериментаторства. Особенно отчетливо это выраже-

но в стихотворениях «Утро», «Из улицы в улицу», где главное внимание автора сосредоточивается на своеобразии рифмовки. Например:

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за
решеткой
четкой
железной мысли проводов —
перина.
И на
нее
встающих звезд
легко оперлись ноги.
Но ги-
бель фонарей... и т. д.

Таким образом, первые стихи Маяковского свидетельствуют о том, что он учится, осваивает технику поэтического мастерства.

О них можно сказать словами В. Г. Белинского: «...это еще не поэзия, а только стремление к поэзии». Тем не менее нельзя отрицать и того, что даже в первых «опытных» произведениях достаточно проявилось своеобразие таланта Маяковского, не желавшего идти путем, который «протопанней и легче», и упорно искавшего свой собственный путь в поэзии.

В стихах Маяковского уже в 1913 году заметно усиливаются элементы определенно направленного социального содержания. Решение формально-поэтических задач, стоявших в центре внимания Маяковского в первых его стихах, все более и более вытесняется задачами отражения окружающей действительности и выявления к ней своего отношения.

Формальные же задачи блестяще решаются в процессе общей поэтической работы, будучи подчиняемы социально насыщенному содержанию.

★

В 1913 году вышла отпечатанная литографским способом первая книжка Маяковского, названная «Я».

Открывалась книжка небольшим стихотворным вступлением. За ним следовало всего несколько стихотворений с очень характерными названиями: «Несколько слов о моей жене», «Несколь-

ко слов о моей маме», «Несколько слов обо мне самом». Основной мотив, пронизывающий всю книжку от начала до конца, — мотив подавленности, бездомности и трагического одиночества человека в капиталистическом городе.

По мостовой
моей души изъезженной
шаги помешанных
вьют жестких фраз пяты.
Где города
повешены
и в петле облака
застыли
башен
кривые выи, —
иду
один рыдать,
что перекрестком
распаты
городовые.

Было бы неразумным и бесполезным искать в приведенных строках вступления к сборнику «Я» точного социально-политического смысла, ясно выраженной политической установки. Если увлечься такими поисками, можно притти к самым несуразным выводам (к чему нередко и приходили критики Маяковского), например, что поэт идет рыдать о бедных городских (причинивших ему так много неприятностей своими преследованиями). У настоящего художника его политические взгляды, его классовые симпатии и антипатии выражаются не в открытых словесных формулах (это был бы не художник, а публицист), но в образах и той эмоциональной окраске, какую дает он своим образам и произведению в целом. И если подойти к выписанным строкам с такой точки зрения, то мы увидим не сочувствие к «перекрестком распатым городovým», а, наоборот, выражение подавленности в мире, «где города повешены» и где даже уличные перекрестки напоминают человеку с «изъезженной душой» о муках.

Русская и мировая поэзия знает немало примеров острой тоски, боли одиночества, безысходности человеческих страданий в ненавистном поэту мире. Пушкин, Лермонтов, Байрон, Мицкевич, — можно назвать ряд других великих имен художников, никогда не

остававшихся безучастными к страданиям людей. Из отзывчивости их поэтической души и рождались зачастую настроения, грубо и неверно именуемые «пессимизмом».

А в действительности — это только жгучий, едкий протест против уродливости жизни.

То же самое у Маяковского дореволюционных лет. Нужно лишь помнить, что если мотивы одиночества, мотивы отчаяния у Маяковского даже сильнее, чем у его предшественников, — то это не потому, что он был действительно «пессимистом» и «индивидуалистом», а потому, что неизмеримо выросли страдания человека в то время и в той стране, когда и где писал Маяковский эти свои «пессимистические» стихи.

Маяковский, конечно, не был пессимистом. Мы знаем, что рассматриваемый период творчества Маяковского в его автобиографии назван даже «веселым годом», и он действительно был для него веселым, так как прошел в непрерывных поездках по России с лекциями и стихами, в ожесточенной драке с литературными противниками. А ведь настоящие пессимисты совершенно не способны к борьбе. Таково их главное отличительное свойство.

У дореволюционного Маяковского все то, что считают «пессимизмом», крайним «индивидуализмом» и т. д. и т. п., — не что иное, как отражение чувствований широких масс эксплуатируемых, задавленных капитализмом, «ораненных, загнанных ланями».

Особенно сильно ощущение человеческих страданий выражено поэтом в его трагедии «Владимир Маяковский».

Написанная во второй половине 1913 года, трагедия эта в декабре того же года была представлена на сцене одного из петербургских театров в постановке самого Маяковского и с его участием в заглавной роли.

Трагедию «Владимир Маяковский» лишь условно можно признать драматургическим произведением. Это скорее трагическая поэма, написанная диалогами.

Действие ее происходит в большом капиталистическом городе. Действующие лица: Владимир Маяковский, Человек без глаза и ноги, Человек без уха, Человек без головы. Женщина со слезинкой. Женщина со слезой. Женщина со слезищей и другие.

Центральный персонаж трагедии — Владимир Маяковский, поэт 20 — 25 лет. То обстоятельство, что Маяковский указывает возраст героя трагедии не точно, а в известных пределах, не беря своего собственного возраста (ему было тогда 20 лет), свидетельствует о том, что Владимир Маяковский в трагедии не тождествен автору и мыслился им как образ какого-то поэта в его реальном, конкретном существовании. А то, что герой трагедии носит имя автора, нам кажется, было лишь средством подчеркнуть жизненность образа и соответствие его и тех жизненных условий, в которых он дан.

Подлинным и небывалым трагизмом веет от первых же строк пролога к трагедии, когда герой ее, появляясь на сцене, говорит:

Вам ли понять,
почему я
спокойный
насмешек грозою
душу на блюде несую
к обеду идущих лет.
С небритой щеки площадей
стекая ненужной слезою,
я,
быть может,
последний поэт.

Почему? Что значат последние строки? Смысл их раскрывается в следующих за ними:

Замечали вы —
качается
в каменных аллеях
полосатое лицо повешенной скуки,
а у мчащихся рек
на взмыленных шеях,
мосты заломили железные руки.

Все в этом мире, окружающем поэта, подавлено тяжелым бременем, над всем тяготеет какое-то несчастье. Да же

Небо плачет
безудержно,
звонко;
а у облачка

гримаска на морщинке ротика,
как будто женщина ждала ребенка,
а бог ей кинул кривого идиотика.

И когда разворачивается действие самой трагедии, мы все время ощущаем страшную тяжесть, нависшую над поэтом и всем окружающим его.

Легло на город громадное горе
и сотни махоньких горь —

говорит Старик с кошками.

Над городом ширится легенда мук.
Схватишься за ноту —
пальцы окровавишь! —

как бы продолжает его жалобу Человек без уха.

И не только город, — весь мир мучим страданием. Потому с такой уверенностью бросает поэт:

Милостивые государи!
Говорят,
где-то
— кажется, в Бразилии —
есть один счастливый человек!

А Человек без глаза и ноги злорадно-торжествующе и вместе с тем тоскливо восклицает:

Что же,
вы,
кричащие, что я калека?!
Старые,
жирные,
обрюзгшие враги!
Сегодня
в целом мире не найдете человека,
у которого
две
одинаковые
ноги!

Все эти несчастные, искалеченные жизнью люди к нему, к поэту, несут свое горе. Вот женщина принесла ему свою слезинку, другая пришла со слезой, третья кладет у ног испуганного поэта большую слезищу. Вот вбегает группа детей, рожденных от поцелуев, и каждый из них приносит и кладет перед поэтом слезу.

Он, поэт, объявивший себя «царем ламп» и призывавший (см. пролог):

Придите все ко мне,
кто рвал молчание,
кто был

оттого, что петли полдней туги, —
я вам открою
словами
простыми, как мычанье,
наши новые души,
гудящие,
как фонарные дуги, —

он должен принять от несчастных их слезы, осушить их глаза, исцелить человеческие страдания. Но горе людское оказывается таким огромным, что даже он, который, казалось, все может, не выдержал его тяжести.

Послушайте, —
я не могу!
Вам хорошо,
а мне с болью-то как?

Но людям нет дела до этого. Они угрожают поэту и требуют:

Ты один умеешь песни петь.
(«На груди слез».)
Отнеси твоему красивому богу.

Люди не оставляют его в покое до тех пор, пока поэт не принимает от них принесенные ими слезы — символ их горестей.

«Хорошо!» — говорит он людям, решив принять на себя их страдания.

Дайте дорогу!
Думал —
радостный буду.
Блестящий глазами
сяду на трон,
изнеженный телом грек.
Нет!
Век,
дорогие дороги,
не забуду
ваши ноги худые
и седые волосы северных рек!
Вот и сегодня —
выйду сквозь город,
душу
на копьях домов
оставляя за клоком клок.

Так разрешается в трагедии Маяковского тема отношения поэта к людям, их горестям и страданиям. И в этом сущность трагедии, в том, что поэт, призванный нести людям радость и счастье («Я вам только головы пальцами трону, и у вас вырастут губы для огромных поцелуев и язык родной всем народам»), вместо того должен принять на себя и нести их страдания. Само собою разумеется, никакого мес-

сианизма (о чем так много наговорено) ни здесь, ни в других вещах Маяковского нет. К тому же бегло очерченная нами тема хотя и является стержнем трагедии, сюжетной основой, однако ею далеко не исчерпывается ее содержание. Трагедия «Владимир Маяковский» — огромное произведение искусства, в котором и чувствами, и мыслям дан поистине «нечеловеческий проотор».

Что идея трагедии «Владимир Маяковский» не имеет в себе ничего мессианского, — лучшим тому доказательством могут служить ярко выраженные революционные элементы ее содержания.

Поэт, герой трагедии, не только принимает на себя людские страдания, но учит людей тому, как избавиться от них, указывает людям путь освобождения.

«В ваших душах выцелован раб» — говорит он им и стремится научить всех отягощенных горем ненавидеть тех, кто является виновником их несчастий. Поэт знает, кто они, и, прямо указывая на них, призывает:

Ищите жирных в домах-скорлупах
и в бубен брюха веселье бейте!
Схватите за ноги глухих и глупых
и дуйте в уши им, как в ноздри
флейте.

Поэт, о ком Старик с кошками, симболизирующий тысячелетнюю историю человечества, говорит: «вижу — в тебе на кресте из смеха распят замученный крик», — призывает несчастных «разбить днища у бочек злости». И люди приходят в движение, начинают искать причину своих несчастий.

О том, что Маяковский уже тогда, когда он писал трагедию, видел выход из удушающих человека условий капиталистического мира, можно судить на основании того, что трагедия «Владимир Маяковский», если взять ее в целом, не только дышит ненавистью к «жирным», но от начала и до конца проникнута революционным протестом против порабощения и ощущением развертывающейся борьбы:

На улицах,
где лица —
как время
у всех одни и те ж,

сейчас родила старуха-время
огромный
криворотый мятеж!

★

Непрерывное нарастание революционно-обличительной силы поэзии Маяковского, начиная с 1913 года, неразрывно связано с нарастанием революционной волны, снова поднявшейся после черных дней реакции. И не только связано, но и отражало все характерные особенности данного этапа развития революции и самосознания широких трудящихся масс.

«Наступила новая эпоха. В этом не может теперь быть никакого сомнения, — писал В. И. Ленин в 1913 году. — Начало 1913 года — лучшая тому порука. От отдельных частных вопросов рабочая масса идет к постановке *общего* вопроса. Внимание самых широких масс сосредоточивается уже не на отдельных только нестроениях нашей русской жизни. Вопрос ставится о *всей совокупности* этих нестроений, в целом, речь идет не о реформах, а о реформе»¹.

Точно так же и у Маяковского, если внимательно присмотреться к его произведениям 1913—1917 годов, речь идет не о реформах, а об одной «реформе» — о необходимости решительно перестроить основы жизни.

Художественными средствами поэтического слова боролся теперь Маяковский против того самого врага, против которого он выступал, будучи пропагандистом одной из московских организаций большевистской партии в 1908 — 1909 годах. И нужно отдать справедливость Маяковскому: став поэтом, он все больше и лучше оттачивает свое оружие, все яростнее нападает на ненавистного врага трудящихся, обличая его перед массами и призывая их к борьбе. И чем дальше шел Маяковский по своему пути, тем яснее осознавал он, что поэту нужно не «слово, как такое», не как самоцель, а как средство борьбы.

«Нам слово нужно для жизни. Мы не признаем бесполезного искусства» — писал он в одной из статей конца 1914 года, подчеркивая, что в искусстве, творчестве необходимо «итти от жизни».

Обращаясь к жизни капиталистического города, Маяковский видел ее изъязвленной, отравленной, разлагающей и удушающей все истинно-живое и радостное. Он видел:

Адище города окна разбили
на крохотные, сосущие светом адки.

Видел он:

Улица провалилась, как нос сифилитика,
и чувствовал, как в этом городе:

туман, с кроважидым лицом каннибала,
жевал невкусных людей.

Маяковский знал: во всем виноваты те, кто прожигали «за оргией оргию», имели «ванную и теплый клозет», думали лишь о том, «нажраться лучше как», и для утоления своих appetitов не останавливались ни перед чем, не только перед обворовыванием людей, но и перед массовым их уничтожением.

Уже в ранних стихах Маяковского даны некоторые черты ненавистного поэту врага. Окончательно поэт «дорисовывает» его в ряде стихотворений 1914—1915 годов, среди которых особенно видное место занимают «Гимны» — судье, ученому, критику, обеду, взятке; «Внимательное отношение к взяточникам» и, наконец, «Мое к этому отношению».

Маяковский яростно, до острой боли ненавидел буржуазию и все то, что служило опорой ее господства.

Жизнь прекрасна сама по себе, она может дать людям много радости, но жирные богачи отравляют ее. Такова основная мысль, проходящая через все перечисленные и другие произведения Маяковского.

В нашей литературе вполне правильно указывалось уже, что «Гимн судье» — не что иное, как злая сатира на царскую Россию. В самом стихотворении есть достаточно ясный намек, не оставляющий сомнений, о каком Перу шла речь.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XVI, стр. 280.

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.

Борясь против капиталистического общества, Маяковский с такой же ненавистью боролся и против тех, кто служил капитализму, помогая угнетать, грабить и уничтожать людей. Вот почему такой ненавистью дышит «Гимн ученому», рисующий убийственно-острыми сатирическими штрихами «фигуру знаменитого ученого», погруженного с головой в трактат «о бородавках в Бразилии», довольного тем, что «он может ежесекундно извлекать квадратный корень», ночи просиживающего за «учеными» занятиями и равнодушного к тому, что «солнце из-за домишек опять оскланилось на людские безобразия» и «что растет человек глуп и покорен».

Свои социально-политические взгляды поэт необычайно ярко выразил в стихотворении «Мое к этому отношение», написанном в 1915 году.

Маяковский не называет по имени, о ком идет речь в стихотворении, но уже с первых строк становится понятным, кого он имеет в виду.

Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький
декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.
Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.
Внизу суетятся рабочие,
Нищий у тумбы виден,
А у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Обстановка, в которой показана «эта пухлая морда», «этот», как называет его поэт, сразу же раскрывает авторское умолчание.

Образ фабриканта, нарисованный Маяковским в стихотворении, является обобщающим образом капитализма в его последней стадии развития, когда процесс развития по существу прекращается и начинается процесс разложения, гниения.

Все в мире подчинено этой «морде», но как противна, как отвратительна она в своем довольстве.

Отвращение поэта к «сытым» так

сильно, что он не выдерживает спокойного тона: «Проклятый» срывается с намеренно сложенных в почтительную улыбку губ. Поэт «всемирно» объявляет о своем недовольстве «сытыми» и заканчивает стихотворение резким протестом:

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер — как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.

Могут сказать (и говорилось), что облик капитализма, нарисованный Маяковским в этом и других его произведениях, не вскрывает эксплуататорской сущности капитализма и т. п. Едва ли это верно.

Именно так, каким он обрисован Маяковским, представлялся капитализм каждому, кто ненавидел его и боролся с ним. И если мы обратимся к работам Ленина, где говорится об эксплуататорской, паразитической сущности капитализма, мы найдем не одно подтверждение правильности художественного метода Маяковского.

Вот что, например, писал Владимир Ильич о капитализме в статье «Цивилизованное варварство»:

«Он накопил груды богатства — и сделал людей рабами этого богатства...»

Цивилизация, свобода и богатство при капитализме вызывают мысль об обожравшемся богаче, который гниет заживо и не дает жить тому, что молод¹.

Общность воззрений Маяковского с воззрениями трудящихся масс и наиболее передовой ее части — пролетариата — еще более подтверждается тем, что уже в дореволюционные годы Маяковский не замыкался в рамках своего собственного мирка, внутренних переживаний, как это было с буржуазно-дворянскими поэтами. У него личное неразрывно связано с общим.

Примеры подобного переплетения личного и общественного имеются в целом ряде ранних произведений Маяковского, включая трагедию, но особенно рельефно эта связь личного с об-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XVI, стр. 623.

щественным в дореволюционный период отразилась в гениальной поэме «Облако в штанах».

Поэт после столкновения на самой чувствительной, личной почве еще лучше, яснее увидел своего давнишнего врага и ожесточенно выступил против него по всему фронту. Яростно обрушился он на буржуазное искусство, на «рифмами пиликающих Северянинов». С такой же ненавистью выступил он против бога, против религии, цинично закрепляющей неправду капиталистического общества. И, открыто провозглашая себя поэтом всех «изъявленных проказой», «каторжан города-лепрозория», поэт стремится вселить в них чувство силы и мощи, чувство человеческого самосознания для того, чтобы сделать их способными к протесту, поднять на борьбу:

Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории,

.....
мы чище венецианского лазорья,
морями и солдцами омытого
сразу!

.....
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!
Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни! —

говорит поэт.

Он чувствует чутким сердцем своим, что близится — вот-вот придет момент, когда все эти люди с душами, подобными золотым россыпям, но растоптанными и заплеванными подлыми хозяевами жизни, отнимающими не только хлеб, но и любовь, будут освобождены от тяжелых оков многовекового рабства. Поэт видит:

Где глаз людей обрывается куцый
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

И громко призывает:

Выньте, гулящие, руки из брюк —
берите камень, нож или бомбу,
а если, у которого нету рук —
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голоденькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!
Идите!

Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

.....
Чтоб флаги трепались в горячке палубы,
как у каждого порядочного праздника —
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Так Маяковский — бывший большевистский пропагандист — становится агитатором, страстным поборником приближающейся пролетарской революции. Связь его с народом, с революцией теперь после «Облака в штанах» стала еще прочнее, еще крепче.

«Облаком в штанах» — этой величественной поэмой любви и ненависти, поэмой страданий и борьбы, — Маяковский навсегда связал себя с делом революции, с народом.

★

На протяжении небольшого исторического отрезка времени — от революции 1905 года до октября 1917 года — русской литературе пришлось пройти ряд серьезных испытаний.

Первым таким испытанием была реакция, наступившая вслед за разгромом революции 1905 года. Вторым — начавшаяся в августе 1914 года мировая империалистическая война.

Если в 1907—1909 годах почти все без исключения буржуазно-дворянские писатели оказались в болоте реакции, то в 1914 году они попадают в цепкие лапы шовинизма. Буржуазно-дворянские писатели не только не проявили никакого стремления противостоять войне, но, наоборот, усиленно принялись раздувать начавшийся пожар, наполняя страницы газет, журналов и книг отвратительным воем и визгом, рисуя захватническую, грабительскую войну, начатую в интересах эксплуататоров, как войну «национальную», «священную» и т. п.

Испытание войной выдержала лишь очень небольшая группа писателей. Выдержал это серьезное, особенно тяжелое для молодого поэта, испытание и Маяковский. С полным правом мог он

сказать о себе через два с половиной года после начала войны:

Сегодня ликую!
 Не разбрызгав
 душу,
 сумел,
 сумел донести.
 Единственный человекий,
 средь воя,
 средь визга,
 голос
 подьемаю днесь.

Первым откликом Маяковского на войну было стихотворение «Война объявлена», опубликованное в августовском номере журнале «Новая жизнь» за 1914 год. Впоследствии Маяковский в своей автобиографии писал о чувствах, охвативших его в дни начала войны.

«Война. Принял взволнованно. Сначала только с декоративной, с шумовой стороны. Стихотворение — «Война объявлена». Рисование заказных плакатов».

Поэт действительно был взволнован, но случившееся еще не углеглось как следует в его сознании, и он успел отразить в стихотворении «Война объявлена» лишь внешнюю, бросающуюся в глаза сторону явления.

Мы слышим пронзительные крики газетчиков:

Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю!
 Италия! Германия! Австрия!

Мы видим, как все окружающее поэта тонет в истошных криках о войне:

Морду в кровь разбила кофейня,
 Зверьим криком багрима:
 «Отравим кровью игры Рейна!
 Громами ядер на мрамор Рима! —

и казалось —

Бронзовые генералы на граненом цоколе
 молили: «Раскуйте, и мы поедем!»

Но эти настроения не захватывают самого поэта, и его взволнованность ни в коей мере не сродни шовинистическому «волнению» Сологубов, Ивановых, Цензоров и т. п.

Волнение Маяковского, как оно отразилось в стихотворении «Война объявлена», скорее всего можно назвать чувством подавленности, ожида-

ния чего-то трагического, тяжелого и страшного.

Вот только-что газетчики прокричали об объявлении войны, а поэту кажется:

...на площадь, мрачно очерченную
чернью,
 багровой крови пролилась струя!

И дальше:

Грозозящемуся городу уродился во сне
 хохочущий голос пушечного баса,
 а с запада падает красный снег
 сочными клочьями человеческого мяса.

Обращает на себя внимание и то, что крик о войне поэт называет «зверьим криком», а победу, к которой «пехоте хотелось», — «убийцей-победой».

О последовавших в дальнейшем ощущениях, связанных с войной, Маяковский рассказывает так:

«Август. Первое сражение. Вплотную встал военный ужас. Война отвратительна. Тыл еще отвратительней. Чтобы сказать о войне — надо ее видеть. Пошел записываться добровольцем. Не позволили. Нет благонадежности».

«Зима. Отвращение и ненависть к войне. «Ах, закройте, закройте глаза газет» и другие». (Автобиография.)

«Ах, закройте, закройте глаза газет» — второе стихотворение Маяковского, написанное в связи с войной (настоящее название его «Мама и убитый немцами вечер»). Настроение его достаточно точно охарактеризовано самим поэтом. Следует лишь заметить, что здесь протест Маяковского нето что пассивен, а скрыт; поэт не говорит от своего имени, не высказывает своего отношения к войне. Он лишь показывает:

Видите —
 весь воздух вымощен
 громяющим под ядрами камнем!

Но уже в следующем стихотворении на тему войны («Я и Наполеон»), появившемся через несколько месяцев после предыдущего (в начале 1915 года), поэт не в силах сдержать рвущийся из сердца протест против империалистической войны, четко и ясно определяет он здесь свои позиции.

Таким же грозным вызовом прозвучало стихотворение «Вам». И если в стихотворении «Я и Наполеон» поэт скрывает своего врага под символ, то здесь он отбрасывает все завесы, открыто и прямо обрушиваясь на ненавистного врага:

Знаете ли вы, бездарные, многие,
думающие нажраться лучше как, —
может быть, сейчас
бомбой ноги
выдрало у Петрова поручика?..
Если б он, приведенный на убой,
вдруг увидел, израненный,
как вы измазанной в котлете губой
похотливо напевае­те
Северянина!

Этот стихотворный памфлет, направленный против жиреющей от войны буржуазии, был впервые прочитан Маяковским в кабаре «Бродячая собака» в середине февраля 1915 года и вызвал целый скандал, закончившийся вмешательством полиции и закрытием кабаре. Сила стиха подобна силе бомбы. Именно такое впечатление произвел он на буржуазных посетителей «Бродячей собаки», устроивших Маяковскому обструкцию.

Антивоенные настроения Маяковского получили яркое выражение и в стихотворениях «Военно-морская любовь», «Мысли в призыв» и в той или иной мере в ряде других стихов, не относящихся непосредственно к войне, в том числе в поэмах «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».

Война преследует поэта, она нависла над ним черной тучей. Тема войны проникает в самые различные вещи Маяковского 1914—1916 годов, связываясь самым неожиданным образом с другими темами, и, наконец, выливается в большую антиимпериалистическую поэму «Война и мир».

«Война и мир» написана, вернее, закончена Маяковским в 1916 году. До Февральской революции 1917 года она не могла полностью появиться в печати, так как ее смысл был очевиден даже туполобым царским чиновникам.

Сюжет поэмы распадается на три основные части: в самом начале Маяковский рисует мир богачей, хозяев жизни, — тех, которые затеяли и ве-

дут войну. Затем следуют картины войны, и, наконец, в воображении поэта встает будущее мира, которое должно наступить вслед за войной.

Рисуя «масомясную быкомордую ораву», жрущую, пьющую и ржущую от удовольствия в то время, когда «гниет земля», и «дрожа городов агонией, люди мрут у камня в дыре», и когда за одним идет «новый голодный день», Маяковский весьма тонко и остро анализирует буржуазное общество, вскрывая его эксплуататорскую сущность.

Говоря о мрущих у камня в дыре людях, поэт добавляет:

Врачи
одного
вынули из гроба,
чтоб понять людей небывалую убыль:
в прогрызанной душе
золотолепым микробом
вился рубль.

«Стихами не втиснешь в тихие томики крик гнева» — говорит поэт. Но что ей, «быкомордой ораве»? Она проживает за оргией оргию.

Маяковский рисует страх буржуазии перед революцией, показывая, как спешат капиталисты организовать войну, чтобы отвратить свою гибель. Они торопливо раздают «тысячеруким врачам» «ланцетами оружие из арсеналов». По всем странам зашевелились эти «врачи»: Италия, Германия, Россия, Франция, Англия, Турция...

Вся земля охвачена криком: «Нож в зубы! Шашки наголо!»

Поэт рисует потрясающие картины империалистической бойни:

Батареи добела раскалили жару.
Прыгают по трупам городов и сел.
Медными мордами жрут
все.

Маяковский не дает в поэме конца войны. Показав главного ее виновника, он с горечью говорит о тех, кто гибнет, убивая других и позволяя убивать себя. Он дал изображение войны 1914 года, т.-е. то, что должен был дать революционный писатель, ненавидевший империалистическую войну и ясно осознававший необходимость борьбы как против нее, так и против ее зачинщиков-капи-

галистов. «Война и мир» — произведение насквозь тенденциозное, как и все творчество Маяковского. Но тенденциозность, заключенная в ней, не выпирает наружу, не навязывается читателю — и в этом сказывается сила поэта. Для каждого прочитавшего «Войну и мир» было ясно: война затеяна буржуазией, война — грабительская и в то же время она служит буржуазии средством отдалить революционное восстание масс против невыносимого ига эксплуатации. Из этого сознания неизбежно возникал вопрос: как покончить с войной и что будет после окончания войны?

В пятой части поэмы Маяковским рисуется невиданный мир, ничем не похожий на мир капиталистический, на царскую Россию. Он рисует свободный мир — мир счастья, радости и братства всех народов:

Кинув ноши пушек,
выпрямились горбатые,
кровавленными сединами в небо канув,
Альпы,
Балканы,
Кавказ,
Карпаты.

До колоний, бежавших за стены Китая,
до песков, в которых потеряна Персия,
каждый город,
ревший,
смерть кидая,
теперь сиял.

Мир не знает больше войны, народы мира — одна счастливая семья:

...над русскими,
над болгарами,
над немцами,
над евреями,
над всеми:
по тверди небес,
от зарев алой,
ряд к ряду,
семь тысяч цветов засияло
из тысячи разных радуг.

И не только люди расцвели от счастья в новом мире, сама природа радостно ложится у ног человека.

Нужно ли говорить, что и эта часть «Войны и мира» целиком и полностью тенденциозна и тенденциозна в революционном духе. Причем и здесь тенденция не навязывается автором, а вытекает из самого существа поэмы. Из

нее следовал вывод: войны устраивают капиталисты, они не могут жить без них. Поэтому: необходимо уничтожить капиталистов, тем самым будут уничтожены войны, и тогда наступит долгожданный золотой век человечества.

Могла ли быть истолкована поэма Маяковского иначе даже в то время, когда шла война и когда не было еще советской России? Едва ли, так как на третьем году империалистической войны после многих испытаний, перенесенных трудящимися, даже самые отсталые понимали, что нарисованный поэтом мир, где

среди бела дня,
тихо,
по-парно,
цари-задиры
гуляют под присмотром нянь. —

возможен лишь тогда, когда не будет в мире никаких царей, никаких господ.

Маяковский, как истинный художник, как великий поэт, отлично видел, в чем зло войны, и активно боролся против этого зла средствами поэзии, как подлинный революционер-интернационалист.

★

«Человек», герой Маяковского, проходит через все его произведения, написанные не только до Октября, но и после Великой социалистической революции. Но в творчестве послеоктябрьских лет он совсем иной, так как иным стал тот, кто служил прототипом для художественного образа. Но в том и в ином случае Маяковский придает своему герою наиболее типичные черты и показывает его нам в наиболее типичных для данного исторического этапа обстоятельствах.

«Человек» — герой произведений Маяковского, написанных до Октября, — в большинстве случаев несчастен. Впервые мы встречаемся с ним в цикле стихотворений, опубликованных в 1913 году в литографированной брошюре «Я». Под таким именем и выступает здесь герой Маяковского — человек мрачного капиталистического мира, человек, душа которого подобна изъезженной мостовой.

Трагичен и страшен рассказ героя Маяковского об его жизни.

Человек — самый несчастный на земле, и потому, обращаясь к ней, человек-поэт восклицает:

Ты! Нас — двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье оседланных смертью
коней.

Жалким и беззащитным представляется поэту человек в страшном адиде капиталистического города. Смотрите:

...там под вывеской, где сельди из
Керчи —
сбитый старикашка шарил очки
и заплакал, когда в вечерующем смерче
трамвай с разбега взметнул зрачки.

Невыразимая боль страданий человека ассоциируется в сознании поэта с тоскливым, полным слез голосом скрипки, и вот он (поэт и человек), не выдержав, бросается к ней на шею.

Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
Я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!

И в самом деле, что можно доказать в ненавистном мире, где не только неспособны пожалеть человека, но отнимают у него самое дорогое, единственное, что могло бы служить утешением в его тяжелой, безрадостной жизни, — любовь.

В мире, где властвует рубль, человек не может по-настоящему любить. Любовь — чувство, которое должно расцветить, украсить жизнь человека, сделать ее радостной и счастливой, — в условиях капитализма становится источником невиданных страданий. Такова одна из тем «Облака в штанах», особенно ярко выраженная в первой части поэмы.

С потрясающей силой трагизма показан здесь человек, у которого «в душе ни одного седого волоса», который «мир, огромив мощью голоса», идет «красивый двадцатидвухлетний».

И вдруг эта

...жилистая громадина стонет, корчится—
Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Но в том-то и дело, что желания человека, его страсти наталкиваются на непреодолимую стену препятствий. Капиталистический мир живет по закону, первая часть которого писана, а вторая не писана, но столь же обязательна: или купи, или укради. Тот, кто не может украсть любовь, как выкрали Джиоконду, — не будет иметь любви, должен страдать, проклиная мир торгашей и воров.

Таким проклятием капиталистическому миру, лишшающему человека всех его радостей, звучит поэма Маяковского «Флейта-позвоночник», как бы продолжающая тему первой части «Облака в штанах».

Показывая ничем не измеримую силу любви, способную украсить даже смерть:

Француз
улыбаясь на штыке мрет,
с улыбкой разбивается подстреленный
авиатор,
если вспомнят
в поцелуе рот
твой, Травиата, —

вместе с тем поэт рисует трагедию неразделенной любви, причем оказывается, что эта трагедия, даже несмотря на наличие в поэме некоторых биографических черт, обусловлена противоречиями не личных, а социальных отношений:

Знаю,
каждый за женщину платит, —

и хотя, успокаивая себя, герой поэмы говорит любимой:

Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака, —

слова самоутешения оказываются ни к чему. Капиталистический мир устроен иначе. В нем нет отзыва чистым чувствам: в нем «каждый за женщину платит» или она — Джиоконда, которую надо украсть.

Совершенно ясно, что Маяковский до Октября, как поэт и мыслитель, видел в трагедии любви лишь одну из сторон, так сказать, «общей» трагедии человека в капиталистическом обществе.

Особенно полно и выпукло трагедия человека — узника капитализма, скован-

ного неизменным и на все распространяющимся законом купли и продажи, — показана Маяковским в поэме «Человек» (1916 год).

Интересно отметить, что «Человек» обдумывался поэтом (и, вероятно, писался) одновременно с поэмой «Война и мир». В автобиографии под 1916 годом Маяковский писал: «В голове разворачивается «Война и мир», в сердце — «Человек». Из той же автобиографии известно, что поэма «Человек» была закончена лишь «немного позднее» «Войны и мира».

Между «Войной и миром» и «Человеком» если не в тематическом, то в творческом плане, есть прямая связь. Не для красного словца и не в порыве мягкосердечия, а правдиво и искренно выражая свои истинные чувства, Маяковский как-то сказал:

...мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

Так оно и было на самом деле. Для Маяковского дороже всего были люди, но не «вообще», не все без разбора: из их числа должны быть исключены (так, как это делал всегда сам поэт) те, которых он относил к масомясой быкомордой ораве, ненавидя их и никогда не называя людьми.

Империалистическая война, ежедневно уничтожавшая десятки тысяч людей, именно поэтому была так ненавистна Маяковскому, что он понимал для кого, для чьей выгоды приносило человечество кровавую жертву. Бессмысленность и преступность уничтожения человека и неизбежность этого явления при господстве «быкомордой оравы» богачей в поэме «Война и мир» подчеркивается чуть ли не каждой строкой. Маяковский знал, что если

Сильный,
понадоблюсь им я —
ведя:
себя на войне убей!

и что от этого никуда не уйти, так как человек в капиталистическом мире не более, как вещь.

Вот почему тема поэмы «Война и мир», возникнув в сознании поэта, не-

избежно должна была родить тему поэмы «Человек».

Человек в капиталистическом мире — вещь. Так можно определить тему этой замечательной и, к сожалению, до сих пор еще малоизвестной широким кругам читателей поэмы. А между тем поэма «Человек», как и все написанное Маяковским до Октября, — сильнейший обличительный документ, направленный против капиталистического строя.

В первой части «Человека» поэт описывает рождение своего героя. (Как и в трагедии, он носит имя Маяковского.)

Был абсолютно как все
— до тошноты одинаков —
день
моего сошествия к вам, —

говорит Маяковский, тем самым подчеркивая «общечеловечность» героя поэмы.

Но этот человек, самый обычный человек, как все, оказывается — сплошная невидаль, каждое движение его — огромное, необъяснимое чудо.

Две стороны обойдите.
В каждой
дивитесь пятилучию.
Называется «Руки».
Пара прекрасных рук!
Заметьте:
справа налево двигать могу
и слева направо.
Заметьте:
лучшую
шею выбрать могу
и обовьюсь вокруг.
Черепу шкатулку вскройте —
сверкнет
драгоценнейший ум.
Есть ли
чего б не мог я?!

В числе драгоценнейших качеств человека — этого «небывалого чуда XX века» — поэт с особенным восхищением отмечает то, что у него «под шерстью жилета бьется необычайнейший комок», обладающий чудесной способностью претворять все во все.

Ударит вправо — направо свадьбы,
Налево грохнет — дрожат миражи.

Восторженно прославляемое поэтом сердце, т.-е. само существо человеческое, оказывается ненавистным дляладыка мира.

Ревом встревожено логово банкиров,
вельмож и дождей.

Вышли
латы
золото тенькая.
«Если сердце все,
то на что,
на что же
вас нагреб, дорогие деньги, я?
Как смеют петь,
кто право дал?
Кто дням велел июлиться?
Заприте небо в провода!
Скрутите землю в улицы!»

Они ненавидят человека, ненавидят именно то, что есть в нем человеческого. Они хотят подчинить творческие силы человека своей власти, стремясь подавить в нем всякую самостоятельность. С злобной ненавистью смотрят они на человека, гордого тем, что у него есть «пара прекрасных рук».

Хвалился:
«Руки»?!
На ружье ж! —

шипят банкиры и дожи.

Страшный крик боли человека, закованного в кандалы, яростный протест против надругательства над его волей и чувствами несется со страниц поэмы.

«Человек» — замечательное произведение поэта-гуманиста, проникнутое глубочайшей любовью к человеку и жаждой мести за его порабощение. Поэт не только страстно желает отомстить ненавистному врагу, но чувствует, знает: близок час кровавой расплаты.

Антиквар?
Покажите!
Покупаю кинжал.
И сладко чувствовать,
что вот
пред мезью я.

Глубоко неправ В. Перцов, утверждающий, что в дореволюционном творчестве Маяковского «люди, окружающие поэта, вызывают в нем только два чувства: ужаса или страдания»¹.

В поэме «Облако в штанах», обращаясь ко всем задавленным и изуродованным капитализмом людям, Маяковский говорит:

¹ В. Перцов. Этюды о советской литературе, стр. 149.

Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра,
мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу,—
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!
Плевать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копоти в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Разве не видно здесь другого чувства, чувства восторженной гордости за человека, сумевшего сохранить в городе-лепрозории свое человеческое достоинство.

Но гордость за человека не могла родиться из «разочарования в людях», как утверждает в отношении Маяковского дореволюционных лет тот же В. Перцов. И мы знаем, что Маяковский не знал подобного разочарования, а, наоборот, горячо и непоколебимо верил в людей. Страстно верил он в человека будущего, свободного, радостного и красивого человека, хозяина всего созданного им.

Маяковский даже в самые страшные дни империалистической бойни не терял веры в людей и не оставлял своей заветной мечты:

Люди роятся,
настоящие люди,
бога самого милосердней и лучше, —

писал он в «Войне и мире». Заканчивается поэма словами:

И он
свободный,
ору о ком я,
человек —
придет он,
верьте мне,
верьте!

Подобно Горькому, Маяковский не только мечтал о будущем свободном человеке, но и боролся всеми силами за осуществление своей мечты.

И когда в 1915 году встретились они, Горький и Маяковский, — гордый, сильный сокол и молодой оперяющийся орленок, — Горький сразу почувствовал в нем кровное, родное. Он

плакал, слушая величественную и трагическую поэму Маяковского «Облако в штанах». Он первый, разорвав собачий лай продажных буржуазных писателей, со всех сторон нападавших на молодого поэта, обратился к нему со словом ласкового привета и дружеской поддержки.

В статье «О футуризме», опубликованной в «Журнале журналов» (№ 1, 1915 год), Алексей Максимович, решительно восставая против сваливания в кучу всех «футуристов», писал:

«Вот возьмите для примера Маяковского. Он молод, ему всего 20 лет, он криклив, необуздан, но у него несомненно где-то под спудом есть дарование. Ему надо работать, надо учиться, и он будет писать хорошие, настоящие стихи. Я читал его книжку стихов. Какое-то меня остановило. Оно написано настоящими словами».

Невзирая на то, что после этой заметки на Горького посыпались самые ожесточенные нападки за одобрение, высказанное Маяковскому (и не менее зло нападал сам «Журнал журналов»), Алексей Максимович не отказался от «футуриста» Маяковского. Он взял над ним настоящее шефство: в 1916 году при содействии Горького вышла книга стихов Маяковского: «Простое, как мычание»; Алексей Максимович привлек молодого поэта к участию в созданном им журнале «Летопись», напечатав в ней отрывки поэмы «Война и мир»; в газете Горького «Новая жизнь» появились замечательные революционные стихи Маяковского: поэтохроника «Революция», «Сказка о красной шапочке», «К ответу».

«Собиравший вокруг себя писателей, Горький знал не только имя, но и поэтический стиль молодого Маяковского. Поэт был у него на счету...»¹

Великий пролетарский писатель протянул дружескую руку молодому поэту, он принял его радостно, взволнованно, так как чувствовал в Маяковском большого, настоящего поэта и, вероятно, уже тогда видел в нем осуществление своей мечты:

«Русь нуждается в большом поэте. Талантливых—не мало, вон даже Игорь Северянин даровит! А нужен поэт большой, как Пушкин, как Мицкевич, как Шиллер, нужен поэт-демократ и романтик, ибо мы, Русь, — страна демократическая и молодая»¹.

★

Последний этап в дооктябрьском творчестве Маяковского пролегает между двумя революциями: буржуазно-демократической — в феврале 1917 года, свергшей царя, и Великой Октябрьской социалистической, навсегда уничтожившей в нашей стране господство эксплуататоров.

За этот период Маяковский написал всего-навсего пять стихотворений. Но то, что четыре из них являются прямым откликом на злобу дня, свидетельствует о том, что поэт не был в стороне от событий, он жил активной политической жизнью, вмешиваясь в политику своими стихами.

В первые же дни Февральской революции Маяковский написал поэтохронику «Революция». В литературной критике распространено мнение, что Маяковский здесь ошибся в оценке революции, слишком переоценил ее, слишком восторженно принял эту по своему содержанию буржуазно-демократическую революцию, свергшую самодержавие, но не уничтожившую эксплуататорский строй.

Подобное утверждение основано на явном недоразумении. Поэтохроника Маяковского — единственное поэтическое произведение того времени, широко и правдиво отразившее ход революции.

Не прикрашивая действительности, поэт показывает, как еще накануне революции «пьяные, смешанные с полицией солдаты стреляли в народ», как на рассвете 27 февраля «в промозглой казарме, суровый, трезвый, молился Волынский полк»:

Жестоким
солдатским богом божились

¹ Д. Семеновский. А. М. Горький. Встречи и письма, стр. 52.

¹ Там же, стр. 6.

роты,
бились об пол головой многолобой.
Кровь разжигалась, висками жилаась.
Руки в железо сжимались злобой.

Описывая самый ход событий, Маяковский действительно восторженно говорит о революции. Показывая, как она «штыков зубами вгрызлась в двухглазое орла императорского черное тело», поэт восклицает:

Граждане!
Сегодня рухнет тысячелетнее «Прежде».
Сегодня пересматривается миров основа.
Сегодня
до последней пуговицы в одежде
жизнь переделаем снова.

Есть ли здесь излишняя восторженность, переоценка значения Февральской революции? Допустим. Но вот, что говорится о Февральской революции в энциклопедии большевизма—в «Кратком курсе истории ВКП(б)». На странице 169 мы читаем:

«Февральская буржуазно-демократическая революция победила.

Революция победила потому, что рабочий класс был застрельщиком революции и возглавлял движение миллионов масс крестьян, переодетых в солдатские шинели, — «за мир, за хлеб, за свободу». Гегемония пролетариата обусловила успех революции».

Вслед за этим в «Кратком курсе истории ВКП(б)» приводятся слова В. И. Ленина, сказанные им в первые дни Февральской революции 1917 года:

«Революцию совершил пролетариат, он проявил героизм, он проливал кровь, он увлек за собой самые широкие массы трудящегося и беднейшего населения...»

Мог ли поэт, если он ненавидел самодержавие, как ненавидели его миллионы трудящихся России, если он был связан с широкими массами, — мог ли он не радоваться победе революции?

Конечно, не мог. И он радовался победе, радовался потому, что это была победа над вековечным врагом трудовых масс — царской монархией, и победу эту одержал, как подчеркивал Владимир Ильич, пролетариат.

Вместе с тем уже в поэтохронике явно ощущается, что Маяковский не мыслил себе дела так, что свержением

Николая Кровавого исчерпываются задачи революции. Наоборот, обращаясь к массам, он говорил:

Граждане!
Это первый день рабочего потопы.
Идем
запутавшемуся миру на выручку!
Пусть толпы в небо вбивают топот!
Пусть флоты ярость сиренами вырвут!

И еще потому нельзя считать позиции Маяковского в отношении Февральской революции ошибочными, что поэт, провозглашая славу героям революции,

Мы победили!
Слава нам!
Сла-а-ав-вва нам! —

видел героев не в тех, кто, воспользовавшись победой масс, захватил власть в свои руки, а в тех, кто делал революцию своими руками:

Пока на оружии рук не разжали,
повелевается воля иная.
Новые несем земле скржиали
с нашего серого Синая.

Маяковский не только не переоценивал Февральскую буржуазно-демократическую революцию, но вполне правильно понимал ее характер.

В поэтохронике «Революция» мы нигде не видим увлечения лозунгами, распространявшимися теми господами, для которых Февральская революция была конечной остановкой. Господа такого типа, в первую очередь кадеты, а за ними их верные друзья—меньшевики и эсеры, как известно, начали дружно проповедывать войну до победного конца, избражая теперь империалистическую бойню, как войну за свободу.

Маяковский, отлично понимавший классовый характер империалистической войны, не только не заразился ни в малейшей степени подобными провокационными империалистскими лозунгами, но продолжал свою антивоенную линию, определившуюся в самом начале войны.

Обращаясь ко всем «по станкам, по конторам, по шахтам» братьям, которые, по словам поэта, «все на земле солдаты одной, жизнь созидающей рати», Маяковский говорит:

Побеги планет,
держав бытие

подвластны нашим волям.
 Наша земля.
 Воздух — наш.
 Наши звезд алмазные копи.
 И мы никогда,
 никогда!
 никому,
 никому не позволим!
 землю нашу ядрами рвать,
 воздух наш раздирать острями отточен-
 ных копий.

Победу трудящихся над царизмом в феврале 1917 года Маяковский рассматривал, как начало конца в первую очередь империалистической войны и, само собою разумеется, всего буржуазного режима.

Последние пушки грохочут в кровавых спорах,
 последний штык заводы гранят.
 Мы всех заставим рассыпать порох.
 Мы детям раздарим мячи гранат, —

говорит поэт, выражая этими словами твердое убеждение в неизбежности падения старого мира, ощутительный толчок которому был уже дан «первым днем рабочего потопа» — Февральской революцией.

Если так подходить к «Революции» Маяковского, — а нам кажется, что иного подхода и не может быть, — тогда станет понятным восторженное отношение поэта к февральской победе и ясен смысл его слов, заканчивающих стихотворение:

...Над взбитой битвами пылью,
 над всеми, кто грызся, в любви изверься,
 днесь
 небывалой сбывается былью
 социалистов великая ересь!

После поэтохроники «Революция» Маяковским написано в разное время три стихотворения, замечательных прежде всего тем, что в них ясно и четко выражено отношение поэта к окружавшим его весьма сложным и запутанным явлениям политической жизни. Стихотворения эти следующие: «Сказка о красной шапочке», «К ответу» и «Интернациональная басня».

Первое стихотворение, опубликованное в конце июля 1917 года, является очень удачной и очень острой сатирой на кадетов, которые после того, как пришли к власти, не замедлили полностью обнаружить свою контрреволюционную сущ-

ность, скрывавшуюся до этого дымовой завесой «революционной» фразеологии

Жил да был на свете кадет,
 В красную шапочку кадет был одет, —

рассказывает поэт в стиле старой-старой детской сказочки.

Но вслед за этим сказочным началом поэт дает самую резкую характеристику контрреволюционной сущности кадетов:

Кроме этой шапочки, доставшейся кадету,
 ни черта в нем красного не было и нету.

Замечательно остро подмечено в «Сказке» хамелеонство кадетов, их умение менять шкуру, приспосабливаясь к обстановке:

Услышит кадет — революция где-то,
 Шапочка сейчас же на голове кадета.

Так и «жили припеваючи за кадетом кадет и отец кадета и кадетов дед», да поднялся однажды пребольшеущий ветер, в клочья изорвал он красную шапочку кадета.

И остался он черный. А видевшие это
 волки революции съапали кадета.

Правда, съапали они его в действительности несколько позднее по сравнению с тем, когда была написана и опубликована Маяковским эта сатирическая «Сказка». Но Маяковский предвидел и желал такого конца кадетам. Больше того, в «Сказке» есть даже прямой намек на необходимость «раскусить» кадета:

Когда будете делать политику, дети,
 не забудьте сказочку об этом кадете.

Огромное политическое значение сатирической «Сказки» Маяковского не только как художественного произведения, но и как средства революционно-политической пропаганды того времени станет вполне ясным, если учесть, что партия кадетов, являвшаяся в период подготовки буржуазно-демократической революции (1905 — 1916) «наиболее опасной социальной опорой царизма» (Сталин), и после свержения самодержавия оставалась злейшим врагом революции, с которым партия большевиков вела неустанную и самую ожесточенную войну.

Товарищ Сталин в статье, посвященной выборам в районные думы (июнь 1917 г.), разоблачая партию «народной свободы», партию кадетов, как «самую правую», самую враждебную рабочим и крестьянам, призывал трудящихся не давать «ни одного голоса кадетам, врагам русской революции»¹.

Появившаяся как-раз в это время «Сказка о красной шапочке» (опубликованная 30 июля 1917 года) метко была по одному из опаснейших врагов большевистской партии и всех трудящихся России.

«Интернациональная басня» также написана на политическую тему (о распаде военного союза, в который входили Франция, Англия и царская Россия). Но Маяковский говорит не только о самом факте распада Антанты, вызванном свержением самодержавия в России («прогнали с трона в шею врага»). Он обличает воровскую, грабительскую политику империалистических союзников, сговаривающихся между собой о способах организации грабежа.

Еще более остро в политическом плане стихотворение «К ответу», появившееся в первых числах августа 1917 года.

Чрезвычайно лаконическое и строгое, это стихотворение прогремело проклятием по адресу ненавистных врагов народа, оно выворачивало их грабительское нутро наизнанку и призывало трудящихся потребовать мародеров к ответу.

В этом стихотворении каждая строка полна огромного политического смысла, каждое слово начинено динамитом:

Гремит и гремит войны барабан.
Зовет железо в живых втыкать.
Из каждой страны
за рабом раба
бросают на сталь штыка.
За что?

Вот вопрос, который вставал сотни и тысячи раз перед каждым солдатом, рабочим, крестьянином, несшим на своей спине всю тяжесть империалистической войны. Отвечая на этот наболевший, рвущийся из самого сердца миллионов

истерзанных тружеников вопрос, поэт говорил:

Дрожит земля
голодна,
раздета.
Выпарили человечество кровавой баней
только для того,
чтоб кто-то
где-то
разжился Албанией.
Сцепилась злость человеческих свор,
падает на мир за ударом удар
только для того,
чтоб бесплатно
Босфор
проходили чьи-то суда.
Скоро
у мира
не останется неполоманного ребра.
И душу вытащат.
И расплывут там ее
только для того,
чтоб кто-то
к рукам прибрал
Месопотамию.

С каждой новой строкой сила обличения, сила протеста Маяковского нарастает и нарастает:

Во имя чего
сапог
землю растаптывает скрипящ и груб?
Кто над небом боев —
Свобода?
Бог?

Одним словом, резким, как хлыст, раскрывает поэт суровую правду, которую скрывали от трудящихся масс эксплуататоры: не свобода, не бог, а

Рубль!

И вслед за этим громкий — на всю землю — призыв, заключенный в форму вопроса:

Когда же встанешь во весь рост
ты,
отдающий жизнь свою им?
Когда же в лицо им бросишь вопрос:
За что воюем?

Может ли хоть один человек, умеющий чувствовать поэтическое слово, за которым скрывается у великого художника его собственная душа, сказать, что здесь, в этих предельно сжатых строчках не заключена вся сила протеста многомиллионных масс тружеников капиталистической России против эксплуататоров? И можно ли найти еще хотя бы одно произведение поэтов пред-

¹ И. Сталин. На путях к Октябрю, 1925 г., стр. 52.

революционной России, в котором с такой же силой были бы выражены мысли и чувства истерзанного империалистической войной и нечеловеческой эксплуатацией народа?

Нет! Потому что это мог сделать только великий поэт, до последнего дыхания преданный своему народу.

Таким и был Маяковский уже в те далекие и бурные годы, когда с каждым днем становилась все ближе и ближе социалистическая революция, и старый мир уже трещал и расползался по швам.

Антикапиталистический, революционный характер творчества Маяковского, его интернационалистские позиции во время империалистической войны, его смелость и мужество — все это результат революционной закалки, полученной Маяковским в рядах большевистской партии.

И если, уйдя с партийной работы, Маяковский потерял организационную связь с партией, это не значит, что источник большевизма перестал его пи-

тать. Иначе невозможно было бы понять, как смог Маяковский обойти то болото, в котором оказалось большинство дореволюционных писателей, как он, «не разбрызгав душу», сумел донести ее до Октября.

В. И. Ленин как-то сказал:

«Революционер — не тот, кто становится революционным при наступлении революции, а тот, кто при наибольшем разгуле реакции, при наибольших колебаниях либералов и демократов отстаивает принципы и лозунги революции»¹.

Именно таким революционером был Маяковский, пришедший в партию большевиков и работавший в ней в самые тяжелые для партии и революции годы, твердо ставший на позиции революционного интернационализма во время империалистической войны, прошедший вместе с революцией весь путь от черных дней реакции до светлых дней социализма.

¹ Ленин. Сочинения, т. XVI, стр. 494.

Новое в советской технике

Инж. И. ВЕЛЬКИН

★

Безграничные просторы активной творческой деятельности открыты перед каждым трудящимся нашей страны. Передовые советские инженеры, техники, конструкторы изобретают, экспериментируют, они не боятся технического риска. Это новаторы — люди большевистской закалки, люди смелого почина.

Постоянное стремление к совершенствованию техники заставляет их искать новые решения разных технических проблем, создавать машины, каких еще нет в мире.

Мы хотим рассказать о некоторых наиболее интересных работах советских ученых, инженеров, конструкторов, стахановцев, — рассказать, как в нашей стране самые смелые технические замыслы становятся реальностью.

I. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДВОРЦА СОВЕТОВ

Рано утром на огромную площадь строительства Дворца Советов приходят каменщики, бетонщики, крановщики, мотористы. В широкие ворота один за другим въезжают тяжело груженные автомобили. Они подвозят гравий, лес, цемент, металлические конструкции, гранит. Воздух наполняется стуком молотов, лязгом кранов и лебедок, гудением моторов. Идет стройка грандиозного сооружения, какого еще не знало инженерное искусство мира.

Вот большой котлован, расположенный ниже уровня Москвы-реки. Здесь

стоят огромные металлические «башмаки» — главные опоры здания. От них и пойдут ввысь стройные колонны. Здание увенчается стометровой статуей Ленина. Общий вид замечательного Дворца хорошо знаком миллионам советских людей. Выдержанный в монументальных и спокойных тонах, он своими масштабами и формами отобразит величие и размах Сталинской эпохи.

Правильным кругом высятся в центре строительной площадки ажурные мачты деррик-кранов, обозначая границы Большого зала — сердца Дворца, под куполом которого разместится 21 тысяча зрителей. Чтобы судить о масштабах этого зала, достаточно вспомнить, что Большой театр вмещает две тысячи человек.

У высокого забора, граничащего с Волхонкой, здание поднялось уже на высоту пятиэтажного дома. Здесь будет устроен вход для посетителей, приехавших в метро. Через подземный вестибюль они пройдут в гардероб и затем поднимутся на лифтах и эскалаторах в разные помещения Дворца.

Куда ни бросишь взгляд, всюду чувствуется хорошо слаженная работа. Здесь особенно ценят время.

Десятки научно-исследовательских институтов и проектных организаций работают над конструированием оригинальных устройств, которые должны дать наибольшие удобства и комфорт посетителям Дворца.

Наиболее сложные задачи решают строители по устройству Большого зала. Как известно, здесь будут происходить не только всесоюзные съезды и массовые собрания, но и театральные спектакли, массовые представления, показы кинофильмов, спортивные состязания. Чтобы продемонстрировать разнообразные виды зрелищ, надо иметь сцену, хорошо оснащенную различными механизмами и снабженную большими монтировочными мастерскими.

Но как это осуществить? Ведь зал имеет круглую форму, следовательно, устроить обычную сцену с кулисами нельзя. Решено разместить все сценическое хозяйство под полом, в огромном трюме, а сцену-арену сделать передвижной. Здесь главная задача в том, чтобы обеспечить быструю смену отдельных видов зрелищ. После долгих исканий найдено оригинальное и смелое решение.

В трюме устанавливается огромный конвейер, на котором размещаются восемь круглых площадок, по размеру равных арене. Одна из площадок будет оборудована различными приспособлениями для театральных представлений; система телескопических подъемников позволит поднимать декорации и актеров на высоту пятиэтажного дома.

Специальная площадка будет устроена для цирковых представлений — показа искусства акробатов, жонглеров, канатоходцев и т. д.

Замечательно задумана площадка для конькобежцев. Даже в самые жаркие дни ледяной покров этой площадки сохранит такую же прочность, как и в жгучие морозы. Через сеть труб, проложенных по дну площадки, во время выступлений конькобежцев будет непрерывно циркулировать холодильная смесь.

На одной из площадок, в огромном резервуаре, высотой в 3,5 метра, вмещающем 1 000 тонн воды, посетители увидят, как производятся водолазные работы, как эпроновцы поднимают затонувшие суда. В этом бассейне покажут свое искусство лучшие пловцы. Бассейн будет украшен фонтаном со скульптурными группами.

Эффектна площадка, предназначенная для балета; пол ее из плотного матового стекла будет освещаться изнутри разноцветными лампами.

Различные физкультурные показы будут происходить на специальной площадке, имеющей все необходимые спортивные снаряды.

На особой площадке предположено установить огромный киноэкран; он устроен так, что видимость будет одинаково хорошей со всех мест Большого зала.

Восьмая площадка предназначается для вспомогательных целей: она будет служить сейфом для мебели партера и позволит увеличить площадь сцены для крупных театральных представлений.

Для подготовки каждой площадки в трюме, вдоль конвейера, будут размещены многочисленные монтировочные мастерские. Движущийся конвейер сможет подать нужную площадку непосредственно к любой из мастерских. С конвейера площадка, которая нужна для демонстрации, с помощью особого механизма передается на подъемник, а затем — вверх. После окончания номера площадка спускается в трюм; таким же путем поднимается площадка для очередного представления. Вся операция по смене площадок для разных зрелищ займет всего лишь несколько минут.

Все крупнейшие механизмы, расположенные в трюме Большого зала, сблокированы между собой. Управление всеми сценическими механизмами производится с центрального пульта и целиком автоматизируется; лишь несколько человек потребуется для обслуживания всех механизмов.

На время смены площадок отверстие в полу будет закрываться специальным затвором.

Самым оригинальным механизмом во всем комплексе сценических устройств является подъемник. Подъемник должен быстро поднимать на высоту четырехэтажного дома и опускать площадки, вес которых превышает 320 тонн (что соответствует весу 20 груженых вагонов). Надо не только сконструировать самую систему механизмов, но и найти

наиболее надежный источник энергии для приведения этой системы в действие.

Источник энергии был найден: вода! Вода, поднятая на высоту дворца, то есть на 300 метров, — к подножию статуи Ленина, — и пущенная вниз, даст огромное давление (30 атмосфер), а следовательно, и энергию, достаточную для быстрого подъема тяжело груженных демонстрационных площадок.

Таких сценических устройств не было и нет ни в Европе, ни в Америке. Поэтому расчеты конструкторов необходимо сначала проверять на моделях. Новокраматорский завод тяжелоого машиностроения имени Сталина — главный поставщик этого оборудования — изготовит модели наиболее ответственных деталей и узлов.

★

Дворец Советов — самое высокое здание в мире. Многочисленные посетители, конечно, захотят подняться к подножию статуи Ленина. Здесь будут расположены террасы, с которых откроется вид на много десятков километров вокруг.

Здание Дворца одновременно может вместить свыше 40 тысяч человек. Необходимо обеспечить быстрое и удобное передвижение этой огромной массы людей из одной части здания в другую. Если установить обычные лифты, какими мы сейчас пользуемся, то на подъем в верхние этажи человеку потребовалось бы около десяти минут.

Соответственно размерам и высоте здания пришлось соорудить совершенно новый тип подъемных машин. Это лифты-экспрессы, движущиеся почти в десять раз быстрее, чем обычные. К услугам посетителей во Дворце будет свыше 250 лифтов, пронизывающих все здание сверху до низу.

Работа лифтов будет полностью автоматизирована. Достаточно нажать кнопку, и дверь шахты бесшумно откроется. Когда все посетители войдут в кабину, дверь закроется, и лифт, быстро набирая скорость, дойдет до нужного этажа, там дверь автоматически откроется.

Лифты-экспрессы предназначаются для «дальних путешествий», измеряемых десятками этажей. Для подъемов и спусков на более короткие расстояния будут установлены лифты, движущиеся со скоростью 120 метров в минуту, — и все же втрое быстрее, чем обычные.

Инженеры, разрабатывающие конструкцию этих лифтов, столкнулись с неожиданными трудностями — как устранить шум, возникающий от работы множества механизмов.

Пришлось заняться проектированием бесшумных, тихоходных моторов, совершенно отказавшись от обычного редуктора, который и является главным источником шума. Такие моторы сейчас конструируются на Харьковском электромеханическом заводе. Там же будут изготавливаться все механизмы автоматизации.

Самые, казалось бы, простые технические вопросы в необычных машинах Дворца Советов перерастают в сложные проблемы. Возьмем, к примеру, направляющие рельсы, по которым скользит лифт. При работе лифта на больших скоростях малейший зазор между лифтом и рельсом может привести к резким толчкам и шуму. А машины Дворца Советов должны работать бесшумно и надежно. Поэтому необходимо, чтобы направляющие рельсы были изготовлены с точностью до 0,025 мм, — величина, трудно осозаемая, даже папиросная бумага вдвое толще. До сих пор такая точность изготовления практиковалась в производстве приборов, а здесь придется изготовить много десятков километров направляющих рельсов.

Помимо пассажирских лифтов во Дворце будет много подъемников вспомогательного назначения — для перевозки грузов и продуктов. Внутри статуи Ленина будут устроены две трассы грузо-пассажирских лифтов для внутреннего осмотра статуи, очистки ее и т. д.

Подъемники нужны и для строительства Дворца, чтобы поднимать материалы и рабочих. Для этой цели изготовляются специальные скоростные машины, поднимающие примерно на высоту 30-этажного дома. Уже сейчас в цехах

московского завода «Подъемник» можно видеть отдельные части первого опытного лифта, предназначенного для строительства Дворца.

★

Во Дворце Советов посетителю не придется много ходить пешком. Сто сорок шесть маршевых эскалаторов заменяют обычные лестницы для перехода из этажа в этаж. Они будут отличаться от «лестниц-чудесниц» Московского метро. Новые эскалаторы — целиком металлические, даже ступени и балюстрады изготавливаются из специальных сплавов. Замена дерева металлом во всех машинах Дворца Советов продиктована соображениями противопожарной безопасности и художественного оформления. Для полного поглощения шума под металлическими формами эскалатора будут размещены специальные прокладки.

Первый опытный эскалатор изготавливается на ленинградском заводе «Красный металлист».

В специальном вестибюле устанавливается механизированный гардероб, — кабины для одежды будут автоматически открываться и закрываться. Посетитель, сняв с себя верхнюю одежду, поместит ее в кабинку, повернув и вынув ключ. Дверь кабины автоматически закроется, и кабина с помощью специального устройства переместится в хранилище.

Для получения своего платья необходимо снова вставить ключ, тогда кабина посредством того же устройства снова переместится в вестибюль, и дверь ее автоматически откроется. Механизированный гардероб заменит собой не менее тысячи гардеробщиков, необходимых при таком количестве посетителей Дворца.

Огромное количество лифтов-экспрессов, эскалаторов, механизированных гардеробов даст возможность посетителям Дворца быстро заполнить здание и покинуть его в исключительно короткий срок: 21 тысяча зрителей сможет освободить Большой зал и одеться в течение каких-нибудь 15 минут.

Для хорошей вентиляции огромного помещения Дворца потребуются специальные установки. Эти машины будут давать воздух строго определенной температуры и влажности. Миллионы кубометров свежего воздуха будут поступать из установок-кондиционеров, размещенных в нижнем этаже здания. Таких машин у нас еще пока нет. Над изготовлением кондиционеров работает завод «Компрессор».

В различных помещениях грандиозного здания предполагается установить свыше двух тысяч электрочасов, управление которыми будет производиться с одного центрального щита. Этот щит связывается специальным проводом с Астрономическим институтом им. Штернберга, в котором находится часовая установка, показывающая точное время. Специальные часы имеют контактные устройства для включения различных аппаратов, установленных во Дворце, в частности, электроосвещения. Проект часофикации Дворца уже разработан Всесоюзной конторой «Электрочасофикация».

Трудно дать хотя бы краткий перечень тех сложных и оригинальных механизмов, которыми будет насыщен Дворец Советов. Советские инженеры должны сконструировать сотни новых механизмов. Речь идет о новой технике, технике будущего, и в этом направлении сделано уже немало. Постройка Дворца показала высокую зрелость нашей технической мысли. Каждый участник строительства Дворца Советов чувствует, что ему оказана большая честь, и прилагает все силы, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

II. ПОКОРЕНИЕ ВОЛГИ

Несколько лет назад на берег Волги, близ Углича, пришли новые люди — геологи и гидрологи, а вскоре прибыла и многочисленная армия строителей Угличского гидроузла. Тихая пристань сразу ожила. Изменился и облик старого Углича, город повеселел, в нем бурным ключом забила жизнь.

Тысячи строителей, героически преодолевая ледоходы, колебания горизон-

тов воды, укрепляя слабые грунты, возводили гидротехнические сооружения и сейчас — спустя четыре года — строительство Угличского гидроузла приближается к концу. Гигантская двухъярусная железобетонная плотина преградила Волгу, подняла уровень воды, соединит верховья реки с каналом Москва — Волга.

Огромные 310-тонные краны спустили в пролеты плотины громадные щиты — донные затворы. Волга оказалась на замке, и под Угличем образовалось большое водохранилище. Громадная сила волжских вод отдаст свою энергию турбинам гидроэлектрической станции, имеющей мощность в 110 тысяч киловатт.

★

В 70 километрах от Углича расположено строительство другого гидроузла — Рыбинского. Так, один за другим возникают мощные источники электроэнергии на Волге. Так большевики переделывают великую русскую реку, ставят на службу социалистического строительства ее огромные энергетические ресурсы.

План покорения Волги, превращения ее в «Большую Волгу» грандиозен. «Большая Волга» имеет важнейшее народно-хозяйственное значение. Волжская вода будет использована для получения электроэнергии, для ирригации засушливых районов и для улучшения условий судоходства по этой главной водной артерии.

Всего на Волге будет 8 гидроузлов: Ивановский, Угличский, Рыбинский, Куйбышевский, Василевский, Чебоксарский, Камышинский и Сталинградский. Кроме того, несколько гидроузлов будет построено на главнейших притоках Волги — Оке и Каме. На каждом гидроузле сооружается плотина, гидроэлектростанция и судоходные шлюзы.

Громадные, длиною в сотни километров, озера располагаются за плотинами вверх по реке. О масштабах этих озер можно судить по такому примеру: когда Волга, поднятая плотиной у Рыбинска, разольется, возникнет «Волж-

ское море», площадь которого в 15 раз больше «Московского моря».

Волга вбирает воду с гигантской площади — 1 385 тысяч квадратных километров. Количество воды, протекающей в ней, очень велико — летом не менее двух тысяч куб. метров в секунду, а во время паводка — до 65 тысяч куб. метров. На пути этой гигантской массы воды встанут плотины и гидростанции; тогда механическая энергия воды преобразуется в электрическую.

Волжские гидроэлектростанции будут вырабатывать огромное количество электроэнергии. Общая мощность их определяется цифрой в 12 миллионов киловатт, а ежегодно эти станции будут вырабатывать до 60 миллиардов киловатт-часов. Чтобы получить такое количество электрической энергии, понадобилось бы ежегодно расходовать 30 миллионов тонн угля лучшего качества. Энергия, получаемая на этих гидроэлектрических станциях, будет в пять раз дешевле, чем энергия теплосиловых электростанций.

Ток волжских станций пойдет на фабрики и заводы, широко развернется электрификация сельского хозяйства и жел.-дор. транспорта. Зажгутся миллионы лампочек в городах и колхозах, будут пущены в эксплуатацию десятки новых предприятий.

Огромное количество дешевой электроэнергии даст возможность покончить с засухой. Электронасосы будут ежегодно подавать двадцать миллиардов кубометров воды в заволжские степи, расположенные на 80 метров выше уровня реки. Это повысит урожай пшеницы в три раза.

Вода поступит в наиболее возвышенные местности и затем будет растекаться по сети каналов. Кроме того, большое применение найдут на полях установки для искусственного дождевания. Широкая ирригация Заволжья даст стране дополнительно десятки миллионов пудов хлеба.

Уже сейчас грузооборот Волги — этой крупнейшей водной магистрали — превышает 35 миллионов тонн в год. В будущем грузооборот реки возрастет во много раз: «Большая Волга» объединит в одну систему важнейшие водные ма-

гистральной страны, через реконструированную Мариинскую систему Волга соединится с Балтийским, а через Беломорско-Балтийский канал — с Белым морем. По каналу Волга — Дон река будет иметь выход в Черное море.

Глубоководная магистраль свяжет порты северных и южных морей, промышленные районы с сельскохозяйственными. Хлеб, уголь, руда, металл, машины, лес, ранее привозившиеся по железной дороге, поплывут на мощных судах преобразенной Волги во все концы Советского Союза. В центре новых путей, на оживленном перекрестке голубых магистралей, стоит будущий порт пяти морей — столица великой Советской страны — Москва.

★

Советские машиностроители энергично работают над новыми видами энергетического оборудования, которое необходимо для волжских гидростанций. Для Угличской и Рыбинской гидростанций Ленинградский металлический завод имени Сталина изготовил очень большие турбины. Каждая из этих турбин — системы Каплана — имеет мощность в 55 тысяч киловатт. Мировое турбостроение не знает машин такого типа с мощностью более чем в 44 тысячи киловатт.

Одна из наиболее ответственных деталей турбины, например, рабочее колесо, имеет диаметр в 9 метров. На площади каждой из его четырех двадцатитонных лопастей, сделанных из нержавеющей стали, свободно может поместиться лимузин ЗИС. Другая «деталь» — направляющий подшипник турбинного вала — весит 45 тонн. Вал — грандиозная стальная поковка, обработанная с высокой точностью, — имеет длину в двенадцать метров. Такая водяная турбина весит более 1 300 тонн. Ленинградский металлический завод уже изготовил три турбины Каплана.

Производство этих сложных машин потребовало решительных изменений в привычных методах работы. Многие детали не помещались на существующих разметочных плитах, сборочные площад-

ки оказались тесными, недостаточной была и подъемная сила стонных кранов. Чтобы изготовить такие огромные детали, пришлось на ходу перестраиваться и изобретать новые приспособления.

Еще более сложные задачи придется решать советским инженерам при строительстве Куйбышевского гидроузла. По технической сложности и масштабам это сооружение превзойдет все, что до сих пор имело место в практике гидротехнического строительства не только в Советском Союзе, но и во всем мире. Куйбышевский гидроузел даст наибольшую из всех волжских гидростанций мощность — 3,4 миллиона киловатт, с годовой отдачей электроэнергии 15,5 миллиарда киловатт-часов.

Электростанции Куйбышевского гидроузла будут оборудованы турбинами и генераторами, каких еще не знало машиностроение. Мощность каждого из них 170—180 тысяч киловатт, то-есть в три раза больше всей Волховской гидростанции.

Что же будет представлять собой сверхмощная машина? Для человека, который станет у основания такой машины, она будет казаться сооружением с четырехэтажный дом. А ведь обработка каждой детали этой машины должна быть произведена с точностью до сотых долей миллиметра.

Вал турбины будет иметь в длину двадцать пять метров, диаметр — 1,8 метра. Турбина рассчитана на сравнительно небольшую скорость вращения — 83 оборота в минуту, но даже при этом числе оборотов крайние точки ротора, диаметр которого равен 15 метрам, будут двигаться со скоростью двести километров в час — вдвое быстрее курьерского поезда.

Не только постройка, но даже перевозка отдельных частей таких машин очень сложна. Многие детали невозможно перевезти по железной дороге, так как они не уместятся на платформах, не пройдут под железнодорожными мостами и арками. Расчеты показали, что для изготовления турбин дешевле построить специальный завод в районе Куйбышевского гидроузла, чем возить

их из Ленинграда. Сейчас в Гипротяжмаше разрабатывается проект такого завода.

Над проектированием сверхмощных машин работают десятки научно-исследовательских институтов и предприятий. Во Всесоюзном научно-исследовательском институте гидромашиностроения (ВИГМ) спроектированы и испытаны восемь моделей колес для турбин в одну двенадцатую натуральной величины. Уже определены основные характеристики колес: мощность, расход воды, коэффициент полезного действия.

Большую работу по проектированию генераторов электрического тока проводят инженеры ленинградского завода «Электросила». Недавно на заводе обсуждался проект одной из наиболее ответственных частей генератора — нижней крестовины, которая должна выдерживать нагрузку в 4,5 тысячи тонн.

Коллективы Теплоэлектропроекта, Всесоюзного электротехнического института и Ленинградского индустриального института разрабатывают систему электропередач токами сверхвысокого напряжения, так как электроэнергия Куйбышевского гидроузла будет передаваться в Московский, Горьковский, Уральский и другие районы — на расстояние до тысячи километров. Чтобы передать энергию на такое расстояние, напряжение тока будет доведено до беспрецедентного в электротехнической практике предела — 400 тысяч вольт. До сих пор в мировой технике были известны максимальные напряжения в 287 тысяч вольт.

Ленинградский завод «Электроаппарат» строит малообъемные импульсные выключатели. Они действуют вдвое быстрее, чем выключатели, выпускаемые сейчас заводом: отключение поврежденных линий происходит в шесть сотых доли секунды.

Институт автоматики и телемеханики Академии Наук СССР работает над проблемой телемеханизации Куйбышевского гидроузла. Разрешение этой проблемы, то-есть централизованного управления на расстоянии, представляет большой интерес. Предполагается осуществить управление по тем же проводам, по ко-

торым передается электроэнергия.

Коллектив лаборатории телемеханики задался целью создать такие устройства, которые позволили бы осуществить телефонную связь по линиям высокого напряжения и одновременно использовать их для защиты от токов короткого замыкания.

III. НОВОЕ В ТЕХНИКЕ МЕТАЛЛУРГИИ

Работники Днепропетровского завода металлургического оборудования готовили доменную печь к пуску не на обычном воздушном дутье, а на кислородном. Это было большим событием в истории доменного процесса.

Немало трудностей и тревог пришлось пережить энтузиастам кислородного дутья. Как и всегда бывает в таких случаях, нашлись «ученые авторитеты», которые не верили в успех дела. Были и люди, относившиеся явно враждебно к «фантастической затее». Они предсказывали, что домна не пойдет, ссылались на заграничную практику, где, несмотря на многочисленные опыты, кислородное дутье не нашло промышленного применения.

Чего же ожидали доменщики с таким нетерпением?

Известно, что высокие температуры являются средством ускорения большинства технологических процессов. Самые разнообразные отрасли промышленности — выплавка чугуна и получение стали, выжиг кокса и выработка генераторного газа — требуют очень высоких температур.

При сжигании топлива в обычных условиях — в смеси с воздухом — невозможно получить очень высокую температуру, так как воздух состоит почти на четыре пятых из азота, который тормозит процесс горения, и только на одну пятую — из кислорода.

Чтобы повысить температуру горения, воздух, а иногда и топливо, приходится предварительно подогреть, сооружать для этого дорогостоящие установки — кауперы, регенераторы, рекуператоры и др. На металлургическом заводе, например, кауперы составляют сорок процен-

тов стоимости всего доменного цеха. Очень дорого обходятся и регенераторы мартеновских печей, и подогреватели в коксовых печах.

Но, если воздух, подаваемый в печь, обогатить кислородом, можно получить очень высокую температуру, даже не прибегая к предварительному подогреву. Достаточно увеличить содержание кислорода в воздушном дутье, которое подается в домну, только на четырнадцать процентов, чтобы температура в домне возросла до 2410 градусов.

Вот какой эффект в работе домны может дать кислород. Он совершенно изменит внешний вид доменных цехов, сделает их более компактными. Потребуются вдвое меньше воздуха, следовательно, мощность воздуходувных установок можно будет резко уменьшить.

Но самое главное значение кислородного дутья заключается в резком увеличении производительности доменных печей.

Выступая на XVIII съезде ВКП(б), товарищ Л. М. Каганович охарактеризовал значение этого мероприятия так:

«Производительность доменных печей при работе на кислородном дутье может быть повышена в два раза. Следовательно, мы можем повысить производство чугуна в два раза, если будем применять кислородное дутье. А это дешевле, чем строить доменные печи. Коэффициент использования доменной печи можно довести до 0,5 вместо 1,14. Это увеличение больше, чем в два раза. Применение дутья позволит снизить расход кокса на тонну чугуна на 10—15 проц. Применение кислорода обогащает процесс и дает нам чугун более высокого качества»¹.

Кислород ломает сложившиеся представления о ходе технологических процессов, и неудивительно, что новое дело с таким трудом продвигается вперед.

★

Настулил, наконец, торжественный день в жизни Днепропетровского заво-

да. Кислород был пущен в печь. В большом здании, напоминающем зал электростанции, заработала мощная кислородная станция.

Обогащенный кислородом воздух собирался в огромном газгольдере и оттуда бесперебойно шел в доменную печь — 5 000 кубометров воздуха, наполовину состоящего из кислорода, давала ежечасно эта станция.

Бригада инженеров Днепропетровского металлургического завода непрерывно производила забор проб.

Температура в домне быстро поднималась, печь работала нормально. Результаты опыта превзошли все ожидания — за смену печь дала вдвое больше металла, чем обычно.

Установка на ДЗМО является опытной, здесь будут получены все необходимые данные для дальнейшего проектирования аналогичных установок. Опыты, проводимые на доменной печи ДЗМО, — это начало осуществления решений XVIII съезда нашей партии о внедрении кислородного дутья в доменное производство. Выполнение этой важнейшей задачи сделает нашу металлургическую промышленность самой передовой в мире.

★

Кислородное дутье находит широкое применение в самых различных областях тяжелой индустрии. Коэффициент полезного использования тепла в мартенах чрезвычайно низок. При переводе же дутья на кислород коэффициент использования тепла будет значительно повышен, отпадет необходимость в тепловом регенераторе. Газы, выходящие из мартенов, будут иметь более высокую температуру и могут быть использованы для получения пара. С переходом на кислородное дутье окажется возможным применять не газообразное или жидкое топливо, а более дешевое — каменноугольную или торфяную пыль.

На московском металлургическом заводе «Серп и молот» и на заводе «Красное Сормово» были проведены плавки в мартенах с применением кислородного дутья. Эти опыты показали хорошие результаты.

¹ Стенографический отчет XVIII съезда ВКП(б), стр. 247.

Большой эффект может иметь применение кислорода и в коксовых установках. В своем нынешнем виде коксовые печи чрезвычайно громоздки из-за регенераторов для подогрева воздуха. Применение кислорода позволит отказаться от регенераторов, намного удешевит стоимость печей и даст возможность легко регулировать процесс коксования.

Большое значение имеет кислород и для подземной газификации угля, которая освобождает людей от тяжелого, изнурительного труда под землей. Пласты угля зажигаются в местах залегания, и к ним подводится воздух в количествах, необходимых для получения горючего газа. Замена воздуха кислородным дутьем резко увеличит теплоотворную способность газа и позволит передавать его на очень далекие расстояния. Газообразное топливо найдет тогда самое широкое применение во всех отраслях промышленности.

★

С тех пор, как Мартен пустил в 1865 году свою первую печь, мировая техника прошла блестящий путь технического прогресса, но этот прогресс почти не коснулся черной металлургии. Правда, за это время были усовершенствованы металлургические агрегаты, но технологический процесс изготовления стальных изделий, установленный 75 лет назад, остался неизменным: сталь, сваренная в мартене, разливалась по изложницам и остывала. Отлитые болванки заново разогревались в печах и поступали в прокатные цехи.

Огромное количество энергии приходилось затрачивать на двойной нагрев металла.

После длительных экспериментов советские инженеры нашли новый метод прокатки. Это так называемая бесслитковая прокатка металла. Сущность ее очень проста по своей идее и замечательна по результатам.

Нельзя ли сразу из мартенов пустить жидкий металл через валки и сразу же получать готовые изделия?

Такой вопрос был совершенно зако-

номерен, и над его решением билось не одно поколение металлургов. Чрезвычайно заманчивым казалось избавиться от громоздких станков для прокатки, от огромных литейных канав с ковшами, изложницами, поддонами, освободить многочисленные краны от ненужных перевозок, отказаться от многократных нагревов стали.

На московском металлургическом заводе «Серп и молот» успешно проведены опыты прокатки жидкого металла.

Расплавленный металл заливается через особое устройство между вращающимися валками, которые охлаждаются водой. По мере вращения валков выходит готовая металлическая полоса.

На стане прокатываются специальные сплавы, имеющие высокие механические свойства. Опыты показали высокое качество металла. Это и понятно. Ведь большинство пороков в металле получается именно в процессе застывания болванок. При охлаждении же металла в тонком слое получается наиболее желательная, равномерная, мелкая кристаллизация.

Бесслитковый метод прокатки совершенно изменяет существующее представление о технологии прокатного дела. Помимо облегчения технологического режима и повышения качества металла, получаются большие экономические преимущества, благодаря устранению дорогостоящих промежуточных операций. Сокращаются расходы на изготовление специальных литейных форм и нагревательных устройств, во много раз сокращается время изготовления стальных изделий.

В настоящее время на Новокраматорском заводе тяжелого машиностроения изготовляется стан для бесслитковой прокатки металла. На этом стане можно будет прокатывать черные и цветные металлы и получать листы толщиной от 2 до 8 миллиметров, шириной от 230 до 630 миллиметров.

IV. УСПЕХИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В большой коробке, в гнездах, крытых бархатом, заботливо уложены са-

мые различные по размеру металлические плитки, поверхность которых отполирована до зеркального блеска. Тщательно оберегаются они от пыли, царпин и атмосферного влияния.

Это — самый точный из имеющихся измерительных инструментов — плитки Иогансона. Они должны обеспечить основное требование современной техники — точность, и применяются для того, чтобы все части автомобиля, самолета, паровоза, комбайна были хорошо пригнаны друг к другу. Тогда машины будут работать долго и безотказно.

С помощью набора эталонных плиток ведут измерения с точностью до тысячных долей миллиметра. Малейшая ошибка в одной из плиток может вызвать брак в тысячах деталей. Проверка инструментов с помощью плиток Иогансона ведется при строго определенной температуре — 20 градусов.

Можно себе представить, какие жесткие требования предъявляются к точности изготовления плиток Иогансона. Не даром монополисты этого производства на международном рынке — фирмы Иогансона в Швеции и Цейса в Германии — держат в строжайшей тайне технологию изготовления эталонных плиток.

Десятки тысяч рублей ежегодно тратились на закупку эталонных плиток. Лишь очень небольшое количество их изготавливали лекальщики. И сейчас еще на некоторых заводах сохранились эти замечательные мастера своего дела. Низко нагнувшись над верстаком, они, не спеша, полируют лежащий перед ними металл кусочком лайки с нанесенным на ней тонким слоем наждачного порошка, разведенного в масле. Часами сидят они за столом, делая свою непонятную для непосвященного глаза работу. Подобно тому, как художник десятками и сотнями смещений красок добивается нужного оттенка, так и лекальщик с чутьем, выработанным долгим опытом, преодолевая угрозу «перехватить» один-два микрона и «запороть» изделие, доводит плитку до необходимой точности. Работа эта продолжается до тех пор, пока отсчет по специальному микроскопу не

покажет, что инструмент изготовлен с точностью до 2—3 микрон.

Когда слесарь Семенов пришел на завод «Калибр», там только начинали осваивать производство эталонных плиток. За смену лекальщик делал не более трех-четыре штук. В то время на заводе было мало лекальщиков, и плиток выпускали немного. Качеством они тоже не всегда блистали.

Семенов много думал над тем, чтобы перевести изготовление плиток на станок, справлялся у инженеров, нет ли за границей такого станка. К сожалению, никто не мог Семенову ничего сказать, и он решил приняться самостоятельно за конструирование станка. В течение двух лет работал конструктор-самоучка над созданием станка, который заменил бы трудоемкое мастерство лекальщиков. С помощью инженеров «Калибра» Семенову это удалось. С сравнительно коротким сроком он создал опытный образец станка, который одновременно обрабатывает 32 плитки. Малоквалифицированный рабочий мог за смену изготовить 250 эталонных плиток.

Успех испытаний станка поставил на очередь вопрос об его серийном выпуске. Семенов организовал производство новых станков. Первые восемь станков были изготовлены в сравнительно короткий срок и работали так же безукоризненно, как и опытный экземпляр.

Идея механизации технологически сложного процесса, разработанная и конструктивно оформленная тов. Семеновым, дала прекрасные результаты. Она отражает стремление советских конструкторов создавать машины, которые изготавливали бы самые сложные детали.

★

Очень оригинален станок-автомат, сконструированный инженером Вихманом. Это — станок, работающий с помощью фотоэлектронной автоматики. Работа станка, «читающего» чертежи, протекает следующим образом: белый лист бумаги с вычерченным на нем контуром изделия вкладывается в камеру станка. «Видя» этот контур, станок автоматиче-

ски производит обработку металлической заготовки.

Обработка самых сложных деталей осуществляется с помощью фотоэлемента — прибора, способного реагировать на световые лучи и превращать их в электрическую энергию. Специальное приспособление — фотовизор — управляет всеми операциями: пуском, подачей режущего инструмента, остановкой и т. д.

В Научно-Исследовательской лаборатории фотоэлектронной автоматики (НИЛФА), руководимой инженером Вихманом, уже имеются первые образцы этих станков. Один из первых экземпляров «видящего» станка займет место в штампово-механическом цехе автозавода имени Сталина.

В НИЛФА созданы также специальные устройства, с помощью которых существующие станки можно превратить в фотоэлектрические автоматы.

Интересен также автомат, изобретенный ленинградским инженером Соколовым, работающий по принципу копирования модели. Это поистине «умная» машина. На станке устанавливается деревянная или гипсовая модель, которая ощупывается со всех сторон передвигающимся копировальным пальцем. Этот палец связан с помощью специальных устройств с режущим инструментом, который точно воспроизводит в металле копию модели. На копировальных автоматах можно обрабатывать самые сложные изделия. Ленинградский завод им. Свердлова, осваивает производство электро-копировальных автоматов системы Соколова.

Конструкция станков Соколова более совершенна, чем устройство аналогичных станков Келлера. Электрическая схема управления станков, предложенная Соколовым, проще и надежнее в эксплуатации.

★

Стахановское движение породило много новых форм организации труда. Одним из самых замечательных проявлений стахановского движения является многостаночное обслуживание. Одновременное

обслуживание нескольких станков одним рабочим дает высокое увеличение производительности труда, но оно со всей остротой ставит вопрос об автоматизации обслуживания станков. Рабочие-стахановцы вплотную подводят инженеров к новым техническим проблемам, будят их мысль, творческую инициативу. В ряде отраслей промышленности, в результате развертывания многостаночного обслуживания, начинают применяться оригинальные устройства, которые освобождают рабочих от целого ряда ручных процессов. На уральских машиностроительных заводах недавно оснастили многие станки оригинальным приспособлением, которое назвали «автоподручным». Суть дела заключается в следующем.

Станок врезается в металл, резец выполняет заданную ему операцию. Но вот на светофоре, установленном у станка, вспыхнул синий свет, и одновременно раздался звук сирены. Оба сигнала — световой и звуковой — предназначены для станочника, обслуживающего агрегат. Сигналы предупреждают: скоро конец заданной работы, надо подготовиться к следующей операции. Но если рабочий не расслышал или не заметил сигнала, резец, когда наступит момент полного завершения операции, автоматически останавливается. Станок выключается, и на светофоре зажигается уже красная лампочка — сигнал об остановке станка.

Ленинградский конструктор М. Тартарский спроектировал «электродиспетчер многостаночника». Благодаря этому приспособлению стахановцы завода «Светлана» одновременно обслуживают по шесть станков.

★

Творческая мысль советских изобретателей и рационализаторов стремится не только к автоматизации отдельных операций, но и к созданию целых автоматических линий и цехов. На этом пути уже имеются крупные успехи.

На Сталинградском тракторном заводе им. Дзержинского слесарь тов. Иночкин обратил внимание на то, что рабо-

чие у многих станков выполняют однообразную и несложную работу: берут деталь, ставят на станок, который автоматически обрабатывает ее. Когда деталь готова, рабочий ее снимает, передает на дальнейшую обработку и взамен ставит новую заготовку.

Иночкин пришел к выводу, что этот утомительный ручной труд можно заменить механическим. Он сконструировал такое автоматическое устройство, которое на всех этих операциях заменяет ручной труд. С помощью этого устройства детали автоматически подаются к станку, устанавливаются на него и подаются на следующий станок. Таким образом, получив литье, автоматическая линия Иночкина выдает без прикосновения человеческой руки готовые изделия.

Эффект от применения автоматизации обслуживания станков, предложенный Иночкиным, очень велик. Сейчас на Сталинградском тракторном заводе закончено оборудование целой автоматизированной линии, изготовляющей ступицы. Она поднимает производительность труда в несколько раз.

Предложение Иночкина интересно и тем, что оно может быть применено на всех крупносерийных и массовых производствах. Цехи совершенно преобразятся; вместо многих десятков и сотен рабочих обслуживание будет вестись несколькими наладчиками.

Очень интересна работа по автоматизации других технологических процессов, проводимая на Сталинградском тракторном заводе. В частности, здесь автоматизируется подача шихты к электропечам (сейчас сталевары подают шихту вручную). После автоматизации работа будет происходить следующим образом: весовщик на шихтовом дворе взвесит шихту, нажмет кнопку, загруженная тележка плавно пойдет в цех через автоматически раскрывающуюся

дверцу и остановится возле печи. Кран подхватит с тележки бадью с шихтой, опрокинет ее в печь. Сталевар нажмет кнопку, и тележка сама уйдет обратно на шихтовой двор. Сталелитейный цех завода уже приступил к осуществлению этого проекта.

На 1-м Государственном подшипниковом заводе, по предложению наладчика тов. Волкова, уже введены в эксплуатацию автоматизированные линии по обработке роликов подшипников. Отдельные станки соединяются трубками, при этом используется толкательная сила барабана для передачи ролика со станка на станок. Таким образом, несколько станков, на которых ролики проходят ряд последовательных операций, соединены между собой как бы в один агрегат и обслуживаются одним станочником. Это освободило значительное количество рабочих от однообразной и утомительной работы по передаче роликов со станка на станок.

Все это — начало большой и сложной работы по автоматизации производства, которая разворачивается сейчас на наших заводах. Недалеко то время, когда мы будем иметь полностью автоматизированные цехи заводов. Трудно представить себе, какой огромный экономический эффект даст это мероприятие, как преобразится технология производства на наших предприятиях.

Полное торжество принципа автоматизации производства, максимальное облегчение труда рабочих, достижение невиданной производительности возможно лишь в нашей стране, идущей к коммунизму.

Автоматика завоевывает прочные позиции во всех областях народного хозяйства. Тесное творческое сотрудничество рабочих-стахановцев, инженеров, ученых, конструкторов неустанно ищет все новых и новых путей технического прогресса. Эти искания дают свои прекрасные плоды.

БИБЛИОГРАФИЯ

ЭМИ СЯО — ПЕВЕЦ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ КИТАЯ

У нашей критики, занимающейся иностранной литературой до недавнего прошлого были свои «фавориты», творчеству которых посвящались целые исследования, их имена приводились по всякому поводу. Нет нужды напоминать, что очень многие из этих «Фаворитов» разочаровали своих пропагандистов, показав, как в действительности скороспело и безгослинно научной основы «изучалось» их творчество. Но одновременно с этим целый ряд действительно интересных и своеобразных мастеров оставался вне поля зрения критики. Такова, например, судьба революционного китайского поэта Эми Сяо, творчеству которого за последние 8—10 лет было уделено меньше внимания, чем, скажем, Пристли за последние полтора года.

Эми Сяо родился в 1899 году в Сенсян в провинции Хунань. Со школьной скамьи принимал участие в революционном движении своей родины (состоял членом ЦК комсомола Китая), был принужден эмигрировать: жил в Париже, а с 1927 по 1939 год провел в Советском Союзе. С 1939 года Эми Сяо снова на родине, где с помощью пера и винтовки сражается с японскими интервентами. Творческим результатом новой встречи поэта с родной страной явились две книги: «Хунанская флейта» — книга стихов и сборник очерков — «Китайские рассказы»¹.

Уже четвертый год длится героическая борьба китайского народа против японских захватчиков. Мы все с волнением ежедневно читаем в газетах и слышим по радио сводки с фронтов Китая. В далекой, но близкой нам стране, с трудно запоминаемыми названиями местечек и городов, происходит непрерывные бои: партизаны пускают под откос поезда, сражаются и побеждают сильного, отлично вооруженного врага. Каждое живое слово об этой героической повседневной жизни и борьбе, иллюстрирующее скупые сообщения военных сводок, с интересом воспримется нами, тем более, если оно произнесено непосредственным участником и очевидцем и одновременно таким большим мастером, как Эми Сяо.

Рецензируемые книги органически связаны между собою: эпизоды, описываемые в очерках, затем находят свое поэтическое отобра-

жение в стихах. Надо прямо сказать, что Сяо значительно сильнее в стихе, чем в очерке. В поэзии у него свой голос, своя определенная манера; это большой и своеобразный художник, которого можно поставить в ряд с лучшими современными поэтами.

Сборник «Хунанская флейта» содержит 44 стихотворения, которые объединены в три раздела: 1) «В саду», 2) «Война» и 3) «Возвращение». Словом «сад» Сяо назвал свою вторую родину — Советский Союз, где он прожил двенадцать счастливых лет, с которыми связаны его радостные интимные переживания, описанные в лирических стихах.

Книга открывается тремя стихотворениями, посвященными вождям и учителям трудящихся всего мира — Ленину и Сталину. Для изображения своего отношения к гениям человечества Сяо находит убедительные и, вместе с тем, целомудренно-простые слова. Ленину и Сталину для поэта — образы, бескрайно наполняющие весь мир, одним лишь своим существованием дающие жизнь и счастье окружающим. Счастлив и спокоен, уверен в своем завтрашнем дне сам поэт, ибо он видит над ночною Москвою

Кремлевский дворец за рекою. Большой
нетронутый снег.
Ни облаков, ни дыма. Месяц в небе висит.
Большой человек за рекою. После забот об
всех —
Не знаю, заснул он под утро? Или еще не
спит?

Счастлив и спасен от неминуемой смерти мальчик-пастух, сбившийся с дороги в «темную ночь в глубоком снегу». Ему не страшно, что «воют волки, тигры ревут», так как он, посмотрев на небо, увидел путеводную звезду. И поэт, заканчивая это стихотворение, любовно напоминает мальчику:

Запомни, друг,
Навек, навсегда:
Сталин — полярная
Наша звезда!

Весьма интересно и третье стихотворение: «Красная площадь». Это целая патетическая симфония о вожде и родине. Первая его половина исполнена спокойного созерцания. В мерном, четком ритме рисует Сяо торжественный

¹ Эми Сяо, Хунанская флейта, Гослитиздат, 1940.

Эми Сяо, Китайские рассказы, Гослитиздат, 1940.

пейзаж ночной площади — сердца страны. Но вдруг его взгляд падает туда, где «У стены кремлевской... Спит в гранитном доме великан», и мерный ритм стиха перебивается острым криком боли:

Умер он? Неправда! Ленин — с нами,

В нашем сердце он — всегда живой!

Снова затем мерный ритм размышления, раздумья. Поэт вспоминает «все, чем Ленин землю сотрясал». Но часы выбивают «Интернационал». Ритм стихотворения опять изменяется, превращаясь в победный гимн подлинной интернациональной братской солидарности. Эти строки — одно из лучших мест во всем сборнике:

Я знаю, этот гимн высокий
 Дойдет до братьев и сестер,
 Я знаю, этот звук далекий
 Горит над миром, как костер.
 В окопах, в тюрьмах, на заводах,
 На Хуан-хэ, у Пиреней,
 Как ясный, чистый зов свободы
 Звучит наш гимн в сердцах людей.

В этих строках «Сяо не для красоты поставил «Хуан-хэ» и «Пиренеи». Это границы, в пределах которых он видит всюду своих братьев и сестер, товарищей — борцов за новый мир. Так мы находим у него стихотворение «Привет женщинам Испании», в котором поэт, призывая их встать рядом с мужчинами в борьбе с интервентами, восклицает: «Жена, сестра и дочь! Вам место на войне!» Он зовет их последовать примеру древнекитайской героини Му-Лань, которая в мужском платье

...в жестоком бою
 Шла на врага, вперед!
 И песни о ней поют,
 И слава ее не умрет.

В сборнике есть также сильное стихотворение, посвященное памяти вождя компартии Японии: «Рука Сен-Катаямы». Это — свидетельство подлинного пролетарского интернационализма китайского поэта Эми Сяо.

И есть, живут в Японии крестьяне,
 Рабочие в Японии живут.

Они идут бесстрашно и упрямо,
 Им путь открыт — рукою Катаямы!
 Она сжимала руку Ильича,
 И пусть обих нет в живых сегодня,
 Дорога к счастью все ж светлей луча!
 Над нашим миром Сталин руку поднял!
 Он поднял руку, он зовет вперед,
 Он к солнцу человечество ведет!

Иллюстрацией в прозе к этим строкам служит очерк Сяо «Подарок» (из сборника «Китайские рассказы»). Молодой японский шофер, у которого, по словам его начальника, на совести была какая-то подозрительная история во время его работы в автобусной компании «Токио—Июкогама» под неусыпным оком лейтенанта приобрел все необходимые для «манчжурского героя» качества, и, казалось, был

живым подтверждением формулы «Армия возрождает самурайский дух!» Теперь он получил ответственное задание подвезти в отдаленную часть боеприпасы. Путь лежал через местность, где оперировали партизаны. Сев за руль грузовика, юноша направил его в сторону китайских партизан.

Утром командир партизанского отряда прочел собравшимся бойцам письмо, найденное на трупе шофера: «Дорогие товарищи из антияпонской народной армии и из всех антияпонских отрядов! Я отправил вам маленький подарок: шестьдесят тысяч патронов и много ручных гранат и бомб. Я хотел бы лично поговорить с вами о той огромной любви, солидарности и уважении, которые чувствует компартия Японии и японский трудовой народ к вам, национальным героям, ко всему близкому и любимому китайскому народу и славной братской компартии Китая...» Такова характерная история рядового солдата японской армии. Она очень многозначительна и заставляет подумать о многом: о моральном состоянии японской армии, о деятельности компартии среди солдат: о будущем японской «экспедиции» в Китае.

В стихотворении «К сыну» Сяо объясняет своему мальчику причину из разлуки, почему он променял спокойную семейную жизнь на борьбу; он убедительно говорит ему:

Но нельзя. Мне жить нельзя иначе,
 Никуда от долга не уйдешь.
 Что с того, что по тебе я плачу?
 Подрастешь — тогда меня поймешь.
 Я — отец и труд мой нужен детям,
 Тысячам ребят таких, как ты.
 У которых нет отца на свете,
 Для которых не растут цветы.

И здесь, в таком глубоко-искреннем лирическом стихотворении, обращенном к самому близкому для него существу, китайский поэт продолжает оставаться подлинным пролетарским интернационалистом. Для него цель борьбы — уничтожение империалистических хищников, заливающих кровью его родину; стихотворение кончается верой в близкое братство народов:

Знаю: вместе с маленьким японцем
 В общий сад войдете вы весной —
 Бегать, прыгать под весенним солнцем,
 С птицами крича наперебой.

С гордостью, во весь голос, заявляет Сяо, что он гражданин отечества трудящихся всего мира — СССР («Я — советский гражданин»). Это стихотворение-декларация исполнено тех же эмоций, что и знаменитое стихотворение Маяковского «О советском паспорте», где великий революционный трибун с гордостью воскликнул на весь мир:

Читайте,
 завидуйте,
 я —
 гражданин
 Советского Союза.

Китайский поэт, перечисляя события повседневной жизни, происходящие в СССР, которые для него близки и дороги, с меньшей гордостью восклицает:

Вот он — Союз!
Где его берега?
Родина всех, кто трудится в мире,
Родина наша, — твоя и моя!

Центральное место в обеих книгах Сяо занимает изображение отечественной войны китайского народа. Он наглядно и убедительно показывает, что когда враг напал на родину, нельзя оставаться нейтральным, в стороне от борьбы. Надо выбирать, по какую сторону баррикады ты станешь. Это проиллюстрировано примером с крестьянином Вей-ту («План полковника Идо»), который отказывался от многократных предложений партизан возглавить их отряд, говоря, что «он уважаемое лицо в селении: японцы не трогали его семьи, его земли, а он больше всего был предан своему роду, своей земле». Но его покой был недолговечен, до его дома также добрались японские насильники. Полковник Идо, занявший местечко, потребовал, чтобы ему в качестве наложницы привели 15-летнюю дочку Вей-ту Шуньхуа. Узнав об обрушившемся на нее несчастье, девушка поконила с собою. Покончил с собою и старый отец Вей-ту, обожавший внучку и не смогший перенести мысли, что девочку опозорит насильник. Оставшись один на свете, потеряв все, ради чего он до сих пор жил, Вей-ту прозрел. Он пришел в штаб партизан, объявив: «Я с вами!» И мы видим в конце очерка, как партизанский отряд под командой старика, школьного учителя и бывшего солдата Вей-ту разбил наголову японскую часть полковника Идо, занявшую местечко.

Эми Сяо подчеркивает народность современной войны Китая. В первом ряду этих народных бойцов стоит 8-я Революционная армия (бывшая китайская красная армия). Тысячами крепких нитей связана она с населением тех провинций, на территории которых она оперирует. Автор называет ее «Армией народа» (одноименный очерк). Народ помогает своей армии: сообщает о приближении неприятеля, укрывает ее бойцов от врага (очерк «Хозяйка»); с риском для жизни достает для нее деньги, продукты (очерк «Тянь Цзо-мин молчала»).

Советская молодежь воспитана в героических традициях гражданской войны. Чапаев, Пархоменко, Щорс, Лазо — это те образцы, следовать которым стремится каждый юноша нашей страны. Для нас близки также имена пламенных трибунов и героев испанского народа: Долорес Ибаррури, Хосе Диас, австрийского народного героя Коломан Ваиш. К этой же славной плеяде мы должны присоединить и героических вождей китайского национально-освободительного движения: Мао Цзе-дун и Чжу Дэ. На их примере наша молодежь должна учиться железной дисциплине, настой-

чивости, выдержке и той страстности в достижении поставленной цели, без чего нельзя стать подлинным революционером-большевиком. Общим этим героям в сборнике «Китайские рассказы» посвящены очерки.

В детском возрасте, читая запоем, украдкой вместо Конфуция старинные китайские романы приключений, маленький Мао все же признавался своему другу Эми Сяо: «Больше всего люблю читать про восстания». Пятнадцати лет, прочитав книгу биографий великих людей мира: Наполеона, Линкольна, Веллингтона, Петра Великого, Руссо, Мао сказал другу: «И в Китае должны быть такие люди. Нужно чтобы страна была богатая и чтобы у нее была сильная армия. Только тогда с нами не повторится то, что случилось с Индо-Китаем, Корей, Формозой». И Мао Цзе-дун стал в один ряд с этими героями. Основатель красной армии и первый председатель совнаркома советских районов Китая, верный сын компартии, Мао Цзе-дун сейчас политический руководитель 8-й Революционной армии. Имя его приводит в страх и ярость врагов и вселяет силу и уверенность во всех друзьях свободного Китая.

Будучи крупным военным специалистом, Чжу Дэ тридцати одного года отроду бросил все и уехал учиться в Европу. «Студент Чжу Дэ учился с гораздо большей настойчивостью и страстью, чем окружавшая его молодежь... Располагавший большими денежными средствами, видный генерал китайской армии Чжу Дэ вел исключительно скромный образ жизни. Все деньги он отдавал на нужды коммунистического кружка, на поддержку товарищей». В начале 20-х годов Чжу Дэ возвращается на родину и отдает свой талант и знания в распоряжение коммунистической партии Китая. Основатель и организатор красной армии, главнокомандующий 8-й Революционной армией, Чжу Дэ — подлинный народный герой сегодняшнего Китая.

Вожди революционного Китая, Мао Цзе-дун и Чжу Дэ, не одиноки. В героизме и отваге с ними соревнуется каждый боец, каждый партизан независимо от пола и возраста. Этим рядовым героям войны посвящены очерки «Комиссар Лань Инь» — о девушке-комиссаре, своими страстными речами открывшей глаза манчжурским солдатам и приведшей их на сторону партизан, «О матери, сыне и дочери» — о семье китайских патриотов: о начальнике партизанского отряда Чжао Тун, его старухе матери Фынэ Вэньго, организовавшей сопротивление врагу. «Китайская женщина, не желающая быть жертвой японских насильников, должна брать оружие в руки и защищать себя, своих матерей и сестер», — так говорит эта старая крестьянка, носящая в платье два револьвера и одинаково хорошо стреляющая во врага как правой, так и левой рукой. От матери не отстает и дочь-подросток Лижен, также с оружием борющаяся с врагом. О трех юношах-друзьях, оставивших свои стада и ушедших к партизанам, рассказывает очерк «Три друга».

Года четыре тому назад в одной частной беседе Эми Сяо говорил нам о том, как он тяжело переживает вынужденную разлуку с Китаем; он говорил, что у него бывают моменты такой тоски по родине, когда он, кажется, готов рискнуть жизнью, лишь бы на одно мгновение перенестись в дорогу для него страну. Теперь заветная мечта его жизни осуществилась — он снова живет и борется в Китае. Возвращению на родину он посвятил целый ряд стихотворений, помещенных в рецензируемом сборнике, в отделе «Возвращения».

Вступив на родную землю, Эми Сяо первым делом шлет слова приветия СССР. Китайский поэт называет Советский Союз — отцом, свою родину Китай — матерью. Он обращается к

отцу со словами сыновней любви и благодарности:

С тобой, отец, провел я дни и годы,
Пора мне навесить больную мать.
Я возвращусь, но дай перед уходом
Все, что лежит на сердце, рассказать.
Годами ты учил меня, с терпеньем.
Теперь я вырос, знаю глубину,
Не позабуду я твое ученье,
Надежд твоих вовек не обману.

(«Прощаюсь на время»)

Творческий путь Эми Сяо ждет еще специального большого исследования, дело советской критики заплатить свой долг этому своеобразному и талантливому поэту-борцу.

Н. Габинский

★

АНДЕРСЕН НЕКСЕ О САМОМ СЕБЕ *

Известный датский писатель Мартин Андерсен Нексе знаком и дорог советскому читателю своими книгами: «Пелле-завоеватель», «Дитя человеческое» и другими. Это — старый друг Советского Союза, он приезжал не раз к нам и горячо отзывался обо всем здесь виденном и слышанном — еще в 1923 году, в своей книге «Навстречу молодому дню». В день своего семидесятилетия, 26 июня 1939 года, он, в обстановке искусственной вражды к СССР, создаваемой буржуазией, имел мужество еще раз подчеркнуть свои симпатии к стране социализма: «Я хотел дать возможность датскому народу вдохнуть чистый воздух, которым дышат в той стране, где свободный народ сумел проложить себе дорогу в будущее». В буржуазной прессе усилилась травля престарелого писателя: датский риксдаг постановил сократить получаемую им субсидию, сжечь его книги, и со всех сторон посыпались на него угрозы. «Воющий ветер кружился вокруг моего дома и бросал кипы ругательных писем на мой стол» — писал Нексе в датской рабочей газете «Арбейдербладт».

Нельзя рассматривать писателя вне окружающей его общественной среды и оставлять в стороне факты его личной жизни. Биография Андерсена Нексе, вышедшего из рабочих слоев, сформировавшегося в тяжелой обстановке трудовой жизни, имеет особенно большое значение при анализе его творчества. Прошлое Андерсена Нексе, бывшего батрака, сапожника и плотника, неотделимо от жизни и повседневной борьбы народных масс Дании. При оценке этого писателя невольно встает вопрос о связи искусства с жизнью и о роли жизненного опыта в художественном творчестве. Андерсен Нексе неустанно подчеркивает теснейшую связь между его творчеством и жизнью: «Я стал писателем не благодаря особым способностям, но в силу пережитого — нужды,

борьбы, разочарования и радостей, которые я разделял с прочими людьми», — в связи с этим он сознает, что автобиографический момент сыграл немалую роль в его произведениях. Но это не простое отражение собственных переживаний, а творческая переработка событий и впечатлений личной жизни, своего житейского опыта и наблюдений над жизнью других людей.

Уже в своем первом романе «Пелле-завоеватель» Нексе рассказал о жизни датских рабочих, хорошо знакомой ему по собственному горькому опыту, а потом в продолжение всей своей деятельности он не отделил свою работу писателя от трудовой рабочей атмосферы, в которой вырос и провел половину жизни: «Я сам, насколько от меня зависело, даже будучи писателем, прожил свою жизнь наполовину как крестьянин и как рабочий, жил среди природы и добивался настоящего воспитания себя самого не в книжном шкафу, а в тяжелой физической работе».

Лишь уступая настойчивым просьбам друзей, 60-летним стариком принял Андерсен Нексе за свою большую 4-томную автобиографическую работу: «Малыш», «Под открытым небом», «В чужих людях» и «Конец пути».

В первых книгах перед нами встает детство, полное нужды и лишений, сменившееся грустным существованием «в чужих людях». Вот восьмилетний мальчик помогает отцу-каменотесу и, выбиваясь из сил, перетаскивает тяжелые камни. Вот он, укрывшись в редкие минуты отдыха в сырой лачуге, мечтает о счастливом мире, где нет нужды, где не знают, что значит заблудиться и голодать. Вот уже подростком он добывает себе пропитание, — то в качестве пастуха, то батрака, то сапожного подмастерья, — он изнывает, согнувшись над работой по четырнадцать часов в сутки, а помощи ждать неоткуда. Но никогда не покидает его смутная надежда улучшить и переделать свою жизнь.

* Мартин Андерсен Нексе, «Конец пути», журн. «Октябрь», №№ 3, 4, 5. 1940.

О трудном, полном препятствий пути превращения этого подмастерья в известного писателя мы узнаем из последней части его автобиографии — «Конец пути». Счастливая случайность вырвала даровитого мальчика из «каторги физического труда». Он попадает в Высшую народную школу в Аскове, где ученики — все сыновья богатых фермеров и где бывший батрак чувствует себя чужим. Хотя в школе провозглашаются идеи единства всего народа, но на практике получается, что «опорой государства» или, говоря картинными словами директора Шредера, «ядром человечества» признается зажиточный крестьянин, а дело бедняков — на него усердно работать. Нексе очень тонко, с оттенком иронии сумел показать, как юноша разбирается в показном и внутренне ложном идеалистическом воспитании буржуазной молодежи. Напрасно тот же Шредер тратит много эффектных слов для доказательства того, что разбираемый им в классе романтизм не есть бегство от задач действительности, — его ученик понемногу убеждался как-раз в противном положении. По окончании школы вновь выброшенный в суровые условия борьбы за существование, юноша обнаруживает большую силу воли и целеустремленность, помогающие ему преодолевать самые трудные препятствия. Он, физически хилый от природы, так умеет быть сильнее враждебных обстоятельств, что напряжением воли побеждает даже болезнь свою. Большой туберкулезом, оставленный всеми и почти приговоренный к смерти, он делает героические усилия, чтобы «с кашлем не выхаркать последних остатков легких». В долгие и томительные дни выздоровления берется он за перо и вносит в новую для него работу свойственные ему упорство и страстность в достижении цели: семь раз переделывает он свой первый рассказ — «Лотерейный азарт» и добивается того, что изображение горькой жизни бедняка приобретает под его пером яркость и неотразимость действительности.

Появление Нексе в датской литературе знаменует возрождение в ней реализма и приносит новую тему «о голяке, который теперь становится хозяином будущего». Нексе ищет простых, обыкновенных людей в обычной будничной обстановке, а традиционные каноны «золотого века» датской литературы требовали незаурядных персонажей в исключительных ситуациях. В противовес этому Нексе — пропагандист реалистических и гуманных тенденций в искусстве — презирает «писателя, выкидывающего самое головокружительное салто-мортале над куполом храма искусства, но не умеющего согреть простое человеческое сердце или осушить хотя бы одну слезу отчаяния и безнадежности». Он ищет в творчестве прежде всего человечности, а не искусственности, вычурности и нагромождения красок.

Андерсен Нексе убедился в том, что реалистические принципы искусства требуют от писателя углубленного проникновения в действи-

тельность, соединенного с предвосхищением будущего и с тенденциозным, в лучшем смысле этого слова, направлением, ибо дело писателя не только постигать действительность, но и работать в целях ее преобразования.

Иногда Нексе называют скандинавским Горьким, и несомненно, что рассматриваемые книги писались под влиянием автобиографических произведений Горького. Многие роднит обоих писателей: оба вышли из народа, познали горькую нужду и лишь благодаря огромной настойчивости и энергии выдвинулись в ряды лучших художников. Конечно, гениальный советский писатель много ярче, талантливее и разностороннее воплотил идеи своей эпохи, обнажил упадочность буржуазии и осветил обновляющую роль пролетариата, но жизненные пути и творческие задачи обоих писателей близки. Жизненный опыт Нексе и Горького сливается с коллективным опытом масс, и потому факты их личной жизни имеют широкое общественное значение.

Автобиографический стиль Нексе свободен от часто встречающегося недостатка — протокольно-точной документальности. Писатель счастливо этого избежал, он по необходимости «привирал», по его словам, «против доподлинной и голой действительности». «Если бы некоторые эпизоды я изобразил так, как переживал их, то меня наверно освистали бы, может быть, даже побили камнями насмерть». Это значит, что при всей своей тематической близости к действительно пережитому, произведения эти отнюдь не являются простой хроникой и регистрацией фактов, а художественно освещены и построены так, что содержание их приобретает общий интерес. Образы родителей Андерсена Нексе, фигуры педагогов, некоторых школьных товарищей даны в типической обрисовке и в таком живом соотношении, что получается весьма картинное отображение этого уголка жизни и быта.

Тем не менее, в автобиографических произведениях Нексе, быть может, еще явственнее, чем в других его вещах, сказался недостаток, вообще свойственный писателю. В законном стремлении сделать содержание серьезным и высокоидейным Нексе не придает достаточного значения гармоническому сочетанию частей, внутренней архитектонике произведения. Отсюда ненужные длинноты, некоторая водянистость описаний, загромождение основных моментов частными и второстепенными. Он готов, по его словам, мириться с тем, чтобы «художественность его произведений ставилась под знак вопроса... лишь бы человечность их была вне сомнений». Но в том-то и дело, что полная «человечность» признается только за тем произведением, в котором глубокая значимость содержания облечена в безукоризненно художественную форму. Впрочем, блестящая по отделке последняя новелла Андерсена Нексе («Яков шелудивый», «Интернациональная литература», № 3, 1940) говорит о том, что автор упорно работает над стилем и языком.

КНИГА О ПРИРОДЕ *

Знаете ли вы, как в горах Кавказа ловят форелей в июле? В это время года, когда вода низкая и чистая, их ловят здесь с помощью матики. Мне ее тут же показали. Матика — это свободное скользкая петля в два конских волоса обязательно черного цвета. Она укреплена на конце палки или прута. Матику при помощи удилица подводят так, что она оказывается за жабрами форели. Тогда удилице быстро дергают вверх и к себе, и, захлестнувшись под самые жабры, форель уже не может сорваться и только судорожно бьется в воздухе» (стр. 34).

Действительно, как просто и вместе с тем остроумно! Однако этот простой и остроумный способ появился только в результате очень тонких и точно выверенных наблюдений над жизнью природы. «Форель всегда стоит головой против течения, и она привыкла к тому, что прозрачная быстрина несет на нее ветки, сучья и змеящиеся, почерневшие в воде обрывки корней и трав. Поэтому она не пугается опущенного в глубину удилица матики. Бывает, что форель настораживается, начинает беспокоиться и, уклоняясь от матики, несколько отодвигается назад или в сторону. Тогда матику неторопливо ведут вслед за ней, все так же против головы, и, в конце-концов, форель успокаивается и позволяет подвести и затянуть петлю» (стр. 34). Таким образом, наблюдение соединяется здесь с расчетом того потаенно-своеобразного, чем всегда поражает и трогает нас жизнь природы. Но эти тайны до тех пор составляют силу природы, пока человеческий глаз и разум не взяли их на заметку. Именно это показывает мелкий случай с ловлей форелей. Без знания природы, без умения наблюдать многоречивую и многокрасочную смену ее выражений в горах Кавказа ни работать, ни жить невозможно.

Насколько точны и тонки знания здешних людей природы, автор показывает на многих очень убедительных примерах, из которых мы пока возьмем опять же маленький пример, — с голосами птиц. Бывалый человек, житель станции Темнолесской, Алексей Григорьевич рассказывает о голосах птиц:

«Вот слышите: «ки-ки-ки» — это маленький красный дятел кричит. Черный большой дятел, желна, кричит иначе. По его голосу я погоду узнаю. На хорошую погоду он туркает: уставит носом в сухое дерево и быстро-быстро затрепещит: «т-р-р-р». На непогоду он кричит: «ти-и-и, ти-и-и». Сойка шипит: «к-ш-ш-ш». Она разное кричит, даже как наседка квочет» (стр. 58).

Горы, леса, долины, реки, ручьи, луга, звери, птицы — вся могучая природа этих живописнейших мест Западного Кавказа в наши дни пребывает под неустанным наблюдением человека, — здесь теперь государственный заповедник.

О влиянии человека на природу,

об изменении природы человеком мы думаем во время нашего воображаемого, вместе с автором, путешествия по горам, берегам рек, по долинам, лесам и кабаньим тропам. И одновременно думаем мы и о том, что такое наблюдение над природой и влияние на нее человека возможно только у нас, в стране социализма.

Велика, всеобъемлющая сила социализма, который освобождает не только человека, но и природу!

В самом деле, кто не знает, как капиталистические дельцы хозяйничают в природе? Кто не знает, как русская буржуазия истребляла леса, хищнически добывала ископаемые? Мелкие реки, истощались золотоносные жилы, огромные пространства земли становились бесплодными пустынями. Капиталистическая конкуренция и стяжательская жадность более жестоко, чем всякая звериная стая, разоряют, топчут цветение земли, уничтожают полное дикой силы и своеобразия бытие живой природы.

Автор приводит характерные данные из книги на английском языке «Последний из великих разведчиков», в которой рассказывается о жизни охотника на американских бизонов, Вильяма Кади, прозванного Буффало Билль, т.-е. Буйволиный Билль. Этот Буффало Билль стяжал себе славу одного из самых ярких истребителей бизонов. С 1868 по 1881 год, т.-е. за 13 лет, в одном только штате Канзас было уничтожено 31 000 000 бизонов!. «В настоящее время только одно стадо бизонов в двадцать голов сохранилось в частном парке» (стр. 76).

В книге Оленича-Гнененко много рассказывается о зубрах, которых в настоящее время нет на территории Кавказского государственного заповедника, описываемого автором. Куда же делись эти могучие звери?

Бывалый человек, плотник Михаил Артамонович Горбачев рассказывает: «В царское время были эти горы заняты охотой великого князя Сергея, к нему приезжали на охоту на зубров из других держав: из Германии, Франции и Америки. Он позволял им убивать зубров для чучел и отвозить за границу нашего князя живьем. Били оленей, туров — все это для любопытства, своего интереса. Мясо не пользовались. Бывало, когда подходят к зверю князь или приезжие иностранцы, от радости или боязни их бросает ввиде лихорадки, и они не могут сами убивать. Они ходили с егерями. В тот момент просят егеря, разрешают ему убить для них зверя и говорят: «Это, чтоб было сказано, что я сам сделал, убил зубра». Егерей дарили хорошими подарками — по сто рублей за подвод к зверю. Сам князь в то время тоже охотился, убивая зубра, оленя, серну, тура — этот все бил, что было в лесу» (стр. 65).

В этом и других рассказах бывалых людей неизменно звучит гневная насмешка и презрение ко всем этим сановным бездельникам,

* А. Оленич-Гнененко, «В горах Кавказа». Ростиздат, 1940 г.

истребителям природы. Бывалые люди, как подлинный представители народа-хозяина, с большим сожалением рассказывают об исчезнувшем могучем звере, которого в 1918—1919 годах окончательно истребили белобандиты. Много зубров погибло раньше времени от ящура, чумы и других болезней—хищническое отношение к природе эксплуататорского строя в неменьшей степени способствовало исчезновению зубров.

И вот на одной шестой части земного шара, над великолепным многообразием природы огромной страны появился новый властелин—человек социализма. Советские научные работники: зоологи, геологи, энтомологи, палеонтологи и их дружные помощники: лесники, охотники, пастухи и вообще бывалые со всей округи в 3 тысячи километров—целая маленькая страна европейского масштаба—наблюдают, охраняют и изучают природу. Теперь живописные места бывшей великокняжеской охоты действительно стали заповедными. Охотиться на зверя можно только с разрешения дирекции заповедника. Так, например, охотились за старым медведем, который разбойничал на пастбищах, душил рогатый скот.

Как правило, зверь здесь живет непуганой жизнью. Олени, лани, козули и другие звери уже не только близко подпускают к себе человека, но в трудные времена ищут его покровительства и даже одомашниваются. В книге приводится много случаев, которые автор лично наблюдал во время своих передвижений по заповеднику.

Вот, например: «дикие поросята, которые содержатся при зоостанции, чрезвычайно доверчивы. Они неотступно ходят за своим шефом—зоологом Полиной Алексеевной Шишкиной... Они идут на малейший ее зов или знак» (стр. 257).

Ишаки, пасущиеся на альпийском лугу, встретили оленя. Услышав голос наблюдателя заповедника, «они дружно заревели и с поднятыми хвостами пошли к человеку, ища спасения от оленя» (стр. 259).

В нашем воображаемом путешествии по высокогорным тропам, по густым богатейшим лесам, где живут непуганные птицы и звери, природа этих заповедных трех тысяч квадратных километров представляется нам особенно прекрасной под защитой человека. Он охраняет ее, наблюдает за ней и изучает ее флору и фауну во всем ее движении и изменениях, данные которых так важны для нашего огромного социалистического хозяйства и для нашей науки.

«Лишь человеку удалось наложить свою печать на природу: он не только переместил растительные и животные миры, но изменил также вид и климат своего местопребывания и изменил даже растения и животных до того, что результаты его деятельности могут исчезнуть лишь вместе с гибелью всего земного шара»¹.

Эти гордые слова Фридриха Энгельса вспо-

минаются нам во время нашего воображаемого путешествия вместе с наблюдателями заповедника.

Автор не скупится показывать будни этих работников-наблюдателей, насыщенные настойчиво кропотливым трудом, подчас и довольно опасным: например, в снежные и вьюжные зимы на горных тропах человека может застигнуть метель или обвал. Наблюдатели ночуют в лесных балаганах, сквозь щели которых видны яркие звезды,—и там-то, вокруг ночного костра, веселыми искрами сверкают и льются рассказы из неисчерпаемого запаса впечатлений и встреч человека со зверями, птицами, земноводными, об интересных находках в области геологии, палеонтологии и ботаники. Печать деятельности человека безмерна, бескрайна в своем движении и во всех своих изменениях. Человек влияет на природу тем сильнее, чем глубже и шире его знания о ней. С каким неистощимым терпением, упорством и вдохновением изучают работники заповедника жизнь животных, птиц, растений, взяв на заметку малейшие изменения, мельчайшие черточки нового в поведении зверя, в окраске цветка, в кусочке породы.

Проникновение общегосударственного плана во все поры нашей жизни призывает каждого всемерно изучать область, в которой он работает,—это сознание просто стало второй природой советского человека, который, таким образом, всегда и в самом себе ощущает пульс жизни социалистического государства, его неустанный движенье. Революционное переустройство общественной жизни неизменно устремлено вперед, к все новым победам социалистического бытия как в столице, так и на далеких горных тропах Кавказского заповедника.

Это крепчайшее единство нашей жизни: общество, человек, природа, на которую он влияет и которую он, изучая, переделывает, великое учение Ленина—Сталина, направляющее сознание и деятельность советского человека, марксистская материалистическая философия, которая учит его познанию мира,—сила и глубина этого единства представляют собой неиссякаемый источник вдохновения и увлечения как для художника, так и для ученого. Я уверена, что книга Александра Оленича-Гнененко «В горах Кавказа» именно поэтому и появилась. Автор нигде не приводит ни одной цитаты из произведений классиков марксизма-ленинизма, но стремление складывать их методу, подлинное увлечение тем, как все положения марксистской материалистической философии подтверждаются всей жизнью и даже мельчайшими молекулярными изменениями в явлениях природы,—ясно видно в содержании книги и безошибочно чувствуется и в ее внутренней настроенности. Простое любопытство и желание «отдохнуть на лоне природы» не заставит человека с конца июня 1937 года по октябрь 1938 года бродить по горам, исходить сотни километров то под палящим солнцем, то под дождем и снегом, деля с работниками заповедника все тяготы суровой, подвижной жиз-

¹ К. Маркс. Энгельс. Сочинения, т. XIV, стр. 487.

ни. Мне скажут: ну, что тут особенного, — исследователям природы иначе нельзя. Но в том-то и дело, что эту книгу писал не специалист наблюдатель природы, а ростовский поэт А. Оленич-Гнененко.

Поэт зажегся мыслью: словом и воображением художника послужить задачам революционно-материалистического воспитания наших читателей, возбудить в них мысли о том, что значит познавать мир с точки зрения революционной материалистической философии на примерах из жизни природы.

Плоское, бесцветное, бесстрастное изображение действительности, идеологические ошибки, которые, к сожалению, встречаются в нашем творчестве, происходят еще и потому, что мы, литераторы, частенько философски слабо вооружены и наше видение мира не показывает того «непрерывного движения и изменения, непрерывного обновления и развития», о которых говорит товарищ Сталин. Кроме того, познание нашей социалистической действительности требует, чтобы художник обладал широтой и разнообразием интересов. В данном случае приятно отметить эту широту интересов писателя, который с увлечением выступает в роли натуралиста, и, как нам кажется, творческая интуиция художника не оказалась бесполезной для науки.

Нам кажется не только познавательным интересным, но и научно ценным все, что записано автором о том, как ведет себя соня-полчок (*shoxis*). Это маленький зверек, среднее между мышью и белкой, зимняя спячка которого отличается особенной длительностью, за что немцы прозвали его *Siebenschlaf*, т.е. спящий семь месяцев. Каким же образом соня-полчок, маленькое животное, может так долго обходиться без пищи? Ответ очень любопытен: соня-полчок перед залеганием на зимнюю спячку месяцами питается буковыми орехами и сильно жиреет. Буковый орех выделяет буковое масло, которое не застывает на морозе. «Если убить медведя, питавшегося буковыми орехами, и растопить его жир, то этот жир на холоде не будет застывать» (стр. 303), — рассказывает Семенов, один из бывалых людей. Автор к этому добавляет свои остроумные догадки: «Слушая объяснения Семенова, я вспоминаю еще другое. Местные жители, которые очень любят буковый орех, говорят, что если съесть значительное количество чинариков, то начинается сильная тошнота, головная боль и головокружение... Большой процент эфирных масел, содержащихся в ядре букового ореха и вызывающих у людей подобные явления, возможно, оказывает на полчка наркотизирующее влияние. Под действием его должны еще более замедляться процессы обмена веществ у впавшего в зимнюю спячку полчка. В результате этого, нужно думать, доходит до наименьших размеров расходование «топлива», накопленного полчком жирового слоя» (стр. 303).

Я не зоолог, но эта авторская догадка мне кажется верной.

Луговед Еленевский недоволен тем, что некоторые ученые и в наше время еще ограни-

ченно подходят к изучению природы, что, например, «ботаники разрывают живую картину на мертвые части, клочки...» (стр. 327). Автор, как это ясно чувствуется, единомыслен с луговедом, когда тот говорит: «Мы представляем себе природу целостно. Существует она, как целое, как комплекс» (стр. 327).

Автор рассматривает природу, как единый естественно-исторический комплекс, что видно также из его бесед с лесоводом Леонидом Ивановичем. «До сих пор считают, что леса Западного Кавказа «девственные». Между тем, это глубочайшая ошибка, которая влечет за собой неправильные научные и практические выводы. Территория, занимаемая сейчас кавказскими заповедниками, была очень основательно, в самые отдаленные времена, обжита человеком... Как правило, дикорастущие в настоящее время фруктовые деревья — груша, яблоня, черешня, алыча, насаждения грецкого ореха и каштана — тесно связаны с прежними местами обитания человека» (стр. 311 — 312). Автор собрал и еще немало доказательств, что все эти места уже давно обжиты человеком.

Автор рассказывает об археологических находках, о развалинах древних крепостей, некоторые из них еще никем не описаны и, похоже, вообще неизвестны нашим археологам: об остатках торговых и военных дорог, выючных и скотопрогонных троп. На территории заповедника, до покорения Кавказа царизмом, жили абадзехи, одно из самых воинственных племен адыгейского народа. Оленич-Гнененко рассказывает в своей книге о трагедии абадзехов, которая произошла между 1840—1860 годами. Эту историю народов Кавказа автор разыскал в мемуарах некоего Теофик-бея, попросту Теофила Лапинского, турецко-польского агента на Кавказе.

Сквозь туман многочисленных искажений и всяческой лжи, свойственной подобным «Теофик-бейам», автору удалось восстановить подлинную картину событий. В 40-х годах XIX века к абадзехам явился эмиссар-наиб знаменитого Шамилля, Мухамед Эмин. Даже очень скупое изложение автором всех событий, связанных с Мухамедом Эмином, дает представление о нем, как о крупнейшем предводителе храбрых абадзехов. Опираясь на абадзехскую бедноту и «свободный народ» — тфокотлей, Мухамед Эмин возглавил демократический переворот. Это был не только храбрый, но также исключительно осторожный, умный и проницательный политик, который отверг все попытки англо-французских эмиссаров «протянуть свои шупальцы в страну Адыге» (стр. 316). Жизнь Мухамеда Эмина представляется нам не менее увлекательной и познавательной интересной, чем жизнь Шамилля. Для романиста такой материал, что называется, «хлеб» в самом настоящем смысле.

Я намеренно остановилась довольно подробно на содержании книги Оленича-Гнененко, потому что эта книга о природе создана не просто писателем-натуралистом, но и горячим приверженцем диалектико-материалистической фи-

лософии. Есть у нас книги о природе, написанные с большим мастерством, чем эта книга, но, увы: человек и природа в этих книгах рассматриваются раздельно и под весьма заметным влиянием идеалистической философии.

Задание, которое поставил перед собой Оленич-Гнененко, трудное и ответственное. Мы уважаем широту и разнообразие интересов писателя, — в данном случае увлечение его натуралистическими изысканиями, упорство и добросовестность в собирании и изучении разнообразнейшего материала. Однако нельзя ни на минуту забывать о требованиях художественного качества.

В книге множество пейзажей, в которых природа видится в движении, красках и звуках разных времен года, смена которых в тех заповедных местах происходит очень своеобразно.

«Зимний лес кажется пустынным и мертвым. Глубоко в щелях среди камней, в норах под корнями, в прелой трухе дуплистых деревьев лежат окопеленные ящерицы, медяницы, ужи и гадюки. Крепко спят лягушки, зарывшись в мягкую тишу на дне ручьев и луж. В своих подземельях и дуплах дремлют ожиревшие за осень барсуки и полчки, и висят вниз головой, сцепившись в огромные гроздия и согревая друг друга, летучие мыши. В усталой траве пещере или снеговой берлоге под пихтой видит сна медведь. Под корою буков и пихт, грабов и кленов, в тухлой мякоти гнилых пней, словно мертвые, костенеют бабочки, мухи, жуелицы, усачи. Но безжизненность зимнего леса обманчива. Пригрело солнце, и скромная серая бабочка, порхая, пролетела над снегами. Вслед за ней спешит странное длинноногое насекомое, нето комар, нето крылатый муравей. Местами, на ослепительно белой пелене, видны темные проталины-отдушины: то, проточив теплым дыханием глубокие снега, тянутся к свету и воздуху растения, зимовники» (стр. 160).

Глаза писателя-натуралиста замечают среди зимнего пейзажа малейшие признаки приближающейся весны.

Есть отдельные удачные сравнения, например: туман... «словно губкой, стирает березовые лески в низинах» (стр. 140)... «золотая, неправильной формы, словно промятая, луна» (стр. 118), «сердцевидные листья бука раскинулись, как ладони, навстречу солнцу...» (стр. 218), «острая, как крупинка соли, звезда» (стр. 144) и др.

Каждому мало-мальски вдумчивому человеку понятно, что к книге «В горах Кавказа» не следует подходить с обычным оценочным мерилом литературной критики, как к роману, повести или очерку. Автор обозначил жанр книги, как «путевые записки», которые ведутся им в форме дневника. Это жанр знаменитой книги «Путешествие на корабле Бигль» Чарль-

за Дарвина. Я вовсе не собираюсь спорить с автором по поводу выбранного им жанра, — всякий жанр хорош, если он себя оправдывает. Этого далеко нельзя сказать о дневниковых записях Оленича-Гнененко. Книга, заключающая в себе так много познавательно интересного и поэтического, надо прямо сказать, временами написана очень трудно и требует от читателя большого внимания. Правда, книга эта не принадлежит к числу книг легкого чтения туристского типа, однако требование собранности в расположении материала тем естественнее, чем он серьезнее. А расположение материала в книге Оленича-Гнененко как-раз составляет одну из самых основных ее трудностей. Множество интересных сведений разбросано в разных местах книги, и читателю приходится самому воссоединять эти повсюду рассыпанные части в одно целое. Эта разбросанность неизбежно ведет за собой повторы, которые, как правило, скучны и часто нарушают впечатление от тех подлинно поэтических мест, которые составляют прелесть многих страниц книги. В увлечении натуралистическими сюжетами автор вовсе не должен пренебрегать художественным качеством, ведь эта книга и в познавательном смысле интересна прежде всего потому, что писал ее поэт. Совершенно недопустимо для поэта (даже, когда он говорит прозой) такое обеднение языка повторами, как это получилось с рассказом о солонцах: на одной странице (стр. 113) слово «солонцы» и его производные повторяются двадцать раз!..

Стремясь как можно больше записать в свой дневник, автор временами сбивается на сухой язык учебника:

«По витаминности и содержанию минеральных веществ сухие корма намного уступают зеленому летним. На Западном Кавказе частые оттепели и дожди выщелачивают засохшие части растений. Сено, побывавшее под дождем, содержит ничтожное количество кальция» (стр. 114).

Люди, с которыми автор встречался во время своих передвижений по заповеднику, очень интересные, сильные, выносливые, настоящие хозяева природы.

Но, к сожалению, обрисованы они автором только, как наблюдатели, которые интересно рассказывают о зверях. Так и ждешь, что узнаешь о таких людях больше, чем о них сказано, что вот-вот они сами откроют душу, заговорят о себе, может быть, у костра в один из этих летних вечеров, красота которых столько раз была описана автором! Но этого, к сожалению, не случилось!

В этой книге о природе, порой в очень конденсированном виде, заключено столько познавательно полезного и подлинно поэтического, что непременно хочется устранить все, что мешает полноте впечатления от нее, и найти в ней то, чего ей недостает.

Анна Каравасева

СТИХОТВОРЕНИЯ НАИРИ ЗАРЬЯНА *

Поэтическое творчество Наири Зарьяна тепло было встречено читателем еще года три назад, когда вышел первый сборник его стихотворений на русском языке. С тех пор изредка появлявшиеся в журналах и газетах переводы его произведений невольно привлекали к себе внимание.

Поэтические достоинства нового сборника Зарьяна неравноценны. В книге есть стихотворения большой эмоциональной силы. Они запоминаются сразу, с первого чтения, нет необходимости вчитываться в них, как в ребус: такие стихи органически устанавливают связь читателя с поэтом, — например, стихотворение «Армения» в переводе П. Антокольского. Отдельные строфы этого стиха поражают чеканностью образа, силой чувства.

Горел, как факел, Налбандян, — пронесся
вольный клич.

И смело поднял Паронян сатиры острый
бич.

Лориец Туманян прошел, мечтая и скорбя,
И лирой сладостной будил и утешал тебя,
И вышел из народных недр отряд
большевиков.

Кипели в нем надежды все и бури всех
веков.

Пришел горячий Спандарян и светлый
Шаумян,

И Ленин дал заветы нам, и Сталин вел
армян.

Здесь дано не только умелое раскрытие исторического пути Армении и не только чувство гордости, восторженно высказанное поэтом-патриотом. Стихи производят впечатление, главным образом, эмоциональной экспансивностью, которую сумел вдохнуть поэт. Или стихотворение «Сталин», менее строгое и законченное, и, однако, также одно из лучших в сборнике. В нем есть строфы большой поэтической силы.

К таким же выразительным, эмоциональным произведениям мы отнесли бы стихи «Ленин», «Фирдуси», «Пушкину», «Абдул Керим Кой-Мурза», «Гете и Бетховен», «Севан», «Я бросил острова поэзии зеленой». Лучшие черты дарования Зарьяна нашли здесь свое законченное выражение. Они сквозят, конечно, и в других стихах, но не так ярко.

Две черты особенно характерны для поэтического облика Наири Зарьяна; во-первых, его страстное вмешательство в события жизни, его действительное восприятие сегодняшнего дня и, во-вторых, острое мышление и стремление к широким обобщениям. Зарьян — поэт действия, активных проявлений человеческой личности и поэт мыслящий.

Автор вступительной статьи к сборнику В. Я. Кирпотин совершенно правильно назы-

вает Зарьяна продолжателем традиций Налбандяна и Акопа Акопяна. В историко-литературном отношении это совершенно справедливо, ибо названные поэты действительно были наиболее талантливыми представителями армянской гражданской лирики, поэзии пламенного чувства и скорбной мысли. Зарьян продолжает эту линию. Он — поэт-публицист, вдохновенный пафосом социалистического строительства, «ленинец-боец», как он сам говорит о себе в стихотворении «Сталин». На наш взгляд, однако, этот характер творчества поэта сложился не только под воздействием поэзии Налбандяна и Акопяна, но и под благотворным влиянием Владимира Маяковского. Нам кажется, что близость, например, сатирических стихотворений Зарьяна к Маяковскому неоспорима.

Основные темы своей поэзии Зарьян берет из современной советской действительности. Окружающая жизнь — вот источник его творчества. Родная Армения, ее путь к социалистическому сегодня, ее горы и поля, Ереван и Севан, колхозный строй, жизнь на заводе, большевистская партия и ее вожди, могучие деятели культуры прошлого, вставшие живыми в сегодняшней борьбе, — все это волнует и вдохновляет Зарьяна. Даже тогда, когда он «уходит в историю», когда говорит о Фирдуси или Гете, ощущение современности не покидает читателя. Перед нами не утонувший в исторических мелочах нумизмат, а попрежнему живой современный поэт, осматривающий и историческое прошлое взглядом, озабоченным о сегодняшнем дне.

Восхищаясь гением Фирдуси, чей «солнце-гривый красный конь сквозь время мчится, как стрела», он вполне закономерно и последовательно переходит к современной поэзии, мечтая о произведениях, которые так же, как «Шах-Наме», будут жить, «связавши меж собой века». Весьма интересны энергичные строки Зарьяна о герое современных поэтов, об ответственности поэта перед народом и необходимости глубокой искренности и любви к своему делу.

Не тронь
Того, что тленно и мертво.
Дай песне трепет и огонь,
И сердце века твоего.
Дай правды ленинской черты,
Чтоб ярче всех огней зажглась.

Люби героя, как Гомер
Ахилла любит, например.
Героя в сердце пронеси,
Как нес Рустема Фирдуси.

Даже далекое (внешне, по теме) от наших дней стихотворение «Гете и Бетховен» воспринимается как остро современное стихотворение, ибо в нем живет и дышит великая идея о благородном достоинстве гения, творца интеллектуальных богатств; эта идея выдвинута

* На ири Зарьян. Вечные вершины, стихи. Авторизованный перевод с армянского под редакцией П. Антокольского. Гослитиздат, 1940.

особенно остро именно социалистической эпохой.

Но Наири Зарьян не просто поэт советской действительности, добросовестный и чуткий к биению жизни. Пожалуй, вернее всего о своих особенностях мимоходом сказал он сам:

Я, скромный сын Армении, восторжен-
ный певец.

Именно, восторженный. Романтик по натуре, воспринявший эстетическое богатство социалистического реализма, Зарьян весь проникнут страстным отношением к героям своего творчества и, в большинстве случаев, восторженным отношением.

Говорит ли он о вечных вершинах человечества, творцах культуры народа и его новой жизни или о своей расцветшей родине, залечившей раны многовековых страданий, он говорит страстно, с глубоким восхищением и радостью. Каким исключительным чувством благоговения и любви оваяно у Зарьяна имя Пушкина! После Вагрицкого вряд ли кто писал так о гениальном русском поэте, как Зарьян.

О, если б миг такой настал
(Мечта безумная, мелькни!)
И ты негаданно восстал,
Вошел бы в сталинские дни!

Как, славословя, как, любя,
Объятья бурные раскрыв,
Страна встречала бы тебя —
Вся — стоя, вся — один порыв!

Зарьян умеет не только любить, но и ненавидеть, — с такой же силой чувства и страстной непримиримостью. Его сатирические стихи — яркое свидетельство этой черты дарования поэта.

Однако политическая страстность, эмоциональность и восторженность Зарьяна, придающие такой боевой характер его лучшим стихотворениям, не всегда выдержаны у поэта в скупых и сжатых строках. Наоборот, во многих случаях эти же достоинства становятся источником слабости и недостатков. Таковы растянутость и многословие некоторых произведений Зарьяна. У Зарьяна почти нет кратких стихотворений (в сборнике их только два, и то краткими их можно назвать лишь в соотношении с другими стихами). Он хочет высказаться подробно, обстоятельно, излить все чувства, вызванные в его собственной душе затронутой темой. Для размышления читателю остается немного: поэт сказал все сам. Не даром в кодексе его пожеланий поэту нашего

времени совершенно отсутствует требование сжатости, краткости. Наоборот:

И песню пой, — еще, еще,
Обильно пой, как урожай, —

говорит он. В стихах Зарьяна поэтому нередко встречаешь досадные растянутости, словесное изобилие.

Но еще хуже получается тогда, когда политическая страстность заменяется у Зарьяна декларативностью, эмоциональность — надуманностью, а восторженность — фразой. Это наблюдается тоже нередко. Таким, например, нам представляется стихотворение «Гул», в котором мысль определенно потерпела поражение перед силой штампа и вымученных надуманностей. Даже искусство эпитета и сравнений, с таким мастерством примененное Зарьяном в других стихах, особенно в «Гете и Бетховен», изменяет поэту. Тут и кипение океана, и бурь восторг, и слова, в которых рокочет металл, — все, что так надоедливо звучит в стихах посредственных поэтов. Риторикой испорчено и стихотворение «Памяти двадцати шести».

Наименее удачными, однако, мы считаем поэмы Зарьяна.

Написаны они тяжеловесным, прозаическим языком, намеренно простой сюжет, лишенный своеобразия, развивается медленно, тягуче, точно каждый шаг героя автор выдавливает с большим усилием. Эпический элемент присущ дарованию поэта, он врывается во все его лирические стихи, но он один, лишенный лирического «окрыления», беспомощен. Наири Зарьян, как эпик, прозаичен, и на наш взгляд, поэт напрасно

...бросил острова поэзии зеленой
Для океана прозы необъятной,

ибо в этом океане он чувствует себя не очень уверенно, в голове у него темнеет, сердце его остывает. Поэту ничего не остается больше, как испуганно прошептать:

...море мне мерещится бездонным, —
Растерянно гляжу в водоворот
И путаюсь я в водорослях сонных.

Затрудняясь в оценке качества переводов и близости их к подлиннику, отметим, однако, выдающиеся поэтические достоинства работы П. Антокольского (в особенности, стихотворения «Ленин», «Сталин», «Армения»), В. Державина («Гете и Бетховен») и С. Мар.

Вступительная статья В. Кирпотина страдает одним существенным недостатком: отсутствием анализа поэтических, художественных средств Наири Зарьяна. Она дает только политическую характеристику его творчества.

А. Малинкин

АДМИРАЛ НАХИМОВ

Исключительно трудно создать в документальном, научно-публицистическом произведении яркий, надолго запоминающийся образ героя. Чтобы облегчить свою задачу, беллетрист в этих целях пользуется художественным «домыслом». Но историк лишен возможности допускать такие «вольности», он вынужден строго придерживаться имеющихся в его распоряжении материалов.

Всеми этими условиями был связан и академик Е. Тарле¹, когда писал свою книгу о знаменитом русском флотоводе — герое Синопа и Севастопольской обороны. Но созданный им образ выступает перед читателем не менее ярко, чем в художественном произведении.

Стоящий в одном ряду с такими талантливыми русскими флотоводцами, как Ушаков, Сенявин, Лазарев и Макаров, П. С. Нахимов в работе академика Тарле показан на фоне больших исторических событий, активным участником которых он был. Главным этапом этих событий явилась героическая оборона Севастополя во время Крымской войны в начале второй половины XIX века, когда Россия столкнулась с превосходными вооруженными силами крупнейших европейских держав — Англии и Франции, выступивших на стороне Турции. Это была во всех отношениях неравная борьба. Отстаивая в технической и экономической областях самодержавная Россия должна была вести «безнадежную борьбу нации с первобытными способами производства против наций с новейшими его формами»².

Плохо снабженная продовольствием, одеждой, обувью и другими необходимыми предметами военного снаряжения, небольшая горсточка защитников Севастополя в невыносимо тяжелых условиях должна была отстаивать родину. Отмечая эту героическую борьбу, Владимир Ильич Ленин писал в 1905 году: «...Англия и Франция вместе возились целый год со взятием одного Севастополя»³.

Затруднения русских в этой неравной борьбе значительно увеличились еще и тем, что высшее начальство в Крыму и в Петербурге не только не помогало, но даже вредило защитникам Севастополя, отдавая многочисленным нелепым распоряжениям, которые в силу военной дисциплины приходилось выполнять.

Несмотря на все невзгоды и лишения, город не сдавался. Его мужественно отстаивали матросы нахимовского поколения, солдаты, трудящиеся гражданское население и верные родине передовые представители военно-морского и сухопутного офицерства, возглавлявшиеся Нахимовым, Корниловым, Истоминым, Тотлебенем.

Академик Е. Тарле показывает, как сражались и побеждали эти славные предшественники нашей доблестной Красной армии и Рабоче-Крестьянского Военно-Морского флота.

¹ Академик Е. Тарле, Адмирал Нахимов. (Из подготовленной к печати работы «Крымская война»), «Молодая гвардия», № 4, 1940.

² Маркс и Энгельс, Письма, 1832, стр. 321.

³ В. И. Ленин, Соч., т. VII, стр. 45.

В центре внимания академика Е. Тарле — П. С. Нахимов.

С детства воспитывавшийся в военно-морской среде, он провел почти всю свою жизнь под шум морского прибоя. Море, корабль были его родной стихией. В ней, в этой стихии, рельефно вырисовывались происходившие в стране общественно-политические процессы и уже зрели силы, которые через несколько десятилетий прорвались первым вооруженным восстанием на броненосце «Потемкин» в 1905 г.

Здесь, на морской службе, Нахимов впервые встретился и подружился с декабристами; кораблю и морю он посвятил всю свою сознательную жизнь.

Автор рецензируемой работы отмечает эту главную черту в характере своего героя: «...морская служба была для Нахимова не важнейшим делом жизни, каким она была, например, для его учителя Лазарева или для его товарищей Корнилова и Истомина, — а единственным делом, иначе говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел, и просто отказывался признавать для себя возможность существования не на военном корабле или не в военном порту. За недосугом и за слишком большой поглощенностью морскими интересами он забыл влюбиться, забыть жениться. Он был фанатиком морского дела, по единодушным отзывам очевидцев и наблюдателей» (стр. 15).

Дни Синопа и Севастопольской обороны застали Нахимова уже опытным военным моряком лазаревской школы. Еще в молодости он побывал в трехлетнем кругосветном плавании на фрегате «Крейсер», участвовал в знаменитом Наваринском сражении в 1827 году, командовал рядом крупных военных кораблей и в 1845 году был произведен в контр-адмиралы.

Это был любитель матросов. Он заслужил их любовь своим чутким человеческим отношением к ним, неустанными заботами и большим доверием, во то время как большинство офицеров считали матроса бесправным существом, над которым можно безнаказанно издеваться.

«Пора нам перестать считать себя помещиками, а матросов крепостными людьми!» «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют. Матрос управляет парусами, он же наводит орудие на неприятеля, матрос бросается на abordаж, если понадобится. Все делает матрос, если мы, начальники, не будем эгоистичны, если не будем смотреть на службу, как на средство для удовлетворения своего честолюбия, а на подчиненных, как на ступень для собственного возвышения» (стр. 19).

Е. Тарле приводит ряд документальных свидетельств, показывающих, какой любовью матросов пользовался в свою очередь Нахимов. Высоко ценил матросскую привязанность к себе, он с гордостью говорил:

«Я этою привязанностью дорожу больше, чем отзывом чванных дворянчиков-с! У многих командиров служба не клеится на судах оттого, что они неверно понимают значение»

дворянина и презируют матросов, забывая, что у мужиков есть ум, душа и сердце так же, как у всякого другого» (стр. 19).

Надо вспомнить время, когда высказывались эти мысли!

Веря в силу массы и ее лучших командиров, Нахимов вступал в бой с лучшим, самым сильным противником, будучи твердо убежденным, что победа будет на его стороне. Характерным в этом отношении является его приказ по эскадре 2 (14) ноября 1853 года—за несколько дней до Синопского сражения. Оказавшись в обстановке, при которой он должен был столкнуться со значительно более вооруженным врагом, Нахимов писал в этом приказе: «Не распространяясь в наставлениях, я выскажу свою мысль, что в морском деле близкое расстояние от неприятеля и взаимная помощь друг другу есть лучшая атака. Уведомляю командиров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело» (стр. 23).

Автор допускает, однако, одну досадную неточность, описывая встречу эскадры Нахимова с прибывшей к нему на помощь эскадрой Новосильского у Синопа (кстати 6 ноября, а не 5-го, как утверждает автор на стр. 23).

Е. Тарле пишет, что в помощь Нахимову Новосильский отделил от своей эскадры два корабля—«Ростислав» и «Святослав»—взамен кораблей, потрепанных бурей и отправленных Нахимовым в Севастополь для починки. В действительности же к эскадре Нахимова был присоединен только «Ростислав», а «Святослав», вооруженный 84 орудиями, вместе с другими поврежденными нахимовскими кораблями был послан в Севастополь на ремонт. Эта неточность, вкрапшаяся в повесть, может создать не совсем правильное впечатление у читателя о силах турок и русских у Синопа.

Плохо также, что Е. Тарле ничего не пишет о том, в каких трудных условиях глубокой осенью Нахимов мастерски провел свою эскадру к месту встречи с сильнейшим противником, который имел возможность в спокойной обстановке значительно лучше подготовиться к бою. Русские пробивались к Синопу сквозь густую пургу и шторм, который продолжался 60 часов!

Несмотря на все эти трудности, эскадра под командой Нахимова смело вступила в сражение с сильнейшим турецким флотом, поддерживавшимся береговой артиллерией, и в несколько часов совершенно уничтожила его, не потеряв при этом ни одного корабля.

Описание этого сражения и предшествовавших ему событий составляет захватывающие страницы в работе Е. Тарле.

Нахимов был доволен своими матросами.

«...Они держали себя в бою превосходно; без тени боязни, быстро, ловко, дружно выполняли все боевые приказы, прекрасно действовали и его артиллеристы-комендоры. Наконец, мог Нахимов быть доволен и собой, а он ведь учил, что начальник обязан строго всего и в мирное время, но особенно в бою, отно-

ситься именно к себе, потому что на него все смотрят, и по нему все равняются. На него и смотрели матросы и любовались им в синопский день. «А Нахимов! Вот смелый! Ходит себе по юту, да как свистнет ядро,— только рукой, значит, поворотит: туда тебе и дорога!»—рассказывал, лежа в госпитале в Севастополе, изувеченный взрывом участник боя матрос Антон Майстренко» (стр. 29).

Пережив одну из самых тяжелых трагедий в своей жизни,—вынужденное потопление Черноморского флота для преграждения подступов вражеским кораблям к осажденному городу,—Нахимов становится «адмиралом на суше». После гибели Корнилова и Истомина и после ранения Тотлебена он остается один во главе гарнизона, защищающего город от многочисленных армий союзников, в то время как другие представители высшего командования не только не помогают ему в этой борьбе, но даже всячески мешают. На Нахимова обрушиваются суровая зима и обострившиеся старые болезни. Предательски ведут себя некоторые генералы. Но, поддерживаемый массой рядовых бойцов и передовой частью офицерства, он отбивает одну атаку за другой, днем и ночью не покидает передовые укрепления и сам принимает участие в смелых контратаках.

С негодованием отвергает Нахимов поклон царя, присланный ему с флигель-адъютантом, и смело разговаривает с царедворцем Меншиковым, который с презрением высказывался о Нахимове, что ему бы канаты смолить, а не адмиралом быть, но в то же время вынужден был представить в декабре 1854 года царю доклад о необходимости наградить адмирала.

Любимец матросов погибает так же мужественно, как он боролся против врагов России.

Впервые с такой полнотой рисует академик Е. Тарле предательство высших чинов царской армии. Автор выводит ряд таких характерных фигур, как бездарный министр Долгоруков, богобоязненный начальник Севастопольского гарнизона Остен-Сакен, главнокомандующий горе-вояка Горчаков и многие им подобные.

Немало страниц, насыщенных едким сарказмом, посвящает Е. Тарле незадачливым адмиралам и полководцам союзников—сэру Адольфусу Слэд, лорду Раглан и другим, а также их хозяевам—министру внутренних дел Англии—большому ругателю и ядовитому обидчику, агрессивному и нетерпеливому властолюбцу—Пальмерстону и Наполеону III—вдохновителям этой войны.

Используя многочисленные иностранные и русские архивные источники и публикуя ряд ценных документов, Е. Тарле глубоко вскрывает оставшиеся до сих пор мало известными тайники англо-французской дипломатии XIX века, в течение долгого времени активно готовившей вооруженное нападение на Россию.

Проанализировав причины, побуждавшие буржуазных историков и многих участников Крымской кампании утаивать правду об этой войне, академик Е. Тарле делает вывод, к ко-

тому еще не приходили авторы, освещавшие эти события:

«Так проглатывали нужные слова едва ли не все историки, писавшие вслед за Тотлебеном об осаде Севастополя: русские — потому что мешала цензура, стесняли соображения личных отношений; английские и французские — потому что лестно было внушить читателям уверенность, будто только достоинство союзных

войск и мнимая «гениальность» их предводителей, а вовсе не промахи русского высшего командования и разруха и дезорганизация, до которых довел Россию весь строй, были причиной их успехов» (стр. 86).

Работа академика Е. Тарле будет сочувственно встречена советским читателем и явится ценным пособием при изучении отечественной истории.

И. Амурский

★

«ВОЕННЫЕ ЗАПИСКИ» ДЕНИСА ДАВЫДОВА *

Гослитиздат выпустил в свет «Военные записки» Дениса Давыдова, не издававшиеся в России с 1893 года и мало известные читателю.

Денис Давыдов — выдающийся военный деятель, партизан Отечественной войны 1812 года, талантливый поэт и писатель. Еще при жизни Давыдов стал литературным героем: его воспели Пушкин, Грибоедов, Жуковский, Баратынский, Языков. О Давыдове Белинский писал, что он «примечателен и как поэт, и как военный писатель, и как вообще литератор, и как воин — не только по примерной храбрости и какому-то рыцарскому одушевлению, но и по таланту военачальничества, — и, наконец, он примечателен как человек, как характер»¹.

Высокая оценка, данная гениальным критиком Давыдову, вполне заслужена: печать подлинного таланта и высокого патриотизма отмечает его произведения. Издание сочинений Давыдова, несомненно, поможет советскому читателю лучше ознакомиться с ярчайшей страницей истории русского народа.

В новое издание «Военных записок», кроме ранее опубликованных материалов, включены новые записки о Константине Павловиче — брате Николая I — и собранные Давыдовым анекдоты о разных лицах, запрещенные к печати царской цензурой (записки о Константине и анекдоты Давыдова были выпущены в Лондоне).

«Военные записки» открываются автобиографией Давыдова, являющейся не только ценным документом жизни и деятельности прославленного партизана, но и ярким художественным произведением, рисующим легендарный образ Давыдова.

Главное место в рецензируемой книге занимает «Дневник партизанских действий 1812 года» — интереснейшее произведение русской мемуарной литературы, в котором ярко показан народно-освободительный характер Отечественной войны 1812 года, исход которой решил героизм русского народа, боровшегося за освобождение родной земли от нашествия Наполеона.

В своем «Дневнике партизанских действий» Давыдов рисует партизанское движение, как

выражение патриотизма народа и армии. Патриотический подъем народа подсказал Давыдову его «план партизанских действий», основная идея которого заключалась в превращении войны 1812 года во всенародную борьбу с интервентами-французами, попиравшими достоинство России, грабившими народ.

Предлагая командованию организовать партизанские отряды для уничтожения боеприпасов и продовольственных запасов в тылу неприятеля, Давыдов говорит: «Обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и обратит войсковую войну в народную» (стр. 196). «Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии — отсталые мародеры, фуражиры — были истреблены казаками и мужиками, — писал в «Войне и мире» Л. Н. Толстой, — Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение этого страшного орудия, которое, не спрашиваясь правил военного искусства, уничтожало французов, и ему принадлежит слава первого для узаконения этого приема войны»¹.

Идея партизанской войны, предложенная суворовским учеником Давыдовым, была принята «чиновниками главной квартиры» — офицерами прусской школы — явно недоброжелательно. В серьезность предложенного Давыдовым плана сначала не поверил даже Кутузов. Однако блестящие успехи партизан вскоре преубедили главнокомандующего, и в помощь Давыдову было сформировано еще несколько отрядов. Давыдов считал себя «человеком, рожденным единственно для рокового 1812 года», на котором он навсегда «зарубил свое имя».

Вместе с партизанами из народа Давыдов разделял острое чувство «оскорбленной народной гордости и пламенной любви к отечеству», и в этом чувстве, охватившем его родину, видел основную причину победы, одержанной над «величайшим гением веков и мира» (стр. 310), каким он считал Наполеона.

Увлекательно рассказывает Давыдов в своем «Дневнике», как его партизанский отряд совершал внезапные, «как снег на голову», нападения на продовольственные склады французов, на их транспорты с боевыми припасами, на

* Гослитиздат, Москва, 1940. стр. 480.

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч. под ред. С. А. Венгерова, т. VII, стр. 519.

¹ Л. Н. Толстой. «Война и мир». Гослитиздат, 1939, т. IV, стр. 167.

транспорты с русскими пленными, о сражениях партизан с регулярными частями наполеоновской армии.

Вот, например, поистине великолепное описание схватки партизан с гвардией Наполеона: «Двадцать третьего числа я перешел речку Осму, предпринял поиск на Славково, где снова столкнулся с старою гвардию. Часть оной расположена была на биваках, а часть в окрестных деревушках. Внезапное и шумное появление наше из скрытого местоположения причинило большую сумятицу в войсках. Все бросилось к ружью; нам сделали даже честь стрелять по нас из орудий. Перестрелка продолжалась до вечера без значительной с нашей стороны потери. Вечером прибыло несколько эскадронов неприятельской кавалерии, но с решительным намерением не сражаться, ибо, сделав несколько движений вправо и влево колоннами, они, выслав фланкеров, остановились, а мы, забрав из оных несколько человек, отошли в Гаврюково. Поиск сей доставил нам со взятými фланкерами сто сорок шесть человек фуражиров, трех офицеров и семь провиантских фур с разною ружьями; успех не важный относительно добычи, но важный потому, что опроверг намерение Наполеона внезапно напасть со всею армиею на авангард наш» (стр. 253).

Давыдов говорит о том, как он распространял воззвание к крестьянам, призывавшие к поголовному ополчению для борьбы с Наполеоном, как крестьяне, охваченные патриотическим подъемом, снабжали партизан боеприпасами и оружием, самоотверженно сражались за избавление родной земли.

Вот пример:

«Явился ко мне крестьянин Федор из Царева-Займища, с желанием служить в моей партии. Этот удалец, оставя жену и детей, скрывшихся в лесах, находился при мне до изгнания неприятеля из Смоленской губернии и только после освобождения оной возвратился на свое пепелище» (стр. 217).

Борьба крепостных крестьян представляется Давыдову «поэзией подвига, от которого нравственная сила рабов возвысилась до героизма свободного народа» (стр. 22).

Ученик Суворова — Давыдов — с любовью рассказывает о своих бойцах-партизанах, героически сражавшихся с неприятелем, пренебрегавших опасностью ради свершения подвига. Давыдов глубоко уважал своих рядовых бойцов, знал боевые и личные качества каждого партизана.

Давыдов, тонко высмеивая бездарных генералов из клики Александра I, насаждавших в русской армии систему прусской муштры и шагистики, с восхищением и любовью, короткими, но яркими штрихами рисует величественные образы героев и вождей Отечественной войны: «Ахилла наполеоновских войн», Багратиона, «его горделивую поступь, его орлиный взгляд, его геройскую осанку...», «скромного, важного, величественного Барклая, как-будто привыкшего с самых пелен начальствовать и повелевать», Кутузова, «умнейшего, тончайше-

го, просвещеннейшего и любезнейшего собеседника», Ермолова с «его величавой осанкой, классическими чертами лица, глазами, исполненными жизни и огня», человека с «обширными сведениями, особенно по части военного искусства», полководца, под командованием которого «каждый солдат становился героем»¹.

Замечательный типический образ русского воина дан Давыдовым в очерке «Воспоминания о генерале-майоре Кульневе в Финляндии», человеке «с истинно-русским образом мыслей» и «сурового образа жизни» (стр. 145), делившегося с солдатами все невзгоды боевой жизни. Кульнева Давыдов характеризует следующим образом:

«Он не хуже всякого профессора знал хронологический порядок событий и соотношения между собой одновременных происшествий; выводя из них собственные заключения, полные здравого смысла и пронизательности, он любил предлагать в пример молодым офицерам, служившим под его начальством, подвиги некоторых римских и русских воинов» (стр. 144).

Успехи всех этих полководцев Давыдов ставил в зависимость от патриотизма русского народа, его прекрасных боевых и духовных качеств.

Характерно вдохновенное восклицание Давыдова в конце его статьи «О партизанской войне»: «Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!» (стр. 428).

Включенные в книгу очерки — «Урок сорванцу», «Тильзит», «Воспоминание о сражении при Прейсиш Эйлау» — ценнейшие художественные иллюстрации к историческим событиям той эпохи.

Очерк «Занятие Дрездена» — яркая страница в русской военной истории. Давыдов взволнованно рассказал, как он с горстью казаков во время заграничного похода русской армии в 1813—1814 г. занял г. Дрезден, заставив капитулировать французского генерала Дюрота, командовавшего сильными частями регулярной армии. Однако бюрократическое командование расценило геройский поступок Давыдова (о котором, кстати сказать, восторженно отзывался Белинский) как военный проступок. Придравшись к тому, что Давыдов якобы «самовольно» занял город, генерал Винценгероде, интриган и карьерист, сам мечтавший о подобном торжественном вступлении в Дрезден, приказал Давыдову сдать командование и отправил его в штаб армии для предания суду. Случайно оброненный Александром I афоризм: «Как бы то ни было, победителей не судят!» — спас Давыдова от дальнейших репрессий.

Любовь к родине, страстное желание поддерживать достоинство России подсказали Давыдову его очерк «Мороз ли истребил фран-

¹ Сочинения Давыдова, изд. 1893 г., I + II, стр. 293—295.

цузскую армию в 1812 году», в котором блестяще разоблачена версия французских историков о том, что только суровая зима изгнала армию Наполеона из пределов России. На основании фактов из документов Давыдов доказывает, что только героизм народа и армии, обьявивших священную войну интервентам, положили конец владычеству Наполеона.

Представляют исторический интерес военно-теоретические статьи Давыдова («О России в военном отношении» и «О партизанской войне»). Исходя из суворовской концепции ведения партизанской войны, Давыдов следующим образом определил характер действий партизан:

«Партизанская война состоит ни в весьма drobных, ни в первостепенных предприятиях, ибо занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает все протяжение путей, от тыла противной армии до того пространства земли, которое определено на снаб-

жение ее войсками, пропитанием и зарядами, чрез что, заграждая течение источника ее сил и существования, она подвергает ее ударам своей армии обессиленною, голодною, обезоруженною и лишенною спасительных уз подчиненности. Вот партизанская война в полном смысле слова!» (стр. 419).

Партизаны, говорит Давыдов, должны действовать секретно: он указывает, что позиционная война не пригодна для партизан, сущность тактической обязанности партизан — постоянное движение; по его мнению, вернейшее средство успеха партизан есть внезапность; партизан действует более искусством, чем силою, — резюмирует Давыдов свою блестящую тактику ведения партизанской войны. «Военные записки Давыдова» изданы любовно и тщательно. Редактором проделана большая работа по восстановлению подлинного текста произведений Давыдова, подвергшихся цензурным искажениям и сокращениям. Вступительная статья В. Орлова дает представление о жизни и деятельности Дениса Давыдова.

★

Игорь Макаров

ПОЭМЫ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА *

Среди десятков сборников, ежегодно выходящих и в Москве, и в Ленинграде, и в других городах Советского Союза, книга Леонида Мартынова резко выделяется и своеобразием темы, и самобытностью поэтической манеры автора. Книга Леонида Мартынова целиком посвящена историческим темам. Но история в произведениях Мартынова раскрывается не с парадной, внешней стороны. Леонид Мартынов интересен тем, что он берет в качестве материала историческую периферию, если так можно выразиться. Главное действующее лицо поэмы «Тобольский летописец» — сибирский ямщик Илья. Главный герой «Правдивой истории» — Увенькай, воспитанник азиатской школы толмачей в городе Омске. В поэме «Искатель рая» перед нами выступает офеня — книжный разносчик-бродяга Мартын Ложилин. В «Рассказе о русском инженере» Леонид Мартынов рисует фигуру безвестного зодчего и мелодрамы. И только в иронически-пародийной поэме «Поэзия как волшебство» выведено одно конкретное историческое лицо. Но об этой поэме мы скажем особо.

Перенеся центр своих литературных интересов в сферу жизни и судеб малозаметных, рядовых людей русского исторического прошлого, намеренно отказавшись от пышной декоративности и стилизаторства, присущих многим произведениям исторической беллетристики и поэзии, Леонид Мартынов добился интереснейших результатов. Герои его поэм живут своей собственной, занимательной и поучительной для читателя жизнью. В большинстве случаев — это незаметные простые люди дореволюционной России, глубоко одаренные, талантливые,

думающие люди, судьба которых складывается трагически в силу социальных условий их времени.

Вот перед нами правдолюбец — офеня Мартын Ложилин, «высокий худоцавый человек», бродящий по базарам сибирских городов с коробом, наполненным мелкой галантереей, свечами, молитвенниками, сказками о ведьмах и чудовищах.

Все было тут — различный хлам бумажный,

но рядом и сокровища. Одна

Из этих книг считалась непродажной,

в сафьян истертый переплетена.

Ее не мог читать он без волнения,

с собою нес ее из края в край.

А называлось это сочиненье

«Потерянный и возвращенный рай».

Ту книгу перечитывал в дороге

Мартын Ложилин. Понял он вполне

Все то, что было сказано о боге, а также

о мятежном сатане,

Злой демон, человека искусивший,

заслуживал вверженья в серный дым,

Но тот же демон, вольность возлюбивший,

прельщал Мартына мужеством своим.

И сатану не осуждал он строго, хоть знал,

что велика его вина.

Так вместе с богом странника в дорогу

сопровождал мятежный сатана.

Идеи знаменитого произведения Мильтона восприняты Мартыном Ложилиным крайне своеобразно. В условиях страшной реакции и бескультирья, царивших в глухих городах царской Сибири, Ложилин становится отщепенцем, еретиком, которого преследуют чиновники и жандармерия. «Некто в штатском платье, в поношенном гороховом пальто» — становится не только общественным, но и личным врагом

* «Советский писатель», М., 1940.

Лощина. После суда, на котором Лощину вменяется в вину мятежный дух, он изгнан из города и отправляется в скитания. Ему посчастливилось открыть в горах богатейшие залежи руды. Вскоре в дороге ему встречается переодетый факиром капитан королевской службы, забредший в сибирские просторы из Индии. Узнав об открытии Лощина, «факир» предлагает ему разделить участие в будущих прибылях и отправиться для этого к некоему таинственному сагибу. Возмущенный Лощина связывает «факира» и доставляет по начальству. Но начальство — те же Мокротовы и Бесгонцевы, которые травили Лощина за распространение еретических книг, — оказывается весьма добродушным по отношению к шпиону иностранной державы. И в конце-концов руда, открытая Лощиным на пользу, как он мечтал, всего народа, достается его врагам.

Высокую ты знал, Лощина, гору?

На девяносто девять лет она

Со всем нутром своим по договору хозяевам
заморским отдана.

Протесты, жалобы Лощина бессильны... Его снова судят и на этот раз заключают в тюрьму за попытку борьбы с сильными мира сего. Но Лощину удается убежать из тюрьмы, и он поступает рабочим на кирпичный завод. Он месит глину и обжигает кирпич для постройки ненавидимого им «Вавилона». Концовка поэмы звучит, как символическая угроза, как обещание будущего возмездия «хозяевам» старой России:

Глазами немигающими глядя на желтый
пламень, пляшущий во мгле,
Мартын о рае говорил и аде, которые
творятся на земле.

— Свое возьмем! — он повторял зловецю. —
На то от бога сила нам дана!

И в жаркой печи, точно в адской печи,
мятежный ухмылялся сатана.

Я довольно подробно рассказал содержание этой поэмы Леонида Мартынова, чтобы показать реалистические сюжетные приемы поэта, — явление, до сих пор редкое в нашей поэзии, которая не склонна к эпосу, а гораздо чаще тяготеет к лирическому жанру. Сюжет, разработанный основательно и со вкусом, одна из отличительных особенностей произведений Мартынова. И главное достоинство поэмы, что при помощи сюжета Мартынову удается показать полноценный образ человека, маленького, незаметного героя старой России, неизбежно оказывающегося противником буржуазно-помещичьего социального строя. Мартын Лощина вызывает в читателе глубокую симпатию своим бескорыстием и благородством. Пусть внешняя оболочка идей добра и справедливости, заимствованная Лощиным у Мильтона, кажется нам нелепой и смешной. Но образ его поступков и действий при всей своей внешней странности обаятелен. Лощина дан Леонидом Мартыновым как народный герой-правдолюбец.

Таковы же в своей сущности и другие герои его поэм. Вот образ русского инженера, мечтающего оводнить среднеазиатские просторы. Его вместо полезного дела заставляют строить деревянные храмы. На своем пути он встречает лишь стяжательство, казнокрадство и гибнет в конце-концов от руки подделцов, тайно отравивших его. Умирая, инженер говорит:

Государи мои! Не был я легкомыслен.

Я к военному ведомству с детства причислен.
Верьте, некогда было резвиться на воле,
В кантонистской, в суровой учился я школе.
Говорю вам — не нянчились много со мною!
Знайте: я, инженер ваш, воспитан казною.
И казна, — утверждаю, — довольно богата!
Ей постыдно гроши воровать у солдата.

С огромной любовью нарисован Леонидом Мартыновым и Увенькай, мальчуган-«инженер», которого царский полковник Швацц готовит в толмачи, а, по сути дела, в шпионы, в одного из агентов порабощения азиатских народов. Но Увенькай — талантливый юноша, жадно впитывающий в себя знания, культуру, — встречается со ссыльным декабристом. От него в подарок он получает книжку со стихами и поэмами Пушкина. И автор «Кавказского пленника» становится для Увенькай самым светлым началом его внутренней жизни... Увенькай подвергается истязаниям полковницы, она использует его для мелких дендичких поручений. В одну из тяжелых для себя минут Увенькай узнает из «светской» болтовни местных дам о трагической гибели Пушкина... Вскоре в глухую сибирскую провинцию приходит печатный станок.

...Промолвил тихо Увенькай:

— Что тащите вы, писаря?

— Подарок от государя.

— Какой?

— А, видишь ли, убит

Один столичный житель.

Пиит, что всюду знаменит,

Прекрасный сочинитель.

И некого печатать там,

И потому отправлен к нам

Печатный новенький станок...

Этот станок предназначен для размножения указов и циркуляров. Увенькай начинает учиться печатному делу. Он решает напечатать и вклеить в книгу Пушкина листок, вырванный злобной полковницей. Его застают на месте преступления. Ему грозит жестокая кара. Тогда, захватив шрифты, Увенькай бежит... Бежит к своему народу, восставшему против царского произвола. И свинцовый шрифт, украденный им, — переплавляют в пули, которые пойдут на дело борьбы с угнетателями... Но кончается поэма пророческим обещанием: «песни вольного баяна услышишь ты, Баян-Аул!» Так судьба Пушкина, как символа новой культуры, отражается в биографии маленького Увенькай, вернувшегося к своему народу для борьбы и будущей его победы. Эта поэма Леонида Мартынова сильна своим историческим оптимизмом и великою силой интернационализма. Не вдаваясь в риторику и поучения, поэт посред-

ством образов воссозданных им людей дает правдивое реалистическое изображение исторического прошлого.

В поэме «Тобольский летописец» единого сквозного сюжета Мартынов не дает. Сюжет здесь как бы вытеснен значительностью облика главного героя. В этом произведении, действие которого относится к середине XVIII века (эпоха Елизаветы и Петра III), дан исключительно яркий образ ямщика Ильи, народного летописца, ведущего записи о важнейших событиях, современником которых он был (здесь и походы Ермака, здесь и рассказы о наводнениях, и о судьбе приближенных Петра Великого). Илья покоряет воображение поэта своей неподкупной честностью, прямоотой, своей ненавистью к произволу, своей любовью к справедливости. Второстепенную роль в поэме играет Саймонов — опальный вельможа петровских времен.

Наконец, в последней вещи сборника — поэме «Поэзия как волшебство» (здесь точно воспроизведено заглавие одной из «теоретических» книг К. Бальмонта) — дана злая, доходящая до гротеска картина дореволюционного сибирского города Омба (то-есть Омска). В этот город приезжает Бальмонт с лекцией о символизме. Вся поэма сделана Леонидом Мартыновым на приеме иронического контраста между грубой действительностью царской России и возвышенно беспредельными, внешне красивыми, но пустыми словами и жестами поэта-формалиста. В этой поэме талант Леонида Мартынова раскрывается с несколько неожиданной стороны, — оказывается, поэт не только прекрасно владеет приемами художника-реалиста, но силен также и в сатире, осуществленной условными, порой гиперболическими средствами. Отдельные иронические реплики, которые встречаются в «Тобольском летописце», «Правдивой истории об Увенькае», «Искателе рая», «Рассказе о русском инженере», здесь — в «Поэзии как волшебство», — крайне резко и сильно заострены. Народный юмор, присущий поэмам Леонида Мартынова, юмор, очень тонкий и даже иногда не сразу заметный, приобретает здесь силу безжалостного сарказма.

Леонид Мартынов — поэт исторических тем. Но очень интересно отметить, что это не ведет автора к излишней стилизации поэтической речи под язык прошлых эпох (чем грешит, например, Михаил Скуратов в своей стихотворной книге «Сибирская родословная», вышедшей в 1937 году). Путем введения крайне незначительного количества старинных «речений», еле заметной инверсией, легким изменением обычной интонации Леонид Мартынов добивается того, что историчность колорита речей его героев становится поэтической достоверностью. Леонид Мартынов стремится приблизить свой стих к разговорной речи. Но в отличие, например, от конструктивистов, которые для этой цели перегружали поэтический язык специальной терминологией, Леонид Мартынов ведет свою стихотворную речь с редкой есте-

ственностью и простотой. Временами его поэмы, — в тех местах, где автор переходит на диалог, — читаются почти как стихотворные пьесы. Это придает большую внутреннюю драматичность его вещам, способствуя их эстетическому восприятию читателем. Правда, кое в чем Леонид Мартынов перегибает палку, — так, очевидно, стремясь к большой смысловой выразительности, он часто соединяет несколько стихотворных строк в одну, а то и просто сливает строчки целых глав в однообразный «прозаизированный» текст. Но эта «прозаизация» носит чисто внешний характер, и опытный читатель все равно ощущает четкий ритм отрывка, слышит рифмы. «Обман» здесь бесцелен и безрезультатен. Но это — замечание второстепенное, относящееся скорее к графическому начертанию стихов Леонида Мартынова, чем к их смысловой и поэтической сути.

Своеобразие исторических поэм Леонида Мартынова, повторяю, заключается прежде всего в самом характере трактовки тем и выборе героя. Взяв как-будто бы второстепенные значения и в большинстве своем, очевидно, вымышленные исторические ситуации, Леонид Мартынов оставляет себе свободу в трактовке характеров героев. Эта внутренняя свобода художника, не связанного документальными фактами и подробностями точно установленных событий, дала поэту возможность создания полноценных реалистических образов. Будучи точен в передаче колорита эпохи, в социальных и психологических характеристиках людей из народа, выбранных им в герои, поэт создал широкие и правдивые картины. Если брать для сравнения параллели из исторической живописи, я бы сказал, что поэмы Леонида Мартынова скорее напоминают произведения Серова, озаренные большим внутренним смыслом, нежели многокрасочные и декоративно-иллюстративные полотна Сурикова. У Леонида Мартынова есть внутренняя строгость, скупость, скромность в изображении общеизвестного и богатство в передаче деталей, психологии, языка, жестов рядовых людей того времени, которое он изображает.

Книга поэм Леонида Мартынова непосредственно примыкает к тому большому циклу историко-народных патристических произведений, который создан за годы революции советскими писателями. Поэмы Леонида Мартынова учат любви к родине, к ее иногда незаметным, но героическим людям, рядовым борцам, реальным творцам исторического процесса.

Можно с радостью отметить, что дебют Леонида Мартынова удачен (я думаю, что его «Поэмы» можно и нужно считать первой книгой поэта, хотя им и предшествовала книжка «Стихов и поэм», выпущенная Омским областным издательством в 1939 году, сборник, гораздо менее цельный и яркий). Маяковский мечтал когда-то о том, чтобы у нас было «побольше поэтов хороших и разных». Леонид Мартынов один из таких поэтов.

★

Ан. Тарасенков

ТОЛСТОЙ И О ТОЛСТОМ*

Ни один из русских классиков не подвергался за последние годы такому тщательному и кропотливому изучению, как Лев Толстой. Советское литературоведение имеет для этого изучения все необходимые условия.

В статьях Ленина о Толстом дан ключ к пониманию исторического значения творчества великого русского писателя и очерчен весь круг проблем, встающих перед современным исследователем Толстого. К услугам исследователя — огромное «литературное хозяйство» Толстого. В Толстовском музее в Москве концентрируются все рукописи писателя. Разработка богатейших архивных собраний дает возможность проникнуть в лабораторию непревзойденного мастера слова.

Советское литературоведение в этой области достигло значительных успехов. Над академическим изданием сочинений Толстого, предпринятым Государственным издательством «Художественная литература», работает высококвалифицированный коллектив текстологов и исследователей. Из намеченных 95 томов выпущены уже 38 томов. В последние годы вышло также несколько весьма ценных исследований жизни и творчества Толстого («Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого», составленная Н. Н. Гусевым; книга Н. К. Гудзия «Как работал Толстой» и др.). К числу наиболее интересных изданий, посвященных великому писателю, безусловно, относятся два толстовских тома «Литературного наследства».

Остановим внимание читателя на содержании второго тома. Центральный раздел этого тома составляет неизданная переписка Л. Н. Толстого. Эпистолярное наследие Толстого необыкновенно многогранно и представляет выдающийся интерес для всякого исследователя его политических, философских и эстетических взглядов.

До сих пор собрано около 8 000 писем Л. Н. Толстого к разным лицам. Это, конечно, еще далеко не все. В Толстовский музей продолжают поступать новые материалы и среди них — письма художника, относящиеся к различным периодам его жизни. В академическом издании письма Толстого займут 31 том (около 300 печ. листов).

Не все письма, опубликованные «Литературным наследством», имеют широкий общественный интерес. Некоторые из них, как, например, письма к брату Николаю Николаевичу и Т. А. Ергольской, относящиеся к 1842—1849 годам, дают лишь некоторый новый материал для биографии Толстого. Но большинство писем затрагивает столько общественно-значимых тем, насыщено таким богатством мыслей, что мимо них не может пройти тот, кому дорого творчество гения русской литературы.

Огромное место в переписке занимают вопросы литературы и искусства. В письмах к

А. А. Фету, П. М. Третьякову, Н. Н. Страху и другим Толстой высказывает свои общие взгляды на роль и значение искусства и дает оценку отдельным выдающимся писателям и художникам. На одной из страниц тома воспроизведена рукопись афоризма Толстого, написанного им для артиста П. Н. Орленева в 1910 году: «Как только искусство перестает быть искусством всего народа и становится искусством небольшого класса богатых людей, оно перестает быть делом нужным и важным, а становится пустой забавой». («Литературное наследство», № 37—38, стр. 49). Требование народности, содержательности Толстой сочетал с требованием правдивости, искренности искусства. «Как ни пошло это говорить, — писал он в письме к Страху от 22 января 1877 года, — но во всем, в жизни и, в особенности в искусстве, нужно только одно отрицательное качество — не лгать... В искусстве ложь уничтожает всю связь между явлениями, порошком все рассыпается». (стр. 170—171).

Воззрения Толстого на искусство, помимо переписки, нашли свое отражение в его, бывших до сих пор неизвестными, статьях и набросках. «Литературное наследство» публикует их в специальной подборке. Здесь читатель находит исключительно сильную, беспощадно-резкую критику разлагающегося буржуазного искусства, ставшего на путь формалистических ухищрений и вывертов. В яркой, темпераментно написанной статье «О том, что называется искусством» (1896 г.) Толстой подвергает суровому разбору все области современного ему гнилого модернистского искусства.

«Ужас берет, — пишет он, — перед степенью безумия, совершаемого во имя того искусства одних исключительных, богатых, развращенных классов. Власть, деньги в руках этих классов, им нет никакого дела до того, что нужно вообще людям, им нужно возбуждение искусственное своему извращенному чувству; и возбуждение это нужно особенно сильно потому, что у них нет труда и им не нужно отдыха, а им нужно раздражение...»

Диапазон проблем, волновавших Толстого, не ограничивался сферой одного искусства. В его переписке затрагиваются и острые политические вопросы, и экономика, и быт народных масс, и усовершенствования техники, и др.

«Вы, вероятно, много ждете от нового царствования, — пишет он В. Соловьеву по поводу вступления на престол Николая II, — а я ничего...»

Вряд ли сам Толстой мог в эту пору (письмо относится к ноябрю 1894 г.) предвидеть, насколько будет он прав в своей пессимистической оценке перспектив нового царствования.

В этом ему пришлось окончательно убедиться примерно лет через десять.

В годы первой русской революции Толстой выступал пропагандистом экономической жизни Генри Джорджа. Толстой ошибочно переоценивал эту буржуазную теорию, усматривая в

* «Литературное наследство», № 37—38. Издательство Академии Наук СССР. Москва. 1939.

национализации земельной ренты по Джорджу панацею от всех зол эксплуататорского общества. Тем не менее, в основе выступлений Толстого было крестьянское, демократическое стремление «...уничтожить все старые формы и распорядки землевладения, расчистить землю, создать на месте полицейски-классового государства общестие свободных и равноправных мелких крестьян...»¹ По этой причине писания Толстого не могли не быть враждебно встречены первым помещиком России — царем и всем его окружением. Но именно к царю и обратился Толстой! С политической наивностью, столь типичной для патриархальной деревни, чьи взгляды Толстой отражал, уговаривал он Николая II провести земельную реформу. Посредником между Толстым и царем выступал Н. М. Романов, один из близких к российскому императору лиц. У него была определенная миссия. Миссия заключалась в том, чтобы создать у Толстого иллюзию, будто царь относится к нему хорошо и чуть ли не сочувствует его идеям.

От Толстого, однако, не ускользнуло то, что так стремился скрыть Н. М. Романов, а именно — иронично-презрительное к нему (Толстому) отношение со стороны монарха и его окружения «...Вы, называя меня большим идеалистом, в сущности делаете то самое, что должны сделать все советчики государя, ознакомившись с моей мыслью, т. е. признать меня добродушным дурачком, не понимающим того, о чем он говорит» (стр. 305 — 306). Толстой не мог не почувствовать фальшь в своих отношениях с «великим князем». 14 сентября 1905 года он написал Н. М. Романову из Ясной Поляны:

«...В наших отношениях есть что-то ненатуральное и не лучше ли нам прекратить их? Вы — великий князь, богач, близкий родственник государя; я — человек, отрицающий и осуждающий весь существующий порядок и власть и прямо заявляющий об этом. И что-то есть для меня в отношениях с вами неловкое от этого противоречия, которое мы как будто умышленно обходим» (стр. 321).

Какой смелостью, какой плебейской прямо-той исполнены эти слова!

Свою точку зрения на коренные социальные вопросы Толстой высказывал и в письмах к многочисленным корреспондентам из народа. «Владение землей есть грабеж» — пишет он лесному обезданнику А. Лузинову в Нижегородскую губернию. «Закон 9-го ноября о том, что можно крестьянам выкупать землю помещиков, мошенническая штука, и на нее поддаваться не надо» — предупреждает он молодого крестьянина Харьковской губернии В. Романику относительно столыпинского закона 9 ноября 1906 года.

Корреспонденты Толстого из среды крестьян, рабочих, ссыльных революционеров нередко вступали с ним в спор. Соглашаясь с Толстым в отрицании существующего порядка,

корреспонденты критиковали его учение, его проповедь непротавления зу насиллем. Интересно отметить, что в числе корреспондентов Толстого был и Н. Е. Федосеев, один из первых русских революционеров-марксистов, деятельность которого высоко оценивал Владимир Ильич Ленин. Переписка Толстого с Федосеевым касалась судьбы группы крестьян — дубоборов, сосланных царским правительством в Сибирь. В ходе переписки Толстой заинтересовался личностью Н. Е. Федосеева, почувствовав к нему искреннюю симпатию. «Кто вы? За что сосланы? Какое теперь ваше положение? И какое ваше душевное состояние?» — спрашивал Лев Николаевич Федосеева в одном из писем.

Необычайно широк круг адресатов Толстого. В рецензируемом томе мы встречаем среди других имена Т. Эдисона и М. К. Ганди. Переписка со знаменитым американским изобретателем освещает любопытный эпизод биографии Толстого, когда он, вопреки своему всегдашнему отрицательному отношению к технике, заинтересовался фонографом и согласился продиктовать для Эдисона несколько своих произведений. Переписка Толстого с Эдисоном носит чисто деловой характер. Совсем иной была его переписка с Ганди. Известно, что Толстой имел огромное влияние на вождя индусских националистов. В борьбе против британского владычества Ганди применял навеянные толстовскими идеями методы «гражданского неповиновения» и «пассивного сопротивления». Публикуемые письма Ганди к Толстому и Толстого к Ганди показывают, как осуществлялся этот процесс идейного влияния. Ценны в этих письмах не ложные теоретические построения их авторов, а те элементы критики капиталистического строя, которые были и у Толстого, и у Ганди.

Интереснейший раздел второго тома — «Толстой в воспоминаниях современников». Толстовская мемуаристика довольно обширна. Однако качество многих опубликованных воспоминаний о Льве Толстом весьма неравноценно. Наряду с интересными и правдивыми записями, воссоздающими живой облик писателя, печатались иногда сентиментальная размазня или заведомо искаженная, пристрастная отбятчина. Достоинство помещенных в «Литературном наследстве» материалов, прежде всего, в их безусловной фактической достоверности. Это или датированные записи разговоров и бесед с Толстым, сделанные под непосредственным впечатлением (дневники А. Жиркевича и В. Лазурского), или воспоминания современников, хорошо знавших ту или иную черту, особенность его творческой личности (воспоминания Л. Пастернака, А. Гольдвейзера, С. Шиль). К той группе материалов относится и полумемуарная статья сына писателя Сергея Львовича Толстого «Об отражении жизни в «Анне Карениной». Несколько особняком стоят воспоминания Е. Сытиной (Чихачевой). Они относятся к 50-м годам и характеризуют молодого Толстого и его близких в частной жизни.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. XII, стр. 331.

Толстой вырисовывается в рассказах людей, наблюдавших его, как великий неутомимый труженик. Главному делу своей жизни — литературному творчеству — Толстой отдавал все свои силы, все напряжение ума и сердца.

Для Толстого характерно в высшей степени серьезное, ответственное, почти благоговейное отношение к самому процессу художественного творчества. Здесь он не допускал никакой торопливости, никакой гонки. «Когда вам хочется писать, — говорил он навестившему его в Ясной Поляне беллетристу и поэту А. Жиркевичу (псевдоним Е. Нивин), — удерживайте себя всеми силами, не садитесь сейчас же... Советую вам это по личному опыту. Только тогда, когда неможете уже терпеть, когда вы, что называется, готовы лопнуть — садитесь и пишете. Наверное напишете что-нибудь хорошее...» И дальше он говорил: «Надо, чтобы созрела мысль настолько, чтобы вы горели ею, плакали над ней, чтобы она отравляла вам покой. Тогда пишите. Содержание придет само. Знаете ли вы, что я очень часто сажусь писать одно и вдруг перехожу на более широкие дороги: сочинение разрастается...»

Но из этих требований Толстого вовсе не вытекает, что он относился к писательскому труду, как к чему-то, что делается лишь в особом, необыкновенном состоянии, называемом «вдохновением», делается не систематически, изо дня в день, а лишь периодами. Постоянная сосредоточенность, постоянная профессиональная фиксация впечатлений от природы, от встреч с людьми, от чтения газет, книг, слушания музыки и т. д. были отличительными чертами Толстого. Не было дня, когда бы он не заполнял листки своих записных книжек (одна из таких книжек, относящаяся к 1879 году, публикуется в томе: это прелестные «картины природы», поражающие тонкостью и зоркостью наблюдений).

Воплощая на бумаге свои замыслы, претворяя наблюдения в образы, Толстой был необыкновенно строг к себе. Общеизвестно, как бесконечно «перемарывал» он свои рукописи, как приводил в ужас издателей жестокой правкой корректур своих романов. Будучи взыскательным к самому себе, Толстой не щадил и своих собратьев по перу. Небрежная, неряшливая писательская работа, незнание автором жизни вызывали едкую, убийственную критику с его стороны. Так, по воспоминаниям Лазурского, Толстой высмеивал Короленко за то, что в одном из его рассказов острожник бежал через... ярко освещенную луной стену. В то же время Толстой умел искренно восхищаться удачей другого художника. Тот же Лазурский передает интересный разговор с Л. Н. «... Он вспомнил, что читал по-французски рассказы и биографию одного талантливого молодого испанского писателя. Служанка этого писателя рассказывает, что была раз очень удивлена тем, что он ночью вдруг выскочил в окно и стал лить воду в колодезь. Он писал

в это время, и ему нужно было описать звук падающей воды. Вот это писатель! — прибавил Лев Николаевич. — Нужно знать то, о чем пишешь, и совершенно ясно видеть это перед глазами» (стр. 458).

Трогательный эпизод, показывающий чуткость и внимание Толстого, сообщает в своих воспоминаниях художник Л. Пастернак, автор иллюстраций к «Воскресению»:

«... Однажды я принес законченную иллюстрацию «После экзекуции». Толстой внимательно рассматривал ее, не переставая произносить знакомую мне оценку моих рисунков... «Прекрасно, прекрасно!» — выговаривая это слово как-то особенно мягко-кругло. Вдруг голос его дрогнул... показалась слеза, другая... «Прекрасно» — продолжал он, уже взволнованным, еле слышным старческим голосом, не выпуская из рук рисунка... Потом, как бы спохватившись и ударив себя по лбу, вскрикнул: — Да что я наделал! Я ведь телеграфировал Марксу (издателю «Нивы»), чтобы всю эту главу вычеркнуть! Что я наделал!.. Ну, ничего! Я сейчас буду телеграфировать, чтобы ее восстановили, и тогда этот рисунок обязательно надо поместить!

Услышав это, я, конечно, наотрез отказался: было бы с моей стороны непростительным, чтобы из-за моей иллюстрации Толстой менял план своего творчества. Но Толстой настаивал на неприменном и обязательном ее помещении.

— Ну, постойте, — сказал он, — я придумаю: я в одном месте текста сделаю небольшое указание на предшествовавшую экзекуцию, и тогда этим оправдается помещение этого рисунка» (стр. 518).

Авторы других воспоминаний дополняют облик Л. Н. Толстого целым рядом примечательных черт. Так, А. Б. Гольденвейзер свидетельствует об огромной, постоянной любви Льва Николаевича к музыке. У Толстого играли такие выдающиеся музыканты, как Танеев, Скрибин, Рахманинов, Игумнов, Гржимали, Сибир и др.

Помимо основных разделов, второй том включает в себя несколько обзоров и сообщений. Наиболее значительное из них касается семейных отношений Л. Н. Толстого. Новые материалы, приводимые Н. Н. Гусевым, освещают интимную сторону жизни Льва Николаевича, вскрывают подоплеку того напряжения в отношениях между Толстым и его женой, которое особенно усилилось в последние годы его жизни. Потрясающий документ — «Диалог» — проливает яркий свет на семейную драму писателя.

Толстовские томы «Литературного наследства» в целом представляют собой интереснейшие сборники, содержащие много нового для понимания жизненного и творческого пути одного из величайших писателей не только России, но и всего мира. Серьезную работу проделал В. В. Жданов, подготовивший к печати оба тома.

М. Гольдберг

ПОЭТ ВОЛГИ Д. Н. САДОВНИКОВ

Есть много песен безыменных авторов, по праву нашедших широкое распространение в народе. Популярность многих из них настолько велика, что их поют миллионы; и народ справедливо считает эти песни своим богатством.

Есть также много популярных песен, авторы которых известны лишь знатокам народного поэтического творчества да чрезвычайно ограниченному кругу читателей. Обычно такие песни при исполнении или даже при перепечатании не всегда снабжаются указанием фамилии их творца. За долгие годы жизни таких песен народ их полюбил, привык к ним и считает своим устным наследием.

Песню «Из-за острова на стрежень» знают и поют миллионы. Опубликованная впервые в незаметном журнале «Волжский вестник» в 1883 году она уже с 90-х годов постепенно начинала утрачивать свое «литературно-письменное» значение. Но, почти не перепечатываемая, она, тем не менее, сумела стать истинным достоянием масс.

Эту песню, как и другие, не получившие такой широкой известности, написал самобытный поэт 70-х годов Д. Н. Садовников. Рецензируемая книга¹, в которую вошли не только созданные поэтом стихи и песни, но и записанные им предания, легенды, сказки, представляет исключительный интерес.

Дмитрий Николаевич Садовников по праву считается певцом Волги, певцом Степана Разина. Основная часть его произведений посвящена Волге и вождям крестьянских революционных движений Разину и Пугачеву.

Тебе несущи стихи, река моя родная,
Они — навеяны и созданы тобой —

говорит поэт во вступительном стихотворении к циклу произведений, как оригинальных, так и написанных на народных темы.

Для Садовникова, родившегося в г. Симбирске, Поволжье было духовной страстью, которая горела в нем с ранних лет до последних дней его жизни. Предания о «вольных людях» и разбойниках, легенды о кладах и чудовищах, сказки о волшебниках и богатырях, слышанные еще в детстве, давали материал Садовникову — поэту и собирателю.

В его стихах ощутимо сильное влияние народного песенного богатства. Садовников без всякого пристрастия, без существенных изменений вкладывал слышанное в сюжеты своих стихотворений и песен. Лишь в отдельных случаях он позволял себе незначительные изменения.

Песни и стихи, как созданные народным воображением, так и поэтами, в своем бытовании неизбежно утрачивали первоначальное содержание. Для этого даже не всегда требовалось продолжительное время и обязательно

широкая территория, куда проникал материал. Песни «Кипел, горел пожар московский» Н. Соколова, «Выйду ль я на реченьку» Ю. А. Нелединского-Меледцкого, «Стонет сизый голубочек» И. И. Дмитриева, «Славное море, священный Байкал» Д. Давыдова и многие другие имеют много вариантов отдельных слов, строк и строф.

От случая к случаю эти песни появлялись в доступных по цене песенниках. Как правило, дешевые лубочные иллюстрации в несколько красок сопровождали наиболее «острые», по мнению издателя, места песенного сюжета. Не могли не подвергнуться многочисленным народным переделкам и садовниковские песни. Популярность сюжета «Из-за острова на стрежень» была настолько велика, что в некоторых вариантах народной драмы «Черный ворон» она играла существенную роль.

Многочисленным переделкам подверглось и другое стихотворение поэта, начинающееся строками:

Мимо саду городского,
Мимо рубленных хором...

В песенниках это стихотворение печаталось под заглавием «Астраханский купец», автором оно было озаглавлено «Зазноба», а народу, который не знал автора, было известно по первой строке.

Работая над сюжетом, Садовников, как видно, ставил себе целью не отдаляться от имеющегося источника. «Атаман и есаул», «Стенькина шуба», «Астраханский загул», «Суд» ярко подчеркивают социальный характер «разбоев» Разина. По народным преданиям, находясь в «есауликах» у разбойника Уракова, Разин отговаривает от ограбления небогатых купцов, а затем, «без пороку разбойника на месте клал» и

Сбирал его удалых добрых молодец,
Говорил им, разудалый, таковы слова:
Покажу вам, братцы, волюшку пошире
той!

Айдате-ка, ребята, под Астрахань!

Распространенное и широко известное предание об Ураковом бугре нашло свое поэтическое выражение в «Атамане и есауле». Разин не нападает на бедных — таков идейный смысл этого стихотворения. Это особенно ярко подчеркнуто в «Астраханском загуле» и «Суде», где Разину

Здравствуй, батюшка родимый! —
Все кричат и стар и мал.

Легенды о пресловутой шубе, якобы подаренной Разиным воеводе, и о расправе Разина с воеводой за эту же шубу, — лейтмотив многочисленных народных суждений. Рассказы об этом еще до Садовникова были зафиксированы этнографами П. И. Якушкиным и Н. И.

¹ Певец Волги Д. Н. Садовников. Избр. произв. и записи. Составила и комментировала В. Ю. Крупянская. Под общей редакцией акад. Ю. М. Соколова. Куйбышевское изд-во, 1940.

Костомаровым. Разин, сбрасывающий с колокольни «ворога» — воеводу, в народном предании и садовниковской поэтической обработке — не просто мстит за личную обиду. Строфа из «загула»:

За Степаном только свистни, —
Колыхнется весь народ...
А кому охота биться
За царевых воевод?

рисует Разина прежде всего как защитника и предводителя гольтбы, врага бояр и помещиков.

Садовников известен в литературе не только как поэт. Записи волжских легенд, сказок, преданий, загадок, пословиц, заговоров и других произведений устного творчества создали ему имя незаурядного фольклориста. Его за-

писи точны, тематически разнообразны и ценны во всех отношениях. Исключительный интерес представляют предания и легенды о Степане Разине и Емельяне Пугачеве.

Несмотря на то, что Садовников не был ученым в строгом смысле слова, его этнологические записи представляют большое научное значение. В тесной взаимосвязи с народной речью построены диалоги, пейзажи и выведены характеры действующих лиц в этих записях. Творческая деятельность Садовникова была непродолжительной, но разнообразной и плодотворной. Записи Садовникова, составившие цикл «народных сказок Абрама Новопольцева», могут служить образцом собирания материала и его научной обработки.

Куйбышевское издательство сделало полезное дело, выпустив труды Д. Н. Садовникова.

Ив. Беликов

★

Я. ЯЛУНЕР — «ОЛЬГА ИВАНОВНА»

Пьеса Я. Ялунера¹, о которой пойдет речь в этой рецензии, называется «Ольга Ивановна»; однако центральной фигурой, вокруг которой все вертится, является не Ольга Ивановна, а архитектор-строитель Борис Сергеевич Ратанов. Отметим сразу, что для изображения этого своего персонажа драматург потратил немало черной краски. Борис Сергеевич Ратанов — бесспорный, стопроцентный негодяй. Я. Ялунер сделал все, что было лишь в его силах, чтобы нам с первого же взгляда ясно было, какой перед нами тип.

Впрочем, судите сами.

У одного Бориса Сергеевича трое детей: девятнадцатилетний сын Женя и две дочери — Вера, семнадцати, и Валя, одиннадцати лет. Два года назад у Ратанова умерла жена. И вот в тот самый день, когда его дети отмечают двухлетие со дня смерти горячо любимой матери, отец неожиданно объявляет им, что он женился снова и что сейчас к ним в дом явится его новая жена.

Любопытны выражения, которые употребляет при этом Борис Сергеевич: «Слушайте, друзья... Я хочу, чтобы вы меня поняли... Поняли как человека... Я одинок... Я очень одинок... Конечно, у меня есть вы, мои дети... Но для взрослого мужчины это... это не вполне достаточно, так сказать... Вы понимаете, о чем я говорю?»

Когда же дети возмущаются, что отец вводит в их семью мачеху как-раз в годовщину смерти первой своей жены, выясняется пикантная деталь: Ратанов, видите ли, «не знал, что двухлетие именно сегодня».

Такова завязка, таковы первые штрихи, которыми автор обрисовывает своего «героя».

Но это только начало. В тот же день в течение нескольких минут Ратанов узнает: во-

первых, что утвержден проект огромного дворца культуры, принадлежащий профессору Степанову, его учителю; во-вторых, что профессор Степанов, услышав об утверждении проекта, от радости умер; в-третьих, что его, Ратанова, как ближайшего помощника и фактического секретаря профессора, находившегося в курсе всех его замыслов, решено привлечь к руководству стройкой; в-четвертых, что ему, Ратанову, профессор завещал передать для разбора весь свой архив, все рукописи.

О смерти профессора Степанова и связанных с нею переменах в судьбе Ратанова последнему сообщает художник Шарпов, также помощник покойного и друг Бориса Сергеевича еще со школьной скамьи.

Этот Шарпов, по мнению автора, безусловно честный человек и, вообще, светлая личность, следующим образом комментирует произошедшие события и их значение для Ратанова.

«Ты, — обращается он к Борису Сергеевичу, — всю свою жизнь был малозначительным архитектором, и мечты о большом в тебе погасли. Но вот стечение обстоятельств, и ты стоишь на трамплине. Теперь остается прыгнуть».

Растерявшийся Борис Сергеевич сперва лишь поддакивает своему другу, но потом одной репликой выдает овладевшие им чувства. «Это необходимо отпраздновать» — выпаливает он внезапно. Шарпов, хотя он и любит «всё обнажать», удивлен. «Отпраздновать?» — переспрашивает он, и Борис Сергеевич спешит поправиться: «Нет. Конечно, не смерть старика... а... а мою женитьбу. И победу проекта». Однако слово — не воробей, вылетит — не поймаешь, — и перед читателем (и зрителем, если таковой у Ялунеровской драмы имеется) неприглядные душевные качества главного действующего лица выявляются все более и более отчетливо.

¹ Драма в 4 актах. Гос. издательство «Искусство», Ленинград—Москва. 1940.

Дальше действие разворачивается, прямо как по нотам. Ратанов энергично «прыгает вверх», во-всю используя образовавшееся «стечение обстоятельств» и обнаруживая незаурядные способности карьериста и дельца. Умелая самореклама помогает ему набрать массу консультаций за повышенную плату. Мало того, в архиве профессора Степанова отыскивается ряд совершенно законченных изобретений, которые Ратанов беззастенчиво присваивает себе. «Неисправимый идеалист, — отвечает он на упреки Шарапова, — пойми, наконец, что мертвым уже ничего не нужно. А человечеству безразлично, от кого оно получает полезную ценность». Само собой разумеется, что заинтересован Борис Сергеевич не только в славе; из «своих» изобретений он стремится прежде всего извлечь как можно больше прибыли. «На-днях, — рассказывает он тому же Шарапову, — я уже сообщил в Главке свои условия... Я требую минимум три процента с производственной прибыли».

В личной жизни Ратанова его неожиданное «возвышение» также, понятно, производит резкий перелом. То, что вполне удовлетворяло незаметного, посредственного архитектора, для «знаменитости», ясное дело, не подходит. Ольга Ивановна, вторая жена Ратанова, женщина-врач, с которой он сблизился во время своей болезни, человек большой душевной чистоты и обаятельности, как ее рекомендует автор, начинает казаться Борису Сергеевичу чересчур «провинциальной». Да и не очень молода она, — сорок лет, — всего на четыре года моложе его самого! И пошедший в гору Борис Сергеевич принимается напропалую ухаживать за всевозможными Иветами и Марго и чуть ли не на глазах у всех изменять своей жене.

Срывается Ратанов на попытке продать изобретенный профессором Степановым водонепроницаемый бетон за границу. Его собственный сын Жень выгоняет покупателя, английского «туриста» Твидсона, из кабинета отца, а Шарапов вскоре выступает на собрании в архитектурном институте с разоблачением жульнических проделок своего школьного товарища. Борису Сергеевичу приходится расстаться с роскошной мебелью, которую он поспешил купить, и снова превратиться в «скромнейшего из смертных».

Из сказанного, надеемся, видно, какого рода пьесу написал Я. Ялунер. Ни малейшего художественного значения, конечно, его стряпня не имеет. Характеризуя своего героя, он все время прибегает к самым примитивным, самым дешевым штампам. Однако недостаточно будет, если мы ограничимся простым утверждением, что пьеса Ялунера — плохая, антихудожественная пьеса. Как это сплошь и рядом в таких случаях бывает, штампы и схема «подводят» автора, и из-под его пера выливается пошлая карикатура на действительность.

В самом деле, вот что бросается в глаза, вот что не может не обратить на себя внимание. Сам Ратанов — субъект насквозь прогнивший, для которого недоступны даже элементарнейшие этические понятия, а между

тем — какая у него семья, какие друзья! Борис Сергеевич сумел (неизвестно только как) вырастить трех прекрасных детей; его первая жена была, судя по отзывам Жени и Веры, превосходной женщиной; его вторая жена Ольга Ивановна, искренно полюбившая его, — тоже превосходная женщина; крупнейший архитектор профессор Степанов приблизил его к себе и доверил ему все свое научное и художественное наследство; наконец, Шарапов дружил с ним в продолжение тридцати пяти лет... Что же, спрашивается, все они слепые были, что ли? Как же это они могли не разглядеть пустоту и мелкость чувств Бориса Сергеевича? Или, может быть, он маскировался очень ловко и всех вводил в заблуждение на счет подлинной своей сущности? Нисколько, такое предположение ни на чем не основано: мы видели уже не раз, как он неуклюже проговаривался, когда ему целесообразнее было бы хранить молчание, и как на виду у всех он совершал поступки, которые, будь он хоть чуточку хитрее, никогда не делались бы так открыто. Выходит, следовательно, что «слабости» Ратанова не должны были бы оставаться для положительных персонажей пьесы, его близких и друзей, тайной, если бы... если бы они действительно отличались теми положительными качествами, которые им щедро приписывает драматург. Странное, очень странное у Ялунера представление о передовых советских людях! Они, оказывается, способные годами любить и уважать человека, который решительно не в состоянии даже на короткое время прикрыть свое ничтожество и дрянность.

Розовые тона, в которых автор изображает ратановское окружение, побуждают нас подойти к образу Ратанова и с другой стороны. В 1917 году Борис Сергеевич был еще молодым человеком, ему было тогда не больше двадцати одного — двадцати двух лет. Все годы революции он прожил в тесном общении с замечательными советскими людьми. Должно было все это как-нибудь на него повлиять? Ялунер всем содержанием своей драмы отвечает на этот вопрос отрицательно. Но почему все-таки Ратанов является столь разительным исключением из общего правила, почему он в отличие от подавляющего большинства своих коллег никак не поддается воздействию окружающей его жизни? Это остается покрытым мраком неизвестности.

Самое удивительное в пьесе Ялунера, несомненно, финал.

Старания автора увенчались успехом, и читатель убедился, что Борис Сергеевич Ратанов симпатий его отнюдь не заслуживает. Плаггиатор и рвач, готовый пойти на преступление против родины и продать капиталистам уворованное им изобретение, ничего, конечно, кроме отвращения, вызвать не может. У Ялунера, однако, как мы с изумлением узнаем, существует на этот счет своя особая точка зрения.

В последнем акте к развенчанному Ратанову приходит Шарапов и начинает его долго и нудно уговаривать: «Я говорил о тебе с ди-

ректором. Никто... никто не хочет тебя «утопить»... Приди на товарищеский суд, Борис... Расскажи все просто и честно... Если ты поймешь сам, как глубоко ты неправ, — этого хватит... Нельзя так жить в нашей стране... Нельзя так делать... Только вместе со всем народом своим может идти вперед человек».

Ратанов прерывает проповеди Шарапова насмешками и истерическими выкриками, но Шарапов упорно продолжает, несмотря на это, свои усадительные речи о том, что «новые связи сковывают (! — Г. Л.) теперь людей» и «новые чувства рождаются в человеческих сердцах».

Заканчивается пьеса двумя репликами Ратанова и Шарапова:

Ратанов (кричит): Ах, оставь, оставь ты меня!

Шарапов (твердо): Нет, не оставлю... Я тридцать лет был твоим товарищем и не оставлю теперь. Не гони меня, Борис... Я все равно не отступлюсь от тебя. Ты обязан понять и себя, и людей, среди которых ты живешь (обнял Ратанова за плечи, увел его в кабинет)».

Миленькая картинка, неправда ли? Но это не пародия, не думайте!. Слюнявый либерализм положительного Шарапова всерьез умиляет нашего автора, и он до глубины души уверен, что его прекраснодушный герой показал «Риму и миру» образец чуткости и внимания к человеку.

На этом, собственно, с «Ольгой Ивановной» можно покончить. Правда, в пьесе Ялунера помимо Ратанова фигурируют и другие персонажи, но заниматься еще и их анализом мы считаем излишним.

Но, разумеется, самый факт появления в печати (и, возможно, на сцене) такого милого произведения, как «Ольга Ивановна», должен заставить нас призадуматься. О чем, в самом деле, свидетельствует этот факт?

Прежде всего, понятно, о том, что в области драматургии существует удивительная не требовательность и неразборчивость, суще-

ствуют невероятно пониженные критерии, благодаря чему и могут проникнуть в печать вещи абсолютно беспомощные в художественном отношении и, по меньшей мере, сомнительные политически.

Ошибкой было бы полагать, что Ялунер — это такой уникум, с которым никто и сравниться не может. Бесспорно, «качество продукции», которое дал сей драматург, — редкость даже для издательства «Искусство», отнюдь не отличающегося большой «придирчивостью» к своим авторам. Но Ялунер показателен; в шаржированном, уродливо обнаженном виде он воспроизводит в своей пьесе многие ошибки и недостатки, которые наблюдаются в работах некоторых наших драматургов «с именем». Незнание и непонимание нашей советской современности, надуманные «проблемы» и конфликты, никак не вытекающие из реальных противоречий нашей действительности, неумение различить «что такое хорошо и что такое плохо», преподнесение отрицательных сторон жизни под видом положительных, — такие идейно-художественные изъяны выявились, как известно, в ряде пьес последнего времени. Такова почва, на которой произрастают Ялунеры и без которой они были бы немислимы. Порочные тенденции, которые в более или менее прикрытой форме проявляются у писателей, не лишенных дарования, Ялунеры доводят до логического конца, так что они, эти тенденции, выступают во всей своей наготе — «весомо, грубо, зримо».

Обычно произведения типа «Ольги Ивановны» в поле зрения критики не попадают, потому что все это, как выражался Писарев, «совсем не литература, а только печатная бумага». Но так как встречаются еще до сих пор (даже среди редакторов!) люди, способные принимать такие произведения за произведения искусства, то с обыкновением презрительного отмахиваться в подобных случаях пора разделаться. Нельзя допускать, чтобы такого рода упражнения проходили незамеченными и безнаказанными.

Г. Ленобль



О НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Ряд блестящих имен вспоминается, когда говоришь о сочетании научно-исследовательской мысли и литературно-художественного дарования: Леонардо да Винчи, Ломоносов, Гете, Геккель, Фламмарин, Тимирязев.

Величайший представитель итальянского возрождения, живописец и скульптор, поэт и ученый, архитектор и музыкант, ослепительным метеором блеснувший на заре естествознания, Леонардо да Винчи — прекрасный образец такого сочетания. В его изумительном стиле и сила художника, и страстность искателя, и взволнованность великого провидца, предвосхитившего многие открытия, и огромная воля к переделке природы, готовность претворить мысль в дело, теорию в практику.

Читая его мысли о науке и об искусстве, словно беседуешь с живым человеком, близким по духу нашей эпохе, и трудно сказать, что волнует больше: мысли ученого, образы художника или воля строителя-практика.

Также нераздельна и глубока связь между научными идеями, литературными трудами и делами Ломоносова.

О плодотворности сочетания научной мысли, художественного образа и воли к действию мы имеем целый ряд авторитетнейших свидетельств.

Д. И. Писарев в «Реалистах» писал: «Популяризатор непременно должен быть художником слова, и высшая, прекраснейшая, самая человеческая задача искусства состоит именно в

том, чтобы слиться с наукой и посредством этого слияния дать науке такое практическое могущество, которое она не могла бы приобрести исключительно собственными средствами. Наука дает материал художественному производству, в котором все — правда и все — красота... Такие художественные произведения человек еще создаст впоследствии, когда он много поумнеет и многому научится».

В. И. Ленин в одной из своих рецензий вскрыл сущность работы популяризатора: «Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную работу, ведет его, помогая ему делать первые шаги и уча дальше итти самостоятельно. Вульгарный писатель предполагает читателя не думающего и думать не способного, он не наталкивает его на первые начала серьезной науки, а в уродливо-сокращенном, послонном шуточками и прибаутками виде, преподает ему «готовыми» все выводы известного учения, так что читателю и жевать не приходится, а только проглотить эту кашку»¹. Все эти мысли и сейчас бросают яркий свет на задачи и характер научно-художественной литературы на ее новом этапе.

★

Не будет преувеличением сказать, что дореволюционная научно-популярная литература за отдельными блестящими исключениями не стояла, да и не могла стоять на большой высоте. Вульгаризация научного знания, неискренность формы и снисходительно-добродушный тон, скрывавший неуважение к духовным силам читателя из народа, — обычные черты дореволюционного популяризаторства. Черты эти бросаются в глаза даже в произведениях лучших дореволюционных популяризаторов, например Рубакина, которые в свое время пользовались почти безоговорочным признанием.

Но изменились методы научно-исследовательской работы, изменилось взаимоотношение науки и жизни. За революционные годы у нас выросла передовая наука, черты которой с предельной яркостью раскрыты товарищем Сталиным. Литература стала могучим средством строительства новой жизни, организации нового человека, литература ведет читателя в будущее.

Стремление к учению и знанию, высоко поднявшееся среди рабочих и колхозных масс, усилилось стахановским движением. Стахановцы ждут и требуют научных знаний. Это требование огромно по размаху, глубоко серьезно по запросам. Достаточно побывать на Сельскохозяйственной выставке, чтобы почувствовать, как жадно впитывает народ знания. Исполнилась мечта И. В. Мичурина — колхозники внимательно изучают выращенные им растения. А вот свидетельство академика Б. А. Келлера: «Я ученый ботаник, конечно, много читал о значительных творческих достижениях

Т. Д. Лысенко, Н. В. Цицина, А. И. Державина. Но, когда я увидел эти достижения на выставке непосредственно, в наилучших документах — самих растениях, я останавливался перед ними, как вкопанный, с затаенным дыханием...»

Дает ли наша научно-популярная литература то, что должна дать могучему народному движению, которое миллионами голосов требует приобщения к науке и подготавливает переход от социализма к коммунизму?

Три года тому назад Н. К. Крупская писала: «В массовых библиотеках полки научно-популярной литературы пусты... Надо кончать с кустарщиной в этом деле».

Чтобы утолить огромную жажду научных знаний наших широчайших народных масс, нужен широкий поток научно-художественной литературы.

Вместо широкого потока мы видим очень ограниченное количество хороших книг, которые издаются либо Детиздатом, либо «Молодой гвардией», причем трудно объяснить, почему книга издана тем, а не другим издательством. Кроме этих двух издательств, ни одно издательство (Учпедгиз, издательство Академии Наук, Гонти, Биомедгиз и др.) не ставит своей задачей издание книг научно-художественного характера. Больше того, ведомственный подход к этому делу нередко приводит к тому, что художественные достоинства научно-популярной книги становятся не стимулом, а препятствием к ее скорейшему изданию. Научно-популярные издательства полагают, что книги этого порядка должны выпускать в свет издательства художественной литературы, а последние думают как-раз наоборот, и нередко хорошие книги годами ждут своей очереди и издаются не в порядке плана, а в порядке счастливой случайности.

За последние годы все же выпущен ряд классических книг, имеющих огромное научно-образовательное значение: А. Брем «Жизнь животных», Ч. Дарвин «Путешествие на корабле Бигль», «Жизнь насекомых» Ж. Фабра, «История свечи» Фарадея, «Жизнь растения» К. А. Тимирязева, «Мировые загадки» Э. Геккеля. Организующая сила этих книг огромна.

Альфред Брем, совершивший два путешествия в Африку, побывавший и у нас в Сибири, изумительный знаток животных, приручивший львицу Бахиду, крокодила, гнен, грифов и чибисов, — великолепный проводник в царстве животных. Книга на протяжении семидесяти лет воспитывала кадры натуралистов. В первом томе, изданном Детиздатом, собрано то, что имелось у Брема о жизни млекопитающих. В книгу внесены поправки и дополнения, к которым обязывало огромное развитие науки о животных за истекший период. Второй том будет посвящен рыбам и птицам.

Глубоко поучительна и обладает огромной воспитывающей силой изданная Детиздатом книга Ж. Фабра «Жизнь насекомых». Неутомимый наблюдатель, бескорыстный исследователь жизни насекомых, восьмидесятилетним стариком писал о своей работе: «Чем глубже

¹ «Правда», № 21/6627. 21 января 1936 г.

я рою, тем больше я убеждаюсь, что запустил свой заступ в колоссальную жилу, которая стоит того, чтобы исследовать ее хорошенько».

В истории формирования Дарвина, как ученого, путешествие на корабле Бигль имело решающее значение. «Происхождение видов» и «Путешествие на корабле Бигль» (Детиздат) имеют теснейшую связь. Отправляясь в «Путешествие на корабле Бигль», вдумчивый читатель проходит превосходную школу.

Книга Фарадея «История свечи» (Антирел. изд-во) подобно «Жизни растения» К. А. Тимирязева возникла из лекций, читанных великим физиком в начале шестидесятих годов в Лондонском королевском институте. Горящая на лекциях свеча давала возможность искусному лектору-экспериментатору показать основные процессы химии, роль кислорода, водорода и азота не только в неорганической природе, но и в органической жизни.

Об огромном научно-образовательном значении «Жизни растения» (Детиздат) говорить не приходится.

О книге Э. Геккеля «Мировые загадки» В. И. Ленин писал: «Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах «Мировые загадки» Э. Геккеля, замечательно рельефно обнаружила партийность философии в современном обществе, с одной стороны, и настоящее общественное значение борьбы материализма с идеализмом и агностицизмом с другой. Сотни тысяч экземпляров книги, переведенной тотчас на все языки, выходящей в специально дешевых изданиях, показали воочию, что книга эта «пошла в народ», что имеются массы читателей, которых сразу привлек на свою сторону Геккель»¹.

Эти старые, классические книги четко намечают тот путь, по которому должна идти наша научно-художественная литература.

На этом пути стоит ряд новых хороших научно-художественных книг, появившихся за последние годы. Лучшей остается и до сей поры «Кара-Бугаз» К. Паустовского (изд. «Молодой гвардии» и Детиздата). Книга воспитывает в читателе чувство будущего.

Из книг-биографий ценны талантливые книги Поля де-Крюи, изданные «Молодой гвардией», и особенно лучшая из них — «Охотники за микробами». Герои науки просты и человечны, они не поставлены автором на недосягаемую высоту, а стоят рядом с читателем, близки ему. В этом огромная воспитывающая сила книги. На некоторых из более поздних книг Поля де-Крюи («Борьба со смертью») лежит печать американизма: стремление к сенсационной преувеличенности и некоторая размахистость в выводах и оценках.

Хорошо построенные книги М. Ильина — «Рассказ о великом плане», «Горы и люди», «Сегодня и вчера» (Детиздат) — богатством материала, яркостью сопоставлений, четкостью мысли освещают социальные проблемы и помогают читателю в выработке правильного мировоззрения.

Менее удачна последняя книга М. Ильина и Е. Сегал «Как человек стал великаном».

В статье «О темах» Горький указал следующую: «О том, как наука сделала людей великанами» и тут же наметил рамки этой широкой темы: телескоп, телевидение, микроскоп, телефон, радио, современные способы передвижения по земле, воде, воздуху, управление на расстоянии.

Авторы книги поставили перед собою задачу, неизмеримо более широкую и сложную: рассказать в книжке всю историю человеческой культуры, т. е. дать то, для чего нужна по меньшей мере серия книг, целая библиотека по истории культуры.

Трудности, обусловленные небывалой широкой темой, еще более увеличились в силу принятого авторами построения книги, не дававшего возможности раскрыть тему как единый, тесно связанный комплекс.

В результате получился ряд интереснейших, нередко очень удачных новелл, которые в целом не могут, однако, с должной глубиной вскрыть сложную динамику пройденного человечеством великого и трудного пути, а иногда создают у читателя упрощенное представление о затронутых вопросах.

Рассказы не вводят читателя в лабораторию научно-исследовательской мысли, а как-раз преподносят ему «готовыми» все «выводы известного учения», а легкость тона книги, насыщенность языка шутками и остротами гасит и ту взволнованность, с которой молодой читатель мог бы воспринять большую тему, и ту критическую настороженность, которая уместна в трактовке вопросов, имеющих существенное, мировоззренческое значение.

Книга, чрезвычайно нужная по теме, требующая всесторонних научных знаний, нуждается в существенной переработке и прежде всего в разгрузке от всего лишнего.

Ряд хороших книг, изданных Детиздатом, вводит читателя в крупнейшие проблемы биологии и зоологии, знакомит с животным миром СССР, рисует жизнь в достижениях юннатских кружков. «Рассказы натуралиста» П. А. Мантейфеля и живые очерки С. И. Огнева воспитывают в читателе искусство наблюдать живую жизнь, учат «живому созерцанию», с которого начинается работа и рост натуралиста. Небольшая, увлекательно написанная книжка Н. Щербиновского «Шестиногие враги» рассказывает о борьбе с вредными насекомыми. Биологическим проблемам посвящены книги проф. Х. Коштоянца (изд. Академии Наук) и А. Югова об И. П. Павлове (Детиздат).

Детиздатом выпущен первый том большой работы «Животный мир СССР», посвященный птицам. Книга вышла под редакцией проф. А. Н. Формозова и проф. Б. М. Житкова. В написании книги приняли участие: С. А. Бутурлин, Э. Г. Гептнер, Г. П. Деметьев, Б. М. Житков, С. И. Огнев, А. Н. Промптов, С. С. Туров, А. Н. Формозов и А. М. Шульпин.

В народном хозяйстве Советского Союза животный мир играет очень большую роль.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, стр. 284—285.

Мы владеем богатейшими в мире лесами, населенными ценнейшим пушным зверем, у нас самые богатые рыболовные угодья, наши дальневосточные заповедники охраняют богатейшую в мире фауну. В последние годы у нас предприняты серьезные шаги по реконструкции охотничье-промысловой фауны. Наше передовое сельское хозяйство должно быть свободно от вредителей. Серия «Животный мир СССР» будет прекрасным подспорьем для познания нашей богатейшей фауны.

Богато изданный первый том этой серии — «Птицы» — результат большой работы наших биологов, поставивших целью использовать все новые данные, накопленные в этой области, и дать полноценное в научном отношении и доступное широкому читателю описание важнейших и интереснейших птиц Союза. После вышедшей больше сорока лет назад работы проф. М. А. Мензбира «Птицы России» это первая работа такого рода. Книга может быть использована и как научное пособие, и как справочник, и как интересная книга для чтения. Она написана живым языком и прекрасно иллюстрирована нашими лучшими художниками-анимационистами — В. А. Ватагиным и А. Н. Комаровым. Зарисовки и целые картины А. Н. Комарова из жизни птиц играют огромную роль для познавательной ценности книги. Некоторые из его рисунков поднимаются до уровня подлинных художественных произведений: «Голубой зимородок», «Раненый вальдшнеп», «Синицы и сын», «Тетерев-косач на току».

Книга американца Л. Аусвейта «Как открывали земной шар» (Детиздат) — первый опыт издания истории путешествий. О необходимости такой книги давно писал Горький.

Книга «Герои и мученики науки» (Детиздат), составленная К. Берковой, в некоторой мере заполняет «белое пятно» в области антирелигиозной литературы. Книга показывает, какая непроходимая пропасть лежит между религией и наукой.

«Тайна двух океанов» Гр. Адамова (Детиздат) заслуживает серьезного внимания как один из первых интересных опытов в области научной фантастики. Добросовестно подобранный и хорошо развернутый научный материал иллюстрирует достижения будущей техники, приоткрывает тайны морских глубин и увлекает читателя. К сожалению, автору не удалось вскрыть тайны человеческих характеров. Образы людей плоски, читатель не чувствует их внутренней жизни, их характеров. С некоторыми же участниками героического плаванья автор и вовсе не считал нужным познакомиться читателя. Слабость в обрисовке главнейших персонажей и невнимание автора к «маленьким» людям и предопределили неудачу романа. Присмотревшись к жизни и роли этих незаметных по началу участников плаванья, автор мог бы создать немало ярких эпизодов, рисующих рост человека в общей работе и величайшую творческую силу того строя, в котором каждому работнику коллектива открыты самые широкие перспективы.

Книга «Приключения изобретений», составленная А. Ивич (Детиздат), — интересная по замыслу, несмотря на третье издание, не получила достаточной полноты и четкости в подборе материала и в освещении некоторых существенных вопросов. Наряду с интересными рассказами об изобретениях преждевременных, своевременных и запоздалых в главе «Плохие предвидения» рассказывается и об утопиях, творцы которых, по утверждению автора, всегда ошибаются, когда они пытаются проникнуть в технику будущего. Напомним автору о таких непохожих предвидениях, как четвертый сон Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать», где гениальный мыслитель три четверти века тому назад нарисовал наш комбайн. Утопия одна из наиболее старых и очень гибких литературных форм. Нельзя требовать от утопий, рисующих будущее, точных технических конструкций, но утопии могут быть предвестниками крупных поворотов в развитии техники подобно тому, как социальные утопии Томаса Мора, Морелли, Кабэ и др. являлись предвестниками крупнейших социальных изменений. Определяя основную тему книги, автору следовало бы раскрыть, где проходит граница между великими научными открытиями, всегда опережающими свой век, и теми преждевременными изобретениями, о которых он рассказывает. Следовало бы рассказать и о том, какую новую установку приобретают научные открытия в наших условиях, когда открытия становятся не счастливой неожиданностью — удачей отдельного изобретателя, — а планомерным достижением правильно организованной работы научно-исследовательского коллектива.

Работа коллектива хорошо иллюстрируется маленькой, увлекательно и с хорошим юмором написанной книжкой Г. Фиша «Вредная черепаха и теленочус» (изд. «Молодой гвардии»), знакомящей читателя с биологическим методом борьбы с вредителями наших посевов. Читателя не может не увлечь горячая борьба с вредным насекомым, в которой принимают участие и люди науки, и хаты-лаборатории, и писатель, и колхозная молодежь, и даже... колхозные куры.

Мы перечислили лучшие и наиболее интересные научно-художественные книги, появившиеся за последние годы. Их немного. Гораздо больше книжек слабых, написанных по-старинке, дающих серые, не увлекающие читателя описания фактов.

Нашу научно-популярную литературу необходимо поднять на высоту, достойную эпохи. Сейчас задача состоит в том, чтобы направить в эту сторону внимание и ученых, и писателей, и издателей, создать реальные стимулы для большой творческой работы в этой области и организовать для этого потока широкое издательское русло.

Литература эта должна заниматься не простым пересказом научных положений или научных итогов, а вводить читателя в лабораторию науки, будить в нем интерес к научной

мысли, к истории ее развития, к задачам и методам научной работы, должна воспитывать самостоятельность, строгость и честность научного мышления, отвращение к слепому и механическому действию по чужой указке, к безыдейному и бесперспективному делачеству и крохоборству. Популярная литература должна воспитывать уважение к борцам и новаторам в науке, к людям, способным отыскивать новые пути и преодолевать сопротивление традиций.

Горький писал: «Науку и технику надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы».

Эта борьба богата величайшими достижениями и страшными трагедиями, надеждами и разочарованиями, поисками, блужданиями, упорным трудом и счастливыми находками. Борьба эта — богатейший материал для самых разнообразных научно-художественных произведений.

Вспомним замечательные слова Пастера:

«Быть уверенным, что открыл важный научный факт, гореть лихорадочным желанием оповестить о том свет и сдерживать себя днями, неделями, порой годами, вступать в борьбу с самим собою, напрягать все силы, чтобы самому разрушить плоды своих трудов и не провозглашать полученного результата, пока не испробовал всех ему противоречащих гипотез — да, это тяжелый подвиг...»

Но зато, когда после стольких усилий достигаешь полной достоверности, испытываешь одну из высших радостей, какие только доступны человеческой душе».

Такие признания — драгоценная основа для создания высоких художественных произведений, о которых мечтал Писарев, в которых «все правда и все красота» и которых еще так мало в нашей научно-художественной литературе.

В истории науки нет прямых и широких дорог, которые ведут к цели. В лабиринте научной мысли ариаднина нить нередко теряется, и наука попадает в тупик, пока снова не находит конца утерянной нити. Тогда начинается переключка научной мысли через десятилетия и даже века, и в этой переключке авторитетней всех звучат голоса не тех, кто первый высказал научную мысль, а тех, кто сумел придать ей наивысшую силу доказательности, кто овладел величайшим искусством допрашивать природу и выпытывать ее тайны. Еще Бэкон говорил о великом значении научного эксперимента: «Невооруженная рука и самодовлеющий разум немногочисленны».

Говоря о некоторых своих открытиях, которые приписывались другим, Дарвин в своей автобиографии писал, что недостаточно высказать новую идею, ее надо высказать так, что-

бы она остановила на себе всеобщее внимание, а для этого «мысль должна быть прекрасно изложена и подробно разъяснена».

Марксистско-ленинские методы научной работы положили конец той разорванности между отдельными отраслями знания, которая была характерна для буржуазной науки, когда, по словам Энгельса, «каждая часть изучалась отдельно и каждый принимал этот анархический разрыв единой жизни живого организма за обработку своей, независимой области»¹.

Один из основных принципов научной работы нашего времени состоит в том, что наука работает в той или другой области не изолированно, не в отрыве от смежных областей, а в глубокой связи с ними, на высоком уровне научных знаний современности. Дальнейшие основные принципы — это метод комплексного изучения и предельная глубина исследования.

Писатель не может игнорировать этих основных методов научной работы и свести изображение того или другого научного достижения к простому внешнему его описанию. Писателю необходимо проникнуть внутрь научной лаборатории, стать рядом с ученым-исследователем или с целым исследовательским коллективом, посмотреть на дело изнутри, глазами самой науки и приступить к делу, только освоившись с широким научным горизонтом вопроса. Связь писателя и ученого становится необходимостью. Их работа сливается в одно нераздельное целое и обеспечивает и правильность существа, и выразительность художественной формы, и действительность научно-художественного произведения.

Формы научно-художественных произведений богаты и разнообразны. Однако не надо быть пророком, чтобы сказать, что эти формы будут развиваться и пополняться новыми. Широта научных горизонтов, сложные связи между отдельными областями знания, движение и развитие научной мысли, тончайшие методы научной работы, переходы «от живого созерцания к абстрактной мысли и от нее к практике» (Ленин)², теснейшая связь между наукой и жизнью — все это не может не вызвать и новых приемов художественного изображения, и новых литературных форм.

Наш массовый читатель, который «многому научился и много поумнел», ждет таких научно-художественных произведений, которые раскрывают творческую жизнь и борьбу научной мысли за истину и в которых «все правда и все красота».

Н. Шкляр

¹ Ф. Энгельс, Письмо К. Шмидту, от 27 октября 1890 г.

² IX Ленинский сборник, стр. 183.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1940 ГОД



1. РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, ОЧЕРКИ

- ♦ Антоновская А. — Великий Моурави, роман, VIII—55, IX—88, X—31, XI—XII—21.
 Арамилев И. — Вандага, рассказ, XI—XII—108.
 Бадигин К. — На корабле «Георгий Седов» через Ледовитый океан, IV—V—208, VI—108, VII—21, VIII—145, IX—156, X—149, XI—XII—141.
 Байдуков Г., Тарасов Д., Чирсков Б. — Валерий Чкалов, сценарий, режиссерская разработка М. Калатозова, IX—10.
 Василевская Ванда — Грохот шагов, рассказ, XI—XII—17.
 Вересаев В. — Невыдуманные рассказы о прошлом, VI—65, VIII—115, X—111.
 Горький А. М. — [Пропагандист], сценарий, VIII—11.
 Зингер Макс — Летчик Козлов, X—128.
 Ильенков В. — Емелька, рассказ, VI—87.
 Коробов Л. — На воздушных перекрестках, XI—XII—71.
 Крушинский С. — Теплые горы, роман, II—III—229, IV—V—143, VI—7.
 Кудашев Вас. — На поле Куликовом, повесть, I—114.
 Кудашев Вас. — Смышленный заяц, рассказ, IV—V—313.
 Кудашев Вас. — Наташа, рассказ, IX—146.
 Левин Кирилл — Из походной записной книжки, II—III—146.
 Левин Кирилл — Короткие рассказы, XI—XII—93.
 Лидин Вл. — Дорога на Запад, рассказы, IV—V—123, VII—8.
 Меньшиков И. — Ненецкие рассказы, IV—V—280.
 Незлобин Н. — Университет миллионов, VII—182.
 Новиков-Прибой А. — Броненосец «Ушаков», новая глава из романа «Дусима», II—III—107.
 Окинчик Юр. — Сентябрьские дни, рассказы, XI—XII—86.
 Панч Петро — Александр Пархоменко (перевод с украинского), II—III—210.
 Пришвин Михаил — Фацелия, поэма, IX—64.
 Пришвин Михаил — Лесная капель, X—10.
 Стефаник В. — Рассказы, перевод с украинского, II—III—124.

- Тобояков В. — Икона, рассказ, VIII—137.
 Толстой Алексей — Хмурое Утро, III часть романа «Хождение по мукам», IV—V—4, VIII—24.
 Трауберг Л. Э., Тимошенко С. А. — Мертвая петля, сценарий, XI—XII—177.
 Федин Конст. — Санаторий Арктур, роман, IV—V—50.
 Федин Конст. — Киров, сцены для кино, VII—95.
 Шолохов Мих. — Тихий Дон, роман, книга четвертая, II—III—3.
 Эгарт М. — Талисман, повесть, I—14.
 Экслер И. — Камчатка, IV—V—288.
 Юнга Евгений — Колумбы России, эпизоды исторической хроники, II—III—160.
 Юрий Сергей — Путешествие к лосям, VI—91.
 Юрий Сергей — Рассказы о деревьях, IX—190.
 Юрий Сергей — Новые воды, XI—XII—130.

СТИХИ И ПОЭМЫ

- Асанов Николай — Стихи об Эдуарде Багрицком, X—29.
 Асеев Николай — Разговор с другом, I—170.
 Асеев Николай — Над пасмурным Лондоном, IX—9.
 Барбарус Иоганнес — Стихотворения (переводы с эстонского Д. М. Кедрина и П. Панченко), IX—5.
 Брик Борис — Шамиль, баллады и песни, II—III—197.
 Гатов Александр — Басни из Лашамбоди, XI—XII—217.
 Гира Людас — Стихотворения (перевод с литовского Б. Лейтина), IX—3.
 Голодный Михаил — Стихотворения, VIII—53.
 Губанов Игорь — Сыну, II—III—158.
 Джангар — Калмыцкий народный эпос, перевод Семена Липкина, IV—V—194.
 Долматовский Евг. — Лирика, VII—3.
 Долматовский Евг. — За Карпатами, IX—54.
 Ерикеев А. — Ручей (перевод с татарского Веры Звягинцевой), VII—67.
 Жаров Александр — Возвращение к морю, VI—86.
 Замятин Владимир — Детство, VII—19.
 Исаковский М. — В гости приехала дочь, XI—XII—69.
 Казин Василий — Лирические стихи, I—108.
 Коган Аркадий — Верность, XI—XII—107.

- Компаниец Л. — Этюд, стихи, X—30.
 Куратов И. А. — Стихотворения в переводах И. Молчанова, I—172.
 Кутловский Павел — Река, VIII—135.
 Луговской Вл. — Стихи о белорусском фронте, IV-V—48.
 Луговской Вл. — Площадь народов, XI-XII—16.
 Молчанов И. — Сибирские стихи, XI-XII—175.
 Мурзиди К. — Стихотворение, VIII—136.
 Мурзиди К. — Небо, IX—87.
 Петефи Шандор — Стихотворения (перевод с венгерского С. Обрадовича), VII—92.
 Слово о великом родном Сталине, поэма, перевод с украинского, I—8.
 Старинные грузинские народные песни в переводе А. Тарковского, IV-V—141.
 Сурков Алексей — Так мы росли, II-III—103.
 Сурков Алексей — Детство героя, VI—3.
 Сурков Алексей — Декабрьский дневник, X—3.
 Танк Максим — Стихотворения (перевод с белорусского Б. Ирнинна), IX—7.
 Твардовский А. — Письмо, IV-V—121.
 Твардовский А. — Загорье, IX—57.
 Ушаков Ник. — Стихотворения, VI—63.
 Церетели Акакий — Стихотворения, VI—103.
 Щипачев Степан — Стихотворения, I—112.
 Щипачев Степан — Стихотворения, II-III—272.
 Щипачев Степан — Земля якута, IV-V—287.
 Дворец Советов, IV-V—3.
 Щипачев Степан — Стихотворения, VIII—52.
 Щипачев Степан — Стихотворения, XI-XII—85.
- СТАТЬИ И ДОКУМЕНТЫ**
- Асеев Николай — Сила Маяковского, IV-V—335.
 Багдасаров А. — Переливание крови, I—201.
 Балашов П. — Певец народного гнева (о романе Джона Стейнбека «Гроздь гнева»), X—200.
 Болтин Е. — Ленин и Сталин — организаторы Красной армии и вдохновители ее побед, II-III—274.
 Борисов С. — Победа над Врангелем, военно-исторический очерк, XI-XII—219.
 Бровман Г., Оснос Ю. — Ленин и зарождение советского искусства, IV-V—321.
 Буренин Н. — Поездка А. М. Горького в Америку, VI—192.
 Велькин И. — Новое в советской технике, XI-XII, 338.
 Виктор Я. — Современная война и США, X—191.
 Винер М. — Мастер эпического повествования (об исторических романах А. П. Чапыгина), IX—217.
 Виноградов Н. Т. — Наш Молотов, II-III—294.
 Внуков В. — Современная артиллерия, VI—185.
 Гладков Федор — Из дневника писателя, I—209.
 Гехт С. — Произведения Сергея Диковского, VI—216.
 Гроссман Борис — Заметки о Валерии Брюсове, I—242.
 Гроссман Борис — Лирика Степана Щипачева, X—218.
 Гудзий Н., — Замыслы Толстого и их воплощение, XI-XII—290.
 Гурштейн А. — К проблеме народности в литературе, VII—218.
 Замошкин Н. — Охота за счастьем, заметки о детских рассказах М. Пришвина, VI—227.
 Zubov Н., — Дрейф ледокола «Георгий Седов» и Северный морской путь, I—174.
 Из переписки А. П. Чехова с М. А. Лейкиным (неопубликованные письма), I—229.
 Калинин М. И. — О преподавании марксизма-ленинизма. Речь на Втором всесоюзном совещании руководителей кафедр марксизма-ленинизма вузов 4 июля 1940 г., VIII—5.
 Калинин М. И. — Пример большевистской партийности, II-III—290.
 Калинин М. И. — О коммунистическом воспитании (доклад на собрании партийного актива гор. Москвы 2 октября 1940 года) XI-XII—3.
 Караваева А. — О Борисе Левине, IX—207.
 Колесса Филарет, акад. — Об украинском фольклоре, IX—202.
 Колосков А. — Маяковский до Октября, XI-XII—316.
 Корабельников Г. — Гамзат из аула Цада, X—225.
 Кто правит Америкой (Из книги Ф. Лундберга «Шестьдесят семейств Америки»), VIII—236, IX—229.
 Лежнев И. — Мирозрение Н. Г. Чернышевского, II-III—363.
 Малинин Ф. Н. — Заметки о поэтическом наследии П. И. Чайковского, VII—210.
 Молчанов И. — Иван Алексеевич Куратов — поэт народа Коми, I—221.
 Метиславский С. — Мастерство жизни и мастера слова, XI-XII—264.
 Мудрогель Н. — 58 лет в Третьяковской галерее, воспоминания, VII—137.
 Невский Г. — Укрепленные районы, II-III—299.
 Оголевец А. С. — П. И. Чайковский, VII—192.
 Опарин А. И. — Происхождение жизни, VII—233.
 Павлова С. — Фридрих Энгельс — друг и соратник Карла Маркса, XI-XII—240.
 Пальчунов А. — Лучистая энергия и война, IV-V—361.
 Пальчунов А. — Воздушные десанты, VII—247.
 Пальчунов А. — «Лучи смерти», VIII—227.
 Памяти Павла Низового, X—232.
 Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении премий и стипендий имени Сталина, I—6.
 Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР об учреждении премий имени Сталина по литературе, I—7.
 Приветствие ЦК ВКП(б) товарищу Сталину в день его шестидесятилетия, I—4.

- Приветствие ЦК ВКП(б) товарищу Молотову, II-III—288.
- Приветствие Главного Военного Совета товарищу Молотову, II-III—289.
- Радияни Шалва — Акакий Церетели, VI—101.
- Серебров Н. (А. Тихонов) — Ясная Поляна, VI—20.
- Тимофеев Л. — Поэтика Маяковского, IV-V—343.
- Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении товарищу Исесифу Виссарионовичу Сталину звания Героя Социалистического Труда, I—3.
- Указ Верховного Совета СССР о награждении Председателя Совета Народных Комиссаров СССР товарища Вячеслава Михайловича Молотова Орденом Ленина, II-III—286.
- Фролов Ю. П. — Физиология, физкультура и быт, X—177.
- Хэкси Саймон — Кто правит Англией (из книги «Консервативные члены парламента»), перевод с английского, II-III—304.
- Херсонский Х. — Борис Васильевич Щукин, XI-XII—254.
- Цявловский М., — Мицкевич и его русские друзья, XI-XII—303.
- Шабал Л. М. — Рак и его происхождение, VIII—214.
- Шагинян Мариэтта — Об азербайджанской прозе, VI—239.
- Эль-Регистан — Воды Сыр-Дарьи пришли из Москвы, I—194.
- Гольдберг М. — «Литературное наследство» № 37—38, XI-XII—368.
- Гурвич В. — «Конец пути» Мартина Андерсена Нексе, XI-XII—353.
- Гурштейн А. — Рассказ о Ленине (о книге К. Феина «Рисунок с Ленина»), VIII—251.
- Долинов С. — Записки замечательного актера (о книге Юр. Юрьева «Записки»), VIII—255.
- Дукор И. — Л. Тимофеев. «Теория стиха», II-III—396.
- Зенкевич Мих. — Поэзия новых советских республик (о стихах Иоганнеса Барбаруса и Людаса Гира), IX—250.
- Каравасва Аниа — «В горах Кавказа» А. Оленич-Гнененко, XI-XII—355.
- Крекишич Е. — «Литературный Воронеж». Альманах № 1 (8), X—240.
- Ленобль Г. — Книга о прошлом нашего севера, «Урман» И. Панова, IX—255.
- Ленибль Г. — «Китайская стена» Тихона Булавина, X—234.
- Ленибль Г. — «Ольга Ивановна» Я. Ялунера, XI-XII—372.
- Малинкин А. — Стихи Наире Зарьяна, XI-XII—359.
- Макаров И. — «Военные записки» Дениса Давыдова, XI-XII—363.
- Машинский С. — «Белинский» М. Иовчука, X—257.
- Папковский Б. — «Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии», Н. Журавлева, X—250.
- Соболев В. — Л. Вайсенберг «Семь рассказов», I—253.
- Соболев В. — О. Городовиков, «В рядах Первой Конной армии», II-III—399.
- Тарасенков Ан. — «Резьба по камню» Эффенди Капиева, X—247.
- Тарасенков Ан. — Поэмы Леонида Мартынова, XI-XII—365.
- Тимм Д. — «Север», Альманах № 6, X—254.
- Титова А. — М. Зошенко, рассказы, I—255.
- Фомин С. — Дм. Семеновский. «Мстера», VI—254.
- Шварц Е. — Сигизмунд Леваневский (о книге Макса Зингера), IX—252.
- Шкляр Н. — О научно-художественной литературе, XI-XII—374.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Амурский И. — «Адмирал Нахимов». Е. Тарале, XI-XII—361.
- Арамлиев И. — А. Тарасов. «Крупный зверь», VI—248.
- Беликов И. — Поэт Волги Д. Н. Садовников, XI-XII—371.
- Брайнина Б. — Мы победим! (О творчестве Геннадия Фиша.) VIII—252.
- Бровман Г. — Литературно-критические статьи Д. И. Писарева, X—237.
- Воложения А. — Р. Фрайерман. «Дикая собака Динго или повесть о первой любви», VI—250.
- Воскерчян Арт. — В. Кирпотин. «Поэзия армянского народа», VI—255.
- Габинский Н. — «Хунанская флейта» и «Китайские рассказы» Эми Сяо, XI-XII—350.
- Гимельфарб Б. — «Творческая лаборатория Золя» М. Эйхенгольца, X—243.
- На Книжной полке
- Джем Бертрам — «На фронтах Северного Китая», X—256.
- Н. Пфлаумер — «Моя семья», X—256.

Редколлегия: Ф. В. Гладков
Л. М. Леонов
В. П. Ставский
М. А. Шолохов

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

A32764. Сдано в набор 17/X—16/XII 1940 г.
24 печ. листа. Тираж 80000. Зак. 3693.

Подписано к печати 16/XI—20/XII 1940 г.
Технический редактор С. Ардашникова.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» Москва, Пушкинская пл., 5.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1941 г. НА ЖУРНАЛЫ:

НАИМЕНОВАНИЕ ЖУРНАЛОВ	Количество №№ в год	Подписная цена	
		12 мес.	6 мес.
Автоматика и телемеханика	6	48	24
Acta Physicochimica URSS	12	108	54
Астрономический журнал	6	36	18
Биохимия	6	48	24
Ботанический журнал	6	36	18
Вестник Академии Наук	12	60	30
Доклады Академии Наук, на русском яз.	36	180	90
Предм.-алфавитный указатель к тт. 1—25 Докладов АН СССР на русском языке	--	20	—
Доклады Академии Наук, на иностр. яз.	36	180	90
Журнал общей биологии	4	32	16
Журнал общей химии	24	144	72
Journal of Physics	12	72	36
Журнал прикладной химии	12	96	48
Журнал технической физики	24	144	72
Журнал экспериментальной и теоретической физики	12	96	48
Журнал физической химии	12	108	54
Записки Всероссийского минералогич. об-ва	4	36	18
Зоологический журнал	6	48	24
Известия Академии Наук, серия биологич.	6	54	27
Известия Государств. географич. общества	6	48	24
Известия Академии Наук, серия географическая и геофизическая	6	48	24
Известия Академии Наук, серия геологич.	6	48	24
Известия Академии Наук, серия математическая	6	36	18
Известия Академии Наук, Отделение технических наук	10	80	40
Известия Академии Наук, Отделение литературы и языка	6	54	27
Известия Академии Наук, серия химическая	6	48	24
Известия Академии Наук, серия физическая	4	32	16
Математический сборник	6	54	27
Микробиология	10	80	40
Прикладная математика и механика	6	48	24
Природа	12	54	27
Почвоведение	12	96	48
Советская ботаника	6	48	24
Физико-математический реферативный журн.	12	96	48
Химический реферативный журнал	12	96	48
Список журналов Издательств Филиалов Академии Наук СССР			
Известия Азербайджанского филиала Академии Наук СССР, на русском языке	6	30	15
Известия Узбекистанского филиала Академии Наук СССР, на русском языке	12	30	15

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ:

МОСКВА, 12, Большой Черкасский переулок, 2, «АКАДЕМКНИГА».

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ТАКЖЕ отделениями, доверенными конторы «Академкнига» и в магазине — Москва, ул. Горького, корп. «Б», а также отделениями «Союзпечать», повсеместно на почте и в магазинах РОГИЗ'а.

Требуется каталог.

ГОС. ЦЕНТР. КУРСЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ „ИН-ЯЗ“

НКП РСФСР

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ

НА I, II и III КУРСЫ

АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО

и ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ

и на ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (IV курс)

АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ.

ОКОНЧИВШИМ ВЫДАЕТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Учебная плата от 25 р. до 200 р.
за курс, в зависимости от получаемой зарплаты. Условия
приема высылаются по получении 60 коп. марками.

Адрес Курсов: **МОСКВА, Кузнецкий мост, 3. Тел. К-3-90-42.** } Ленинградское отделение Курсов:
ЛЕНИНГРАД, Апраксин пер., 2.



Государственное издательство легкой промышленности **ГИЗЛЕГПРОМ**

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1941 год

НА

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЖУРНАЛЫ МОД

1. «**МОДЕЛИ СЕЗОНА**» (большого формата). Выходит 4 номера в год. В каждом помещается до 250 рисунков оригинальных моделей женского и детского платья. Подписная цена на год — 60 руб.
2. «**МОДЕЛИ СЕЗОНА**» (издание уменьшенного формата). Выходит 4 номера в год. Подписная цена на год — 10 руб.
3. Альбом «**МОДЫ**» (издание большого формата). Выходит 2 номера в год. В каждом номере до 350 рисунков модных фасонов женской, мужской и детской одежды. Подписная цена на год — 32 руб.
4. «**КОСТЮМ И ПАЛЬТО**» (издание большого формата). Выходит 2 номера в год. В каждом номере помещается до 160 новых моделей верхней одежды. Подписная цена на год — 25 руб.
5. «**КОСТЮМ И ПАЛЬТО**» (издание уменьшенного формата). Выходит 2 раза в год. Подписная цена на год — 5 руб.

ЖУРНАЛЫ МОД БОЛЬШОГО ФОРМАТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛОТНОЙ БУМАГЕ С КРАСОЧНЫМИ ИЛЛУСТРАЦИЯМИ.

ТИРАЖ ЖУРНАЛОВ ОГРАНИЧЕН.

ПОДПИСКУ И ДЕНЬГИ НА ЖУРНАЛЫ НАПРАВЛЯЙТЕ ПО АДРЕСУ:
Москва, Кузнецкий Мост, 22, Торговый сектор Гизлегпрома. Деньги можно
перечислить на текущий счет Гизлегпрома № 52018 в Москворецком отделении
Госбанка в Москве.

НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ ВЫПУЩЕН
НОВЫЙ, БОЛЬШОЙ ИСТОРИКО-
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ ИЗ ЦИКЛА
„ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОЛЬШЕВИКОВ“

ЯКОВ СВЕРДЛОВ



Авторы сценария—
писатели орденосцы:
Б. ЛЕВИН и П. ПАВЛЕНКО,
Режиссер—заслуженный
деят. иск. орденосец
Сергей ЮТКЕВИЧ,

2-й режиссер М. ИТИНА
Оператор—орденосец
И МАРТОВ,
Художник В. КАПЛУНОВСКИЙ.
Музыкальное оформление
засл. деят. иск. Д. БЛОК.

В главных ролях:

Заслужен. арт. РСФСР
орденосец М. ШТРАУХ,
артист А. КОБАЛАДЗЕ,
засл. арт. РСФСР орденосец
Л. ЛЮБАШЕВСКИЙ,
артист В. МАРКОВ,

артист П. КАДОЧНИКОВ,
арт. орденосец Н. КРЮЧКОВ,
артистка И. ФЕДОТОВА,
артист Н. ГОРЛОВ,
арт. орденосец Н. ОХЛОПКОВ,
артист А. КОРЗЫКОВ.

Производство киностудии «СОЮЗДЕТФИЛЬМ»
Выпуск «ГЛАВКИНОПРОКАТ»

Смотрите фильм „ЯКОВ СВЕРДЛОВ“